

Валентин ПИКУЛЬ



КАТОРГА



МИНИАТЮРЫ



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



ВАЛЕНТИН ПИКУЛЬ  
Полное собрание сочинений



КАТОРГА



МИНИАТЮРЫ



---

# ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

---



ФАВОРИТ, книга 1

ФАВОРИТ, книга 2

НЕЧИСТАЯ СИЛА

БИТВА ЖЕЛЕЗНЫХ КАНЦЛЕРОВ. МИНИАТЮРЫ

СЛОВО И ДЕЛО, книга 1

СЛОВО И ДЕЛО, книга 2

КАТОРГА. МИНИАТЮРЫ

БОГАТСТВО. МИНИАТЮРЫ

ЧЕСТЬ ИМЕЮ

МООНЗУНД

НА ЗАДВОРКАХ ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ, книга 1

НА ЗАДВОРКАХ ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ, книга 2

ПЕРОМ И ШПАГОЙ

БАРБАРОССА

ОКЕАНСКИЙ ПАТРУЛЬ, книга 1

ОКЕАНСКИЙ ПАТРУЛЬ, книга 2

ПСЫ ГОСПОДНИ. ЖИРНАЯ И ГРЯЗНАЯ И ПРОДАЖНАЯ. ЯНЫЧАРЫ

ИЗ ТУПИКА, книга 1

ИЗ ТУПИКА, книга 2

ТРИ ВОЗРАСТА ОКИНИ-САН

РЕКВИЕМ КАРАВАНУ RQ-17. МАЛЬЧИКИ С БАНТИКАМИ

СТУПАЙ И НЕ ГРЕШИ. ПАРИЖ НА ТРИ ЧАСА

КАЖДОМУ СВОЕ. МИНИАТЮРЫ

КРЕЙСЕРА. МИНИАТЮРЫ

БАЯЗЕТ

ГЕНЕРАЛ НА БЕЛОМ КОНЕ. МИНИАТЮРЫ

ПОЛЕТ И КАПРИЗЫ ГЕНИЯ. МИНИАТЮРЫ

РЕКВИЕМ ПОСЛЕДНЕЙ ЛЮБВИ. МИНИАТЮРЫ



Валентин ПИКУЛЬ



---

# КАТОРГА

ТРАГЕДИЯ БЫЛОГО ВРЕМЕНИ



# МИНИАТЮРЫ



Москва • «Вече»

УДК 821.161.1-311.6

ББК 84(2Рос=Рус)6

ПЗ2

Составление, комментарии  
**А.И. Пикуль**

Рисунок на обложке  
**П.Л. Пармонова**

**Пикуль, В.С.**

ПЗ2 Каторга. Трагедия былого времени: роман. Миниатюры / Валентин Пикуль ; [сост. и комм. А.И. Пикуль]. — М.: Вече, 2015. — 432 с. — (Полное собрание сочинений).

ISBN 978-5-4444-2952-5

ISBN 978-5-4444-2241-0 (Общий)

Знак информационной продукции **12+**

Роман освещает малоизвестные страницы истории сахалинской каторги периода Русско-японской войны 1904—1905 годов. Он остается злободневным и сейчас, ибо в наши дни не утихают разговоры об островах Курильской гряды. В книгу также вошли замечательные миниатюры автора о дипломатах и дипломатических отношениях.

УДК 821.161.1-311.6

ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-4444-2952-5

ISBN 978-5-4444-2241-0 (Общий)

© Пикуль В.С., наследники, 2015

© Пикуль А.И., составление, комментарии, 2015

© ООО «Издательство «Вече», 2015

# КАТОРГА

## Трагедия былого времени

### Часть первая НЕГАТИВЫ

Издалека вели сюда —  
Кого приказ,  
Кого заслуга,  
Кого мечта,  
Кого беда...

*Ал. Твардовский*

### Заочно приговорен к смерти *Пролог первой части*

Я свободен, и в этом — мое великое счастье...

Никто не принуждает автора выбирать себе героя — хорошего или плохого. Автор вправе сам сложить его, как мозаику, из красочных частиц добра и зла. На этот раз меня увлекает даже не герой, а то страшное переходное время, в котором он устраивал свое бытие, наполненное страданиями и радостями, внезапной любовью и звериной ненавистью.

Наверное, герой понадобился мне именно таким, каким однажды явился предо мною, и мне часто делалось жутко, когда он хищно взглядывался в меня через решетки тюрем своими желтыми глазами, то пугал меня, то очаровывал...

Порою мне хотелось спросить его:

— Кто ты? Откуда пришел? И куда уводишь меня?

Но сначала нам придется побывать в Лодзи.

---

Это был «привислянский Манчестер», столица ткацкого дела, ниток, текстиля и тесемок, где в удушливой паутине фабричной пряжи

люди часто болели и очень рано умирали. Недаром в пивницах Лодзи любили поминать мертвых:

Эх, пойду я к дедам в гости,  
Жбанчик водки на погосте  
Выпью, где лежат их кости,  
И — поплачу там...

Лодзь входила в ХХ век как самый богатый и самый грязный город Российской империи: фабрики отравляли людей дымом и копотью, они изгадили воду в реках и окрестных озерах. Трудовой люд копошился в окраинных трущобах, где не было даже зачатков канализации, перед будками уборных выстраивались по вечерам дрожащие от холода очереди. Зато в этом городе сказочно богатели текстильные короли, а на Петроковской до утра шумели кафе-шантаны с доступными женщинами, полураздетые красотки брали по сотне рублей только за интимную беседу с клиентом. Здесь же, на Петроковской, в царстве золота и пороков, неслыханных прибылей и расточительства, высились монолитные форты банков, в которых размещали свои фонды капиталисты Варшавы, Берлина и Петербурга...

Стачки лодзинских ткачей уже вошли в историю революционной борьбы — как самые кровавые, полиция Царства Польского жестоко усмиряла бастующих. В подполье работала «Польская социалистическая партия» (ППС), к центру которой примыкал тогда и Юзеф Пилсудский, будущий диктатор Польши, который силился разорвать революционные связи русских и поляков. На самой грани нашего столетия в ППС появилось левацкое крыло «молодых», заявивших о себе отважными «боевками», где все решала пальба из браунингов, дерзкие экспроприации (сейчас таких людей называли бы «экстремистами»).

Был холодный ветреный день, домовые водостоки низвергали на панели буруны дождевой воды. В цукерне пани Владковской почти на весь день задержался молодой человек. Под вечер он щедро расплатился с лакеем и, еще раз глянув в окно, в котором виднелась громадина Коммерческого банка, вышел на Петроковскую — под шумный ливень. Раскрыв над собою зонтик, он проследовал в соседнюю цирюльню пана Цезаря Гавенчика, где был телефон. Приглушенным голосом им было сказано:

— Инженер? Это я, Злубый... где Вацек?

— Ушел, — донеслось в ответ. — Я тут с Глогером.

— Так передай им, что я с утра не вылезал из цукерни. Но, кроме городского у входа, не заметил даже наружных филеров. А что ждет нас в банке — никто не знает.

— Хорошо, — отозвался Инженер. — Я надеюсь, все будет в порядке, а Вацек я успокою. Итак, до завтра.

Покинув цирюльню, Злубый исчез во мраке кривых переулков, изображая крепко подгулявшего конторщика:

Ты лейся, песня удалая.  
Лети, кручина злая, прочь...

В полдень следующего дня, когда ливень загнал городского в подворотню, возле Коммерческого банка остановились четыре коляски. Среди боевиков выделялся респектабельный господин лет тридцати, отлично выбритый — как актер перед генеральной репетицией. В руке он держал объемистый саквояж. Это был член «боевки», имевший подпольную кличку «Инженер».

— Все зависит от тебя, — шепнул ему Вацек, — и пан Юзеф обещал отсыпать тебе тысячу злотых в награду. Если кассир сам не откроет сейф, предстоит поковыряться! Мы будем удерживать банк, пока ты не возьмешь главную кассу.

Инженер встряхнул саквояжем, в котором железно брякнули слесарные инструменты. Он спокойно сказал:

— Не первый раз! Если не нарвусь на замок Манлихера, то с меллеровскими защелками управлюсь быстро...

У каждого боевика было по два браунинга, по четыре пачки патронов. Главные ценности банка хранились в сейфе секретной кассы, куда обязан проникнуть Инженер, а «боевка» тем временем возьмет выручку с общего зала. Не спеша поднимались по лестнице, внешне чуждые один другому. Швейцар все-таки насторожился:

— Вы, панове, зачем и к кому идете?

Вацек показал ему поддельный вексель:

— Получить бы кое-что с вашего банка...

Боевики проникли в общий зал, где публики было человек сорок, не больше. Они заняли места в очередях к кассирам, ожидая сигнала от Вацека. Следом за ними, позвонив куда-то по телефону, вошел в зал швейцар, и только тут Вацек понял, что он из внутренней охраны Коммерческого банка.

— Позвольте ваш вексель, — сказал он Вацеку.

— Получи! — выкрикнул тот, стреляя.

Старая еврейка метнулась к дверям — с воплем:

— Ой-ой, газлуним гвалт... воры пришли!

В дверях банка Глогер всех убежавших сажал на диван. Городовой, появясь с улицы, был убит его метким выстрелом.

— Всем посторонним лечь на пол! — орал Вацек.



Злубый, размахивая браунингом, звал его:

— Берем что есть, и пора отрываться.

— Не забывай об Инженере, который драконит сейф...

Со стороны директорских кабинетов вдруг разом откинулись окошки в дверях, как иллюминаторы в борту корабля. Оттуда выставились руки в ослепительных манжетах, украшенные пересверком драгоценных перстней. В этих изнеженных руках оказались револьверы — директора банка отстреливались!

— Ах, ах, ах, — трижды произнес Злубый, падая...

— Бей по дирекции! — не растерялся Вацек.

Но если боевики стреляли отлично, то служащие банка палили наугад, поражая публику. Началась паника. Люди, уже израненные, падали в очереди у касс, заползали под столы и стулья.

Банк наполнился криками, стонами, грохотом.

Вацек вложил в браунинг уже третью обойму.

— Глогер! — позвал он помощника. — Я прикрою ребят, а ты беги в кассу... поторопи Инженера, чтобы не копался! Напомни, что коляска ждет его на Вульчанской, а встречаемся, как всегда, на Контной — за костелом Святого Яцека...

Глогер с разбегу споткнулся о мертвого кассира. Перед громадным сейфом стоял Инженер, почти невозмутимый. На стуле были разложены его инструменты, а свой элегантный пиджак он повесил на спинку стула. Глогер осатанел:

— Чего ты здесь ковыряешься? Нельзя ли скорее? Злубый уже истекает кровью, а Вацек давно с пулей в ноге.

— Держитесь, — с улыбкой отвечал Инженер и поправил на голове котелок. — Мне попался «меллер», но страховые «цугалтунги» держат замок крепко, как собака мозговую кость.

— Твоя коляска на Вульчанской, — напомнил Глогер.

— До встречи на Контной, — отвечал Инженер, и сейф тихо растворялся перед ним свое нутро, набитое золотом.

Глогер вернулся в общий зал банка, где мертвые лежали уже навалом, а через окошки директорских кабинетов продолжали сыпаться пули. Вацек едва заметил Глогера:

— Ну, что? Взял он сейф?

— Взял.

— Тогда отходим. Берем Злубого... тащи!

Отстреливаясь, подхватили Злубого, потом бросили его:

— Да он уже готов... Скорее на выход!

Где-то вдали заливались свистки полиции и дворников, но все кончилось благополучно: через полчаса гонки на колясках запыхавшиеся боевики собрались на Контной улице.

— А где Инженер? — первым делом спросил Вацек.

— Его и не было, — ответил хозяин «явки».

.....  
Инженер не пришел на Контную — ни вечером, ни ночью. Напрасно ждали его несколько дней. Побочными каналами Глогер выяснил, что он не был схвачен полицией — ни живым, ни мертвым. Он попросту пропал — вместе с саквояжем.

— Глогер, ты сам видел, что сейф был уже открыт?

— Да, Вацек... в нем полно было золота.

Вацек с бранью распечатал бутылку с водкой:

— Помянем Злубого его любимой песней: «Ты лейся, песня удалая, лети, кручина злая, прочь...» Теперь все нам ясно, — сказал Вацек. — Пока мы там отстреливались, прикрывая раненых, Инженер увел с банка всю главную сумму и спокойно скрылся. Я счел нужным оповестить об этом Юзефа Пилсудского, который сказал, что отныне Инженер заочно приговорен к смертной казни. Кто бы из нас и где бы его ни встретил, должен привести приговор партии в исполнение...

Глогер ознакомил Вацекка с берлинской газетой:

— Читай, что пишут немцы из Познани...

Познань тогда принадлежала Германской империи. Пресса оповещала читателей, что в одну из ночей ограблен познанский банк, причем — как подчеркивалось в газете — взломщик опытной рукой нейтрализовал предохранительные «сугалтунги».

— Это он... конечно, наш Инженер! — решил Вацек. — Теперь, законспирированный и вооруженный, обладающий изворотливым умом, он способен принести немало вреда. А потому приговор остается в силе — смерть ему! Только смерть.

— Клянусь: я убью его, — отвечал Глогер...

## 1. Ставлю на тридцать шесть

Вечерний экспресс прибыл во французские Канны, оставив на перроне пассажиров, жаждущих исцеления от хронических катаров, подагры, бледной немочи и прочих злополучных чудес. Среди них оказался и некто Глеб Викторович Полынов, прибывший из Берна, где он состоял при русском посольстве. О причастности его к дипломатии первой известилась Жанна Лефебр, случайно оказавшаяся его соседкою по купе. Впоследствии она показала, что у нее сложилось мнение о господине Полынове как об очень порядочном и религиозном человеке:

— Он говорил, что едет в Канны не ради процедур от малокровия, а лишь затем, чтобы насладиться голосами капеллы, поющей в православном храме великомученицы Александры...

Полынов нанял у вокзала извозчика и, кажется, был уже достаточно хорошо знаком с местными условиями:

— Отвезешь меня сразу на «Виллу Дельфин», что на Рю-де-Фрежюс, дом шестьдесят восемь. Кстати, что там профессор Баратат? Работает ли у него машина для электротерапии, которую он обещал в прошлом году выписать из Берлина?

Как выяснилось позже, немецкий клиницист Баратат, содержащий для богачей лечебный отель, не запомнил среди своих пациентов Польшова — по той причине, что тот к нему не обращался. Ничего не могли добавить и русские служители храма великомученицы Александры, ибо не видели дипломата среди молящихся. Зато прислуга отеля утверждала, что Польшов всеми повадками напоминал варшавского жуира и пижона, они даже слышали, как однажды он забавно мурлыкал по-польски:

Не играл бы ты, дружок,  
Не ходил бы без порток,  
Сохранил бы ты портки,  
Не залез бы ты в долги...

Правда, вышеназванная Жанна Лефебр потом вспомнила, что видела Польшова еще раз, когда он проводил партию в теннис с одним англичанином на санаторном корте:

— Меня не удивило, что он легко беседовал по-английски, ибо все дипломаты хорошо владеют языками...

Очевидно, господина Польшова привлекло в курортные Канны нечто другое, более важное, нежели чистота голосов православной капеллы или новейшие достижения электротерапии. В этом не ошибся и солидный портье «Виллы Дельфин», подобострастно выслушавший от Польшова первый заказ:

— Завтра приготовьте билет на вечерний поезд, я решил навестить Монте-Карло... Сколько тут ехать?

— Поезд идет один час и сорок минут.

— Вот и хорошо...

Портье с поклоном проводил богатого русского дипломата, а затем позвонил куда-то по телефону:

— Завтра. Вечерним поездом. Да. Будет играть.

---

Сейчас трудно решить криминальный вопрос — глуп или умен человек, который, ничего не делая, желает иметь больше других. Наверное, именно для таких людей, для глупых или для умных, заманчиво жужжит в Европе зловещая каналья — рулетка. Сколько было охотников выявить «систему» выигрыша, какие только «теории» ни излагали ученые по вопросу «вероятности», чтобы обдурить скачущий по кругу дешевый костяной шарик, однако ничего путного из

этих потуг не вышло... Читателю я напомним: с тех пор как Германия в 1873 году закрыла свою рулетку в Баден-Бадене, столицей международного азарта сделалось мизерное княжество Монако — с рулеткою в Монте-Карло, и тысячи авантюристов устремились к лучезарным пляжам Средиземного моря. Монако — это государство, в котором любой ресторанный оркестр гораздо больше всех вооруженных сил княжества. Впрочем, того нельзя сказать о тайной полиции Монте-Карло, всегда считавшейся самой виртуозной полицией Европы, и это вполне понятно, ибо где звенят большие деньги, там всегда можно сыскать преступника...

Полынов, появаясь в Монте-Карло, не глазел по сторонам, как заезжий турист, напротив, он шагал уверенной походкой человека, который уже бывал здесь. Вот и казино! Дипломат равнодушно миновал его первые залы, где за столиками тряслась от алчности всякая мелкотравчатая «мелюзга», озабоченная жалким выигрышем в два-три франка, и сразу же устремился в центральный зал. Здесь шла такая большая игра, при которой можно задохнуться от счастья или застрелиться от неудачи.

Подойдя к рулетке, он произнес одно лишь слово:

— Bankó!

— Вы сказали: bankó? — переспросил Полынова крупье.

— Да. Играю на все, что у вас есть в кассе.

— Тогда назовите номер, мсье.

— Ставлю на тридцать шесть...

Среди публики возник невнятный шепот, прощуршали платяя дам, спешащих к столу. На № 36 никто ведь не ставит, ибо на этой цифре рулетка кончается, а дальше — бездна отчаяния. Но в случае выигрыша удачника выплата ему составит колоссальную прибыль — тридцать шесть к одному!

Крупье внимательно всмотрелся в лицо Полынова:

— Пять лет назад вы были моложе, — вдруг сказал он.

— Какая память! — восхитился Полынов.

— Отличная, не спорю. Но это память скорее профессиональная.

Тогда вы приезжали в Монте-Карло из...

— Берлина! — поспешил ответить дипломат.

— Вы ошиблись, сударь, и я вынужден вас поправить. Пять лет назад вы были здесь проездом из Петербурга. — Крупье замкнул лицо в непроницаемой строгости. — Впрочем, изволим играть. Итак, вам желательно ставить на тридцать шесть?

Он раскрутил колесо фортуны, шарик долго метался по кругу, ударившись в лунку под № 36, раздался общий возглас:

— Ric ne va plus: № 36.

— Сорван, — одним дыханием пронеслось в публике.

— Банк сорван, — бесстрастно провозгласил крупье, и широким жестом он закрыл рулетку плащом черного крепа, как закрывают павшего в битве рыцаря. Это значило, что за его столом игры не будет, ибо в кассе не стало денег...

Полынов даже не успел спросить, каков его выигрыш, когда к нему вдруг подошел служитель казино:

— Простите, мсье. Вас просят к телефону.

Что-то судорожно изменилось в холеном лице дипломата, он даже сделал шаг в сторону, но служитель, имевший комплекцию борца тяжелого веса, преградил ему дорогу к дверям.

— Вас просят... срочно, — повторил он.

— Хорошо. Откуда?

— Из Берна... из русского посольства.

Полынов двинулся в служебный кабинет, сопровождаемый громкой из казино. В кабинете его ожидал солидный господин, который сразу же протянул ему трубку телефона.

— Слишком серьезный разговор, — предупредил он.

В трубке раздался повелительный голос:

— Мсье Полынов, положите оружие на стол и...

Трубка полетела в голову солидного господина. Рука Полынова уже исчезла в кармане, но тут же была перехвачена верзилкой, который покрутил выхваченным из руки револьвером.

— Вот и все, — сказал он. — Можно вписать в протокол: браунинг системы «диктатор». Калибр: шесть тридцать пять. Выпущен шведской фирмой «Гускварна»...

Солидный господин приложил к голове платок.

— Это вы сделали напрасно, — сказал он Полынову. — Сами осложняете судьбу. Однако я не откажу себе в удовольствии представиться: комиссар бельгийской полиции дю Шатле.

Полынов надменно выпрямился перед ним:

— Вы меня с кем-то путаете. Могу сразу предъявить дипломатический паспорт. Я уже второй год служу в Берне вторым секретарем российского посольства. Клянусь вам честью, комиссар, произошла какая-то нелепая с вашей стороны ошибка.

Комиссар потрогал рассеченную трубкой голову:

— Конечно, с вашей стороны была чудовищная ошибка ограбить почтовый вагон курьерского поезда Льеж — Люксембург...

Со звоном вылетело окно — Полынов, весь в сверкающем нимбе стекольных осколков, выпрыгнул со второго этажа. Это не произвело на дю Шатле никакого впечатления.

— Мы это учли, — сказал он. — Внизу наши люди...



Когда он спустился вниз, руки Польшова уже стянули обода наручников, его заталкивали в тюремный фургон.

— Послушайте, — сказал он комиссару, — я прошу об одном: у меня в отеле «Вилла Дельфин» остался саквояж...

— Э, об этом не стоит беспокоиться, — утешил его дю Шатле. — Ваш саквояж взят нами, и тех денег, что в нем обнаружены, вполне хватит расплатиться за ограбление нашего почтового вагона. Но мы еще не знаем, куда делись те денежки, что взяты вами из кассы германского банка в Познани!

Расшатанный микст-вагон мотало на поворотах, за окном купе пролетали желтые огни городов Прованса, потом нахлынула тьма, лишь где-то очень далеко угадывалось передвижение гигантских табунов лошадей. Комиссар полиции дю Шатле просил арестованного ложиться спать, но прежде велел ему снять штаны.

— Так вы не убежите, — сказал он...

Польшов покорно разместился на нижней полке, а в его усталой голове пульсировал, словно метроном, банальный мотив: «Не играл бы ты, дружок, не остался б без порток...»

— Мне вся эта история кажется забавной. Зачем мне ваш почтовый вагон, если я человек богатый и никогда в жизни не ездил в подобных «микстах», сразу за паровозом.

К оконному стеклу жарко прилипали раскаленные искры из трубы локомотива, рвавшегося на север Европы.

— Бросьте! — отмахнулся дю Шатле. — По прибытии в Брюссель вы расскажете мне все. И перестаньте изображать передо мною русского Талейрана, о потере которого будет скорбеть вся мыслящая Россия... Я ведь еще не спрашивал вас, кто вы такой и откуда вы свалились на попечение бельгийской полиции.

— Не мешайте спать, — резко ответил Польшов.

Он закрыл глаза, и ему виделся белый город на берегах великой русской реки. Вечером улицы наполняли визг и скрежет старого ржавого железа — это купцы, подсчитав выручку, запирали дедовские замки амбаров, и разом начинали лаять собаки, которых до утра спускали с цепи. А на фоне этого патриархального декора русской провинции выросло сказочное видение образцового гроба, который мастер-искусник украсил резьбой и всякими завитками, как кондитер украшает праздничный торт цукатами и орешками. Наконец Польшову виделся и он сам, юный лицеист, вылезающий из этого гроба, наполненного стружками. А над конторой похоронных принадлежностей пыжилась вывеска: «Мещанинъ С.В. ПРИДУРКИНЪ. У него лучшие гробы в мире...»

Ничего не понятно! Но все прояснится потом.

## 2. Выдать его с потрохами

До создания международной полиции (ныне знаменитого ИНТЕРПОЛа) человечество еще не додумалось. Но в полицейской практике государств Европы уже существовал обычай делиться информацией о розыске преступников. Полиции любезно обменивались приметами рецидивистов, в их розыске уже применялось фотографирование, но дактилоскопия еще не завоевала должного авторитета среди криминалистов. Впрочем, в брюссельской тюрьме Польшова сфотографировали в фас и в профиль, даже взяли отпечатки пальцев. Однако полицейские архивы столиц Европы не подтвердили польновских данных по своим картотекам. На проверку ушло немало времени, после чего дю Шатле пожелал видеть Польшова. На этот раз комиссар полиции выглядел явно озабоченным:

— Что вы делали в швейцарском Монтре?

— Когда?

— Весною этого года...

Польшов прежде как следует обдумал ответ:

— Я догадываюсь, почему вы спросили меня о Монтре... Да, там была уличная перестрелка, в которой оказался замешан какой-то русский. Но я ведь не русский, а выдавал себя за чиновника царского посольства для собственного удобства.

Дю Шатле, кажется, начинал устраивать и такой вариант легенды. Он угостил Польшова отличной сигарой.

— В конце-то концов, — сказал он, — правительству моего короля ваша судьба глубоко безразлична. Престиж бельгийской полиции не пострадает, если вы избежите когтей нашего кодекса. Тем более что содержимое вашего саквояжа уже полностью возместило потери того почтового вагона...

— К которому я не имею никакого отношения!

— Ладно, ладно, — примирительно проворчал комиссар. — Не старайтесь меня профанировать. Мы, бельгийцы, придерживаемся в Европе добрых отношений со всеми странами, и нам совсем не хотелось бы вызывать лишнее раздражение Берлина.

— Не понял вас, господин комиссар.

— Сейчас поймете. Эта прошлогодняя история с налетом на банк в Лодзи берлинским криминалистом кажется связанной с ограблением частного банка в Познани... А — вам?

Польшов неуверенно хмыкнул.

— Напрасно изображаете равнодушие, — заметил дю Шатле. — Вам предстоит потерять его, если узнаете, что берлинский полицей-президиум потребовал вашей выдачи — как рецидивиста,

свершившего преступление в Германии, и мне жаль вас, — сказал комиссар, — ибо на Александерплац вас ждут серьезные испытания.

На этот раз Польшов путешествовал не в «миксте», а в немецком вагоне для арестантов, втиснутый в клетку, как опасный зверь. Берлина он так и не увидел, прямо из вагона перемещенный в тюремный фургон, а из фургона был сразу же пересажен в камеру. Возле двери этой камеры Польшов невольно остановился, задержав внимание на ее нумерации.

— Тридцать шестая? — удивился он. — Уж не расплата ли за игру в рулетку? Впрочем, я не рассчитывал на ваш юмор.

Свирепый удар кулаком в затылок обрушил его на асфальтовый пол, отполированный до нестерпимого блеска. Польшов оказался в знаменитой тюрьме Моабит, где очень высоко оценивали чистосердечное признание, не беспокоясь о том, какими способами это признание достигается от человека... Поднявшись с пола, Польшов вытер кровь с разбитого лица.

— Ставлю на тридцать шесть! — прошептал он себе. — А иначе и не стоит играть... Только бы не забыть этот дурацкий номер счета в банке Гонконга: XVC-23847/A-835...

.....

После месяца допросов он был уже развалиной, и никто бы не признал в нем того импозантного господина, который выдавал себя за процветающего дипломата. Вместо лица образовалась разбухшая маска, губы едва двигались, а нестерпимая боль в ребрах не давала ему выспаться. Наконец следователь Шолль отбил ему почки, и однажды Польшов с ужасом заметил, что в его моче появилась кровь... Соседние камеры занимали два уголовника, которые, сочувствуя Польшову, надоумили его:

— Вас очень скоро доведут до крайности, потому лучше сознаться. Только не вздумайте объявлять голодовку, в Моабите таких нежностей не понимают. На пятый день вам загонят под хвост такой питательный зонд, что вы согласитесь жрать даже поджаренное дерьмо, поданное вам на сковородке.

— Мне не в чем сознаваться, — ответил Польшов.

— В этом случае выгоднее для здоровья придумать себе любое преступление, лишь бы избавиться от криминальных услуг Александерплаца... Вы, кстати, мало похожи на немца. Не лучше ли вам сразу потребовать выдачи на родину?

— Боюсь, что на родине я буду сразу повешен.

— Тогда... желаем сохранить мужество!

Следователь Шолль топтал Польшова ногами:

— Нам плевать на тот льежский вагон и на все, что случилось в русской Лодзи! Но мы должны знать, куда ты подевал наши деньги из познанского банка? Так отвечай, отвечай, отвечай...

Уставая бить Полынова, он потом говорил ему:

— Мне уже надоела возня с вами. Не забывайте, что улики против вас не требуют дополнений. Страхочные «цугалтунги» в сейфах банков как в Лодзи, так и в Познани были обезврежены одинаковым приемом. Бельгийский комиссар дю Шатле оказался столь расположен к нам, что переслал из вашего саквояжа... нет, не деньги! Мы получили от него набор инструментов, которым вы открывали сейфы, а все эти отмычки явно русского происхождения. Так я еще раз спрашиваю — кто вы?

Полынов вдруг страшно разрыдался. Кажется, начинался кризис, и Шолль, подойдя к нему, плачущему, постукивая его пальцем по плечу, внушал как педагог раскаявшемуся ученику:

— Мы догадываемся, что вы — поляк или русский. Но вы никак не должны надеяться, что газета «Форвертс» обеспокоится вашей судьбой. В глазах немецких политиков вы всегда будете оставаться только грабителем, презренным вором, недостойным даже примитивной жалости обывателя... Если у вас в России привыкли взрывать, убивать и грабить, то здесь, в старой добропорядочной Германии, этот номер не пройдет... Назовите себя!

— Я ничего не знаю. Мне очень нехорошо.

— Из какой ты страны, вонючая сволочь?

— Я ничего не помню, — отвечал Полынов рыдая...

Шолль бил его по голове тяжелым пресс-папье.

— Пойми! — доказывал он. — То, что случилось в Бельгии с этим экспрессом, нас мало волнует. Зато мы должны заверить нашу общественность, что преступление в Познани раскрыто, а преступник понес наказание... Ну? Пять лет тюрьмы... ты слышишь? Всего-то пять лет! Обещаю из Моабита перевести тебя в Мюнхенскую тюрьму. Отличная жратва. Вентиляция в камерах. Прогулки и переписка. Говори же... ну? Говори, говори, говори!

— Меня в Познани никто не видел, — отвечал Полынов...

Комиссаром по криминальным делам в Берлине был граф фон Арним — холеный аристократ, внешне напоминающий британского милорда. Невозмутимо он выслушал доклад следователя Шолля:

— С этим упрямым идиотом, мне думается, дело гораздо серьезнее, нежели с обычным взломщиком. Очевидно, у него имеются основательные причины для того, чтобы молчать о себе. Сейчас он уже полностью падшая личность, часто плачет на допросах и остается силен только в одном — в своем молчании.

— У вас сложились какие-либо выводы? — спросил граф.

— Подозрения! Я подозреваю, что это... провокатор, каких департамент тайной полиции Петербурга немало содержит в городах Европы для наблюдения за эмигрантами-революционерами. Но, кажется, он решил подзаработать на уголовщине, а теперь, пойманный, страшится

разоблачения. Не здесь ли причина его упорного запираательства на допросах и ссылки на потерю памяти?

Граф фон Арним через окно оглядел Александерплац, где ерзали на повороте трамваи, спешили по своим обычным делам берлинцы, а дамы придерживали в руках края своих юбок, чтобы не подметать ими панели. Граф задернул на окне плотную штору.

— Не спорю, — было им сказано, — тут что-то есть... Сегодня я как раз ужинаю в «Альтоне» с господином Гартингом и надеюсь: он поможет нам разобраться в этом случае. Но, если он русский, как вы полагаете, нам предстоит выдать его на расправу в Санкт-Петербург... со всеми его отбитыми потрохами!

Гартинг в ту пору возглавлял работу царской «охранки» в Берлине, за что и получил недавно от кайзера орден Красного Орла. Гартинг согласился повидать преступника, чтобы рассеять сомнения своих германских коллег по ремеслу.

Свидание состоялось в камере для адвокатов.

— Нет, я не адвокат, — заявил Гартинг. — Я представляю солидную «Армендирекцион», попечительство о бедных не только в больницах Берлина, но и в тюрьмах. Насколько нам известно, у вас нет ближайших родственников в Германии, но мы крайне заинтересованы в их розыске, дабы помочь вам...

— Не старайтесь схватить меня за язык, — сразу пресек его Польшов. — Я плевать хотел на все ваши попечительства! А родственников у меня — как у серого волка в темном лесу...

Гартинг потом говорил фон Арниму:

— Нет, эта лошадка не из нашей конюшни, и под каким седлом она скачет — неизвестно. Скорее технически образованный взломщик, каких в Европе немало... Не исключено, — добавил Гартинг, — что лодзинские пэпэсовцы попросту наняли его для экска, чтобы он исполнил ту работу, на которую сами они не способны...

Польшов словно подслушал это мнение Гартинга, настойчиво требуя вызова к следователю. Шолль, конечно, не отказал ему в свидании, догадываясь, что дело идет к концу.

— Не хватит ли нам заниматься болтовней? Мне, честно говоря, давно жаль того гороха, который ты пожираешь с казенной похлебкой. Выдворить тебя из Германии ко всем чертям — вот лучший способ избавиться от лишних бумаг, и на этом давай дело закроем. Называя страну, которая произвела тебя...

Польшов сказал, что решил сознаться:

— Да, я — русский, и прошу выдать меня России, где, я рассчитываю, со мной разберутся лучше, нежели в Берлине.

— Давно бы так! — обрадовался Шолль. — Тем более между нашим кайзером и вашим царем имеется благородная договоренность



о выдаче преступников. Мы просто не успеваем перекидывать через шлагбаум ваших социалистов...

Полынов — неожиданно! — проявил знание международного права, гласившего, что выдача преступника возможна лишь в том случае, «если деяние является наказуемым по уголовным законам как того государства, от которого требуется выдача, так и того государства, которое требует его выдачи».

— Отчасти я знаком с этим вопросом... как дипломат! — криво усмехнулся Полынов. — Хорошо извещен о решении королевской комиссии Англии от 1878 года, приходилось листать и Оксфордскую резолюцию о выдаче беглых преступников. Юридическая неразбериха начинается именно с того момента, когда уголовное преступление пытаются отделить от политического. Памятуя об ответственности, я снимаю с себя всякие подозрения в принадлежности к политике, желая очастливить свое отечество возвращением лишь в амплу уголовного преступника.

Следователю пришлось здорово удивиться:

— Послушайте, кто вы такой? Черт вас побери, но я впервые встречаю грабителя, который бы цитировал мне статьи международного права... Назовитесь хоть сейчас — кто вы такой?

Полынов в ответ слегка поклонился:

— Вы уже добились от меня признания в том, что я русский подданный. Так оставьте же для царской полиции большое удовольствие — установить мою личность.

— Хорошо, — призадумался Шолль. — Но я желал бы, чтобы у вас о нашей криминаль-полиции сохранились самые приятные воспоминания.

— В этом не сомневайтесь, — обещал ему Полынов.

Следователь, кажется, не проникся его юмором:

— Думаю, в России вас обработают еще лучше нас...

.....

На запасных путях пограничной станции Вержболово немецкая криминаль-полиция передала его русской полиции. Снова тюремный вагон с решеткою на окне, но теперь в окне виделось совсем иное: вместо распластанных, как простыни, гладких шоссе пролегли жалкие проселки, вместо кирпичных домов сельских бауэров кособочились под дождями жалкие избенки. И над древними погостами усопших предков кружило черное воронье...

В двери вагонной камеры откинулось окошко, выглянуло круглое лицо солдата, он поставил кружку с чаем и хлеб.

— Ты, мил человек, не за политику ли страдаешь?

— Нет. Я кассы брал. Со взломом.

— Хорошо ли это — чужое у людей отымать?

— Затем и поехал в Европу, чтобы своих не обидеть.

— Тебя зачем в Питер-то везут?  
 — Вешать.  
 — Чаво-чаво?  
 — Повесят, говорю. За шею, как водится.  
 — Так надо бы у немцев остаться. Они, чай, добрее.  
 — Все, брат, добренькие, пока сундуков их не тронешь. Тут политика простая: мое — свое, твое — не мое.  
 — И я так думаю, — сказал солдат. — Ты мое тока тронь, я тебе таких фонарей наставлю, что и ночью светло покажется...  
 Поезд, наращивая скорость, лихорадочно поглощал нелюдимые пространства, и кружило над погостами воронье. «Bankó, bankó, bankó», — отстукивали колеса, а в памяти Полынова навсегда утвердился загадочный № XVC-23847/A-835.  
 ...Вацек не ошибался: этот человек способен на все!

### 3. В сладком дыму Отечества

Молодой штаб-ротмистр Щелкалов встретил его в кабинете, стоя спиной к черному вечернему окну, в квадрате которого соблазнительно пылали фееричные огни Петербурга.

— Поздравляю с прибытием, — начал жандарм приветливо. — Как помнится всем из гимназической хрестоматии, «и дым отечества нам сладок и приятен». Итак, вы снова в любезных сердцу краях, а посему стесняться вам уже нечего. Конечно, вы ехали сюда, заранее решив, что говорить с нами не станете... Ведь так?

— Примерно так, — не возражал Полынов.

Щелкалов уселся в кресле, спросив душевно:

— Между нами. Как там условия в Моабите?

— Дрянные. Много бьют и мало кормят.

— А в наших «Крестах»?

— Лучше. Но похоже на монастырь для грешников.

— Что делать? Пенитенциарная система. Испытание человека одиночеством. Вас оно не слишком угнетает?

— Да нет. Спасибо. Я люблю одиночество.

— А почему любите, позволю спросить вас?

— По моему мнению, человек бывает сильным, когда становится одинок. Одиночка отвечает только за себя. В толпе же индивидуум обречен жить мнением толпы... стада! А лучшие мысли все-таки рождаются в трагическом одиночестве.

Щелкалов не стал ломать голову над сказанным ему:

— В некоторой степени все это отрывка нищестанства. Правда, я не большой знаток всяких там философий. Но кое-что, признаться,

почитывал... Хотя бы по долгу службы. Можно я буду называть вас по имени-отчеству? Кажется, Глеб Викторович?

— А мне все равно. И вам тоже. Вы ведь, господин штаб-ротмистр, сами догадываетесь, что это мое фиктивное имя.

— Может, представитесь подлинным? Я, как следователь, обязан выяснить, кто вы такой... Наверное, социалист?

Эта фраза привела Польшова в игривое настроение:

— Избавьте! Социалисты желали бы создать такой государственный строй, при котором я буду для них попросту вреден, и таких, как я, они постараются сразу уничтожить.

— Согласен, — кивнул Щелкалов. — Но существует немало оттенков общего недоброжелательства: безначальцы, махаевцы, анархисты и прочая «богема революций». Достаточно вспомнить взрыв ресторана «Бристоль» в Варшаве, взрыв бомбы в одесском кафе Либмана... Случайно не догадываетесь, чья это работа?

— Вы меня в свою работу не впутывайте, — твердо произнес Польшов. — Да, я знаком с учением анархизма, но целиком эмансипирован от какого-либо партийного контроля. По натуре я крайний индивидуалист и не только государство, но даже семью считаю уздой для каждого свободного человека. Поверьте, что нет еще такой женщины, которая могла бы повести меня за собой.

— Угадываю штирнеровские мотивы с его постулатами священно-эгоизма... Ваше образование? — вдруг резко спросил Щелкалов.

— Я самоучка, — отметил Польшов.

— Определите поточнее свое политическое лицо.

— У меня лицо благородного уголовника с тенденциями полного раскрепощения свободной и независимой личности.

— Удобная позиция! — сказал Щелкалов со смехом. — Обчистили банк по идейным соображениям, а денежки остались эмансипированы от партийного контроля... Вернемся к делу. Я не верю в иванов, не помнящих родства. Как мне называть вас?

— Не лучше ли остановиться на том имени, под которым я был задержан бельгийской полицией? Впрочем, я все уже выbleвал из себя в Берлине, а дома я блевать не желаю.

Щелкалов водрузил длань на пухлое досье:

— Но по этим вот документам, присланным с Александерплац, из вас с трудом выдавили признание в национальности. Давайте не спеша разберемся в том, что произошло. Вас взяли за рулеткой, когда вы пожелали одним махом увеличить свои капиталы. Скажите, что двигало вами тогда? Для каких целей вы готовили это немалое состояние? Вы... молчите?

Польшов напряженно вздохнул:

— Я, конечно, глупо попался. Мне надо бы махнуть в Канаду или затеряться в Австралии, а я, как наивный глупец, полез прямо в Монте-Карло... Чего я там не видел, спрашивается?

— Вы не ответили на мой вопрос, а ведь он по существу дела, — напомнил Щелкалов. — Если вы добывали деньги, чтобы разъезжать по курортам, кутить с красивыми женщинами и наслаждаться, — это статья чисто уголовная. Но, если вы шли на смертельный риск, дабы добыть средства для какой-либо революционной партии, — тут статья другая, и вы предстанете передо мною в иной ипостаси. Отчего изменится и мера наказания...

Ответ Польшова прозвучал иносказательно:

— У каждого из дьяволов есть собственный ад, и в этот личный ад не посмеет войти даже Вельзевул!

— Я все-таки склонен думать о ваших лучших намерениях, — настаивал Щелкалов. — Согласитесь, что экссы дискредитируют революции, заодно оправдывая в глазах обывателя все суровые репрессии правительства против революционеров.

— Логично, — согласился Польшов. — Но ко мне логика вашего жандармского мышления никак не относится.

— Из этого ответа я понял, что вам сейчас выгоднее остаться в облике взломщика, нежели предстать перед судом идейным человеком... Я не ошибся? — тонко подметил штаб-ротмистр.

Польшова даже передернуло.

— Оставим это! — раздраженно выкрикнул он. — Беру на себя почтовый вагон льежского экспреса, и этого достаточно.

Щелкалов нагнулся и достал из-под стола саквояж, из которого принялся вынимать воровские инструменты — они были на диво блестящими и отточенными, подобно хирургическим.

— Хорошо. От статьи политической возвращаемся к уголовной, и здесь я вынужден признать, что вы работали как опытный профессионал. С почтовым вагоном все ясно. Познать мы пока оставим в покое, как чужой для нас город... Но... Лодзь?

Польшов вдруг торопливо заговорил:

— Вы правы, лучше не касаться политики. Да, я принимал участие в налете на Коммерческий банк Лодзи, но, поверьте, никакого отношения к тамошним революционерам не имел. Просто они наняли меня как опытного взломщика для вскрытия сейфа, обещая мне три процента со взятой с кассы банка суммы.

— И после того, как эта касса банка вами была вскрыта, вы взяли все сто процентов выручки и скрылись?

— Не дурак же я, чтобы соваться в общий зал, где косили публику, как траву. А этих пэпээсовцев я, клянусь, знать не знаю, я даже лиц-то их не запомнил...

Щелкалов подумал и вдруг развеселился:

— Слушайте, вы случайно не ярославский ли?

— Почему вы так решили? — испуганно спросил Польшов.

— По выговору. На сегодня закончим...

Полынов поднялся и направился к дверям. Прямо в спину ему, уходящему, жандарм врезал одно лишь слово, но такое убийственное, словно всадил острый нож под лопатку:

— Инженер!

Полынов, уже берясь за ручку дверей, повернулся:

— Простите, это вы мне?

— Вам, вам, вам, — говорил Щелкалов, подходя к нему. — Не хватит ли врать? Или вам казалось, что после Брюсселя и Александерплац вам уже все нипочем? А здесь сидят русские придурки, которых вы обведете вокруг пальца. Я вытрясу из вас душу, но дознаюсь до истины. Вы там, в банке, оставили труп своего товарища. Да мы кое-кого уже взяли. Повесим! Так что не обессудьте, если веревка коснется и вашей шеи...

Вернувшись к столу, штаб-ротмистр наскоро записал на отрывном календаре: «Холодная жестокость. Изворотлив, аки гад подколодный. Первое впечатление даже хорошее, но оно испорчено противным взглядом. Впрочем, такие вот негодяи, очевидно, всегда нравятся женщинам — именно чистым и непорочным...»

---

Департамент полиции недавно возглавил Алексей Александрович Лопухин, человек умный и решительный (позже он передал революционерам данные о провокаторах, работавших в их подполье, был изгнан со службы, публично ошельмован и сослан, а закончил свою жизнь банковским служащим в СССР).

Через стекла пенсне Лопухин взирал на Щелкалова.

— Что за ерунда! — фыркнул он. — Убежденный человек идет на экс, рискуя башкой, а когда банк взят, удирает с наличными, как последний жулик... Выяснили, кто он такой?

— Молчит, будто проклятый, и боюсь, что в этом вопросе он всегда будет уходить от ответа. Попробую поднять архивы прошлых лет департамента, — обещал Щелкалов, — может, что-то и проявится существенное с этой «Железной Маской».

Поразмыслив, штаб-ротмистр навестил тюрьму «Кресты» на Выborgской стороне Петербурга, переговорил со старшим надзирателем, выведывая у него о настроении Полынова.

— Особенно ничего не замечено. Претензий не заявлял. Характер спокойный. От прогулок иногда отказывается, а гуляет подальше от политических. Вроде бы он сторонится их...

Щелкалов просил отвести его в камеру Полынова:

— В этой же камере когда-то уже сидел некто, который, подобно вам, желал остаться неизвестным. Он даже купил себе канарейку, чтобы она услаждала его духовное томление. Знаете ли вы, чем он расплатился за свое молчание?



— Чем?

— Мы просто сгноили его в одиночке. Не хочешь называть себя — ну и черт с тобой — подыхай, если тебе так хочется. Ваше счастье, что полицию возглавил Лопухин, и он, человек гуманных воззрений, не пожелает оставаться в истории вроде Малыты Скуратова, а вам я не советую оставаться самозванцем.

— Ну, — откликнулся Польшов, — если я и Дмитрий Самозванец, то, поверьте, не из захудалого рода дворян Отрепьевых...

Щелкалов вечером позвонил в «Кресты»:

— Доложите, каково было состояние моего подследственного после того, как я визитировал его в одиночной камере.

— Он вдруг развеселился и просил купить канарейку...

Щелкалов вскоре вошел к Лопухину с очередным докладом:

— Кажется, я ухватился за хвостик этой веревки. Как вам известно, при экспроприации в Лодзи был некто по кличке «Инженер». Теперь, перерыв архивы полиции, я обнаружил, что пять лет назад в «Крестах» сидел тоже некто...

— Кто же именно? — спросил Лопухин.

— В столичном свете он был известен под именем Ивана Агапитовича Боднарского, а среди приятелей просто Инженер.

— Любопытно. Дальше!

— Боднарский приехал в Санкт-Петербург из какой-то провинции, владел языками, имел отличные манеры, пользовался большим успехом у женщин. Из рассказов же его получалось так, что он хорошо знает всю Европу, не раз бывал в Южной Азии и даже во французском или испанском Алжире...

— Дальше!

— В столице он держал частную техническую контору под вывеской «Чертежная», но брался за любое дело — вплоть до изготовления секретных замков и казенных штемпелей. Успех в обществе помог ему выйти в чин коллежского асессора.

— Дальше!

— На этом волшебная феерия закончилась. Известно лишь, что Боднарский оказался самозванцем. Никакого технического образования не имел. Но следствие так и не дозналось, откуда он взялся и каково его подлинное имя. В деле сохранились сомнительные догадки, что мать его, кажется, полячка из Гродно, урожденная пани Целиковская... Но это тоже предположение.

— Слишком много версий и ничего определенного, — сказал Лопухин. — А куда же этот самородок делся?

— Бежал с помощью уголовников. Но в делах по экзамам мелькают клички: «Инженер», «Король», «Пан» и «Рулет».

Лопухин долго протирал стекла пенсне:

— Если это и роман, то должна быть сноска петитом, как указывают в журналах: «продолжение следует».

— Продолжение следует! Столичный доктор Бертенсон однажды повстречал Боднарского в Монте-Карло, где Инженер играл. Причем, как вспоминал Бертенсон, он ставил сразу на тридцать шесть, чего нормальный человек никогда делать не станет.

— Как сказать, — поежился в кресле Лопухин. — Может, на тридцать шесть и ставят самые нормальные... Все равно с этим пора кончать! Завтра я сам поговорю с ним!

Встреча состоялась, и Алексей Александрович даже не предложил узнину сесть, оставив его стоять посреди кабинета.

— Я не спрашиваю вас, почему вы впали в крайности уголовщины. Мне уже наплевать, кто вы — самозванный инженер Боднарский или же самозванный дипломат Полюнов... Вопрос о вашей судьбе отлично разрешает статья девятьсот пятьдесят четвертая Уложения о наказаниях Российской империи, карающая за сокрытие имени, природного звания и места жительства.

— Благодарю — не ожидал! — усмехнулся Полюнов.

— Не спешите благодарить, — ответил Лопухин. — В совокупности с этой статьей дарим вам статью, карающую грабительство со взломом. В общем итоге это составит наказание не в четыре, а уже в пятнадцать лет каторжных работ.

Полюнов сказал, что у него есть просьба:

— Я согласен и на пятнадцать лет каторги, только избавьте меня от общения с политическими, болтовни которых о свободе, равенстве и братстве я органически не выношу.

Лопухин правильно рассудил, что у этого человека имеются серьезные причины избегать встреч с политическими ссыльными даже на каторге. Он поиграл портсигаром и сказал:

— Вашу просьбу исполню: вы будете сосланы туда, где политических считанные единицы. Сахалин — вот это место!

Щелкалов распорядился заковать Полюнова в кандалы:

— Готовя салат, не следует забывать об укусе.

— Вы правы, — ответил ему Полюнов. — Но вы забыли, что любой вкуснейший салат можно испортить избытком укуса...

Его заковывали перед отправкой в Одессу, но при этом Полюнов хитрым «вольтом» сунул кузнецу сорок рублей.

— Чтобы на штифтах, — тихо шепнул он ему.

Тюремный кузнец, получив взятку, не стал заклепывать кандалы, а скрепил их штифтами, которые при случае легко вынуть, чтобы избавиться от кандалов. Но сделаны эти штифты были столь искусно, что выглядели очень прочными заклепками.

- Ты куда? — спросил кузнец, закончив работу.
- На Сахалин.
- Наплачешься там.
- Ничего. Люди везде живут.
- Ну, валяй с богом... живи!

Из допросов Полюнов понял, что «боевка» Вацека разгромлена, а на Сахалине «политические» вряд ли его знают. Там он не встретит ни Юзефа Пилсудского, ни тем более Глогера...

## 4. Русский «великий трек»

Если у американцев был Дикий Запад, то у нас был Дикий Восток, и наш российский «великий трек» к Тихому океану выглядел опаснее и намного длиннее «великого трека» Америки, которая однажды, громыхая фургонами, устремилась к выжженным прериям западных штатов. За исторически краткий срок русские прошли всю Сибирь, освоили Колыму, Курилы и Камчатку, перемахнули океан под парусом и на веслах, стали соседями краснокожих на Аляске, граничили с испанскими владениями в Калифорнии...

Да, это был воистину «великий трек»!

Иностранцы не отрицают величия подвига русских землепроходцев, которые со времен Ермака быстро достигли тех мест, где сейчас буйно пульсирует жизнь американского Сан-Франциско. Оксфордский профессор Джон Бейкер писал, что «продвижение русских через Сибирь в течение XVII века шло с ошеломляющей быстротой... на долю этого безвестного воинства достался такой подвиг, который навсегда останется памятником его мужеству и предприимчивости, равного которому не совершил никакой другой европейский народ». Но остров Сахалин, лежащий, казалось бы, совсем рядом с Россией, мы, русские, освоили гораздо позже, нежели Аляску, Камчатку, Курилы и Калифорнию...

---

Наши далекие предки не сомневались в том, что Сахалин является островом, отделенным от материка узким проливом. Но карты старых времен затерялись (или были похищены), в Европе сложилось мнение, будто Сахалин — полуостров, и ученые Петербурга поверили в это. Знаменитый мореплаватель Лаперуз своим авторитетом утвердил невежество в географии, и только подвиг моряков Геннадия Невельского рассеял туман роковых заблуждений над кошмарною узостью Татарского пролива.

Впрочем, такое название — тоже ошибка! Отделяющий Сахалин от материка, этот пролив никакого отношения к татарам не имеет.

Европа долгое время считала, что где-то у черта на куличках, далеко за Сибирью, процветает легендарная страна «Татария», и Лаперуз, веривший в эту мифическую страну, так и назвал пролив — Татарским. Правда, история позже внесла незначительную поправку: самое узкое место Татарского пролива нарекли проливом Невельского. Нас уже не смущает, почему на картах Дальнего Востока встречаются названия, странные для русского слуха. Когда Лаперуз проплывал мимо черного мыса (где позже светил кораблям маяк «Жонкьер»), он воскликнул, обращаясь к спутнику:

— Мичман де ла Жонкьер, вот мыс вашего имени...

Напротив Сахалина он отыскал удобную бухту.

— Лейтенант де Кастри, вот залив вашего имени...

Мы привыкли к этим названиям и не станем менять их, как не меняем и названий тех мест, какие давал Невельской — по именам офицеров своего корабля. Само же слово «Сахалин» — маньчжурское, так называли безлюдный островок, никакого отношения к нашему Сахалину не имеющий.

Кому же принадлежала эта странная земля?

В документах XVII века маньчжурской династии Цин, правившей в Китае, Сахалин не упоминается в числе китайских владений. Японцы же иногда приплывали на Сахалин, но только летом, а зимовать возвращались на теплую родину. Сахалин населяли гиляки (нивхи), ороконы и айны. Со слов этих аборигенов было известно, что в далекие времена среди них уже проживали русские. Туземцы даже сохранили листок из Псалтыря, на полях которого были перечислены в поминание православные имена: Иван, Данила, Петр, Сергей, Василий. Спутники Невельского нашли на Сахалине селения, в жителях которых внешний облик, язык и повадки, даже предметы быта чем-то напоминали родное — русское. Аборигены не отрицали, что их предки еще в древности породнились с русскими, пришедшими «Вон оттуда!» — и показывали руками на запад...

Айны называли японцев словом «сизам». Русским морякам они рассказывали: «Сизам спит, айно работает, айно не хотел работать — сизам его больно бил». Изредка в лесах встречались японские амбары, набитые ценными мехами, награбленными у местных жителей, на дверях висели замки, честность же гиляков и айнов была такова, что замок мог ржаветь годами, и никто его даже не тронул. В 1852 году на Сахалине побывал лейтенант Н.К. Бошняк и обнаружил там несколько выходов угля.

В 1857 году был заложен на Сахалине первый пост — Дуэ, началась добыча каменного угля для нужд русского флота. Отношение к природе на Сахалине было тогда самое хищническое, древние леса постоянно трещали пожарами, а жители острова даже не обращали на них внимания, говоря так:

— Велика ль беда? Догорит до речки и сам потухнет...

В царствование Александра II назрели две насущные проблемы, казалось, неразрешимые: отсутствие свободных земель, отчего в народе возникала бескормица, и нехватка тюрем, где узники спали буквально друг на друге. Министры докладывали императору:

— Тюремный вопрос в России — один из насущных вопросов современной жизни. Если остроги в Сибири уже перегружены арестантами, то никак не лучше положение и в каторжных тюрьмах европейской части империи. Нельзя, чтобы торжественный фасад великой державы открывался тюремными воротами. Требуется решение, дабы в корне изменить эту позорную и неприглядную ситуацию...

Вот тогда-то взоры сановников обратились к далекому Сахалину, и вскоре сложилось официальное мнение!

— О чем долго говорить? — рассуждали в сенате. — Французы заселили Новую Каледонию преступниками — и теперь там живут как у Христа за пазухой. Англичане всех своих жуликов выслали без лишних разговоров в Австралию — и теперь там возникла богатейшая колония, кормящая ту же Англию... Разве мы не можем повторить сей опыт на примере нашего Сахалина?

В 1869 году с кораблей сошли на берег острова первые каторжане, и, если верить очевидцам, многие из них горько рыдали, увидев, куда они попали. Но вместе с каторжанами заливались слезами и конвойные солдаты, их охранявшие... Чехов, подплывая к Сахалину, тоже испытал щемящее чувство тревоги, ностальгии, отчасти даже страха. В самом деле — картина была жуткая. Силуэты мрачных гор окутывал дым; где-то поверху, вровень с небесами, клокотали языки пламени от лесных пожаров; свет маяка едва проницал этот ад, а гигантские киты, плавая неподалеку, выбрасывали струи парящих фонтанов, куврякаясь в море, как доисторические чудища. Но если было неуютно даже писателю Чехову, то какво было видеть эту картину каторжанам, которым предстояло здесь жить и умирать? Не тогда ли и сложились их знаменитые поговорки о Сахалине: «Вокруг море, а посередке — горе, вокруг вода, а внутри — беда...»

И если раньше в народе с ужасом произносили слова — Шилка, Акатуй, Нерчинск, Якутка, так теперь на Сахалине с содроганием говорили — Дуэ, Арково, Онор, Дербинка — это названия тюрем, вокруг которых быстро разрастались людские селения.

Но еще до появления каторжан на остров прибыли первые колонисты-добровольцы — вольные поселенцы, соблазненные обилием нетронутой земли, где нет исправника, нет и помещика. Эти наивные бедняги пришли сюда созидать новую жизнь — с детишками

и женами, с сундуками и барахлом, им обещали каждому по корове, по мешку зерна, чтобы могли засеять первое поле. Судьба их оказалась трагической! Людей высадили с корабля не там, где следовало, им пришлось прорубать просеку в тайге, чтобы добраться до своих «выселок». Повалил снег, ударили морозы, зерна им не дали. Кресты над могилами детей и женщин, выросшие вдоль этой просеки, отметили путь к свободе и сытости. Проведя зиму в землянках, колонисты по весне тронулись назад — жаловаться начальству, но их погнали обратно в тайгу.

— Что за жисть! — горевали они. — Из деревни нас выживают медведи да варнаки с ножиками, а из городов начальство гонит. Куды ж нам теперича? Али помирать? Спать ложишься, так не знаешь, встанешь ли живым? Скотинку боязно на выпас выпущать — прирежут и сожрут нехристи окаянные...

Эти поселенцы всегда жаловались на оторванность от родины, на грабежи и убийства, но не могли скрыть восторга от земельной свободы, от изобилия в реках рыбы, а в лесах всякой живности. Но уже начиналась иная колонизация — насильственная! Там, где рельсы железных дорог России кончались, каторжных сгоняли в неряшливые колонны и гнали пешком через всю Сибирь, пока не дотащат ноги до берегов Тихого океана. В конце трехлетнего пути ослабевших везли уже на телегах; в гуще озлобленных людей начиналось новое потомство; тут же, под кустами, рожали детей, на привалах резались ножиками, воровали друг у друга последние куски хлеба. Допотопные баржи выплескивали на берег Сахалина голодную толпу оборванцев с ошметками обуви на ногах, которые ненавидели Сахалин с того самого момента, как они разглядели его в пасмурной синеве моря.

В 1875 году Сахалин был признан законным владением России. С этого времени Сахалин спешно застраивался новыми тюрьмами, а полицейская бюрократия уже не могла справиться с огромной массой оголтелых преступников. Свистели в руках палачей плети, виселицы работали, кладбища росли, леса горели, звери разбежались, за бутылку спирта убивали. Россия и народ русский боялись Сахалина, как чумы, и осужденные на каторгу Сахалина часто калечили себя — только бы избавиться от ссылки. В ту пору даже смертная казнь казалась более легким наказанием...

Каторжный труд был рассчитан на истребление людей. Чтобы избавиться от непосильных работ, арестанты в зимние ночи высовывали через форточки руки, желая их отморозить, хлестали себя по голым телам жесткими щетками, дабы имитировать подозрительные сыпи на коже, настаивали чай или водку на махорке, после чего тряслись, как паралитики, а потом умирали. Каторга готовила могилы зара-

нее — сотнями сразу, чтобы потом не возиться с каждым покойником отдельно, некрашенные гробы тяжело плюхались в болотную воду. Наконец люди на Сахалине часто сходили с ума, и на острове пришлось завести дом для умалишенных.

Нет уж, скажу я вам: ни Каледония, ни Австралия, ни даже зловещая Кайенна не могли идти ни в какое сравнение с Сахалином, из которого в Петербурге мечтали создать «райский уголок». Правда, и среди каторжан находились честные труженики, образованные люди, а среди приезжих попадались романтики, вроде агронома Мицули, видевшего в Сахалине богатую почву для разведения колоссальных плодов, каких уже не могла породить истощенная почва Европы. Но все это были одиночки, они погибали в условиях каторги, умертвлявшей в людях все доброе, все живое...

— Да уже лучше виселица или погост, — говорили каторжане, — нежели я тут за пайку хлеба горбатиться стану!

В 1881 году, недалеко от рудников Дуэ, вырос и оформился административный центр острова — Александровск, который местные остряки прозвали «сахалинским Парижем». Тогда же из Владивостока протянули по дну океана телеграфный кабель до Александровска, и теперь военные губернаторы Сахалина обрели возможность лично требовать от великой матери-России того, в чем больше всего нуждалась Сахалинская каторга:

— Хлеба! Когда пришлете транспорт с мукой? Поймите же, что ссыльнопоселенцы, уже освобожденные из тюрем, теперь толпами возвращаются обратно в тюрьмы... Да, да, я не шучу! Жить в тюрьме им кажется слаще свободы, ибо в тюрьме худо-бедно, но миску баланды все равно получит. А на Сахалине он продал все, что имел. Иные продают своих жен, а матери торгуют дочерьми... Да я же не выдумываю вам сказки про белого бычка! Или вы сами не знаете, что такое каторга?..

Смертность людей, идущих по этапу через Сибирь, была столь велика, что впредь решили отправлять партии каторжан морем. Отправка на языке каторжан называлась «сплавом». На каждый год приходилось два «сплава»: весенний — для преступников мужчин, осенний — для преступниц женщин. Доставка арестантов на Сахалин была поручена кораблям Добровольного флота с военными командами, которые принимали свой груз в Одессе... Наверное, тогда-то и возникла эта отчаянно-залихватская песня:

Прощай, моя Одесса,  
веселый карантин.  
Мы завтра уплываем  
на остров Сахалин...

## 5. Мы завтра уплываем...

Одессу наполнял тонкий аромат апельсинов из Яффы, жареных каштанов, завезенных из Сицилии, в саду Форкатти оркестр беспечно наигрывал мотивы из опер Доницетти. Приезжие навещали французскую ресторацию на Екатерининской улице в доме Бродских, где за один рубль каждому подносили шесть блюд, чашку турецкого кофе и полбутылки вина.

С начала весны в недорогом номере гостиницы «Лондон» поселилась семья Челищевых, приехавшая из Петербурга, чтобы проводить молоденькую Клавдию Петровну на Сахалин. Мать, убитая горем, уже не снимала черного платья, словно несла глубокий траур, она комкала в руке черный кружевной платочек.

— Не знаю, не пойму, — часто повторяла она. — Как можно с юных лет безжалостно уродовать свою жизнь?

— Мамочка, — ответила ей Клава, розовощекая и статная девушка, — ну стоит ли горевать? Нельзя же ведь жить только для себя. Сейчас, как никогда, Россия нуждается в том, чтобы мы, молодые, всюду сеяли «разумное, доброе, вечное».

— Так кто же мешал тебе сеять разумное и доброе в самой России? Зачем тебе взбрело в голову ехать на Сахалин?

— Ах, мамочка, как ты не понимаешь? Бестужевки в России и без меня хватит, но я решила прийти на помощь всем страждущим Сахалина, где живут самые несчастные люди...

Мать раскрыла ридикюль, машинально проверив — не затерялся ли билет на пароход «Ярославль», отплывающий завтра утром с партией арестантов. Впрочем, билет дочери был первого класса, а столоваться она будет в общей кают-компании.

В разговор вмешалась тетка, заметившая сурово:

— Несчастных полно и в самой России, так стоит ли отдавать свои самые лучшие годы бандитам, ворами и всяким там прохвостам? Об этом ты, кажется, не подумала...

Молодой кузен в мундире технолога добавил:

— Я думаю, Клавушка, если бы ты не окончила Бестужевские курсы, где профессора на лекциях больше либеральничали, проливая слезу над бедным мужиком, тебе бы никогда не пришла в голову идиотская мысль о Сахалине... Порядочные люди не знают, как убежать отсюда, а ты едешь добровольно. Зачем?

К ним в номер заглянул молодой инженер-геолог Оболмасов, который за эти дни ожидания парохода сделался как бы своим человеком в семье Челищевых. Геолог тоже отплывал на Сахалин, но им управляла не бесплатная лирика сострадания к ближнему своему, Оболмасовым руководила, как он сам признавался, «осмысленная идея научно-экономического порядка».



— Сегодня очень хороший вечер, — сказал Оболмасов. — И не провести ли нам его совместно в саду Форкатти?

Мать поправила на его груди значок Горного института.

— Георгий Георгиевич... милый Жорж! — взмолилась она. — Я вижу в вас практичного и благородного человека. Ради всех святых, проследите за моей Клавочкой, помогите ей.

Оболмасов поцеловал руку матери, почти любовно он обозрел красоту и стать ее дочери.

— Анна Павловна, — отвечал он с выпревшим пафосом, — положите на меня... Вы абсолютно верно выявили суть моей природы, и я всегда останусь добрым рыцарем Клавдии Петровны, дабы оградить ее прелестную чистоту ото всего грязного и позорного, что будет окружать ее на Сахалине.

С утра раннего в порту Одессы полицейское оцепление сдерживало громадную толпу провожающих — жен, которые навсегда теряли мужей, матерей, которые уже никогда не увидят сыновей, невест, которым суждено выплакать глаза по своим женихам, отсылаемым на сахалинскую каторгу. Сколько тут было слез, истерик, выкриков, проклятий и заклинаний...

— Осади... осади назад! — покрикивали городовые.

«Ярославль» уже дымил у причала, иногда постанывая сиреной, словно желая поскорее оторваться от берегов. Наконец, портовые ворота распахнулись, в окружении конвоиров потянулась серая, галдящая, почти одноликая толпа арестантов. Слышалось надсадное бряканье кандалов, звон жестяных кружек у поясов, хохот и плач, матерная брань и нескромные прибаутки. Из толпы провожающих вырывались напутственные вопли:

— Сашенька, напиши сразу как приедешь!

— Никола, а ты сахарок не забыл ли?

— Поклон Юрке Жигалову, если его встретите.

— Сыночек, ждать буду... не помру без тебя...

— Осади! Осади назад!.. Я кому сказал?..

В этой громадной толпе, что растекалась сейчас по трапам и люкам, заполняя корабельные трюмы, были представители многих древнейших профессий: маравихеры — карманники, мокрушники — убийцы, блиноделы — фальшивомонетчики, торбохваты — базарные жулики, хомутники — душителы, костогрызы — неопытные воришки, чердачники — похитители белья, самородки — взломщики несгораемых сейфов, сонники — кравшие у спящих пьяниц, лапошники — взяточники, фармазоны — продавцы стекляшек под видом бриллиантов, паханы — скупщики краденого, субчики — альфонсы и сутенеры, скрипушники — воры на вокзалах, маргаритки —

мужчины-проститутки и педерасты, марушники — карманники по церквам и на кладбищах, шопенфиллеры — грабители ювелирных магазинов, халтурщики — ворующие из квартир, где имелся покойник, огольцы — дачные ворюги, наконец, в этой толпе были «от сохи на время» — воистину несчастные люди, невинно осужденные. А надо всей этой нестройной шатией, над «шпаною» и «кувыркалами» (мелочью, недостойной внимания), гордо возвышались рецидивисты и в а н ы — повелители тюрем и каторг, слово которых — закон для всех и которые готовы «пришить» любого, кто не исполнит их каприза. Вокруг же иванов, подобно адъютантам вокруг генералов, суетились жалкие «поддувалы» — на все готовые за пайку хлеба, всегда продажные, живущие крохами со стола своих озверелых суверенов...

— Шевелись, сволота поганая! — понукали конвоиры.

Клавдия Челищева и Жорж Оболмасов стояли в стороне, среди немногих пассажиров «Ярославля», ждущих посадки после погрузки арестантов, и, когда толпа каторжан миновала их, оставляя после себя дурной запах, Оболмасов сказал девушке:

— Ах, Клавочка! У меня определенные цели на Сахалине, потому в этой грязной массе преступных натур я усматриваю для себя лишь рабов для осуществления своих великих целей...

К пассажирам подошел любезный жандарм:

— Дамы и господа, одну минутку терпения. Сейчас доставят еще одного «самородка», после чего начнется ваша посадка.

Подкатила коляска, в которой преступник был стиснут по бокам двумя охранниками. На голове «самородка» расплзлась мятая бескозырка, бубновый туз на спине халата был чуть ли не бархатный, а кандалы излучали нестерпимый блеск, начищенные, видать, от тюремной тоски — ради пушного арестантского шика.

Оболмасов авторитетно пояснил Клавочке:

— Кандалы-то у него какие! Сверкают — словно бриллианты от фирмы «Фаберже»... Сразу видно особо опасного преступника. Такой и родную мать придушит. Сама природа озботилась, чтобы начертать на его лице следы жестокости и самых грязных пороков.

Это было сказано по-французски, и, к удивлению пассажиров, арестант живо обернулся. Кратким, но выразительным взором он сначала окинул Челищеву, затем приподнял над головой свою бескозырку, отвечая Оболмасову на отличном французском языке:

— Вы бездарный физиономист! Исходя из внешности Сократа, Цицерон считал его глупейшим женолюбцем. Простите, мсье, но на вашем самодовольном лице я свободно прочитываю следы дегенерации. Впрочем, советую на досуге почитать научный трактат «О выражении ощущений», написанный вели...

Тут конвоиры дали ему тумака по шее:

— Топай, топай... еще тары-бары разводит!

Арестант спокойно направился к трапу «Ярославля».

— Странный человек, правда? — спросила Клавдия.

— Интеллектуальная тварь, — ответил ей Оболмасов.

Инженер-геолог был отчасти шокирован тем отпором, который получил от преступника. Этим арестантом был конечно же наш Полюнов, а конфликт между ними уже определился...

Черное море миновали спокойно, в Константинополе была краткая остановка, чтобы высадить русских мусульман, спешащих на поклонение в Мекку, после чего громадный транспорт Добровольного флота тронулся дальше, а жара усиливалась...

Офицеры транспорта, веселая и беззаботная молодежь, явно радовались присутствию в кают-компании юной образованной женщины, которая окончила Бестужевские курсы, а перед отъездом на Сахалин сдала еще и экзамен на фельдшерицу.

— Мы, — говорили ей мичманы, — высоко ценим «души прекрасные порывы». Поверьте, нам порою бывает до слез жаль эту публику, но... что поделаешь? Служба есть служба.

Слева по борту приветливо мелькнули огни богатого Бейрута, потом долго стелились безжизненные пейзажи Палестины и Синая, дышать в этом зное становилось все труднее. Офицеры советовали Челищевой одеваться полегче, сами же они, как англичане, ходили в коротких шортах, носили пробковые шлемы.

— Только бы протащиться Красным морем, а за Аденom станет чуть легче... Не спрашивайте, что творится сейчас в трюмах, если невозможно дышать даже под тентами на верхней палубе. Но вам, Клавочка, повезло! Мы покажем вам земной рай Коломбо и Сингапура, вы увидите то, что дано видеть не каждому...

По ночам с палубы слышался надрывный визг железа. Челищева долго не понимала, что это значит. Но однажды, поднявшись на палубу, она увидела мертвецов, с которых корабельные кузнецы молотами сбивали звонкие браслеты кандалов. Старший офицер корабля, кавторанг Терентьев, просил ее удалиться:

— Идите, голубушка, в каюту. Вас это не должно касаться. Сегодня лишь четыре человека, а вчера было еще больше...

В помещениях третьего класса, где резво бегали тараканы, ехали «добровольно следующие», как именовались они в казенных бумагах. Это были жены и дети каторжан, уже сидевших по тюрьмам Сахалина, и теперь родственники плыли на далекий «Соколиный остров», дабы облегчить их участь в семейном кругу. Закон гласил: арестант, который обзаведется на Сахалине семьей, механически освобождается от тюрьмы, переходя в разряд «вольнопоселенцев». Вот они и плыли — среди

неряшливых узлов, среди жалких пожитков, собранных в дорогу. Одна из баб, укачивая на коленях младенца, горестно рассказывала:

— Говорила я сваму: не пей ты, не пей, не пей. А он — все за свое! Ну вот и пошел по убивству в драке-то деревенской. На праздник Святого Николы Угодника — стакан за стаканом. Дома-то таперича все прахом пошло. Посуды мне жаль, уж таки горшки были ладные, вместях на ярмонке покупали... Нонеча пишет вот мне: прости, Агафьюшка, что не слушал тебя, а коли не приедешь, так удавлюсь, и грех на тебя ляжет...

Молодуха в цветастом сарафане, явно деревенская щеголиха и сластена, задорно шелкала семечки, взятые ею в дорогу:

— А мой-то пишет, что корову начальство дало. Коль я приеду, так пороса сулятся дать. Огурцов там этих, репы да селедок — ешь не хочу! Теперь пишет, что уже полусапожки на московском ранте мне справил... прифасонюсь!

В кают-компаниях за обедом — иные разговоры. Сахалинский чиновник Слизов с некрасивой женой по имени Жоржетта возвращался из отпуска, рассказывая весьма откровенно:

— Будь он проклят, Сахалин этот, но... не оторваться! Уже засало. Опять же, посудите сами, служи я в России, на двадцать восемь рублей жалованья ноги протянешь. А в Александровске — деньги бешеные, пенсия приличная. Положение в обществе. Дров сколько угодно. Попробуйте нанять прислугу в Москве — она с вас три шкуры сдерет, да еще обворует. А на Сахалине я бесплатно беру из конторы пять каторжан сразу: извозчика, садовника, водоноса, дровосека, кухарку и... даже портного для моей Жоржеточки. И все даром, заметьте! Это ли не жизнь?

Чиновники нанимались служить на Сахалине, где с каждым пятилетием службы им прибавлялось жалованье, улучшались удобства жизни. Развращающе действовал полуторный оклад и «амурская» надбавка к жалованью. Но Терентьев уже шепнул Клавочке:

— Не верьте вы этим трутням! Не в силах создать свою судьбу в нормальных условиях материка, как они могут на Сахалине исправить искалеченные судьбы других людей? Губернатор Ляпишев сейчас их всех немного приструнил, а раньше такие же вот Жоржеточки кухарок и прачек насмерть засекали...

Оболмасов среди пассажиров держался несколько загадочно, словно его ожидала на Сахалине секретная миссия, но Терентьев все же вынудил его разговориться, спросив напрямик:

— А вас-то, юноша, что влечет в каторжные края?

Оболмасов, отвечая, заметно приосанился:

— Видите ли, господа, я решил вырвать монополию на нефть у фирмы Нобелей, дабы создать на Сахалине новый Баку! Сколько же

еще нам, русским, ковыряться с дровишками и закупками кардифа у жмотов англичан? С появлением двигателя внутреннего сгорания человечество перейдет на жидкое топливо. И мы, геологи, — упоенно говорил Жорж, — сейчас являемся передовыми разведчиками будущего. Мы уже видим Россию, фонтанирующую нефтяными скважинами, и тогда... К чему скрывать? — скромно сказал Оболмасов. — Я далеко не бескорыстен, как некоторые идеалисты. Я желал бы ворочать на Дальнем Востоке миллионами, как и Нобели на Кавказе, чтобы мой сахалинский керосин распалил лампы в избах мужиков — от Амура до самой Вислы...

С победным выражением геолог глянул на Клавочку Челищеву, а молодые мичманы даже похлопали ему в ладоши:

— Bravo, брависсимо! Но комаров на Сахалине такая же толпа, как и публики перед театром, когда в нем поет Федя Шаляпин...

С мостика передали доклад вахтенного штурмана:

— Прямо по курсу открылись огни маяков Порт-Саида...

Клавочка рискнула спуститься в нижние палубы корабля — под отсеками третьего класса, и там ее сразу охватила противная липкая духота. Матросы с винтовками и сумками для патронов у поясов, стоя у зарешеченной двери, твердо сказали:

— Сюда, барышня, никак нельзя. Мы и сами туда не ходим. Прирежут! А кто сдох, того мы за ноги через люк вытаскиваем...

Все было продумано заранее, и в случае бунта каторжан трюмы наполнялись раскаленным паром из корабельных котлов, чтобы люди сварились заживо, как бобы в закрытой кастрюле.

---

Молодость чересчур любопытна. Клавдия Челищева впервые плыла на таком большом корабле, для нее был соблазнительен этот мир железных и гулких лабиринтов, уводящих в темноту люков, возносящих к небесам трапов, тайна загадочных коридоров. В носу «Ярославля» узенький коридорчик завел ее в тесный форпик, огороженный решеткой. Часовых здесь не было, очень ярко светила лампа, а за решеткой сидел человек... тот самый!

В первый момент девушка даже испугалась:

— Это вы, сударь? Почему вас держат отдельно?

— Очевидно, я опаснее других, — ответил Польшов. — Для таких хищников, как я, требуется особая изоляция...

Он принял лицом к прутьям решетки, и Клавочка вдруг обомлела от взгляда его глаз — золотистых, как мед, почти янтарных, а в глубине зрачков иногда вспыхивали отблески, словно человек давно сгорал изнутри и не мог догореть. Польшов спросил:

— Мадмуазель спешит во Владивосток к жениху?

— Нет, я плыву только на Сахалин.

— По какой же статье о наказаниях? — спросил он.  
— По статье совести и гражданского долга.  
— Но такой статьи в собрании имперских законов нет.  
— Но она существует, даже неписаная, в душе каждого честного человека, если он желает быть полезен обществу.

Форпик размещался в самом носу корабля, и в нем было слышно, как форштевень сокрушает под собой волны.

— А вы не задумывались над вопросом, стоит ли наше общество того, чтобы ему служили? Вот, например, я, — высказался Польшов, — неужели вы способны услужить даже мне?

— Мне вас очень жаль, сударь, — искренно ответила Клавочка. — Если угодно, я согласна помочь вам. Но... чем?

— Я был бы чрезвычайно признателен вам, если бы вы узнали, нет ли в партии арестантов политических ссыльных.

— Я сама спрашивала об этом господ офицеров. И если вы страдаете за убеждения, вынуждена огорчить вас: на «Ярославле» плывут одни лишь уголовники, а политических нету.

Польшов кивнул. Челишева улыбнулась ему:

— Впрочем, могу вас порадовать... Случайно на этом корабле плывет один политический, о чем никто не догадывается.

Польшов нервно отпрянул прочь от решетки:

— Кто он? По какому процессу? Русский или поляк?

— Это я, — вдруг ответила Клавочка...

Рев сирены заглушил ее слова: «Ярославль» уже втягивался в обширные гавани Порт-Саида, чтобы взять угля и пресной воды, пополнить запасы искусственного льда для кают-компаний. Клавочка даже не пошла на берег, почти с ужасом ощутив, что она влюбилась в этого страшного человека, сидящего за решеткой форпика...

## 6. Приезжайте — останетесь довольны

С высокой колонны памятник Фердинанду Лессепсу как бы благословлял всех плывущих Суэцким каналом. Но для каторжан, которые уже не раз и не два — бежали с Сахалина, а теперь вдругорядь плыли этой же дорогой обратно, для них Лессепс означал новые страдания. Красное море встретило «Ярославль» сухими горячими ветрами, дующими из пустынь Аравии, мельчайший раскаленный песок забивал широкие сопла корабельных вентиляторов, дышать становилось труднее, с лиц матросов сползала кожа, а нежные губы женщин покрывались болезненными трещинами. Смертность среди арестантов в трюме сразу усилилась.

Старший офицер Терентьев, желчный и болезненный человек, удивлял Челишеву контрастами своей натуры: состояние мягкого

добродушия иногда сменялось в нем порывами самой необузданной жестокости. Напрасно часовые в трюмах давали тревожные звонки на вахту мостиков, призывая забрать умерших, кавторанг не обращал на эти звонки внимания, объясняя так:

— Здесь район оживленного мореходства, а трупы могут всплыть, привлекая внимание иностранцев. Пусть уж валяются на своих нарах, пока не выберемся в океан... там и покидаем!

Оболмасов сказал Клавочке за столом:

— Представляю, какой аромат сейчас в трюмах...

По давней традиции судов Добровольного флота, в Красном море начинали расковку кандалных, потом до самого Цейлона каторжан брили заново. Рецидивистам обривали правую часть головы, а бродягам, не помнящим своего родства, — левую. Но в преступном мире всегда немало причин, чтобы из одной категории виноватых перейти в другую, и скоро все уголовники ходили с головами, выбритыми одинаково — как с правой, так и с левой стороны.

— Не понимаю, — возмущался Оболмасов за ужином, — неужели в трюмах не было обыска? Откуда у них взялись бритвы?

— Голь на выдумки хитра, — пояснил Терентьев. — Берется крышка от жестяного чайника. Один край ее оттачивается как лезвие. После этого — извольте бриться...

В открытом океане полубморочных каторжан выводили из трюмов на верхние палубы, где матросы окатывали их забортной водой из пожарных «пипок». Так, наверное, на бойнях обмывают скотину, чтобы под разделочный нож мясника она поступала уже чистая. Каторжан стали выпускать из трюмов в отхожие места, расположенные наверху. Но охрана, вконец ошалевшая от жарыщи, ленилась конвоировать людей поодиночке.

— Так чо я вам! — орали конвойные. — Или нанимался тута валандаться с вами? Дождись, когда другие захотят, тогда и просись. Меньше чем полсотни человек не поведу...

Тела каторжан покрывала тропическая сыпь, которая быстро переходила в злокачественный фурункулез. Все чаще шлепались за борт трупы, кое-как завернутые в куски парусины. При этом в машины давался сигнал «стоп», чтобы мертвеца не подтянуло в корму, где он сразу же будет раскромсан на куски работающими винтами... Вечером Клавочка Челищева поднялась на «крыло» мостика, чтобы полюбоваться звездами и величием Индийского океана. Терентьев сам подошел к ней и, облокотясь на поручни, долго помалкивал. Вода сонно шумела за бортом корабля.

— У вас есть на Сахалине друзья или родственники?

— Нет. Да и откуда им быть? — ответила Клавочка.

— На что же вы тогда рассчитываете, бедная вы моя? Нельзя же свой идеализм непорочной младости доводить до абсурда. Я шестой

год «сплавляю» партии каторжан на Сахалин, и я лучше других знаю, каковы там условия... Вы же там погибнете, и даже винить некого, ибо каторга всегда остается каторгой!

Это пылкое признание пожилого человека даже смутило Клавдию Петровну, не сразу она нашлась, что ответить:

— Так не возвращаться же мне обратно.

— Теперь уже не вернуться... Сейчас, — продолжал Терентьев, — военным губернатором на Сахалине состоит Михаил Николаевич Ляпишев, генерал он добрый, насколько это возможно в сахалинских условиях. Он меня знает. Я напишу ему рекомендательное письмо, чтобы к вам отнеслись благожелательнее.

— Спасибо, — от души поблагодарила Клавочка.

— Но предупреждаю, что каторга смеется над слезами и клятвами. Если вы поверите кому-либо, вы погибнете тоже. Преступники, как никто, умеют вызывать в честных людях не только симпатию к себе, но даже сочувствие. В тюремном жаргоне бытует особое выражение — «дядя сарай», так называют всех людей, верящих тому, что им было сказано...

Мимо них пронесло в ночи ослепительный пароход, сверкающий от обилия электрических огней, до «Ярославля» донесло музыку корабельных баров и дансингов, где свободные люди флиртовали, развлекались выпивкой и танцами, даже не зная, что такое каторга. На миг девушке стало печально: этот пароход возвращался в Европу, и Терентьев с каким-то надрывом утешил Клавочку:

— Ладно! Зато мы скоро будем в раю Цейлона...

Пароход Добровольного флота еще плыл в Индийском океане, а в его трюмах, куда не достигали ароматы тропических фруктов, арестанты рьяно обсуждали, в какой тюрьме Сахалина надзиратель зверь, а в какой продажен, сколько платить палачу, чтобы с одного удара не перебил тебе позвоночник, словно сухую палку.

Иван Кутерьма, человек бывалый, делился опытом жизни:

— На Оноре — великий мастер, плетью доску перешибет, а как треснет по табуретке, так она в куски разлетается. Зато сунь ему рубелек, он тебя так отгладит, так изнежит, будто живую водой ополоснешься и вскочишь с лавки еще здоровее...

Что им сейчас до райских красот Цейлона?

---

— Да, скоро и Цейлон, — сказал Польшов, когда Клавочка, движимая женским интересом, снова навестила его, одинокого узника, в отдаленном коридоре носового форпика. — Советую вам сойти с корабля в Коломбо, и вы окажетесь в раю, где в древности блаженствовали Адам с Евой еще до их грехопадения...

Порою было трудно понять, когда Польшов говорит серьезно, а когда иронизирует. Но пришлось удивиться.



— Вы разве бывали и в Коломбо? — спросила она.

— Был. Но еще до своего грехопадения. — На этот раз Польшов сам высказал ей просьбу о помощи. — По вечерам из трюмов стали выводить на палубы всякую рвань и нечисть, чтобы она надышалась чистым воздухом. Я прошу вас найти случай передать Ивану Кутерьме, что я жду... Давно жду и очень жду...

— Чего вы ждете?

— Мандолину. Кутерьма поймет, что такое мандолина, а вам, милейшее создание, понимать такие вещи необязательно.

— Иван Кутерьма? А как мне узнать его?

— Гигант ростом. Верзила! На голове у него уродливый шрам от удара топором. Не узнать его просто невозможно.

— Хорошо. Я постараюсь, — обещала ему Клавочка...

Кутерьма выслушал девушку и проворчал в ответ:

— Ладно-кось, барышня. Завтрева же на эвтом месте...

На следующий день Иван подкинул к ее ногам маленький сверток, в котором было что-то тяжелое, и сделал это настолько ловко, что Клавочке даже не пришлось подходить к нему, а внимание конвоиров было отвлечено суматошной дракой, которую нарочно устроили в этот момент ивановские «поддувалы». Когда же девушка передала Польшову сверток, он сказал ей:

— Благодарю. До Гонконга осталось лишь восемь суток... Вы все-таки побывайте на берегу. Там есть отличный отель «Континенталь». Но снимите номер сразу на двоих.

— Кто же будет вторым? — оторопела Клавочка.

— Наверное... я! — рассмеялся Польшов, и было опять непонятно, то ли он говорит серьезно, то ли шутит...

В океане началась мертвая зыбь. «Ярославль», содрогаясь громадным корпусом, тяжело и плавно подминал под себя черную воду океана. Помимо каторжан, корабль имел торговые грузы, обязанный доставить их в порты назначения. От московской парфюмерной фирмы «Брокар» везлась большая партия духов и одеколонов для выгрузки в японском порту Нагасаки, а владивостокские магазины «Кунста и Альберса» давно ожидали прибытия закупленного ими в Лионе бархата.

— Вот и отлично, — рассуждал за ужином Оболмасов. — Значит, мы еще повидаем и танцы гейш Нагасаки... роскошная жизнь!

— Но вам, — язвительно заметила Клавочка, — кажется, больше всего понравилось пребывание в злачном Порт-Саиде...

Отношения между ними разладились именно с Порт-Саида, где Оболмасов торопливо скупал всякую непристойность. Теперь же его часто видели в отсеках третьего класса, там он любезничал с молодухами, плывущими на вызов своих мужей. Напрасно теперь геолог

пытался оставаться перед Челищевой любезным кавалером, девушка решительно отвергла все его ухаживания:

— Тот опасный преступник на пристани в Одессе оказался хорошим физиономистом... И не старайтесь опекать меня, делая при этом вид, будто вы имеете на меня какие-то права!

— Не какие-то, а чисто моральные.

— Но я слишком далека от вашей морали...

Средь ночи Клавочку разбудила беготня матросов по трапам, а по металлу палуб цокали приклады винтовок караульной команды. Девушка накинула халат. В пассажирском салоне Оболмасов, стоя возле открытого буфета, наливал себе полный стакан виски. Он был бледен от испуга, виски проливалось мимо стакана.

— Что случилось, Жорж? — спросила его Челищева.

— Бунт... В котельных уже готовят подачу пара под высоким давлением, чтобы ошпарить всю эту сволочь в трюмах, как тараканов. Ужас! Ведь всех нас могли бы вырезать...

Он жадно выпил. Мимо них торопливо прошел заспанный мичман, пристегивая к широкому ремню кобуру с револьвером.

— Ничего страшного! — зевнул он. — Еще ни один рейс до Сахалина не обходился без фокусов... Идите спать. Сейчас все будет в порядке. Хорошо, что вовремя спохватились...

Где-то в глубине корабля грянул выстрел. Потом еще и еще. В салон ввели тюремного старосту, который сразу бросился на колени — стал молиться перед иконами:

— Слава те, господи! Нонеча самому батюшке-царю писать стану... может, и помилует? Страх-то какой, едва вырвался...

Оказывается, этот староста (тоже из каторжан) какой уже день выкидывал за решетку записки — для начальства: мол, готовится бунт. Но корабельные сквозняки тут же подхватывали мизерные бумажки, как негодный мусор, и часовые не обращали на них внимания. Наконец, один из них поднял записку старосты, но... не мог прочесть ее (по причине безграмотности).

— Намусорили тут, паразиты, — сказал он.

Между тем в трюмах жить было уже невозможно. Никакая вентиляция не могла высосать из преисподней транспорта отвратные запахи пота и зловоние загнивающей пищи и блевотины укачавшихся людей, которые извергали свои нечистоты с третьего этажа нар на нижние, ноги арестантов скользили в этой мерзости, которая при качке переливалась с борта на борт. В этих кошмарных условиях иваны стали искать выход из трюма. Они обнаружили лазейку в узкий туннель, забранный решеткой, но прутья ее удалось раздвинуть. Иван Кутерьма одного из своих «поддувал» просунул башкою прямо в эту дырку:

— Вперед — за веру, царя и отечество! Ползи, покедова труба не кончится. Может, даст бог, и найдешь чего стоящего...

Иваны мечтали добыть оружие, чтобы, перебив охрану, завладеть кораблем и уплыть на нем куда-нибудь так далеко, где каторгой и не пахнет. Наконец из трубы туннеля выставилась голова верного «поддувалы». Он вернулся с разведки — пьян-распьян, но доставил в трюм два больших флакона.

— Там полно всего, — сообщил. — Теперь гуляем...

Иван Кутерьма ознакомился с этикеткой: «О-ДЕ-КО-ЛОН. НЕЗАМЕНИМЫЙ СПУТНИК ПУТЕШЕСТВЕННИКА. Освежает воздух в душном купе вагона, делая обстановку приятной. Бесподобен во всех отношениях как дезинфекционное средство. При покупке просим обращать внимание на фирменный № 4712. Остерегайтесь подделок!»

— Годится, — сказал Иван, опустошая флакон до дна. — Мы подделок не боимся...

Наконец одну из записок старосты случайно поднял машинист, человек грамотный, и доложил о ней старшему офицеру.

— Тревога! — объявил Терентьев. — Там уже все перепились. Но прежде любым способом выманите из трюма старосту...

Старосту вызвали из трюма якобы для наведения справок о заболевших. А на следующий день — как раз напротив цейлонского «рая» — устроили экзекуцию. Перепороть сразу 800 человек — на это сил никаких не хватит. Но уже сорок седьмой, не выдержав истязаний, выдал заговор, что подтвердили еще трое. Всех иванов заковали в кандалы и рассадили по разным клеткам корабельных карцеров. До Гонконга оставались сутки приличного хода, когда Терентьев сказал в кают-компании:

— А нам уже нет смысла навещать Нагасаки, ибо все духи и душистые притирания фирмы Брокера выпиты. Не знаю, что будет во Владивостоке, когда мы предъявим магазинам «Кунста и Альберса» куски лионского бархата, разрезанного на портянки...

Только он это сказал, как появился боцман.

— Ваше благородие, — козырнул он, — прямо как нечистая сила у нас завелась... Этот-то телегент, что отдельно в форпике сидел, куда-то исчез. Утром еще был, а чичас нету его...

Клавочка чуть не вскрикнула: это ведь о нем, о Польшове!

Боцман потряс перед офицерами связкою звенящих кандалов:

— Сам и расковался. Не на заклепках, а на штифтах были. Вот ведь сволочь какая... где ж у них стыд? Где ж у них совесть?

---

До Гонконга оставались считанные мили, а Польшова нигде не могли найти, и мичманы стали уже поговаривать, что он наверняка выбросился в море, чтобы плыть до берега. «Может, и так, — со-

глашались другие, — но каким образом он мог выбраться из своей секретной камеры форпика?» Чудовишные догадки приходили в голову Челищевой; она не хотела верить, что Иван Кутерьма передал ей отмычки для Полынова, которые и вернули ему свободу. Неужели она сделалась сообщницей преступников?.. На горизонте почти гравюрно проступили очертания берегов, а Полынов еще не был найден. Обшаривали все закулки транспорта и при этом спешили, ибо близость Гонконга давала беглецу больше шансов скрыться с корабля. Вот и рейд, где можно отдавать якорь...

— Нашли! — раздался торжествующий голос боцмана.

— Где нашли? — резво вскочил Терентьев.

— Да в маяке нашли...

«Маяком» назывался медный пустой столб в рост человека, внутри его полыхал бортовой огонь, предупреждающий встречные корабли о возможности столкновения. Офицеры и пассажиры разом высыпали на палубу. Полынова обыскали, но «мандолины» при нем, конечно, не обнаружили. Терентьев был в бешенстве:

— Ты думаешь отделаться карцером? Нет, голубчик, я тебя запишаю обратно в маяк и закрою на ключ, поставив часового с оружием. Вот и будешь светить прямо по курсу... Сразу зовите сюда кузнецов! Заковать его по рукам и ногам.

«Ярославль» снова вышел в океан, солнце стояло в зените, а медный колпак маяка раскалился до такой степени, что на нем, как на сковородке, можно было выпекать лепешки. Страшно думать, что внутри этого столба замурован живой человек. Судовой доктор долго терпел, потом не выдержал, сказав Терентьеву:

— Вы, конечно, вправе наказывать людей, но вы лишены права убивать их. Я, как врач, публично протестую против этой варварской пытки, которую вы устроили человеку.

Старший офицер «Ярославля» отвечал:

— Почему, вы думаете, я не ставил в форпике часового? Там был замок решетки с секретом. Сначала надо сделать два поворота на закрытие, а потом уже открывать... Так он, гадина, и тут сообразил! И я не выпущу его из маяка, пока не сознается, откуда у него — после многих обысков! — оказалась своя «мандолина»? Не мог же он ковырять секретный замок пальцем...

Ото всех этих разговоров, обращенных, казалось, непосредственно к ней, виновнице добывания отмычек, Клавочка не знала, куда ей деться, и наконец она бурно расплакалась.

Терентьев положил сигару на край пепельницы и сказал:

— Ну, если и Клавдия Петровна плачет... выпустим!

Когда открыли дверку металлического столба, на доски палубы безжизненным кулем вывалился Полынов.

— В лазарет его... быстро! — командовал доктор.

В лазарете преступник обрел сознание, наконец он разглядел и лицо Челищевой... Губы его сложились в гримасе улыбки.

— Теперь вам понятно, — сказал он, — почему я просил снять в роскошном «Континентале» Гонконга номер на двоих?

— Не смейте делать из меня свою сообщницу!

Ответ был почти оскорбителен для девушки:

— Но ведь вы... политическая, не так ли?

— Но еще не каторжница! — в гнев отвечала Челищева.

Когда миновали Цусиму и вошли в Японское море, уже на подходах к Владивостоку, всем узникам «Ярославля» бесплатно выдавали конверты и бумагу, чтобы отписались на родину. Грамотеи писали домой сами, а потом собирали пяточки с неграмотных, просивших сочинить за них «пожалобней, чтобы до слез проняло». Рецидивисты хорошо знали сахалинские порядки: там не станут томить человека в тюрьме, если к нему приезжали жена и дети. Всю семью в тюрьму не посадишь, чтобы кормить ее от казны, а потому считалось, что арестанта лучше из тюрьмы выпустить — и пусть живет где хочет; отсюда и возникло типичное сахалинское выражение — «квартирный каторжанин» (то есть живущий на вольных хлебах). Теперь в трюмах корабля опытные воруго со знанием дела поучали пловцов на Сахалин «от сохи на время»:

— Пиши жене, что корову уже получил, скоро верблюда дадут с павлином. Поросят и арбузов тута сколь хошь. А коли, мол, не приедешь, дура старая, так мне от начальства уже молоденькую обещали. У ней губки бантиком, попка с крантиком, а сама фик-фок — на один бок! Так и пиши, «дядя сарай»...

И — писали. Даже те, которые по церковным праздникам в деревнях увечили своих жен смертным боем, теперь обращались к своим супругам чересчур уважительно: «Драгоценные наши Авдотьи свет Ивановны! Как можно поскорее приезжайте ко мне отбывать веселую каторгу — останетесь премного довольны...»

## 7. Власти предержавшие

Татарский пролив опасен частыми штормами. Якоря плохо держали корабли за каменистый грунт, и, чтобы не разбиться о скалы близ Александровска, суда подолгу дрейфовали в открытом море, они спешили укрыться в бухте Де-Кастри, искали убежища в Императорской (ныне Советской) гавани.

Многие селения Сахалина связывались с миром только зимою, а летом меж ними пролегалли звериные тропы; через таежные реки при-

рода сама навалила подгнившие деревья, словно перекинув мостики для пешеходов. На вершинах сопок, окружавших Александровск, и в глубине тасежных падей до начала июля не таял снег, а в октябре выпадал уже новый. Июнь бывал отмечен инеем на траве, Сахалин рано испытывал заморозки. С маяка «Жонкьер», что светил кораблям от самых окраин города, тоскливо подвывала сирена да погребально названивал штормовой колокол. Александровск, эта убогая столица каторги, насчитывал тогда четыре тысячи жителей, и как парижане гордились Эйфелевой башней, так и сахалинцы хвастались зданием тюремного управления:

— Гляди! Два этажа. Глянесь — и закачаешься...

Все постройки в городе сплошь из дерева, а по бокам улиц — мостики из досок, скрипучие. Дома обывателей в два-три окошка, возле них чахлые палисадники. Зелени и деревьев мало (все уже повырубили). Зато столицу украшали две церкви, мечеть, костел и синагога. Был приют для детей, брошенных родителями, и богадельня для ветеранов каторги, которые по дряхлости лет воровать и грабить уже неспособны. Была еще больница на 200 кроватей, а в селе Михайловке — дом для умалишенных. Вдоль речушки Александровки от самого базара тянулась Рельсовая улица, пока она не терялась в лесу, и на Рельсовой по вечерам одному лучше не показываться. С чего здесь живут люди — сам бес не знает, но они живут, и по вечерам, под тонкие комариные стоны, окна домишек оглашали азартные всплески голосов:

— Пять рублей мазу! Задавись ими, глот.

— Бардадым... я уже пас, катись налево.

— Держу шелихвостку... на ять дамочка!

Каторга умудрялась играть везде. Даже в удушливых штреках угольных копей Дуэ. Ради карт отдавали последнюю пайку хлеба. Азарт доводил до полного растрепания личности, до самоубийств. Когда играть было уже не на что, тогда ставили в банк свою поганую жизнь. Продували в штос жен и детей своих. Все шесть тюрем Сахалина обслуживали только мужчин. А женскую тюрьму пришлось закрыть после того, как все сидящие в ней арестантки оказались в интересном положении. После карт и женщин на Сахалине выше всего ценилась водка! Бутылка паршивого спирта, добытая в казенном «фонде» за 25 копеек, после всяческих спекуляций и авантюр, уже наполовину разбавленная водой, доходила в цене до десяти рублей. Зато вот личную свободу каторга ни в грош не ставила. Люди на каторге так и говорили:

— Свобода дома на печи лежать осталась, а здесь я всегда хуже пса безродного! И перед каждым фрайером, что в фуражке чиновника, обязан за двадцать еще шагов шапку ломать да с тротуара в грязюку полезать, кланяясь ему... Какая ж тут свобода, ежели на Сахалине этой штуковины даже скотина не ведала!

Это верно. Сами всю жизнь скованные, сахалинцы не давали свободы и своим животным. Какая бы добрая собака ни была — все равно сажали на цепь; куриц привязывали за ноги к заборам, а на шею свиньям набивали тяжкие колодки. Самые последние корабли покидали Сахалин глубокой осенью, и не раз у трапов стояли плачущие люди, умоляя отвезти их в Россию. Это были каторжане, уже отбывшие срок наказания, уже свободные люди, никак не сумевшие скопить денег на обратный билет. Им говорили:

— Да пойми, как же я тебя без билета возьму?

— Мил человек, возьми меня. Где ж я тебе денег на билет наскребу? Нечто грабить да убивать кого? Посуди сам.

— Все понимаю. Сочувствую. Но без билета нельзя.

— Эх, мать вашу так! Выходит, тут и век пропадать, не сповидаю родимых детушек, не поклонюсь родным могилкам.

— Ну, валай отсюда... много вас таких!

От самой тюрьмы Александровска, прижимаясь к ней, как дитя к нежной кормилице, далеко тянется Николаевская улица, на которой селилась «аристократия» каторжного управления. Здесь, в ряду казенных учреждений, дома чиновников, местный клуб с буфетом и танцзалом, квартиры семейных офицеров гарнизона. Между ними не возвышался, а лишь выделялся застекленной террасой дом военного губернатора всего Сахалина.

Михаил Николаевич Ляпишев, генерал-лейтенант юстиции, до Сахалина уже немало вкусил от судейской практики: он был военным прокурором в Казанском, затем в Московском военном округе. Сегодня он проснулся в дурнейшем настроении. Весна — время побегов; недавно каторжане разоружили конвой, отняв десять винтовок, а потом дали настоящий бой целому отряду.

— Совсем уже обнаглели, — проворчал губернатор.

Накинув мундир, но не застегнув его, Ляпишев сначала проследовал на кухню, где возле плиты уже хлопотал его личный повар из каторжан, знаток утонченной гастрономии — барон Шеппинг, имевший восемь лет каторжных работ за растление малолетних.

— Что за обед? — осведомился у него генерал.

Возле плиты с грохотом свалил охапку дров губернаторский дворник Евсей Жабин (10 лет каторги за святотатство).

— Тише, — поморщился Ляпишев, — люди еще спят...

К нему подошла чистенькая горничная Фенечка Икатова, его давняя пассия (12 лет каторги за отравление мышьяком барыни, которая вздумала ревновать ее к своему мужу).

— Михаил Николаевич, кофе или какава? — спросила она.

— Чай, — кратко отвечал Ляпишев...

Минутя канцелярию, где сидел писарь из князей Максутовых (15 лет за расхищение казенных денег), губернатор продвинулся в

кабинет, там и застегнул мундир на все пуговицы. Потом он пригладил ладонью прохладную обширную лысину и, расправив бороду надвое, уселся за стол. Фенечка Икатова принесла ему не только чай, но и самые свежие сахалинские сплетни:

— Вчерась из Корсаковска японский консул заявился. Сказывали, что япошки, живущие в нашем городе, собираются фотографию открывать, всех на карточки сымать будут.

— Ерунда какая! — ответил Ляпишев. — Можно подумать, у нас все уже есть, только фотоателье не хватает.

— Ночь, — продолжала оповещать его Фенечка, — на Рельсовой одного сквалыгу пришили, сколько взяли — неизвестно, а на базаре мертвяка нашли. Прокурор Кушелев уже выехал...

Недавно Ляпишев спровадил на материк Софью Блюфштейн, известную под именем Сонька Золотая Ручка, которой приписывали на Сахалине генеральное руководство грабежами и убийствами, но и без этой аферистки число преступлений не убавилось. Тут явился заместитель Ляпишева по гражданской части статский советник Бунге, принеся скорбную весть: бежали 319 каторжан, а поймано лишь 88 человек... Бунге сказал:

— Я не знаю, как быть. Давайте в отчете на материк напишем, что бежало двести, а сотню уже переловили. Все равно ведь в нашей бухгалтерии сам дьявол не разберется.

— Да нет, — сказал Ляпишев. — Надо быть честным. От этих приписок и недописок не знаешь, где право, а где лево.

Бунге протянул ему газету «Амурский край». На первой же странице жирным шрифтом был выделен подзаголовок статьи: «САХАЛИН РАЗБЕГАЕТСЯ». Губернатор пришел в отчаяние:

— Не могу! Голова раскальвается. Вот уеду в отпуск и ей-ей уже не вернусь на Сахалин, чтоб он треснул.

— Раньше было проще, — посочувствовал ему заместитель. — Бежал. Поймали. Повесили. А теперь пошли всякие гуманные веяния. Развели сопливый либерализм... уж и повесить человека нельзя! Сразу поднимается вой: палачи, кровопийцы, сатрапы! А их бы вот сюда, на наше место... Кстати, Кабаяси в городе.

— Уже извещен. Что консулу надобно?

— А разве японцы скажут честно? Телеграф всю ночь работал, — доложил Бунге. — «Ярославль» уже на подходе к Владивостоку, Слизов со своей Жоржеткой возвращается из отпуска...

Вечером Ляпишев без всякой охоты принял японского консула. Кабаяси просил у него разрешения на открытие в селениях Сахалина магазинов с товарами фирмы «Сигура».

— Господин консул, — устало отвечал Ляпишев, — вы часто просите у меня согласия на открытие магазинов. Я каждый раз даю



вам разрешение. Но магазинов «Сигиура» до сих пор нет. А вы опять приходите ко мне с вопросом о разрешении магазинов.

Кабаяси с улыбкой выслушал губернатора:

— Мы, японцы, хотели бы выяснить насущные вопросы сахалинского рынка. Если мы хорошо изучили, что нравится женщинам Парижа или что любят китайцы в Кантоне, то мы никак не можем уловить потребности жителей вашего Сахалина.

— Конечно, — отвечал Ляпишев, — здесь неуместна распродажа вееров, как не нужны и кимоно для каторжанок. Но мы не откажемся от ваших фруктов, от вашего превосходного риса. А зачем вам понадобилась фотография в Александровске?

Кабаяси восхвалил красоту сахалинских пейзажей. По его словам, если издать альбом с видами Сахалина и местных типов, его мигом раскупят японцы, а выручку от продажи альбомов консул согласен поделить с губернским управлением Сахалина.

— Не надо нам выручки, — сказал Ляпишев, поднимаясь из-за стола. — Я не ручаюсь за красоту сахалинских пейзажей, но сахалинские типы... Лучше бы мои глаза их никогда не видели!

Он покинул кабинет, но задержался в канцелярии, где князь Максудов доложил, что принята телеграмма из Николаевска:

— На Амуре уже поймали четырнадцать беглецов... Может, вам будет угодно задержать отправку отчета в Приамурское генерал-губернаторство? Подождем, пока не выловят побольше.

— Я такого же мнения, — согласился Ляпишев. — Будем надеяться, что выловят еще многих.

Ляпишев прошел в свои комнаты и, сняв мундир, вызвал Фенечку:

— «Ярославль» уже на подходе... Куда мы распахиваем еще восемьсот негодяев — ума не приложу! О господи, как мне все это осточертело, и не знаю, когда это все кончится...

---

Политическая каторга на Каре просуществовала до 1890 года. Незадолго до ее ликвидации возникла для «политиков» каторга на Сахалине, длившаяся 18 лет (1886—1903). За этот немалый срок через Сахалин прошел 41 человек, из них умерли пятеро, а трое покончили самоубийством, не выдержав издевательств местных сатрапов. Приравненные к разряду уголовников, революционеры недолго сидели в тюрьмах, ибо Сахалин всегда нуждался в честных и грамотных людях. Именно трудами «политиков» были заведены на каторге детские школы, метеостанция давала на материк точные сводки погоды, наконец, среди них оказались ученые, они много печатались в научных изданиях, их труды по этнографии Сахалина переводились на европейские языки. Ляпишев, не в пример другим губернаторам, говорил политическим «вы», он не боялся, в нарушение всяких ин-

струкций, выплачивать «политикам» жалованье, не гнушался подать им руку, чего никогда не делали его чиновралы... Михаил Николаевич признавал:

— Если мне нужен начальник склада, я доверю его не своему чиновнику, а именно «политику», ибо он не разворует добро, а сохранит... Вообще, господа, если что и останется на Сахалине хорошего в памяти потомства, так это будет связано с именами непременно политических преступников!

Утром губернатор телефонировал за 600 верст в город Корсаковск — самый южный город Сахалина, где и климат благодатнее, где и жизнь привольнее. Он предупредил барона Зальца, тамошнего начальника, чтобы снимал с «Ярославля» всех каторжан, у которых сроки наказания не выше четырех лет:

— А всех с большими сроками пусть доставят на север — к нам, где условия надзора построже да и жизнь намного поганее, нежели у вас, почти курортников... Всего доброго!

Прибытие любого корабля из Европы, пусть даже плавучей тюрьмы, для чиновников Сахалина всегда событие «табельное», дамы заранее шили новые туалеты, а их мужья не скрывали желания навестить корабельный буфет. Был пасмурный денек, сеял мелкий дождик, когда телеграфисты сообщили, что «Ярославль» миновал траверз Императорской гавани и, если не помешают льды, выпирающие из Амурского лимана, то завтра его можно ожидать на рейде Александровска. С утра пораньше к побережью выступила конвойная команда, из города потянулись вереницы колясок с администрацией. «Ярославль» уже дымил на рейде напротив маяка «Жонкьер»; баржи с каторжными командами (из числа матросов военного флота) торопливо переваливали из трюмов корабля на берег отощавшую и крикливую массу арестантов, которых тут же запирали в карантинный барак. Сразу начинался медицинский осмотр всех прибывших, их регистрация. При этом диалоги были столь же выразительны, как и сами действия властей предержавших:

— Ну, называйся... по какой статье прибыл?

— Перегудов Иван... по бродяжничеству.

Тут же кулаком прибывшего по морде — бац:

— Ах ты, шкура дырявая! Ведь ты в позапрошлом годе уже бывал здесь под именем Филонова... бежал? Теперь заново перекрестили тебя? Эй, в кандалы его!

Давай следующего...

У стола комиссии парень из крестьян — его тоже в ухо.

— За что лупите, ваше благородие?

— А что же нам? Или орден тебе повесить?..

Вот стоит с мешком печальный русский интеллигент:

— Небось политика? Какой партии?

— Простите, я только вегетарианец.

— Знаем вас, паскудов. Начитались Левки Толстого, а теперь противу царя поперлись... А ну! Огурченко, дай-ка ему...

За Огурченко дело не стало: приказ есть приказ.

— Здоров! — кричат врачи, и печальный интеллигент, подкинув мешок на спине, отходит в сторону «годных».

— А тебя-то за что? — спрашивают его уголовники.

— Если бы знать, — следует невеселый ответ. — Наверное, виноват, что всегда отвергал мясную пищу...

Ляпишев в сером генеральском пальто стоял на пристани подле Бунге, когда к нему подошел молодой человек:

— Я желал бы представиться... Георгий Георгиевич Оболмасов! С отличием выпущен из Горного института, а теперь, как патриотически настроенный индивидуум, желал бы возложить свои благородные стремления на драгоценный алтарь отечества.

— Простите, — сразу перебил его сладкоречие Ляпишев, — если вам так уж понадобился алтарь отечества, то вы напрасно ищите его на каторге Сахалина. Какова цель вашего приезда, сударь?.. Ах, опять нефть! — сказал губернатор, выслушав геолога. — До сахалинской нефти уже немало охотников. Лейтенант флота Зотов давно сделал заявки, но успел разориться. А теперь на Сахалин едут всякие иностранцы, даже издалека ощутившие аромат сахалинского керосина и асфальта... Так что, извините, господин Оболмасов, но я вам — не помощник!

Геолог отошел, а Бунге спросил Ляпишева:

— Почему вы так строги к этому молодому энтузиасту?

— Я не слишком-то доверяю людям, которые публично распинаются в своем патриотизме. В подобных излияниях всегда улавливается некая фальшь. Недаром же на Востоке издревле существует поговорка: имеющий мускус в кармане не кричит об этом на улицах, ибо запах мускуса сам выдает себя...

Тут губернатор заметил Челищеву; девушка была в коротком меховом жакете, ее голову укрывала шапочка-гарибальдийка, какие были модны среди курсисток. Он предложил ей свои услуги:

— Из Корсаковска я уже извещен, что вы можете быть учительницей и даже фельдшерницей. Поверьте, что я рад помочь вам, ибо Сахалин нуждается в образовании. Учителей у нас — кот наплакал, а на сорок тысяч населения всего пять врачей. Мадмузель, прошу в мою коляску! Будете лично моей гостьей...

Когда вновь прибывших арестантов вывели из карантинного барака и построили в колонну, двух каторжан недосчитались. Они остались в бараке — уже задушенные. Это были те самые горемыки, которые не выдержали порки на «Ярославле» и выдали иванов, таскавших в

трюмы духи с одеколоном фирмы Брокера, стеливших на свои грязные нары лионский голубой бархат...

Михаил Николаевич натянул лайковые перчатки.

— Вот видите, — сказал он Челищевой, садясь в коляску подле девушки, — Сахалин имеет особый колорит! Этот каторжный колер невольно отложился даже на мне, на генерале юстиции. Я уже мало чему удивляюсь...

Ляпишев обладал большими правами. Он мог дать 100 ударов розгами (или 20 плетей), тогда как окружные начальники имели право лишь на 50 ударов розгой (или 10 плетей).

## 8. На нарах и под нарами

«Ярославль» еще бункеровался углем во Владивостоке, а каторжане в его трюмах уже имели точные сведения о делах на Сахалине. Им было известно, что Ляпишев, по мнению высокого начальства, «каторгу распустил», что режим ослаблен, побегι внутри острова (не на материк!) наказываются губернатором слабо. Иваны уже на корабле знали, в какой из тюрем Сахалина сидеть легче, как обстоят дела с водкой и картами, кого из надзирателей бояться, а на кого из них можно поплевывать... Напрасно в Главном тюремном управлении Петербурга ломали головы над тем, откуда поступает точная информация! Дело объяснялось просто. На телеграфных станциях Сахалина и Дальнего Востока работали сыновья бывших каторжан, от самой колыбели они усвоили для себя законы каторги. Отпрыски тюремных заветов, они-то и сообщали сведения по цепочке телеграфных станций, а конспирация у них была строгая, как в подполье масонских организаций.

...Начальство на казенных пролетках уже разъехалось по своим квартирам, а колонна вновь прибывших каторжан еще долго втягивалась в распахнутые ворота острога, минуя арку, поверх которой было начертано: «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ КАТОРЖНАЯ ТЮРЬМА РАЗРЯДА ИСПЫТУЕМЫХ». Вдоль длинных коридоров тюрьмы — обширные камеры с нарами в несколько этажей; двери камер облицованы железом и при ударе гудят, как броня. Возле печки — параша ведра на три, которую называют с некоторым уважением — «Прасковья Федоровна». На окнах камер — решетки. Все стены разрисованы похабиной, а по этим кошунственным рисункам бесстрашно бегали легионы клопов. По диагонали камер протянулись веревки, чтобы сшить на них барахло. На узенькой полке выстроились кружки, котелки для еды и чайники. Воняло по всей тюрьме застарелой баландой из рыбы с добавкой черемши. У всех надзирателей были синие галуны,

а синие шнуры тянулись от их подбородков к револьверам. Они покрикивали:

— Впихивайся плотнее, местов более нету... давай, давай не стыдись! Ччас будет всем заковка в новые «браслеты», потом вас губернатор позовет к себе чай пить... Гы-гы-гы!

— Хе-хе-хе... хи-хи-хи, — заливались в ответ подхалимы.

Сразу от порога тюрьмы начинался штурм жилищных высот, ибо от положения на нарах каторга судит о достоинствах человека. Иваны занимали самые лучшие места, вокруг них располагались их «поддувалы», ударами кулаков и ног утверждавшие священные права своих сюзеренов от покушений всяких там «кувыркал». После иванов чинно освоили нары «храпы» — еще не иваны, но подражающие иванам, силой берущие у слабого все, что им нужно. За храпами развалились на нарах «глоты» — хамы и горлодеры, поддерживающие свой авторитет наглостью, но в случае опасности валящие вину на других. Когда высшие чины преступной элиты удовлетворялись своим положением на лучших нарах, подальше от «Прасковьи Федоровны», тогда — с драками, с божбой и матерщиной — все оставшиеся места плотно, как сельди в бочке, заполняли «кувыркаль», высокими рангами не обладавшие. Наконец, для самых робких, для всех несчастных и слабых каторга с издевательским великодушием отводила места под нарами.

— Полезай! — хохотали с высоты нар. — Ишь гордые какие, еще сумлеваются... Ползи на карачках, хорь бесхвостый!

Жалкие парии, отверженные и забытые, лезли под нары — в слякоть грязи, в нечистоты прошлого, в крысину падаль. А ведь тоже бывали людьми! Их нежно растили матери, показывали врачам, причисывали гребешком их кудри, они бегали в школы, влюблялись, трепетали от первого поцелуя, а теперь... Теперь из-под нар выглянет лицо бывшего человека, испуганно оглядит всех и снова скроется в мраке отбросов каторги.

Человек — это иногда звучит горько!

Вечерело над Александровском, который разжег на улицах керосиновые фонари. На крыльце столичного клуба губернатору Ляпишеву снова встретился Оболмасов, очевидно его поджидавший:

— Михаил Николаевич, ваше превосходительство... еще раз зываю к вам, дабы напомнить о своих лучших намерениях...

— Не стоит, — придержал его Ляпишев. — Я вам уже говорил, что заявки на нефтяные участки давно сделаны, но дальше заявок дело не сдвинулось. Людей для новых разведок нефти я вам не дам, ибо каторга — не частная лавочка. Оплатить же казне работу ездовых, носильщиков, лесорубов и землекопов вы из своего кармана не в состоянии. Так о чем разговор?..

Внутри клуба было тепло и уютно, над столами свисали фарфоровые абажуры типа «матадор» и грушевидные электровонки для вызова каторжных лакеев, которых ради услужения господам одевали в белые фартуки. Из глубин комнат доносилось шелканье бильярдных шаров, в клубном буфете слышались нетрезвые голоса чиновников. Здесь же были и местные дамы, которые, изнывая от лютейшей тоски, завистливо сравнивали свои туалеты, и, чем уродливее сидело платье на подруге, тем больше они им восхищались, зато жесточайшей критике подвергался любой удачный наряд, украшающий женщину:

— Ах, душечка! Где вас так изувечили? Да скажите мужу, чтобы он этого вашего закройщика разложил поперек лавки и высыпал ему плетей сорок, как в старые добрые времена...

Михаил Николаевич Ляпишев сам ввел в женский круг Клавдию Челищеву, рекомендуя бестужевку с самой лучшей стороны:

— Клавдия Петровна вынуждена остановиться в моем доме, ибо молодой девушке, и сами о том ведаете, не так-то легко с приличной квартирой в нашем сахалинском бедламе.

Он удалился к карточному столу, а Челищева была сразу же подвергнута детальному анализу со стороны сплетниц. При этом госпожа Маслова, жена полицмейстера, предупредила ее:

— Голубушка, вы поступили крайне опрометчиво, воспользовавшись любезностью Михаила Николаевича. Никто не спорит, что он замечательный человек, благородный и умный, но... В его доме не он хозяин, а всем заправляет каторжная стерва Фенечка Икатова, и вы будьте с нею осторожнее. Такая мерзавка не только обворует, но и во сне придумать может...

Клавочка, недолго побеседовав с дамами, убедилась, что их интересы ограничены каторгой: чиновницы со знанием дела обсуждали «лестницу наказаний», обругивали либерализм, восхваляя правила минувших годов, когда «все было проще»:

— Выдерут — и порядок! Куда смотрит Михаил Николаевич? При нем даже спать страшно: в окно влезут и зарежут.

— Вешать надо! Раньше вот вешали, и было спокойнее...

От вопросов каторги дамы незаметно перешли к предстоящему открытию магазинов японской торговой фирмы «Сигиура»:

— Кабаяси недаром же прикатил в Александровск и не станет водить нас за нос... Скоро здесь можно будет купить японские шелка, восковые цветы на шляпы, которые даже ароматизируют...

Клавочка заглянула в читальню, где газеты, прибывшие с «Ярославлем», просматривал поджарый, остроглазый штабс-капитан местного гарнизона. При появлении девушки он встал:

— Быков, Валерий Павлович... Слышал, что на Сахалин вас привело благородство ума и сердца. Так позвольте мне, старожилу, предостеречь вас от ошибок на будущее.

— Пожалуйста. Я вас слушаю.

— Если желаете выжить в наших условиях, воздержитесь отзываться о каторжанах положительно. Здешняя администрация живет с чужих страданий, кормится от чужого горя. Но все они ненавидят кормушку, из которой сами же насыщаются. Бойтесь проявить сочувствие к людям. Напротив, осуждая гуманизм, вы прольете сладостный елей на чиновно-тюремные души, и тогда они станут вашими союзниками. Иначе... иначе вас заключут!

— Неужели здесь все так ужасно?

— Вы, наивное дитя, еще не знаете жизни, — продолжал Быков. — Вам, как и большинству русских бестужевков, приятно идеализировать жизнь, вы стараетесь видеть в человеке только хорошее. Должен вас огорчить. Не ищите романтики там, где ее быть не может. Каторга не признает благородства. Да и где тут быть благородству, если человека сознательно превращают в скотину?

— Но разве можно так жить? — воскликнула Клавочка.

— Можно, — ответил ей штабс-капитан. — И какая бы жизнь ни окружала меня, я сохраняю честь своего мундира, как и вам я желаю обереечь от грязи свои прекрасные идеалы.

— Вы, я вижу, тоже идеалист?

— Извините, но я... карьерист! — честно признался Быков. — Я даже не стыжусь в этом признаться, ибо голубой мечтой моей жизни остается Академия Генерального штаба.

— Вот как? Так поступайте в эту академию.

— К сожалению, жизнь в гарнизоне сгубила меня своей рутинной, и вряд ли в условиях Сахалина я могу снова засесть за учебники, а без знания языков офицеру карьеры не сделать...

К этому времени, пока они там разговаривали, впавший в уныние Жорж Оболмасов одолел уже третью рюмку в буфете, еще трезво соображая, что тюремщики Сахалина, окружавшие его, даже не пьют водку — они ее попросту пожирают. Статский советник Слизов, с трудом удерживая на конце вилки розовый кусочек кеты на закуску, убеждал Оболмасова не горячиться:

— Ляпишев тоже не вечен! Уберут... за либерализм как миленького. Я уже пятерых губернаторов переслужил, и все — как с гуся вода. Придет другой, сделаете заявки, дадите нам керосину, и мы это дело как следует отметим... Ну, поехали!

Напротив Оболмасова вдруг оказался японец в европейском костюме, четким движением он выложил перед инженером визитную карточку, отпечатанную на трех языках — русском, японском и английском.

На столе сразу появилось шампанское.

— Такаси Кумэда! Я представляю торговую фирму «Сигиура»... У вас какие-то досадные неприятности с губернатором? Консул Ка-

баяси просил меня заверить вас, что наша японская колония всегда будет рада помочь вам. Если это не затруднит вас, то завтра навестите нашего консула в моем доме.

Оболмасова больше всего удивило, как чисто, как грамотно владел Кумэда русским языком, как великолепно сидел на нем полуфрак, как броско посверкивал алмаз в его перстне, какая обворожительная улыбка освещала его широкое доброжелательное лицо. С надеждой геолог принял его визитную карточку:

— Я с удовольствием навещу вашего консула...

Гостиниц в Александровске никогда не было, всяк устраивался где мог. Оболмасов временно ютился в доме Слизовых, куда его звала Жоржетта Иудична, не раз уже намекавшая:

— Обожаю читать Мопассана... такие страсти, такой накал! А вам не кажется, милый Жоржик, что в сочетании наших имен уже затаилась некая магическая связь? Я же по вашим глазам вижу, что вы, как и я, обожаете классическую литературу...

---

Иван Кутерьма имел на своей совести 48 убийств с грабежами, за что и получил «бессрочную» каторгу. Только такие вот бандюги, как он, имели право украшать ворот холщовой рубахи красными петушками, гордясь вышитым воротником, как генералы гордятся своими позлащенными эполетами. Теперь с высоты нар Иван Кутерьма лениво и дремотно надзирал за камерой, смиревшей под его взором, как воробьи, которые заметили полет ястреба на той высоте, какая воробьям никогда недоступна.

Ближе к ночи, когда в камере уже собирались спать, лязгнули затворы железной двери и надзиратель объявил:

— Потеснись, хвостобой! Тут еще один самородок...

Это был Польшов, уже в кандалах, он держал под локтем котомку. Вся камера притихла в ожидании — что он скажет, что сделает, где сыщет для себя место: на нарах или под нарами? Польшов ничего не сказал. Он молча вдруг подошел к Ивану Кутерьме и швырнул к нему свою арестантскую котомку:

— Ну ты! Сучье вымя... давай подвинься.

Камера затаила дух. Но Иван Кутерьма, не прекословя, подвинулся, уступая место подле себя, и социальное положение Польшова на каторге сразу определилось. Польшов оглядел притихшую камеру своими лучезарными глазами и сказал всем:

— Высокопочтенные джентльмены удачи! Сволочи, мерзавцы, воруяги, бандиты, гадины и подонки! Если кто из вас бывал в благословенной Швейцарии, тот, наверное, обратил просвещенное внимание на то, что над тюрьмами этой обожравшейся страны частенько реют большие белые флаги — в знак того, что в тюрьме нет ни одного



заклученного. У нас же, в несчастной России, пора вывешивать над тюрьмами черные знамена — как символ того, что в тюрьме нам, бедным, уже негде повернуться...

Небрежным жестом он запустил руку в отвислый карман арестантского халата, извлекая оттуда портсигар, и, щелкнув его крышкою, протянул папиросы к самому носу громилы:

— Египетские, еще из Каира... прошу, синьор!

Камера нагужно вздохнула. Один старый «шлиппер» сказал:

— Живут же люди... даже в тюрьме живут!

Когда камера уснула, Польшов приник к уху Кутерьмы:

— Слушай, Ванька, мне надо устроить «крестины», чтобы сменить имя. Сменить статью. Сроки каторги. Чтобы вылизать все прошлое дочиста и получить на руки «квартирный билет».

Иначе говоря, Польшов желал избавиться от тюрьмы, чтобы из категории «кандальной» перейти на «квартирное» положение, на какое имели право люди с малыми сроками наказания.

Кутерьма двинул могучей шеей, тихо ответил:

— Ша! Поищем похожего на тебя... обработаем. Твои пятнадцать лет на три годика сменим. Но дорого обойдется.

— Сколько? — спросил Польшов.

— Пять синек, и никак не меньше... Гляди сам, сколько здесь поддувал и глотов — всех напоить надобно.

(Пять «синек» — на языке каторги — это 100 рублей.)

— Сойдет, — сказал Польшов, наблюдая в потемках, как большой жирный клоп, упившись крови, медленно тащится по стене.

Иван раздавил клопа большим пальцем. Кутерьма знал Польшова еще с отсидки в петербургских «Крестах», где однажды Польшов, как знающий юрист, выручил его от большой беды, и с тех самых пор рецидивист ценил этого «валета», чуя в Польшове птицу высокого полета, способную парить на таких высотах, какие, пожалуй, недоступны ему самому... Каторга уснула. На нарах и под нарами, а кому не хватило места даже под нарами, те чутко дремали, сидя на параше. Ночью начинался прилив с моря, и речка Александровка на целых три версты возвращала свое течение назад, заливая при этом унылые окраины города, в котором никто и никогда не бывал еще свободен...

## 9. Люди, нефть и любовь

Дело было на окраине Александровска, в самом начале Рельсовой улицы, где стоял небольшой домик, окруженный жидким штакетником, за ним виднелись грядки огорода, приготовленные для посадки огурцов и картофеля. В этом убогом домишке проживал политический ссыльный Игнатий Волохов, социал-демократ.

Ольга Ивановна, жена его, сидела возле окна, прострачивая на швейной машинке «зингер» длиннейший шов заказного платья. Мужа дома не было — он давал уроки в школе, и женщина тихо плакала. С улицы скрипнула калитка, пришел товарищ ее мужа — Вычегдов, тоже политический ссыльный:

— Здравствуй, Оля... Ты никак плачешь?

— Не обращай внимания, — ответила женщина. — Просто у меня не стало сил терпеть это отвратительное хамство...

Они прошли в комнату. Вычегдов сел на стул.

— Все-таки, Оля, ты скажи, кто тебя обидел?

— Мне сегодня самым вульгарным образом надавали пощечин. Знаешь эту мерзавку Жоржетту Слизову? Так вот... Местные красотки раскритиковали ее новое платье. Я сегодня прихожу получить с нее деньги за шитье. Она швырнула в меня рублем, а потом... пришлось смолчать. Ради мужа. Ради детей.

— Правильно сделала. Только не плачь. Даже это пройдет, как проходит в нашей жизни многое... бесследно!

Вернулся из школы муж. Женщина накрыла для мужчин стол к обеду. Волохов пригляделся к товарищу по несчастью.

— Ты чем-то удручен? Я не ошибся?

Вычегдов выгнул плечи и резко опустил их:

— Не знаю, что и сказать.

— Так скажи то, чего ты сам не знаешь...

— Слушай! Недавно я встретил на улице партию кандалных последнего «сплава», которых гнали на работу. Сплошь уголовники! Но лицо одного из них мне показалось очень знакомым. Где-то я видел его раньше... да, встречал.

— Так что же тебя удивляет? — спросила Ольга.

— Кажется, он меня тоже узнал. Но при этом отвернулся столь преднамеренно, что это и насторожило меня. Если он из «политиков», то ему бы только радоваться, увидев меня... Убей бог, не могу вспомнить фамилию этого человека. Но из головы не выходит его подпольная кличка — не то «Техник», не то «Мастер», что-то в этом роде. Кажется, — досказал Вычегдов, — у него потом возникли какие-то связи с боевиками польской ППС.

Волохов спокойно дохлебывал из тарелки рыбный суп. Он сказал, что в этом случае надо быть крайне осторожным, дабы не подвести товарища излишним вниманием к нему:

— Он, может, и отвернулся от тебя нарочно, давая понять, что прибыл на Сахалин под другим именем и нам до поры до времени не следует с ним встречаться. Сам придет!

— Вполне возможно, — согласилась с мужем Ольга. — Сейчас в Варшаве проходит процесс по делу экса в лодзинском банке, и, если

он связан с боевиками ППС, то ему выгоднее всего затеряться в массе всякого уголовного сброда.

— Ну ладно, — ответил Вычегдов, — я не стану искать контактов с этим человеком, но у меня есть связи с тюремной шпаной. Я постараюсь через них узнать, под какой фамилией он прибыл на Сахалин... Может, это просто роковое совпадение!

— Такое тоже бывает, — добавил Волохов.

И больше они к этой теме не возвращались.

---

Запах нефти Сахалина давно раздражал обоняние многих аферистов. С острова Суматра появился некий ван Клейе, называвший себя голландцем; за ним в тайгу Сахалина проникли и другие иностранцы, жаждущие немислимых прибылей. Теперь понятно, почему генерал-лейтенант юстиции Ляпишев отказал Оболмасову в поддержке, ибо во всех этих разведчиках нефти он усматривал банду проходимцев, желавших погреть руки под буйным пламенем будущих факелов, рвущихся из недр Сахалина...

Жорж Оболмасов с большим старанием завязал перед зеркалом галстук, взял в руки тросточку и сказал себе:

— Еще посмотрим! Где нефть, там и деньги. Уверен, что старик Нобель еще позеленеет от зависти к моим личным доходам...

В японской колонии его ждали. После множества бытовых неудобств, испытанных в доме Слизовых, было приятно ощутить благоустройство японского жилья. Две молоденькие японки низко кланялись молодому геологу. Такаси Кумэда сказал, что консул Кабаяси не замедлит явиться. Как и Кумэда, почти все члены японской колонии Александровска хорошо владели русским языком, мужчины держались молодцевато, с большим внутренним достоинством, но крайне вежливо... Один из них сказал Оболмасову:

— Мы, живущие в Александровске единой дружной семьей, конечно же наблюдаем множество недостатков жизни на Сахалине, однако нам, посторонним наблюдателям, не пристало вмешиваться в чужие дела. Нравится нам это или не нравится, наша японская колония держится подальше от ваших дел...

После такого предупреждения появился сам Кабаяси.

— Мы очень огорчены теми неприятностями, которые доставило вам общение с губернатором... Вы уже знаете, — говорил Кабаяси, поскверкивая очками, — что нам безразличны дела сахалинской каторги, но мы испытываем давнее беспокойство от появления на острове иностранцев, привлеченных запасами нефти. Россия и Япония — добрые соседи, и нам не может нравиться, что по следам вашего лейтенанта Зотова в тайгу пробираются всякие авантюристы типа инженера ван Клейе...

Оболмасов почтительно сложил на коленях ручки, еще не понимая, к чему клонится этот разговор и почему ему, вчерашнему студенту, оказывают столько неподдельного внимания. В соседней комнате японки тихо наигрывали на сямисенах, а Такаси Кумэда ловко разлил по бокалам французское шампанское.

— Нам, — сказал он с улыбкой, — приятнее видеть русские нефтяные промыслы на Сахалине, нежели наблюдать активность подозрительных пришельцев, что в будущем станет угрожать спокойствию наших границ. Мы уже выяснили: Клейе — это не ван Клейе, а фон Клейе, он просто немец, женатый на яванке, но приезжал на Сахалин от американской компании «Стандард Ойл».

— Я вас хорошо понимаю, — с важным видом кивнул Оболмасов, хотя в этот момент он показался сам себе таким жалким, таким ничтожным, ибо перед ним сидели энергичные деловые люди, знающие как раз то, о чем никогда не писалось в газетах.

— Господин Ляпишев, — продолжал Кабаяси, — обошелся с вами чересчур сурово. Нам хотелось бы, ради восстановления справедливости, исправить ошибку губернатора, но при этом мы совсем не желаем вызывать его недовольство. Что вы скажете, Оболмасов-сан, если мы предложим вам свою помощь?

— Как вы сказали? — сразу напрягся Жорж.

Такаси Кумэда наклонил бутылку над его бокалом:

— Господин почтенный консул выразился достаточно ясно. Мы, японцы, согласны субсидировать ваше предприятие по разысканию нефти. Дадим вам своих носильщиков, которые выносливее ваших недоедающих каторжан. Снабдим снаряжением и продуктами, чтобы вы, ни в чем не испытывая нужды, провели геологические разведки Сахалина в тех самых районах, на какие мы, японцы, уже знакомые с островом, вам и укажем.

Вино подогрело утерянные еще вчера надежды:

— А если я не сыщу залежей нефти именно в тех районах, на которые вы, японцы, мне укажете? — спросил геолог.

— И не надо нам нефти! — вдруг рассмеялся консул Кабаяси. — Плоды ваших трудов останутся в триангуляции местности, в нанесении на карты просек, лесных завалов, даже звериных троп, ведущих к водопадам, в отметках речных бродов и высот сопок... Кстати, с вами будет наш отличный фотограф!

— Зачем? — искренне удивился Оболмасов.

— Должны же мы, вкладывая средства в вашу экспедицию, иметь хоть малейшую выгоду от нее, — пояснил Кумэда. — Мы издадим в Японии красочный альбом с видами Сахалина, и появление такого альбома уже одобрил с а м губернатор Ляпишев.

Кабаяси нежно коснулся плеча геолога:

— Мы люди деловые, и наши дружеские отношения не мешают скрепить контрактом. Думаю, пятьсот рублей жалованья на первое время вас устроит. В контракте мы особо оговорим, что летний сезон вы можете проводить в пригородах Нагасаки, где для вас будет приготовлена дача с красивыми служанками...

Оболмасов совсем размяк: такой ледяной холод от русского губернатора и такое радушное тепло от солнечной Японии, еще издали посылающей ему улыбки сказочных гейш на пригородной даче, утопающей в благоухании нежных магнолий.

— Вы меня просто спасли! — отвечал он японцам.

Кумэда, как заправский лакей, открыл вторую бутылку.

— У русских, — сказал он, — есть хороший обычай любое дело фиксировать хорошей выпивкой. Мы, японцы, любим закреплять дружбу еще и фотографированием... на память!

Кабаяси отсчитал Оболмасову аванс в новеньких ассигнациях, которые даже хрустели, потом надел котелок.

— Это неподалеку. Совсем рядом, — сказал он. В уютном фотостудии ловкий японец сделал несколько снимков с группы японской колонии, затем Кабаяси усадил Оболмасова на стул, а по бокам его встали сам консул и Кумэда.

— Я душевно тронут, — расчувствовался Оболмасов, благодаря японцев. — Вы меня растрогали до самых глубин души.

Хрустящие ассигнации нежно шелестели в его кармане.

...Что ему теперь этот старый брюзга Ляпишев?

С тех пор как в доме Ляпишева появилась молодая и свежая, краснощекая Клавдия Челищева, горничная Фенечка Икатова ходила с надутыми губами, нещадно колотила посуду на кухне, раздавала пощечины кухарке и дворнику, всем своим поведением давая понять военному губернатору Сахалина, что...

— Совесть тоже надо иметь! Мы не какие-нибудь завалящие. Хотя и по убивству сюда попали, но себя тоже помним... не как эта задрыга! Приехала и теперь фифочку из себя корчит...

Статский советник Бунге, кажется, уже понимал, что лишние сплетни в городе никак не украсят карьеру Ляпишева новейшими лаврами, а Челищева явно подозрительна своим появлением на Сахалине, где никто не нуждается в ее гуманных услугах.

— Я, конечно, приветствую ваши благие намерения, — сказал ей Бунге. — Но, посудите сами, куда я вас пристрою? В таежные выселки вы сами не поедете, а в Александровске... Знаете что! — решил он. — По воскресеньям тут много бездельников шляется по улицам,

всюду скандалы и драки... Не возьмете ли вы на себя труд устроить для народа воскресные чтения?

Михаил Николаевич Ляпишев горячо одобрил идею своего помощника, желая Клавдии Петровне всяческих успехов:

— Я со своей стороны накажу полицмейстеру Маслову обеспечить в Доме трудолюбия должное благочиние, а среди чиновников велю объявить подписку на граммофон. — Губернатор похлопал себя по карманам мундира, перевернул бумаги на своем столе: — Целый день ищу портсигар. Куда же он заделался?..

Клавочка со всем пылом юности увлеклась сама, увлекла и других в это новое для Сахалина дело. Среди каторжан нашлись отличные певцы, хор арестантов существовал и ранее; бестужевка выписала из Владивостока серию школьных картин на темы русской истории, развесила на стенах красочные картины с изображениями печени пьяниц, она старательно зубрила стихотворения из популярного сборника «Чтец-декламатор».

— Голубушка вы моя, — сказал ей Ляпишев, — все это замечательно, но я ведь, старый дурак, забыл о главном... Что же вы не просите у меня жалованье за старания свои?

— Я об этом как-то и не подумала. Извините.

— Не извиняйтесь. Одним духом святым не проживете...

Подозревать Ляпишева во влюбленности было бы несправедливо, но его опека Челищевой, почти отеческая, вызвала немало кривотолков в Александровске, где чиновные Мессалины радовались любой сплетне, порочащей кого-либо. Наконец в воскресный день Дом трудолюбия украсили изнутри ветками хвои, гуляющий народ заглядывал с улицы, любопытствуя:

— А чего будет-то! Молиться заставят али еще как?

— Чтения будут! Читать нам всякое станут, а потом всыпят всем плетей по десять, чтобы мы себя не забывали.

— Лучше бы нам фокус-покус показывали. Я вот, когда в Москве жил, так всегда балаганы навещал. Сначала фокусников посмотрю, потом у кого-либо кошелек свистну...

Народ все-таки собрался. Были и женщины из ссыльных, тут же баловались дети. Клавочка допустила большую ошибку, открыв первый вечер лекцией о климате Сахалина, которую попросила прочесть ссыльного интеллигента Сидорацкого, служившего на александровской метеостанции. Своей лекцией, начатой с теории атмосферного давления, он чуть было не загубил все дело с самого начала, тем более что сахалинская публика всегда испытывала лишь одно постоянное давление — от начальства, а на атмосферу пока еще не жаловалась.

— Ты нам глупости не заливай! — подсказывали из зала. — Уж коли мы тут собрались, так давай пляши...

Явно заскучав от картины ужасной борьбы между циклонами и антициклонами, публика потянулась к дверям, чтобы вернуться на базарную площадь, где кружилась праздничная карусель, где торговал трактир Недомясова и куражились пьяные. Но тут из глубин зала поднялся другой интеллигент, тоже из каторжных, но из уголовных. Он легко запрыгнул на сцену.

— Дорогие мои соотечественники! — обратился он к публике. — Я вам расскажу о климате Сахалина лучше этого умника. Судьба-злодейка распорядилась нами таким образом, что мы попали в удивительную страну, где никогда не было никакого климата, зато всегда была паршивая погода. Между тем, если взглянуть на карту, — он смело указал на плакат, изображающий перегнувшую печень алкоголика, — то мы увидим, что Александровск затаился на одном уровне с Киевом, откуда повелась земля Русская, а каторжная тюрьма в Корсаковске — на широте блаженной Венеции, где итальянский народ, дружественный России, с утра пораньше, даже не позавтракав, отплясывает огненную тарантеллу. Считайте, что нам здорово повезло! Другие людишки, чтобы попасть в Венецию, тратят бешеные деньги на дорогу, а нас привезли в эти широты бесплатно, да еще бдительно охраняли, чтобы мы не разбежались... В прошлом году ссыльнопоселенец Степан Разин, тот самый, жена которого драпанула к господину исправнику в кухарки, снял со своего огорода сразу десять мешков отборной картошки. Среди нее попадались экземпляры величиною с тыкву, а на огороде Маньки Путанной вырос огурец неприличной формы, почему и был отобран для показа в музее, как небывалое чудо сахалинской природы...

Публика оживилась, а лектор сказал, что оваций не надо:

— Лучше угостите меня папиросочкой... найдется?

После такого «климата» Клавочке было нелегко перейти к декламации, но она уже шагнула на край подмостков:

— Друзья мои, я прочитаю вам стихи, какие хотите.

В первом ряду она заметила неопрятного старика с бельмом на глазу, который визгливым голосом требовал:

— Про любовь нам, барышня... про любовь бы нам!

— Хорошо, — сказала девушка, — слушайте о любви:

Я чувствую и силы и стремленье  
Служить другим, бороться и любить:  
На их алтарь несу я вдохновенье,  
Чтоб в трудный час их песней ободрить...

Гражданские мотивы из Надсона не устраивали старика.

— Про любовь... про это самое... — взвизгивал он.

Но кто поймет, что не пустые звуки  
Звонят в стихе неопытном моем,  
Что каждый стих...

И тут она заметила, что этот старец с бельмом, который так жаждал стихов «про любовь», уже запустил руку в карман ближнего своего и, не сводя глаз с Челищевой, очень аккуратно извлекал кошелек. Это было так мерзостно, настолько паскудно и отвратно, что Клавочка не выдержала.

— Какая подлость! — крикнула она вору. — Я вам читаю стихи о самом святом на свете, а вы... неужели не стыдно?

Старик пустил ее «вниз по матушке, по Волге»:

— А вот крест святой — не брал. Хучь обыскивайте...

Кошелька так и не нашли. Но бельмастого сама же публика выставила на крыльцо Дома трудолюбия, в зале было отчетливо слышно, как он орал от побоев, потом воцарилось прежнее благочиние, и один пожилой конокрад сказал Клавочке:

— Читай дале нам, барышня! Энтот хорь старый воровать по воскресеньям уже не станет, потому как мы все лапы ему в дверях перешибли. А про любовь нежную мы завсегда слушать согласны, потому как это — дело святое, и, пока мы живы, оно всех нас касается... Тебя, барышня, тоже!

## 10. Крестины с причиндалами

Сидя на нарах, Плынов доктринерски рассуждал:

— Конечно, тюрьма консервирует лучшие качества, с которыми человек вошел в тюрьму, но эта же тюрьма усугубляет все пороки, с которыми порочный человек вступает в тюрьму...

Последнее время он жил в обостренной тревоге. Плынов предчувял, что если ему выпадет «воля», то жизнь в городе не позволит сменить долгий срок на малый, сфабриковать для себя новую биографию вместе с новым именем будет гораздо труднее, нежели здесь, пока он сидит на нарах в «кандальной».

— Чего маешься? — спрашивал его Кутерьма.

— Не маюсь, а размышляю...

По законам Сахалина, осужденный на 20 лет каторги обязан отсидеть в «кандальной» (испытуемой) тюрьме четыре года, кто получил 15 лет — сиди три года, со сроком осуждения в 10 лет — два года «кандальной» и так далее. Но этот режим из-за нехватки мест в камерах постоянно менял-



ся, и арестантов раньше срока переводили из «кандалной» в «вольную» тюрьму, а многих попросту гнали на улицу. Но таких снабжали сухим пайком от казны, каждый день они обязаны вернуться в тюрьму — на работу! Однако ловкачи отдавали свой паек голодным, которые за них трудились на каторге, а сами они занимались чем хотели.

— Кутерьма, — вдруг сказал Полынов, — я на днях встретил на улице человека, который с большим интересом вглядывался в меня. Не дай бог, если он еще не забыл мою фамилию и мою кличку... Мне нужно ускорить шикарные «крестины» по каторжному обряду со всеми причиндалами. Сам понимаешь!

— Ладно, — крикнул Иван, — я переговорю с майданщиком.

Майданщик на каторге — фигура знатная, и кто сильнее — иван или майданщик — этот вопрос разрешить трудно. Бывало и так, что иван, повздорив с майданщиком, сдыхал с ножом под лопаткой, а майданщик как ни в чем не бывало снова приходил в его камеру, словно коробейник с товарами:

— Налетай — подешевело! Вот и папироски скручены, вот и халва нарезана, а яички сольцою присыпаны...

Ящик, в котором майданщик разносил по тюрьме товары, имел двойное дно: под безобидной крышкой укрывались от глаз надзирателей бутылки со спиртом, колоды игральных карт и порции «марафета» (кокаина). Иваны, как правило, заканчивали свою житуху на кладбище Александровска, а майданщики выходили из тюрем Сахалина подпольными банкирами, становясь почтенными домовладельцами Владивостока, хозяевами лавок в Николаевске и магазинов в Хабаровске... Кутерьма неслышно подсел к майданщику:

— Ибрагим, выручи — нужен хороший «дядя сарай».

Для «крестин» требовался наивный простака, еще не потерявший дурную привычку верить всему, что ему говорят добрые люди. Кутерьма предупредил майданщика, что «сарай» нужен не старый, чтобы обязательно грамотный, чтобы его внешность ничем особым не выделялась, чтобы преступление у «сарая» было плевое, а срок каторжных работ пустяковым.

— Есть один такой. Эй, где тут семинарист Сперанский?

— Да эвон, «Прасковью Федоровну» кормит...

На параше расположился молодой смазливый парень, и Кутерьма, оглядев его, вернулся на свои нары — к Полынову.

— «Сарай» сгодится, — доложил он.

— А ты узнавал — кто он и за что на Сахалине?

— По мелочи пошел. Сам-то из духовных. Послали в деревню из семинарии псаломщиком. А там в церкви попападья — такая язва! Уговорила помочь ей от попа избавиться, чтобы не мешал любовь крутить. Вот он и вляпался... Шпана! Кувыркало поганое...

Пока Иван искал «дядю сарая», Польшов успел отрезать от халата пуговицы, внутри которых были зашиты деньги:

— Пять «синек» на всякие причиндалы, бери.

— Начнем «крестины» с божьей помощью. Нам не первый раз...

Бывший семинарист Сперанский еще ублажал «Прасковью Федоровну», когда удар кулаком обрушил его с параша на пол. Он вскочил, моргая глазами, подтягивая штаны:

— За что? Уже и подумать не дадут как следует.

— Тебе, может, еще и газетку почитать хоца?..

С этого момента жизнь превратилась в сущий ад. Преступный мир слишком жесток, а Сахалин до мелочей отработал гнусную систему «крестин», чтобы жертва звериных законов каторги нигде и ни от кого не знала спасения. Сперанского методически подвергали побоям, у него отбирали последнюю пайку хлеба, в кружку с чаем сморкались и плевали. Глядя на «поддувал», и вся камера включилась в травлю забитого человека, видя в его страданиях лишь веселое развлечение от тюремной тоски.

— Да что изгиляетесь-то? — плакал семинарист. — Рази ж я не человек? Поимейте ко мне хоть толику жалости...

С высоты нар, лениво покуривая, Кутерьма пристально наблюдал за жертвой, стараясь не прохлопать тот рискованный момент, когда человеку самая паршивая смерть от бритвы или веревки покажется слаще этой кошмарной жизни.

— Тока б не повесился, — рассуждал Иван.

— Следи, — напомнил ему Польшов, который, вроде постороннего наблюдателя, не вмешивался в процедуру «крещения».

Наконец Сперанский, уже не видя спасения от издевательств, стал звать к милосердию тюремных надзирателей.

— Откройте! — барабанил он в железные двери. — Спасите меня, люди добрые... За что мне это наказание господне?

— Пора, — тихо скомандовал Польшов.

Одним гигантским прыжком Кутерьма пролетел от нар до дверей камеры. В его кулаке блеснуло хищное лезвие ножа, и все мучители прыснули по углам, как мыши при виде кота.

— Пришью любого, — пригрозил Иван. — У-у, глоты, шпана липовая... Что ж вы с парнем-то делаете? Ежели кто еще тронет его, тому не с ним, а со мной дело иметь.

Сперанский приник к плечу бандита, горько рыдая:

— Спасибо вам, хороший вы человек. Вступились! И маменьке напишу, чтобы она всегда за вас Бога молила...

Кутерьма сунул ножик в свои опорки, обнял парня:

— Не бось! Мое слово верное. Жизнь будет у нас — во! Другие ишо позавидуют, каково мы жить-то станем... верь мне, верь.

Первым делом с высоты нар спихнули какого-то жулика, на его место с почестями разместили Сперанского, который совсем ошалел от внимания, когда у него появилась даже пуховая подушка.

— Во! Хорошего человека как же нам не уважить?..

Майданщик раскрыл свой волшебный ящик. Были у него кусочки ветчины, надетые на спички, колбаса кружочками. Семинарист, копейки за душой не имея, раньше только облизывался в своем убежище под нарами, взирая на такую гастрономическую роскошь, а теперь его под локотки представили Ибрагиму:

— Выбирай себе любое, как король на именинах.

— Курнуть бы мне, — скромно просил семинарист.

Самодельные сигарки, скрученные из газеты, стоили пятак, а завернутые в папиросную бумажку — по гривеннику. «Поддувалы» с наигранным возмущением набросились на Ибрагима:

— Ты, жлоб, сам давься своим дымокурор. А мы тебе золотого человека показываем, имей уважение... Ты ему папироски гони! Давай, халвы отрежь. Ветчинка тоже сгодится...

В окружении новых друзей Сперанский сидел на нарах, после долгого голодания уплетал куски ветчины, ему поднесли стакан водки, налили еще. Отовсюду он слышал похвалы себе:

— Золотой парень! Ты ешь, ешь. Не стыдись. Надо будет, мы ишо достанем. И чего это ранее ты не дружил с нами?

Появились карты. Сперанскому говорили:

— Ты фартовый, сразу видать. Метнем, что ли?

Окосев от дурной водки и тяжелой пищи, семинарист шлепал по доскам нар замызганные картишки и сам дивился, как ему везло. Дали три «щуга», а карман уже раздулся от денег.

— Весь «мешок» увел... надо же, а! — говорили воры. — Фартовый, такой любую карту возьмет. Видно, что парень хват...

Семинарист уже сам покрикивал на майданщика:

— Эй... как там тебя зовут, кила казанская? А ну, крути машину, чтобы сразу бутылка на нарах была... гуляем!

Его опять хлопали по спине, дурили голову похвалами:

— Конечно, теперь чего не гулять? Из-под нар вылез, а видно, что любого ивана соплей пополам перешибет...

Утром следовало тяжкое пробуждение, но едва Сперанский оторвал голову от подушки, «поддувалы» стали кричать:

— Ибрагим! Аль не видишь, что человек мучается?

Стакан водки, настоящий для крепости на махорке, снова раскрасил каторжное бытие голубыми цветочками фальшивого счастья. Опять, как вчера, Сперанский пожирал кусочки ветчины со спичек, размачивал в чае пряник, даже загордился:

— А на что мне пайка тюремная? Пушай другие трескают...

Уже плохо соображая, видел он, что не так легко идет к нему карта козырная, карман болтался свободно, а всякие «храпы» и «глоты» хапали с банка деньги, утешая его:

— Да, брат, сегодня тебе фарта не стало. Ну, с кем не бывает? Ставь на бочку остатние, а завтрава отыграешься...

Утром Ибрагим потянул его с нар за ноги.

— Когда платить будешь? — спросил он.

— За что платить-то? — не понял его семинарист.

— Ветчина и колбаска кушал. Водка моя пил. Папироска моя курил. С тебя сорок рублей, отдай и не грехи.

— Бога-то побойся! — тонко завыл Сперанский.

Майданщик покрыл его грязной бранью:

— Я твоего бога не знаю, у меня свой Аллах водится. И не Ибрагим я тебе, а — отец родной. С моего майдана вся тюрьма пил и кушал. Плати, если «темной» не хочешь.

Отовсюду слышались с нар возмущенные голоса людей, которые еще вчера доедали за семинариста его же объедки:

— Иль закона не знает? Давай, гони кровь из носу.

«Гнать кровь из носу» — на языке каторги значило расплачиваться с долгами. Сперанский еще не мог привыкнуть к мысли, что задолжал «отцу родному» 40 рублей, а его уже обступили со всех сторон всякие наглецы-«поддувалы»:

— Гони две синьки, чтобы из носу капало... Ты что, паскуда худая? Или забыл, что вчера продулся вконец? Ежели к вечеру не дашь кровь из носу, с «пером» в боку спать ляжешь...

Настал вечер. Сперанский взялся вынести парашу. Опорожнив ее над ямкой нужника, он обвинил себе шею длинной бечевкой, чтобы оставить этот проклятый мир, но из мрака услышал голос:

— Чего ж ты, миляга, в петлю полез? Так дело не пойдет. Я ведь предупреждал, что на меня всегда положиться можно...

— Кто здесь? — испуганно вскрикнул семинарист.

Из потемок нужника вдруг выступил Иван Кутерьма, он привлек парня к себе и подарил ему в уста скверный поцелуй Иуды:

— Сейчас перекрестим тебя, только не пугайся... — Вот теперь начинался разговор уже по делу: — Есть один человек у меня, которому помочь надобно. Ему пятнадцать лет всобачили. Возьмешь на себя его срок вместе с фамилией. А ему отдашь свои четыре годика и свое духовное звание. Я, сам ведаешь, худого тебе не хочу. Мне, как бессрочному, все равно бежать следует. Будешь моим товарищем. Рванем с Сахалина вместе. Дорогу до мыса Погиби я уже изучил, лодку у гиляков стащим и махнем на материк, а там...

Матерый вор, он расписал будущее такими красками, что дух захватывало: огненные рысаки увозили их к московскому «Яру», самые красивые шлюхи расточали неземные ласки.

— Со мною не пропадешь, — заверял Иван Кутерьма.

Голова шла кругом, но и жутью веяло от мысли, что на него вешают чужие грехи, а пятнадцать лет каторги — это не четыре года. Кутерьма сразу заметил колебания Сперанского:

— Не рыдай! Деваться-то тебе все равно уже некуда. Вся судьба собралась в гармошку. Хошь, я тебе сразу деньги дам, чтобы пустил кровь из носу, и никто в камере тебя мизинцем не колыхнет. А ежели, сука, ты от моих «крестин» откажешься, тогда... Сам знаешь, каторга — это тебе не карамелька!

Только теперь Полынов подошел к семинаристу. Он не стал вдаваться в лирику, сразу перешел в энергичное наступление:

— Тля! Слушай меня внимательно. Ты берешь мое имя, берешь и грехи мои. Если спросят, за что получил пятнадцать лет, отвечать будешь конкретно — за три экса! Запоминай: сначала было ограбление Коммерческого банка в Лодзи...

— Боюсь, — расплакался семинарист.

Полынов жесткой хваткой взял парня за горло:

— Еще ты увел кассу бельгийского экспресса. Ну а что касается экса в Познани, так я тебе этот экс прощаю, ибо в криминаль-полиции Берлина мое дело осталось недоказанным... Чего дрожишь, тля?

— Страшно мне, — признался Сперанский. — Да и не запомнить всех названий... Нельзя ли чего попроще?

— Проще не получится, ибо жизнь — слишком сложная штука. Еще раз повторяю: Лодзь, почтовый вагон и... Познань! А взяли тебя, сукина сына, за рулеткой в Монте-Карло.

— Да что я мог делать там, господи?

— Ты, дурак, ставил на тридцать шесть.

— Не бывал я там! Даже не знаю, где такой...

— Так и говори, что в Монте-Карло никогда не бывал. А тебе никто не поверит, ибо любой преступник всегда отрицает посещение тех мест, где он свершил наказуемое деяние. Осознал?

— Да ведь погубите вы меня.

— Не ври, — жестко произнес Полынов. — Ты сам несчастного пона загубил, чтобы с попадьею его выспаться. Так что не выкручивайся, а получи свои пятнадцать лет каторги и будь доволен, что еще легко от меня отделался...

Семинарист, схваченный за глотку, неожиданно встретился с взглядом желтых глаз, он заметил даже ухмылку на тонких губах Полынова, и тут он понял, что этот человек, отдавший ему свои преступления, выше всей уголовной камеры, выше даже его «крестного отца» — бандита Ивана Кутерьмы.

— Ладно, — обмяк семинарист. — Только отпустите меня...

И пальцы на его шее медленно разжались.

Сперанский (бывший Польшов) скоро вышел из тюрьмы, получив «квартирный билет», дабы существовать на свой счет, уже не надеясь на помощь от казны. Кутерьма остался на своих нарах. Бандит не знал, что придет срок — и он станет мешать Польшову, как опасный свидетель прошлого, а тогда Польшов, им же «перекрещенный» в Сперанского, должен будет убрать Кутерьму с этой грешной земли, дабы тот не мешал ему жить... В городе Польшов снял себе «угол» на Протяжной улице в квартире Анисьи, которая торговала на базаре протухшими селедками. Эта бой-баба, немало повидавшая на своем веку, не раз умилялась набожности своего постояльца, часами протаставившего перед иконами:

— Господи, простишь ли и помилуешь ли меня, грешного?

Вызнав о грехах постояльца, Анисья даже пожалела его:

— Сама баба, так по себе ведаю, что все беды от нас происходят. Ты, мил человек, от нашего брата держись подальше...

Итак, «крещение» состоялось удачно. Польшов все рассчитал правильно и не учел лишь одно важное обстоятельство — благородных порывов Клавочки Челищевой, которая, кажется, влюбилась в него из чувства женского сострадания.

## 11. Коллизии жизни

Было утро. Дети еще спали. Ольга Ивановна Волохова поправила на них одеяло и снова вернулась к швейной машинке.

— Может ли быть что-либо гадостнее! — со вздохом сказала она своему мужу. — Я, получившая образование в Женеве, жена социал-демократа, убежденная сторонница женской эмансипации, теперь, чтобы заработать на кусок хлеба, вынуждена шить платье на заказ... И — кому? — с горечью спросила женщина. — Для уголовной преступницы Фенечки Икатовой, этой строптивой фаворитки нашего стареющего губернатора.

— Ладно, ладно, — ответил Игнатий Волохов, собираясь в школу давать уроки детям каторжан. — Не пытайся, моя дорогая, подвергать анализу сложные коллизии сахалинской жизни... Кстати, — спросил он, застегивая портфель, — что пишут в газетах об этом процессе в Лодзи по поводу экска в банке?

Ольга Ивановна надавила педаль своего старенького «зингера», который давал вдоль шва четкую аккуратную строчку:

— Суд закончился. Главного повесили в цитадели Варшавы, остальным дали большие сроки. Не исключено, что кто-либо из боевиков ППС вскоре появится у нас на Сахалине.

Вечером Волохов застал жену в большой тревоге.

— Слава богу, что ты пришел, — сказала Ольга Ивановна. — А то ведь я уже хотела взять детей и уйти к соседям.

— В чем дело? И что случилось тут без меня?

— За нашим домом, кажется, ведут наблюдение.

— С чего ты это взяла?

— Я сидела вот так, лицом к окну, перед машинкой, когда заметила странного человека, который издали следил, кто к нам приходит и кто уходит... Мне страшно! — призналась женщина. — Кругом убийства, грабежи, насилия...

— Как он выглядел, этот человек?

— Еще молод. Строен. Чувствуется, что сильный. Одет же в обычный бушлат, какие выдают арестантам, когда они из «кандальной» переходят в «квартирные».

Волохов просил ее подавать ужин:

— Успокойся, Оленька, мы с тобой не такие уж богатые, чтобы нас грабить. Тут что-то другое... А вот и новость: на барахолке сегодня была облава с большим оцеплением.

— Что искали? Наверное, беглых?

— Да ерунду искали — портсигар с зеркальцем.

— Из-за портсигара такой шум?

— Портсигар-то увели прямо со стола губернатора, вот старик и взбеленился. Понятно его раздражение, если в кабинете губернатора бьются свои люди... Бунге ведь не утащит!

Волохов хорошо знал Сахалин, он был членом Русского географического общества, которое недавно просило его написать статью о низкой рождаемости на острове. Когда жена и дети уснули, ссыльный присел к столу, приподняв для яркости света фитиль керосиновой лампы. Отчет предназначался к публикации, а потому, чтобы цензура не очень придиралась, Волохов открыл статью цитатой из официального сообщения от 1899 года: «Трагический недостаток женщин порождает разврат, подрывающий семейные начала, без которых колонизация Сахалина невозможна... Вступив на остров, женщина перестает быть человеком, становясь безличным предметом, который выдается поселенцу вместе с коровой и свиноматкой, женщину могут отнять у него, продать, изуродовать, уничтожить». Что говорить о нравственности, — продолжал Волохов, — если на 8 мужчин приходится 1 женщина, отчего на Сахалине процветает откровенная полиандрия, а девочки с 10 лет вступают в половую жизнь, чтобы заработать на пропитание. Проституция снижает рождаемость...»

Волохов сильно вздрогнул! Перед ним темнел квадрат ночного окна, а в расщелине ситцевой занавески он увидел лицо неизвестного человека, в упор смотревшего на него. Волохов быстро задул лампу

и шагнул прочь от окна, боясь выстрела. Он слышал, как тихо прощелестели удаляющиеся шаги, скрипнула калитка и снова наступила тишина. Рельсовая улица спала.

— Оля права, — сказал себе Волохов, — тут дело нечистое. Кто этот тип, что шляется по ночам? Что ему надо от нас?..

Было известно, что полицмейстер Маслов носит под шинелью стальную кирасу, ибо его уже не раз пытались зарезать. Ладно этот Маслов, ему сам черт не брат, а вот как сохранить жизнь Оболмасову? Проживание его в доме Слизовых затянулось, и хозяин поучал геолога, что вечером за калитку лучше и не высовываться. Оболмасова выручила Жоржетта Иудична Слизова, которая поднесла ему два тома — Боборыкина и Шеллера-Михайлова.

— Конечно, это не Мопассан, — с томным видом намекнула женщина. — Но я от чистого сердца дарю вам классиков.

— Благодарю, но этих господ я уже читал.

— Ах, Жорж! Как вы непонятливы. Боборыкиным вы укроетесь спереди, а Шеллер-Михайлов своим солидным переплетом сохранит вас от любого коварного нападения сзади... Отныне вы будете для меня — как кирасир, закованный в латы.

Спасибо ей: обвешавшись русской беллетристикой, Георгий Георгиевич теперь уже не так боялся ходить по улицам. Скоро он стал своим человеком в кругу местной бюрократии, его часто видели в клубе, где буфет с выпивкой заключал церемонию каждого вечера. Жорж легко тратил аванс, полученный от Кабаяси, ибо в порядочность японцев верил больше, нежели своим соотечественникам: «Трепачи! Насулят три коробка, а когда придет время расплачиваться, так с них черта лысого не получишь...» В клубе Александровска все чаще говорили о намерении Ляпишева удалиться в отставку, но эта версия тут же отпадала, жестоко раскритикованная с позиций романтического реализма.

— Э, не первый раз! — говорил Слизов, накалывая на вилку кусочек селедки. — В прошлом году он тоже клялся, что из отпуска не вернется. Мы, как последние олухи, объявили подписку на поднесение подарка «от благодарных сослуживцев», а к осени — глядь! — он вернулся. Ясное дело, что подарков сослуживцам не вернул. Так будет и сейчас...

— Конечно, — подхватил Еремеев, инспектор тюремного надзора, — в России таких окладов не бывает, как здесь, да и Фенечку Икагову тоже необходимо учитывать на весах местного благоразумия... Чего ради ему от Сахалина отказываться?

В среде этих господ Жорж Оболмасов быстро научился пить больше меры, легко усвоил от них презрение к каторге — главный закон чиновно-сахалинской морали, и на улицах Александровска, забронированный с фронта и тыла переплетами книг, он бдительно



следил, чтобы не пострадал его престиж, чтобы вся каторжноссылная дрянь за 20 шагов от него обнажала головы.

— Эй, — покрикивал геолог. — Кажется, от вас на Сахалине не так уж много требуют: всего-то навсего шапчонку скинуть. Так не ленись, братец, и скажи спасибо судьбе, что на интеллигента напал, а другой бы тебе такого «леща» поджарил...

Наивным сном казались теперь ему мечты юности, когда в аудиториях Горного института студенты сладко грезили о том, как прошупают недра России, выявив в их глубинах все, в чем нуждается русская экономика и промышленность. Жорж не сомневался, что именно на каторге станет новоявленным Нобелем! Сейчас в этой увлекательной сахалинской эпопее его угнетало лишь отсутствие женщины. Он боялся связывать себя с местными Цирцеями и Афродитами, о которых ходили ужасные слухи, а женщин, еще не испорченных каторгой, следовало ожидать до осеннего «сплава»... Оставалось благодарить Жоржетту Иудичну: когда муж удалялся по утрам на службу, эта старая гримза вовлекала квартиросъемщика именно в те приятные отношения, в каких он нуждался. Правда, иногда еще мнилось, что со времен встречи в Одессе он имеет некоторые надежды на чистоту и святость Клавдии Челищевой, геолог даже позванивал в дом губернатора, прося пригласить ее к телефону, но трубку телефона каждый раз почему-то снимала с рычага обнаглевшая Фенечка Икатова:

— Кто спрашивает? А чего вам от нее надо? Так у меня ноги-то, чай, не казенные, чтобы я за ней бегала...

Челищеву очень редко видели в клубе, она слишком увлеклась «воскресными чтениями» в Доме трудолюбия, куда раньше людей было не заманить, а теперь каторжане и ссыльные часами выстаивали на ногах, слушая чтение русских классиков, для них заводили граммофон «Тонарм» с мембраною фирмы «Эксибишен», и знаменитая Варя Панина с надрывом выпевала для них:

Стой, ямщик! Не гони лошадей.  
Нам некуда больше спешить...

Но однажды Фенечка сняла трубку зазвонившего телефона, и мужской голос велел ей пригласить госпожу Челищеву.

— А у меня ноги-то не казенные... — начала было Фенечка с обычного в таких случаях афоризма, но голос мужчины на этот раз оказался неукоснительно резок:

— Слушай, ты... мразь в накрахмаленных кружевах! Не смей хамить и немедленно позови к аппарату госпожу Челищеву.

Клавочка взяла трубку, брошенную на стенной крючок.

— Простите, — услышала она, — вас беспокоит штабс-капитан Быков, Валерий Павлович... Может, вы меня помните?

— Помню вас и помню ваши предостережения. Но, как видите, мне раскаиваться еще не пришлось, и осенью я не собираюсь покидать Сахалин на транспорте «Ярославль».

— Рад за вас, — отвечал Быков; от имени гарнизона он просил ее выступить в казармах Александровска перед солдатами. — Вы сами знаете, что Карузо и Шалапин не угрожают Сахалину своими бесплатными гастролями. А наши сахалинские солдаты хотя и слуги отечеству, но жизнь у них тоже почти каторжная, они будут очень рады послушать и вас и ваш... граммофон!

Вечер в казарме сложился самым лучшим образом, а потом штабс-капитан Быков умолил девушку накинуть на свои девичьи плечи его офицерскую шинель:

— Не простудитесь! Снег в окрестностях нашего легендарного «Парижа» будет лежать на сопках еще долго, а дожди тут очень холодные... Впрочем, моя коляска к вашим услугам!

Клавочка без тени ложного смущения приняла его приглашение «на чашку чаю»; денщик задержал лошадей возле беленькой мазанки, похожей на украинскую, в переулке офицерской слободки. Внутри дома хранилась стерильная чистота, всюду был заметен порядок, свойственный только женщинам, о чем Клавочка и подумала про себя, но Валерий Павлович Быков с удивительной проницательностью разгадал ее потаенные мысли:

— Нет, я холостяк. Просто жизнь приучила меня к аккуратности в общении не только с предметами, но и с людьми... Я нисколько не жалею, что связал свою судьбу с русской армией, я сожалею только о том, что не в силах сдать экзамены в Академию Генштаба. Иногда мне кажется, что я окончательный тупица!

Денщик поставил самовар. Над офицерской тахтой висела карта Сахалина, и Быков обвел пальцем контуры острова:

— Заметьте, что Сахалин своими очертаниями напоминает большую стерлядь с раздвоенным хвостом на юге, это даже символично... Россия привыкла кормиться рыбой с Волги, а никто еще не подумал, что один только Корсаковск может дать народу рыбы как десять Астраханей... Мы — слепые раззявы! — говорил Быков. — Когда с океана идут рыбные косяки, то они столь необъятны, что миллионы тонн самой драгоценной рыбы с икрой выдавливаются прямо на берега Сахалина, образуя на них гекатомбы умирающей рыбы, которая потом отравляет воздух своим гниением. А у нас нет даже соли... Вот, попробуйте нашу селедку!

Клавочка попробовала и сказала:

— Да, в магазинах Елисева такую не продашь даже беднякам, ибо россияне давно испорчены астраханским засолом.

Быков вызвался проводить ее:

— Вы бы знали, как тошно жить на этом острове, где мы все заранее прокляли, все изгадили, все оплевали, на все глядим чужими

недобрыми глазами, будто Сахалин не наша земля, а сам дьявол прибил ее к берегам России. Японцы этим и пользуются — грабят, вывозят, хищничают. Вы когда-нибудь побывайте на путине в Аниве... это страшно! Будто Сахалин вообще не принадлежит нам, русским, а только им, японцам.

Клавочке штабс-капитан нравился — он не был похож на других обитателей Александровска, но в сердце бестужевки, давно настроенном на лирический лад, еще не угасал интерес к тому загадочному арестанту, который, как и офицер Быков, тоже не был похож на рядовых людишек... «Где же он, этот арестант с такими лучистыми, медовыми глазами?» Наверное, горюет в «кандальной» и смотрит на этот мир через решетку.

Приятно шелестящая кружевным фартучком, милейшее создание природы — Фенечка Икатова внесла в кабинет военного губернатора поднос с чаем и сливками. Сразу началась активная выгрузка самой свежайшей сахалинской информации:

— Слизова-то Жоржетка, кляча старая, живет с этим... Ну, с этим вот, что больно уж нефти от вас захотел.

— Оболмасов? Горный инженер?

— Он самый. Бессовестные люди... Слизов ему, как человеку, квартиру сдал, а он с его же кривомордой путается. Мало того, еще взял моду такую — сюда, в управление, названивать.

— Чего ему от меня надо? — возмутился Михаил Николаевич. — Я его грандиозным планам не слуга, уже было сказано.

— Да вы ему не больно-то и нужны, — хихикнула Фенечка, советуя Ляпишеву добавить в чай побольше сливок. — У него тут иные заботы... Видать, одной Жоржеточки ему мало, он по телефонам с госпожой Челищевой шуры-муры крутит.

— Да ну! Быть того не может, — ответил Михаил Николаевич, при этом послушно разбавляя чай сливками.

— Тоже хороша... штучка! — сказала Фенечка, наблюдая через окно, как два арестанта на длинной палке несли к базару гигантскую камбалу, похожую издали на старое застиранное одеяло, которое впору выбросить. — Тут не только Оболмасов! Она и с капитаном Быковым стала путаться. Мне на кухне барон Шеппинг сказывал, что уже видели, как она от него вечером выходила. Знаем мы таких. В благородство играют, а сами...

Ляпишев схватился за виски, уткнув в них два указательных пальца, словно приставил к ним стволы заряженных пистолетов, чтобы разом покончить со всеми земными радостями.

— Не могу! — простонал он, как раненый. — Наконец, я уже изнемог от зловония этих мерзких сахалинских помоев.

Фенечка все-таки досмотрела, как арестанты, свирепо ругаясь, долго пропихивали камбалу в двери трактира, чтобы пропить рыбину и больше с нею не мучиться.

— Как хотите... мое дело — предупредить, чтобы потом вы сами не раскаивались! — И, сказав так, Фенечка вильнула перед губернатором шуршащим от крахмала подолом.

Ляпишев тяжело вздыхал в одиночестве, тоже поглядывая в окно кабинета, и даже не удивился, когда из дверей трактира сначала вылетели, как пробки, избитые арестанты, а вслед за ними шлепнулась камбала невероятных размеров, и на мостовой камбала вдруг ожила, начиная шевелиться.

— О, боже праведный! — вздыхал Ляпишев. — Не лучше ли быть капитаном юстиции в Тамбове, нежели генерал-лейтенантом на Сахалине... жалко мне, до слез жаль камбалу! Она-то чем виновата? Хоть бы не мучили эту несчастную рыбину...

Губернатора искренно обрадовало появление Клавочки Челищевой, потому что ему, в общем-то доброму человеку, после всей грязи и сплетен, было приятно видеть возле себя эту строгую румяную девушку, на затылке которой большие русые косы были стянуты в тугий узел, украшенный сверху «гарибальдийкой».

— Портсигар нашелся! — сказал он, поднимаясь ей навстречу. — Оказывается, писарь моей канцелярии, князь Максutow, бывший офицер флота его императорского величества, экспроприровал его у меня и... пропил. На кого угодно мог бы подумать, но чтобы его сиятельство? Чтобы лейтенант флота?..

Беседуя с девушкой, он видел, как избитые арестанты стали заново прилаживать камбалу к своей длинной палке, чтобы тащить ее до следующего трактира Пахома Недомясова.

— Я, — говорил Ляпишев, — скоро отбываю в отпуск и вряд ли вернусь обратно. Скорее всего попрошу отставку. Пока власть над Сахалином в моих руках, я желал бы оставаться любезным с вами до конца... Говорите, что вам надо? С великим удовольствием я исполню вашу любую просьбу.

Клавочка поняла, что такой случай вряд ли еще представится ей, и девушка с большим чувством произнесла:

— Не о себе прошу — о несчастном... Если у вас найдется в канцелярии место, пожалуйста, прошу вас, вызволите из «кандалной» молодого человека, с которым я познакомилась еще на «Ярославле». Кажется, он осужден на пятнадцать лет. Фамилия его — Полинов, а зовут Глебом Викторовичем.

— Но способен ли он быть писарем, чтобы заменить князя Максutowа, которого я уже отправил в «кандалную»?

— Судя по разговорам, — ответила Клавочка, — Полинов человек образованный, самых неожиданных познаний. Наверное, имеет и тех-

ническое образование, — добавила она, тут же вспомнив о вскрытии замка секретной камеры в форпике корабля.

Михаил Николаевич обещал исполнить просьбу Челишевой, но просил поручиться за порядочность Польшова.

— Ручаюсь головой, — заверила его Клавочка, — что этот человек на ваш портсигар никогда не польстится...

Отпустив девушку, военный губернатор вызвал Соколова, начальника конвоя, велел доставить из «кандалной» тюрьмы преступника Г. В. Польшова, сидящего по статье № 954:

— Если он закован, велите кандалы снять...

Ляпишев, конечно, не мог догадываться, как не догадывалась об этом и Клавочка Челишева, что вышенареченный Г. В. Польшов уже затаился в городе на «квартирном» положении, а вместо него из «кандалной» будет вызволен совсем другой человек.

## 12. Теперь жить можно

Ляпишев встретил его посреди кабинета.

— Пятнадцать лет? — строго спросил он.

— Да, — еле слышно ответил арестант

— Эхсы?

— Имел к ним пристрастие.

— Ну ладно, — произнес Ляпишев, указав садиться за стол и приготовиться писать. — Не обижайтесь, но мне желательно проверить красоту вашего почерка и вашу грамотность. Записывайте следом за мной... «Удаляясь на заслуженный отдых в отпуск, я, властью, данной мне свыше, приказываю считать статского советника Н. Э. Бунге временно исполняющим обязанности сахалинского губернатора, при этом всем подчиненным наставляю в прямую обязанность усилить бдительность в связи с летним периодом, когда побег с каторги и.. » Успели записать?

— Так точно! — вскочил арестант со стула.

— Ничего, сидите, — разрешил Ляпишев, пробегая глазами текст своего приказа. — Ну что ж, почерк у вас разборчивый, синтаксис в порядке, так что, милейший Польшов, я не вижу причин для отказа в занятии вами канцелярского места. Но учтите, что за вас поручилась персона, которой я доверяю.

— Премного благодарны, — кланялся ему арестант...

Новоявленный Польшов робко уселся за массивный стол губернаторской канцелярии. В голове семинариста никак не укладывалось, откуда и по каким причинам на него вдруг свалилась такая роскошная благодать? Всюду тепло и чисто. С кухни сквозняки доносят запахи

пищи, которую язык не повернется называть «баландой», нигде не слышать кандалного звона. В смятенном сознании семинариста медленно раскручивалась страшная догадка: не за тем ли и случились «крестины», чтобы возвысить его над этой каторгой, а виноват в его нечаянном возвышении именно тот человек, который столь жестоко похитил у него имя, его приговор суда сменил на другой — тяжкий, но более удачливый...

В канцелярию вошла чистенькая горничная. Это была Фенечка, которой было интересно глянуть на нового писаря.

— Чего лупетки-то свои выкатил? — сказала она. — Или еще не видывал порядочных женщин?.. Ничего, — продолжала Фенечка, — мне раньше-то и не снилась такая сладкая житуха, какая на каторге выпала. Теперь жить можно... с умом, конечно!

Семинарист с ужасом вспомнил, как залезал под нары.

— Да, теперь жить можно, — согласился он.

И на всякий случай он нижайше поклонился Фенечке Икатовой.

---

Иван Кутерьма не мог очухаться от удивления: этого сопливого семинариста, которого он сам недавно «перекрестил», теперь забрал из тюрьмы сам начальник губернаторского конвоя, причем увезли его на коляске Ляпишева — как барина...

— Не иначе как ссучился! — здраво решил бандит.

При этом страшные мысли ослепляли его: сейчас «крестник» расскажет всю правду, Ивана закуют в ручные и ножные кандалы, потом засадят в «сушилку» (так назывался карцер). Пока он там парится, власть над камерой и всеми арестантами заберут «храпы», а его, бедного, разжалуют в «поддувалы»...

Кутерьма нашептал в ухо майданщику:

— Ибрагим, как хошь, а мне надо срочно бежать.

(Он сказал это на жаргоне: «пора слушать кукушку».)

— Так валяй... слушай, — с ленцой отвечал майданщик.

— Так не полезу же я на пули да на штыки конвойных! — Было видно, что без денег Ибрагим не разговорится, и Кутерьма с досадой швырнул ему четыре последних рубля. — Держи, хапуга, но только скажи: какой из столбов искать в «палях»?

Высокие «пали», окружавшие тюрьму, имели лазейку, чтобы прыгнуть под ними на волю. Это был секрет всей каторги. Даже не все иваны знали, какой из тысячи громадных столбов ограждения заранее подпилен для выхода на свободу.

Ибрагим спрятал деньги в карман халата:

— Сорок восьмое бревно. Там густая крапива...

Ближе к вечеру Иван Кутерьма спорол «туза» на спине, а кандалы у него были давно подпилены и разрезы на металле заполнены мягким

воском. Вот уже стали разделять по камерам порции хлеба к чаю. Арестанты таскали хлеб на носилках, на каких выносили и покойников из камер. А все довески к пайкам прикалывались деревянными лучинками. Кутерьма даже есть не стал.

Перед сном надзиратель оповещал камеру:

— Эй, а парашу я, что ли, за вас выносить стану?

«Прасковью Федоровну» обычно вытаскивали на тех же носилках, на каких разносили и порции хлеба. Два арестанта уже взялись тащить парашу на двор, но Кутерьма отстранил одного:

— Ты отдыхай! Сей день я сам прогуляюсь до ямы...

На дворе было уже темно. Спотыкаясь, они брели до выгребной ямы тюрьмы, невольно расплескивая зловонное содержимое. Затем, опорожнив бочку параша, Кутерьма заявил напарнику:

— А мыть ее сам будешь. Считай, что меня нету...

Иван неслышно растворился в темноте. Прочные бревна «палей», перевитые толстой проволокой, со всех сторон окружали тюрьму, внешне, казалось, непреодолимые. Кутерьма двигался вдоль этого забора, нащупывая одно бревно за другим. Он считал:

— ...сороковое, сорок первое, сорок второе... это будет сорок шестое, вот и седьмое. Ага, сорок восьмое... стоп!

Ибрагим не обманул: здесь росла густая крапива. Кутерьма сунулся в ее обжигающие заросли, руками начал копать в земле глубокую яму, пока не достиг комля бревна, которое было уже подпилено. Бревно с натугой провернулось на железном штыре, и сразу открылась нора, выведившая на блаженную свободу... Кутерьма отряхнулся от земли, глянул разок на звезды и решительно зашагал прочь от тюрьмы, похожий на «вольного» ссыльнопоселенца, который задержался в гостях, а теперь спешит на свои клопяные полати, чтобы зарыться в рвань и спать.

Между базарных рядов медленно прогуливались громадные крысы, брезгливо обнюхивая острыми мордами мертвецки пьяного, уснувшего в яме. Кутерьма уверенно двигался закоулками, среди заборов и огородов, пока не вышел к дому торговки селедками. Тихо-тихо он постучался в стекло крайнего окошка. Занавески раздвинулись, в окне расплывчато забелело лицо.

— Инженер, открой... это я. Кукушка меня позвала!

Выразительным жестом Плынов дал понять, что сам выйдет к нему, и скоро появился на дворе, наспех одетый:

— Кукушка? Что-то некстати она закуковала.

— Все расскажу потом, а сейчас укрой меня... а? Мне надо переждать недельку-две, пока не перестанут искать... а? Долг платежом красен: я тебя «крестил», так выручай... а?

Плынов зевнул, пожившись от ночной сырости.

— Выручу, — обещал он. — Но у меня на Протяжной укрыться нельзя. Анисья — баба торговая, к ней с базара всякая шваль треплется, тебя здесь могут заметить... Что случилось?

— Да не мусоль ты душу мою! Все скажу потом, а сейчас веди куда-нибудь, чтобы меня не застукали.

— Спрячу в самом надежном месте. Есть такое. Тут недалеко, сразу за ручьем. Я сам провожу. Погоди меня тут. Со двора не уходи. Я быстренько оденусь, и тронемся...

Скоро они двинулись в сторону ручья по узкой извилистой тропе, и всю дорогу Кутерьма извергал ругань:

— ...пусть не думает, что удавлю или зарежу. Это ишо не смерть, а так — карамелька с начинкой! Он у меня еще в ногах изваляется, замучаю, пока сам о смерти не взмолится...

Послышался шум ручья, Полынов предупредил:

— Осторожнее, здесь мостки... Видишь?

— Ага, вижу, — отвечал ему Кутерьма.

Рука следующего за ним Полынова вдруг обхватила его шею, голова запрокинулась назад. Всем весом своего грузного тела бандит сам нанизал себя на нож, глубоко пронзивший его.

— А теперь... вон туда, — толкнул его Полынов.

Сонно всплеснула вода и тина. Стало очень тихо.

Полынов вернулся в свое жилье. При свете керосиновой лампы еще раз пробежал глазами газетный отчет о судебном процессе в Лодзай, потом улегся в постель. Вернее, он даже не улегся, а рухнул — как беспомощный человек, которого свалила в небытие нечаянная пуля из-за угла.

— Не смерть, а карамелька, — сказал он, задувая лампу.

---

Клавочка проснулась и долго не могла понять, почему у нее такое праздничное настроение. И тут она вспомнила о причине радости: ею сделано доброе дело, сегодня она может встретить в канцелярии губернатора того самого человека, которого сама избавила от кандалов и тюрьмы.

— Сегодня же навещу его... вот обрадуется!

Пробуждение чуточку омрачилось, когда ей подумалось, что с отъездом Ляпишева она останется на Сахалине под административной опекой статского советника Бунге, который давно излучал в ее сторону пугающий бюрократический холод.

— А что мне до него? — сказала себе Клавочка.

В приемной губернатора ей встретились судебный следователь с фамилией Подорога и полковник Данилов из Тымовского (иначе Рыковского) тюремного округа, обсуждавшие щекотливый вопрос о подписке для подарков генерал-губернатору Ляпишеву.



— Можно на худой конец подарить японскую вазу со всякими там страшными драконами, — говорил Подорога.

— Таковую вазу подносили в прошлом году, а сейчас желательно что-либо поувлекательнее... Может, — размышлял Данилов, — орудией салют при отплытии покажется Михаилу Николаевичу немного приятнее местных сувениров?

— Но деньги-то уже собрали! Не стрелять же теперь из пушек деньгами, собранными по подписке... Куда их девать?

С некоторым замиранием сердца Челищева направилась в канцелярию губернаторского присутствия, где за столом сидел какой-то белобрысый парень и, скривив рот от небывалого усердия, старательно перебелил казенную бумагу. Клавдия Петровна ожидала видеть Полынова, но писарь уже торопливо вскочил:

— Арестант Полынов из каторжных последнего «сплава»... Я весь к вашим услугам. Чего изволите? Я вас слушаю.

— Это не вы, — отшатнулась прочь от него девушка, и вдруг ей стало так нехорошо, что она опустила на стул, не веря своим глазам. — Кто вы такой? Я вас не знаю... Откуда вы появились? — вдруг резко выкрикнула она, вставая. — Сейчас же и немедленно прекратите эту дурацкую комедию!

Писарь затравленно оглянулся на дверь, почти в молитвенном экстазе, как перед киотом, он складывал перед девушкой руки:

— Тише, тише... не погубите меня. Всеми святыми заклинаю — не выдавайте меня... Если в тюрьме узнают, что я разоблачен, меня ведь сразу придушат, как худую собаку...

Потрясение было столь велико, что Челищева долго пребывала в каком-то оцепенении. Только теперь она стала понимать случившееся, а сбивчивый рассказ писаря о том, как его «крестили», объяснил ей все остальное.

— Хорошо, — произнесла она. — У меня нет желания причинить вам зло. Наверное, у вас было его уже достаточно.

Писарь, плача, упал к ее ногам:

— Век за вас буду Бога молить... Если б вы знали, сколько страдал я в тюрьме, пока не попал вот сюда! Так не вергайте меня обратно — в пучину зла и ненависти.

— Встаньте, — велела ему Челищева. — Я обещаю молчать о том, что вы — это совсем не вы, а кто-то другой. Но, может, вы подскажете мне: куда делся этот «кто-то другой»?

Еще всхлипывая, писарь торопливо листал подшивки «квартирных билетов» и наконец объявил ей — почти радостно:

— Нашел! Этот человек жительствоует у торговки Анисьи, которую вы сыщете в конце Протяжной улицы... там спросите.

Протяжная отыскалась с помощью прохожих, весьма подзрительно оглядывавших барышню в меховой «барнаулке» и в шапочке-гарибальдийке. В доме базарной торговки дверь отво-

рилась с таким противным скрипом, будто качнули виселицу. Польшов при виде Челишевой пощелкал подтяжками, которые опоясывали его грудь, как приводные ремни бездушную машину. Кажется, он не очень-то удивился ее неожиданному появлению.

— Благодарю — не ожидал, — сказал с ухмылкой.

И эти банальные слова, как и эта ухмылка, показались ей настолько циничны и отвратительны, что рука поднялась сама собой... Клавочка надавала ему хлестких, оскорбительных пощечин с такою силой, какой даже не ожидала в себе:

— Вот вам... вот еще! Не смейте отворачиваться... Вы опутали меня своей ложью! — в гневе выкрикивала она. — Вы сделали меня причастной к своим преступлениям, в которых я не могу разобраться... Чего еще мне ожидать от вас?

Польшов-Сперанский расцеловал ей руки.

— Это мой давний принцип, — сказал он девушке. — Если нельзя укунить руку женщины, избивающую тебя, я стараюсь расцеловать эту руку... Благодарю — ведь я давно ожидал вас!

— Вы? Ожидали меня? Зачем?

— Вам не следовало влюбляться в меня...

Неожиданно заплавав, Клавдия приникла к его груди, перепоясанной бездушными ремнями подтяжек, а Польшов нежно гладил вздрагивающие плечи, говоря при этом очень ласково:

— Успокойтесь, прошу вас. Я никогда не воспользуюсь вашей минутной слабостью, ибо, подобно тигру, я никогда не возвращаюсь к добыче, если в первом прыжке однажды я промахнулся.

— Разве вас можно понять?

— А разве вы забыли, что было на подходах к Гонконгу?

Клавочка подняла к нему зареванное лицо.

— Кто вы такой? — со стоном спросила она.

— А вы не знаете?

— Не знаю. Но хочу знать.

— Я сейчас только семинарист Сперанский, имевший неосторожность придушить одного старенького попа... Мне, честно говоря, не совсем-то уютно в этой гадостной роли, но вы потерпите.

— Долго ли еще терпеть?

— Нет! — ответил Польшов. — Скоро я придумаю что-либо другое, более интересное для образованных женщин...

### 13. Не подходите к ней с вопросами

Приезжих с материка удивляло, что процент детской грамотности на Сахалине был выше, нежели в иных российских губерниях. В этом большая заслуга именно политических ссыльных, но следует отдать

должное и военному губернатору Ляпишеву, который, заведомо зная, что детей с утра не покормят, узаконил раздачу в школах бесплатных завтраков.

Всем добрым начинаниям на Сахалине каторга обязана именно «политикам» и ссыльным интеллигентам. Педагоги выпрямляли в душах детей все то, что было искривлено пороками родителей, врачи отстаивали больных каторжан от плетей и тяжелых работ. Недаром же Михаил Николаевич говаривал с сарказмом:

— Спасибо нашим имперским судам: они шлют на каторгу так много замечательных людей, без которых Сахалин попросту погиб бы в поножовщине, в воровстве и блуде. Но вот что достойно особого внимания: взятые «от сохи на время», осев на землю, ничего не делают, у них летом даже огурца не купишь, а политические ссыльные, получив наделы, имеют прекрасные фермы, даже студенты-филологи снимают хорошие урожаи...

В период его губернаторства Сахалин населяли 46 тысяч человек, из них 20 тысяч считались уже «свободными», а для детей и молодежи Сахалин сделался родиной, и другой родины они не знали. Здесь им казалось хорошо, даже очень хорошо, ибо сравнивать свою постылую жизнь с жизнью других людей они не имели возможности. Но в быту трудящихся сахалинцев, своим горбом добывавших честную копейку, привились странные крайности. Выдоив корову, скосив траву, поймав рыбину или краба, собрав с огорода репу, сахалинцы все добытое старались поскорее продать, хотя при этом сами зачастую оставались голодными.

— С плохим здоровьем, — говорили ссыльные поселенцы, — жить еще можно, а ты вот попробуй поживи с пустым кошельком, тогда еще не так взвоешь. А коли срок ссылки закончится, так на какие шиши домой уедем?..

И не только они, завезенные на Сахалин силою, но даже чиновники, соблазненные «амурской надбавкой» к жалованью и пенсионными льготами, никак не могли ужиться на Сахалине, мечтая лишь поднакопить денег, а потом убраться на материк.

— Здесь и солнышко не так светит! — объявил Ляпишев, забираясь в коляску, чтобы ехать к пристани. Официально он отбывал в заслуженный отпуск. — Но уже иссяк душой и обессилел телом, — говорил генерал. — Так что прощайте, дамы и господа, из отпуска с материка я вряд ли вернусь.

Тут весь чиновный клир загудел, как шмелиный рой:

— Да мы без вас как без рук, с вами только и ожили...

На пристани Ляпишеву поднесли икону, подарки от частных лиц и сувениры, сделанные арестантами в тюремных мастерских. Были слезы, клятвы, поцелуи, объятия. Наконец распили два ящика шампанского, а могучая сахалинская артиллерия — аж все четыре

пушки! — салютовала отплывающему губернатору. Потом длинная вереница казенных колясок возвращалась в Александровск, и чиновники строго разобрали того же Ляпишева:

— Надует! Опять надует... собрал с нас целый урожай подарков, а какая там отставка? Кто его, спрашивается, с Сахалина отпустит? Уж коли сюда попал, так сиди и не чирикай.

Бунге и генерал-майор Кушелев, главный прокурор Сахалина, вдруг пробили тревогу: в обиходе обнаружилось фальшивые кредитки достоинством в 10 и 25 рублей. Обычно их фабриковала тюрьма. Кушелев собрал главных «блиноделов» каторги:

— Давайте по-честному: «блины» не вашей ли выпечки?

Опытные мастера этого тонкого дела (иные из граверов, окончивших императорскую Академию художеств по классу Иордана или Серякова) тщательно изучили поддельные ассигнации.

— Вообще-то, — сказали они, — российские деньги проще спичек, их любая корова напечатает. Но это не тюремная работа, мы этой «руки» не знаем, а вы нас в это дело не путайте...

Об этом стало известно в клубе, и капитан Быков, намеливая бильярдный кий, сообщил полковнику Данилову:

— Если англичане, чтобы досадить Наполеону, штамповали французские деньги, а Наполеон, чтобы подорвать экономику России, наводнил ее фальшивыми русскими ассигнациями, то, я думаю, почему бы самураям не перенять этот старинный способ, когда один сосед тихо и гнусно гадит своему соседу.

Данилов забил в лузу два шара подряд:

— Хотелось бы верить в японскую порядочность.

Быков обошел бильярд, примериваясь к удару:

— Мне тоже хотелось бы верить, что японская вежливость — не только улыбки. Однако если русских на Сахалине сорок шесть тысяч, то подумайте... Сколько уже японцев?

Вопрос был поставлен кстати. Санкт-Петербург, желая добрососедских отношений с Токио, все-таки допустил большую политическую ошибку, позволив японцам хозяйничать на Сахалине как у себя дома: вся дальневосточная рыба вывозилась в Японию, а мы, русские, по-прежнему наивно уповали на неисчерпаемость рыбных запасов Волги и Каспия.

— Так что, — заключил капитан Быков, расплачиваясь за проигрыш, — в армии японских рыбаков всегда могут найтись и явные негодяи, которые распространяют фальшивки...

— Вот такие, как эта? — раздался вдруг голос, и генерал Кушелев перенял из руки Данилова десятирублевку. — Господин Быков, откуда у вас эта кредитка? Неужели из жалованья?

Валерия Павловича Быкова даже в жар бросило:

— Прямо мистика какая-то... декадентство, черт побери! Только мы заговорили о фальшивых деньгах, и я сразу попался. — Он объяснил прокурору, что недавно заказывал себе новый мундир в «экономическом» обществе офицеров сахалинского гарнизона, где ему дали сдачи. — Вот этой десяткой.

Генерал-прокурор вернул ассигнацию Данилову:

— Не смею лишать вас законного выигрыша...

В это время судебный следователь Подорога уже перерывал кассу клубного буфета, выудив из нее фальшивую ассигнацию в 25 рублей. Он сунул ее к носу буфетчика, тот перепугался.

— Ей-ей, — поклялся буфетчик, — господины горные инженеры Оболмасовы тока что за шампань со мною расплачивались...

Жорж Оболмасов был искренно возмущен:

— В чем вы меня подозреваете? Я расплачивался из своего же бумажника. Честными деньгами. Мною заключен контракт с японским консулом на разведку нефти, и консул сам выплачивает мне жалованье. Или мне подозревать господина Кабаяси?..

Быков навестил гостиную клуба, где между кадок с засохшими пальмами посиживали дамы сахалинского бомонда, но госпожи Челлишевой среди них не оказалось. Штабс-капитан заглянул в буфет, подсел к чиновнику Слизову, который кивком головы указал ему на Оболмасова, которого — с легкой руки мадам Жоржетты Слизовой — уже прозвали на Сахалине «кирасиром»:

— Активность у него поразительная! Не вышло с Ляпишевым, так стрижет купоны с японского консула. Допускаю, что нефть они сыщут. А что дальше? Ведь каждая бочка керосину, если ее везти в Россию, будет дорожать с каждой верстой.

— Все это схоже с аферой, — согласился Быков. — Да и Нобель не в дровах же родился: он сбавит цену на одну копейку с галлона, при этом сам ничего не потеряет, а Оболмасов вместе со своими самураями сразу останется без штанов... Кстати, какой сегодня день — среда или четверг?

Слизов предложил ему выпить и закусить.

— А шут его знает, какой сегодня день, — сказал он с унылейшим видом. — Это в России надобно точно знать, среда или четверг, а на Сахалине и без календаря прожить можно...

Быков про себя отметил, что давно ли появился Оболмасов на Сахалине, а молодого геолога было не узнать: набрякшие мешки под глазами, измятое серое лицо — все это подтверждало старую истину, что выпивать каждый день вредно. Подумав об этом, штабс-капитан лишь пригубил стопку и отправился домой — спать!

Когда русские стали обживать эти края и завели домашнюю скотинку, то хищники при виде овечек — удирали от них в тайгу без оглядки. Кто его знает, этого блеющего зверя? Может, возьмет да и съест бедного сахалинского волка? Медведи уж на что были лютые, но и те обходили первые поселения стороной, чтобы не попасться на глаза коровам... Здесь поначалу все было шиворот-навыворот, иней на почве в летние месяцы губил посевы самой выносливой ржи, зато корнеплоды достигали невероятных размеров. Сахалин вообще поражал чудесами. Так, например, женщин-преступниц в тюрьмы не сажали, а спешили раздать их на руки поселенцам — наравне со скотом. Антон Павлович Чехов, посетив Сахалин, уже заметил, что женщина на каторге — не то избалованная капризная баба, не то какое-то тягловое существо, низведенное до уровня рабочей скотины, Чехов тогда же снял копию с прошения мужиков деревни Сиска: «Просим покорнейше отпустить нам рогатого скота для млекопитания и еще женского полу для устройства внутреннего хозяйства...»

Сахалин всегда с трепетом ожидал осеннего «сплава», когда с парохода сойдут на пристани Александровска преступницы и «вольные» жены, вытребованные мужьями. Сильный пол заранее воровал на складах и в магазинах, грабил прохожих на улицах, снимая с них шапки и галоши, чтобы предстать перед прибывшими женщинами в самом «шикарном» виде. А если у тебя еще завелась гармошка да способен угостить бабу конфетами, ну, тогда, парень, тебе в базарный день и цены нет! Для пушного соблазна слабой женской природы женихи обзаводились цветными платками из дешевого ситца, держали наготове в кулечках мятные леденцы.

— А чо? — рассуждали женихи. — Платок-то на нее накинута, на гармони сыграю дивный вальс «Утешение», конфетку в рот суну, чтобы пососала, а потом веди куда хошь... уже моя!

— Гадьё! — говорили женихам окружные исправники, вертя в руках синие шнуры от револьверов. — Ведь вас, хвостобоев, вусмерть увечить бы надо... Небось приведешь бабу, на гармони сыграешь ей, а потом сам же на улицу погонишь, чтобы она тебе, калаголику паршивому, деньги на водку добывала.

— А что? — говорили женихи, не стыдясь. — На то она и баба, чтобы с нее, со стервы, мужчина верный доход имел... Зря мы, чо ли, на этих каторгах страдаем?

Оживлялась к осени и чиновная среда, чтобы под видом кухарок, поломоек и прачек заполучить от казны бесплатных наложниц, помоложе да покрасивее. Жорж Оболмасов, которому уже давно было тошно от утренних визитов Жоржеточки Слизовой, тоже надеялся снять с парохода женщину попригляднее. Но геолог боялся не успеть

вернуться в Александровск к приходу «Ярославля», ибо японцы затягивали начало экспедиции.

— Господин Кумэда, — говорил он, — летний сезон уже подходит к концу, а где же ваши носильщики, где снаряжение?

— Скоро все будет, — обещал Кумэда...

Скоро появилось отличное снаряжение, закупленное в Америке, прибыла команда храбрых японских парней в крепких башмаках; они закрывали лица сетками от комаров, четко исполняли приказы Такаси Кумэды, и экспедиция тронулась в тайгу, уже затянутую дымом летних пожаров, ежегодно пожиривших сахалинские дебри. Оболмасов был достаточно грамотным геологом, хорошо начитан в литературе о полезных ископаемых Сахалина, и поэтому он не всегда понимал, почему отряд кружит возле Александровска, словно выискивая подходы к нему со стороны Южного Сахалина.

— В чем дело? — говорил он Кумэде. — Если мы решили искать нефтяные залежи, нам следует сразу двигаться на север, даже за мыс Погиби, а не болтаться в Рыковском округе... Что мы здесь крутимся? И что найдем, кроме множества скелетов в ржавых кандалах, которые веляются еще с прошлого года?..

Но японцы строго придерживались каких-то своих маршрутов, а Кумэда резко пресекал все вопросы Оболмасова:

— Вы получаете от нас такое хорошее жалованье, которого вполне должно хватить для сохранения вашего спокойствия.

Неожиданно возросла и роль фотографа, взятого в экспедицию ради создания альбома с видами Сахалина; теперь уже не Кумэда, а сам фотограф казался Оболмасову в экспедиции самым главным, японцы-носильщики кланялись ему с особенным усердием.

— Оболмасов-сан, — заявил фотограф, — это правда, что мы заключили с вами контракт на поиски нефти, не спорю. Но мы ведь можем найти не только нефть, но и... золото! Наконец, мы, японцы, никогда не отворачивались от дикой красоты сахалинских пейзажей... Это ведь тоже большое богатство.

— Да я не спорю, — согласился Оболмасов, с трудом вдыхая влажный воздух через сетку накомарника. — Но мне хотелось бы не опоздать в Александровск... ведь скоро и осень!

Японцам это было известно, как и многое другое.

— Мы догадываемся о причине ваших переживаний, — сказал однажды Кумэда. — Но вы не должны волноваться: приход «Ярославля» в этом году на две недели задерживается, и, если вам понадобилась хорошая кухарка, вы успеете ее получить...

Внутри Сахалина было неуютно и жутко. От древнейших лесов и болот веяло дикой давностью; порою геологу казалось, что из вязкой заплесневелой трясины сейчас высунется, щелкая зубами,

огромная пасть доисторического ихтиозавра. Некоторых лошадей, завязнувших в таких трясынах, японцы бросали погибать, не в силах вытащить их на сушу. Ради экспедиции они наняли у гиляков много собак, похожих на волков — ростом и повадками. Туземные собаки даже не лаяли, а завывали по-волчьи, и только отрубленные под самый корень хвосты давали понять, что это не волки, а «друзья человека». Впрочем, когда на Сахалине бывали голодные зимы, этих «друзей» быстро съедали.

---

Японцы не подвели его, и, пока «Ярославль» разгружал баржами свои трюмы от женского «сплава», Оболмасов успел побывать в кают-компании транспорта, где за офицерским табльдотом выпил три рюмки хорошего виски, а пароходный буфетчик охотно продал ему два великолепных цейлонских ананаса:

— Сам Елисеев таких не выдывал... берите!

Геолога катером спровадили обратно на берег, где сахалинские мужья встречали жен с детьми, впрягались тащить прибывший с ними домашний скарб — прямо из деревни.

— Дура! — сразу начинали они лаяться с женами. — Ну ладно, самовар и утюг привезла, это ишо продать можно. А вот ухваты-то на кой хрен тащила? Ты бы и метелки свои прихватила...

Тем временем женихи уже обступали прибывших каторжанок, благородно уговаривая их связать с ними свою судьбу:

— На веки вечные, до гробовой доски! Потому как очень вы мое сердце пронзили, теперь я пылаю... В эвдаком серьезном случае могу персонально для вас исполнить на гармошке любимый романс нашего императора «Не подходите к ней с вопросами...».

Конечно, лучше не задавать глупых вопросов, по какой статье их сюда спровадили. Но выбор отравительниц, хипесниц, душиТЕЛЬниц и воровок был на этот раз сказочно богатым: бери по любой статье, никогда не прогадаешь... Заметив колебания Оболмасова, который разглядывал женщин издали, полицеймейстер Маслов подсказал ему:

— Коли желаете иметь не хахальницу, а жену верную и хорошую, так берите такую, которая пошла на каторгу за убийство мужа. Мы-то, полиция, уже знаем, что, если жена мужа вконец порешила, значит, ее муженек того и заслуживал...

Тут внимание Оболмасова привлекла одна бабенка, явная хипесница. Но до чего же хороша была, каналья! Возле нее неловко топтался парень из поселенцев. Кажется, он был из категории «от сохи на время» — трудяга, попавший на Сахалин случайно, а теперь работал как вол, создавая свое хозяйство. Теперь он неумело и косноязычно соблазнял молодуху ехать к нему на высылки, чтобы совместно горбатиться с утра до ночи на скотном дворе и на огороде. Платок он



ей уже подарил, а теперь стыдливо расточал перед гадюкой самые нежные признания:

— Мне же рук не хватает, чтобы коров подоить, и хлеб испечь, и забор поправить. Фулиганье тут такое собралось, одни пакостники. Мимо забора не пройдут, чтобы доску не выломать... Ну? Вы не сумлевайтесь: сыты всегда будете. Как зовут-то вас?

Молодوخа назвалась Евдокией Брыкиной; она брала из кулечка мармеладки, таскала их в широкий, как у лягушки, рот:

— А может, вы пьяница какой? Я мужчинкам этим самым давно не верю. У них всегда на уме, как бы нас поскорей использовать, а потом-то с них фигу с маком получишь.

Для вящей убедительности она показала жениху кукиш.

— Вот те крест святой! — божился парень. — Хмельного в рот не беру, а ежели что, так лупите нас прямо в морду... ради эвдакой красоты, как ваша, мы на все согласны!

Подкинув в руках тяжелые колючие ананасы, Оболмасов решил вмешаться в этот матримониальный сговор. Он сказал девке:

— Шарман, шарман! Что ты сиворылого гужбана слушаешь? Охота тебе коров доить да картошку полоть. Оставь ты свой мармелад. Держи ананас! Будет и шампанское. Поехали со мною.

— Барин! — надрывно взмолился поселенец. — Да я ж по-божески... женою мне станет, а вы для блуда ее берете!

— Ничего. Потерпишь до следующего «сплава», — безжалостно ответил ему геолог, подсаживая хипесницу в коляску.

Бедняга «от сохи на время» долго смотрел, как увозят его несбыточное счастье в Александровск, потом сорвал с головы шапочку и с яростной силой шмякнул ее об землю:

— Эх, люди, люди! Да пропади вы все пропадом...

## 14. Романтики каторги

Штабс-капитан Быков тоже навестил «Ярославль», где в команде у него были давние знакомства. К сожалению, купить ананасов не удалось, у буфетчика осталась последняя связка бананов. В кают-компании корабля было тесно и шумно от наехавших с берега чиновников, жаждающих вкусить от гастрономических благ Европы и Азии. Старший офицер Терентьев сказал Быкову:

— Ну, как у вас тут дела? Еще спокойно?

— Пока живем — не тужим, — отозвался Быков.

В открытом иллюминаторе виделась серая гладь моря, вдали — берега Сахалина, затянутые едучим дымом непогасших пожаров.

— Не тужите, ибо до вас ничего не доходит, кроме всякой ерунды. А в России все чаще поговаривают о войне.

— С кем?

— С японцами.

Валерий Павлович угостил себя рюмкой шартреза.

— А что нам с ними делить? Не Сахалин же!

— И я, — ответил Терентьев, — такого же мнения, что делить нам уже нечего. Все, что было спорного, все поделено еще при канцлере Горчакове. Но из Петербурга доходят слухи, будто в нашей дипломатии возник сомнительный кризис.

— Кризис? По какому вопросу?

— По корейскому. Наши сиятельные спекулянты развели на реке Ялу какието концессии, рубят там деревья, ставят бараки. Ну японцам это не очень-то нравится, ибо Корею они привыкли считать как бы своей наследственной вотчиной.

— Что нужно в Корее нашим сиятельным камергерам, — сказал Быков, — догадаться еще можно. Но вот что понадобилось в Корее самураям — этого я не знаю, хотя тоже догадываюсь. Будь я на месте нашего министра иностранных дел графа Ламздорфа, я бы принял такое решение: черт с вами, Россия уберет концессии с Ялу, но зато и вы, японцы, не получите прав на концессию по расхищению рыбных и пушных богатств нашего Сахалина.

— Во! — поддакнул Терентьев. — У вас хорошая голова, капитан, по этой причине вас и заперли в казармах Сахалинского гарнизона. Не желаете ли отсюда выбраться?

— Выбраться... как? — печально спросил Быков.

Он навестил дом губернатора, одарив госпожу Челищеву тяжелой связкой ароматных бананов. В разговоре, конечно, они коснулись и последнего «сплава». Клавочка спросила:

— Одни женщины? А мужчин разве не привезли?

— Да нет. Только одного политического.

— А по какому процессу, не знаете?

— Я не интересовался... Между прочим, — невесело улыбнулся Быков, — на «Ярославле» меня сегодня пожалели за то, что я лучшие годы своей жизни посвятил службе на Сахалине.

— Я тоже так думаю, — ответила Клавочка. — Мне кажется, вы и сами-то не слишком довольны судьбой, какая вам выпала. Впрочем, простите меня. Я задела ваше больное место. Надеюсь еще увидеть вас с аксельбантом генштабиста.

— Да, да! — сразу оживился Быков. — Если б не эти проклятые иностранные языки, без которых в академию не допускают. Но меня всегда привлекали возможности войск проходить там, где нормальные люди не пройдут... через болота, через лесные завалы, строя переправы через губительные реки. Наверное, я мог бы стать недурным штабным работником. Но... мечты, мечты!

Клавочке захотелось сделать ему приятное:

— Хотите, я помогу вам с французским?

— Каждый урок с вами для меня будет счастьем...

---

Судя по всему, Фенечка Икатова подслушивала возле дверей. Правда, она не совсем поняла устремлений штабс-капитана, желавшего ходить там, где нормальные люди не ходят, но кое-что из беседы мужчины с женщиной вынесла — для развития тактики:

— Еще ахнет, когда я начну уроки давать...

В один из дней, явно выживая Челищеву из губернаторского дома, она надерзила девушке, и Клавочка велела девке:

— Убирайтесь вон из моей комнаты!

— А она и не ваша, — ответила Фенечка, уперев руки в пышные бедра. — Ты сама отсель убирайся, потому как комната эта нужна Соколову, начальнику губернаторского конювоя... Если ты на параше еще не сидела, так у меня теперь насидишься!

Челищева еще не успела освоить смысл этих наглых угроз, а в дверь уже просунулся писарь из канцелярии:

— Господин статский советник Бунге... вас просят!

Бунге сидел за столом губернатора, идеально чистым, и не удосужился даже привстать из кресла при появлении девушки. Стекла его очков отражали холодное сияние свежевывмытых окон кабинета. С олимпийским спокойствием он начал:

— Вы ввели нас в заблуждение... я бы сказал — даже опасное заблуждение! Из-за халатности и попустительства Михаила Николаевича, который привык не застегивать пуговицы на своем мундире и держать свои двери нараспашку... Он не только ввел вас в свой дом, но и ввел всех нас... э-э-э, в опасное заблуждение! — повторил Бунге. — «Ярославль» доставил не только партию арестанток, но и документы из департамента полиции... Садитесь!

Челищева села. Двумя пальцами бюрократ взял со стола коробок спичек, как берут с подноса вкусную тартинку.

— Итак, — продолжал он, — из документов явствует, что вы, милейшая, еще в Петербурге состояли под надзором полиции как политически неблагонадежная... Изволите отрицать?

— Нет. Я не отрицаю этого.

— Тогда позволено мне спросить: с какими целями вы приехали на Сахалин и кто вас сюда направил? Подумайте.

— И думать нечего. Я приехала по велению сердца. Да, это правда, — торопливо сказала Клавочка, — мы, бестужевки, активно участвовали в общественной жизни, устраивали сходки и митинги протеста. Я обучала рабочих грамоте на окраинах Выборгской стороны... Но я же — нессильная!

— Извольте отвечать по существу, — сказал ей Бунге. — Как политически неблагонадежная, очевидно, вы затем и прибыли на Сахалин, дабы вести революционную пропаганду, а ваши «воскресные чтения» в александровском Доме трудолюбия есть еще одна попытка... э-э-э, к этой пропаганде.

«Не ты ли сам и придумал эти чтения?» — подумала Клавочка, отвечая чиновному балбесу как можно вежливее:

— О какой революционной пропаганде может идти речь, если я аводила граммофон, читая ссыльным стихи Полонского, Надсона, Плещеева и Фета? Все это давно одобрено нашей цензурой. Если не верите, я могу принести вам «Чтец-декламатор» за прошлый год, и там все это напечатано.

— Од-на-ко, — раздельно произнес Бунге, — я не считаю возможным разрешить вам и далее «воскресные чтения», как весьма опасные для нравственности населения...

— Но это же чушь! — возмутилась Клавочка. — Убивать и воровать на каторге можно, а читать из Надсона, что «пустить струны порваны, аккорд еще рыдает» — это уже нельзя?

— К сожалению, «Ярославль» выбирает якоря, и выслать вас я уже не могу. Но если спросите у меня отеческого совета, я вам его дам: найдите себе мужа, и тогда все завихрения бестужевских курсов погибнут возле кухонной плиты...

Клавочка вернулась к себе, а там все вещи были уложены в неряшливую кучу, поверх которой красовалась ее шапочка-гарibaldiйка. Фенечка держалась с победным видом:

— Можете не проверять. Нам чужого не надобно, своего хватает. Мы не какие-нибудь там... не воровки!

С помощью писаря, который, кажется, радовался ее удалению, Челищева вынесла свои вещи на крыльцо, наняла коляску, еще сама не ведая, куда она поедет. Фенечка долго соображала, что бы сказать на прощание пооскорбительнее, но фантазия тоже имеет предел, и она крикнула первое, что пришло ей в голову:

— Извини-подвинься! В другой раз не попадайся...

Издавек, со стороны моря, слышался хриплый вой. Это «Ярославль» покидал Сахалин, чтобы вернуться следующей весной. Но до весны им еще следовало дожить. А дожить было нелегко. Недаром слово «режим» каторжане заменяли более точным словом — «прижим». Ляпишев старался, чтобы виселицы на дворах тюрем пустовали, в период его губернаторства многие палачи, испытывая гнет безработицы, нанялись в няньки, таская по городу грудных младенцев, а каторжане говорили:

— Сейчас прижим не такой, как бывалоча раньше. Хотя и жмут, но терпеть можно. Вешать перестали, и то ладно!

.....  
Писарь Полынов (бывший семинарист Сперанский) сидел в канцелярии, срочно готовя для Бунге официальную справку о количестве беглых, которые, проблуждав по тайге и умирая от голода, осенью сами добровольно вернулись в тюрьму, когда дверь тихо скрипнула и в кабинет вошел тот самый человек...

Писаря почти отбросило к стене — в ужасе перед ним.

— Нет, нет, нет... — забормотал он. — Христом-богом прошу... оставьте меня! Я ничего больше не знаю...

«Квартирный» каторжанин Сперанский (он же бывший Полынов) никак не ожидал, что вызовет такой страх своим появлением.

— Да что с вами... дорогой мой человек? — вдруг нежно произнес он. — Не пугайтесь вы меня, ведь я ничего дурного делать не собираюсь. Я просто пришел за справкой.

— За какой справкой? — малость утешился писарь.

Настоящий Полынов взял со стола справку для Бунге, прочел сведения о беглых и положил ее на прежнее место.

— Это меня не касается, — дружелюбно сказал он. — Я хотел бы осведомиться у вас совсем о другом: не доставил ли «Ярославль» с последним «сплавом» кого-либо из политических?

Писарь понял, что Полынов не сотворит с ним ничего страшного, и он даже успокоился, листая казенные бумаги:

— Да, один доставлен.

— Кто?

— Сейчас скажу... Зовут его — Глогер! Из Лодзи.

— Варшавский процесс?

— Да, осужден по варшавскому процессу...

Полынов вышел на крыльцо губернского правления.

— Глогер, — прошептал он. — Ладно, что не Вацек...

Последовал удар, и с головы кубарем слетела шапка.

— Ты что задумался? Или меня не видишь?

Перед ним стоял Оболмасов, узнавший его. Полынов нагнулся и, подняв шапку с земли, снова нахлобучил ее на голову:

— Я ведь думал, что вы только начали погибать в условиях каторги, но я... ошибся. Оказывается, вы уже погибли.

Оболмасов испугался, криком подавляя в себе страх:

— Бандит! Иди отсюда... проваливай, хамская морда!

Полынов не спеша спустился со ступенек крыльца:

— Вы не правы: я не хам — я лишь романтик каторги.

При этом он заглянул прямо в глаза Оболмасову — так змея заглядывает в глаза обреченного кролика. «Кирасира» вдруг охватила мелкая дрожь, а вместе с ним завибрировали — на груди и на спине — солидные классики Боборыкин с Шеллером-Михайловым, в романах

которых, очевидно, еще никогда не возникало подобных ситуаций...  
Полынов пошел, но вдруг остановился:

— Вы мне сняли только шапку, а я сниму вам голову!

Читатель может не сомневаться: судьба Оболмасова решена. Полынов никогда не бросал слов на ветер...

## 15. Не режим, а «прижим»

Подлинный случай. Однажды по улице Александровска шла девушка. Шла и улыбалась. Навстречу ей двигался ссыльнопоселенец. Поравнявшись с девушкой, он расцеловал ее в губы алые.

— Уж ты прости меня, красавица! — сказал он.

И зарезал ее. А на суде говорил:

— Никогда раньше не видел ее, даже имени не знаю. Загубил ее жизнь, потому что она мне первой попалась на улице. Я в тот день свою родную мать пришел бы. Потому как обессилен на воле, будь она проклята, и хочу снова в тюрьму вернуться, чтобы на этой каторге больше не мучиться...

Итак, причина убийства — желание вернуться в тюрьму!

.....  
Ядовитая прострел-трава на Сахалине называлась «борец», и вряд ли какой каторжанин не имел при себе корешка этого растения, чтобы отравиться в том случае, когда для борьбы за жизнь сил уже не оставалось. Выжить на каторге трудно, особенно зимою. В четыре часа ночи пробуждаться сахалинские тюрьмы. Звеня кандалами, арестанты выползали из камер, оглашая дворы зловещим кашлем, лениво строились в колонны — на «раскомандировку». Ни пурга, ни сильный мороз не могли отменить каторжных работ. Проклиная судьбу, люди прятали под лохмотьями, ближе к телу, хлебную пайку, чтобы она не замерзла, и люто завидовали безруким и безногим инвалидам, остававшимся в теплой тюрьме. Недоступной мечтой становилась для них болезнь — да такая, чтобы в больничном раю отлежаться под вшивым одеялом. Сотрясаясь от приступов кашля, они роняли краткие фразы:

— Васька-то Кошкодав уже год у врачей валяется.

— Везунчик, вот кому подфартило!

— А чо с ним? Чахотка, мабуть?

— Да рак нашли. Теперь жизни не нарадуется.

— Господи, пошли и нам экую хворобу...

Открывались тюремные ворота, партия «бревнотасков», минув спящие улицы и деревни, удалялась в тайгу, заваленную сугробами. До лесоповала добирались верст за 10—15 от тюрьмы, там разводили костер, возле которого усаживались конвойные. Не выпуская из рук

заледенелых винтовок, солдаты покрикивали в гущу леса, где в снегу до пояса утопали каторжане:

— Помни, что дерево надо мачтовое, а то на разбраковке не примут... Живей шевелись, паскуды!

От выбора дерева иногда зависела жизнь. Наконец коллегиальными усилиями, после долгих дискуссий и брани, находили сосну, валили ее. Очистив от сучьев, сосну опутывали тяжами, впрягались в лямки, как бурлаки. Тяжеленная, будто гранитный монолит, сосна не хотела покидать родимого леса, и — ни с места! Как ни тянут, она едва на вершок подвинется. А впереди еще версты и версты долгого пути... Конвоиры, топя отсыревшими пудовыми валенками, в таких случаях давали полезную команду расстегнуть ширинки штанов. Каторжане мочились на дерево, с минуту выжидая потом, когда морозище покроет сосну ледяной коркой.

— Берись разом! Теперича пойдет как по маслу...

Бревно трогалось с места, а над «бревнотасками» скоро валил пар, как над загнанными лошадьми. Жуть охватывала при мысли, как далеко еще тюрьма, и тюремная камера казалась блаженным убежищем, где можно выпить кружку кипятку, развесить на веревках гирлянды мокрых от пота портянок, чуней и порток. День уже на исходе, когда «бревнотаски», тяжело дыша, дотягивали свою ношу до города. Еще на окраинах из домишек выбегали навстречу им ссыльнопоселенцы. Даже бабы, старики и детишки дружно впрягались в лямки, чтобы помочь ослабевшим. Общими усилиями, уже радостно пошучивая, каторжане вкатывали бревно во двор «браковочной» конторы. А там — чиновник, и, судя по всему, настроение у него было сегодня скверное.

— Вы что притащили? — кричал он. — Это же не бревно, а какая-то спичка... даже четыре шпалы не выйдет! Знаю вас, паразитов: вам бы что полегче... не пойдет: брак!

Люди уже отшагали верст 20—30, а теперь все начинать сначала. Конвоиры, осатанев, лупили арестантов прикладами: «Чтоб вы все передохли! Таскайся тут с вами...» И люди уходили обратно в морозный лес, но в тюрьму не всегда возвращались. Их находили потом возле погасшего костра, они лежали на снегу, держа возле сердца замерзшие пайки хлеба, а над ними истуканами застыли на пнях замерзшие конвоиры.

— Такое у нас часто бывает, — судачили каторжане.

Но, по мнению сахалинских жителей, каторга начинается лишь тогда, когда она кончается. Так и говорили:

— Кандалами-то отбрыкать срок полегше. А ты вот попробуй не окочуриться после тюрьмы — на воле... Вот где настоящая каторга! Это тебе не бревна таскать из лесу...

---

Наверное, карательная система сознательно не держала заключенных в тюрьме, стараясь как можно скорее выпроводить их за ворота, заранее уверенная, что на «воле» жизнь воистину каторжная. Тюрьма — не дом родной, но она все-таки давала крышу над головою, место на нарах (или под нарами), примитивный уют и миску баланды с хлебом. Если же тебе стало невмоготу, а кончать жизнь корешком «борца» не желаешь, тогда осталось последнее средство — бежать! Палачи и плети, карцеры и побои, неистребимая тоска по свободе и родным, иногда же просто желание «насолить» начальству — вот главные маховики, которые из года в год раскручивали сахалинскую летопись побегов.

Осенью бегут только дураки, плохо знакомые с климатом острова, а зимою, когда бушуют морозные бураны, из тюрем вообще не бегают. Зато каждая весна зовет каторжан «слушать кукушку». Из Корсаковского округа, где за проливом Лаперуза затаилась Япония, мало кто удирает, ибо до материка далеко, а редких удачников, доплывших до Хоккайдо, японцы вежливо возвращают русским властям. Можешь выплыть сразу в открытый океан — в робкой надежде, что тебя случайно заметят с мачты американского китобойца. Если янки не лень с тобою возиться, они могут доставить беглеца в США, откуда еще ни один не возвращался. Так что все маршруты в сторону востока и юга для каторжан перекрыты, бежать следует только на север. Но сразу за околицами деревень Сахалин уже показывает человеку свои острые, свои безжалостные когти. Не только звериные тропы, но даже проселочные дороги заводят в такие буреломы, из которых не знаешь, как выбраться. Сучья валежника и жесткие ветви опутывают беглеца, как витки колючей проволоки. Под ногами чавкают алчные трясины, торфяные пади засасывают человека по самую шею, а мириады комаров устремляются к нему с такой поразительной точностью полета, будто у каждого гнуса имеется волшебный фонарь, указывающий плоть с сытной кровью, уже изнемогающую от невыносимых страданий. В редких становищах или выселках иногда по ночам слышат дикие вопли погибающих беглецов, облепленных тучами гнуса. Возможно, кто и перекрестит себе лоб, да проворчит спросонья:

— Сусе-христе, помоги ты ему поскорее отмучиться...

Редкие беглецы достигали материка, где часто становились добычей береговой охраны. Но иногда беглые даже и не пытались покинуть остров, образуя шайки, наводившие ужас на весь Сахалин. В таких случаях администрация не вмешивалась. Вчерашние каторжане, а теперь поселенцы, занятые крестьянским трудом, они просто сата-нели, когда «пакостники» резали скот, портили огороды и насиловали женщин. Вся округа поднималась на облаву, и бандитов уничтожали



без пощады, потому что второй коровы поселенцу никто уже не даст, как не найти ему и второй жены...

Ближе к осени, в предчувствии холодов, большинство беглых возвращались обратно в тюрьмы. Плетями и «сушилками» они расплачивались за те жалкие крохи свободы, которая поманила их первым цветком на поляне, первым пением птицы в лесу. Что же выгадывал беглец, вернувшись на свои нары, к своей баланде? Теперь он мог выбрать для возвращения не ту тюрьму, из которой бежал, мог назвать себя не своим, а чужим именем, и пусть начальство рыщет в архивах каторги, пока ему не надоеет:

— А, разве тут найдешь? Сел на парашу — и ладно...

За каждого пойманного беглеца конвоир получал три рубля. Между конвоирами и каторжанами иногда возникал сговор:

— Слышь! Мы убежим с работы и за тем распадком укроемся.

А ты вечером приходи, стрельни для страха и бери нас.

— А сколько вас будет-то, нечистей?

— Шестнадцать голов.

— С головы по трешке, всего сорок восемь рублей.

— Ага! Половину нам отдашь.

— Не жирно ль вам будет?

— А твои двадцать четыре на земле тоже не валяются.

— Ладно. Бегите. Чтобы по-честному...

Иногда же совершались мнимые побег, когда арестант оставался в тюрьме, но числился в разряде непойманых бежавших. Он брал свою неразлучную котомку и залезал с нею под нары:

— Коли меня на переключках станут спрашивать, говорите, что я не выдержал — пошел «кукушку слушать»...

Под нарами он и догнивал заживо — в грязи и нечистотах, а имя его значилось в списках беглых. На него не отпускалось продовольствие; каторжане, сжалившись, иногда бросали под нары недоеденные корки, разрешали дохлебать из миски опостылевшую баланду. Крадучись, он выбирался по ночам из-под нар, чтобы посидеть на параше. «Беглеца» искали год-два, пока у него не кончалось сатанинское терпение. Тогда он сам вылезал наружу.

— Вот он я... мордуйте! — говорил надзирателям.

— Да где ж ты был, дерьмо такое?

— Под нарами валялся. Мне бы в баньку теперь.

— Ну, ступай. Сейчас будет тебе баня...

Отбыв срок в «кандальной» (испытуемой) тюрьме, арестант переводился в тюрьму «вольную» — название-то какое! Теперь он мог вообще жить где угодно, но в четыре часа утра обязан являться на каторжные работы. Тюрьма еще имела на него свои права, продолжая снабжать одеждой, выдавая ему продукты сухим пайком, и ты сам

вари баланду себе — где придется и как придется. Наконец, арестант выходил в разряд ссыльнопоселенцев.

Вот тут-то и начиналась для него настоящая каторга.

— Ну, теперь навоемся, — говорили «свободные» люди...

---

Устроителям каторги на Сахалине казалось, что арестант, выпущенный из тюрьмы на поселение, начнет перевоспитываться с помощью труда. Никто не спорит: труд может исправить преступника. Но чиновная бюрократия никогда не была способна обеспечить правильный труд даже такого человека, который, покончив с прошлым, желает честно трудиться.

Начнем по порядку. Допустим, читатель, меня выпустили из тюрьмы. Теперь я, безмерно ликующий, получаю на казенном складе мотыгу, стекла для окон будущего дома, топор, веревки, гвозди, хомут для лошади и тулуп для себя. При этом, пока я радуюсь, быстро мелькают костяшки на счетах бухгалтера.

— Итого, — говорят мне, — ты обязан вернуть казне семнадцать рублей и три копейки. Запиши, чтобы не забыть.

Мне отвешивают мешок зерна для посева, пуд муки, пять фунтов крупы, десять фунтов солонины из бочки и обещают дать поросенка. Я, конечно, не будь дураком, спрашиваю:

— А где же скотина? Где лошадь? И где... баба?

На это мне отвечают, что корову дадут, когда я отстроюсь, лошадку покупать самому, а бабу ищи где хочешь.

— Но помни, — строго внушается от начальства, — если станешь вольтить, пашню не подымешь, зерно сожрешь сам, а поросю зарежешь, так с тебя взыщем... не возрадуешься!

С таким вот напутствием свободные ссыльнопоселенцы получали земельные наделы. Не сами они выбирали их, а следовали в те места, которые выделило начальство. Между тем начальники в тех краях никогда сами не бывали и не знали, что там творится. А климат Сахалина, подобно сложной мозаике, складывается из множества микроклиматов. В цветущей долине, где знойно жужжат шмели и порхают бабочки, поселенцы снимают добрый урожай, а за горою, в соседнем распадке, зловеще шевелятся хвойные ветви, из-под слоя зыбкого моха брызжет коричневая вода. Вот и живи! Выкорчевывай лес, осушай болото, мотыгой возделывай пашню, построй халупу себе, клади печку, чтобы не подохнуть от холода, потом запишись на крючок, чтобы тебя не ограбили бродяги, и до самой весны слушай, как воет метель...

Ясно, что крупа с солониной давно съедены. Если дали тебе поросенка, так он уже зарезан. Осталось зерно для будущего посева, но, размолотое первобытным способом, оно тоже съедается. Долг казне в 17 рублей возрос до 40 рублей, и с чего отдавать — бог ведает!

Наконец, наступает момент, когда человек не выдерживает безумия одиночества, когда он скажет себе:

— Больше не могу — в тюрьме было лучше! Так уж новый грех возьму на душу, только бы снова в тюрьму вернуться...

Крайность! Но бывали и другие крайности сахалинского бытия, когда режим с «прижимом» оставались бессильны, когда беззаконие поднималось выше любого закона.

## 16. «Деньжата прут со всех сторон»

Пьянство и преступление — два уродливых близнеца. Но если картежная игра на Сахалине преследовалась, то пьянство не возбранялось. Наш знаменитый ученый-ботаник А. Н. Краснов, исследуя флору Сахалина, заметил и важное социальное явление: само начальство каторги методически спаивало каторжан, имея от этого немалую личную прибыль...

Ночь. На перине сладчайше опочил статский советник Слизов, обнимая кожу да кости своей ненаглядной Жоржеточки, а на кухне до утра бодрствует их дворник, и там идет незаметное для других накопление капиталов. Вот раздался условный стук с улицы, и дворник, отворив форточку на окне, гудит басом в ночную темень:

— Е! Гони пять рублей.

С улицы слышится ответный шепот:

— Вчерась-то по два брали.

— Так это днем. А по ночам — пятерка.

— Во, жабы! Креста на вас нетути.

— Зато спирт е — плати или отчаливай...

Арестантская пайка на каторге шла за мелкую разменную монету, зато бутылка с водкой считалась самой устойчивой валютой. Впрочем, водки на Сахалине никогда не бывало, ее заменял разведенный водою спирт, а чиновники усовершенствовали порочную систему «записок», делавших спирт даже бесплатным. Если поселенец из ссыльных нанимался колоть дрова или убрать снег с улицы, труд его не оплачивался. Чиновнику, нанявшему его, легче нацарапать записку: «С/п Иванову — 1 бут. (подпись)».

— Возьми, братец, и ступай до казенки...

По записке чиновника «Экономический казенный фонд Сахалина» обязан выдавать на руки бутылку спирта. Возле фонда с утра пораньше толпились ссыльнопоселенцы — кто с записками, а кто и без оных, рассчитывая проехать на «шармака».

— У меня завтра день ангела, — говорил один из них.

Диалог развивался по всем правилам психологии:

— Так у тебя ангел-то на прошлой неделе был.

- Это мой, а теперь у жены подпирает.
- Не ври! У тебя и жены-то никогда не было.
- Обещали выдать... для развития хозяйства.
- Так вот ты сначала заведи ее себе, распроси, когда у нее именины, тогда и приходи... Следующий!

А на базарной площади Александровска торговал трактир Пахома Недомясова, бывшего майданщика из каторжан. Сюда заходили не только базарные воры и уличные девки, но и господа чиновники. Хотя вино оставалось под запретом в торговле, но люди, вбегающие в трактир Недомясова трезвыми, умудрялись выползти оттуда пьяными, оглашая гибельные задворки сахалинской столицы дружным хоровым пением:

Отец торгует на базаре.  
 Мамаша гонит самогон.  
 Жена гуляет на бульваре.  
 Деньжата прут со всех сторон.

В первых числах сентября начался «бархатный» сезон на — при ударили заморозки, трава, покрытая инеем, громко похрустывала под ногами прохожих. В один из ветреных и холодных дней, когда улицы Александровска заметало шуршащей поземкой, к мысу Жонкьер подошла номерная миноноска из Владивостока, доставившая из отпуска военного губернатора. Известие о возвращении Ляпишева никак не удивило местных обывателей:

— А что я вам говорил? Вернулся. А нам на следующий год опять делать подписку по сбору подарков от благодарного населения... Он же только пугает нас своей отставкой!

Однако, выехав на пристань, местный бомонд горячими криками «ура» приветствовал возвращение Ляпишева, а госпожа Жоржетта Слизова даже прослезилась от умиления:

— Михаил Николаевич, без вас так плохо... Мы все тут изныли: неужели не вернется наш мудрый и добрый губернатор?

— Дамы и господа, совместная служба продолжается! — Усаживаясь в пролетку, Ляпишев спросил Бунге: — Надеюсь, на Сахалине все нормально. А чего тут хорошего?

— Да что с каторги ожидать хорошего?

— Ну а плохое... было без меня?

— Появились фальшивые деньги.

— Так они появились даже в Иркутске, их изымают из касс Владивостока и Харбина... это не новость!

Новостью для Ляпишева явилось то, что в своем доме он не увидел госпожи Челищевой, и он, конечно, спросил Фенечку:

— Не понимаю. Разве ей плохо жилось у меня?

— Я в эти дела не впутываюсь, — отвечала красotka. — Они там с Бунге поцапались, а поручик Соколов из вашего конвоя обрадовался — давай вещи из комнаты выпихивать.

Михаил Николаевич строго выговорил Бунге:

— Николай Эрнестович, зачем в мое отсутствие вы обидели славную девушку, нашу милейшую Клавдию Петровну?

— Милейшую? Да тут из Питера такое резюме на нее свалили, что я эту барышню не только к себе в дом не пустил бы, а загнал бы в самый тупик Рельсовой улицы...

— Что такое?

— Замешана.

— Во что замешана?

— В политику, вестимо. Как и положено всем этим бестужевкам в белых кофточках, которые спят и видят не женихов с пышными букетами алых роз, а себя на баррикадах.

— Но так же нельзя! — возмутился Ляпишев. — Если поднять досье на мою генеральскую персону, то выяснится, что смолоду я тоже намолол языком всякого... как и вы, наверное?

— Ни-ко-гда! — загордился Бунге.

— Ну и не хвастайтесь этим... Конечно, глуп человек, который в старости не сделался консерватором, но еще глупее тот, кто в юности никогда не был революционером.

Он велел отыскать Челищеву, и ее нашли, но Ляпишев, дабы не портить отношений с Бунге, не стал возобновлять «воскресные чтения» и, чтобы не вызвать недовольства Фенечки, не рискнул удалить из комнаты поручика Соколова.

— Я отечески обязан заботиться о вас, — сказал он Клавочке, — а посему предлагаю вам культурное место корректорши в нашей губернской типографии. Я давно удручен множеством грубейших опечаток, повергающих меня в уныние. Вместо «попрание» прав человека там печатают «запирание», мою «репутацию» переделывают в «репетицию», а «бытие» Сахалина обращают в примитивное «битие»... Тридцать рублей жалованья, — обещал Ляпишев, — я надеюсь, окажутся для вас хорошей поддержкой.

По случаю возвращения губернатора в клубе был устроен банкет. Жоржетта Слизова удостоила Жоржа Оболасова испепеляющего взора сахалинской «тигрицы».

— Изменщик! — прошипела она ему. — Честную порядочную женщину, жену статского советника, променяли на приезжую шлюху...

Оболасов удалился в буфет и потому не видел сцены появления консула Кабаяси, которого сразу обступили дамы.

— Господин консул, — наперебой щебетали они, — ну когда же вы порадуете нас открытием фирменного магазина с японскими

товарами? Нашим бедным мужьям уже давно надоело отпускать нас летом на материк, где мы делаем покупки.

— Все будет исполнено для вас, — заверил дам Кабаяси; затем консул поднес Ляпишеву макет будущего альбома с видами Сахалина. — Но прошу лично вас составить к альбому предисловие.

Кабаяси добавил, что для полноты впечатления альбому не хватает портретов сахалинских типов:

— Желательно бы представить известных рецидивистов, прикованных к тачкам, — это так экзотично! Хорошо бы дать фотографии и преступно-политической интеллигенции.

Ляпишев задумался. Раньше, когда здесь еще была Сонька Золотая Ручка, местные власти здорово наживались на продаже фотооткрыток, изображающих сцены заковывания ее в кандалы. Эти снимки были тогда популярны в России.

— Я распоряжусь, — сказал губернатор консулу, — чтобы заковали в кандалы старых уголовников, они будут позировать вместе с тачками. Экзотика пусть остается экзотикой! Но политические... Вообще-то, их фотографировать запрещается. Впрочем, — разрешил Ляпишев, — можете сделать один снимок с писаря моей канцелярии Польнова, замешанного в очень крупных экспроприациях на пользу русских и польских революционеров...

Оболмасов задержался в буфете. К его столику тихо подсел улыбчивый Кабаяси, вручивший ему конверт с деньгами:

— Наше консульство не отказывается даже в зимний сезон регулярно выплачивать вам жалованье, которое вы отработаете летом в новой геологической экспедиции по розыскам нефти.

Нефтью и не пахло, но зато пахло прибылью.

— Ваша щедрость меня убивает! — умилился Оболмасов. — Тем более осенью я обзавелся чересчур пылкой кухаркой последнего «сплава», которая вызвала непредвиденные расходы...

Оболмасов покинул буфет, сильно покачиваясь. Полицмейстер Маслов недреманным оком ястреба усмотрел, что из-под пиджака геолога высовывается переплет какой-то книги.

— Поправьте, — сказал он, — иначе упадет на пол.

— Это Боборыкин, а спереди меня бережет Шеллер-Михайлов... Вам-то, полицмейстеру каторги, хорошо. Вы без панциря никуда, а мне приходится постоянно обращаться к классикам.

— Послушайте, — вдруг обрадовался Маслов, — у меня жена прямо без ума от романов Боборыкина... дайте почитать!

— А как же я? Кто же оградит меня сзади?

Маслов высмеял книжные латы «кирасира»:

— Разве это оборона? Какой-то там Боборыкин всего страничек на триста? Зато я обещаю подарить вам шестой том «Великой реформы» — во такой кирпичина! Никакая пуля не прошибет...

На следующий день писарь Полынов (бывший семинарист Сперанский) отправился в японское фотоателье, где симпатичный фотограф-японец сделал с него несколько снимков.

— Я ничего вам не должен за это? — спросил писарь.

— Напротив, это мы должны вам...

Занавеска, разделявшая съемочную комнату от лаборатории, вдруг раздвинулась, и появился Такаси Кумэда, вручивший бедному писарю ассигнацию достоинством в двадцать пять рублей.

— За что мне такие деньги? — обалдел писарь.

— Это ваш... гонорар. Благодарим, что соизволили согласиться позировать для снимка, который в скором времени станет украшением великолепного альбома с видами и типами Сахалина. А теперь прошу, распишитесь... вот тут, внизу.

Семинарист расписался внизу длинной и узкой бумаги, сплошь усеянной японскими иероглифами, в значении которых он ничего не смыслил, и японцы снова благодарили. Фотограф с глубокими поклонами проводил писаря до крыльца. Потом Кумэда сказал ему:

— Это не Полынов из «боевок» ППС... это кто-то другой! Надо узнать, кто он, и тогда жалкий, запуганный писарь губернатора будет делать для нас все, что мы ему прикажем...

...Японская разведка на Сахалине работала идеально.

---

Настоящий Полынов устроился на службу в метеостанцию Александровска. Дело было нехитрое, а ежедневная возня с барографами и гигрометрами вносила в душу приятное успокоение. Однако прожить на пятнадцать рублей жалованья было нелегко. Правда, у него кое-что оставалось в пуговицах арестантского бушлата, но все пуговицы недавно пришлось срезать, чтобы купить хороший браунинг. Сейчас он оставался по-прежнему невозмутим — это драгоценное качество выработалось в нем еще со времени подпольной жизни. Но, как опытный игрок-профессионал, Полынов обдумывал главные козыри в предстоящей большой игре. Вечерами его частенько видели в базарном трактире Пахома Недомясова, который исподтишка уже начал приглядываться к своему странному клиенту. Полынов никогда не унижал себя добыванием «записок» от чиновников, чтобы получить из «фонда» спиртное. В трактире он ни разу не осквернил себя алкоголем. В ответ на вопросительные взгляды трактирщика всегда просил одно и то же:

— Мне, пожалуйста, стакан молока.

— Молочко-то на Сахалине больно кусается.

— Я знаю, что молоко дорогое. Но я плачу...

С этим стаканом молока Полынов и сидел часами, внешне безучастный, слушая выкрики пьяных забулдыг, шушуканье базарных жуликов, отворачивался от призывов продажных женщин:

— Благодарю, мадам, но вы меня совсем не волнуете.

Потаскухи прямо шалели от подобных ответов:

— Так что же тебе еще надо? Или сиськой помахать, чтобы ты разволновался... тоже мне, псих ненормальный!

К ночи над Сахалином разбушевалась пурга. Пахом Недомясов выставил за дверь последних клиентов и, получив с Польшова за выпитое им молоко, присел к нему за столик.

— Вижу, что ты человек рискованный и раскованный. Много я знать не хочу, но спрошу: по какой статье здесь?

— По нечаянной... По... тридцать шестой.

— Ясненько.

— Дело! — потребовал от него Польшов.

— Вишь ли, из-под прилавка спиртишком торгую.

— Я это уже заметил, — сказал Польшов.

— Потому и говорю тебе как на духу... Вozить спирт с Николаевска морем иль на собаках через пролив накладно. А тут многие самогон варят из онучей с портянками. Такой крепости, ажно дух захватывает, коли нюхнешь. Может, сговоримся?

— В чем?

— Ты мне — самогон, а я тебе — деньги.

— Сколько дашь за бутылку?

— Ну... рупь.

— Три! — потребовал Польшов.

— Без ножа режешь.

— Как угодно. Могу и без ножа.

— Ну, два... по рукам?

Польшов прикинул выгоды этого предложения. Владелец спиртного на Сахалине всегда подобен банкиру, державшему пакет ценных акций. В каторжных условиях алкоголь давал человеку такую власть, перед которой сразу меркли все авторитеты надзирателей с их револьверами... Польшов сказал Недомясову:

— Хорошо. Согласен быть личным поставщиком двора вашего кабацкого величества... Но прошу аванс!

— Пардон, а это на что? — удивился кабатчик.

— Ради творческого вдохновения, иначе сюжет моей жизни расплывется еще на первых страницах... гони, гад, «синьку»!

Пахом Недомясов был уже не рад своей откровенности:

— Да я тебя знать не знаю. Сунь тебе «синьку» в хайло, ты на улицу шмыгнешь, только тебя и видели.

— Тогда договор считаем расторгнутым.

— Постой, постой... А-а, подавился ты ею! — неожиданно шмякнул Недомясов на стол ассигнацию в 25 рублей.



Полынов изучил ее против света керосиновой лампы:

— Сразу видно иностранную работу. Правда, вот тут со штриховкой сплеховали, а в подписи кассира главного казначейства точка поставлена чуточку ниже. Хорошо бы жарить по утрам яичницу на костре из таких вот японских ассигнаций... Откуда?

— Губернаторский писарь забежал выпить. От него!

— Это который зовется Полыновым?

— Да, он самый. Уже при галстукe бегаeт.

— Тогда мне все понятно, — сказал Полынов настоящий, аккуратно укладывая полученные 25 рублей в бумажник. — Но если на спирте наживается даже крупное начальство Сахалина, то мне, каторжной морде, сам бог велел не забывать о себе.

Полынов собрался уходить, застегивая арестантский бушлат на все пуговицы. Высоким и чистым баритоном вдруг он пропел:

Эй, лейся, песня удаля!

Лети, кручина злая, прочь...

## 17. Развитие сюжета

Весь день бушевала пурга, заметая Александровск сугробами сыпучего снега; хлесткий ветер громко колошматил листьями жести, сорванной с крыш, где-то на углу Рельсовой улицы со звоном разбился уличный фонарь. Но к вечеру все разом притихло, чистое небо развесило над сахалинской юдолью гирлянды созвездий.

— Если мы звали гостей, — сказала Ольга Ивановна мужу, — так нехорошо, если они застрянут в сугробах. Ты бы оставил свои газеты да расчистил дорожку от калитки до крыльца...

Волохов взял деревянную лопату и раскидал возле дома снежные завалы, чтобы могли пройти гости. Они ждали сегодня Вычегдова, их обещал навестить и поляк Глогер, появившийся на Сахалине с последним «сплавом». Ольга Ивановна заранее застелила стол холстинной скатертью, услышала скрип калитки.

— Открой, — велела она, — кажется, идет Вычегдов...

Разматывая на шею вязаный шарф, Вычегдов почти весело оглядел стол супругов Волоховых, украшением которого была большая сковородка с жареной картошкой.

— Я первый? — спросил он. — Вот и хорошо... А вы не слышали новость? Вчера вечером прямо напротив губернского правления кто-то напал на конвоира. Выкрутил у него из рук винтовку и скрылся. Сейчас ищут, а найти никак не могут.

Этот случай не был исключительным в жизни Сахалина, да и сами «политические», пообжившись на каторге, тайком обзаводились

оружием — ради личной безопасности, ибо на защиту полиции рассчитывать не приходилось: тут люди сами привыкли отбиваться от грабежей и насилий.

— Садись. Наверное, скоро подойдет и Глогер.

— Мне жалко Глогера, — сказала Ольга Ивановна, поднимая крышку от сковородки. — Еще молодой парень, а уже озлоблен на весь мир и похож на волка, оскалившего зубы...

Вычегдов вступился за Глогера:

— Ну, Оля! Отсидеть в цитадели Варшавы, каждый день ожидая веревку на шею, тут характер не станет шелковым. А вообще-то, вся эта история с эксом в Лодзи какая-то нелепая. Там у них что-то произошло... очень некрасивое с деньгами!

— Кстати, — спросил Вычегдова хозяин, — ты выяснил: кто был этот человек, повстречавшийся однажды тебе на улице?

— Нет! Как мне объяснила тюремная шпана, это обыкновенный «куклим четырехугольной губернии круглого царства». На общедоступном языке, если перевести с уголовного на русский язык, это человек, не открывший на допросах ни своего подлинного имени, ни своего положения. Так что каторга его не знает...

В дверь кто-то постучал — три раза подряд.

— Открой, — сказала Ольга мужу. — Это Глогер.

— Который всегда опаздывает, — заметил Вычегдов.

Дверь распахнулась — на пороге стоял человек, при виде которого все застыли в изумлении. Первой опомнилась женщина:

— Я узнала вас... да, да, это вы наблюдали за нашим домом... Что было нужно от нас? Кто вы?

— Мне ваше лицо знакомо, — сказал Волохов. — Не вы ли однажды ночью подкрались к моему окну, заглядывая с улицы?

— А в прошлом году, — добавил Вычегдов, — я видел вас в партии «кандальных», но вы отвернулись от меня...

— Во всех трех случаях это был я! — улыбнулся Полынов. — Я извещен, что вы ждете Глогера, который имеет привычку опаздывать. Я хотел бы сразу сознаться, что именно по моей вине в Лодзи произошло нечто... очень некрасивое с деньгами!

— Что-о-о? — закричал Вычегдов. — Вы разве дьявол?

— Нет, я ангел! Но падший ангел. И прежде, чем войти в чужой дом, я должен знать, что обо мне говорят...

---

С первых же слов Полынов откровенно признался, что — да! — он вел наблюдение за домом Волоховых, где часто бывают политические ссыльные, ему хотелось выяснить, нет ли среди них поляков из ППС, причастных к делам в Лодзи, а сейчас он, зная о появлении Глогера на каторге, желает с ним встретиться.

— Глогер прикончит вас, — сухо заметил Волохов.

— Сначала пусть он спросит у меня: желаю ли я быть приконченным? — спокойно возразил на это Польшов.

Вычегдов выразился чересчур конкретно:

— Ваша судьба решена. Если не желаете крупных неприятностей для себя, вам с Глогером лучше бы не встречаться... Именно со слов Глогера, я уже догадался, кто вы такой.

— Кто же я?

— Инженер! И вот мой добрый совет: наденьте шапку, застегните новенькое пальто и убирайтесь отсюда к чертовой матери.

Польшов снял шапку и, расстегнув пальто, сбросил его со своих плеч. Игнатий Волохов подивился его наглости:

— Мне такие герои уже попадались! Сначала идейный экспроприатор, а потом вульгарный вор. Кончали они, как правило, тем, что жестоко глумились — над прежними своими идеалами, мечтая в конце концов сделать экс или эксик лично для себя на такую сумму, чтобы потом стать элитным рантье.

— Вы недалеко от истины, — согласился Польшов. — Из боевой партии ППС я легально перешел в партию СПС, что легко расшифровать в трех словах: «партия — сам по себе».

— Какой цинизм! — возмутилась Ольга Ивановна. — Зачем вы пришли, не боясь нашего общего презрения к вам?

— Я же объяснил, что пришел повидать Глогера...

Отчаянно скрипнула калитка, послышались шаги.

— Так берегитесь — ГЛОГЕР ИДЕТ, — произнес Волохов.

Глогер сильно изменился, он даже постарел. Польшов, легко поднявшись, сам подошел к нему с первым вопросом:

— Так что там случилось с нашим Вацеком?

— Повешен! Но еще до разгрома «боевки» мы успели вынести тебе приговор, какого ты и заслуживаешь... Рекомендую вам замечательного подлеца! — с гневным смехом сказал Глогер, указывая на Польшова. — Пока мы в банке добывали злотые, проливая кровь за свободу будущей Речи Посполитой, этот сукин сын обчистил кассу в свою пользу... Я удивлен, что вижу его снова! Пусть он знает, что приговор партии остается в силе.

Польшов взял папиросу из пачки Вычегдова, и только этим жестом он выдал свое волнение.

— Выслушай меня! — резко заявил он Глогеру. — Я не признаю приговора, сфабрикованного в ресторане на Уздовских аллеях самим Юзефом Пилсудским между рюмкою коньяка и бокалом шампанского. Еще до вынесения мне смертного приговора пан Пилсудский разложил всех вас налетами на банки и кассы, смахивающими на обычную уголовщину. А в преступном мире могут быть только банды, но никогда не возникнет никакой партии...

— Перестань! — грозно потребовал Глогер.

— Нет, — настоял Польшов. — Сейчас не ты мне, а я вынесу приговор, более страшный и более убедительный... Мне жаль бедного Вацека. Но мне жаль и тебя, Глогер!

— Замолчишь ты или нет?

— Не замолчу, — ответил Польшов. — Задумался ли ты хоть раз: во имя чего жертвовал своей жизнью, добывая в эсках деньги для того же пана Пилсудского?! Не он ли в партии польских социалистов проводит свою личную политику, а эта политика Пилсудского станет губительна для всей Польши.

— Не смей так судить о патриотах! — осатанел Глогер. — Кто ты такой, жалкий москаль, впутавшийся в наши дела?

— Да, я русский, — ответил Польшов. — Но мать у меня полячка, потому мне одинаково дороги интересы и Польши и России. Я не впутался в ваши дела, ибо всегда считал, что задачи революции для русских и для поляков останутся равнозначны...

Ольга Ивановна, закрыв рот ладонью, как это делают женщины из простонародья, слушала перебранку разгневанных мужчин, и она очень боялась именно конца их спора.

— Прекратите! — взмолилась она. — Убирайтесь оба на улицу и там разбирайтесь, кто прав, кто виноват, кому служит Пилсудский, а кому служите вы... Мне это все уже надоело!

Волохов и Вычегдов поддержали женщину:

— В самом деле, шли бы вы на Рельсовую...

Лицо Глогера уже перекопилось от гнева, он на свой лад понял это приглашение и выхватил револьвер из кармана:

— Не слушайте его! Этот человек способен любого опутать своей клеветой, и еще никакому Цицерону не удалось его переговорить. Но приговор партии не отменяется: смерть!

Ольга Ивановна с криком кинулась между ними, повиснув всем телом на руке Глогера, громко плача:

— Только не здесь! Только не в моем доме... пощадите меня и моего мужа... моих детей, наконец!

Глогер опустил револьвер, извинился:

— Добже, пани. Ради вот этой женщины, ради ее детей и мужа ее, которому осталось два года каторги, я откладываю исполнение приговора. Но ты не уйдешь от меня... не уйдешь!

И только сейчас он заметил, что из рукава Польшова за ним давно и пристально наблюдает жуткий зрачок браунинга.

— А ты большой дурак, Глогер! — сказал Польшов. — Я ведь, едва ты вошел, уже держал тебя на прицеле. И ты наверняка помнишь, что я обладаю счастливой способностью стрелять на полсекунды раньше других... Спрячь свое пугало! Мне жаль всех вас, сделавшихся жертвами убеждений пана Юзефа Пилсудского.

— Уберите оружие! — потребовала Ольга Волохова.

Мужчины спрятали его по карманам. Польшов взялся за пальто, кое-как набросил на голову шапку. Резко отвернувшись от Глогера, он неожиданно обратился к Вычегдову и Волохову:

— Вы правы, что в Лодзи была некрасивая история. Что же касается денег из Лодзинского банка, то я их... верну! Не сейчас, конечно, а гораздо позже, когда я буду убежден, что эти деньги пойдут на пользу народу... Прощайте!

За ним хлопнула дверь, и все долго молчали.

— А зачем он приходил? — вдруг спросил Вычегдов.

— Наверное, за моей пулей, — усмехнулся Глогер.

— Вряд ли он ее испугался, — ответил Волохов. — Этот человек слишком осторожен. Он осторожнее и хитрее тебя...

Вычегдов заметил, что картошка давно остыла.

— Такие Польшовы всегда будут опасны для общества, — сказал он, — и в этом вопросе я целиком на стороне Глогера.

Ольга Ивановна достала из кармана передника шпульку с нитками и стала прилаживать ее к швейной машине:

— Мне-то, матери с детьми, каково жить в этом мире?

---

Польшов доставил в трактир немало бутылей с самогонкой, и Недомьясов был обрадованно удивлен его успехом:

— Ну, парень... с тобою можно делами ворочать. Откедова же нахапал столько? Где раздобыл?

— Не столь важно. Считаю, что сам на пне высидел.

— Как бы мне за тебя на параше не сидеть.

— Гони кровь из носу! — велел Польшов.

Недомьясов честно расквитался с ним, как и договаривались ранее, затем открыл одну из бутылок, принялся:

— Вроде шибает! По такому-то случаю не грех и выпить за нашу коммерцию. Давай сразу по стакану дернем.

— По стакану молока, — отвечал Польшов.

Со стаканом молока он прошел в общий зал трактира, крикнув на кухню, чтобы для него поджарили яичницу с колбасой. Потом взял стопку газет, недавно прибывших с материка. «Новый край» писала, что правительство бухает сейчас миллионы на освоение Дальнего Востока, и потому делом ближайшего времени станет создание в этих диких краях условий, при каких человек не чувствовал бы свою оторванность от метрополии. Но тут внимание Польшова отвлек поэт из каторжан, обещавший за рюмочку спирта прочесть целую поэму о своих любовных страданиях.

— Не надо. Лучше ответь: за что на Сахалин угодил?

— Я убил ее, торжествующий! — провозгласил поэт.

— Кого убил?

— Изменницу.

Скомкав газету, Польшов отбросил ее от себя:

— Хорошо ли убивать женщину, которая ушла к другому, надеясь, что другой окажется лучше тебя, кретина?

— Как же так? — возопил поэт, трагически заламывая руки над головой. — Когда в театре шекспировский Отелло душит Дездемону, весь зал рукоплещет гордому ревнивцу. А я расплатился за измену с неверной, и меня за это на каторгу... Где логика? И почему я не слышу оваций восхищенной толпы?

Польшова даже передернуло от брезгливости:

— Знаешь, катись-ка ты... со своей поэмой!

К его столику приблизился другой сахалинец, замороженный запахом пищи, всем своим видом он вызывал жалость, и Польшов сразу передвинул к нему сковородку с яичницей:

— Я сыт. Доешь, брат. По какой статье?

Ответ голодного человека потряс его:

— А у меня статьи никогда и не было. Это у жены была статья. Вот я за ней и потащился на Сахалин, чтобы долг супружеский до конца выполнить, потому как любил ее, сударь.

— Ну?

— А что «ну»? Ее отправили на Сахалин пароходом, а «добровольноследующих», как я, казна не учитывает. Вот и топал по этапу. Пешком! Заодно с кандалными. Она-то скоро сюда приплыла. А я лишь через три года до Сахалина добрался. Вот, надеялся, радость-то для нас будет: снова мы вместе...

— Ну?

— Прибыл, а она, гляжу, уже с другим... Белый свет померк в глазах. Ничего не надо. Пожрать бы да выспаться в тепле.

— Куда ж ты теперь? — посочувствовал Польшов.

— Не знаю. Коли сюда попал, не выбраться. Да и на какие доходы? Не живу, а мучаюсь. Кому я нужен?

Польшов дал ему денег:

— Этого хватит, чтобы миновать Татарский пролив с почтой, которую возят на собаках до Николаевска гилыки каюры. Ну а там, на Амуре, заработаешь на дорогу до родимых мест. Только не плачь, брат. Даже не благодари меня. Не стоит...

Неподалеку пристроился аккуратный старичок, который, заметив щедрость Польшова, уже весь заострился, и было видно, что он выискивает предлог, дабы разжалобить этого «дядю сарая». Но Польшов не обращал на старикашку внимания.

— Меня-то! — тонко взвыл старичок, не выдержав. — Меня пожалей. Кой денек крошки во рте не бывало.

— А за что ты, труха, на каторге оказался?

Старик живехонько пересел ближе к Полынову.

— Всего за пять рублей с копейками страдаю.

— Что-то дешевле твой грех. Расскажи.

— А жил, как все люди живут. Свое берег, на чужое не зарился. Семья была. Достаток. Сыночка ажно в гимназию пропихнул. Нанял я тут бабу одну — прислужницей. Деревенскую. Она возьми да и стащи у меня деньги. В комод лежали. Под исподним своим их прятал. Кому ж, как не ей, подлой, взять? Ну и давай я бабу страшать. Уж я стегал ее, стегал, сам измучился. Увечил как мог. Всякие пытки ей придумывал. Даже кипятком ошпарил. Нет, гадука, не сознается. А потом бельма-то свои бесстыжие закатила и померла. Тут меня и взяли. Где ж правда на этом свете? Ведь сознайся она по совести, что взяла деньги, нешто б не простил я ее? А теперь извелся... по ее же вине! Хоть вешайся, да не знаю как. И веревки-то порядочной нигде нету, не ведаешь, за что и зацепиться.

— Хочешь, научу? — деловито спросил Полынов.

— Окажи божецкую милость, родимый.

— Берешь полотенце. Лучше всего казенное. Оно жестче. Завязываеть на шею, а другой его конец — за ногу.

— Так-так, родненький. Золотые слова твои.

— Потом ногу от себя постепенно отодвигаешь, а петля тем временем на шею затягивается. Считай, что ты уже в раю.

— Просветил! Дай бог тебе здоровьица. За науку эту ты бы еще денюжат мне дал, чтобы веселей было.

— Без денюжат вешаться легче. Ступай.

— А благодарности не будет? За рассказ мой?

— Иди-иди, живоглот поганый. Бог тебе подаст...

Полынов покинул трактир, облегченно вдохнул в себя чистый морозный воздух. Темнело. На крыльце ему почудилось, что кто-то впопыхах оставил лежать неряшливые узлы тряпья, но это были люди. Изможденная женщина, поникшая от невыразимой беды, сжалась на ступенях от холода, а с нею была и девочка-подросток, закутанная в немислимые отрепья.

— Вы чего здесь? — спросил Полынов.

— Продаю, — глухо отозвалась женщина.

— Что продаешь?

— Дитя свое... Купи, добрый человек, будь милосерден. Все едино с голоду подохнет, ежели так оставить.

Южнее, со стороны Дуэ, стали лаять собаки.

— Ты какого же «сплава»?

— Осеннего.

— По статье или...?

— К мужу. Вот, приехали. Дом бросили. Соседи набежали, все расташили. Привезли нас, а его-то и не нашли.

— Как не нашли?

— А так, господин хороший. Искали его тут чиновники всякие, по бумагам казенным вроде и был такой. А все тюрьмы пересмотрели, говорят — не значится...

Полынов послушал, как заливаются лаем собаки.

— А ты на кладбище-то бывала ли?

— Нет и в мертвеньких... Купи! — разрыдалась она.

Полынов взял девочку за подбородок и резким жестом вздернул ее голову повыше, чтобы разглядеть лицо. На него в испуге смотрели большие глаза, а в каждом зрачке — по звездочке.

— Как зовут? — спросил он.

— Веркой, — не сразу отозвалась мать.

Хрустя валенками по снегу, мимо них прошел конвоир, прикладом пихая в спину бродягу — в сторону недалекой тюрьмы:

— Шевелись давай! Гнида ползучая.

— Да не брал я... не брал, — оправдывался бродяга. — Чтоб мне света не видать, я же в сторонке стоял... Ну? Отпусти. Не я, а другие все раздергали, а мне за всех отвечать, да?

— Тащись, стерва, пока не пришиб я тебя...

Они удалились, продолжая ругаться. Мать осталась неподвижной, убитая таким горем, какое случается только в этих краях, проклятых каторгой. А девочка, запрокинув лицо, снизу вверх выжидательно смотрела на человека, который может ее купить. Полынов долго и напряженно думал. Потом откинул полу своего нового пальто, наугад отсчитал из бумажника, наверное, рублей около сотни и сложил их на коленях женщины:

— Не рыдай — я не обижу ее, верь мне...

Взяв девочку за руку, как отец любимую доченьку, Полынов отвел ее на Протяжную улицу, там размотал на Верке тряпье и, заметившей, побросал его в печку. Он сказал, что купит ей красивое платье и сапожки со шнурками, а сейчас чтобы шла умываться, после чего они станут ужинать:

— А спать я постелю тебе вот здесь... на лавке.

Полынов засветил на столе лампу, чтобы получше рассмотреть свое приобретение, и заметил, что девочка была хороша, но ее портили чуть оттопыренные уши. Он сказал ей:

— Со мною ты ничего не должна бояться. Запомни это и впредь никогда ничего не бойся. Пусть мои слова станут для тебя первым заветом...

Когда они легли спать, настала гнетущая тишина, и в этой тишине едва проселестел внятный голос:



— Дядечка, а что ты будешь делать со мной?

— Буду делать с тобой все, что хочу. Пройдет срок, и я сделаю из тебя... королеву!

Снова стало тихо, девочка не сразу спросила:

— А королевой разве быть хорошо?

— Наверное... при таком короле, как я!

В сознании Полынова, будто внутри арифмометра, сработал четкий механизм, и в памяти, словно из табло, проявилась та цифра, которую не следует забывать: XVC-23847/A-835.

— Это будет в Гонконге, — прошептал он, засыпая, но во сне раскрутилась рулетка, снова указывая ему роковой № 36.

## 18. В конце будет сказано

Японский фотограф, наведя канцелярию губернатора, как бы между прочим заглянул в кабинет писаря, сказав ему, что он напрасно не приходит за своими фотокарточками:

— Вашим престарелым родителям будет приятно убедиться, что их сын даже на каторге выглядит очень радостным...

Но в фотоателье пришлось общаться не с фотографом, а с самим господином Кумэдой, который заявил:

— По должности писаря губернской канцелярии вы можете быть нам полезны. Для начала я прошу вас сообщить нам количество штыков в военном гарнизоне Сахалина.

Бывший семинарист Сперанский, а ныне мнимый Полынов, даже не сразу сообразил, что требуют от него японцы.

— Зачем? — ошалело спросил он.

— Затем, что вы уже согласились помогать нам. И даже не бесплатно, как вам известно, — напомнил Кумэда.

— Я ничего не обещал вам, — растерянно отвечал писарь, — и никогда не соглашался шпионить на вас.

Кумэда показал ему длинный столбец написанных иероглифов, внизу которого красовалась подпись по-русски:

— Это ведь вы расписались в получении денег?

— Помню. Когда сымали меня на карточку.

— Здесь ваша подпись?

— Моя.

— Подтверждаете ее подлинность?

— Подтверждаю. А... что?

— В этом случае я позволю себе зачитать вслух текст этого договора, переведя его на понятный вам русский язык. Слушайте: «Я, ни-

жеподписавшийся, обязуюсь служить доблестной армии японского императора, в божественном происхождении которого у меня нет никаких сомнений, а в случае, если я откажусь исполнить ее приказ, меня постигнет страшная кара...» В конце же договора написано: «аванс в размере двадцати пяти рублей мною получен, в чем и заверяю читавших своей личной подписью».

— Знать ничего не знаю! — попятился парень к дверям.

Такаси Кумэда свернул бумагу в тонкую трубочку.

— Необдуманный ответ, — улыбнулся он писарю, — есть признак душевной грубости, а нам, поверьте, совсем не хотелось бы грубо обращаться с вами. Извините, пожалуйста.

Сказав так, Кумэда ткнул пальцем куда-то в бок, вызвав в теле писаря приступ невыносимой боли, которая и свалила его на пол. Со стоном он просил отпустить его.

— Вы желаете уйти от нас на покаяние? Так уходите, мы вас не держим, — сказал Кумэда. — Но что нам стоит позвонить по телефону генералу Кушелеву или следователю Подороге, чтобы спросить их: куда же делся настоящий Полынов, фамилию которого Сперанский таскает на себе, как чужой пиджак? Уверен, что после такого вопроса вы завтра же снова очнетесь под нарами...

— Не выдавайте меня! — попросил Сперанский.

Кумэда ушел. Но тут же появился из-за ширмы фотограф:

— Мы вас не выдадим, если вы нас не подведете...

На следующий день, истерзанный бессонницей, подавленный, даже не поднимая глаз, Сперанский стыдливо принес для Кумэды список военнослужащих Сахалинского гарнизона:

Корсаковская команда — 296 чел.

Александровская — 479 чел.

Дуйская (в Дуэ) — 335 чел.

Тымовская (Рыковская) — 317 чел.

Кумэда заплатил писарю сто рублей, он угостил его хорошим шампанским и очень просил беречь здоровье:

— Для нашей работы нужны крепкие, бодрые люди...

Этот список он переслал Кабаяси в Корсаковск, где консул проводил зимний сезон в более мягком климате — поближе к берегам Японии. Кабаяси сверил цифры со своими данными.

— Пока все верно, — сказал он. — Сюда надо бы добавить четыре пушки устаревшей системы, а пулеметов у них нету... Великие события близятся! Скоро на всех картах мира зачеркнут название «Сахалин» и напишут японское слово — «Карафуто»! Сахалин сделается землей великого японского императора...

# Часть вторая АМНИСТИЯ

Взгляни на первую лужу, и в ней найдешь гада, который геройством своим всех прочих гадов превосходит и затемняет. .

*М Е Салтыков-Щедрин*

## Черная жемчужина России *Пролог второй части*

Если бы Сахалин не был отдан на откуп каторге, наверное, иначе бы сложилась судьба драгоценной «черной жемчужины», как в России называли этот остров наши ученые...

В первые годы советской власти жители острова постановили: отныне Сахалин не будет знать преступлений, мы станем созидать новую жизнь на добрых началах, а всех нарушителей законности и порядка следует судить высшей мерой наказания:

— Бандитов и воров ссылать... на материк!

Многие из узников царизма не покинули остров, где и поныне проживает их потомство в третьем и четвертом поколениях. Навсегда связал свою жизнь с Сахалином самый последний каторжанин Станислав Бугайский. В 1920 году ему не раз предлагали квартиру в Москве, но он отказался покинуть остров. В 1941 году, как раз накануне Великой Отечественной войны, на экраны нашей страны вышел документальный фильм о Бугайском. Последний из могикан сахалинской каторги, он скончался в 1944 году, и в Михайловке его именем названа центральная улица.

Теперь Сахалин украшен многими памятниками. И тем, кто пал на этой земле, «замучен тяжелой неволей», и тем, кто пал за эту землю — в жестокой борьбе с японскими захватчиками.

Славную историю Сахалина издавна омрачала каторга!

Скажем честно: освоением Сахалина мы, русские, вправе гордиться, зато каторга Сахалина — это позорная страница сахалинской истории, однако изучать ее все-таки следует.

Царизм вложил в создание сахалинского «рая» колоссальные средства, ожидая притока неслыханных прибылей, но... министрам было стыдно докладывать о результатах колонизации:

— Ваше величество, Сахалин представил на Нижегородскую ярмарку свои природные экспонаты: полозья для саней, одну кустарную сковородку, деревянное ведро, доску для игры в шахматы, набор обрубей для бочки, дверные петли, защелки для окон, набор сапожных шил, три лопаты и... простите, два утюга.

— И это все? — грозно спросил Александр III.

— Увы! Пока все...

Почти ничего не давая стране, каторга за каждый шаг в тайге, за каждый мешок угля, за каждую сосновую шпалу взимала с людей страшный подоходный налог — кровью, страданиями, жизнями. А. П. Чехов записал рассказ о зрителе Викторе Шелькинге, который сотню человек довел до самоубийства. Онор остался для Сахалина слишком памятен. Настолько памятен, что Антон Павлович желал бы его забыть — так ужасна была «онорская» каторга! От Рыковской тюрьмы через непролазные дебри каторжане прокладывали дорогу на юг — к заливу Анива, а где-то среди буреломов затерялось это гиблое место — Онор! Здесь с утра до ночи свистела плеть палача, конвоиры прикладами ломали людям ребра и руки, выбивали им зубы. Ослабевших пристреливали, а если агония замедлялась, человека добивали даже не пулей, а палками. Арестантов так обкрадывали на Оноре, что они молились на хлебную пайку, как на святыню, они пожирали мох под ногами, грызли кору деревьев, каторжане выли по ночам, облепленные тучами комаров, наконец, на Оноре началось людоедство...

Когда Ляпишев явился на Сахалин губернаторствовать, он еще застал в живых отмирающие реликты этого дикого прошлого, эти страшные уникалы сахалинской каторги. Уже освобожденные от работ, заросшие седыми патлами, битые-перебитые, забывшие всех своих родственников, старики Онора сидели на кроватях сахалинской богадельни, не скрывая, что питались человечиной:

— Ну, кушал, да... так и што с того? Бог простит. Тоже ведь мясо. Наткнешь на палочку, у костра и поджаришь. Потом ел. Не мой то грех, а тех, кто довел меня до греха... Теперь чего уж там вспоминать? Одно слово — каторга!

---

Сахалин по размерам вдвое больше иного европейского государства, его политический строй — тюремнокаторжный, а надо всем этим «государством» доминировала тюрьма, забиравшая у людей не только их физическую силу, но даже таланты и знания. Если ты ничего не знаешь и ничего не умеешь, будешь копать канавы, валить деревья, таскать бревна, чистить нужники. Но в тюрьмах работали кузнечные, слесарные, мебельные, переплетные мастерские, в которых иногда создавались подлинные шедевры — для начальства, для продажи, просто для души. Захудалый инженер, в России мостивший улицы или чинивший водопроводы, попав

на Сахалин, мог сделаться автором грандиозных проектов, осуществить которые можно было лишь в условиях каторги.

Каторга не умела ценить время, она никогда не щадила людей. По этой причине каторга бралась осуществить любой проект — хоть полет из пушки на Луну, лишь бы занять людей работой, пусть даже бессмысленной. Отсюда и возникали на Сахалине идеальные просеки, вдоль которых гнили скелеты в кандалах, но тайга тут же губила усилия людей, и об этих просеках забывали. Сооружались диковинные каланчи, с высоты которых нечего было высматривать. Это в России, где труд оплачивался деньгами, не станут просто так, за здорово живешь, проделывать дырку в скале, а Сахалину безразлично — к чему эта дырка и куда она приведет. Начальству хочется иметь дырку — и вот на Сахалине появился грандиозный туннель, в котором никто не нуждался. Он, правда, сокращал расстояние от Александровска до шахт Дуэ, но люди погибали в нем во время прилива, когда туннель захлестывало море... Зато тратить силы с выгодой для себя, с прибылью для государства Сахалин тогда не умел. Рыбу ловили не удочкой, а руками; невод каторжанам заменяла простая рубаха — и при таком изобилии рыбы завозили селедку из Николаевска, а каторга так и не освоила метод засаливания рыбы. Миллионы тонн зернистой икры выбрасывали на свалку как ненужные отходы. К икре здесь относились даже с отвращением, считая ее негодными потрохами. Правда, гиляки икру ели, делая из нее своеобразный салат — пополам с малиной и клюквой. А русские хозяйки иногда жарили «икрянки» (оладьи из картофеля с икрой). Но готовить икру не умели и не хотели. Редко кто из сахалинцев запасал бочонок икры на зиму. Так же и с хлебом! Люди каждый год пахали и сеяли, а хлеб клянчили у России, его закупали даже в Америке: своего не было. Как у бедняков Ирландии, главным украшением сахалинского застолья была картошка...

Каждый сахалинец, даже работающий и непьющий, оставался должен казне сорок-пятьдесят рублей. Каждый из них понимал, что, если не построят хибару, если не засеет поле, каторга не отпустит его на материк — никогда. Поэтому осенью, когда урожай бывал собран, поселенцы изо всех сил старались доказать властям, что они свои zakрома доверху засыпали хлебом. Обычно в ту пору по деревьям и выселкам разрезжали чиновники-бухгалтеры, составлявшие смету для губернатора — об успехах в земледелии. Поселенцы заранее накрывали стол с выпивкой, староста держал наготове взятку. Суматошной толпой бедняги обступали чиновника.

— Ты уж не подгадь... пиши! — зывали они, чуть не падая на колени. — Пиши, что мы сей год с плантом управились. Урожай-то — аховский! Так и пиши, не стыдись: мол, засеяли пять пудиков, а собрали все полторапта.

— Жулье! — ярился чиновник, оглядывая стол с закусками, а задом озирая и румяную Таньку, кусающую край платочка. — Да ведь сами с голодухи пухнуть и околевать станете... Где эти ваши полтора пудов, если с каждого из вас портки валяются! Да и с меня за эти приписки потом взыщут.

— Пиши! — кричала толпа, выдвигая вперед ядреную Таньку. — Потому как без твоих приписок нам света божьего не видать, здесь и околеем. А мы уж, сокол ясный, постараемся: какую хошь девку для удобства твоего ослобоним. Знай наших!

Староста уже активно распорядился:

— Танька! Теперь твоя очередь... в прошлом году от Петрищевых девку брали, а ныне ты постарайся для общества. Чтобы, значит, подушки взбивать для господина бухгалтера.

Танька закатывала глаза:

— Охти мне! Да ведь Степан-то меня приколотит.

— Не, — говорили поселенцы, — не посмеет. Потому как ты не для себя, а для общества. А мы Степану за это бутылку поставим, чтобы он не мучился... Тащи подушки в избу!

В губернской канцелярии, изучив смету, гражданский губернатор Бунге оставался очень недоволен ее результатами. Ему давно уже пора бы получить Анну на шею, а тут эти негодяи не могли для развития его карьеры собрать урожай побольше.

— Почему так мало? — негодовал Бунге. — Из Петербурга вправе спросить: ради чего мы тут сидим? Как хотите, господа, но в этой смете придется нам приписать лишку... накинem пудиков! Иначе, чего доброго, и нашу каторгу прикроют.

Ляпишев подмахивал бумагу своей подписью, заведомо зная, что в ней ни слова правды, и это несусветное вранье о небывалых достижениях колонизации Сахалина отправлялось в далекую столицу. А там солидные бюрократы восхищались:

— Смотрите, какие наглядные успехи достигнуты нами! В прошлом году урожай был сам-пятнадцать, а ныне уже сам-двадцать. Вот вам и каторга! Прямо чудеса там творят, да и только... В самом деле, наша колонизация приносит удивительные плоды!

Этим сановникам из Главного тюремного управления было не понять, почему губернатор Сахалина вскоре же станет просить, чтобы прислали хлеба, ибо население голодает. Вот тут бы и показать им деревенский стол с убогими закусками да вывести бы перед ними стыдливую Таньку, страдавшую ради «общества»...

Русские ученые — вслед за нашими моряками — проделали большую работу по изучению богатств Сахалина, и за рубежом следили за их трудами более внимательно, нежели мы думаем. «Черная жем-

чужина» отражала в своей глубине благородно мерцающий отблеск сокровищ, что затаились в недрах острова.

Судьба сахалинского угля сложилась трагично! Угольные копи Дуэ снабжали топливом эскадру в Порт-Артуре, корабли Сибирской флотилии, порт Владивостока, паровозы Уссурийской железной дороги. По своим превосходным качествам сахалинский уголь мог бы соперничать с донбасским, местами встречался и антрацит — тяжелый, как самородки золота, почти не пачкавший рук. Сотни каторжан угробили свою жизнь в штреках копей Дуэ, но уголь год от года становился хуже. В чем дело? Дело в подневольном труде, а каторге безразличны его результаты. Потом уголь брался лишь сверху, какой попадется, а на больших глубинах, где он был высокого качества, выработка прекращалась. Арестант наломает тонны любой породы, лишь бы в конце дня не миновала его миска казенной баланды... Заезжие геологи в ужасе наблюдали, как на отвалы из шахты уголь поступал пополам с пустою породой, которая способна лишь забивать пламя в котлах. Капитаны кораблей, бункеруясь на Сахалине, разносили по свету молву о слабом горении русского угля. Между тем в Японии знали истинное положение в Дуэ, адмирал Того дальновидно рассуждал:

— Наши японские угли не выдерживают конкуренции даже с дурными австралийскими, даже с китайскими, а Сахалин может дать уголь не хуже британского кардифа, и в будущем, я надеюсь, наш флот должен ходить на сахалинских углях. Наконец, сейчас, когда для мира уже назревает проблема жидкого топлива, мы должны заранее подумать об источниках сахалинской нефти...

Легенды о нефтяных болотах, в которых увязали олени и медведи, давно блуждали по Сахалину, гиляки иногда привозили в Николаевск бутылки с подозрительной «керосин-вода». Лейтенант русского флота Григорий Зотов первым застолбил нефтеносные участки на севере острова. Проламывая стенку казенного равнодушия, он не прочь был, кажется, соперничать с самим Нобелем, но ему всюду отказывали в поддержке «по причине занятости соответствующих должностных лиц». Объяснение отказа — прямо как у Салтыкова-Щедрина («а на дальнейшее сказано: посмотрим!»). Лейтенант Зотов навестил Петербург, где Нобель чересчур настойчиво набивался ему в компаньоны.

— Без меня вы разоритесь сами и разорите свою семью. Да, нефть сулит большие прибыли, но прежде она забирает гигантские расходы... Все равно, — пригрозил Нобель, — стоит Сахалину брызнуть первым нефтяным фонтаном, и ваша нефть сразу же станет моей. Не верите, господин лейтенант?

— Не запугаете! — обозлился Зотов. — Я бухаю в нефтяные скважины свои личные средства, но сахалинскую нефть не считаю лично своей, потому что, верю, со временем она будет принадлежать только русскому народу, только моей отчизне...

Еще недавно, в 1950-х годах, в Москве проживала его дочь — Зоя Григорьевна Зотова-Гамильтон; она рассказывала:

— Отец, имея от моей матери немалое приданое, мог бы жить в свое удовольствие, как жили тогда все богатые люди, но он разорил себя и разорил нас, осваивая как раз те места, где сейчас выросли вышки города сахалинских нефтяников — О х а!

...«Черная жемчужина» Сахалина таила роковой блеск.

В жизни каждого поколения каторжан выпадает хоть одна амнистия, дающая им свободу. Коронационные торжества Николая II в 1896 году избавили Сахалин от «помилованных», которые убрались на материк, а теперь каторжане с обостренным интересом следили за приростом в доме Романовых, ибо появление наследника престола сулило новую амнистию. К сожалению, императрица Александра Федоровна родила четырех дочерей подряд, и каторга с возмущением крыла царя на все корки:

— Да что он там не может справиться со своей Алиской? Нетто не может поднатужиться, чтобы наследника сварганить? Что же нам? Так и подыхать тут, ежели у них одни девки лезут!

Грамотные прикидывали «табельные» даты в истории монархии, возлагая надежды на амнистию никак не ранее 21 февраля 1913 года. Безграмотные спрашивали грамотеев:

— А что будет-то в этот день?

— Трехсотлетие царствующего дома Романовых.

— Ну-у... нам не дотянуть. Сдохнем!

Каторга все-таки дождалась рождения наследника, но это случилось еще в том году, когда сахалинцам было не до праздников — даже не до амнистии... Сахалин подстерегала беда.

## 1. «Сахалин — это Карфаген!»

Аппетиты японских самураев уже выразил профессор Томидзу, предрекавший три войны с Россией: «В первой войне нам нужно дойти до Байкала, во второй войне с Россией мы водрузим знамена победы на высотах Урала, но будет еще и третья война, когда наша кавалерия напоит лошадей водою из Волги!» В самом низу газетной полосы «Ници-Ници», среди рекламных объявлений и фотографий популярных гейш в траурных рамках, трудно было заметить зловещий призыв: «Вперед же, пехотинцы Ниппона, вперед и вы, кавалеристы Страны восходящего солнца!»

Переговоры между Токио и Петербургом продолжались, когда в клубе господ выступил японский банкир Шибузава:

— Если Россия будет упорствовать в нежелании идти на уступки, если она заденет честь нашей страны, тогда даже мы, миролюбивые



банкиры, не будем в силах долее сохранять терпение, и все мы выступим с мечом в руках!

Русская дипломатия размахивала над столами политических конференций оливковой ветвью, а русская армия еще хранила меч в ножнах. Между тем наши чересчур удалые аферисты, камергеры и статс-секретари его величества рубили лес в Корее на берегах Ялу, а где лес рубят, там и щепки летят... Положение осложнялось, и тут на Дальнем Востоке появилась очень живая, выразительная, противоречивая и отчасти попросту бестолковая фигура военного министра — генерала Куропаткина.

---

Если бы славу можно было выиграть по лотерейному билету, наверное, их скупали бы целыми пачками, не жалея денег: как же, это ведь слава — не фунт изюму...

Куропаткин выиграл в «лотерею» все, что другие люди добывают трудом, мышлением, героизмом, пролитием крови. Обладая славою ординарца Скобелева, умея понравиться царю, он быстро поднялся ввысь. Мещанин во дворянстве, подобно бойкому журналисту из провинции, военный министр, любил шеголять хрестоматийными фразами о том, что Карфаген должен быть разрушен, а мавр сделал свое дело, не забывая при случае помянуть и гоголевскую вдову, которая сама себя высекла. Появись на Дальнем Востоке, министр не посмел уничтожить лесные концессии на реке Ялу, форты Порт-Артура он назвал неприступными твердынями и наметил посещение Сахалина, говоря при этом:

— А за этот островной Карфаген волноваться не стоит. Пусть только кто попробует сунуться — с нами крестная сила!

Михаил Николаевич Ляпишев срочно созвал совещание ближайших советников — как военных, так и гражданских, просил усилить бдительность, стараться, чтобы ссыльные не докучали высокому гостю подачею прошений лично в руки министра:

— Алексей Николаевич славится добрым сердцем, он человек отзывчивый на любое страдание, но все-таки не стоит его деловой визит обращать в процедуру принятия прошений...

Александровск охватила предпраздничная суматоха, каторжане воздвигали возле тюрьмы триумфальную арку с трогательной надписью «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ»; дамы спешно готовили новые туалеты.

— Михаил Николаевич, а бал... дадите нам бал?

— Дам, душеньки, дам! Как же можно оставить вас без бала, если Сахалин посещает столь значительная персона.

В лавках Александровска появились рахат-лукум и апельсины; дамы бегали в магазин примерять модные шляпы, офицеры гарнизона покупали хрустящие портупей, меняли на погонах поблекшие звездочки на новенькие — блестящие. Постояльцам тюрем и карце-

ров было в эти дни объявлено, что в честь визита военного министра Куропаткина будут варить рис, а не картошку, обещали дать суп с мясом, и все шесть тюрем Сахалина взволнованно гудели голосами изголодавшихся людей:

— Почаще бы наезживали к нам... всякие! А то ведь с этой тухлой кеты да с гнилой картошки уже пухнуть стали...

Куропаткин прибыл! В его честь был выстроен почетный караул, Ляпишев — как военный губернатор — отдал ему деловой рапорт, приняв который министр соизволил указать:

— У вас не застегнута пятая пуговица сверху.

— Извините, я взволнован.

— Ничего, бывает...

Военный оркестр сыграл бодрый короткий туш. Куропаткин обходил шпалеры войск гарнизона, ряды надзирателей тюрем и солдат конвойных команд, незаметно шепнув адъютанту:

— Ну и рожи! Словно переодетые каторжники...

Парадная тройка с бубенцами уже стояла наготове. Куропаткин уселся подле Ляпишева, любезно козыряя в сторону дам, кричавших ему «ура». Министр с удовольствием обозрел массивную фигуру ямщика, опоясанную малиновым кушаком.

— Ямщик-то у вас, Михаил Николаевич, какой внушительный. Так и кажется, что сейчас лихо гикнет и помчит нас к московскому «Яру», чтобы мы до утра слушали цыганок.

— Таковым и был на Москве, — отвечал Ляпишев. — Отвозил купцов к «Яру», а потом шестерых зарезал в Сокольниках.

— Ай-ай, кто бы мог подумать!

— Зато большие деньги взял, — дополнил свое пояснение Ляпишев, отчасти уже проникнувшись настроениями каторги...

Вечером на улицах было устроено гулянье; среди публики сновали лотошники, продавая орешки и кулечки с карамелью; детвора глазела на леденцовые петушки; мужчины воровато приценивались к штучным папиросам. Среди бушлатов каторжан и армяков ссыльнопоселенцев резко выделялись господа, прилично и модно одетые, все в котелках, при тросточках, у иных же напоказ были выпущены на животы цепочки от золотых часов.

— Наверное, приезжие? — спросил Куропаткин.

— Какое там! — отозвался Ляпишев. — Майданщики из местных. Отбрыкали свое «браслетами», теперь лавочки содержат, бани семейные, где своруют, где приторгуют... Здесь страна парадоксов, и все, что видите, это как декорация в балагане.

Для министра было устроено учение пожарных. Сначала они зачем-то с небывалым проворством разломали соседний забор, произвели маневры с приставлением лестниц к стенам домов, прыгали с

крыши на крышу, как гимнасты в цирке, а в конце учения дали напор на шланги. Куропаткин подивился их бодрости:

— Сразу чувствуются мастера своего дела! Где вы, Михаил Николаевич, набрали таких ловких пожарных?

— Из числа каторжан, осужденных за поджоги... Тут принцип четкий: если умеешь поджечь, сумеешь сам и потушить.

В саду губернатора разместился хор сахалинских каторжан. Солист, выступив вперед, отличным голосом исполнил начало:

Много за душу твою одинокую,  
Много людей я сгубил  
Я ль виноват, что тебя, черноокою,  
Больше всей жизни любил

Хор убийц и грабителей разом открыл пасти, могучими басами он поддержал солиста добрым припевом:

Эх, будешь ходить ты,  
вся золотом шитая,  
спать на парче и меху  
Эх, буду ходить я,  
вся морда разбитая,  
спать на параше в углу

Кажется, военному министру на Сахалине понравилось. Хотя бы потому, что с такой экзотикой он еще никогда не встречался. Ему захотелось сделать Ляпишеву приятное, и он сказал:

— Наверное, даже Иисус Христос, будь Он назначен губернатором в Иерусалиме, не смог бы так угодить Пилату, как угодили вы мне своим управлением на Сахалине... Хвалю, хвалю!

Адъютант тут же достал карандаш, сделал запись в блокноте. Теперь послужной список Ляпишева будет украшен выразительной фразой: «В мае 1903 г. удостоен похвалы высшего начальства».

Серьезный разговор начался между ними, когда все фейерверки погасли, а улицы Александровска опустели, сразу сделавшись мрачными, жуткими, почти зловещими. Ляпишев, наверное, был неплохим юристом, но большой профан в военных делах. Однако даже он начинал чувствовать, что назревают события, которые сейчас еще трудно предвидеть. Он сказал Куропаткину, что сооружение Великого Сибирского пути еще не завершено до конца: эшелоны через Байкал переправляются на паромах.

— Сейчас, как мне говорили, поезд от Челябинска до маньчжурского Ляояна тащится двадцать суток. Если японцы и начнут войну

с нами, они постараются начать ее еще до того, как мы закончим прокладку круговой Северобайкальской дороги. Среди офицеров сахалинского гарнизона поговаривают, что лучше сразу эвакуировать войска из Маньчжурии, нежели залезать в войну, к ведению которой ни армия, ни флот России не готовы.

— *Мы готовы!* — бодро отвечал Куропаткин. — Да и не посмеет крохотная Япония задеть великую Россию. Как и с какими глазами мы можем уйти из Маньчжурии, если только на создание города Дальнего нами расходувано девятнадцать миллионов рублей, а ведь строительство еще только начинается... Покинуть сейчас Маньчжурию — значит расписаться перед всем миром в слабости русской армии и русского флота. Я не пророк, — сказал Куропаткин, — но смею утверждать, что один наш солдат выстоит в бою противу пяти-десяти японских мозгляков.

— Дай-то бог, — согласился Михаил Николаевич.

— Нежелательные настроения в сахалинском гарнизоне следует решительно пресекать, — наказал Куропаткин. — Если мы гордимся неприступностью такого Карфагена, как Порт-Артур, то вам-то, сахалинцам, чего бояться? Сахалин отгорожен морем, он не имеет рокадных дорог, зато одни ваши комары да болота чего стоят... Да ведь Сахалин — это тот же Карфаген!

— Однако, простите, комары на болотах обороны не построят. В нашем каторжном Карфагене, — уныло отвечал Ляпишев, — всего четыре пушки времен царя Гороха, которые я хоть завтра согласен отправить в музей. О пулеметах мы даже не мечтаем.

— Михаил Николаевич, — сразу оживился Куропаткин, — вы заставили меня вспомнить ту гоголевскую вдову, которая сама себя высекла... Как можно даже помышлять о нападении японцев на Сахалин, если мы, случись война, сразу же свяжем их по рукам и по ногам удалецким боевым натиском у берегов Японии... Им ли будет до вашего Сахалина, где каторжники даже без помощи гарнизона исколотят их всех своими кандалами!

На следующий день разговор был продолжен. Куропаткин не хотя коснулся январских совещаний в верхах, когда министры царя высказались за *modus vivendi* — временное соглашение, пока не выработан долгосрочный договор. Дипломаты при этом указывали, что все последнее время Япония ведет себя с нарочитой заносчивостью, почему нам, русским, не следует раздражать Токио излишней боевой бравадой. США и Англия давно и очень активно натравливают японцев на Россию, а Россия — увы! — остается пока что в политическом одиночестве. В сентябре 1903 года решено вывести войска из китайского Цицикара, но...

— ...не приведут ли эти уступки к потере престижа русской военной мощи? В нашем правительстве, — рассказывал Куропаткин, — немало людей, искренно желающих войны с Японией. По их мнению,

маленькая победа на полях Маньчжурии способна предотвратить большую революцию в самой России.

Михаил Николаевич ответил министру, что в любом случае он, как военный губернатор, обязав заранее озаботиться обороною острова — независимо от того, будет война или нет.

— Пожалуйста! — согласился Куропаткин. — Согласуйте свои планы обороны с планами приамурского генерал-губернатора Линеви-ча и присылайте прямо в Петербург... мы их немедленно рассмотрим. Поправим, если надо. Наконец, и — утвердим!

— Простите, Алексей Николаевич, — скромно заметил Ляпишев, — но, как бы ни был хорош план обороны, он полетит к чертям, если оборону не подкрепить людьми и боевой техникой.

Очевидно, Куропаткину это прискучило:

— С такими вопросами лучше всего советоваться вам с Линеви-чем, который поделится с вами амурскими резервами...

Ляпишев не стал утомлять министра дальнейшими рассуждениями, и вечером Куропаткин открыл бал в паре с госпожой Слизовой, которая обомлела от такого внимания. Музыканты из каторжан, укрытые от публики ширмою, оглушали танцевальный зал клуба тревожными всплесками старинного вальса; в воздухе кружилось нарядное конфетти, осыпая оголенные плечи кружившихся в танце женщин, взлетали упругие кольца серпантина, а в бокалах сахалинской элиты вспыхивало золотистое шампанское.

— Хорошо живете! — восторгался Куропаткин. — Вот уж не думал, что на каторге возможна такая веселая жизнь...

Он готовился к отъезду в Японию, мечтая там предаться любимому занятию — посидеть на берегу с удочкой. Последние дни пребывания министра в Александровске были посвящены церковным службам, посещениям казарм и музея. Как ни пытались местные власти оградить министра от подачи прошений на его имя, все равно — где бы он ни появился, за ним постоянно тянулся длинный хвост людей с бумагами в руках. Стоило в оцеплении министра появиться лазейке, как в нее моментально проныривал либо жалобщик, либо индивидуум из породы вечных искателей правды. Вот и сегодня Куропаткина настиг какой-то мужичонка, назвавшийся Корнеем Земляковым:

— Ваше... ваше сяство, окажите милость. Прошеньице у меня до вас. Не откажите в своем усердии.

— О чем просишь, братец? — вежливо спросил министр.

— Потому как четвертый год маюсь. Все есть, слава богу. Скотинка своя. Двор поставил. Все бы хорошо. Только вот начальство до сих пор бабу не выделило для обзаведения.

Куропаткин пожал плечами:

— Извини, братец. Я ведь военный министр и в каторжных делах ничего не смыслю. Где же я тебе бабу достану?

Но поселенец Земляков от него не отставал:

— Потому как вы столичными будете, законы всякие изучили. Не обижайте. Я ведь не то чтобы так. Я ведь свое прошу.

Куропаткин, чтобы отвязаться, сказал адъютанту:

— Прими от него бумагу, иначе не отстанет.

Адъютант взял у Корнея прошение, сложил его вчетверо, сунул в фуражку, а фуражку надел на голову:

— Принято! А теперь будь здоров, не мешай.

Корней Земляков, обрадованный, ушел. Прошу читателя не удивляться, если этот Корней станет нашим героем.

---

Наступил день прощания. Куропаткин покидал Сахалин, чтобы навестить Японию с визитом вежливости (и на все время его визита в японских школах запретили распевать антирусские песни, которые очень нравились детям своим красивым мотивом). На прощание военный министр сказал Ляпишеву:

— Ваши опасения за судьбу Сахалина напрасны, и вот почему. Существует международное право, в одном из параграфов которого ясно и четко сформулировано: местности, употребляемые для ссылки и наказания преступников, не могут являться театрами военных действий, не подлежат вторжению неприятеля и будут застрахованы от всяческих оккупаций.

Тут в Ляпишеве проснулся знающий военный юрист.

— Все это было бы очень мило, — сказал он, — но только в том случае, если бы Япония признала этот параграф. Но японцы его не подписали, как бы заранее оставляя за собой право вторжения на Сахалин — в нарушение всяческих прав!

## 2. Страдания сахалинских вертеров

О положении женщины на каторге историки пишут, что, «вступив на остров, она переставала быть человеком, становясь предметом, который можно купить или продать». Женщин обменивали на водку, их проигрывали в карты. Превращенная в товар, сахалинская женщина отомстила за свою честь паразитическим туеядством: «Если бы сожитель вздумал требовать от нее серьезной работы и взвалил бы на нее обязанности жены крестьянина, она сразу бросила бы его и ушла к другому». Правда, бывали очень счастливые браки, возникшие из случайной связи, когда муж и жена, соединив свои судьбы по прихоти начальства, горячо любили друг друга. Но общая статистика браков на Сахалине была жуткая: в среднем на одну женщину приходилось семь-восемь мужчин, отчего на Сахалине бытовала безобразная полиандрия. Сами же тюремщики хвастались перед приезжими:

— У нас баб не бьют! Это в России лупят их чуть не оглоблей или дерут вожжами, а здесь даже пальцем не тронут.

— Зато, слышать, у вас женщин убивают?

— Это правда. Убить бабу — пожалуйста, это можно, а трепать их нельзя, иначе к соседу убежит. Потом ведь волком извоешься, пока другую найдешь...

Почти все дети на Сахалине были незаконнорожденными. Чтобы хоть как-то упрочить семьи, администрация на каждого ребенка выдавала один продовольственный пай, какой получали и арестанты в тюрьме. Зачастую именно этот пай закреплял сожитительство, создавая некое подобие семьи. Возникал немыслимый вариант семейной жизни: не родители кормили своего ребенка, а младенец, еще лежащий в колыбели, уже являлся кормильцем своих родителей. Ребенок становился спасением от голода, он «делался выгодным и дорогим приобретением, и таким путем создавались новые семьи, конечно, весьма непрочные», — писал ботаник А. Н. Краснов, проникший в тайны сахалинского быта.

Да, повторяю, Сахалин знал чистую, добрую любовь, даже в каторжных условиях люди создавали нерушимые любовные союзы. Но мы не станем проливать лишних слез над судьбою преступниц, сосланных на Сахалин за убийства и воровство, — иногда мне, автору, хочется пожалеть и мужчин, которым выпадала горькая доля делаться мужьями таких вот жен!

---

Корней Земляков попал на Сахалин за участие в крестьянском бунте, когда мужики стали самовольно запахивать пустующие земли. Он не был героем — его увлекла общая стихия деревенского возмущения (таких, как он, на каторге звали «аграрниками»). Отсидев срок в Рыковской тюрьме, Корней вынес на волю отвращение к уголовному миру. Он вышел на поселение, оставалось два года отсахалинить — и можно перебраться на материк свободным человеком. Не в пример другим «аграрникам», которые, покинув тюрьму, пьянствовали, живя случайными заработками, Корней, осев на земле, все жилы из себя вымотал, чтобы наладить «справное» хозяйство. Сам доил коров, задавал корм пороссятам, сам полонил гряды на огороде. Трудился и даже радовался:

— Это ль не жисть? Еще бы где бабу сыскать...

Все эти годы ему не хватало женской улыбки, женского плеча, на которое можно опереться в невзгодах. Уж сколько он обил порогов по разным канцеляриям, просил «бабу» — все нет да нет. Не раз, прифрантившись, Корней выходил на пристань встречать «Ярославль», но всех «невест» расхватывали другие «женихи», а у Корнея не было нахальства, чтобы предстать перед слабым полом в наилучшем виде — пижоном с гармошкой.

Наконец, весною его вызвали в Рыковское:

— Есть тут одна лишняя, да не знаем, возьмешь ли ее! Она из прошлого «сплава», на содержании была у господина Оболмасова. Так она этому господину такой «марафет» навела, что сам не знал, как от нее избавиться... Можешь забирать!

«Невесту» наглядно представили. Евдокия Брыкина, одетая в жакетку из черного бархата, сидела на казенном стуле, широко расставив полные, как тумбы, ноги. Она грызла орехи, а избраннику сердца сразу же заявила:

— А нам-то што? Бери, коль начальство приказывает. Не ты, так другие кавалеры меня завсегда расхватают...

Корней Земляков шепнул чиновнику:

— Уж больно они серьезные. Нельзя ли чего попроще?

— Здесь тебе не ярмарка, чтобы выбирать. Скажи спасибо, что у Дуньки Брыкиной глаза, руки и ноги на месте.

День был солнечный, приятный, пели птички, пахло дымом пожаров. Корней подогнал свою лошадь к правлению, с почетом усадил на телегу Дуняшку, дал ей сена:

— Вы сенца-то под свою персону подложите, потому как дорога дурная, шибко трясет. Вам же лучше будет.

— Ладно. Поезжай... деревенщина!

— А вы никак из городских будете?

— Живали в городах. Разных клиентов навидались...

Всю дорогу Корней рассказывал, какой он хороший, как он старается, сколько у него кур несутся, какое жирное молоко дают коровы. Лошадь, прядая ушами, волокла телегу по ухабам. Дуняшка сумрачно оглядывала местность с обгорелыми пнями, розовые поляны, зацветающие кипреем, наконец сплюнула:

— Сколь дворов-то в деревне твоей?

— Тридцать будет, живем весело, народу много.

— Давиться мне там, на веселье вашем?

— Зачем давиться? Коли вы с добрым сердцем едете, так у нас все наладится. Не как у других... шаромыжников!

— Много ты понимаешь, — отвечала баба. — Эвон, я у Жоржика-то жила, так он мне какаву в постель таскал, нанасами встретил еще на пристани. Ежели что не по ндраву мне, так я ему такой трам-тарарам устраивала...

— О каком Жоржике говорите?

— Об инженере этом — Оболмасове! Попадись он мне, сквалыга такая, я ему глаза-то бесстыжие выцарапаю. Честную женщину использовал, а потом, вишь ты, на улицу вытолкал...

На въезде в деревню сидели поселенцы, издали оглядывая бабу, полученную Корнеем Земляковым от начальства.



— Ты выходи вечером... покалякаем, — звали его.

— Ладно, — откликнулся Корней.

Гордый от сознания, что теперь у него все есть в хозяйстве, имеется и хозяйка в доме, вечером Корней надел жилетку, натянул картуз, навестил односельчан, судачивших о том о сем на завалинке. Довольный своим успехом, он даже прихвастнул:

— Это наши ничего не могут! А вот Куропаткин, хоть и министр, он меня сразу оценил. «Езжай, говорит, Корней, до дому, а уж я для тебя все сделаю. Ежели тут станут волынить, ты мне пиши. Адрес такой: Зимний дворец в Петербурге, лично в руки императору. А мы с царем каждый вечер чай из одного самовара дуем, он мне твое послание передаст...»

— Ну-ну! А дальше-то что?

— Ну, пришел я. К нашим-то. Они так и забегали, будто настеганные. Выводят сразу дюжину девок из последнего «сплава». Видать, где-то берегли про запас. Просят любую выбирать. Ну, я посмотрел и говорю: «Ладно, этих вот себе оставьте, а я Дуняшку беру». Так вот и обзавелся. Баба она ладная. Правда, как приехали, легла и больше не встает. По мне, так лежи. Я ведь понимаю. Устала она... бедненькая! Ее какой-то инженер какавой опаивал, теперь в себя притти не может.

Семейная жизнь началась. Дуняшка Брыкина как завалилась на постель по приезде, так больше и не вставала. Иногда только глянет в оконце, где скучились серые избенки поселян, вдали шумел лес, из леса выбегали рельсы узкоколейки-дековильки, по которой каторжане гнали в сторону Александровска вагонетки с дровами, и, наглядевшись на все это убожество, Дуняшка в сердцах произносила с презрением:

— Во, завез! Тут и марафету стрельнуть не у кого...

Услышав о «марафете», Корней даже испугался: он знал, что это — кокаин, который за бешеные деньги продают в тюрьмах майданщики. Корней с утра уже на ногах, подоит коров, заглянет в избу, где валяется его ненаглядная:

— Дунечка, может, булочки хошь?

— Не-а.

Корней задаст корм свиньям, снова прибежит:

— Может, до лавки слетать, пряничка тебе?

— Не-а.

Корней уберет навоз, прополет огород, растопит печь.

— Дуняшечка, уж не больная ли ты?

— Не-а.

В полдень щи сварены, Корней просит откусать.

— Не-а.

— Так какого тебе еще рожна надобно?

— Какавы желаю... чтобы с нанасом!

Даже Корней, уж на что был кроток, и то взбеленился:

— Порченная ты, как я погляжу. Нешто на Сахалине можно о таком помышлять? И не стыдно тебе слово-то экое поганое произносить? Нанас... выдумают же проказники! Тьфу...

Печальный, выходил вечером Корней к мужикам-односельчанам, лениво крутил сигарку; его спрашивали:

— Ну, какова молодуха-то? Небось жируете?

— Не до жиру, быть бы живу, — отвечал Корней, понурясь. — Испортили ее господа всякие по городам разным. Они там нанасы трескали, а отрыгивать за них мне приходится...

Мужики, сочувствуя, дали практический совет.

— Как хошь, Корней, а придется поучить ее маненько, чтобы себя не забывала. Коли вопить станет, мы всем сходом подтвердим, что худо го знать не знаем, ведать не ведаем.

Удрученный горем, Земляков вернулся к себе. Дуняшка вдруг изогнулась перед ним на постели животом кверху, руки назад откинула, словно больная в падучей, разрыдалась:

— Любви хочу... с марафетом! Чтобы неземная страсть была, чтобы кавалеры меня венниками опахивали...

Корней намотал ее волосы на руку и дернул:

— Уймись, тварь! И не стыдно безобразничать? Я ведь тебе не какой-нибудь кандибобер, чтобы неземное показывать...

И уж совсем стало немого у Корнею, когда однажды, приехав из Рыковского, застал у себя господина исправника. Не стыдясь мужа, он не спеша натянул на себя мундир с синими кантами тюремного ведомства, а Корнею выговор объявил:

— Евдокия-то Ивановна жалиться на тебя изволят! Худо ее содержишь. Гляди, Корней, ты меня знаешь, я всегда за порядок стою... Коли что не так, заберу сожительницу от тебя. Мне как раз кухарка нужна. Береги Дуньку! Баба что надо...

На прощание он оставил Дуньке кулечек с мармеладом. Тут Корней не сдержался. Для храбрости осушил косушку:

— Ты долго еще, подлюга, изгиляться надо мной станешь? Я тебе сейчас таких нанасов накидаю, что вовек не забудешь...

Только он это сказал, как Дуняшка прыснула из дверей на улицу, оглашая сахалинские окраины жалобным воем:

— Ой, люди добрые, и где тут полиция? Убил меня изверг-то мой. Моченьки моей больше не стало... помираю!

Корней тянул бабу с улицы, чтобы не позорила его:

— Рази можно экий срам на меня наговаривать? Я ведь попугал только тебя... О господи, вот беда-то! Полежи, отдохни.

— У-убил! Измучилась с ним... марафету хочу!

Не было совести у бабы, совсем не было.

— Дунька, ты лучше уходи, — однажды сказал ей Корней.

Евдокия Брыкина так и села на постели.

— Эва... полкубуйся! — показала она кукиш Корнею. — Нешто дурочку нашел, чтобы я так и ушла? Прежде ты, сокол ясный, пять «синек» вынь да положи, тады и сама уберусь.

Корней завыл, плача. Были у него скоплены сто сорок рублей, чтобы купить билет для отъезда на материк, когда выпадет воля или даст царь амнистию с рождением наследника. Так не отдавать же теперь свои кровные, чтобы эта стерва на них «марафету» нанюхалась? Мужики стали жалеть Корнея:

— Дурак ты, дурак! На что польстился-то? Лучше бы взял кривую да корявую, на каких и собаки не лают. Вот и корячился бы с нею душа в душу, она бы любой конфетке радовалась. А с этими финтифлюшками какое же хозяйство? Одна погибель...

С тех пор как Польшов взвалил на себя множество забот о девчонке, купленной им по дешевке, жизнь обрела новый смысл, но зато сделалась намного тревожнее. Теперь он боялся не только за себя, но становился ответствен и за Верочку, которая быстро обретала повадки и капризы подрастающей девушки. Уходя дежурить на метеостанцию, Польшов всегда запирает ее на ключ, строго наказывая не высовываться даже в окно, чтобы глазеть на Протяжную улицу. Его отношение к ней было почти отцовским, но с претензиями на что-то более значительное...

— Будущая королева, — сказал он ей как-то, — ты обязана стать образованной женщиной... с шармом! Я всю жизнь учился, и теперь я желаю, чтобы ты прошла полный курс тех познаний, которые необходимы людям. Ты где-нибудь училась ли?

— В уездном училище.

— Какого уезда? Какой губернии?

— Козельского уезда, а губерния моя Калужская...

Сунув руки в отвислые карманы казенного бушлата, Польшов однажды шагнул по скрипучим мосткам. Издали заметив его, «кирасир» Оболмасов торопливо перебежал на другую сторону улицы, и это даже развеселило Польшова.

— Правильно поступили, — крикнул он, когда они поравнялись. — Я ведь не забыл, что ваша голова уже в моих руках, как не забыли, наверное, об этом и вы сами...

Опытный подпольщик, Польшов умело проследил за Оболмасовым, который вдруг прошмыгнул в двери японского фотоателье с таким же проворством, с каким пьяницы заскакивают в двери трактира. Вряд ли геолог загорелся желанием сфотографироваться на память. Скорее он сознательно скрылся с улицы, дабы избежать дерзости от Польшова или... «Или у него свои дела с японцами!» Недаром же в

Александровские давно поговаривали, что Оболмасов «ловко объегорил» самого губернатора Ляпишева, поступив на службу японской колонии, руководимой консулом Кабаяси. «Если это так, — призадумался Польшов, — то в этом случае...»

— Вы почему не снимаете шапку? — последовал окрик.

Польшов не сразу заметил офицера, который скорым шагом вышел из переулка на Николаевскую, и теперь можно ожидать оплеухи, чтобы шапка сама по себе покинула его голову. Офицер в чине штабс-капитана спокойно ожидал ответа.

— Приношу свои извинения, — сказал ему Польшов.

Офицер огляделся: Николаевская была пустынна.

— Со мною-то ничего, — улыбнулся он. — Я не сторонник унижения человека, и без того униженного. Но вы могли бы наскочить на самодура, который слишком шепетил в поддержании своего авторитета... Штабс-капитан Быков! — назвался офицер. — А вы, очевидно, уже прошли через чистилища тюрьмы и теперь поселенец? У вас хорошее лицо русского интеллигента. Вряд ли ошибусь, если скажу, что вы... из политических?

— Нет. Я служу на метеостанции.

— Честь имею! — отозвался Быков, подтянув на левой руке перчатку. — Желаю вам порадовать Сахалин хорошей погодой.

— К сожалению, сие не от меня зависит...

Польшову, апостолу эгоцентризма, доведенного до нелепых крайностей, теперь нравилось неподдельное оживление Верочки, когда он возвращался домой. Ощувив ее внимание и отличную память, ничем еще не замусоренную, он постоянно разговаривал с нею, как учитель с одаренным учеником. Ему хотелось передать свои знания, привить свой характер, свое понимание жизни. Потому он чересчур щедро, как невесту цветами, осыпал девушку фактами, именами, событиями, много рассказывал ей о чужих городах и странах. Польшов добывал книги, а затем побуждал задумываться над прочитанным.

— Я сделаю из тебя королеву, — посмеивался он.

Польшов часто прижимал ее оттопыренные уши, которые почему-то раздражали его, подолгу всматривался в девичье лицо:

— Скоро ты станешь очень красивой. Но мне совсем не нравится твое имя... Отныне ты будешь моей Анитой!

— Зачем?

— Так лучше.

— А разве можно менять человеку имя?

— Я менял много раз, и, поверь, с каждым новым именем я обретал прилив новых сил и новый интерес к жизни...

Не раз живший с поддельными документами, менявший имена с легкостью, с какой брезгливый джентльмен меняет перчатки, Польшов

не видел ничего дурного в том, что крестьянская девка Верка станет носить гордое имя — Анита.

— Пришло время расстаться со всеми обносками. Пойдем со мной, я хочу, чтобы моя Анита была самой красивой на свете.

Ольга Ивановна Волохова никак не ожидала видеть этого странного человека в своем доме на Рельсовой улице, а тем более, когда он появился не один, а вместе с девчонкой.

— Вы ко мне? — удивилась она.

— Да. Я знаю, что вы лучшая портниха в Александровске, обшиваете всех дам нашего сахалинского «Парижа». Я привел к вам свою Аниту, чтобы вы принарядили ее... как принцессу!

Волохова вначале отказала ему в этой услуге:

— Мне противна даже мысль, что вы, в прошлом революционер, купили у какой-то несчастной женщины ее дитя... Для каких целей? Неужели даже вы, человек, кажется, достаточно интеллигентный, не можете обойти стороной грязь сахалинских обычаев?

— Заверяю вас, Ольга Ивановна, что я взял эту девочку с улицы, дабы избавить ее от грязи. Не знаю, как сложится моя судьба, но сейчас я вижу свой гражданский долг только в одном — оберегать это чистое существо ото всего позорного, что она может встретить на этом проклятом острове.

— Однако в городе уже ходят всякие сплетни.

Волохова невольно повысила голос, и Анита, чего-то испугавшись, доверчиво вложила свою ладошку в сильную руку мужчины, будто искала у него защиты. Польшов сказал Волоховой:

— Сплетни? Не будем бояться сплетен. Гораздо опаснее свирепое молчание, которое иногда окружает человека, и в этом молчании чаще всего вершатся самые подлейшие дела...

Речь Польшова звучала столь убедительно, что Волохова поверила и тут же стала снимать мерку с худенького, еще угловатого тела девочки-подростка. Польшов сказал, что хотел бы одеть свою воспитанницу как можно наряднее, готовый нести расходы за платья из самых лучших материй. Ольга Ивановна ответила ему вопросам:

— Сколько же платят вам за службу на метеостанции?

— Пятнадцать рублей.

— Так, простите, как же вы собираетесь расплатиться со мною, делая заказ рублей в сорок, не меньше?.. Или у вас какие-то потаенные доходы с этой каторги?

— Нет, мадам, я не стану грабить сахалинское казначейство, — усмехнулся Польшов, намекая на сложные обстоятельства былой жизни. — Но ваша работа будет хорошо оплачена мною...

---

В одну из ночей, когда Анита уснула, Польшов осторожно отодвинул кровать, за которой прятал винтовку (подобную тем, с какими

конвоиры сопровождают арестантов на каторжные работы). Он тихо перевел затвор, и в этот момент Анита проснулась. С минуту они молча смотрели друг на друга: она чуть испуганно, а он — выжидательно. Безмолвие слишком затянулось.

Полынов вставил в оружие цельную обойму.

— Привыкай молчать, — сказал он, — иначе нам с тобой долго не выжить. И никогда ничему не удивляйся! В жизни любого человека всегда будут назревать странные положения... Спи.

Анита спала на лавке, а Полынов занимал постель. Но однажды он согнал ее с лавки, велел перебраться на кровать.

— В самом деле, — сказал он, — как же я не подумал об этом раньше? Ты ведь будущая женщина, потому валяться на лавке должен я сам. Спокойной ночи вам, моя королева...

### 3. Еще стакан молока

Поселенцы меж собой толковали, что Куропаткин — орел, затем, наверное, и летал в Японию, чтобы застрашать самураев своей лихостью. В другой раз Корней Земляков охотно побалакал бы на эту тему, но сейчас — ему было не до того... У него пропала Дуняшка Брыкина, а куда делась подлая баба — где узнаешь? Сунулся Корней в подпечник, где меж кирпичей давно прессовал неприкосновенные сто сорок рублей, но денег на месте не оказалось. Украла! В глазах потемнело от обиды:

— Так на какие же теперь шиши выберусь я отселе? Неужто и до смерти сахалинить, не сповидав родины?..

Проездом из Рыковского к нему заглянул местный исправник, на пороге избы долго соскребал грязь со своих сапожищ.

— Дунька-то твоя, знаешь ли, где ныне?

— Иде?

— На хуторе в Пришибаловке, где иваны всякие жительствоют. Как хошь, Корней! Я туда не езжу, ножика под ребро кому получать охота? Езжай сам, ежели тебе жизнь не дорога...

Пришибаловка (хутор из трех бесхозных дворов) лежала в стороне от дорог, там никогда не пахали, не сеяли, а жили припеваючи. Это глухое урочище облюбовали всякие громилы, уже отбывшие «кандальные» сроки, там находили приют и беглые, потому в эту «малину» начальство без конвоя с оружием даже не заглядывало. Корней стукотнул в окошко крайней избы, но там шла игра, слышались полупьяные голоса бандитов:

— Ставлю дюга хруст.

— Попугая тебе под хвост... Вандера!

— Сколько в мешке?

— Два шила и одна синька.

— Пошли в стирку. — И банк был сорван...

От уголовного жаргона картежников Корнея аж замутило: вспомнил он, как жил под нарами, а над ним «несли в стирку» (то есть в игру) деньги бандиты. Но тут выскочил из избы один из игроков и стал мочиться прямо с крыльца.

— Ты кто? — спросил он, вдруг заметив Корнея.

— Жена моя у вас. Дуняшка Брыкина.

— Кого там еще принесло? — послышалось из избы.

— Да тут деревенский «дядя сарай» приперся. Гляди-ка, муж какой верный сыскался — за Дунькой своей пришкандыбал.

— Пусть заявится, — последовал чей-то приказ.

Ударом кулака по шее Корней был сопровожден в избу, где невольно заробел перед грозным синклитом иванов, наводивших ужас на всю округу грабежами и поножовщиной. Здесь сидели сам Иван Балда, Селиван Кромешный и Тимоха Раздрай.

— Ну? — сказали они. — Теперь дыши в нашу сторону...

— Сказали, что Евдокия Брыкина, сожительница моя, от начальника мне даденная, у вас гуляет. Вот и приехал...

Иваны переглянулись, а Кромешный лениво перебирал колоду карт. Ворот его рубахи был с вышивкой, свидетельствующей о высоком положении в преступном мире. Он слегка двинул плечом, сбрасывая с себя армяк, и одежду тут же подхватили верные «поддувалы» — Гнида, Шпиган и Бельмас.

— Дунька здесь, — сказал Кромешный. — Вчера похорил ее, а сегодня спустил в штос Балде, вот с него и спрашивай.

Раскинули карты, и Балда подвинулся на лавке.

— Чего тебя, дурака, обижать? — сказал он Корнею. — Садись рядом, может, и пофартит тебе — тады забирай свою лярву, я за кошелек ее держаться не стану... Ежели не веришь, так звон отодвинь занавеску — тамотко красотка твоя валяется.

Корней отодвинул ситцевую занавеску, увидел измятую постель, на которой дрыхла его ненаглядная. Было видно, что тут без водки и марафета не обошлось. Громадный синяк под глазом Дуняшки отливал дивным перламутром.

— Все равно, — заявил Корней, — какая б она ни была, а мне ее дали, и потому забираю от вас... Я как знал, что добра не будет, потому и приехал за ней с телегой на лошади.

Сказал он так и понял, что не будет у него ни телеги, ни лошади. Так и случилось: Гнида, Шпиган и Бельмас избили его безо всякой жалости, обшарили все карманы, даже поясок отняли и выставили прочь с хутора, пригрозив:

— Если еще разок пришьешься, пришьем сразу. Скажи спасибо, что живым выпустили тебя... «сарая» безмозглого!

Всю обратную дорогу убивался Корней:

— Господи, и отколе такая сволота берется? Я ли не для нее старался? Я ли не голубил ее? Ведь, бывалоча, сам не съем, а все в нее пихаю... На что мне наказание такое?

Он еще не знал, что впереди его ждет беда пострашнее.

.....

Правила хорошего тона (старых времен!) не допускали, чтобы мужчина целовал руку девушке, но не возбранялось лишь намекнуть на поцелуй, едва донеся девичью руку до своих губ. Штабс-капитан Быков именно так и поступил, навестив Клавочку Челищеву в типографии, где она держала корректуру официальных бумаг сахалинского губернаторства. Валерий Павлович был сегодня в белом кителе, он поднес девушке белую розу.

— Какая прелесть! — восхитилась Клавочка. — И откуда вы достали розу на Сахалине, где за любым ветром всегда следуют холодные проливные дожди?

И хотя голос ее звучал радостью, штабс-капитан заметил, что Клавочка чем-то расстроена, даже подавлена.

— Вы сами видите, — призналась она, — вместо того, чтобы нести людям свет добра и помощи страдальцам, я теперь осуждена вылавливать, словно блох, опечатки в служебных бумагах. Наверное, моя бедная мамочка недаром так много плакала в Одессе, провожая меня в эти каторжные края...

Валерий Павлович краем глаза глянул в типографские оттиски, выхватив из их текста главную суть: оборона Сахалина, в случае высадки японцев, должна иметь лишь два опорных узла — возле Александровска (на севере) и у Корсаковска (на юге).

— Клавдия Петровна, — сказал он, — это же секретные документы... Почему они валяются вот так, поверх стола, любой заходи с улицы и читай их сколько угодно. Неужели никто не внушил вам опасений за сохранение тайны?

— Нет, никто, — ответила Челищева.

«Ну, конечно! Что взять с наивной бестужевки?..»

— Простите, а кому же поручено забирать оттиски приказов из типографии и относить их в канцелярию губернатора?

— За ними приходит писарь... Сперанский!

Быков заложил ладонь за тугую ремень портупеи.

— Странные порядки! — недоверчиво хмыкнул он. — Ведь эти вот наметки будущего плана обороны Сахалина не имеют цены... Кабаяси заплатил бы за них чистым золотом.

— Неужели это так серьезно? — удивилась девушка.



— А как вы думали? Когда японцы кричат: «Корея — для корейцев», за этими словами звучит иное: «Корея — для японцев!» Но одной Кореей самураи не ограничат свои аппетиты.

— Неужели правда, что будет война?

— Вот этого я не знаю, — ответил Быков.

Челищева вышла проводить его на крыльцо типографии. Штабс-капитан отдал ей честь, но задержался. Он сказал:

— Чувствую, что ваше терпение истощилось, и признаюсь: мне будет нелегко пережить, если вы уплывете на «Ярославле» обратно, а я больше никогда не увижу вас.

Челищева закрыла губы белой розой.

— Не надо об этом... — попросила она.

— Надо! — четко произнес офицер. — Я ведь вижу, что вы одиноки здесь, как и я. Но у меня есть хотя бы казарма с солдатами, а вас окружают мертвые души... чиновников да каторжан. Я не осмелюсь торопить вас с ответом, но все-таки примите мое предложение. Мне думается, — добавил Быков, — мы могли бы стать хорошей супружеской парой... Вы молчите?

— Я почему-то так и думала, что это будете вы... Именно от вас я ожидала этих слов, и я услышала их. Я тронута вашим вниманием и вашим предложением. Но стоит ли мне сразу давать ответ? И нужно ли вам настаивать на моем ответе?

Он ушел. Клавочка вернулась в свою конторку, закрылась изнутри на крючок, чтобы не слышать шума типографских машин, и здесь, сидя над приказами Ляпишева, она дала волю слезам...

Сознательно спаивая сахалинцев, спекулируя пресловутыми «записками» о выдаче спирта, чиновники при этом жестоко карали самогонварение, с которым всегда связано что-то темное, что-то преступное. Лето было уже в разгаре, когда в таежном распадке, что называется Мокрушим, неподалеку от Александровска, три матерых бандита — Кромешный, Балда и Раздрай — решили нагнать для себя побольше самогона. Далекие от знания физики и химии, они приспособили для выгонки «первача» громадный бидон, похищенный ими с электростанции города. Нелюдимая тайга надежно укрывала их ухищрения от людских взоров. Преступники вели себя в лесу совершенно свободно, не догадываясь, что за ними — через плотную сетку накомарника — давно следят острые, безжалостные глаза человека с винтовкой. Уверенные в полной безнаказанности, бандиты прихватили с собой и Дуньку Брыкину, которая, подобно кухарке возле плиты, больше всех суетилась над бидоном, в котором бурлила закваска вонючего пойла.

— Первач! — возвестила баба. — Давай кружку.

Затвор винтовки, прoderнутый уверенной рукой, уже дослал до места первый патрон. Мушка прицела сначала нащупала кадык на запрокинутой шее Кромешного, алчно глотавшего из кружки, потом нащупала сердце второго бандита.

— Балда, — слышалось от бидона, — сосай, милоч...

Грянул выстрел, и Балда сунулся головой в пламя костра, его волосы ярко вспыхнули. Дунька Брыкина в растерянности застыла с кружкой в руке, но тут рухнул Тимоха Раздрай.

— Ы! Ы! Ы! — выстанывал Кромешный, получив свою пулю.

Из трубки еще вытекал самогон, и баба, не сразу уразумев, что произошло, стала хлебать «первач». Наконец, и до нее дошло, что смерть неизбежна — надо спасаться.

— Люди добры-ые-е!.. — завопила она.

Вот тогда Польшов встал во весь рост и откинул с лица сетку накомарника. Три бандита валялись мертвыми, а женщина с криками убегала вдоль таежной тропы. Польшов вскинул винтовку в одной руке, словно это был пистолет, и последний выстрел гулко расколол тишину лесной долины. Под ногами Польшова громко похрустывал пересоший валежник. Запах алкоголя всегда был несносен ему, но Польшов все же дождался, когда бидон с бурдою отработал наружу весь спирт. Затем, сорвав крышку с бидона, он как следует промыл его в ближайшем ручье.

Темнело. Где-то близко прокричала сова.

Взвалив на себя бидон, в котором плескалась самогонка, Польшов долго пробирался через кочкарник, преодолевая болото, пока не выбрался на опушку леса, откуда уже виднелись желтые огни деревенских оков. На рельсах «дековильки», среди разбросанных дровяных плашек, стояла вагонетка-дрезина с ручным управлением. Польшов укрепил на дне вагонетки бидон с самогонкой, замотал оружие в тряпье. А сверху набросал дров и как следует разогнал дрезину, чтобы она набрала скорость, потом вспрыгнул в нее на ходу и взялся за рычаг, работая изо всех сил. Рельсы пошли под уклон, дрезина мчалась стремительно. Мимо неслись штабеля дров, мелькали кусты и коряги пней, хибары сторожей и огородников. Наконец, в вечерних сумерках сверкнули огни Александровска, и Польшов нажал тормоз...

Условный стук разбудил трактирщика Недомясова.

— Ты? — спросил он, глядяваясь в черное окно.

— Открывай... да помоги. Тяжело.

Вдвоем они втащили бидон с самогонкой.

— Ох, попутаеть ты меня, — перепугался Недомясов.

— Заткнись! У нас в России, слава богу, все очень дешево, только деньги у нас дорогие... Клади пятьсот!

— Грабитель ты мой, — завздыхал Недомясов.

— Давай, кулацкая харя. И не притворяйся бедненьким. Ты с этого бидона четыре раза по пятьсот сдернешь. Ну? Живо.

Пахом Недомясов отсчитал ему деньги.

— Лучше б я с тобой и не связывался. Тоже не дурак, понимаю, что тут первач такой пошел — пополам с кровью.

— Молчи! Да будь сам умнее. Этот самогон попридержи в подвале, пока не утихнет. Деньгу зашибить всегда успеешь.

Полынов неторопливо пересчитал деньги:

— Все правильно! Но с тебя еще стакан молока...

## 4. Берегите жизнь человека

Пробуждение было ужасным. За окном чуть светало, а над Оболмасовым возвышался с громадным ножом в руке каторжанин Степан, недавно нанятый в услужение по личной рекомендации господина Слизова. И не было на груди «кирасира» шестого тома «Великой реформы», чтобы загородиться спереди, как не было и романа Шеллера-Михайлова, чтобы укрыться от ножа сзади.

— Побойся бога! — тонко проверещал Оболмасов.

— А чего мне его бояться? — сурово отвечал старый душегуб, придвигаясь к изголовью молодого человека.

Жорж забился в угол постели, тянул на себя подушки:

— Ты что задумал, окаянный? Ведь я жить хочу!

— Вестимо дело! Кто ж из нас жить не хочет!

— Пожалей меня, Степанушка, брось ножик.

— Эва, чего захотели! — отвечал Степан, испытав остроту лезвия на своем ногте. — Без ножа в нашем деле рази можно? Вот и решил спросить вашу милость: как резать-то мне?

— Степаша, миленький, не надо резать!

— Вот те новость! — удивился Степан. — Да как же не резать, ежели на сковородке все не уместится? Вот и пришел спросить. Коли желательна вам рыбки жареной, тады...

Оболмасов с облегчением отбросил подушки:

— Фу-ты, нечистая сила! Нельзя же так людей пугать. Чего ты подкрался с ножом на цыпочках, будто злодей?

— Да не злодей я. Насчет рыбки зашел справиться.

— Иди ты к черту! Делай как знаешь...

Утренний сон, самый сладостный, был прерван; приходилось начинать деловой день. Впрочем, никто не принуждал его добывать хлеб в поте лица своего, а ранний визит Такаси Кумэды сулил приятное получение очередного жалованья. Оболмасов накинул шелковый халат, подаренный ему Кабаяси, с показным равнодушием он принял конверт с деньгами.

— Я так издергал нервы среди этих мерзавцев и негодяев, что теперь нуждаюсь в обществе вежливых людей. Надеюсь, господин консул помнит о моем желании отдохнуть в Нагасаки?

Кумэда ответил, что отдых на даче в Нагасаки ему обеспечен, но предстоит провести еще одну экспедицию на Сахалине.

— Желательно начать ее от истоков реки Поронай, которая впадает в залив Терпения... Вы готовы ли в путь?

Оболмасов разложил на столе карту Сахалина:

— Странно! Вы опять отвлекаете меня от главной цели. Не лучше ли искать нефть там, где ее залежи уже доказаны прежними экспедициями? Для этого совсем необязательно страдать от комаров в кошмарной долине Пороная. Впрочем, — торопливо добавил геолог, заметив в лице Кумэды неодобольство, — я, конечно, не настаиваю на своем маршруте, но...

— Но, — подхватил Кумэда, — экспедиция должна иметь чисто научное значение. На этот раз с вами будет наш ботаник, который сравнит достоинства сахалинского бамбука с японским. От берегов залива Терпения советуем спуститься далее к югу Сахалина, закончив маршрут в заливе Анива. А в Корсаковске вы погостите в доме нашего консула, после чего отплывете в Нагасаки.

Жорж Оболмасов неожиданно призадумался:

— Все это очень хорошо, но позвольте спросить вас: насколько справедливы слухи о войне с вами?

— С нами? — удивился Кумэда смеясь. — Но ваш министр Куропаткин оказался смелее, и в Японии, если верить газетам, он каждое утро сидит на берегу с удочкой. О какой же войне может идти речь? Правда, — согласился Кумэда, — дипломаты в Токио нервничают, но только потому, что излишне взволнованы политики Петербурга. Такова уж их профессия... Подумайте сами: если бы нам угрожала война с Россией, разве стали бы мы приглашать в гости Куропаткина? Разве стали бы показывать ему свои корабли и дивизии, не скрывая от высокого гостя всех недостатков в нашем вооружении? Да ваш Куропаткин и сам видит, что Япония слишком дорожит дружбою своего великого соседа... Пересчитайте деньги! — этой деловой фразой Такаси Кумэда резко закончил свой пышный монолог о миролюбии самураев.

— Что вы? — ответил Оболмасов. — Я ведь вам верю...

Он пересчитал деньги, когда Кумэда удалился, после чего прошелся по комнате, весело пританцовывая:

— Шик-блеск, тра-ля-ля... тра-ля-ля!

---

Фенечка вошла в кабинет Ляпишева, с нарочитым старанием начиная сметать пыль даже там, где ее никогда не было.

— Небось слышали? — последовал поток свежайшей информации. — Кабаяси опять из Корсаковска приехал, наверное, в этот раз откроют японский магазин для наших дурочек.

— Не мешай, — поморщился Ляпишев, продолжая писать.

— А я и не мешаю, только разговариваю. Полицмейстер Маслов с утра из города выехал... Говорят, в Мокрушем распадке сразу четыре трупешника обнаружили. С ними и баба какая-то была.

— Ты разве не видишь, что я занят?

Фенечка недовольно взмахнула тряпкой.

— Новость! Можно подумать, что я без дела сижу...

Памятуя о советах министра Куропаткина, губернатор все последние дни трудился над планами обороны Сахалина, согласовывая их с мнением приамурского генерал-губернатора Линевиича, который квартировал в Хабаровске. Наверное, только теперь Михаил Николаевич в полной мере осознал, что его, генерал-лейтенанта юстиции, могут с почтением выслушивать следователи, прокуроры и тюремщики, но среди офицеров гарнизона он воинского авторитета не имеет.

— В этих военных вопросах не с кем даже посоветоваться, — жаловался он Бунге. — О войне еще мыслят офицеры от поручика до штабс-капитана, а те, что достигли чина полковника, считают, что главное в их жизни сделано, скоро, глядишь, и на пенсию, так пусть за них думают генералы... Но какой же я генерал? Помилуйте. Самому-то смешно, как подумаю...

Телеграфный кабель от Сахалина стелился по дну моря, он тянулся через таежные дебри до Николаевска и Хабаровска, откуда все тревоги Дальнего Востока вызванивали в проводах небывалое напряжение, о котором еще не подозревала Россия, по-прежнему белившая в избах печи, качавшая в колыбелях младенцев, возносившая свадебные венцы над прическами стыдливых невест, громылавшая броней крейсеров и дверями тюремных казематов. Но здесь, в гиблой сахалинской юдоли, чадившей дымом лесных пожаров, иногда было очень трудно распознать гибкие маневры дипломатов Петербурга; губернатору казались насущнее, роднее и ближе лишь его местнические интересы.

— Ну что там стряслось? — спросил Ляпишев полицмейстера Маслова, когда тот появился в его кабинете.

Маслов доложил, что трое иванов, убитых в Мокрушем распадке, были поражены пулями винтовочного калибра именно в тот момент, когда варили самогон. Их убийца, очевидно, человек небывало хладнокровный, даже не стрелял, пока не заметил, что из аппарата стал вытекать «первач»:

— Тут он и уложил всех трех, нисколько не утруждая самого себя процессом изготовления этого смердящего пойла. Все убиты, кажется, из той самой винтовки, что в прошлую осень была похищена неизвестным при нападении на конвоира.

— Час от часу не легче! Имена убитых выяснили?

— Судебный следователь Подорога уже произвел опознание. Это оказались известные рецидивисты с хутора Пришибаловка, родства

своего, как водится, не помнящие, но по суду они проходили под кличками Иван Балда, Тимоха Раздрай, а третий остался не опознан... Стоит ли жалеть об этой нечисти?

— Но ведь с ними была и женщина?

— Ее опознали сразу: это марафетная проститутка Евдокия Брыкина, осужденная за давний хипес, которую прямо с трапа «Ярославля» подобрал горный инженер Оболмасов, она обворовала его с ног до головы, после чего ее передали в сожительницы к ссыльнопоселенцу Корнею Землякову.

— Это дело следует раскрутить, — велел Ляпишев. — Ибо в преступлении замешана винтовка нашего конвоира.

— Не волнуйтесь, — утешил полицеймейстер. — Следователь Подорога уже выехал, чтобы арестовать убийцу.

— И на кого же пало подозрение?

— Да на того же поселенца Корнея Землякова... Ясно, что тут ревность разыграла — из-за Дуньки Брыкиной он уложил всех наповал да еще бидон с самогонкой прихватил!

Маслов, усталый с дороги, проследовал в канцелярию, где набулькал из графина стакан воды и жадно выпил до дна. При его появлении никак не осмелился сидеть писарь Полынов (бывший семинарист Сперанский), который встал перед Масловым и угодливо-подобострастно спросил его:

— А вдруг этот Земляков не сознается?

Маслов крякнул, наливая себе второй стакан воды.

— Ну, это фантазия! — отвечал он. — Мы тоже всяких философий начитались, так все знаем. Еще великий Спиноза в один голос с Вольтером утверждали, что в этом поганом мире именно битие определяет сознание... Вот станут вашего Землякова бить, так тут любой Добрыня Никитич сознается!

Писарь в ответ льстиво захихикал:

— Совершенно справедливо изволили заметить...

Кажется, этот негодяй уже позабыл, как ночевал под нарами, даже фамилию свою потерял, крещенный заново в каторжной купели. А теперь писарь приоделся эдаким франтом, нагулял жирок с начальственной кухни, лицо лоснилось от сытости. Кому и каторга, а кому — шик-блеск, тра-ля-ля! Сиди за столом, пописывай, даже мухи не кусают. И, наверное, узнав о чужой беде, он думал: «Вот с другими-то как бывает, а мне хоть бы что... все трын-трава! Слава те, хосподи, ведь даже на каторге можно в люди выйти». Эх, если бы он только знал, что за ним уже наблюдают хищные глаза человека, еще недавно глядевшего на свои жертвы через прицельную прорезь винтовки!..

Корней Земляков ничего не понимал: вдруг приехали стражники на лошадях, скрутили руки ему и погнали в город, изба осталась не-

заперта, а скотина — некормлена... Теперь он лежал на полу, выплевывая из разбитого рта зубы, а над ним стоял следователь Подорога, размахивая массивной табуреткой:

— Сейчас как долбану по черепушке, и дело с концом... Ты будешь сознаваться? Отвечай, грязная скотина!

Среди арестантов «от сохи на время» не раз говорили о невинно замученных, но Корнею всегда казалось, что это может случиться с кем угодно, только не с ним.

Плача, он с трудом прошамкал разбитым ртом:

— За што терзаете?

— Сознавайся!

— Да в чем сознаваться-то мне?

— Не прикидывайся деревенским пентюхом. Ты сам знаешь, кто положил четырех в Мокрушем распадке за городом.

Корней достал из-под рубахи нательный крестик:

— Вот крест святой целую, именем Христовым клянусь, что не был я там... никого не губил. Любого на деревне спросите, всяк скажет, что Корней в кошку камня не бросит.

— Ты на хутор Пришибаловку ездил?

— Был... Да, не скрою... за курвой своей ездил.

— А где взял винтовку?

— Не видал я никакой винтовки. Помилуйте, где мне взять винтовку? Я и стрелять-то из нее не умею.

Подорога с каким-то неистовым упоением стал бить его ногами в живот, пока поселенец не затих в углу, судорожно размазывая ладонями кровь по чистым половицам кабинета.

— У меня и не такие орлы здесь бывали, — сказал Подорога, открывая нескоряемый шкаф; он извлек из его железных недр графин с коньяком и отпил из него прямо через горлышко. — Все равно распоешься, как петушок на рассвете, — сказал следователь, закусывая ломтиком кеты. — И не рассчитывай, что амнистия выпадет. Я тебя засуну в петлю раньше, чем ея императорское величество соизволит родить наследника престолу...

Корней Земляков сел на полу, качаясь:

— Что вы со мною делаете... люди! Я ведь не могу больше, моченьки моей не стало. На что родила меня маменька?

— А вот сейчас выясним, — сказал Подорога, освеженный коньяком, и, продолжая жевать кету, он схватил Корнея за волосы, трижды ударив головой о стену. — Говори, говори, говори...

Корней от этих ударов едва пришел в себя:

— Так убейте сразу, зачем же так мучить? Не виноват я... не убивал никого... самогону вашего и в рот не брал...

К вечеру Корней Земляков изнемог. Он сдался:

— Пишите что хотите. Мне все равно!

Подорога живо присел к столу ради писания протокола:

— Итак, путем бандитского нападения на конвоира ты его разоружил, присвоив себе казенную винтовку...

— Присвоил, бог с вами, — ответил Корней.

— И убил людей из ревности к своей бабе?

— Да, взревновал... проклятую!

— И самогонки выпить захотелось?

— Ну, выпил... все едино пропадать!

— Грамотный?

— Учили. В церковноприходской школе.

— Тогда распишись вот тут, и отпущу на покаяние...

Корней Земляков расписался внизу страницы:

— А что теперь будет-то?

Подорога громко щелкнул застежками портфеля:

— Повесим! И не надейся, что защищать тебя сам Плевако приедет, кому ты нужен?.. Эй! — окликнул он конвоира. — Тащи в «сушилку» его, пусть немного подсохнет.

Корнея загнали в карцер. Следователь, помахивая портфелем, походкой человека, уверенного в том, что свято исполнил свой долг перед царем и отечеством, вернулся домой.

— Устал, как собака, — сказал он жене. — Писатели эти, трепачи поганые... Чехов да Дорошевич! Развели тут всякую жалость. Им, видите ли, каторжан стало жалко. А вот о нас они не подумали, когда гонорарий за свою трепотню получали. Это нас пожалеть надо! Это мы живем хуже каторжных.

— Не кричи, и без того голова раскалывается.

Следователь сразу превратился в заботливого мужа:

— Ах, душечка, надо бы доктора пригласить. Хочешь, я за ним пошлю... Почему ты совсем не думаешь о своем здоровье? Так нельзя. Жизнь человеку дается однажды, и ее надо беречь...

## 5. Погодные условия

Александровская метеостанция Сахалина регулярно давала сводки в Главную физическую обсерваторию страны в Петербург, она же обслуживала и китайскую обсерваторию Циха-вэй в окрестностях Шанхая.

Работу станции возглавлял Сидорацкий — желчный человек из старых народовольцев, но от политики давно отошедший в нейтральную зону циклонов и антициклонов. Полюнов — под фамилией своего «крестника» — взял на себя наблюдение за облачностью и влажностью воздуха, работая с психрометром Асмана и гигрометром



Сосюра. Сидорацкий заранее предупредил его, что классификация облаков требует знания латыни.

— Не волнуйтесь, — ответил Польшов. — Я не перепутаю цирро-стратус, перисто-слоистые облака, с альтокумулюс, облаками высококучевыми... В латыни я разбираюсь как аптекарь.

Метеостанцию однажды посетил Ляпишев, который, как бы подтверждая свою репутацию либерала, не погнушался протянуть свою руку «политическому» Сидорацкому:

— Порадуете ли нас хорошей погодой?

— Плохая для нас, она всегда будет хорошей для природы. Мне давно уже все безразлично на этом свете, я знаю, что на Земле бывал ледниковый период, а посему стоит ли ломать голову над улучшением человечества, если ледниковый период все равно повторится, а тогда выживут одни лишь микробы.

Михаил Николаевич ответил, что будущее планеты его мало волнует, зато, как юрист, он вынужден улучшать человеческую породу — посредством кандалов, тачек, карцеров и прочих воспитательных инструментов, изобретенных ради гуманных целей.

— Не я же это придумал! — обидчиво сказал губернатор. — Еще ваш любимый герой Робеспьер высказал блистательный афоризм: «Щадить людей — значит вредить народу...» А у вас, я вижу, новый сотрудник? — заметил он Польшова.

Польшов ответил четким кивком головы, резко вскинув подбородок в конце поклона, что очень понравилось губернатору.

— Вы, случайно, не были офицером?

— Нет. — После краткого раздумья Польшов добавил, что ему пришлось воевать: — На стороне буров в Африке, там сражалось немало русских, помогая бурам вколачивать первый громадный гвоздь в пышный гроб викторианского величия.

— О! Вы, наверное, отлично стреляете?

— Буры... да, — скромно отозвался Польшов.

Ляпишев справился о его образовании. В чужой скорлупе семинариста Сперанского было слишком неуютно, потому Польшов, кажется, решил вылезать из нее, придумывая себе новую биографию, в которой правда перемежалась с выдумкой:

— Я получил политехническое образование.

— Где, в Петербурге?

— Нет, в Брюсселе.

— А за что угодили в мои владения?

— Да так, нелепая история, — вроде бы смутился Польшов. — Конечно, не обошлось без рокового вмешательства женщины.

— Сочувствую вам, — сказал Ляпишев. — Весьма сочувствую...

Сидорацкий извинился, что коснется политики:

— Как бы я ни презирал это занятие для престарелых швейцаров, любящих от скуки читать газеты, все-таки мне любопытно знать: не грозит ли России война с японцами?

— Многое зависит от позиции англичан. Лондон — вот главный рычаг, толкающий самураев к войне. Впрочем, ваш научный коллега, наверно, не испытывает особых симпатий к англичанам.

— Да, ваше превосходительство, — отвечал Польшов. — Я до сих пор сожалею, что Наполеону не удалось высадить свою армию на берегах Альбиона! Этот парень с челкой, как у хулигана с питерской Лиговки, вправил бы мозги милордам, после чего, смею надеяться, они не смотрели бы на людей другой национальности, как чистоплюи глядят на поганую сороконожку.

Михаил Николаевич искренно расхохотался.

— Вы мне нравитесь, — сказал он.

И снова, как в первом случае, последовал четкий кивок головой, и человек, по суду лишенный чести, выпалил:

— Честь имею, ваше превосходительство!

Польшов вернулся домой. Анита ожидала его перед зеркалом, и голова у девочки кружилась от красоты ее новых нарядов. Но однажды, когда Польшов менял на себе рубашку, она вдруг заметила на его теле два звездообразных шрама.

— Что это? — испуганно спросила девушка.

— Это было в Монтре... пришлось отстреливаться.

— Бедный ты мой, — пожалела его Анита.

— Почему вдруг я стал бедным? — расхохотался Польшов. — Ведь никто еще не знает, какой я богатый... и какая богатая ты!

.....

Преступный мир жесток, даже слишком жесток, а смерть на Сахалине — явление чересчур частое. Но каторга боится смерти, ибо каждый хочет остаться живым, чтобы выбраться на материк — домой... Прекрасные конспираторы в условиях заключения, уголовные преступники, покинув тюрьму, сразу теряют чувство контроля над собой и потому недолго держатся на свободе, скоро возвращаясь на свои нары, снова садясь на «Прасковью Федоровну», извергающую зловоние в углу тюремной камеры.

Иное дело — люди, страдающие за политические убеждения, смысл жизни которых очень далек от карт, выпивок и женщин. Старые политкаторжане, дожившие до революции 1917 года, пришли к выводу, что их выживаемость в условиях надзора как в тюрьме, так и на воле была намного выше, чем в уголовном мире, благодаря особой бдительности и жесткой самодисциплине.

Польшов смолоду обладал умом, склонным к анализу, умел заранее предугадывать события, ему, уже прошедшему суровую школу

подполья, оставалось теперь четко суммировать накопленные факты. Обостренная наблюдательность, усиленная практическим опытом бурной жизни, заставила его разобраться в случайностях, на которые никто даже не обратил внимания.

Русская контрразведка пребывала тогда в первобытнейшем состоянии, почти беспомощная, и Полынов не собирался выполнять работу за других. Но, уже подозревая недоброе, он сначала провел осторожное наблюдение за Оболмасовым, выявив его связи с японской колонией Александровска. Новенькие ассигнации достоинством в двадцать пять рублей, явно фальшивые, могли попасть в кошелек горного инженера только одним путем — через Кабаяси! В научность экспедиций Оболмасова не верилось: скорее всего самураям просто понадобились хорошие карты Сахалина.

Оболмасов с японцами ушел в долину реки Поронай и надолго выпал из наблюдения. Но тут — вот небывалая неожиданность! — в сферу тайного наблюдения угодил сам писарь губернской канцелярии Сперанский, носивший теперь его фамилию... Для Полынова это был удар! Ошеломляющий удар. Если Оболмасова можно вывести на чистую воду, придумав что-либо для удаления его с Сахалина на материк, то... «Что можно сделать с этой гнидой? А гнида опасная, — рассуждал сам с собой Полынов. — Но, разоблачая этого писаришку, я невольно разоблачу сам себя, и тогда... Тогда — прощай воля, прощай и ты, моя Анита!»

Задача была не из легких. Полынов вспомнил, как разделался с Иваном Кутерьмой, даже его предсмертные слова о «карамельке». И пришел к выводу, что от Сперанского можно избавиться, как от гниды, самым простонародным способом — раздавить его!

...Они встретились в трактире Недомясова, и Полынов был подчеркнуто вежлив, называя писаря на «вы»:

— Я очень рад за вас! Видите, как удачно сложились ваши «крестины», — начал беседу Полынов, нынешний Сперанский, обращаясь к Полынову, бывшему Сперанскому. — Наверное, мой дружок, когда вы с попадьей совместно душили несчастного священника, чтобы потом усладиться любовным «интимесом», вы, наверное, тогда и не рассчитывали, что вас так высоко вознесет каторжная судьба. Я не завистлив, — сказал Полынов, — и я не заставлю вас отрывивать все, что было съедено вами с кухни губернатора.

Писарь ощутил угрозу именно в вежливости своего «крестного»; невольно заерзав на стуле, он уже поглядывал на дверь. Но тут же перехватил упорный взгляд собеседника и присмирел, как воробей перед ястребом. Полынов — отличный психолог! — сразу распознал этот момент ослабления воли своего противника.

— Честно говоря, — продолжал Полынов, — мне перестало нравиться в вас только одно... Только одно! Вы, кажется, решили продол-

жать мою биографию, но обогатили ее такими фактами, к которым я не хотел бы иметь никакого отношения.

При этом он оглядел писаря своими медовыми, почти пленительными глазами, окончательно парализуя его слабую волю.

— Что-то я не понимаю вас, — пробормотал писарь.

— Сейчас поймете... Прошу не забывать, что я дал вам свою чудесную фамилию, пусть даже взятую мною с потолка, но все-таки мою, совсем не для того, чтобы вы таскали ее, как швабру, по грязным лужам и помойным ямам... Почему японцы платят вам так мало? — в упор поставил вопрос Польшов.

— Разве мало? — вырвалось у писаря.

Польшов тяжело вздохнул. Потом запустил руку во внутренний карман пиджака писаря, извлекая оттуда бумажник, в котором, как и следовало ожидать, нежным сном покоилась фальшивая ассигнация. Польшов громко захлопнул бумажник, как прочитанную книгу, которая не доставила ему никакого удовольствия.

— Вы не только предатель родины, — резко объявил он. — Я сейчас могу навесить на вас еще одну уголовную статью, жестоко карающую распространение... вот таких «блинов»!

— Христос с вами, — побледнел Сперанский, — да я побожиться готов, что ни ухом ни рылом... Что вы? Какие «блины»?

Польшов шелкнул пальцами, и Пахом Недомясов, покорно семеня ногами в шлепанцах, поставил перед ним стакан с молоком. Величавым жестом Польшов велел ему удалиться.

— Это еще не все, — рассуждал Польшов. — Когда вы забираете из типографии свежие оттиски секретных бумаг касательно обороны Сахалина, вы почему-то не сразу идете с ними в канцелярию. Прежде вы навещаете японское фотоателье. Не думаю, чтобы вы были таким любителем сниматься на память об этих счастливых днях. По моим наблюдениям, — развивал суть обвинений Польшов, — вы задерживаетесь в ателье минут десять-двадцать. У меня вопрос: что вы там делаете это время?

— Ничего не делаю.

— Правильно! — кивнул Польшов. — Вы ничего не делаете. Вы просто сидите и ждете, пока японцы снимают фотоаппаратом копии с тех материалов, что взяты вами из типографии...

Глаза писаря блуждали где-то понизу:

— Чего вы от меня хотите? Чтобы я делился с вами выручкой? Так я поделюсь... хоть сейчас! Чего вам еще от меня надо?

Этими подлыми словами изменник подписал себе приговор.

— Мне от вас требуется сушая ерунда, — сказал Польшов. — Вам предстоит повеситься, и чем скорее вы это сделаете, тем это будет

лучше для вас. В противном же случае, если вы станете цепляться за свою поганую жизнь, я сделаю так, что любая смерть, самая страшная, покажется вам... карамелькой!

Полынов разложил лист бумаги, перешел на «ты»:

— Слушай, мерзопакостная гнида! Прежде чем ты станешь давиться, я заставлю тебя сочинить предсмертную записку. И в ней ты напишешь не то, что тебе хотелось бы написать своей попадье, а лишь то, что я тебе продиктую...

Что-то холодное и тупое вдруг уперлось в живот писаря, и он увидел браунинг, целивший в него из кулака Полынова:

— Хватит лирики! Давай, пиши... красивым почерком.

.....

Генерал-майор Кушелев, губернский прокурор Сахалина, даже не разрешил сесть судебному следователю Подороге.

— Скажите, вы умеете хоть немного мыслить логично? Надо же совсем не обладать разумом, чтобы напортачить в таком деле! — сердито выговаривал генерал-майор. — Взяли невинного человека, изувечили его и прямым ходом тащите на виселицу.

Речь шла о Корнее Землякове.

— Простите, но его преступление доказано. Обвиняемый сам под-писал протокол, признав убийство, и...

Прокурор Сахалина был человеком честным:

— Так бейте меня с утра до ночи, я вам за черта лысого распишусь с удовольствием, — обозлился он.

— Убийство-то из ревности, — оправдывался Подорога.

— Да бросьте! Не станет жалкий «аграрник» убивать грязную потаскуху с ее хахалями, чтобы получить в приговоре петлю на шею. Такие безответные мужики тянут лямку каторги, как волы, и всего на свете боятся. Они могут от голода стащить кусок хлеба, но чтобы марать себя чужой кровью... нет!

Подорога переложил портфель из одной руки в другую:

— Самогон-то в цене! Вот и польстился.

— Чушь собачья, — отвечал ему Кушелев. — Корней Земляков в пьянстве сельчанами никогда не был замечен, а на шкалик ему всегда хватило бы... Опять же вопрос к вам! Откуда, черт побери, возникла в деле винтовка боевого калибра?

— Достал.

— Где мог достать ее Корней Земляков?

— Ясно. Совершил нападение на конвоира.

— А вы сами видели этого конвоира?

— Нет, — сознался Подорога.

— Так полюбуйте. У него морда — как этот стол, а ручищи вроде бревен. Он бы этого Корнея в землю втоптал... Не-ет, — решил

Кушелев, — во всем этом деле чувствуется рука опытного злодея. Бесстрашного и сильного! Он уложил трех бандитов возле костра, а Евдокия Брыкина найдена за сотню шагов от ручья. Вывод: преступник владел оружием с таким мастерством, каким не обладают даже наши конвойные офицеры.

— Портфель еще раз из одной руки переместился в другую.

— Так что теперь? Выпускать из «сушилки»?

Кушелев, не ответив, снял трубку телефона:

— Соедините с проводом губернатора... Михаил Николаевич? Добрый день, это я, генерал Кушелев... С этим убийством в Мокрущем распадке ничего не выяснилось. Ни-че-го! Лучше свалить дело в архив и больше не мучиться... Подорога? Так вот он тут, стоит передо мною... перестарался. А теперь сам не знает, как поумнее объяснить свою глупость. Ага, и все передние зубы «аграрнику» высвистнул. А винтовка, похищенная у конвоира, наверное, еще где-то выстрелит... Хорошо, Михаил Николаевич! Я понял. Ладно, ладно. Вечерком увидимся... — Кушелев повесил трубку на рычаг аппарата: — Ну что вы стоите как пень?

— Да вот... жду ваших распоряжений.

— Выпускайте! Пусть едет к себе в деревню. Земляков очень старательный крестьянин. Побольше бы нам таких, как он...

Подорога сам же открыл двери одиночки-карцера:

— Вылезай, мать твою так...

Корней Земляков поначалу даже ослеп от яркого света.

— Уже и вешать меня, да? — затрясло Корнея.

— Иди, иди. Ошибочка с твоей стороны вышла. Незачем было тебе, дураку, протоколы подписывать. Тоже мне, герой нашелся! Конечно, других бы, а не тебя вешать надо, да ведь их, сволочей, разве поймашь? Так изловчились, что даже следов не оставят. Давай, топай до деревни своей... будь здоров.

---

Утром Фенечка Икатова вошла в канцелярию и не сразу поняла, что случилось. Прямо над столом, нависая над ним и почти касаясь ногами чернильницы, висел в петле писарь губернского правления. А под ним, посреди стола, лежала предсмертная записка, обращенная лично к губернатору Ляпишеву:

**ВАШЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО!**

В смерти моей прошу никого не винить, а кончаю с собой из-за несчастной любви к ВАШЕЙ ПРЕКРАСНОЙ ФЕНЕЧКЕ.

— Кара-а-у-ул! — завопила Фенечка, быстро убегая.

## 6. Тук, тук, тук, только тук...

— Мы вот у себя дома, на Сахалине, не научились рыбу ловить и засаливать, а самураи всю нашу рыбку побрали у нас и даже не едят ее, а переводят на удобрение полей. Теперь, вы слышали, японский рыбопромышленник Инокава покотил в Астрахань, чтобы поучиться у наших, какие чудеса можно делать из рыбы... Между тем переводить драгоценную лососину на удобрение полей — это все равно что в порошок растолочь бриллиант, дабы получить жалкую щепотку алмазной пудры!

Так уже не раз говорил прокурор Кушелев, но разговорами все и кончалось. Рыба самых ценных пород валом валила у берегов Сахалина, запруживая низовья рек, отчего даже поднимался уровень воды в речных верховьях. Рыба шла нереститься столь плотными косяками, что сама задыхалась в невыносимой тесноте и погибала миллионами тонн. Но сахалинцы, пребывая в слепоте казенного равнодушия, предпочитали не ловить, а покупать рыбу, закрывая глаза на то, как быстро обогатятся на русской же лососине императорская Япония...

Однако летом 1903 года военные власти Сахалина были явно встревожены. Невзирая на упорные слухи о близости войны, самураи двинули на Сахалин целую армаду рыболовецких шхун. Сезон нереста был в самом разгаре, когда в заливах Анива и Терпения японцы высадили громадный десант своих рыбаков — дисциплинированных и здоровых, как солдаты регулярной армии.

— Это напоминает тихую оккупацию, — говорил Ляпишев. — Если все население Сахалина составит сорок шесть тысяч человек, то японцев на Сахалине уже сорок тысяч. Не хватает им только оружия! Но самураи могут перебить нас палками, а нам с нашими кандалами и розгами от этих гостей не отмахаться.

— Так сделайте что-нибудь, — подсказал Бунге.

— А что я могу сделать? У меня в гарнизоне нет таких сил, чтобы спихнуть грабителей в море...

Ляпишев все-таки позвонил по телефону Кабаяси:

— Господин консул, я крайне недоволен тем, что ваши рыбаки перегородили неводами устья наших рек, черпая рыбу ковшами, а нашей бедной рыбке уже не пройти в верховья для нереста. Не забывайте, что внутри Сахалина немало туземцев, айнов и гиляков, которые именно в верховьях рек ловят рыбу, делая запасы юколы на зиму. Если рыба по вашей вине не пройдет вверх по рекам, ответственность за голод среди туземцев я возлагаю лично на вас, лично на японское правительство...

«Вот и все, на что я способен как военный губернатор», — подумал Ляпишев, прекращая разговор с японским консулом.

Японцы — это известно всем — очень любят природу, а рыба на их столе — главный продукт питания. Они свято оберегали рыбные богатства возле своих берегов, японское законодательство строго карало рыбаков и промышленников за любые нарушения лова. Каждая японская семья считала нужным содержать в домашнем прудке зеркального карпа, к которому взрослые и детишки относились с таким же вниманием, как в русских семьях относятся к любимой кошке или собачке. Но это похвальное усердие распространялось лишь на воды японской метрополии. Попав в чужие воды, самураи превращались в ненасытных хищников, калеча и убивая все живущее в воде. Им не нужна была даже сахалинская рыба, чтобы ею питаться. Они превращали ее в тук, который вывозился в Японию для удобрения рисовых полей, как у нас в России весной вывозят на поля навоз!

Японцы, попавшие на Сахалин, не трогали даже крабов, они оставляли в покое креветок и осьминогов. Им нужен был тук, тук, тук, только тук... Еще издали слышался странный шелест, напоминавший шум дождя в лиственном саду. Это шла к Сахалину рыба, и кета, раздуваясь от икры, была толще полена. После штормов берега обрастали баррикадами выброшенной на берег краснорыбицы, которая лежала навалом в рост человека и погибала здесь же, отравляя окрестности миазмами гниения...

Самая деликатесная рыба, самая питательная сельдь, заодно с икрой, попадала в гигантские котлы, под которыми японцы разводили жаркие костры и варили добычу до тех пор, пока она не превращалась в противное вонючее месиво. Потом эту рыбную кашу отжимали от сока, спрессованную, ее просушивали на рогожах, упаковывали в мешки, ставили клейма фирм — и в Японию поступал тук! Многие миллионы особей краснорыбицы губились самым беспощадным, самым варварским способом, чтобы удобрить рисовые поля... Вот точные данные статистики того времени: русские получали лишь одну сотую часть рыбного улова, а девять десятых рыбного урожая японцы перемалывали в тук...

Вечером Ляпишев играл в карты с Кушелевым.

— Пока мы тут почесываемся, — сказал прокурор, — в Японии уже завели институт «Суисон Кошучио», один из факультетов которого готовит мастеров по отлову рыбы в океанских глубинах. Пока они снимают с нашего моря пенки, а что будет, когда их лапа станет выгребать сокровища из темной бездны?

— У меня пики, — ответил Ляпишев. — Я знаю, что будет. Всю нашу кету и семгу японцы перевалят в тук, а через полсотни лет в морях Дальнего Востока не останется даже икришки.

— Я пас! — сказал прокурор. — Страшно вас слушать, Михаил Николаевич: чем же наши внуки станут тогда закусывать?..



Штабс-капитан Быков, вернувшись со службы домой, расстегнул воротник мундира, теснивший шею, велел денщику ставить самовар, и тут с улицы постучали в дверь его мазанки.

— Пусти, Антон, — велел Быков денщику.

Явился поселенец, заранее снявший шапку, и Быков узнал в нем человека, которому однажды учинил на улице выговор.

— А теперь что привело вас ко мне?

Поселенец сказал, что у него возникли некоторые сомнения, которые, пожалуй, лучше всего разрешить в общении с человеком военного звания:

— С вами! Вы запомнились мне своим добрым отношением, когда я не успел за двадцать шагов до вас скинуть шапку.

— Садитесь. Я вас слушаю... Антон, тащи самовар.

За чашкой чаю Польшов спросил штабс-капитана:

— Вы знакомы с горным инженером Оболмасовым?

— Отчасти. Не раз встречались в клубе. Но он более близок к компании наших пьяниц и, кажется, на глазах у всех быстро спивается... А почему вы меня о нем спрашиваете?

— Если бы геолог был связан только с пьяницами, я бы не имел повода навещать вас. Мне желательно высказать перед вами свои подозрения об этом молодом человеке, который намусорил тут «блинами»... простите, деньгами! Вряд ли Оболмасов агент японской разведки, для этого дела у самураев есть свои люди. Но в том, что геолог закуплен ими, как подставное лицо для сокрытия японских замыслов, в этом я не сомневаюсь.

— Возможно. Но... где же факты?

Польшов изложил перед Быковым свои подозрения:

— Ясно, что японцы под видом поисков нефти ведут геодезические промеры Сахалина, а этот олух Оболмасов, пьющий больше чем надо, служит для них надежным прикрытием. Вот у вас, офицера сахалинского гарнизона, есть ли карта с измерениями сахалинской местности? — спросил Польшов.

Быков показал карту острова, висевшую над постелью, где Сахалин изгибался в форме большой стерляди:

— Вот висит, а другой нету. А что внутри острова, как там пройти, как проехать, в гарнизоне мало кто знает.

— Зато знают японцы, которые в прошлом году бродили в лесах Тымовского округа, а сейчас они взяли Оболмасова и решили спуститься на лодках вдоль реки Поронай...

Валерий Павлович долго думал. Потом сказал:

— Давайте честно: кто вы такой? Вы мало похожи на уголовного, но я не встречал вас и в обществе политических.

— Это на Рельсовой? — криво усмехнулся Польшов.

— Да, на Рельсовой, в доме Волоховых.

— Так я бывал там. Но к политическим себя не причисляю. Считайте, что я разочаровался в революции.

— А я все больше убеждаюсь в необходимости революции, — ответил Быков. — Как же вы объясните свое разочарование?

— Мне приходилось подолгу жить за границей. Там я наблюдал за работой всяческих партий. Их лидеры — карьеристы и торгаши, которые, чтобы пролезть в парламент или рейхстаг, выкручиваются, словно змеи, щедро суля избирателям золотые горы и реки, полные вина... За пышной фразой о свободе и демократии они скрывают свой личный эгоизм и, добившись власти, забывают обо всем, что они раньше наболтали! В этом случае мне гораздо понятнее наши Плеве и Победоносцевы, которые хороши уже тем, что не притворяются друзьями народа. Слишком велик разброд и среди русских революционеров. Если же каждая из религий считает самой правильной только себя, значит, все они ошибаются!

Быков решил не спорить с этим отщепенцем:

— За что же вы попали на Сахалин?

Но Плынов не дал ему точного ответа:

— Стоит ли объяснять причины, по которым люди НЕ могут НЕ попасть в тюрьму, и все-таки они туда попадают...

Разговор закончился. Быков обещал:

— Я вышлю на Поронай команду добровольцев. Пусть возьмут лодки у гиляков и хотя бы испугают эту японскую экспедицию, возглавляемую Оболмасовым. С моей стороны это будет актом своевольтства, которое может покарать полковник Тулупьев, а у меня с начальством и без того скверные отношения...

---

Еще Чехов заметил, что на Сахалине большинство селений названы в честь генералов, навещавших остров. Чего там ждать, пока соберутся назвать твоим именем улицу в Москве или площадь в Петербурге, если сахалинское начальство вмиг это устроит. Высокий гость, захавший на Сахалин в служебную командировку, только намекнет, что желал бы увековечиться, как его скромное желание тут же претворялось в жизнь, — оттого-то на Сахалине дважды, а иногда и трижды поминалось на географических картах имя какого-либо заезжего «гастролера»...

Оболмасов смотрел, как скрылась за поворотом Пороная гиляцкая лодка, в которой сидела вся семья и было свалено все имущество семьи, а по берегу бежали собаки, впряженные в ременные гужи, и тянули лодку против течения, как в России бурлаки тянут баржу с товаром. Меж деревьев прыгали белки, на путников посматривали сахалинские соболя, шкурки которых охотно покупали китайцы.

Внутри острова — иная жизнь, еще дикая, почти первозданная. Долина Пороная раскрывала свои красоты, а достижения цивилизации были наглядно представлены самогонными аппаратами в каждом туземном доме, и в аппаратах булькало варево из японского риса. Именно из японского, отчего казалось, что самураи заинтересованы в спаивании аборигенов не меньше сахалинских чиновников. Оболмасов наблюдал, как гиляцкие дети, пососав грудь матерей, раскуривали трубки с табаком. Не раз он видел в стойбищах айнов женщин, выкармливавших медвежат своим молоком, как в старой России крепостные бабы выкармливали породистых щенят для барской псарни. Если гиляков и ороحوнов самураи даже за людей не считали, то айнов они всячески закабалляли экономически, издавна прививая им вкус к японскому рису, и айны, завидев японцев, еще издали низко им кланялись, зато на Оболмасова они даже не обращали внимания.

— Кто эти волосатые люди? Откуда они взялись?

Кумэда, сидя в носу лодки, охотно пояснил:

— Айны — загадка ученых всего мира. Но у нас, в Японии, сохранилось древнее поверье, будто все айны произошли от связи собаки с японской принцессой, которую в этих самых краях море выбросило на берег после крушения корабля. Наверное, — досказал Кумэда, — потому-то все айны кланяются именно нам и высоко чтут священную особу нашего великого микадо.

— Простите, но язык айнов скорее напоминает итальянский, и уж никак не вяжется с вашим — японским! Сирароко, Анива или Поро-ан-Томари — чем не латынь? — спросил геолог.

— Это ничего не значит, — ответил Кумэда. — Со временем они забудут свой язык и будут говорить на японском.

Очень редко в глухомани Сахалина попадались «станки» (избушки), обжитые поселенцами из каторжан, о которых, очевидно, даже начальство давно забыло. Многие женились на гилячках, их уже не трогали поляны с голубыми ирисами, плевать им было на трели поющих птиц; заросшие волосами до плеч, они, завидев русского, тянули к нему с берега свои черные руки:

— Слышь, браток! Кинь хлебца... тока рис да рис!

Почти нигде не виделось запашки земли, и с чего жили тут люди — один бог знает. В звенящих и стонущих тучах комарья, преодолевая речные завалы, экспедиция продвигалась к югу, и вдруг японцы разом стали кричать, чем-то встревоженные. Их нагоняла по реке лодка с вооруженными людьми.

— Эй, что за люди? — окликнул их Оболмасов.

С реки донеслось ответное — вместе с выстрелом:

— Какие мы тебе люди? Мы солдаты.

Среди японцев, обычно сдержанных, началась паника. Оболмасов ничего не понимал в их перебранке, но с чужой лодки на корму японской вдруг перепрыгнул бравый фельдфебель.

— Кто такие? Чего вам тут понадобилось? А?

— Исследуем... научно, — решил объяснить Оболмасов.

— Я тебя, пучеглазика, самого исследую... тоже научно! — начал фельдфебель. — Ишь какие ученые выискались... Знаем мы такую науку: соболей да белок на спирт меняете?

Кумэда тянул к нему бумаги, подписанные консулом Кабаяси, но солдаты даже не глянули на эти документы:

— Чего суешь нам филькину грамоту?

— Вот иероглиф почтенного японского консула.

— Плевать мы хотели на всех консулов! Ты покажи нам воистину русскую бумагу, чтобы она была подписана по всем правилам самим губернатором Ляпишевым. — Убирайтесь отсюда! — кричал фельдфебель.

— Куда ж нам убраться? — спросил его Оболмасов.

— А катись, чтобы наукой тут и не пахло...

И все время, пока экспедиция не вошла в устье Пороная, японцы сидели притихшие, изредка перешептываясь о чем-то своем, потаенном. Близ залива Терпения чернолесье уже сменилось чахлым болотистым кустарником, показались крыши русского селения Тарайка, разбухшие от дождей и ненастий, словно грибы в отсырелом лесу. Просто уму непостижимо, как и почему ее не переименовали в какую-нибудь Ляпишевку, Бунговку или Куропаткинск, — Тарайка оставалась под собственным именем, чтобы и далее прозябать в своем убожестве. Вокруг жалких избенок — ни огорода, ни садика, только на задворках ветер с моря пригибал к земле вялую картофельную ботву. Но зато в Тарайке была своя телеграфная станция, и Такаси Кумэда сразу отправил в Корсаковск тревожную телеграмму на имя консула.

В заливе же Терпения Оболмасову показалось, что он заехал в совсем чужую, незнакомую страну. На целых триста верст вдоль побережья тянулись камышовые бараки, магазины и амбары, мастерские и сетесушилки, деловые конторы и бухгалтерии японских фирм, а возле причалов море неустанно раскачивало флотилии кораблей. Здесь всюду слышались песни японских рыбаков; гигантские котлы, подобно вулканам, извергали в облаках пара нестерпимое зловоние тука. А вечером все японцы парились в бочках с горячей водой, из бочек торчали их довольные лица.

Вот он, тук! Тук, тук, тук, только тук...

Казалось, Сахалин уже завоеван этими пришельцами.

## 7. Время отпусков

Удивительная была эта последняя мирная осень — теплая и сухая, в сентябре даже листья не пожелтели на Северном Сахалине, а горы Пилентского перевала по-прежнему дымились пожарами.

— На вашем месте, — сказал Кушелев, — я в этом году пренебрег бы отпуском. Время для Сахалина тревожное.

— Какой отпуск! — горячо возразил Ляпишев. — На этот раз я с материка не вернусь, подам в отставку. Хватит! Проведу собеседование с офицерами гарнизона и... уеду.

Ради совещания в Александровск заранее прибыли — кто морем, кто верхом, а кто на телегах — офицеры из Рыковского, из Аркова, с Онора, даже из дальнего Корсаковского. Зал офицерского собрания наполнился гулом голосов, скрипением кожаных портупей, брюзжанием пожилых обер-офицеров и тихими смешками юных поручиков. Быков был рад встретить своего давнего приятеля Юлиана Гротто-Слепиковского, служившего на юге острова в чине капитана.

— Интересно, что скажет сегодня Ляпишев?

— Да ничего не скажет, — ответил Быков. — Михаил Николаевич недурной человек, но не дай-то бог, если когда-нибудь ему придется командовать людьми... всех погубит!

— Неужели всех нас? — засмеялся Гротто-Слепиковский.

— И себя в первую очередь, — добавил Быков.

Громыхая длинными лавками, все встали, когда на просцениум собрания поднялся сам губернатор. Но тут же явился полковник Тулупьев, неся стул, который водрузил подле кресла Ляпишева, и расселся, оглядывая зал с видом триумфатора.

— Господа! — начал губернатор. — Во время визита министра Куропаткина мы вкратце обсудили вопрос касательно обороны острова. По совету Линевича, в стратегических талантах которого никто не сомневается, мною продуман вариант обороны наших главных административных центров — Александровска и Корсаковского. Однако, что мы имеем в наличии, господа?

Он сказал, что на севере Сахалина наберется тысяча сто шестьдесят человек, а для защиты Корсаковского округа едва триста тридцать человек.

— Вы сами понимаете, что с такими ничтожными резервами невозможно оградить всю территорию острова, даже если привлечь к обороне наличный состав тюремного ведомства. После такого печального пролога я рад открыть свободные прения...

Тулупьев мог бы и помолчать, но желание показать офицерам свою близость к губернатору было слишком велико.

— Мне кажется, — солидно прокашлявшись, сказал он, — план в основе безупречен, и мы, не сомневаясь в стратегических талантах Линевича, выразим нашему военному губернатору полное доверие

к его способностям не только превосходного администратора, но и... отличного тактика!

— Болтовня, — не выдержал Быков.

— Терпи, — тихо ответил Гротто-Слепиковский.

За первым полковником выступил второй — Болдырев, которому было обидно, что он остался сидеть на лавке, и по этой причине Болдырев решил побыть в роли лидера оппозиции.

— О каком отпоре врагу тут говорили? При наших четырех пушках, без единого пулемета... много ли мы навоюем? Сейчас надо требовать с материка вооружение и резервы, а уж потом можно рассуждать о планах... несомненно талантливых!

Тут пожелал выступить капитан Таиров, которого Быков недолюбливал за его пристрастие к банальному фразерству. На этот раз, вульгарно разбранив Японию и всех японцев, Таиров закончил свою речь официальным афоризмом:

— Пусть попробуют! Мы, наследники славы Суворова и Кутузова, не уступим врагу ни единой пяди своей земли.

— Дельно, капитан, дельно, — одобрил его Тулупьев.

Гротто-Слепиковский пытался удержать Быкова:

— Не лезь хоть ты в эту говорильню.

— Нет, я должен сказать! — Валерий Павлович встал и, подтянув шашку на поясе, заговорил о насущном: — По моему мнению, никакие планы, даже согласованные с министром, не могут превратить Сахалин в неприступный Карфаген. Оборона острова возле Александровска и Корсаковска заранее обречена на неудачу, ибо с моря мы не будем иметь никакой поддержки. Отнюдь я не утверждаю, что борьба с противником невозможна. Она возможна даже с малыми силами, но лишь партизанскими методами!

Послышался оскорбительный смех обер-офицеров:

— Быкову захотелось славы Дениса Давыдова! Но партизанщина давно сделалась дедовским анахронизмом...

Ляпишев велел не мешать Быкову говорить:

— Но прежде я сам желаю спросить вас: как же вы рассчитываете вести партизанскую борьбу, если войска гарнизона обязаны остаться частями регулярной армии, а населения не хватит, чтобы устроить самураям подобие двенадцатого года?

— Не хватит населения свободного, зато у нас достаточно заключенных. Ради отпора врагу следует вооружить арестантов и всех крестьян из ряда ссыльнопоселенцев.

Лавки закрипели под возмущенными офицерами.

— Да что он говорит? Дай этим мерзавцам оружие, так они из нас все кишки выпустят и разбегутся кто куда...

— Именно такой реакции, господа, я и ожидал, — сказал Быков. — Но если преступников, выразивших желание вступить в ополчение,

воодушевить амнистией, то многие из них охотно возьмут оружие... Да, конфликты с каторжанами возможны, — не отрицал этого Быков, — но они могут возникнуть в сведении личных счетов с тюремщиками. А мы, офицеры регулярной армии, составляя гарнизон Сахалина, защищаем не каторгу, а свое отечество. Неужели и каторжане не проникнутся этой мыслью?

После чего губернатор Ляпишев сказал Быкову:

— История не знает такого примера, чтобы узник, сидящий в тюрьме, с оружием в руках отстаивал честь своей тюрьмы от нападения. Ваша неожиданная для всех точка зрения на оборону Сахалина вносит в мои планы столь существенные поправки, что я буду вынужден доложить о них в Хабаровск и надеюсь, что из Хабаровска ваше оригинальное мнение будет доложено еще выше. А теперь, господа офицеры, я позволю себе откланяться, ибо на этих днях отбываю в заслуженный отпуск.

Повторялась прошлогодняя история: Ляпишев клятвенно заверял всех, что из отпуска не вернется, тюремно-бюрократическое общество Сахалина готовило ему памятные сувениры.

— Опять надует! — говорили они меж собой. — Где он еще найдет такую синекуру, как на Сахалине? Да и Фенечку разве оставишь? Это ведь штучка. Это петарда. Это почти картинка!

Ляпишеву поднесли приветственные адреса в бюварах, красиво оформленных в тюремных мастерских, и генерал-лейтенант юстиции даже прослезился. В клубе Александровска местными усилиями был поставлен «Ревизор» Гоголя, при этом Хлестакова талантливо изобразил вор-карманник, а роль городничего с блеском исполнил давню спятивший казнокрад, которого на время спектакля доставили в клуб из дома для умалишенных.

— Bravo! — восклицал Ляпишев, бурно аплодируя. — Дамы и господа, поверьте, что служба с вами навсегда останется самым светлым пятном в моей многолетней юридической практике...

В день отъезда Ляпишева все казенные лошади были в разгоне, публика провожала губернатора до пристани, где ему поднесли икону, а генерал-майор Кушелев испортил настроение словами:

— И все-таки вы поступаете крайне легкомысленно, покидая Сахалин, которому предстоят разные испытания. Но я, как и другие, думаю, что еще вернетесь... хотя бы к зиме.

— Никогда! — отвечал Ляпишев, поднимаясь по сходням на палубу парохода, и оттуда он послал Фенечке воздушный поцелуй.

.....  
Корней Земляков, выпущенный из «сушилки», недолго прозябал в стольном граде Александровске. По наивности он сначала навестил лазарет, надеясь, что последствия казенных побоев казна и залечит. Долго

стоял в очереди, дыша в затылок мрачному курду, баюкавшему свою гангренозную руку. «Рэзать надо... рэзать!» — иногда выкрикивал курд, сверкая громадными белками глаз. Большие жирные мухи, вылетая в коридор из палаты умирающих, с гудением бились в окна больницы, а потом, очумелые от контузии, ползали по подоконнику, где их с успехом раздавливал пальцем стражник с револьвером и шашкой.

— А тебе чего? — от скуки завел он беседу с Корнеем.

— Да вот, все отбили, и зубов не осталось.

— Покажи, — велел стражник и, заглянув в рот Корнею, пропустил его в амбулаторию без очереди. — Только зубов у нас не вставляют... для этого надо во Владивосток ехать!

Врач был огражден от больных решеткой, через эту решетку он выпытывал признаки болезни, через решетку же ощупывал больным печень и селезенку, велел дышать глубже или совсем не дышать, а потом возвращался к столу, над которым его осеяли портреты великих российских клиницистов Боткина и Захарьина.

— Без зубов жить можно, — утешал он Корнея. — А вот что касается внутренних органов, то... Небось ногами били?

— Всего истоптали. Ребро за ребро задевает.

— Ну, здесь тебе не курорт... Следующий!

Через догорающий лес Пиленгского перевала Корней кое-как дохромал до Рыковского, где переспал в ночлежке, а утречком пошел в свою деревню. Шел и думал: «Сколько было трудов, по солнышку вставал, позже всех ложился, да вот подвела меня сила нечистая — баба проклятушая!» В деревне его изба стояла с заколоченными окнами, в коровнике — пусто, не вкочуют куры на сеновале, а в кормушку для свиней кто-то высыпал битые стекла. Погоревал Корней, посидев на крыльчке, но в избу даже не зашел — зачем лишне беречь душу?

На завалинках, как всегда, калякали поселенцы.

— Мы, Корней, твоего не трогали, — сказали они. — Ныне завелись хулиганы. Это по-иностранному, а по-русски они — просто пакостники! Ежели что сожрать или пропить не могут, все изгадят, все изломают... А ты куда ж теперь?

— Мне бы уголок потише найти. Чтобы меня не трогали.

— Э, дурень! Таких уголков нонеча не осталось...

Но в Рыковском, куда он вернулся, ночлежка была переполнена бездомными. Корней иногда нанимался таскать воду на кухни местных чиновников, а потом, стоя под их окнами, тоскливо ожидал, когда кухарка вынесет ему остатки обеда:

— Эй, мозгляк! На, дохлебай... Ложки-то нету, ты уж так. Все уже растаскали, только попади вам в руки.

— Да я не из этих. Я из «аграрников».

— Все вы хороши. Послушать вашего брата, так одни только херувимы на Сахалин слетелись... Схлебал? Ну, ступай.



Корней возвратился в Александровск, где народу побольше, где работенку найти легче, где объедки чаще встречаются на чиновных помойках. Два дня он грузил на пристани уголь в бункера английского парохода, пришедшего на Сахалин за лесом. Околачивался в базарных рядах, высматривая — не надо ли кому поднести что-либо до дому? Но офицерские жены приходили с денщиками мужей, а чиновные дамы имели прислугу из каторжан, и никто в услугах Корнея не нуждался.

Дошлые бродяги не раз говорили горемычному:

— А чего ты здесь валандаешься? На твоём месте надо бы до Корсаковска двинуть. Там подсобие всегда сыщется. К кулакам можно наняться батрачить. Японцам в бухте Маука морскую капусту собирать граблями. Мы бывали в Корсаковске, там не жисть, а рай...

Наконец, обессилев, Корней сказал себе:

— Хошь не хошь, а тюрьмы не избежать...

Когда вечерело над Сахалином, возле тюремных ворот собирались толпы жаждущих крова и крыши над головой. Они слышали с улицы знакомые звуки: как разносили по камерам баланду, как звякали ложки о края мисок, и завидовали счастливым, сидящим в тюрьме, — на своём законном месте. Наконец, в воротах показывался красномордый надзиратель, зазывая весело:

— Ну, голодранцы! Кому жрать да спать приспичило — заходи в дом родной, гостем будешь... Ха-ха-ха! Го-го-го!

Толпа бездомных ломилась по темным коридорам тюрьмы, ныряя в двери камер, где и без них тесно, забивалась под нары, рассасывалась по всяким нежилым закутам, согласная переспать даже в карцерах. Но теперь узник-доброволец получал уже не законный паек, а лишь те жалкие крохи, которые оставались после ужина арестантов. Для Корнея Землякова тюрьма, столь ненавистная раньше, казалась теперь лучше всякой «свободы». Он лежал под нарами, а над ним до утра резались в штос тюремные «глоты» с «кувыркалами». Корней не забывал при этом о Боге:

— Слава те, Боженька: сподобил устроить меня...

Вот тут и подумаешь: тюрьма — не дом ли родной?

Из залива Терпения японцы на своей шхуне доставили Оболмасова в Найбучи, где Кумэда дружески посоветовал нанять местного ямщика из поселенцев, чтобы довез его до Корсаковска:

— А консул Кабаяси уже извещен о вашем приезде.

На юге Сахалина многое напоминало Россию: из лесов вытекали тихие речки, благоухали поляны с цветами, сладко пахло скошенным сеном и гудели шмели. В деревнях ощущался уют и порядок, какого не было в северных поселениях. На окнах, убранных занавесками, иногда тюлевыми, краснели герани, внутри изб были развешаны сытинские

календари и лубочные картинки, а на крылечках сидели сытые коты и намывали гостей лапками. Жизнь в Корсаковском округе была вольготнее, сытнее, укладистее. Пшеница тут росла выше взрослого человека, а в крапиве можно было заблудиться, как в дремучем лесу. На почти банной духоте произрастал бамбук, вызревали гроздья винограда и орехи, белели рощицы сахалинских пробковых ясеней.

Возница попался интеллигентный — из актеров.

— Жить можно! — рассказывал он Оболмасову. — А почему живем лучше александровских, знаете? Так еще Антон Павлович Чехов писал, что корсаковские устроились от начальства подальше. Если бы сюда насрать свору чиновников из Александровска, так через полгода тут куска хлеба не стало бы, настолько велика мудрость всех начальственных инструкций.

— А вы, простите, за что на Сахалин попали?

— Режиссера придушил! Как раз на генеральной репетиции... Приехал я в Москву из Саратова, где был любимцем публики. Из-за меня три дамы мужей бросили, а четыре гимназистки спичками отравились. Ну, приехал. У нас в Саратове, знаете, было принято играть как бог на душу положит... Талант-с! Вот что главное. А тут мне этот дуралей говорит: встань так, пройдишь иначе, здесь притуши голос до шепота, а тут наяривай. Я ему сначала по-хорошему говорил: отстанешь ты от меня или нет? А он все свое, все свое... Ему, оказывается, не талант мой нужен, а воплощение образа! Ну, крепился я сколько мог. Потом не выдержал. Накинулся на него, повалил вместе с декорациями, сам сверху на трепача этого сел, а когда встал, мне и говорят: «Гениально сыграл! Одна лишь беда — режиссер-то, гляди, уже не дышит». Вот так я послужил святому искусству, после чего дураки судьи мне десять лет Сахалина втемяшили...

Скоро запахло морем, вдали рассыпались светляки огней Корсаковска. Кабаяси встретил геолога Оболмасова с исключительным радушием, но утром он наказал секретарю:

— Телеграфируйте в Японию, что этот русский свое дело уже сделал, а теперь способен только мешать. Сажайте его на первый же пароход, что будет отходить в Нагасаки.

За время ожидания парохода Оболмасова познакомили с курляндским бароном Зальца, корсаковским окружным начальником, любившим проводить аналогии между Германией и Японией:

— Как нас, немцев, так и японцев не может не тревожить быстрый прирост русского населения: к началу века в России число жителей увеличилось до ста двадцати девяти миллионов. Японцы тоже биологически здоровая нация, им уже тесно на своих островах, как в переполненном трамвае. Правда, сейчас они ищут для своей диаспоры теплые страны с рисовой культурой питания, но со временем им понадобятся и «рыбные» земли — вроде Камчатки и Сахалина...

Судя по всему, барон не слишком-то жаловал русских, а каторжников и подавно. Стиль его отношений с жителями был скопирован с привычек тюремных надзирателей.

— Всех заставлю ершей с хвоста обглаживать! — обращался он к мужчинам, после чего преподносил комплименты женщинам: — Что брюхи свои оттопырили? Родите ежей против шерсти...

Скоро японский пароход доставил Оболмасова в страну вежливых людей, где не надо было таскать на себе шестой том «Великой реформы» 1861 года заодно с беллетристической почтенного Шеллера-Михайлова. Услужившие ему японки ходили мелкими шажками, в старинном саду одурачивающе ароматизировали магнолии. Оболмасов иногда вспоминал жуткие ночи в Александровске, внутренне содрогаясь при мысли, что ему, наверное, еще предстоит туда вернуться... Здесь же, на казенной даче в Нагасаки, ему привелось услышать мнение японцев:

— Война начнется еще до цветения вишен...

Барон Зальца в Корсаковске давно знал об этом!

## 8. Бывают же хорошие люди

Полынов вышел на берег моря — далеко за маяк «Жонкьер», чтобы подумать в одиночестве. Был час отлива, и на прибрежном песке виднелись отпечатки легкого шага оленя, оттиск тяжелой лапы медведя. Здесь, в тишине и безлюдье, стоило подумать... об Аните! У него, господина и повелителя своей судьбы, вдруг обнаружилась госпожа, способная стать его повелительницей. В чем же великая тайна этого внезапного превращения, когда в довольной усмешке девичьих губ он уже распознал победу над ним, над мужчиной? Не тогда ли стрелки его путей нечаянно передвинулись, и судьба, словно разогнавшийся локомотив, закувыркалась кверху колесами, и вот она — катастрофа, название которой Полынову не хотелось бы произносить.

— Куда же делось мое гордое одиночество? — спросил он себя и тут же проверил свою память на номере: ХВС-23847/А-835.

Опечаленный, он вернулся на метеостанцию, чтобы взять технические замеры влажности в атмосфере. Сидорацкий, сидя над картами изобар, отражавших районирование одинаковых давлений, сказал, что теплая осень обманчива:

— Издалека надвигается холодный фронт. Зима на Сахалине в этом году будет очень морозной, а Охотское море подарит нам небывалые ураганы... Как у вас, коллега?

Полынов объяснил: влажность воздуха увеличивается, что, несомненно, вызовет сильные перепады в давлении.

— Но вы, кажется, хотели спросить меня о другом?

— Вы не ошиблись, коллега. Я действительно хотел бы спросить вас: зачем вы завели себе эту девчонку?

Вопрос был сделан в форме достаточно деликатной.

— Благодарю, — ответил Польшов, — что вы, в отличие от иных людей, не заподозрили меня в низменных побуждениях. Анита — это мое будущее, и потому я заранее, как ювелир, отграниваю первобытный алмаз до состояния фамильного бриллианта. Нет, — решительно досказал он, — я не обрел права относиться к ней как к женщине, и еще раз благодарю вас за то, что вы поверили в мою порядочность.

— Так кого же вы из Аниты готовите?

— Сейчас она только захудалая принцесса, но со временем должна стать королевой, — невозмутимо ответил Польшов.

— У вас какие-то бредовые фантазии!

— Возможно, — согласился Польшов. — В мире уже не осталось свободных земель, как нет и вакантных престолов, чтобы посадить на него королевой дикую русскую девчонку, случайно купленную на улице за несколько жалких рублей. Королевства для нее еще не существует, но зато для его престола мною уже готовится прекрасная королева...

Сидорацкий за долгие годы, проведенные на каторге, наслушался столько всяких ахинеи, что даже не считал нужным продлевать этот странный разговор. Польшов тем временем завел тугую пружину психрометра Асмана, собираясь выйти на улицу, чтобы взять пробы воздуха.

— В русской жизни, — сказал он, — принято вывешивать объявления о том, что посторонним вход воспрещен, которые подкрепляются созерцанием массивных заборов. Но вчера какие-то пакостники опять проникли в метеостанцию и вылакали спирт из наших приборов... Не пора ли завести сторожа?

— Давно пора! — согласился Сидорацкий. — Но с этим делом я уже бывал у Бунге, а он выставил меня за дверь, ибо у них на все деньги есть, но сторожей оплачивать нечем.

— Позвольте, оплачивать сторожа буду я сам.

— С ваших-то пятнадцати рублей жалованья?

— Но если я недавно купил граммофон, значит, деньги у меня найдутся. Заранее прошу вашего согласия, что человек, нанятый мною в сторожа, будет утвержден в должности.

— А кто он такой? — спросил Сидорацкий. — Ваш личный друг? Или интеллигент, исстрадавшийся на тюремных нарах?

— Нет, просто несчастный человек, случайно попавший на каторгу. Недавно он пострадал невинно... за других!

.....

Не успел Ляпишев отъехать, как Тулупьев и Бунге устроили грызню из-за того, кому ездить на губернаторской тройке. Бунге справедливо указывал, что после губернатора он второе лицо на острове, но полковник уже взгромоздился в коляску:

— У вас в подчинении гражданская часть, а у меня военная, и побед ждут не от вашей каторги, а от моего гарнизона...

Неизвестно откуда возник сомнительный слух, но сахалинцы теперь всюду говорили, что война с Японией начнется именно 28 сентября. Недоверчивые сомневались.

— Да с чего вы взяли? И почему именно двадцать восьмого? День какой-то не табельный — ни то ни се.

— А вот увидите! — отвечали им. — Двадцать восьмого сентября японцы начнут высаживаться на Сахалине.

— Этого нам еще не хватало, — ворчали пожилые чиновники. — Что нам делать-то? Куда вещи вывозить? Я тут, знаете, за пять лет поднакопил всякого... жалко, если пропадет.

Тихо отлетали листки календарей: вот уже 26 сентября, кануло в Лету и 27 сентября, настал туманный день.

— Ну что? Где война? Где японцы? Кого нам бить?

— А вон... уже идут!

По улице Александровска, помахивая тросточкой, весь в черном, словно церемониймейстер на похоронах, вышагивал консул Кабаяси, а за ним — в одинаковых черных цилиндрах — торжественно маршировали пятнадцать высоких и здоровущих самураев, которые ласково улыбались. Только теперь узнали, что ночью приходил из Корсаковска японский пароход — с этими вот японцами, всю ночь они разгружали из трюмов товары.

— Да кто они такие? Чего им нужно?

— Приказчики! Кабаяси все-таки сдержал свое слово, и двадцать восьмого сентября не будет никакой войны, зато фирма «Сигиура» открывает на Сахалине свои магазины...

Слизов испытал огромное душевное облегчение:

— Ну вот! А что я вам говорил? Поменьше газет читайте, умнее будете. Выдумали какую-то войну с японцами, а у меня дома иная война идет: жена сорок рублей забрала, пока я спал, чтобы истратить их в «Сигиура»... Вот самурайка какая!

Сахалинские дамы пребывали в состоянии закупочной эйфории, близкой к помешательству.

— Конечно, — рассуждала мадам Слизова, — в кимоно на базар за селедкой не поедешь, но зато в интимных условиях... так удобно! И если еще черепаховый гребень в прическе, а при этом распахнуть веер и закрыть им глаза со словами: «Ах, больше не говорите мне о чувствах... я так устала жить!»

Каторжницу Фенечку, хотя она и числилась в ранге губернаторской фаворитки, эти дамы в свой круг, конечно, не допускали. Но она раньше Слизовой успела побывать в японском магазине, откуда и вернулась — злющая, как разъяренная кошка.

— Прохиндеи! — говорила она. — Прямо как издеваются... глоты несчастные. Да в тюрьме у любого майданщика товаров больше, чем у этой запселей фирмы «Сигиура»... Чем соблазнить хотели? Булавкой для шляпы? Или консервами из ананасов? Так не на такую напали... мы уже кое-что видывали!

Женщины испытали горькое разочарование: уж сколько раз Кабаяси распинался перед ними о беспопытной торговле японскими шелками, а в лавках «Сигиура» вообще не оказалось японских товаров. Пятнадцать дюжих молодцов выстроились у прилавков, настойчиво предлагая всякую европейскую заваль и дребедень, которую постеснялись бы продавать даже на «блошином рынке» приличного города. Смотреть не хотелось на катушки ниток, на дешевые расчески, протирания от перхоти на голове, на порошок от потливости ног. Под потолком же высились тысячи консервных банок с ананасами, завезенные из Гонконга и Сингапура... Сахалинские дамы с возмущением покидали магазин, а госпожа Слизова устроила фирме самый настоящий скандал, размахивая зонтиком, как опытный фехтовальщик рапирой:

— Что вы мне глаза-то замазываете? Хоть бы постыдились людей обманывать. Какие ж вы купцы? И кто ваши приказчики? — Конец ее зонтика уперся в грудь высокого японца. — Вот! Четыре года назад я встречала его в Тяньцзине, но тогда он был в мундире майора японского генерального штаба! А теперь уговаривает меня купить катушку зеленых ниток для штопки мужских носков. Я не какая-нибудь там гейша, чтобы вы из меня дурочку делали... я этого так не оставлю! Пусть все знают, что обмануть меня не удастся.

Все учел генеральный штаб Японии, но никак не ожидал гнева госпожи Жоржетты Слизовой, точно указавшей на приказчика, скинувшего мундир офицера, чтобы превратиться в магазинного приказчика. Кабаяси быстро свернул торговлю, испытывая при этом желание придушить крикливую русскую чиновницу. Консул спешно загрузил «приказчиков» яблоками, велел ехать в самые отдаленные селения Тымовского округа, где яблокам всегда рады:

— Экспедиция Кумэды и Оболмасова в этом году была прервана вмешательством военных властей. Вы обязаны завершить разведку местности в Тымовском округе.

Тымовский округ назывался двояко: Тымовский — по реке Тымь, или Рыковский — по тюрьме, основанной надзирателем Рыковым в семидесяти верстах от моря.

.....

Полынов с метеостанции отправился на Протяжную улицу; по дороге домой ему встретился штабс-капитан Быков, идущий под руку с Клавочкой Челищевой. Полынов, как и положено (за двадцать шагов до «свободных» людей), мигом сорвал с головы шапку и отступил на обочину. Быков сказал при этом:

— Ну стоит ли так чиниться?

— Господин штабс-капитан, я всегда хотел бы оставаться рыцарем по отношению к Клавдии Петровне.

Он посмотрел на ее разбитые туфельки, и Челищева сжала руку в кулачок, чтобы он не заметил дырявой перчатки.

— Вы... и рыцарь? — обозлилась она. — Тогда отпустите от себя эту несчастную девочку, которую держите взаперти ради каких-то своих целей... Это не делает вам чести!

Полынов ответил девушке глубоким поклоном:

— Но есть же такие чудесные птицы, которые поют только в клетках, и они погибают, если их выпустить на волю.

Валерию Павловичу этот разговор не понравился.

— Честь имею! — сухо откозырял он, и Клавочка сама взяла его под руку, уверенная, что штабс-капитан, влюбленный в нее, действительно преисполнен чести, а тот жалкий негодяй, который остался торчать на обочине дороги с непокрытой головой, чести никогда не имел и уже не будет иметь...

Полынов долгим выразительным взглядом проводил эту пару, затем с усмешкой надел шапку. Ступив на крыльцо своего дома, он еще с улицы услышал хрипение трубы граммофона:

В одной знакомой улице  
Я помню старый дом  
С высокой темной лестницей,  
С завешенным окном.

Полынов своим же ключом отворил «клетку», в которой жила и пела его волшебная птица.

Никто не знал, какая там  
Затворница жила,  
Какая сила тайная  
Меня туда влекла.

Он вошел в комнату, сразу заметив, как обрадовалась Анита его приходу, а граммофон страдальчески дохрипывал:

Какие речи детские  
Она твердила мне —  
О жизни неизведанной  
На дальней стороне.

Полынов поднял мембрану и остановил граммофон.

— Зачем ты это сделал? — спросила Анита.

— Мне так хочется...

Шуршащий муслин облегал тонкую фигуру Аниты, она, явно красясь, прошла перед Полыновым, постукивая каблучками туфель.

— А чего хочется мне? — вдруг спросила она. — И почему ты решил, что твои желания важнее моих желаний?

— Не начинаешь ли ты уже кокетничать?

— Но прежде научи меня, как это делается...

Полынов решил помолчать. Вечером Анита, излишне задумчивая, доставала из коробки спичку за спичкой и зажигала их, любуясь огнем. Полынов долго не мешал ей, потом сказал:

— Неужели это так интересно?

— А если мне так хочется?

— Странные желания.

— А разве ты сам не любишь играть с огнем? Я ведь не забыла твоего рассказа, как ты ставил на тридцать шесть.

Полынов вспомнил свою прогулку до маяка «Жонкьер»:

— В другом случае, дорогая, за эту игру со спичками я бы выпорол тебя ремнем, но сейчас... неудобно.

— А почему?

— Ты слишком быстро превращаешься в женщину. Особенно с тех пор, как я нарядил тебя в эти красивые платья.

— Платья красивые... А я, скажи, тоже красивая?

Полынов — как когда-то на крыльце трактира Недомясова в ту памятную ночь — взял ее за подбородок и вздернул голову, всматриваясь в лицо, и Анита закрыла глаза, а на губах ее блуждала выжидательная улыбка. В этот опасный момент ему захотелось дать ей пощечину. Но он не сделал этого:

— Чиркай спички и дальше, если тебе это нравится...

— Не хочу! Играй с огнем сам. — Анита встала и снова завела граммофон: Полынов был вынужден дослушать все до конца.

Прости, голубка кроткая,  
Любить не в силах я,  
А жизнь моя короткая  
Измучила меня...



Однажды он по привычке окликнул ее прежним именем, и девушка, причесываясь у зеркала, вдруг рассмеялась:

— Ты ошибся: я ведь теперь Анита... твоя Анита! Если уж ты купил меня, так хотя бы не ошибайся...

Полынов почти в страхе смотрел на свое создание, и в глазах Аниты постоянно улавливал тот вызывающе лукавый блеск, какой бывает только в глазах женщин, уже понимающих, что они могут нравиться, они обязательно будут нравиться.

Это его потрясло. Он долго сидел молча.

— Больше я ошибаться не стану, — обещал он ей.

Наступала ночь, и его принцесса лежала на широкой постели, страшная в своей доступности, а он долго ворочался на узкой, жесткой лавке, и ему снился в ту ночь роскошный гроб, из которого надо было вставать, чтобы не опоздать в лицей, чтобы торопиться жить...

---

Разом надвинулись холода. Корней Земляков днями выходил из тюрьмы как «вольный», чтобы подыскать работенку, а вечерами возвращался в тюрьму, как арестант, чтобы совсем не загнуться от голодухи. Не один он поступал так! Тюрьма на Сахалине — это самый последний якорь спасения, чтобы держаться за жизнь, как корабли держатся якорями за спасительный грунт. Тюрьму проклинают, но она и спасает, когда человеку деваться уже некуда. Вот и сегодня Корней мерз возле тюремных ворот, в очереди озлобленных и голодных оборванцев, давно уже «свободных» от тюрьмы, которые просились обратно — в тюрьму:

— Пустите погреться! Ведь околеваем ни за што ни про што, кой денечек не жрамши... Нешто для нас баланды да места под нарами не осталось? Или мы уже не человеки?

Чья-то властная рука вдруг легла на плечо Корнея, с силой вырвав его из этой очереди. Он увидел перед собой человека — не то вольного, не то поселенца, который сказал:

— Не дрожи! Я худого тебе не сделаю. Знаю, что пострадал ты невинно. А теперь я в ответе перед тобой. Новых зубов не вставлю. Но теми зубами, что еще остались, будешь жевать каждый день. А теперь плюнь на тюрьму и смело ступай за мной.

— Куда?

— Куда приведу...

И такая власть чудилась в голосе незнакомца, что Земляков невольно покорился этому человеку, который быстро увлек его в глубину темных улиц. Полынов привел его на метеостанцию, просил не смущаться научной обстановкой. Корнею хотелось найти контакт с Полыновым, и он спросил — первое, что пришло ему в голову: не слыхать ли чего об амнистии? Полынов ответил:

— Я не сторонник таких иллюзий. Насколько мне известно, тебе ведь недолго ждать. Еще год-другой, и ты получишь право покинуть Сахалин, чтобы ехать на материк... Так?

— Так-так. Только вот деньги у меня похитили. Ежели ехать, где на билет добуду? Всего как есть обкорнали.

Полынов сразу выложил перед ним пятнадцать рублей:

— Это тебе для начала. Получай свое жалованье за октябрь месяца тысяча девятьсот третьего года.

— За что? — обомлел Корней.

— Будешь сторожить здание метеостанции. А сейчас садись к столу. — Полынов налил стопочку спирта для Корнея, развернул перед ним сверток с бутербродами. — Я никогда не пью. А ты выпей и как следует поешь... Тебя я закрою на метеостанции, можешь прилечь на диване. Надеюсь, здесь будет удобнее, нежели валяться под нарами, обнюхивая «Прасковью Федоровну»...

Он ушел, и за ним с жестким скрежетом повернулся ключ в замке. Корней Земляков выключил, а потом снова включил электрический свет. От протопленной печи на него изливалось приятное тепло. Пятнадцать рублей тешили надежды, и он стал подсчитывать, сколько ему сторожить метеостанцию, чтобы накопить денег на билет... Выходило, что к сроку накопит! И он заплакал от счастья, потому что такого счастья не ожидал:

— Бывают же на свете хорошие люди — не все же сволочи!

## 9. Плацкарта — туда и обратно

Двухместное купе вагона *train de luxe* изнутри было простегано оранжевым плюшем, который заранее опрыскали одеколоном. Ляпишев вздохнул с облегчением, когда сибирский экспресс тихо и плавно оторвался от перрона Владивостока. Михаил Николаевич счел нужным представиться попутчику в чине капитана:

— Как видите по моим эполетам, генерал-лейтенант. К несчастью, был военным губернатором Сахалина. Я особо подчеркиваю: был, ибо из отпуска вряд ли вернусь.

Капитан назвался журналистом, военным корреспондентом популярной газеты «Русский инвалид»:

— Жохов, Сергей Леонидович. Представляясь, всегда испытываю смущение. Главный печатный орган Военного министерства носит такое название, что невольно вспоминается гоголевский капитан Копейкин на костылях, молящий о милостыне.

— Но, судя по значку на вашем мундире, вы окончили Академию Генштаба, а судя по выговору, вы, очевидно, ярославец?

— Так точно, господин генерал-лейтенант.

— Зовите меня просто — по имени-отчеству.

— Благодарю, Михаил Николаевич...

Беседея с капитаном, Ляпишев обнаружил в нем хорошее знание юриспруденции и спросил об этом. Жохов ответил:

— Ничего удивительного! Я ведь прежде, чем получить военное образование, окончил Демидовский лицей в Ярославле, а нам, демидовским лицеистам, грозила юридическая карьера. Не спорю, у нас была отличная профессура, и мы, ярославские юристы, знали свое дело. Но я разочаровался в точности весов Фемиды, оказавшись, как видите, в услужении воинственного Марса.

— Выходит, вы отчасти мой коллега! — Ляпишев откинул полу мундира, подбитого алым шелком, барственным жестом извлек из кармана штанов с генеральскими лампасами золотой портсигар, щедро раскрыл его перед попутчиком: — Прошу! Его однажды стащили у меня со стола. Вся полиция Сахалина поднялась по тревоге, и вот... прошу! Кстати, Сергей Леонидович, когда я покидал свои каторжные Палестины, голова шла кругом от слухов, будто японцы объявят войну именно двадцать восьмого сентября.

— Похоже на правду, — отвечал Жохов. — Двадцать шестого сентября наступал окончательный срок эвакуации наших войск из Маньчжурии. За год до этого мы точно в срок покинули Мукден, отчего парламент Лондона пришел в ярость, ибо сам собой устранился повод для объявления войны Японии с Россией.

Ляпишев сказал, что визит Куропаткина в Японию, наверное, сыграл положительную роль в успокоении самураев.

— Напротив, — возразил Жохов, — самураи достаточно усыпили Куропаткина, и доклад министра его величеству можно выразить одной лишь сакраментальной фразой: «Они не посмеют!»

— Я тоже так думаю, что не посмеют, — благодушничал Ляпишев, наслаждаясь бодрым ритмом перестука колес. — Кстати, Сергей Леонидович, не пора ли нам поужинать?

Экспресс Париж — Владивосток славился комфортом. В салоне ресторана вздрагивали в кадках широколистные пальмы, тамбур вагона был превращен в сплошь застекленную веранду с великолепным обзором местности, там стояло пианино для любителей музыки. Генерал и капитан заказали ужин. Ляпишев после Сахалина откровенно радовался хрустящим салфеткам, вежливости лакеев, которые не имели судимости, и улыбкам красивых женщин, которым не угрожала уголовная статья за хипес.

Жохов был гораздо осведомленнее генерала Ляпишева; он сказал, что это лишь начало Сибирского пути:

— В правительстве уже имеется проект французского инженера Лойк де Лобеля, который предлагает, чтобы Сибирская дорога от Бай-

кала отвернула к Чукотке, там будет прорыт туннель под Беринговым проливом, и любая парижанка, сев на такой вот экспресс, закончит свое путешествие в Нью-Йорке.

— Возможно... в двадцатом веке все возможно!

Так они ехали до озера Байкал, где поезд с рельсов насыпи перекатился на рельсы внутри громадного парома, который и миновал «славное море священный Байкал», после чего экспресс, выбравшись из трюмов парома, побежал дальше через Сибирь как ни в чем не бывало. Ляпишев говорил, что Сахалин обижен невниманием военной прессы, а между тем жизнь тамошнего гарнизона достойна хотя бы очерка в «Русском инвалиде»:

— Приезжайте! Единственное, чего никак нельзя касаться корреспондентам, это политических каторжан.

— Я так и думал, — засмеялся капитан Жохов. — Впрочем, ни Чехова, ни Дорошевича власти Сахалина тоже не допустили до общения с политическими ссыльными... Честно говоря, я и сам испытывал желание навестить этот остров страданий. Мне давно хотелось отыскать затерянные следы друга моей юности. Сейчас я не стану излагать перед вами его чересчур сложную биографию. Не назову и его подлинную фамилию. Путем невероятных ухищрений мне удалось установить, что на сахалинскую каторгу он пошел под фамилией Польшина...

— Как вы сказали? — переспросил Ляпишев.

— По-лы-нов.

— Имя?

— Глеб Викторович. А... что?

Ляпишев закрыл глаза рукою, как женщина в беде.

— Боже мой, боже мой! — часто повторял он.

— Разве с ним что-либо случилось?

— Мне совсем не хотелось бы огорчать вас, но ваш друг Польшин служил писарем в моей губернской канцелярии. Я не сатрап, какими изображают нас иногда борзописцы, я относился к нему хорошо. Он даже получал обеды с моей кухни... Конечно, после того, как пообедую я сам и все мои близкие.

— Так что с ним случилось? — спросил Жохов.

— Он... повесился. Совсем недавно.

Жохов надолго приткнулся к окну. Молчал.

— Наверное, были причины, чтобы повеситься?

— Не знаю, насколько они основательны. Но в своей предсмертной записке ваш друг Польшин объяснил свое самоубийство страстью к моей же горничной Фенечке... я был поражен!

— Я тоже, — вдруг сказал Жохов.

— Как? Как вы изволили выразиться?

— Я говорю, что поражен тоже.

— Простите. Может быть, вы не верите мне?

— Верю, — ответил Жохов, не отрываясь от окна. — Я верю в то, что писарь вашей канцелярии повесился от безумной любви к вашей же горничной. Но я не верю в то, что мой друг мог бы повеситься от любви к вашей горничной... Польшов таков: он, скорее всего, повесил бы вашу горничную.

Теперь пришло время разволноваться Ляпишеву:

— Позвольте, позвольте... я своими глазами видел. При мне его и вынули из петли. Так кто же там висел?

— Наверное, кукла, — ответил Жохов.

— Кукла?

— Да. Человек бывает иногда куклой в чужих руках...

(Ляпишев не подумал, что он ведь тоже кукла в руках высших властей: если сам не повесится, так другие повесят!)

---

Вот и Санкт-Петербург... Ляпишев, царь и бог Сахалина, в столице империи сразу потерял свою значимость, растворившись во множестве прочих генералов и губернаторов; если в Александровске подчиненные считали за честь попасть к нему «на чашку чаю», то здесь Михаил Николаевич сам обивал пороги громовержцев имперского Олимпа, домогаясь попасть в их кабинеты с видом просителя. Главное тюремное управление в этом случае оказалось самым демократическим учреждением: Ляпишева приняли без задержки, легонько попеняв за «приписки» в отчетах об успехах урожайности на Сахалине, но даже слышать ничего не хотели о просимой им отставке:

— Что вы! Где мы еще найдем генерала с высшим юридическим образованием, который бы согласился управлять каторгой?

— Но меня-то вы нашли.

— Тогда были другие времена. Каторга еще многих манила своим лучезарным будущим... Какая еще отставка? К тому же этот вопрос, как бы мы его ни решили, все равно потребует одобрения государя, а его величество изволят отсутствовать.

— Разве императора нет в столице?

Выяснилось, что государь уже посетил Дармштадт, Висбаден и Лондон, а сейчас попал в объятия своего германского кузена — императора Вильгельма II, которому сказал историческую фразу: «Я войны не хочу, а потому войны и не будет!» Ляпишев заметил, что в такой ответственный и напряженный момент истории царю-батюшке лучше бы сидеть на царственном престоле.

На это ему ответили — вполне резонно:

— В такой опасный момент дальневосточной политики вы тоже могли бы не покидать своего каторжного престола...

Наступила зима, а Петербург в эту зиму, кажется, веселился больше обычного: балы и маскарады, гастроли знаменитых певцов, новые до-

стижения балета. В официальных кругах царило благодушие, близкое к равнодушию, никто не помышлял о войне. Зато все пылко обсуждали вопрос о том, кто больше «накрутит» fouette — Ольга Преображенская или Матильда Кшесинская? Фраза царя, сказанная им кайзеру, сделалась известна в свете Петербурга, она внесла вредное успокоение в души обитателей имперского бельэтажа. Даже сообщения газет о том, что в Токио состоялась массовая антирусская демонстрация с призывами самураев начать войну с Россией, вызвали лишь улыбочки:

— И чего это «макаки» суетятся? Что мы сделали им худого? Неужели нам нужна эта безобразная Корея или толпы нищих маньчжуров, которые шатаются от голода и опиума?

Далеко за океаном президент Теодор Рузвельт исподтишка натравливал Японию на Россию, именуя Японию «хорошей сторожевой собакой», еще не догадываясь, что эта самурайская «собака», оскалившая зубы на Россию, в будущем способна порвать штаны у респектабельных властелинов Америки. Политики Лондона давно извелись в страстном ожидании — когда же наконец самураи набросятся на Россию? Впрочем, викторианцы и сами были не прочь на нее накинуться. Советский историк Б. А. Романов писал, что «практически в Лондоне и Токио готовы были к войне. Офицеры Ирландского корпуса получили приказ немедленно ехать в Индию, резервисты флота должны были сообщить в Лондонское адмиралтейство свои адреса, английская фирма Гиббса закупала чилийские и аргентинские броненосцы для японского правительства...».

В первые дни декабря (царь еще охотился на лосей в Скерневицах) Ляпишев навестил Владимира Николаевича Коковцова, делавшего быструю карьеру. Будущий министр финансов, Коковцов ранее служил в тюремном ведомстве, а сейчас уже занимал казенную квартиру статс-секретаря на Литейном проспекте.

— Вы у Куропаткина уже были? — начал беседу Коковцов.

Ляпишев сознался, что военный министр, столь милый и симпатичный гость на Сахалине, в Петербурге сделался неприступен, как тот самый Карфаген, который никому не разрушить. Коковцов сказал, что Россия выступает гарантом сохранения Кореи как независимого государства, тогда как Япония уже давно претендует на Корею как на свою подмандатную колонию. Токио ожесточает свои требования, сейчас японцы желали бы удалить русские войска даже из полосы отчуждения КВЖД, но при этом Корею они считают тем «бастионом», который необходим Японии для собственной безопасности.

— Затем самураи станут доказывать, что для их безопасности необходимо овладение Китаем или Филиппинами. Как видите, — заключил Коковцов, — обстановка не очень-то радостная. А пока государь не вернулся из Скерневиц, наша дипломатия способна лишь тянуть

время, как негодную резину. Вы все-таки повидайте Куропаткина, чтобы не забывал о Сахалине...

Куропаткин при встрече с Ляпишевым сказал:

— Кому еще, кроме вас, нужен Сахалин? И не рано ли стали вы бить в барабан? Японцы могут высадиться на Сахалин в одном лишь случае. Полностью разбитые нами на суше и уничтоженные нами на море, они, чтобы спасти свой военный престиж, да, способны воспользоваться беззащитностью вашего острова. Однако Линевич уже телеграфировал мне, что оборона Сахалина особых опасений в Хабаровске не вызывает.

— Так это в Хабаровске, а не в Александровске!

— Советую вернуться на Сахалин. Вы отличный администратор, и вам всегда следует оставаться на своем посту.

— Какой бы я ни был администратор, — здраво отвечал Ляпишев, — но я никакой не полководец, вы сами это понимаете.

Куропаткин закончил разговор даже обидчиво:

— Так я не держу в резерве Суворова для обороны Порт-Артура, нет у меня и Кутузова для защиты вашей каторги. Пусть Линевич усилит ваш гарнизон и... всего вам доброго!

В эти дни министр иностранных дел граф Ламздорф не мог ответить японскому послу Курино ничего вразумительного, ссылаясь на «занятость» царя. Наконец Николай II вернулся в столицу, но Курино не принял («был занят»). На самом же деле царь уже «поджал хвост», — именно так выразился о нем Витте. Лондон уже раскрутил колесо войны, потому японцы заговорили с Петербургом на языке ультиматумов, их претензии день ото дня возрастали. На новогоднем приеме, робко поглядывая в сторону Курино, царь тихим голосом напомнил о боевой мощи России, не советуя использовать его терпение. Затем три недели подряд следовали балы, военные парады, карнавалы. 19 января в Зимнем дворце состоялся торжественный гранд-бал, на который удостоился попасть и Ляпишев; все гости почему-то ждали, что государь сообщит что-то очень важное. Но все «важное» Николай II изложил в частной беседе с графиней Бенкендорф:

— У вас сын мичманом на эскадре в Порт-Артуре, и я хотел бы успокоить ваши материнские чувства. Поверьте, Софья Петровна, мною сделано все, чтобы войны не было...

Две тысячи человек высшего света танцевали. Все было пристойно и благородно до той лишь поры, пока не распахнулись двери в боковые галереи, уставленные столами для угощения. Хорошо воспитанные вельможи и аристократки, воспитанные не хуже своих кавалеров, мгновенно превратились в стадо диких зверей с кровожадными инстинктами. Атака (иначе не назовешь) началась, и мне, автору, лучше передоверить рассказ очевидцу. «Столы и буфеты трещали, —

писал он, — скатерти съезжали с мест, вазы опрокидывались, торты прилипали к мундирам, расшитым золотом, руки мазались в креме, хватали что придется, цветы рвались и совались в карманы, шляпы наполнялись грушами и яблоками. Придворные лакеи, давно привыкшие к этому базару пошлости, молча отступали к окнам и спокойно выжидали, когда иссякнет порыв троглодитских наклонностей. Через три минуты буфет являл грустную картину поля битвы, где трупы растерзанных пирожных плавали в струях шоколада, меланхолически капавшего на мозаичный паркет Зимнего дворца...» Ляпишев, этот грозный владыка сахалинской каторги, еще успел сообразить, что при раздаче тюремной баланды арестанты ведут себя благороднее аристократов, и, не сдержав приступа генеральского честолюбия, тоже ринулся в атаку за своей добычей. Ему досталась от царских благ лишь измятая груша дюшес, уже надкусанная кем-то сбоку, но результат подвига был плачевен: с обшлагов мундира осыпались в свалке пуговицы, бляха пояса сломалась, а вдоль мундира — прямо на груди — чья-то нежная женская лапочка провела длинную полосу из розового крема... Это было ужасно!

Ляпишев вернулся в гостиницу, долго переживая:

— Боже, какие дикари! Как подумаю, так мои-то каторжане — чистое золото. Они способны обворовать меня, но никогда не допустили бы такого хамства в обращении со мною...

С горестным чувством обиды он надкусил свой «трофей», уже опробованный до него, и вызвал лакея, чтобы начинали чистить его парадный мундир. Вскоре после этого кошмарного гранд-бала его разбудил звонок телефона — из Главного тюремного управления спрашивали, почему он еще в Петербурге.

— А где же мне быть? — удивился Ляпишев. — Я продолжаю выжидать решения его величества на мою просьбу об отставке.

— Решения не будет, — отвечали ему. — Сегодня ночью японцы совершили нападение на корабли нашей Порт-Артурской эскадры, и вам надобно срочно вернуться на Сахалин.

---

После пересадки в Москве, попав в воинский эшелон, Ляпишев покоя уже не ведал. Еще не добрался до Челябинска, а вагоны были переполнены едущими «туда», которое для сахалинского губернатора означало «обратно». Даже его, генерала, нахально потеснили в купе, а в коридоре некуда было ступить от сидящих на полу офицеров. А что за разговоры, что за публика! Ехало много говорливых офицерских жен, желающих быть ближе к мужьям. Ехали прифранченные сестры милосердия с фотоаппаратами системы «кодак», чтобы сниматься на память в условиях фронта. Ехал какой-то прохиндей из Одессы, везя на фронт два чемодана с колодами карт и четырех девиц, обещая им «шикарную



жизнь» в Харбине. В довершение всего ехал патриот-доброволец с четырьмя собаками, затянутыми в попоны с изображениями Красного Креста, и надоел всем разговорами о своем патриотизме...

Было тяжко! Для солдат на станциях работали бесплатные «обжорки», где давали щи с мясом, белый хлеб и сахар к чаю. Офицеров же не кормили, на каждой станции они гонялись с чайниками за кипятком. Ляпишев тоже выбегал на перрон купить у баб вареные языки, выбирал яйца покрупнее, торговался о цене горшков с топленым молоком. Наконец миновали Ачинск, который остроумцы прозвали «Собачинском». Здесь встретили первый эшелон «оттуда», идущий в Россию, и было странно видеть раненого офицера на костылях, стоявшего в тамбуре.

— Ну как там? — спрашивали его любопытные.

— А вот поезжайте — сами увидите.

— Шампанское три или четыре рубля за бутылку?

— Это когда было? А теперь дерут все пятнадцать...

Из окон вагонов, идущих в Новгород, выглядывали пленные японцы, которые казались даже веселыми, зато из окон санитарных вагонов слышались вопли раненых солдат:

— Завезли и бросили! Эй, нет ли среди вас врачей? Какие сутки сами друг друга перевязываем...

От дурной воды Ляпишева прохватил понос, а очередь в туалет двигалась, как назло, очень медленно. Теперь сущей блажью вспоминался вагон *train de luxe* с пальмами и пианино, а про туннель под Беринговым проливом даже думать не хотелось. И вот, когда Ляпишев уже почти достоял до заветных дверей туалета, нашелся в очереди какой-то благородный мерзавец, который с надрывом в голосе провозгласил:

— Господа, дам следует пропускать вне очереди.

Ляпишева так поджало — хоть «караул» кричи.

— Верно! — закричал он не своим голосом. — В любом случае мы всегда останемся благородными рыцарями...

Михаил Николаевич обрадовался Байкалу — как рубежу, за которым можно считать последние тысячи верст. Сразу за Цицикаром и Харбином вагоны опустели, всякое жулье и военные пассажиры пересели в мукденский поезд, а эшелон потащился на Никольск. Ляпишев с благоговением перекрестился, когда исчезла очередь возле дверей туалета... Рано утром он вышел на перрон Владивостока — измятый, изнуренный, обессиленный. После всего пережитого в пути Сахалин показался землей обетованной, а Фенечка Икатова рисовалась теперь ему волшебной феей, созданной для блаженных упоений. Татарский пролив уже затянуло прочным льдом, и до Сахалина предстояло добираться на собачьих упряжках...

Перед отъездом Михаил Николаевич навестил начальника Владивостокского порта — контр-адмирала Гаупта:

— Как же насчет пушек для Сахалина?

— Каких пушек? — удивился тот.

— Которые Хабаровск обещал мне выделить из крепостных арсеналов вашего города.

— Ну вот! — ответил Гаупт. — Владивосток полностью беззащитен, мы сами выключиваем артиллерию у Хабаровска.

— Да что за бред! Будет ли когда на Руси порядок?

Адмирал Гаупт, не мигая, смотрел на Ляпишева:

— Вы что? Первый день на свете живете, господин генерал-лейтенант? Неужели до сих пор не научились понимать, что в этом великом всероссийском бедламе и затаилась та могучая русская сила, которая приведет нас к победе над коварным врагом...

## 10. Могучее сахалинское «ура»

Закружили над Сахалином морозные метели; чиновники, собираясь по вечерам в клубе, еще с порога оттирали замерзшие уши, отогревались в буфете за разговорами:

— Если двадцать восьмого сентября сего годика не напали на нас японцы, значит, войны вообще не будет. В самом деле, соображайте, господа, сами; не станут же в Токио начинать войну, прежде завезя на Сахалин яблоки с ананасами!

— Кто его там знает... Может, случись война, мы бы духом воспряли? Может, перестали бы собачиться?

— Иди-ка ты... знаешь куда! Не живется тебе спокойно. Или подвигів захотелось? Крест тебе в петлицу да геморрой в поясицу. Ты пенсию уже выслужил, так сиди и не дергайся...

Отряд дюжих японских молодцов, завезенных Кабаяси в Александровск под видом магазинных приказчиков, до самой зимы не покинул сахалинской столицы, тоже бывая в русском клубе. Некая чиновница Марина Дикс, очевидица этих дней, вспоминала, что японцы «спокойно поедали свои консервы с ананасами, запивая их шампанским, и, слушая разговоры русских, загадочно ухмылялись». Но однажды они явились с рулеткой, тщательно измерили кубатуру танцевального зала, открыто рассуждая о том, сколько здесь можно разместить кроватей. И никто не выгнал их вон, никто не спросил, чего они тут измеряют (лишь потом стало известно, что японцы рассчитывали площадь клуба под размещение в нем военного госпиталя). В декабре, оставив после себя завалы из пустых банок и бутылок, японские «приказчики» бесследно растворились в вихрях метели...

Только теперь Слизов догадался спросить:

— Господа, а куда же подевался Оболмасов?

— Какой еще там Оболмасов?

— Да тот, кто желал подставить ножку самому Нобелю, а наш полицмейстер Маслов ему толстую книгу подарил.

— Да не подарил, а обменял на роман Боборыкина.

— Не Боборыкина, а Шеллера-Михайлова!

— Ну это уже мелочи, кто там написал... Важно, что его роман никакой пулей не прошибешь.

— Нет, мы не видели Оболмасова! Из Корсаковска приезжие говорили, что осенью он уплыл на японском пароходе.

Сахалин погибал в сугробах; обывателей Александровска тянуло с улиц ближе к теплу печей, к мажорной воркотне самоваров. Но это не относилось к арестантам, которых поднимали в четыре часа ночи — как всегда. Выплюывая в кашле на черный снег красные комки отмирающих легких, они, толкаясь, выстраивались во дворе тюрьмы, а над зубьями осторожных «палей» слабо мерцали холодные звезды. Начинали обычный развод по работам: будут они весь день добывать уголь в жутких гробницах шахт, будут тащить громадины бревен из леса, убирать с улиц тонны сыпучего снега, делать все, что ни прикажут, и не посмеют отворачивать «морду», если начальство пожелает ее расквасить до крови. Вечером же, вернувшись в камеры, развесьт свое тряпье по веревкам, жирные вши будут шевелиться в пропотелых рубахах... Из строя людей иногда слышалось:

— Мать честная, когда ж амнистия выпадет?

— Будет! Аль не слыхал, что сказывали: царь свою царицку уже истаскал по куротам, чтобы наследник у них получился.

— Эва! Выходит, по-людски и ребенка соорудить не могут. Дома не получается, так на куроты поехали.

— А что это такое, курот?

— Тебе, дураку, и знать того не надобно. Вот когда отволокут, словно собаку, до кладбища, вытянешься там в стельку, тогда сразу узнаешь, что такое жить на куроте...

В дни Рождества арестантов не гоняли на работы. Над Сахалином надрывно вызванивали церковные колокола, все храмы были отворены настежь — для невинных и виноватых; шли торжественные службы, и хорошо пел на клиросах хор из старых каторжан. Фенечка Икатова тихо плакала... Не стало на Сахалине Ляпишева, вот придет другой губернатор, оглядит ее грешную красоту и спросит: «А ты по какой статье? Ах, всего лишь за отравление соперницы? Так мы скоренько найдем тебе мужа хорошего!» С некоторой надеждой улавливала Фенечка, стоящая на коленях, тихие пересуды чиновников за своей спиной:

- А хороша... не хочешь, да залюбуешься!
- Плачет, будто Магдалина на покаянии.
- Верно. Есть такая картина у Тициана, так он ее будто с нашей Фенечки Икатовой рисовал.
- Сравнили! Магдалина-то ведь в пустыне каялась.
- А нашу Фенечку в пустыню не загонишь. Появись новый губернатор, она из него второго Ляпишева сделает...

Святки прошли слишком весело. Чиновный Сахалин ватагой ездил в Дуэ, Арково и Рыковское — на праздники тюремных команд. Ставили любительские спектакли с участием арестанток, пили и одичало грызли друг друга в скандалах, находя себе удовольствие в сведении старых счетов: кто-то сказал не так, а другой не так поглядел... скука! Но за кулисами каторги шла потаенная борьба за власть, которая с удалением Ляпишева оставалась бесхозной, но слишком выгодной. Как два паука в банке, отважно сражались за прерогативы власти два могучих сахалинских гладиатора — статский советник Бунге и полковник Тулупьев. Бунге говорил, что лучше отдаст жизнь, но с казенной печатью Сахалина не расстанется, а Тулупьев утверждал, что гарнизон Сахалина не будет подчиняться гражданской администрации.

— Что же касается вашей печати, то я навещу Рыковскую тюрьму, и там уголовники за одну бутылку спирта наделают мне таких печатей еще целую дюжину...

Слизова однажды подошла к прокурору Кушелеву:

— Генерал, разве можно быть таким сердитым на Святках? Вы так серьезны, словно обдумываете юридическое злодейство.

— Да, обдумываю смертную казнь через повешение.

— Кого же, если не секрет, вешать собрались?

— наших Монтеки и Капулетти. Но первым бы я повесил Тулупьева, а Бунге заставил бы прежде намылить веревку...

— Вы не слышали, кто будет новым губернатором?

— Наверное, назначат Фенечку Икатову... ей-ей, госпожа Слизова, она бы справилась с Сахалином и его каторгой гораздо лучше Бунге и Тулупьева. Не верите?

— Какой у вас злющий язык, господин генерал-майор!

— За это меня и сослали сюда... прокурором!

Но в один из дней Бунге сам навестил полковника Тулупьева и раскрыл перед ним бархатный кисет, из которого извлек печать губернского правления Сахалина.

— Вы победили, — сказал он оскалась. — Забирайте себе эту игрушку и можете ее прикладывать к любому месту.

Тулупьев даже разнежился:

— Голубчик вы мой, Николай Эрнестыч, да что с вами?

— Со мною-то ничего, а вот что с вами теперь будет?

— Не понимаю. Расшифруйте свое глубокомыслие.

— С великим удовольствием, — ехидно отвечал Бунге. — Я уступаю вам печать, ибо гражданская часть управления Сахалином самоустраняется ото всех важных дел на острове...

— Опять не понял. В чем дело?

— Дело в том, что вчера ночью японские корабли совершили вероломное нападение в Порт-Артуре на нашу эскадру.

Тулупьев стал запихивать печать обратно в кисет.

— Что делать, а?.. Что делать мы будем?

— Как что делать! — с пафосом возвестил ему Бунге. — Сразу берите свой героический гарнизон, высаживайтесь на берегах Японии и начинайте штурмовать Токио...

Печать выпала из тряских рук полковника. Сухо громахая, она покатила по полу, чему обрадовался котенок, который, шаяля, загнал ее в темный крысиный угол.

---

Море сковывал лед, и с материка, как это бывало не раз, забрел на Сахалин бродячий уссурийский тигр («почтенный полосатый старик», как уважительно именовали тигров китайцы). Но этот «почтенный» наделал хлопот: он загрыз почтальона-гиляка, сожрав половину собак из его упряжки, потом в Арково нашли останки одной поселянки, наконец он дерзко блокировал дорогу между Рыковским и Александровском; свирепое рычание тигра по ночам уже слышали жители Рельсовой улицы...

— Я убью его!.. — решил штабс-капитан Быков, беря «франкотку» отличного боя и заряжая ее острыми жалящими пулями. Это было сказано им в присутствии Клавоочки Челишевой, которая только что узнала о начале войны с японцами. — Война — не война, — договорил Быков, — а тигра убить надо. Считайте, что у вас уже имеется коврик из тигровой шкуры, который красиво разложите у своей постели, чтобы не простужаться.

— Я боюсь, — тихо ответила девушка.

— Чего боитесь? Войны или тигра?

— Я боюсь за... вас, — сказала она и этой боязнью невольно призналась Быкову в зарождении чувства.

Он это понял. Но понял и другое: чувство возникло не из самой глубины сердца, а скорее в порыве событий, сопряженных с войною, когда все женщины становятся щедрее на ласковые слова мужчинам, уходящим от них (может быть, навсегда).

Штабс-капитан подкинул в руке «франкотку»:

— Стоит ли бояться за меня, если риск — моя профессия, и я больше боюсь за тигра, с которым надо разделаться одною пулей в лоб, чтобы не испортить его красивой шкуры...

Он вернулся из тайги на второй лишь день, черный от морозов и ветра, на санках привез в Александровск убитого тигра; тут сразу все набежали смотреть хищника, а мальчишки бесстрашно дергали «почтенного» за жесткие, как проволока, усы.

— Какие новости? — спросил Быков.

— Возвращается Ляпишев, — шепнула Клавочка.

— Наверное, очередная сплетня.

— Нет, сушая правда. Начальник конвоя Соколов уже выехал на собаках, чтобы встречать губернатора.

— Я рад этому, — сказал Быков. — Михаил Николаевич не Аника-воин, но в его порядочности я не сомневаюсь. Это не Тулупьев, который ради денег и ради служебных выгод способен на все... даже на благородный поступок!

В этом Быков, кажется, ошибался, как и сам Ляпишев, считавший Тулупьева порядочным человеком. Но полковник Тулупьев уже оседлал казну Сахалина, развращая гарнизон выплатой «подъемных» денег. Понятно, что офицер, едущий воевать в Маньчжурию из Воронежа или Самары, в «подъемных» всегда будет нуждаться. Но здесь-то, на Сахалине, получая деньги просто так, никуда с Сахалина не уезжали, оставаясь на прежнем месте, а «подъемные» были липовые! Их выдачу Тулупьев организовал, чтобы себя не обидеть. Он уже с головой залез в денежный ящик, и в этот момент ему, как никогда, стала близка и доступна психология казнокрада, который не успокоится, пока не стащит что-либо. Между тем шальные деньги, свалившиеся прямо с потолка, заметно подорвали устои дисциплины в гарнизоне, и без того уже отравленного цинизмом каторги. Офицеры стали дебоширить, картежничали, устраивали безобразные оргии с арестантками... Кушелев говорил всюду открыто:

— Я вообще не доверяю нашим полковникам, которые вызвались служить в гарнизоне Сахалина во имя повышенной пенсии. Наши обер-офицеры, нахватавшись у тюремщиков, способны подавать дурные примеры младшим. Не знаю, как проявят себя Болдырев, Тарасенко или Данилов, но Тулупьев попросту опасен для обороны Сахалина... По мне, так лучше уж черствый педант Бунге, способный чувствовать строго по инструкции!

Мобилизация выразилась в раздаче «подъемных», и скоро казна опустела, чему, наверное, даже обрадовался Бунге.

— Вот так и действуйте, — одобрил он Тулупьева, — чтобы японцам ни копейки не осталось в качестве трофеев. Надеюсь, что даже Фенечка Икатова ощутила ваш исполнинский размах в деле мобилизации сахалинского воинства... Чего так скупиться? Дайте и ей «подъемные», чтобы она могла уехать куда-либо подальше на покаяние...

Вряд ли Тулупьев не заметил язвительности Бунге, но оказался достаточно умен, чтобы не придавать ей значения.

— Мобилизация это там... в России! — сказал он. — А у нас будет только эвакуация населения и казенных учреждений.

— Эвакуация... куда?

— Подальше от моря, — пояснил Тулупьев. — Арестантов бы я тоже выслал в глубину острова, чтобы ими тут и не пахло. Если Михаил Николаевич и вернется, он удивится, что все уже сделано без него — едино лишь моими усилиями.

— Есть чему удивляться! — хихикнул Бунге.

— А вы напрасно смеетесь... Мой авторитет в гарнизоне упрочился, за меня теперь все пойдут в огонь и в воду. Жаль, что японцы не высаживаются, мы бы их тут раскатали.

— Чем? — спросил Бунге. — «Подъемными»?..

Тюремное и военное ведомства — со всем их громоздким имуществом — Тулупьев спешно эвакуировал в селение Рыковское, куда заставил переезжать и семьи чиновников. Казенных лошадей не хватало, в повозки впрягали быков, наконец, стали запрягать и каторжан. В этой почти панической суматохе ящики с патронами терялись в свалке архивов, а генерал Кушелев не знал, куда запропастились подшивки судебных приговоров.

— Словно подмели! — говорил он. — Каторжане везли на себе архивы, кому же, как не им, разворовать свои же приговоры? Теперь ищи-свищи, кому сколько дадено, кому сколько осталось досиживать, а кого пора выпускать на волю вольную...

Александровск опустел, словно после погрома, на его улицах сиротливо остались мерзнуть четыре пушки. Капитан Таиров, дельный соратник Тулупьева, был преисполнен служебного рвения. Заметив свет в окнах метеостанции, он стал дубасить ногою в двери, требовательно крича:

— Откройте! Это я, капитан Таиров...

Полынов, конечно, слышал удары в дверь с улицы; он все же продолжил свой рассказ Аните о походе Наполеона в Россию:

— После чего, вернувшись ночью в Париж, Наполеон долго барабанил в двери дворца Тюильри и кричал швейцарам подобно капитану Таирову: «Откройте, это я — ваш император!»

— Его впустили? — спросила Анита.

— Да. Императора тогда не выкинули из Тюильри, как сейчас я стану выкидывать с метеостанции капитана Таирова. Впрочем, ты сама наблюдаешь за этой сценой...

Корней Земляков, явно робея, уже впустил Таирова внутрь метеостанции и тут же получил по зубам вроде «здрасте»:

— Шапку долой! Или не видишь, кто я?

Но тут с высоты антресолей раздался столь повелительный окрик — словно обжигающий удар хлыстом:

— Не смейте бить моего сторожа!

Таиров замер. По ступенькам лестницы не спеша, исполненный внутреннего достоинства, спускался к нему какой-то элегантный господин в полуфраке и при манишке; его ботинки, покрытые серым фетром, поскрипывали — в такт поскрипыванию ступеней. В зубах, неприятно оскаленных, дымилась длинная сигара. Таиров никак не мог догадаться, кто это такой, каково истинное положение этого господина в сахалинской иерархии.

— Почему не открывали? — обалдело спросил капитан.

Сигара перекатилась из левого угла рта в правый:

— Но вы же стучали ногой.

— А чем же еще стучать?

— Благородные люди стучатся в дверь всегда головой. Поверьте, что так принято в лучшем обществе Парижа...

Таиров не успел ответить на оскорбление, уничтоженный женским смехом, который прозвучал с высоты антресолей метеостанции. Капитан поднял голову и... обомлел. Облокотясь на перила, там стояла чудесная девушка с немного оттопыренными ушами, ее тонкую шею опоясывала черная бархотка с кулоном в ценной оправе, а пальцы рук, свободно опущенных с перил, сверкали золотыми украшениями. Таиров решил показать себя настоящим мужчиной. Он с показной нарочитостью вдруг достал из кобуры револьвер и, безо всякой нужды прокрутив его барабан с патронами, сказал в высоту:

— Так, значит, я попал на метеостанцию? А разве всех вас не касается приказ полковника Тулупьева?

— Какой? — спросил господин с сигарой.

— О срочной эвакуации учреждений внутрь острова.

Корней Земляков взял тарелку и поднес ее Польшину, чтобы тот использовал ее вместо пепельницы для отряхивания сигары. Проделав это, Польшин ответил Таирову:

— Видите ли, господин капитан, метеорологическая служба — это вам не пушка, которую можно таскать на привязи. Она обязана оставаться на своем посту, ибо отсутствие прогноза погоды на Сахалине нарушит работу не только ученых обсерватории в Петербурге, но и наших шанхайских коллег в Китае.

— А вы, сударь, простите, из каких?..

— Из ярославских. А что?

— Нет, ничего, — смутился Таиров, поглядывая на верх антресолей, где улыбалась юная кокетка. — Я просто не знаю, кто вы такой и как мне к вам относиться.



— Относитесь с уважением, — надоумил его Польшов. — Потому что я принадлежу к очень редкой породе преступников. Я, извините меня великодушно, давний романтик каторги!

Таирова осенило. Он помахал револьвером:

— Ах, вот что... хамское отродье. И еще смеет...

Но только он это сказал, как револьвер будто сам по себе выскочил из его руки, а сам капитан Таиров, кувыркаясь, как цирковой клоун, вылетел далеко за пределы метеостанции. Следом за ним воткнулся дулом в сугроб его револьвер.

— Ну, гадина... сейчас! — сказал Таиров.

Но в барабане револьвера уже не оказалось ни одного патрона — Польшов учел и это. Тряся бессильным оружием, Таиров погрозил слепым окнам метеостанции:

— погоди, сволочь... интеллигента корчит! Окопались тут в науках, а нас, офицеров, уже и за людей не считаете. Я тебя запомнил... ты у меня еще в ногах изваляешься.

Во всех окнах метеостанции разом погас свет. Но изнутри здания еще долго звучал переливчатый женский смех. Таиров продул ствол револьвера от забившего его снега.

— Я вас обоих на одну парашу посажу!

---

В конце февраля Сахалин, отрезанный от России, жил в полном неведении того, что творится в стране, какие дела на фронте, и, найдись тогда человек, который бы сказал, что Токио уже взят русскими войсками, ему бы, наверное, поверили.

Среди ночи Фенечка Икатова услышала лай и повизгивание усталых собак. Она затеплила свечи. Сунув ноги в валенки, прикрытая одной шалью, прямо с постели, разморенная сном, горничная выбежала на крыльцо, где ее сразу окружил слепящий снеговой вихрь. Ляпишев едва выбрался из саней упряжки, он был весь закутан в меха, его борода примерзла к воротнику тулупа. Конечно, путь через льды Амурского лимана труден для человека в его возрасте. Он сказал Фенечке:

— Не простудись! А чего при свечках сидишь?

— Так не стало у нас электричества.

— Странно! Куда же оно подевалось?

— Полковник Тулупьев велел развинтить все машины по винтику, электриков Александровска разогнал по деревням, чтобы японцы, если появятся, сидели без света в потемках.

— Какие японцы? Откуда они взялись? Что за чушь!

Когда рассвело, губернатор с трудом узнал сахалинскую столицу. Александровск, и без того нерадостный, теперь напоминал обширную загаженную деревню, оставленную жителями, которые побросали все как есть и спасались бегством. В губернаторском доме было теперь

неуютно, что-то угнетало, даже страшило. Михаил Николаевич вызвал Тулупьева, с ним явился и Бунге, который сразу отошел в угол, как наказанный школьник.

— Так что вы тут натворили, господа хорошие? Почему войска и жители покинули побережье? Почему гарнизон выведен из города? Почему прямо посреди улиц брошены пушки? Наконец, почему русский полковник оказался таким дураком?

— Но я же хотел как лучше! — отвечал Тулупьев.

Бунге из угла подал голос, что не эвакуировались только типография и метеостанция, а телеграф опечатан.

— Полковник властью гарнизона запретил принимать от населения телеграммы, адресованные даже родственникам в России, чтобы в Японию не просочились шпионские сведения.

— А без бдительности как же? — спросил Тулупьев.

Ляпишев еще не пришел в себя после трудной дороги, перед его взором еще мелькали пушистые хвосты собак, влекущих за собой нарты через Татарский пролив. В полном изнеможении он рухнул в кресло, а Бунге, не покидая угла, тихим голосом разделявал «под орех» полковника-узурпатора:

— Я, конечно, не вмешивался в дела гарнизона, но, как управляющий гражданской частью, осмелюсь заметить, что по финансовым сметам у нас теперь не хватает средств для обеспечения каторжных и ссыльных достаточным питанием.

Ляпишев дунул на свечи, и стало совсем темно.

— Но, отбывая в отпуск, я оставил вам полную казну.

— Совершенно справедливо, ваше превосходительство, — ковал железо, пока оно горячо, статский советник Бунге. — Однако полковник Тулупьев щедро награждал гарнизон «подъемными», которые вконец обезжирили наши финансы, и без того постыные.

Не вынося мрака, Ляпишев снова затеплил свечи:

— Полковник Тулупьев, это правда?

— А что тут такого? — напыжился тот. — Коли война началась, надо же воодушевить войска...

— Чем воодушевить? Деньгами?

— Не только! Я ведь и речи произносил. Опять же — переезд в Рыковское, всякие там расходы... непредвиденные.

— Вон отсюда! — распорядился генерал-лейтенант.

Четвертого марта 1904 года до Сахалина дошел указ императора, возвещавший, что те каторжане и ссыльнопоселенцы, которые пожелают принять участие в обороне Сахалина от нашествия японских захватчиков, сразу же получают амнистию.

Преступная колония обретала права гражданства.

— Ура! — содрогались все шесть тюрем Сахалина. — Ура! — кричали каторжане, звеня кандалами, как в колокола от беды. — Ура! —

перекатывалось над извечной юдолью убогих сахалинских поселений, утопавших в глубоких сугробах.

Ляпишев сейчас не имел другого собеседника, кроме Фенечки Икатовой, и потому, размышляя, он сказал ей:

— Юридически, кажется, все верно. Доброволец из каторжан будет сражаться не за свою тюрьму, а будет отстаивать свое право на свободу. Вот и получается, милая Фенечка, что штабс-капитан Валерий Павлович Быков оказался прав...

---

В конце этой главы я процитирую текст указа об амнистии в том виде, в каком он сохранился в памяти ссыльного армянского революционера Соломона Кукуниана: «Каторжникам, которые захотят записаться добровольцами против врага, считать один месяц каторги за один год. Тем же из каторжников, которые уже перешли в крестьянское сословие ссыльнопоселенцев и запишутся в дружины Сахалина, предоставить после войны право на казенный счет вернуться на родину и селиться где угодно по всей России, даже в ее столицах».

Все это хорошо. Но... доживем ли мы до свободы?

## 11. Полюбуйтесь, как я живу...

Стрекотание швейной машинки разом затихло.

— Боже! Он опять идет сюда. Идет прямо к нам.

— Кто? — спросил жену Волохов.

— Да этот... не знаю, как и назвать. Тот самый негодяй, которого так страстно хотел бы прикончить Глогер.

— Пусть идет. Чего-то ему от нас понадобилось...

Полынов выглядел хорошо. Даже слишком хорошо. После ничего не значащих слов о погоде, о делах поспешной эвакуации и общем беспорядке на Сахалине он обратился к Волохову:

— А как вы намерены поступать дальше?

— То есть?

— Я имею в виду амнистию, даруемую указом царя всем, кто возьмется за оружие, чтобы стать на защиту Сахалина.

— Нашли дураков! — хмыкнула Ольга Ивановна. — Как же мы, противники самодержавия, страдающие здесь под его гнетом, можем следовать призыву царя, помогая ему угнетать нас?

Полынов ответил, что на войну России с Японией он не может взирать как на пожар, разгоревшийся на другом берегу реки, когда люди бессильны помочь пострадавшим. Демонстративно отвернувшись от женщины, он обратился к мужчине:

— А как бы вы, политические ссыльные, отнеслись ко мне, добровольно вступившему в сахалинское ополчение?

— Почему вы спрашиваете меня об этом? — Волохов сказал это даже с возмущением. — Я вас знать не знаю. А если и знаю, то исключительно с самой дурной стороны. Ваше политическое лицо расплывчато, как на неудачной фотографии. Зато ваши криминальные доблести могут быть высоко оценены в камере для уголовных рецидивистов. Но никак не здесь!

Полынов мизинцем почесал бровь. Он сказал Волохову без раздражения, нисколько не повысив голоса:

— Между прочим, именно эти мои наклонности раньше были использованы в самых лучших целях. Вы сейчас только оскорбили меня. Но разве ответили на мой вопрос?

— Делайте, что вам угодно, — снова вмешалась в разговор Ольга Ивановна. — Для нас вы посторонний человек.

— Что же касается лично меня, — добавил Волохов, — то я палец о палец не ударю, если японцы хоть сейчас появятся на этой вот Рельсовой улице, что виднеется из окошка.

Полынов, задетый за живое, пошел на обострение разговора, и было видно, что он не уступит в своей логике:

— Значит, японские самураи, подло напавшие на Россию, вашими врагами не являются, и вы полагаете, что...

— Позвольте! — пылко перебил его Волохов. — Я вижу в Японии нашего союзника, который, вызвав эту войну, невольно приближает неизбежный крах царизма. Исходя именно из этого положения, я не могу, как дурачок, радоваться победам русской армии, но я буду приветствовать победы японского оружия... Уверен, что вслед за этой бойней грядет революция!

— Возможно, — согласился Полынов.

— Я такого же мнения, — не отрываясь от шитья, сказала Ольга Ивановна, — и мы рассчитываем не на манифесты и указы царя, дарующие амнистию. Нас освободит русская революция.

Волохов в победной позе взирал на Полынова:

— Ну вот! А вам, я вижу, и ответить нечего.

— Я думаю, — ответил Полынов. — Я думаю о том, что в числе защитников Порт-Артура, в экипажах наших эскадр сыщется немало людей, ненавидящих самодержавие даже больше вас! Однако вопросы чести России для них сейчас стали дороже всего на свете... Я не стыжусь признаться, что хотел бы жить и хотел бы умереть честным русским человеком.

— Простите, это вам уже никогда не удастся. Вы уже так много напакостили в своей безобразной жизни, что отныне годитесь только для экспозиции в сахалинском Пантеоне...

Полынов ответил на это горьким смехом:

— Вы меня не очень-то шадите, а долг платежом красен. Я тоже не стану шадить вас. Не забывайте о своей жене, помните о своих детях. Если на Рельсовой окажутся самураи, вы не отделаетесь от них легким поклоном, а ваши идеалы останутся для них безразличны. Я не желаю вам худого, товарищ Волохов, но мне... не скрою, что мне страшно за вас! Будем считать, что разговор не состоялся. Но я ведь пришел к вам не только за советом. Наверное, именно теперь я мог бы пригодиться...

— Кому? — засмеялась Ольга Ивановна.

— Лично вам! Надеюсь, что в последующих событиях вы смогли бы переменить свое мнение о моей персоне.

Игнатий Волохов широко распахнул двери:

— Уходите! И чтоб ноги вашей здесь не было...

Как оплеванный, вернулся Полынов на метеостанцию, и здесь Корней Земляков поклонился ему — от души:

— Спасибо вам, что вы для меня сделали. Не будь вас, я бы где-нибудь под забором скрючился. Но теперь, коли амнистия подошла, решил я вступить в дружину народную. Хоша и настрадался на этом Сахалине, будь он трижды проклят, но теперича Сахалин для меня стал не только каторгой, а еще и родимой землицей, которую отдавать никому нельзя... Грех был бы!

Полынов остался один и даже не расслышал легких шагов Аниты, положившей на плечо ему теплую ладонь:

— Правда, что я не мешаю тебе?

— Правда.

— Правда, что тебе хорошо со мною?

— Правда. Но я предчую большую беду... для нас!

На клочке бумаги он написал: XVC-23847/A-835.

— Анита, ты должна помнить этот номер. Сейчас я готов отдать тебе все. Но я уже никогда не отдам тебя...

.....  
Валерий Павлович Быков обедал в офицерском собрании, вникая в разноголосицу офицерских голосов; возвращение Ляпишева многие не одобряли, явно недолюбливая губернатора:

— Либерал из крючкотворцев! Совсем распустил каторжан. Ему бы служить в земстве какой-либо губернии да разглагольствовать на уездных съездах о причинах добра и зла.

— Раскомандовался. Слушать его тошно.

— Все-таки, как ни крути, а — генерал.

— Да какой там генерал! Вызубрил статьи кодекса, по которым можно упечь человека подальше, вот и вся его тактика. А за стратегией в Хабаровск посылать надо.

— Помилуйте, разве полковник Тулупьев лучше?

— Это свой человек, офицеров понимает и ценит. Академий, слава богу, не кончал, зато казарму знает. Мимо солдатского котла не пройдет — обязательно шей попробует.

— Вот это по-суворовски! Не как другие.

— А теперь придумали оружие выдавать каторжанам. Они тут устроят всем нам Варфоломеевскую ноченьку...

Между тем стараниями губернатора Александровск снова превращался в военный лагерь, где все подчинено дисциплине. Он указал возобновить работу сахалинских телеграфов:

— Мы живем здесь, как допотопные дикари в пещере, ничего не зная. Последняя почта на собаках была в феврале, а навигация с Владивостока откроется лишь в апреле. Посему разрешаю принимать и передавать на материк не только агентские телеграммы, но и сообщения частного порядка...

Подводный кабель на материк часто выходил из строя, больше полагались на «собачью» почту. «Тах-тах-тах!» — слышались понукания каюров. До Николаевска насчитывалось четыреста верст. В нарты укладывались длинные матрасы-чемоданы, на которых все три дня пути пассажиры и отлеживались. Жителей в Александровске оставалось мало. С непривычки пугала тишина, по утрам не хватало перезвона кандалов, который на Сахалине многим заменял сигнал будильника. Все оставшиеся в городе постоянно нуждались — то в белье, то в посуде, то в керосине. Уже с марта стала заметна скудность в питании.

— Не волнуйтесь, все продумано, — утверждал Ляпишев. — Когда я был в Петербурге, Главное тюремное управление клятвенно обещало мне, что запасы хлеба для Сахалина будут непременно закуплены весной в портах Китая.

На это Бунге справедливо заметил губернатору:

— Если японцы сумели блокировать нашу могучую эскадру в Порт-Артуре, им еще легче не допустить купеческие корабли до Александровска, чтобы мы скорчились тут от голода.

Ляпишев мыслил еще категориями прошлого, витал в облаках стародавних иллюзий о благородстве рыцарских турниров:

— Но должны же в Токио понимать, что Сахалин всегда нуждался в привозном хлебе, и не пропустить муку к нашему острову — это... это ведь натуральное свинство! Зима выдалась чертовски морозная, лед в лимане, дай бог, чтобы растаял только в конце мая, и мы будем лишены поставок грузов даже из Николаевска. Где же примитивное благородство?

Непонятно, с какой целью, но японцы еще с осени разослали по адресам всех приметных жителей Сахалина фотографии Оболмасова с его же надписью: «Полюбуйтесь, как я живу!» Полицмейстер Маслов со вздохом, почти страдальческим, выложил такую фотографию перед

губернатором. Оболмасов был снят на фоне богатой виллы в пригороде Нагасаки, он сидел в лонгсезе, внешне похожий на раздобревшего английского колонизатора (в белых шортах и пробковом шлеме); над ним свисали с дерева крупные мандарины, а молоденькая японочка, стоя перед геологом на коленях, подавала ему вино на подносе.

— Вот устроился, стервец! Нам такая жизнь и не снилась, — честно откомментировал эту фотографию полицмейстер.

Ляпишев сказал, что не понимает, ради чего японцы решили держать при себе этого никудышного человека:

— Сначала они обмывали его шампанским, а на этом снимке заметна в нем полная деградация личности. Боюсь, что в этой жизни не обошлось без опиума. Но зачем самураям понадобился сей мелко-травчатый инженер, который из всех полезных ископаемых Сахалина отыскал только воровку Евдокию Брыкину?

Маслов просил губернатора не спешить с выводами:

— Помните, был у нас такой скрипач Крамаренко. Он раньше в Одессе на купеческих свадьбах мазурки откалывал. А на Сахалине японцы мигом сделали из него богатого рыбопромышленника, хотя этот скрипач видывал селедку только вроде закуски. Самураи нарочно работали под вывеской его рыбной конторы, чтобы всю ответственность за свой грабеж свалить на этого скрипача. Не так ли и с Оболмасовым? Наверное, он, как и этот Крамаренко, понадобился им вместо удобной ширмы.

— В любом случае, — указал Ляпишев, — если этот сукин сын появится на Сахалине, сразу же арестуйте его, и пусть он, сидя под нарами, полюбуется, как мы живем...

Михаил Николаевич залучил к себе штабс-капитана Быкова; Фенечка Икатова внесла в кабинет чашки с душистым кофе. Ляпишев сказал, что отрывать окопы на побережье Сахалина он рассчитывает лишь в мае, когда оттаает почва:

— При недостатке шанцевого инструмента мы еще способны кое-как отрыть могилу на кладбище, но приготовить траншею не сможем. Мною составлен уже второй вариант обороны острова на случай нападения противника. Конечно, я предварительно согласовал его в высших инстанциях Приамурского генерал-губернаторства. Но Петербург не мычит и не телится, как будто здесь сидят круглые дурачки, на которых лучше не обращать внимания. Нашими доводами о критическом положении Сахалина в столице явно пренебрегают. Вы, Валерий Павлович, оказались правы в том, что если война на острове и возможна, то она, вне всякого сомнения, обретет формы войны партизанской.

Быков лишний раз убедился в безволии генерала, который даже в беседе с офицером иногда вопрошительно поглядывал на свою горничную, словно ища у нее одобрения своим мыслям. Но в общем-то

генерал юстиции рассуждал правильно. Гарнизон останется на правах регулярной армии, а основу партизанских отрядов составят дружинники из каторжан и ссыльных. Фенечка добавила сливок в чашку офицера, выговорив со значением:

— Пейте на здоровье. Это у вас в казармах ничего не водится, а у нас все есть... Слава богу, мы ведь не просто так живем, мы же ведь — губернаторы!

Валерий Павлович не забыл сказать Ляпишеву, что в партизанской войне особенно важно знание местности:

— А мы, верные заветам благочестивого головоотяпства, до сих пор не обзавелись даже приличными картами Сахалина, не знаем его дорог и таежных троп, для нас остались тайною глубины сахалинских рек и броды; я не удивлюсь, если офицеры заведут своих солдат в гибельную трясиину.

— Милый вы мой, — душевно отвечал губернатор, — а где же я возьму для вас геодезистов, хотя бы грамотных офицеров, умеющих провести триангуляцию местности?

— Здесь, — сознался Быков, — я ничем не могу быть полезен. Хотя и получил военное образование, но во многих вопросах остаюсь дилетантом, что немало вредит моей карьере. Знали бы вы, как манит меня Академия нашего Генерального штаба...

Дверь приоткрылась, заглянул полицмейстер Маслов.

— Вы ко мне? — спросил Ляпишев.

— Да, ваше превосходительство. Тут капитан Таиров рапорт составил об оскорблении его офицерской чести.

— Знаем мы этого Таирова! Пусть меньше шляется по трактирам и танцам, тогда и честь будет соблюдена.

— На этот раз, — сказал Маслов, — капитану Таирову крепко досталось на метеостанции.

— А что он? Сам не мог справиться с Сидорацким?

— Да где там старику Сидорацкому с его циклонами и антициклонами с Таириным справиться! — засмеялся Маслов. — Тут вмешался его помощник... этот... как его?

Быков сразу же поднялся из-за стола.

— Вы позволите мне откланяться?

— Да, да, штабс-капитан. Спасибо за беседу.

---

Вот уж с кем не хотел бы встречаться Полюнов, так это с Глогером — фанатиком! Отважный когда-то «боевик», Глогер не только осатанел в злости против царских властей, сославших его на Сахалин, но почему-то решил, что вся Россия повинна в его страданиях, а русские люди ничуть не лучше каторжан. Полюнов знал, что приговор ему оставался в силе — и теперь всегда можно ожидать расправы.



Встреча была случайной — на улице. Поначалу Глогер казался спокойным, даже приятельски улыбнулся Полюнову. Поглядывая вбок, Глогер жаловался на растрепанные нервы:

— Спать не могу. Кошмары. Трупы. Виселицы...

Затем он сказал, что теперь, после мытарств по российским застенкам, окончательно убедился, что на родине осталась одна светлая голова — это голова пана Юзефа Пилсудского, который давно предупреждал: Польше лучше быть заодно с Австрией или Германией, нежели с этой проклятушей Россией, а поляки и русские никогда не станут друзьями.

— Я вчера даже побывал в костеле, на коленях умоляя нашу Пресветлую Матку-Боску, чтобы скорее пришли сюда японцы. Пусть хоть они избавят меня от этих сахалинских кошмаров... Что за жизнь в России! Кто кого может, тот того и гложет.

«Кажется, в правом кармане», — определил Полюнов место, где Глогер затаил свое оружие, и ответил миролюбиво:

— Я знаком с местным ксендзом. Он сослан на Сахалин решением варшавского суда за изнасилование умирающей, которую должен был исповедовать. Ксендз тоже озлоблен на Россию — вроде тебя, вроде того же пана Пилсудского... Прежде всего, Глогер, разберись в своих чувствах. Россия виновата во многом, но русский народ не повинен в твоих заблуждениях.

— Тебе-то легко! — произнес Глогер. — Что тебе до поляков? Ты уже дома, а сахалинская каторга — не это ль твоя отчизна?

Полюнов старался смягчить резкость беседы:

— Не гневи бога, Глогер. Если так тяжело, запишись в дружину, и ты, мужественный человек, скорее других лоботрясов обретешь свободу. А потом уж, черт с тобой, делай что хочется. Но, танцуя венские вальсы, не забывай краковяк с мазуркой.

Глогер вдруг подозрительно огляделся по сторонам:

— Здесь все для меня чужое, и чужой я сам! Мне ли, поляку, тем более гордому шляхтичу, впутываться в русские дела? А чего же ты сам не записался в дружину?

На лице Глогера появилась зловещая улыбка. Полюнов, как назло, именно сегодня оставил свой браунинг в тайниках метеостанции, и сейчас ему явно не хватало его привычной тяжести, чтобы отстреляться, если разговор осложнится. Однако на зловещую улыбку Глогера он ответил тоже улыбкой:

— Не старайся меня зацепить! Как русский, я свой долг перед отчизной исполню... Сейчас ты, Глогер, только поплевываешь на Россию. Но, боюсь, придет время, когда ты заодно с паном Пилсудским схватишь Польшу за ее последние волосы и потащишь поляков в болото шляхетской вражды к России...

Глогер тоже был достаточно опытен в боевых делах, и он догадался, что Польшов сегодня безоружен:

— Вот удобный момент, чтобы в конце нашей встречи поставить последнюю точку... прямо в лоб тебе! Разве ты не боишься меня? Сознайся, что ты давно боишься меня.

— Боюсь, — честно ответил Польшов.

Глогер решил поиздеваться над ним, над слабым:

— Ты же сейчас — как котенок передо мною. Ну скажи «мяу» Тогда я, может быть, тебя и помилую. Не стыдись.

— Мяу, — сказал Польшов, и Глогер его похвалил:

— Хорошо мяукаешь. А теперь покажи, как ты умеешь дрожать скелетом. Дай послушать, как стучат твои кости от страха...

Польшов, не отвечая, медленно пошел прочь. Но, даже спиной ощутив угрозу выстрела, он резко обернулся.

— Вынь руку из кармана! — крикнул он. — Не будь подлецом — не стреляй в спину. Это нечестно... Я ведь только помяукал тебе, но я могу и рычать!

## 12. Останемся патриотами

Давно примечено, что в условиях заключения, когда мозг притупляется от жестокостей и невыносимой тоски, люди начинают выискивать нечто такое, что могло бы оживить их тускнеющий разум. Наверное, потому Каторга читала журналы с последней страницы, украшенной ребусами и головоломками; Каторга развертывала газеты с конца, где имелись кроссворды и шарады. Каторга всегда — с давнишних времен — ценила не обычную повседневную информацию, а только такую, чтобы от нее дух захватывало. Врать при этом разрешалось сколько угодно, лишь бы фантазия рассказчика работала бесперебойно, как пулемет.

В унылом бараке Рыковского, где селились первые дружинники, наверное, именно по этой причине Корней Земляков и заслужил авторитет своими необычными рассказами о работе метеостанции. Для безграмотных людей было новостью, что погода Сахалина, которую они привыкли только бранить как несносную, оказывается, имеет прямое отношение к тому, будет ли завтра дождь в Тамбове, не грозит ли засуха Черниговщине.

— Это еще что! — рассуждал Земляков. — А вот есть, братцы, такой «сусур» в науке, чтобы узнавать, сколько сырости в воздухе. В машинке этой натянут женский волосок. Когда сыреет на улице, он делается длиннее, а когда сухота — короче. Причем волос для науки берут только от рыжей бабы.

(Корней говорил о гигрометре физика Соссюра.)

— Да ну! — не верили ему. — Почто от рыжей-то?

— Сам не знаю, это великая тайна мировой науки. Но среди ученых большой интерес ко всем рыжим стервам. Как профессор где-либо увидит рыжую, так моментально клок волос у нее из прически выдергивает. Кричи она, не кричи, никакой городской не поможет, ибо требуется от рыжих баб пострадать для науки. Одно могу сказать, — заключил свой рассказ Земляков, — в учении о погоде есть хорошие люди. Один такой мне сам жалованье платил, дай-то ему, боженька, здоровьица!

Весною дружинникам раздали берданки, и Корней в числе прочих тоже прикладывался к кресту священника, клятвенно обязуясь «верой и правдой» служить отечеству. Не будем, однако, думать, что все каторжане решительно поднялись с нар на защиту родины. 1904 год — это не 1812-й, а каторга никогда не воспитывала людей в духе патриотизма. Многие из оголтелых уголовников остались лежать на нарах, хотя их отказ братья за оружие не имел никаких соображений, кроме чисто шкурнических.

— Вот еще! — говорили они. — Стану я кровь проливать... За что? За эту вот каторгу, где я горбы себе наживал? Да провались оно все, лучше уж «Прасковью Федоровну» целовать.

— Верно! — слышались голоса громил, бандитов, взломщиков и аферистов. — Сахалин — место гиблое, одна репа да лопухи с крапивою, ядри их в корень... Что я тут потерял? И что я тут нашел? А мне япошки ничего не сделают, только от кандалов избавят. Я первейшим делом на Хитров рынок в Москве подамся, забегу в трактир и сразу же выдую дюжину бутылок пива.

Среди дружинников были не только патриоты России, но даже патриоты самого Сахалина — местные уроженцы, для которых остров стал настоящей родиной, и потому они без колебаний брали оружие, чтобы постоять за честь отчизны, уже неотделимой, в их представлении, от каторги. Такие сахалинцы не нуждались в амнистии! Всех дружинников обрядили в чистое белье, разрешили иметь прически — как у «вольных». Одеты в серые бушлаты, они имели на арестантских бескозырках крестики, сделанные из жести, — признак народного ополчения и святости исполнения долга. Каждый мечтал о фуражке, чтобы иметь хоть малое подобие солдата. Дабы арестант-дружинник заметнее выделялся среди людей, Ляпишев указал ополченцам обшить рукава бушлатов полосками красного кумача. В мастерских делали для них патронташи — из старых мучных мешков, промаркированных фирмами Шанхая или Сан-Франциско, а на ногах оставались прежние русские опорки. Дружинникам увеличили порции хлеба, но в обед они, как и раньше, получали обрыдлую тюремную баланду.

Гарнизон держался от дружин подальше. Солдату, вчерашнему рабочему или крестьянину, преступник всегда кажется человеком не-

годным, от которого все надо прятать, чтобы не сташил. А любой сахалинец привык видеть в начальстве лишь карательные органы. Бывшие конвоиры и тюремные надзиратели сделались зауряд-прапорщиками, они командовали в казармах, как недавно в тюрьмах. При этом в ополченцах они видели только арестантов, которым на время вернули свободу, чтобы потом загнать всех обратно — кого поверх нар, а кого под нары. Дружинники отвечали таким «отцам-командирам» лютой ненавистью, вынесенной еще из тюрем, они уже стали артачиться:

— Ты меня, зараза худая, обратно под нары не запихнешь! Я тебе не кто-нибудь и шапки ломать не стану.

— А в морду не хошь?

— Тока тронь! Мы тебе «темную» устроим...

Офицеры гарнизона боялись командовать арестантами. Пожалуй, только один штабс-капитан Быков сознательно усилил свой отряд дружинниками. Конечно, среди разномастной шатии-братии он быстро обнаружил настроения, которые воинам не должны быть свойственны. Быков перед отрядом произнес речь:

— Слушайте меня! Я понимаю, что для многих из вас родина, наша великая, наша прекрасная, наша необъятная Россия, стала только злой мачехой. Но я, ваш начальник, не нуждаюсь в услугах тех, кто пошел в ополчение ради благ царской амнистии, ради лишнего черпака баланды, ради чистых кальсон из теплой байки. Отечеству такие «защитники» не нужны!

— Золотые ваши слова, — поддержал его Земляков.

Валерий Павлович поднес к его лицу крепкий кулак, обтянутый скрипящей кожей новенькой перчатки:

— Вот это ты выдывал? Хорошо, что нарвался на меня, но, попадись другому, он бы тебе все зубы выполоскал именно за то, что перебиваешь речь офицера.

— Уже! — крикнул Земляков.

— Чего «уже»? — не понял его Быков.

— Передних уже нету. Жую одними боковушками.

— Наверное, заслужил... Я, — продолжал Валерий Павлович, — формирую свой отряд только из честных людей, которые искренно ступают на опасную тропу партизанской борьбы по чувству любви к отечеству. А других не надо! Всех шкурников — вон!..

Не так поступали другие. Начальство Тымовского округа попросту выгнало всех заключенных из Рыковской тюрьмы на улицу, где и объявили им — с беспардонной ясностью:

— Ну, шпана поганая, чего улыбок не видим? Государь-император в неизреченном милосердии своем указал дать амнистию тем, кто вступит в дружины... Постойм же за святую Русь, всех запишем. Каждый получит по кальсонам и валенкам!

Полковник Данилов закрепил этот призыв словами:

— Знаю вас, сволочей! Дай вам кальсоны с валенками, так вы, чего доброго, пропнете или проиграете их в первой же «малине». Так я вас, гадов, по-христиански прошу: все казенное хотя бы до победы поберегите!

«Глоты» и «храпы» орали ему из колонны:

— Весна-красна! Скоро и лето нагрянет, так што ж нам? Так и париться в кальсонах да валенках?..

Тулупьев радостно доложил Ляпишеву о поголовной мобилизации всей Рыковской тюрьмы, которая мигом опустела.

— Теперь в этой тюрьге хоть гостиницу открывай! Полковник Данилов «рожден был хватом, слуга царю, отец солдатам». Ни одного в тюрьме не оставил, всех выгнал. Даже убогих в строй загнал. Наши силы растут, а майданщики рыдают. С чего жить станут, ежели в камерах одни клопы да крысы остались?

— Идиоты! — вразумительно отвечал губернатор. — Ведь сказано было четко — нужны только добровольцы, а силой никого воевать не заставишь. Всех гнать обратно в тюрьму!

— Да как загнать? — оторопел Тулупьев. — Попробуй посади их снова, если половина уже разбежалась... во всем казенном! Да они теперь полковника Данилова раздерут за ноги, как лягушку...

Михаил Николаевич схватился за голову:

— Все у нас кувыркком, кувыркком, кувыркком... с приплясом! Да почему я все должен за вас думать? Думайте сами...

Быков навестил губернскую типографию. Клавочка Челищева острым карандашиком указала ему на строчку в новом приказе Ляпищева, призывавшего офицеров гарнизона брать пример с Быкова: «Означенный офицер в создании народной дружины действует энергично и разумно, что достойно всяческого подражания».

— А вы, я вижу, чем-то излишне взволнованы?

Валерий Павлович подтянул на ремне шашку:

— Да! Я узнал нечто такое, о чем следует известить знакомого нам обоим арестанта, служащего на метеостанции.

Клавдия Петровна сухо ответила, что этот отвратительный человек не стоит того, чтобы хлопотать о нем:

— Самое лучшее — держаться от него подальше.

— Напротив, — возразил штабс-капитан, — мне этот человек в чем-то даже нравится. Не удивляйтесь моим словам: между ним и мною я угадываю нечто общее.

— Вот как?

— Пожалуй, мы в чем-то сойдемся...

«Если это так, то это ужасно!» — не сказала Клавочка, а лишь подумала, без сожаления проводив Быкова.

---

Полынов умел вести себя так, что люди, даже облеченные властью, начинали чувствовать его превосходство, невольно подпадая под влияние этого человека, который, казалось, вовсе не ощущал всей тягости своего каторжного положения.

Он очень удивился появлению Быкова, но при этом Полынов вел себя так, словно давно ожидал именно Быкова:

— Я охотно выслушаю вас, господин штабс-капитан.

— Что вы там натворили с этим Таировым?

— Всего лишь выкинул его, как тряпку, с метеостанции, чтобы он не мешал мне наслаждаться жизнью.

— А вы подумали о себе? Наконец, могли бы пожалеть девушку, которую вы столь неосмотрительно взялись воспитывать на свой лад... Я советую вам немедленно скрыться.

— Разве мне что-либо стало угрожать?

— Я узнал, что вы будете арестованы.

— Очень мило... Ани-и-ита-а! — нараспев произнес Полынов и, достав из кармана часы, отметил время. — Анита, — сказал он прибежавшей девушке, — господин Быков не уверен в том, что я воспитываю тебя правильно. К сожалению, нам уже некогда заниматься твоим перевоспитанием на обычный лад. Мы опаздываем! А посему через пять минут ты должна быть готовой.

— Готовой... к чему?

— Нам предстоит сентиментальное путешествие с разными забавными приключениями, которым ты будешь очень рада.

Когда Анита удалилась, штабс-капитан спросил:

— Интересно, куда же вы собрались бежать?

— Я еще не решил, но я уже думаю об этом.

Быков сложил перчатки в свою фуражку.

— В таком случае подумаем вместе. У меня в Корсаковске имеется приятель — тоже штабс-капитан Юлиан Казимирович Гротто-Слепиковский, я дам вам записку для него, и он вам поможет. Догадываюсь, вы не останетесь под прежней фамилией.

Полынов весело расхохотался:

— Так не дурак же я, чтобы тащить свои старые грехи!

— Тогда назовите свою новую фамилию, чтобы мне потом не удивляться, если я встречу вас на жизненных перепутьях.

Полынов сразу показал ему новый паспорт:

— Вы правы. Я человек предусмотрительный. А с тех пор, как при мне оказалась Анита, стал даже опасливим. Рыковская же тюрьма — это отличный паспортный стол, где «блиноделы» выковывают новых героев с новыми именами... Можете ознакомиться: Фабиан Вильгельмович Баклунд, из мещан города Бауска, что расположен в Курляндской

губернии, приказчик торговой фирмы Кунста и Альберса, давно владеющей универсальными магазинами на Дальнем Востоке, я прибыл на Сахалин из города Харбина ради поставок соли для рыбных промыслов Крамаренко, о чем в паспорте имеется роспись... чья?

— Не знаю, — ответил Быков.

Полынов протянул ему свой паспорт:

— Мое прибытие на Сахалин заверено подписью самого военного губернатора Ляпишева... убедитесь своими глазами.

Быков взял паспорт и внимательно изучил его:

— Да, это рука Михаила Николаевича... чистая работа.

— Еще бы! Зато теперь я избавлен от прошлого, — ответил По-лынов и снова позвал протяжно: — Ани-и-ита-а!

— Сейчас буду готова, — послышался голос.

— Лошадей не найдете даже за большие деньги, — напомнил Быков, — а путь до Корсаковска составит шестьсот верст, который сахалинцы зачастую проделывают пешком. Дорога похожа на запущенную просеку, а просека иногда становится неприметной тропой, уводящей в трясины, где погибают люди и лошади. Как выдержит этот путь ваша юная подруга?

— Не беспокойтесь. У вас приятелем Гротто-Слепиковский в Корсаковске, а у меня в Александровске трактирщик Пахом Недомясов, который не осмелится отказать мне в своих лошадях. Я знаю, что до Онора лошади выдержат...

Валерий Павлович вернулся в типографию, где Клавочка Челищева с нескрываемым раздражением спросила его:

— А эта девка с ушами оттопыренными, как у летучей мыши, разодетая в пух и прах, словно невеста, она тоже с ним?

— Да. Но их уже нет в Александровске.

— Куда же эта парочка провалилась?

Штабс-капитан предупредил, что будет откровенен.

— Мне кажется, — сказал он с оттенком печали в голосе, — вы могли бы простить этому человеку все-все и не можете простить ему только то, что возле него появилась Анита.

Челищева покраснела, отвечая Быкову:

— Не глупо ли подозревать меня в ревности?

— Простите. Но сегодня я невольно позавидовал этому человеку, который уже мчится к Онору через тайгу, а возле него верная Анита, готовая следовать за ним даже на плаху.

— Нашли же вы чему завидовать! — произнесла Клавочка. — В нужный час я ведь тоже окажусь рядом с вами...

До самого Онора ехали без приключений, много разговаривая. Слушая рассказы Понынова, девушка иногда шевелила губами, про

себя повторяя услышанное. Она-то знала, как требователен ее повелитель: в любой момент она должна сдать ему экзамен по всем вопросам, которые когда-то возникали в их беседах. Анита невольно обогащалась от мужчины знаниями, как слабая ветка от соков дерева, а Полюнов иногда посмеивался:

— Мне даже интересно, когда ты задашь мне такой вопрос, на который я не смогу ответить... Ты, наверное, сильно устала? Впрочем, за Онором мы отдохнем на берегах залива Терпения.

— Терпения? А почему залив так называется?

— Вот видишь, — сказал Полюнов. — Ты стала относиться ко мне, как к энциклопедии, обязанной давать ответ на любой вопрос, самый неожиданный. Наверное, именно на берегах залива Терпения закончится наше с тобой долготерпение.

— Так ты не можешь ответить?

— Могу! Это было очень давно, когда на Руси правил еще первый царь из династии Романовых. В ту пору голландский моряк де Фриз искал в этих краях серебро и золото. Возле берегов Сахалина он вытерпел немало страданий от могучего шторма, почему и назвал залив — Терпения...

Всегда осмотрительный, Полюнов, миновав Онор, не сразу двинулся в Корсаковск. Сначала он выждал время в селе Отрадна (ныне здесь город Долинск), затем они с Анитой пожили в селе Владимировка (ныне это большой город Южно-Сахалинск, ставший главным городом всего Сахалина). Владимировка была сплошь заселена добровольными выходцами из Владимирской губернии, которые жили зажиточно, назло всем доказывая, что земля Сахалина способна хорошо прокормить человека, только не ленись, а работай... Здесь, казалось, был совсем иной мир, далекий от каторги, а пение петухов на рассветах и мурлыканье кошек, поспешающих к доению коров в ожидании парного молочка, — все это напоминало жизнь в русской деревне. Но море лежало рядом, за лесом, и шум его гармонично вплетался в шумы деревьев, овечьих свежими бризами.

— Скоро будет шторм, — точно предсказал Полюнов. — Это даже хорошо! Я вообще не любитель ясной погоды. Не знаю, почему, но мне всегда нравились катаклизмы природы: штормы и бури, трески молний и ураганы. Слабый пугается, а сильный восторгается... Не хочешь ли глянуть на шторм в Терпении?

— А нам хватит терпения?.. — спросила Анита.

Они посетили берег моря, когда жестокий шторм уже заканчивал громыхать и теперь лениво выбрасывал на отмели гигантские водоросли; на песке, оглушенные раскатом прибоя, шевелились громадные крабы на растопыренных лапах. Анита, как всегда, вложила свою ладонь в сильную руку Полюнова.



— Я... в восторге! — вдруг сказала она. — Отсюда я вижу даже рваные паруса каравеллы де Фриза, мечтавшего на этом берегу, где мы стоим, найти серебро и золото.

Когда они возвращались от моря в село, Польшов сказал девушке:

— Никогда не ожидал твоего появления в моей сумбурной жизни. Ты явилась в нарушение всех жесточайших правил, усвоенных мною еще в юности. Ведь я всегда полагал, что человек сильнее всего только в том случае, когда он одинок, когда у него нет никаких обязательств по отношению к другим. Но ты появилась, и все стало иначе... Это непонятно даже мне!

Анита шла впереди него по очень узкой тропе, и Польшов говорил ей в спину. Она помолчала. Наконец он услышал ее слова:

— Если ты не можешь разобраться даже в себе, так, наверное, ты не всегда понимаешь и меня.

Она задержала шаги и обернулась к нему лицом.

— Зачем ты остановилась?

— Наверное, мне так захотелось...

Было слышно, как за лесом море завершало свой титанический труд. Большущие глаза смотрели на Польшова с немим торжеством, и он, смутившись, стал поправлять на Аните капор.

— Только не простудись, — говорил заботливо.

— Но ты ведь не это хотел сказать.

— А ты становишься чересчур догадлива, и это опасно для меня. Мое положение сейчас очень невыгодное. Я не могу дерзить тебе, потому что ты стала взрослой. Гадкий паршивый утенок, купленный мною по дешевке, ты превращаешься в красивую паву. Но я не могу и поцеловать тебя, слишком юную...

Одним движением головы Анита стряхнула с головы капор, волосы рассыпались венцом, скрывая ее оттопыренные уши.

— Скажи — ты уже любишь меня?

— Вот он, этот вопрос, на который я не могу ответить.

— Так не отвечай! Только поцелуй меня...

На следующий день они въехали в Корсаковск.

Главную улицу, обсаженную деревьями и обставленную фонарями, подметал дряхлый старик, на лбу которого было выжжено клеймо «В», на левой щеке «О», а на правой «Р». Польшов спросил у него, как отыскать секретаря полицейского правления.

— А эвон... домик с терраской, — показал «ВОР», взмахивая метлой. — Секлетарем здесь мой внучек будет...

Секретарь, наследник заветов старой каторги, едва глянул в паспорт Польшова-Сперанского-Баклунда, зевнул:

— Ладно. Завтра, если будет времячко, загляните ко мне, чтобы отметить, где остановились. Отелей не держим, здесь не Франция, устройтесь на частной квартире.

Чехов писал, что в Корсаковском округе «люди консервативнее, и обычаи, даже дурные, держатся крепче». Так, в сравнении с Севером, здесь чаще прибегают к телесным наказаниям, и бывает, что в один прием секут по 50 человек... когда вам, свободному человеку, встречается на улице или на берегу группа арестантов, то уже за 50 шагов вы слышите крик надзирателя: «Смир-р-рно! Шапки долой...» Потому-то Полынов не слишком был удивлен, что хозяин квартиры ходил перед новыми постояльцами на полусогнутых ногах. Как все униженные люди, он называл вещи уменьшительными именами: цветочек, маслице, стульчик, кроватка... Было видно, что он принял Полынова за важную персону из администрации Сахалина, а теперь очень боялся, как бы не обмшуриться.

— По какой статье? — не удержался от вопроса Полынов.

— Девятьсот пятьдесят третья, извольте знать.

Пройдя в комнаты, Полынов со смехом сказал Аните:

— Статья-то — близкая к моей. Только я выпрямился и хожу в полный рост, никому не кланяясь, а он согнулся...

В соседнем домишке проживала неопрятная старуха, еще помнившая Чехова. В молодости она живьем закопала своего новорожденного младенца, чтобы избежать позора на всю деревню, а теперь назойливо предлагала Полынову купить у нее капусту:

— Кисленькая! И беру-то недорого...

Полынов купил у нее капусту и тут же выбросил ее на помойку, куда с визгом набежали хозяйские поросята.

— Пусть жрут, — сказал он Аните. — Эта старая дегенератка еще живет, а сам Антон Павлович Чехов, побывав на Сахалине, заболел чахоткой и умирает... Я ненавижу каторгу! — вдруг признался Полынов. — Но теперь даже благодарен этой каторге, которая помогла мне найти тебя...

Гротто-Слепиковский отыскался среди корсаковских офицеров очень легко, он ознакомился с запиской от Быкова. Полынов, между прочим, поинтересовался:

— Вам угодно говорить со мною на польском?

— Если вы им владеете, — отозвался Слепиковский.

— В достаточной степени.

— Буду рад. А рекомендация моего друга Валерия Павловича Быкова значит для меня очень многое. Его записка — это почти аттестат в вашей порядочности. Я не стану утомлять вас расспросами о причинах вашего появления в Корсаковске, но догадываюсь, что ваше место именно там, где вас не знают.

— Примерно так, — согласился Полынов. — Но хотел бы напомнить, что у меня хорошие документы.

— Не сомневайтесь, что вы сделали их достаточно правильно, — кивнул Гротто-Слепиковский, мельком оглядев Аниту. — Но вам

следует знать, что в Корсаковске состоит начальником барон Зальца, изгнанный из лейб-гвардии за неумелое обращение с казенными деньгами. Считаю своим долгом предупредить вас: это человек не только вредный, но и весьма подозрительный ко всем навещающим его корсаковские владения...

### 13. На Сахалине все спокойно

Фенечку Икатову, никогда раньше не болевшую и готовую прожить сотню лет, измучила лихорадка с ознобом, ее бил кашель, молодая женщина говорила, что простудилась:

— Именно в ту ночь, что вы приехали с материка. Как услышала лай собак, так и выскочила... прямо с постели! А на дворе-то метель кружила, вот меня и проняло.

Ляпишев, стареющий человек, сострадательно навещал свою горничную. Он, подобно врачу, прикладывал ладонь к горячему лбу женщины, отыскивал пульс на ее влажном запястье. Сейчас для него, наверное, не было дороже человека, нежели горничная, лежащая в пуховиках губернаторской постели.

— Душечка, постарайся не болеть. Ты лучше меня знаешь, что на Сахалине почти нет толковых врачей, а те, которые имеются, способны лечить только каторжан.

— А я разве не каторжная? — заплакала Фенечка.

— Прости. Я не хотел тебя обидеть. Но здесь, на Сахалине, очевидно, никогда не было свободных людей. Если ты каторжная, так и я, твой губернатор, тоже связан с каторгой...

На цыпочках он удалялся в пустой кабинет и долго сидел там, нахохлившись, облаченный в халат, из-под которого броско и ярко посверкивали золотом генеральские лампасы. А ведь Ляпишев был прав: если на Сахалине нельзя даже болеть, значит, нельзя быть и раненым... Был уже месяц май 1904 года, когда по берегам Сахалина дружинники стали отрывать боевые окопы.

---

О том, как бездарная военная бюрократия Петербурга — еще до войны с Японией — задушила оборону Дальнего Востока горами непотребных бумаг и отписок, наездами контролеров и ревизоров, копеечным скупердьяйством в расходах на главные нужды армии и флота, — обо всем этом, читатель, нам давно известно. Но для меня, для автора, стало новостью, что не меньшую гору бумаг исписали русские патриоты, честные офицеры, предупреждавшие высшее начальство о том, что никакой обороны Дальнего Востока попросту не существует: она высосана из пальца ради успокоения властей разны-

ми гастролерами — вроде того же Куропаткина с его легендарным «Карфагеном». И, когда ко мне, автору, пришло цельное понимание всего трагизма войны с самурайской Японией, до зубов вооруженной Англией и Америкой, я стал удивляться не тому, что война завершилась Цусимой, а совсем другому — тому, что русская армия и русский флот так долго, так упорно и столь мужественно отстаивали дело, заведомо обреченное на поражение по вине последнего самодержца и его лоботрясов. Я нарочно сделал тут авторское отступление, которое никак не назовешь лирическим, чтобы читатель понял всю тщету героических усилий русского народа.

Ляпишев тоже не виноват! Генерал-лейтенант юстиции, он старался исполнить все как надо, но оказался беспомощен, ибо никакой Вобан или Тотлебен не могли бы — на его месте — оградить от вторжения неприятеля грандиозную полосу сахалинского побережья, где редко задымит чум одинокого гиляка или блеснет из таежной темени слепой огонечек лучины в избушке охотника на соболей.

Михаил Николаевич четырежды составлял подробные планы обороны острова, в Хабаровске их читали и обсуждали, после чего с берегов Амура планы попадали на берега Невы, где их никто не читал и никогда не обсуждал. Ни один из четырех планов за все время войн так и не был утвержден — ни Куропаткиным, ни генералом Сахаровым, заместившим Куропаткина на посту военного министра. Наконец, Линеви́ч велел во всем разобраться генералу Субботичу, а генерал Субботич прислал на Сахалин своего адъютанта — очень ловкого молодого человека со связкою аксельбантов на груди, провисавших тяжело, как виноградные гроздьи.

Ляпишев терпеливо выслушал его монолог:

— Исходя из глубокого анализа высшей стратегии, командование полагает, что Сахалин никак не явится объектом воцелений японской военщины, которая по рукам и по ногам уже связана боевыми действиями на суше и на море. Я уполномочен передать вам, что генералы Линеви́ч и Субботич, не желая обострять отношений с Петербургом, и без того натянутых, предлагают нам совсем отказаться от обороны Сахалина...

— Как? — вытянулся из кресла губернатор.

— Мало того, — соловьем разливался носитель пышных аксельбантов, — вам предлагается вообще удалить с Сахалина все регулярные войска, распустить все дружины ополчения, и пусть Сахалин остается на прежнем положении каторжной колонии. При наличии на острове только одной каторги, при отсутствии на острове какого бы то ни было гарнизона ваш остров потеряет для самураев всякую привлекательную ценность.

Дурнее этого анекдота трудно было придумать.

— А в уме ли вы? — возмутился Ляпишев. — Если самураи и полезут на Сахалин, так не за тем же, чтобы снять кандалы с каторжан, не для того, чтобы разрушить тюрьмы и водрузить над островом знамя гражданской свободы. У них совсем иные цели, и они понятны даже нашим дружинникам: захватить богатства Сахалина, которые валяются у нас под ногами, и об этих богатствах в Токио извещены гораздо лучше, нежели знаете о них вы, сидящие там, в благополучном Хабаровске... Так что же мне делать, черт побери? Или составлять пятый план для архивов этой дурацкой канители, или плюнуть на все и сложить на груди руки, как новоявленному Наполеону? Возвращайтесь обратно в Хабаровск и скажите там, что русский народ никогда не простит нам, если Сахалин станет японским «Карафуто»...

Никогда еще Бунге не видел губернатора таким взбешенным, статский советник даже побоялся задавать ему вопросы. На всякий случай, от греха подальше, Бунге занял свое место в углу кабинета и ждал того гениального мазка кистью, который гениально допишет всю картину сахалинской трагедии.

— А потом, — в ярости выпалил Ляпишев, как бы еще продолжая полемику с хабаровским адъютантом, — потом историки будущей России, перерыв архивы, станут писать в своих монографиях, что все было просто замечательно, все было продумано. Только вот этот старый дурак Ляпишев, который увлекся молоденькой горничной, до того уже отупел, что ничего не сделал для приведения обороны Сахалина в порядок.

Бунге робко выбрался из своего угла:

— Кстати, как здоровье нашей милой Фенечки?

— Плохо, — сразу поник Ляпишев. — Плохо...

Хабаровск вскоре по телеграфу известил его, что присылка дополнительных войск на Сахалин откладывается до... 1906 года! А летом с материка кое в чем помогут.

---

Создание дружин подорвало главные устои каторги, а результаты амнистии, обещанной царем после победы над Японией, заметно разрушили основы благополучия чиновников и надзирателей, жиревших за счет труда каторги. Развращенные тем, что жили припеваючи — кум королю, все получая бесплатно, трутни тюремного ведомства пугались дружинника, вчерашнего каторжанина, которого никто не конвоировал. Наоборот, он дерзко маршировал с берданкою на плече, как солдат, и уже не собирался «ломать шапку», украшенную крестом ополченца.

— Кому жаловаться? — уныло вопрошал Слизов, а госпожа Слизова просто изнылась в отчаянии:

— Сначала ушел от нас дворник, который слова дурного от нас не слыхивал; вчера улизнул и повар. Кастрюли стоят до сих пор не-

мытые, дровишек поколоть некому — теперь все за деньги! Страшно подумать, что все эти мерзавцы стали «защитниками отечества», а ведь никто не подумал о наших правах... где же они?

Штабс-капитан Быков выдержал нелегкую борьбу.

— Что-нибудь одно, — доказывал он Бунге, — или мои ополченцы будут заняты обороной острова, или они снова потеряют права воинства, осужденные корячиться на каторжных работах. Нельзя же дергать людей с двух сторон сразу...

Корней Земляков с той самой счастливой поры, как сделался «защитником отечества», едва ноги таскал: с утра его гоняли с берданкой, учили брать штурмом деревенские заборы и колоть штыком «по-суворовски», а с полудня забирали на общие работы, чтобы страдал по-каторжному. Стоило оставить берданку, берясь за топор или лопату, как начинали мордовать тюремщики.

— Да вот он, крест на шапке, — говорил Корней. — Не за тем в дружину пошел, чтобы надо мной изгилялись.

— Ты мне тут еще потявкай! — отвечали ему прежние тюремщики в чинах прапорщиков. — Надо будет, так искалечим...

До лета отрывали окопы вдоль берега, напротив Александровска — со стороны моря — устраивали боевые позиции. В ясные дни, выглядывая из траншей, дружинники часто видели зеленеющий массив материка, а миражи приподнимали над морем далекие видения, и однажды с Сахалина наблюдали, как завернул в сторону Де-Кастри иностранный пароход. Корабли частных коммерческих компаний, желая заработать на выгодных фрахтах, скоро бросили якоря на рейде Александровска. Капитан германского сухогруза «Лодзин» брался доставить на Сахалин военные припасы из Николаевска, горячо убеждая Ляпишева не скупиться:

— Что вам стоит выложить тридцать шесть тысяч рублей, и к концу навигации я завалю грузами всю вашу пристань.

— Дорого, — отказал ему Ляпишев.

«Дорого» потому, что полковник Тулупьев разбазарил казну губернаторства на «подъемные», обогатившие трактирщиков и местных профурсеток, для удобства которых даже открыли особые «танц-классы», где они и отплясывали с каторжным начальством. Недаром же генерал Кушелев говорил Ляпишеву:

— Дайте мне полковника Тулупьева, а я уж сыщу статейку, чтобы он у меня не вылезал из «сушилки».

— Милый мой прокурор, — со вздохом отвечал Ляпишев, — я бы сам перевешал тут половину своих Ахиллов, если бы с эшафота могли они отпрыгнуть обратно в казну все переваренное ими в житейский тук, которым и полей наших не удобрить...

Неожиданно с маяка «Жонкьер» пробили первую тревогу: в Татарском проливе завиднелись подозрительные силуэты, поверх которых

нависал пар. Ляпишев приказал войскам стать под ружье, сам выехал на тройке с бубенцами к пристани, вооруженный, как полководец перед битвой, громадным биноклем.

— Миноносцы! — точно определил он классификацию вражеских кораблей. — Ясно вижу японские миноносцы. Тащите пушки!

— Да не стреляют они, язви их в дуло!

— Все равно тащите орудия на пристань, пусть враги с моря видят, что мы не лыком шиты, готовы постоять за себя...

Но «миноносцы», отчаянно паря над морем, будто уже получили попадание в котельные отсеки, спокойно уплывали в даль пролива, и тогда к губернатору подошел Корней Земляков, у которого давно не было зубов, но появился новый синяк под глазом.

— Ваше превосходительство, дозволейте отличиться?

Ляпишев великодушно взмахнул биноклем:

— Отличись, братец! А как будешь отличаться?

— Мы с ребятами на кунгасе быстро туда смоаемся и все разглядим, какие они такие. Вы не бойтесь: на материк не удерем, потому как из команды быковской — люди честные!

— Живы вернетесь — всем по Георгию, — обещал Ляпишев.

Дружинники вернулись на шлюпке, пристыженные, словно по ошибке проглотили не варенье, а касторку, на губернатора глаз не поднимали. Михаил Николаевич спросил:

— Ну что там, братцы? Рассмотрели противника?

— Так точно, навоз поплыл, — сказал Земляков. — По весне-то в Николаевске, видать, скотные двory чистили, весь навоз на лед Амура покидали, вот он и выплыл в море на льдинах. А над навозом всегда пару много, на то он и навоз...

Ляпишев вручил бинокль поручику Соколову, начальнику своего личного конвоя, и перестал изображать полководца:

— Что ты мне эту гирию сунул? Таскай ее сам...

Каждый вечер губернатор отправлял по телеграфу доклады вышнему начальству: «На Сахалине все спокойно». Эта фраза, почти эпическая, утешала его самого, но при этом невольно вспоминалась знаменитая формула генерала Радецкого: «На Шипке все спокойно». Кушелев с юмором заметил:

— Как не быть тут спокойствию? Только на картине сахалинского спокойствия надо бы изобразить не балканские кручи, а большие кучи навоза самого скотского происхождения...

Простим их. Ладно! На войне всякое бывает.

---

После этого случая — шалишь! — ошибки уже не случится: льдины с навозом никто не перепутает с кораблями. Поговорив на эту важную тему, матросы, служители маяка «Жонкьер», легли спать.

Они так сладко спали, что даже не заметили, как с моря подкрался затаенный и острый, как нож, миноносец. Когда же очухались и кинулись названивать тревогу по телефону, миноносец уже подал на берег швартовые концы...

Это был наш миноносец — из Владивостока! Каторжане вежливо спрашивали матросов:

— Ну, как там житуха, во Владивостоке?

Ответы звучали браво, по-морскому краткие:

— Ничего. Спасибо. Хреново.

Ляпишев принял у себя командира миноносца.

— На Сахалине, слава богу, пока спокойно, — отчитался он скорее для утешения самого себя. — Но мы живем на острове в полном неведении происходящего во внешнем мире. Не затруднитесь изложить краткий перечень победных событий.

Миноносник уселся напротив губернатора:

— Ну какие же тут победные события? О том, что произошло на Ялу, вы, конечно, извещены лучше меня, грешного.

— Да кто ж нас извещает?

— Так я доложу, что на Ялу наши войска отступили. Потом японцы высадились у Бицзыво, и генерал Оку перерезал сообщение с Порт-Артуром, блокировав его с севера.

— Впервые слышу, — удивился Ляпишев.

— Неужели не знаете, что мы сдали город Дальний?

— Да быть того не может!

— И, наконец, — подвел итоги офицер флота, — пока у вас тут все спокойно, в боях у Вафангоу японцы доколачивают нашего бравого генерала Штакельберга... Пока все!

Ляпишев долго пребывал в оцепенении.

— Огорошили вы меня, — сказал он. — Если бы сейчас под моим столом взорвалась мина, я бы не удивился так, как удивлен вашими словами. Теперь я понимаю, почему Хабаровску и Петербургу стало не до Сахалина. Но то, что вы рассказали, это, простите, не лезет ни в какие ворота. Я, старый военный юрист, отказываюсь понимать, как теперь правительство объяснит народу, куда ухались денежки, собранные с того же народа посредством всяческих налогов на флот и армию...

Ему было не до праздников, но, уступая настояниям дам, губернатор все-таки разрешил устроить бал в честь прибытия миноносца. Флотские офицеры явились в клуб Александровска, резко выделяясь своим обликом среди сахалинцев. В красивых мундирах, облитых золотом эполет и галунов, при треуголках с кокардами, они гордо опирались на вычурные эфесы парадных сабель — и казались выходцами из другого, ослепительного мира, в который нет доступа захудалым островитянам с каторги.



Ляпишев был мастер поговорить, любил застольные тосты, но сегодня он обратился к морякам с простыми словами:

— Вы уж, пожалуйста, не оставьте наш бедный Сахалин своим вниманием. Мы здесь совсем одиноки, нам негде ждать поддержки. Но, глядя на вас, молодых и красивых, хочется верить, что российский флот, издревле осененный славным Андреевским стягом, еще издали подаст нам руку помощи, как вы сегодня подали свои крепкие швартовы на причал Сахалина!

На следующий день миноносец поднял давление в котлах, тихо удаляясь от стенки убогого сахалинского пирса, и служители маяка «Жонкьер» видели, как он медленно растворился в солнечном сверкании моря, ловко обходя подводные камни.

## 14. Осторожно: подводные камни

Гротто-Слепиковский оказался замечательным человеком. Это был образованный и культурный офицер, веривший в неизбежность революции не только в России, но и в... Польше.

— Я задену вашу минорную струну, — сказал ему Полюнов. — Вам, поляку, наверное, не совсем-то удобно отстаивать оружием русские интересы на самых задворках России?

— Почему вы так плохо обо мне подумали! — даже обиделся Слепиковский. — Многие тысячи поляков считают за честь служить в русской армии. Не спору, что мне, природному поляку, было бы желательно воскресить великую Польшу, вернув в ее лоно те земли, что несправедливо расхищены немцами. А на улицах Варшавы, — сказал он смеясь, — я совсем не желаю видеть ваших городских с шашками. Я не против русских, но терпеть не могу политических выкрутасов Пилсудского, желающего извратить великий смысл исторических связей старой Польши и старой России. Может быть, поэтому мне слишком часто вспоминается трагическая жизнь Яна Собеского\* и его «вечный мир» с Россией...

После этого мужчины долго, со знанием дела говорили о короле Собеском, отзываясь о нем с сочувственной печалью. Анита, сидя меж ними, слушала. Затем Слепиковский сказал:

— Сейчас в Корсаковск иногда заходят купеческие шхуны из Владивостока, и вам, имеющему хорошие документы, почему бы не выбраться с Сахалина на материк?

Полюнов ответил, что это невозможно, ибо на материке он будет арестован скорее, нежели в этом хаосе Сахалина (и тогда последует

---

\* Ян Собеский — король Речи Посполитой в 1674—1696 гг. В 1686 г. заключил договор с Россией, известный под названием «Вечный мир». — *Примеч. ред*

не только настоящая каторга, но и вечная разлука с Анитой). Это было сказано им в присутствии девушки, и, возвращаясь домой, на тихой улице Анита сказала ему:

— Спасибо! Все-таки ты меня полюбил...

Ответ Польшова заставил Аниту призадуматься.

— Я не прошу, чтобы ты полюбила меня, — сказал он. — Я прошу только об одном: чтобы ты не разлюбила меня...

Именно в этом году Юзеф Пилсудский оказался в Токио, где установил деловые контакты с разведкой японского генштаба, чтобы совместно с самураями вредить где только можно России и русскому народу. «Несомненно, — думал Польшов, — у него и поныне сохранились какие-то связи с разгромленной “боевкой” Лодзи, не исключено, что злокозненные нити предательств тянутся до Сахалина». И тут Польшов сразу же вспомнил последний разговор с Глогером, который заставил его помянуть. Анита заметила его повышенную нервозность, а Польшов не счел нужным скрывать от девушки своей озабоченности. Но сначала спросил:

— Ты, кажется, ждешь от меня правды?

— Да. Скажи мне все.

— Все я говорить тебе не стану. Но зато скажу главное. Не так давно на Сахалине появился один поляк, который вызвался похоронить меня. Смертный приговор, очевидно, санкционирован самим Пилсудским... Печально жить все время настороже, боясь выстрела в спину. Но теперь, — сказал Польшов, — после появления Пилсудского в Японии, ситуация сразу же изменилась.

— Изменилась... к лучшему?

— Да! Теперь уже не Глогер убьет меня, а я сам обязан разделаться с Глогером, и мой приговор обжалованию не подлежит. Конечно, это будет нелегко... даже очень трудно!

О том, что Пилсудский приехал в Токио, Польшов узнал от Слепиковского и, естественно, спросил: откуда ему стало это известно? Штабс-капитан сказал, что от барона Зальца.

— Зальца даже не скрывает, что сохранил прежние связи с Кабаяси, наверное, от него барон и узнал о Пилсудском. Но я предупреждаю, что на глаза барону Зальца вам лучше не показываться: Зальца очень хитер и проникателен. Я не ручаюсь за вас, имеющий паспорт на имя Фабиана Вильгельмовича Баклунда будет им сразу разоблачен.

— Пошел он со своей хитростью, извините, под хвост первой же собачке! — раздраженно ответил Польшов. — Я угодил на каторгу по собственной глупости, но я не глупее вашего барона...

Корсаковск погрузился в сон. Тюрьма позванивала кандалами узников, гасили свечи зевающие чиновники, вздрагивали во сне тюремные надзиратели, нащупывая револьверы, сладко опочил и барон

Зальца, начальник этого полудохлого царства. В городе было тихо, и очень тихо разделась в потемках Анита.

Тонкими руками она обняла Полынова за шею.

— Мне так нравится тебя слушать, — прошептала она. — Расскажи еще что-нибудь... хотя бы об этом Яне Собеском.

Полынов ладонью прикрыл ее лицо.

— Жил-был король когда-то...

— ...при нем блоха жила! — рассмеялась Анита.

— Нет. При короле жила королева, а звали ее Марысинкой. Памятник этой женщине и поныне стоит в Летнем саду Петербурга, где ты еще никогда не бывала. Марысинка была красива — как и ты, а Собеский любил ее, как я люблю тебя.

Ладонью он ощутил ее слезы.

— Не плачь. Я сделаю тебя королевой, как Ян Собеский сделал королевой безвестную Марысинку, и они не расставались...

— Никогда?

— Никогда. До самой смерти короля...

Высокий маяк «Крильон», установленный на самой южной точке Сахалина, посылал в ночь короткие, тревожные проблески, а с севера дружески подмигивал кораблям маяк «Жонкьер».

«Кто знает! Не это ли их будущие имена?»

---

Полицмейстер Маслов доложил Ляпишеву, что начались странные поджоги мостов, чья-то злая рука скovyрнула вчера с насыпи вагонетки железнодорожной «дековильки», а в шахтах Дуэ случился обвал, погибло сразу четырнадцать каторжан-шахтеров, генерал-майор Кущелев уже выехал к месту происшествия.

— По слухам, крепи в шахте оказались подпилены...

Михаил Николаевич даже руками развел:

— Безусловно, японская колония Сахалина не ушла просто так, приподняв цилиндры над головами, она оставила здесь свою агентуру. А что мы можем предпринять в свою защиту? Я бессилён... Где мне взять столько людей, чтобы охранить всю береговую полосу острова, если мы с трудом наскребли две тысячи людей с берданками для ограждения Александровска и Корсаковска?.. Впрочем, благодарю. Учтем и это.

Маслов уложил бумаги в портфель, спросил участливо:

— А как там Фенечка? Хуже или полегчало?

— Неважно. У нее как раз врач Брусенцов...

Военный доктор Брусенцов, который пользовал в городе самого губернатора и семьи сахалинского начальства, вышел из комнаты Фенечки с удрученным видом. Он сказал:

— Если эта женщина слишком дорога вам, советую отправить ее на материк, чтобы показать врачам Владивостока.

— Понимаю, доктор, ваши опасения, но Фенечка не жена ведь мне, а только каторжница, взятая мною в услужение. Как человек, я могу сердечно сочувствовать ей. Но, как губернатор, не имею права отпустить каторжницу с Сахалина. Это было бы грубым нарушением законности и правопорядка, блюстителем которых я здесь являюсь по воле моего монарха.

— Тогда, — сказал Брусенцов, накидывая пальто, — вы не судите нас, врачей, слишком строго, если с вашей горничной случится что-либо худое. К этому вы должны быть готовы...

Михаил Николаевич прошел в комнату Фенечки и, склоняясь над нею, с невольным трепетом расцеловал ее руки.

— Ах, Феня, Феня... Почему такая кривая и уродливая жизнь у нас? Ты бы знала, как мне тяжело! Чем бы помочь тебе?

— Стоит ли жалеть вам меня, ежели я сама во всем виновата? — спросила его горничная. — Коли уж в народе говорят, что от тюрьмы да от сумы не отказывайся, так чего мне теперь от смерти-то воротиться? Помру — туда и дорога...

В эти дни Ляпишев сделал доброе дело — избавил Клавочку Челищеву от сидения над корректурами приказов губернского правления. Бестужевка имела диплом об окончании школы фельдшерниц, и теперь для нее шили ладненький костюм сестры милосердия. Михаил Николаевич спросил девушку:

— В каком из наших отрядов хотели бы служить?

— Если можно, в отряде штабс-капитана Быкова...

Конечно, госпожа Слизова и подобные ей сплетницы уже разнесли молву по городу, будто эта чистюля, корчащая из себя ученую недотрогу, «путается» с Быковым, но Михаил Николаевич оказался выше этих негодных сплетен.

— Не имею причин отказывать вам, — сказал он.

К лету 1904 года в дружинах числилось уже две с половиной тысячи добровольцев, а конвойные команды, ранее охранявшие каторжан, перевели в разряд резервных батальонов. Лошадей не хватало (север Сахалина имел всего пятьдесят всадников, а в Корсаковске с трудом набрали кавалерию из четырнадцати человек). Наконец, из Николаевска прибыло подкрепление — батальон крепостного полка, составленный из пожилых людей, призванных из запаса, и Кушелев выразился о нем слишком четко:

— С поганой овцы хоть шерсти клок, и на том спасибо этим мудрецам из Хабаровска.

Не было хорошего оружия, кроме стареньких берданок, не было бинтов и лекарств. А четыре негодные пушки тупо смотрели в синеву Татарского пролива. Капитан Таиров клятвенно утверждал за картами, что японцы на Сахалин не полезут:

— Имею самые точные сведения! Не хватало им еще мороки с нашими головорезами... Чего они тут не видели?

— Ну, это вы завираетесь, капитан, — отвечали ему партнеры по штосу. — Японцы могут прийти. Но придут только в том случае, если проиграют войну в Маньчжурии.

— Да бросьте вы, господа! — говорил поручик Соколов. — Порт-Артур уже сковал все японские силы, по слухам, на Балтике готовится могучая эскадра адмирала Рожественского. Скажу больше — скоро нам пришлют новые пушки...

Правда! На материке, видать, поднатужились и оторвали от своих запасов целую батарею пушек для Сахалина. Орудия встречали на пристани, как триумфаторов, музыкой гарнизонного оркестра; в честь прибытия артиллерии Ляпишев разрешил устроить «народное гулянье» по улицам Александровска. На этом же гулянье штабс-капитан Быков увидел Клавдию Петровну в новом платье сестры милосердия и не скрыл своего недовольства:

— Вам к лицу! Но зачем вы это сделали?

— А вы разве сами не догадались?

— Признаться, нет.

— Меня больно задели ваши слова, сказанные в похвалу той девчонке, которая рядом с гадким человеком убралась от нас. Мне хотелось доказать вам, что я тоже могу быть рядом...

— Неужели рядом со мной?

— Да.

— Рядом со мной вам будет очень трудно...

Быков не сказал ей самого страшного. В японской армии тоже были сестры милосердия. Но их кадры формировались посредством набора из домов терпимости. Самураи думали, что русские сестры милосердия таковы же, и потому на полях сражений они косили наших санитарок нещадным огнем своих пулеметов.

.....  
Пожалуй, один только барон Зальца, окружной начальник в Корсаковске, ведал истинное положение вещей, точно оповещенный, что японцы обязательно высадятся на Сахалине, ибо в захвате острова самураями больше всего были заинтересованы деловые круги США. Залежи угля и нефти на Сахалине давно будоражили аппетиты заокеанских капиталистов. Зальца, поклонник японского массажа и любитель приемов джиу-джитсу, был не только приятелем японского консула Кабаяси! Нет, он пошел еще дальше, заручившись дружбой с инженером Клейе, искавшим на Сахалине нефтяные источники. Тайный агент американской компании «Стандард Ойл», Клейе с 1898 года безвылазно торчал в Александровске, всюду афишируя, что составит нефтяной синдикат, после чего даже на «кандалных» каторжан, си-

дящих на параше, низвергнутся колоссальные прибыли... А теперь скажем правду: даже не консул Кабаяси, а именно этот «тихий американец» ван (или фон) Клейе являлся главным осведомителем Зальца, от него барон и узнал о появлении в японском генштабе пана Юзефа Пилсудского. Правда будет нами продолжена: щедрая любезность Клейе требовала ответной информации, а потому барон Зальца регулярно оповещал Клейе о всех делах на русском Сахалине, и нетрудно догадаться, куда же в конце концов поступали эти сведения...

В биографии этого остзейского негодяя из Курляндии не все было благополучно, иначе барон не «загрел» бы на Сахалин. Он телефонировал в Александровск — самому губернатору:

— Ваше превосходительство, у меня в Корсаковске появился некий агент торговой фирмы по имени Фабиан Вильгельмович Баклунд. Я уже веду за ним тихое негласное наблюдение, но ничего предосудительного пока не обнаружил. Вы его знаете?

— Ничего не знаю, — сказал Ляпишев. — Но помнится, что я визировал паспорт Баклунда по прибытии его на Сахалин.

— Баклунд утверждает, что начало войны застало его в сахалинской глуши, где он задержался из-за болезни племянницы.

— Да, да, — ответил Ляпишев, — теперь я вспомнил! Кажется, он был у меня еще до моего отъезда в отпуск...

(Ляпишев действительно знал Баклунда, но подлинный Баклунд отплыл с Сахалина еще осенью прошлого года, о чем губернатору не было известно.) И барон Зальца успокоился. Но Польшину предстояло серьезное испытание! Конечно, он предвидел, что за ним установлено наблюдение, вслед за которым последует неизбежное свидание с окружным начальником. В подобных случаях надо идти прямо на тигра, а не убегать от него.

Гротто-Слепиковского он спросил:

— Где бывает по вечерам ваш глупый барон?

— Этот умный барон играет в клубе на бильярде.

— А ты посидишь дома, — велел Польшину Аните.

— Не уходи без меня... я боюсь за тебя!

— Ерунда, — ответил Польшину, заряжая браунинг.

В бильярдной клуба Зальца предложил Баклунду разыграть партию. Баклунд ответил ему согласием на отличном немецком языке, что понравилось барону. Великолепный игрок, Зальца обошел бильярд по кругу, предупредив соперника:

— А я вас «дворянским»... не возражаете?

«Дворянским» ударом, пустив шар зигзагом, барон заколотил в лузу два шара подряд — «модистку» (№ 2) и «барабанные палки» (№ 11). Польшину-Сперанский-Баклунд сказал:

— Своим умением вы доставили мне приятное волнение. А я вас... «кочергой» прямо в «бабушкино наследство»!

Семеркой он уничтожил восьмерку, потом точными выбросами кия вмиг опустошил от шаров зеленое сукно бильярда.

— Вы играете, как английский аристократ.

На похвалу барона Польшов ответил:

— Сознаюсь, что в Мукдене моим постоянным партнером был английский консул Артур Бриджстоун.

— Значит, вы владеете и английским языком?

— Да. Но терпеть не могу английской литературы.

— Почему? — выпытывал барон Зальца.

— Не понимаю английского юмора. Наверное, надо родиться англичанином, чтобы ощутить английское остроумие. Уж сколько раз я, немец из Бауска, вникал в британское чистописание, насильно принуждая себя расхохотаться, но даже улыбки у меня не возникло на скорбно изогнутых губах.

— Однако знатоки считают английский юмор тонким.

— Возможно! Но, очевидно, он тоньше человеческого волоса, и потому нормальному человеку без помощи микроскопа его даже не заметить, как мы не замечаем микробов...

Барон Зальца расплатился с Польшовым за проигрыш:

— Так вы, оказывается, мой земляк? Тоже курляндец? У меня в Бауске были хорошие знакомые. А... у вас? — Поставив вопрос, Зальца с выжидательным трепетом ожидал неверного ответа, но получил ответ самый верный:

— Я бывал в доме бауского предводителя дворянства барона Бухгольца, сестра которого вышла за эстляндского барона Эдуарда Толя, прославившего себя полярными открытиями.

Зальца был удивлен точностью сведений:

— А что заставило вас служить в торговых фирмах?

— Желание повидать мир. Наконец, скудость кошелька родителей, которых я неудачно выбрал еще до своего рождения.

— Я слышал, с вами и племянница?

— Бедная моя сиротка! — огорченно вздохнул «торговец». — Она так привыкла ко мне. *Volens nolens*, но предстоят немалые заботы о том, чтобы обеспечить ее приданым...

— А не выпить ли нам? — вдруг предложил барон.

Кажется, Зальца решил его подпоить. Но Польшов сослался на свое давнее органическое отвращение к алкоголю.

— Выпить я с вами могу... стакан молока!

— Послушайте, а как вас занесло в эти края?

— Увы, война спутала мои планы. Я хотел наладить в бухте Маука отлов трепангов для китайского рынка и добычу морской травы *lamínaria digitata* для японских ресторанов. Но... увы! Сейчас возник очень острый вопрос в снабжении солью.

(В бухте Маука теперь районный центр — город Холмск.)

— Какая же нужна соль?  
— Лучше всего с илецких копей, — пояснил Полынов.  
Зальца настойчиво прошупывал его со всех сторон:  
— Илецк... это, простите, где? В Африке?  
— Нет, шестьдесят верст к югу от Оренбурга.  
— А разве японская соль плохая?  
— Неважная. У нее нездоровый запах и дурной привкус, недаром же сами японцы вынуждены закупать соль в Америке.  
— Вы, я вижу, специалист в своем деле.  
— А служить в солидных торговых фирмах нелегко, — ответил Полынов. — Приходится разбираться даже в качествах соли — альтонской, закарпатской, ишльской, евпаторийской, страсфуртской и прочих. Да, нелегко...  
Полынов вернулся домой — прямо в объятия Аниты.  
— Расскажи, что было с тобой?  
— Я снова поставил на тридцать шесть.  
— Тебе повезло?  
— Кажется, я выиграл...  
С мыса Крильон маяк продолжал посылать во мрак ночного моря проблески сигналов, оповещая всех плывущих с Лаперузова пролива: осторожнее, будьте бдительны, иначе вы все разобьетесь о подводные камни.

## 15. Господа выздоравливающие

Желтые воды Сунгари медленно обтекали грязные задворки Харбина. Спать мешали скрипы двухколесных арб, управляемых ударами хлыстов и криками погонщиков. По лужам шлепали босые нищие, таская на плечах длинные коромысла, но вместо ведер, столь привычных для русского уклада, на коромыслах висели плетеные корзины, и в каждой сидело по ребенку...

Капитан Жохов наблюдал за повседневной жизнью Харбина через окоno военного госпиталя, он часто ругал нищих:

— Вот вам! Самим жрать нечего, а они плодятся с такой быстротой, будто законы мальтузианства к ним не относятся.

Харбин, эта унылейшая столица КВЖД, протянувшей рельсы в глубину Маньчжурии, на время войны превратился в главный госпиталь страны, принимая каждую ночь до четырех санитарных поездов. Выздоровливающим и отпускным нечего было делать, а самое веселое место в Харбине — это вокзал с рестораном.

Сергей Леонидович Жохов, излечиваясь после ранения, даже в госпитале пытался писать для «Русского инвалида», но обстановка



на фронте не радовала, он восхвалял уже не генералов, а незаметные подвиги русских врачей и сестер милосердия. Теперь он писал об ампутациях по методу Лисфранка, об отнятии ступней и голени по Шопару, о вылушении суставов по способу Гранжо, писал о том, что фронтовики, не выдержав болей, иногда стрелялись прямо на койках харбинских госпиталей. Когда хирург Каблуков подарил Жохову японскую пулю, извлеченную при операции из его тела, капитан осмотрел ее глазами грамотного и толкового генштабиста:

— Шесть с половиной миллиметров. Заключена в мельхиоровую оболочку. Выпущена из ружья системы Маузера. Должен сказать, что эта красотка намного гуманней той, которую я получил в самом начале двадцатого века от «боксеров» при штурме фортов Таку! Зато японская шимоза — не приведи бог под нее угодить, и осколки от ее разрывов острые, как рыболовные крючки.

Офицерскую палату навестил генерал Надаров:

— Господа выздоравливающие! Я, как начальник тыла армии, уполномочен сделать вам предложение. Сахалин еще остается в опасности, а в тамошних условиях возможна только партизанская война, и вам предлагается стать командирами партизанских отрядов. Невольте вас в этом решении никто не станет, дело тут чисто добровольное. Пожалуйста, решайте сами.

Один из очевидцев этой встречи писал: «Командировка при таких условиях казалась лестной. Решить вопрос, желаешь или нет, просили сразу же... в голове быстро роились мысли, соображения, вопросы. Хотелось принести большую пользу родине, манила и самостоятельность. Там, на Сахалине, быть может, можно больше и существеннее послужить любимой России...» Но большинство офицеров сразу же отказались от такой чести:

— Сахалин у нас превращен в помойную яму империи, куда сваливаются всякие отбросы общества, а посему я, честный русский офицер, отказываюсь сражаться за эту помойку! -

Осталось лишь несколько добровольцев, желавших ехать на Сахалин, среди них оказался и капитан Жохов.

— А вам-то зачем? — удивился генерал Надаров.

— Я же корреспондент и потому всегда должен быть там, где меня никто не ждет. К тому же я лично знаком с сахалинским военным губернатором. Милый и симпатичный человек...

Вечером с чемоданами в руках офицеры долго блуждали в путанице рельсов, между эшелонами, поездами и множеством вагонов. Были вагоны-перевязочные, операционные, вагоны-изоляторы, вагоны-прачечные, вагоны-ледники, вагоны-рестораны и просто товарные теплушки, переполненные злыми маньчжурскими клопами. Наконец, офицеры втиснулись в роскошный вагон личного

поезда княгини Зинаиды Юсуповой, который, мягко качнувшись на эластичных рессорах, медленно потащился к Амуру...

В штабе Приамурского военного округа (это уже в Хабаровске) «господам выздоравливающим» показали сверхсекретную инструкцию для партизанских отрядов на Сахалине. Жохов, как генштабист, был предельно возмущен:

— Зачем нам суют эту галиматью, составленную из примеров двенадцатого года? Сейчас двадцатый век, и условия партизанской борьбы станут совсем иными. Наконец, вы дали нам карты Сахалина, будто вырванные из гимназического учебника по географии, по ним не узнаешь ни характера гор на юге острова, ни проходимости рек... Где же простейшая триангуляция?

— Насчет триангуляции спросите на Сахалине.

— У кого спрашивать — у каторжников?..

Так офицеры впервые столкнулись с полным незнанием Сахалина и его условий. Все были образованные, все знали Францию и Германию, по газетам судили о Китае, Египте и Гватемале, а вот своих же окраин не ведали. С большим трудом они раздобыли в Хабаровске две книги о Сахалине — Чехова и Дорошевича, чтобы читать их в дороге. Однако были удивлены:

— Да в них один стон и скрежет зубовный...

По Амуру ходили тогда большие комфортабельные пароходы с громадными колесами на корме, отчего уссурийские жители называли их «силозадами». Офицеры разместились по каютам и, оглядывая речные пейзажи, поплыли в неизвестное. Чехова и Дорошевича читали вслух, комментируя прочитанное:

— Черт побери! Всякое мог думать, но чтобы на Сахалине был еще и музей — это превосходит всякую меру ожидания...

Поражала статистика: Россия ежегодно тратила на Сахалине полтора миллиона рублей, ничего взамен не получая, а японцы, не будучи хозяевами острова, зарабатывали с него миллионы.

— А куда же смотрела наша хваленая администрация?

— Успокойтесь, господа выздоравливающие! Администрация Сахалина на все смотрит через глазок тюремного карцера...

Каждый русский в те времена вспоминал о Сахалине с душевным содроганием, как о тяжелой неизлечимой болезни, ибо за всю жизнь не слышал о нем ни одного путного слова. А теперь офицеры сами уплывали в эти презренные края, готовые защищать их до последней капли крови как важнейший рубеж.

— Хватит критики! — рассуждал Жохов. — Что вы, господа, так пылко охаиваете Сахалин? Вспомните «Железную дорогу» Некрасова, там ведь тоже была каторга, самая настоящая, только не маячили у

насыпей конвоиры с оружием да не брэнчали кандалы поверху онучей наших мужиков-землекопов. А разве лучше было в «Мертвом доме» Достоевского? Ей-ей, господа выздоравливающие, еще можно поспорить, где лучше отбывать срок — в одиночке «Крестов» и Шлиссельбурга или на каторге Сахалина...

Страшная таежная глухомань по берегам Амура вселяла тоску. Редко появится русское селение, где домашний скот заменяли тощие собаки, облаивающие каждый «силозад» с таким небывалым усердием, будто им за это выплачивали премиальные. Сами же поселенцы — тоже люди не первого сорта, и, когда их спрашивали, из каких губерний приехали на Амур, они отвечали:

— Какая там к бесу губерния! Мы свое уже отсахалинили, теперь по закону обязаны отсидеть срок на Амуре в лесу, чтобы потом далее ехать — домой к себе, на родину...

Постоянной оседлости не чувствовалось, каждый каторжанин, попадая сюда, хотел отсидеться подальше от начальства, всеми правдами и неправдами «зашибить деньгу», а потом смыться. По мнению сахалинцев, тут везде было плохо, и только в России все было великолепно, как в раю небесном.

— Позорный результат колонизации, — говорил Жохов. — Я верю, что, когда на Амуре появятся новые люди с идеалами добра и святости, местная жизнь станет неузнаваема...

В селе Софийске причалили к борту парохода с потушенными огнями, изнутри которого слышались вопли и сатанинский хохот, будто в трюмах этого «силозада» пытали грешников или развлекали людей комедиями. Жохов окликнул матроса:

— Что у вас там происходит?

— И-де? — спросил матрос, шлепая босыми пятками.

— Да у вас, у вас. Кто там орет и хохочет?

— Психи!

— Откуда они взялись?

— А мы с Сахалина притопали. Тамошний губернатор указал на время войны дом для умалишенных вывезти на материк, чтобы психи окаянные не мешали ему с японцами воевать...

Не спеша дотащились до Николаевска, который на ландкартах Российской империи именовался «крепостью». Но что было в этом амурском городишке от крепости — не понять. Может быть, оборону мощно укрепляли сонные офицеры гарнизона, которых никогда не видели с утра побритыми? А возле пристани торчали шесть речных миноносков; с их палуб матросы, выворачивая скулы в зевоте, ловили рыбок на удочки. Правда, город охранял устье Амура, для чего по берегам были расставлены пушки, но все равно сердце болезненно сжималось при виде этого «крепостного» убожества... Меж собою офицеры говорили:

— Неужели и на Сахалине такое же? Кошмар. Ужас.

В магазинах за пачку папирос просили рубль.

— Да вы что, или тронулись на Амуре?

— А за дешевыми папиросками езжай в Россию...

«Господа выздоравливающие» решили перед Сахалином помыться. Банщик, потеряв спину, потребовал с Жохова три рубля.

— В Москве-то у Сандунова за полтинник потрут.

— А здесь вам не Москва, чтобы полтинником фасонить. Ежели станете кобениться, я мгновенно скандал устрою. У меня, чтобы вы знали, и кум в полиции служит... Я вам не какой-нибудь, я шесть лет на сахалинской параше отсидел!

— Жаль, что тебя не утопили в этой параше...

Из Николаевска отплыли на частной шхуне сахалинского негодянта Бирича, бывшего уголовника, который, угодив на Сахалин, стал майданщиком, нажил тысячи, теперь проживал барином, владея на Сахалине домами и целой флотилией шхун. Бирич внушал офицерам не верить в дурные слухи о Сахалине:

— Это все бездельники придумали... писатели там разные! Читали мы галиматью ихнюю. Дай бог, чтобы в России такой «прижим» был, какая на Сахалине... свобода! На Сахалине только и жить хорошо человеку, ежели он умеет мозгой шевелить...

Бирич хвастал, что дочка его окончила гимназию Владивостока, теперь к ней посватался граф Кейзерлинг, который служит лейтенантом на броненосце в Порт-Артуре.

— И ничего! Даже графьям не зазорно с нашими каторжанами родниться. Вот приплывете на Сахалин, сами увидите.

---

Чиновник Слизов был первым, встреченным на пристани Александровска, и он даже развел руками перед Жоховым.

— Что я вижу! — последовало восклицание. — Сколько лет сахалиню, повидал приезжих с разными значками, университетскими и корпусов кадетских, но еще никогда не встречал человека со значком Академии русского Генерального штаба...

Ляпишев обрадовался прибытию офицеров с фронта, уже обстрелянных в боевой обстановке, в их приезде он хотел видеть добрый признак укрепления сахалинской обороны, и конечно же Ляпишев был искренно рад встретить капитана Жохова.

— Сергей Леонидович, — сказал он, — в гарнизоне немало темных людей, которых не мешало бы просветить. Мы же ничего не знаем о войне, не знаем, как воюют японцы, и было бы хорошо, если бы вы прочли в клубе лекцию, а?..

Вечером Жохов выступил перед офицерами гарнизона:

— Должен сказать, что на полях Маньчжурии мы встретили сильного и опасного противника. Япония почти брезгливо отмахнулась от

опыта англо-бурской войны в Африке, самураев никак не соблазнила военная доктрина англичан, сводившаяся, по сути дела, не к подавлению врага, а лишь к обману его... Японская армия, напротив, освоила энергичный натиск стратегии германского фельдмаршала Мольтке Старшего — их впечатляли быстрые маневры, гибкие охваты с флангов. Наконец, японцы показали себя в этой войне с нами прекрасными знатоками маскировки: можно пройти мимо японского солдата и даже не заметить его, полностью растворившегося в зелени гаоляна.

Жохов не скрывал от слушателей, что порядки японской армии достойны всяческого подражания:

— У них отсутствует генеральство за выслугу лет, как у нас, у них нет карьеризма, разъедающего нашу армию. В японской же армии ты можешь быть родным братом самого микадо, но, если не отличился личным примером в боевой обстановке, ничего не получишь. У японцев людей награждают только по истинным заслугам, а не «по благу», как это, к великому сожалению, случается в России... Еще, — сказал Жохов, — я хотел бы обратить внимание господ офицеров Сахалина на то, что все японцы — мастера шпионажа. Как в большом, так и в малом! Наша русская пресса уже не раз писала, что они любят шпионить даже за родственниками и друзьями, а репортеры токийских газет — это настоящие филеры. Если ночной вор крадется за добычей, он боится уже не полиции, а журналиста, следующего за ним с блокнотом. Если девица тайком спешит на свидание, репортер не сводит с нее глаз. Завтра в газетах будет опубликована ее биография, все в Японии узнают об ее кавалере: «Редакция газеты считает своим долгом напомнить родителям невесты, что избранник ее сердца уже второй год не может расплатиться с прачками за выстиранное белье...» После такой публикации жениху уже незачем назначать девице следующее свидание!..

На крыльце клуба к Жохову подошел штабс-капитан Быков.

— Как я вам завидую! — горячо сказал он.

— Завидуете... чему?

Быков показал на значок Академии Генштаба.

— Но это же не орден, — рассмеялся Жохов.

— В моих глазах, — отвечал Быков, — этот значок ценнее и выше всех орденов, ибо делает из офицера культурного человека, а многие из нас лишены самых простейших знаний...

Жохов догадался, что Быков давно служит на Сахалине, и он в осторожной форме стал выведывать у штабс-капитана: что ему известно о некоем ссыльнокаторжном Полынове?

Но Быков сразу замкнулся, весьма сухо ответил:

— С этим лучше обратиться к полицмейстеру...

Маслов встретил военного журналиста с чрезвычайным радушием. В вопросе же о Полынове, который повесился от неразделенной

любви к горничной губернатора, полицеймейстер охотно допускал и такой вариант, что Полынов никогда не вешался:

— Вы попали в страну чудес! Тут у нас полно всяческой экзотики. Сегодня один человек, а завтра уже другой. Возможно, что Полыновых вообще не было на Сахалине.

— Вот как?

— Но допускаю, что их было сразу два.

— И такое возможно?

— Конечно! Что вы хотите, если у меня на каторге три знаменитых разбойника и все трое зовутся одинаково, каждый из них называется Тенгиз-Амурат-Баба-Оглы-бей.

— Как же вы их различаете?

— Проще простого. Собрал всех трех вместе. Палач у меня всегда наготове. Разложил разбойников на лавке и давай накладывать печати казенные. Одному пять плетей, второму десять, а третьему пятнадцать. Теперь не отвертятся! Надо узнать, какой Тенгиз-Амурат провинился, палач суконкой его разотрет, а на спине красные полосы выступают: пять, десять, пятнадцать... Вы только мою фамилию не записывайте, — сказал полицеймейстер Маслов, испугавшись блокнота в руках Жохова. — Я, знаете ли, в передовых людях хожу, даже реформы всякие приветствую, а моя жена изучает сочинения господина Боборыкина. Не дай бог, если в печати мое имя появится. Ведь тут все затравят меня... от зависти!

Маслов советовал Жохову посетить местный музей:

— Ну что там Лувр, где одни Мадонны с младенцами? Ну что там наш Эрмитаж, где и смотреть-то нечего, кроме баб, догола раздетых? Зато уж в нашем сахалинском музее такие экспонаты разложены, что ахнете от восторга... Такие плети, такие кандалы, такие рожи висят, каких нигде не увидите. Обязательно побывайте. Паче того, вход у нас бесплатный. Мы же не «глоты», чтобы последнюю копейку из бедных рвать...

## 16. Цензура этого не пропустит

Тюремная поэзия редко одаривала литературу шедеврами, и большая часть стихов пропала для нас в прошлом, тихо угаснув вместе с их безвестными авторами. Далекая от совершенства, сахалинская поэзия покоряла не совершенством формы, а лишь документальностью содержания... Вот как писал о Сахалине старый политкаторжанин И. И. Мейснер:

Позорный край, где царствует насилие,  
Где долг и честь под плетью палача,  
Где женский стыд лишь вызовет глумленье,  
Остроты грязные и шутки подлеца.

Где вьюги вечный стон и звон цепей печальный,  
Где жизнь унылая, как факел погребальный.  
Несчастный край, где кровью сердце плачет,  
Где морем слез насыщена земля,  
Где все — печаль... печально ветер дышит!  
Печальная, печальная страна.

Наше путешествие по музею сахалинской каторги, читатель, может быть только воображаемым, ибо этого музея давно не существует. Открытый в декабре 1895 года, музей в Александровске был основан политкаторжанами; они же были его первыми научными работниками и экскурсоводами. Перед зданием музея на деревянных стапелях, как большой корабль, завершивший трудное плавание, покоился громадный скелет кита, выброшенного однажды на берег свирепым штормом. А внутри музея — несколько комнат, но совсем нет публики, и печальный экскурсовод Вычегдов, увидев капитана Жохова, откровенно жаловался:

— Не идут к нам! Кому интересно, если все здесь собранное можно увидеть и в жизни. Наверное, необходимо время, чтобы сменилось несколько поколений, а тогда внуки и правнуки нынешних каторжан повалят в музей толпами, и каждый экспонат станет для них уникальной реликвией сахалинского прошлого...

В самом деле, интересно ли видеть фотографии знаменитых палачей, которые тебя пороли? Вряд ли вызовут приятные эмоции кандалы, которые ты сам таскал, или плети, рвавшие с твоей спины куски мяса так, что обнажались кости... Впрочем, устроители музея любовно обставили этнографический отдел, в художественных манекенах наглядно представив фигуры сахалинских аборигенов в национальных одеждах, предметы их примитивного быта. В банках со спиртом плавали диковинные рыбы, бусинками глаз глядели птичьи чучела. Здесь же можно было видеть химические колбы с образцами сахалинской нефти, куски каменного угля и даже крупницы золота сахалинского происхождения.

Сергей Леонидович удивленно спрашивал Вычегдова:

— Скажите, а зачем здесь лежат обрывок старой газеты, кусок грязной тряпки и даже оторванная от сапога подошва? Если это мусор, то почему его не вывели вон?

— Это игральные карты, — пояснил Вычегдов.

— Помилуйте, какие ж это карты?

— А вам не понять всей силы картежного азарта, который от безумной тоски овладевает каторжанами. Если отобрать у них карты, в дело идут самые неожиданные предметы. Однажды баржу с преступниками оторвало от берегов Сахалина и вынесло штормом в от-

крытый океан. Когда же на пятые сутки их обнаружили — 10 арестантов застали в трюме за самодельными картами. Они даже не заметили, когда скрылись от них берега...

Безвестный скульптор-арестант талантливо слепил из глины целую композицию — каторжан, тащивших из тайги бревно. Эти согбенные фигуры людей в бушлатах хорошо «читались» среди коллекций пород дерева и бамбука. А сахалинский лопух, словно шатер, раскинулся под сводами музея, поражая воображение приезжих, не знакомых с гротескной природой Сахалина, которой свойственно пошутить причудами гигантомании. Жохов сказал:

— Если у вас такие лопухи, то страшно ходить под ними, чтобы не свалилась с них мошка — величиной с поросенка.

— А вы бы видели нашу крапиву! — ответил Вычегдов.

Среди множества фотографий убийц и душегубов, громил и аферистов выделялся снимок женщины с одутловатым, противным лицом, и трудно было поверить, что это знаменитая Сонька Золотая Ручка, когда-то дурившая богатых мужчин своей оригинальной красотой, выдавая себя за аристократку.

— Сволочь! — конкретно характеризовал ее Вычегдов. — Работала чаще всего по поездкам, обирая доверчивых простаков. Когда ее судили в Москве, то вся публика ахнула, увидев судейский стол, заваленный золотом и бриллиантами, которые она наворовала. Здесь, на Сахалине, эта бабенка руководила самогонварением, планировала грабежи с убийствами, но всегда выкручивалась, как змея, из любого дела. Не приведи господь, если потомки захотят увидеть в ней героиню... Это была сущая мерзавка, каких еще поискать надо!

Теперь на Сахалине немало различных музеев, но того, старого, самого ценного и уникального, нам уже не вернуть. Жаль! Ведь даже скелет кита по косточкам разобрали... А почему так случилось, читатель узнает на следующих страницах.

---

Капитан российского Генштаба и корреспондент газеты «Русский инвалид» покинул музей и прошел мимо кита, старательно пересчитав количество его ребер. Женский смех заставил Жохова обернуться, и он увидел симпатичную девушку в кокетливом костюме сестры милосердия, явно пошитом на заказ.

Это была Клавочка Челищева, сказавшая ему:

— Извините меня за неуместный смех. Но по вашему поведению я сразу догадалась, что вы человек на Сахалине новый. Никто из местных жителей китом не интересуется, к нему все давно привыкли, как горожане к уличным фонарям...

Удивительно быстро они познакомились, и подозрительно быстро Челищевой понравился молодцеватый капитан Жохов. Спору нет,



Валерий Павлович Быков был замечательным человеком, Клавочка за многое оставалась ему благодарна, но в скромном слуге сахалинского гарнизона не было того блеска и той привлекательности, какими обладал столичный академик Генерального штаба Жохов, уже много видевший и много думавший. Вызвавшись проводить девушку, Сергей Леонидович, нисколько не рисуясь перед ней загадочным Печориным, сказал, что в его жизни, кажется, наступил... кризис:

— Который можно разрешить лишь отставкой, чтобы потом целиком посвятить себя только литературе.

— В каком же, простите, жанре?

Жохов, замедлив шаги, неожиданно признался:

— Я хотел бы дописывать чужие романы.

— Странное желание, — удивилась Клавочка.

— Совсем нет! Русские писатели, как я заметил, способны сочинить хороший роман, но они часто теряются, когда дело подходит к концу. Обычно их роман завершается поражением героя, а чаще всего поцелуем, который дарит ему героиня его сердца. Все это ерунда на постном масле! — решительно заявил Жохов. — Выйдя в отставку, я хотел бы завести подпольную контору по написанию окончаний романов. Уверен, моих способностей хватило бы на то, чтобы помочь несчастным авторам выпутаться из потемок сюжетного лабиринта. Мой герой не стал бы погибать и не стал бы целоваться с прекрасной героиней...

— Это забавно! — согласилась Клавочка.

— Да. Я придумывал бы такие окончания, что читатели, совсем обалдевшие, бегали бы по городу, крича: «Дайте мне сюда этого негодяя автора! Я его зарежу. Я не только зарежу писателя — я его съем с горчицей и хреном...»

— Но вы шутите, — даже обиделась Клавочка.

— Отнюдь! — возразил Жохов. — Шоколадный король Жорж Борман уже стоит на правильном пути. Он пустил в продажу граммофонные пластинки, сделанные из шоколада. Любая психопатка, заочно влюбленная в Фигнера или Собинова, может сначала прослушать их любовную арию, а потом завершить свой триумф поеданием пластинки с голосом любимого человека.

Клавочка Челищева прямо-таки вознегодовала:

— Вы просто смеетесь надо мною! Я вам поверю только в одном случае, если вы здесь же, не сходя с этого места, придумаете такой конец романа о сахалинской каторге, который бы до основания потряс меня своей неожиданностью.

Не успела она договорить, как Жохов воскликнул:

— Готово! Я уже придумал. Конец романа о сахалинской каторге таков: на Сахалине не будет никакой каторги.

Челищева с большим сомнением покачала головой.

— Вы опять не верите мне? Так слушайте, что я вам скажу: еще при Александре Первом, незадолго до восстания декабристов, в лучшем обществе лучших русских людей зародилась мысль — все ехать на Сахалин, чтобы основать на этом диком острове свободную демократическую республику свободных людей... Что вы скажете мне на это, Клавдия Петровна?

— Цензура этого не пропустит, — вздохнула девушка.

— Согласен, что цензура этого не пропустит, — кивнул ей Жохв. — Но мы еще посмотрим, какой будет конец романа после нашей нечаянной встречи. На это не хватает даже моей фантазии...

## Часть третья ОБОРОНА

Вероятно, сахалинская эпопея не останется без разоблачения ее секретов, и тогда получится фарс с довольно трагическим финалом.

*Н. Д. Дмитриев (1908)*

### Сахалинский «варяг» *Пролог третьей части*

Двадцать восьмого июля 1904 года наша порт-артурская эскадра вышла в Желтое море, чтобы принять неравный бой с японским флотом. Эта битва закончилась для нас трагически. Но бригада крейсеров отважно проломилась через японские заслоны; отстреливаясь, наши крейсера на полных оборотах винтов выходили из боя, и среди них рвался крейсер I ранга «Новик» — лучший «ходок» русского флота, «чемпион» самых дальних дистанций.

На следующий день в немецкой колонии Циндао (Кью-Чао), где Германия имела гавань для своих кораблей, появился «Новик», и немецкие офицеры вполне сочувственно пересчитывали пробоины в бортах славного русского крейсера:

— Для вас война уже закончилась, не лучше ли интернироваться в нашем Циндао, откуда можете разъезжаться по домам...

«Новик» имел слишком громкую славу! Даже японцы восхищались подвигами крейсера, считая, что он был «заколдован» от поражений. Токийский корреспондент лондонской «Таймс» писал: «Не раз япон-

ские моряки благословляли свою судьбу, что им приходится иметь дело только с одним «Новиком» — иначе вся история этой морской войны могла бы выглядеть совершенно иначе». Командовал крейсером молодой кавторанг Михаил Федорович Шульц, благодаривший немцев за их учтивость:

— Но война для «Новика» не закончилась. Дайте нам своего шаньдунского угля, мы отбункеруемся, и больше вы никогда не увидите нас в вашем прелестном Циндао...

В кают-компании крейсера было решено:

— Прорываться во Владивосток открытым океаном, избегая опасных узостей Цусимы, где нас непременно ждут. Мы обогнем Японию с востока, дозаправив бункера в Корсаковске уже сахалинским углем. Все понимают, что идти предстоит в экономическом режиме котлов и машин, дабы поберечь запасы топлива.

Как ни уговаривали их немцы спустить Андреевский флаг, чтобы интернироваться в Циндао, крейсер через десять часов уже вышел в море. «Новик» был еще очень молод, его машины стучали исправно, как сердце здорового человека. В носовом артиллерийском плутонге мичман Санечка Максаков уселся в пушечное кресло перед прицелом, разгладил складки на белых брюках. Комендор Архип Макаренко провернул по горизонту штурвал наводки, а мичман сказал ему:

— Ну, Архип, считай, что мы уже дома.

— Не накаркайте беды, ваше благородие. Кто же говорит, что он дома, ежели до Владивостока еще винтить и винтить...

Океан, тяжело ворочая свои водяные турбины, легко поднимал крейсер на гребень волны, выдерживал его там секунды две-три, а потом с шумом низвергал вниз; в плюмажах холодной пены крейсер снова начинал штурмовать высоту, с которой ему дальше виделось вдоль черты горизонта. В тесных рубках радиотелеграфисты прослушивали эфир, говоря озабоченно:

— У японцев все береговые станции заняты трепотней. Ни хрена не понять, только слышно — «Новик» да «Новик». Видать, они нас потеряли, а теперь ищут-рыщут.

— Горизонт чист, — докладывали с вахты, и это утешало...

Обычная походная жизнь. Офицеры отдыхают в каютах, почитывая в койках романы Поля Бурже и Мопассана, матросы на рундуках или в «подвесушках», качаясь под потолками кубриков, как беззаботные дачники в гамаках, перелистывают дешевые сытинские издания «для народного чтения». По ночам наблюдали далекие россыпи огней японских городов, исчезающих по левому борту, — крейсер держался только нордовых румбов, на которых, как надеялись, его не могли ожидать японские силы адмиралов Камимуры и Катаоки. Лишь бы скорее пронесло мимо огни, лишь бы не напоротся на «нейтрала»,

который сболтнет в эфир, что встретился с русским крейсером. В котлах камбузов коки доваривали порт-артурские запасы, рассуждая:

— До собачины дело не дошло — пока свинина! А вот чем угостят на Сахалине? Сказывают, у них там самим жрать нечего. Коли солдат из топора суп варил, так на Сахалине, наверное, жирный навар с кандалов получается...

Юный мичман Санечка Максаков, зевая в ладошку, сидел в навигационной рубке, с лентой наблюдая, как штурманский карандаш выводит прокладку генерального курса на север:

— Ага, идем между Иессо и Шикотаном, а там уже и Лаперуз, там и Корсаковск... Честно говоря, — признался мичман, — согласен облобызать даже сахалинскую землю, ибо целых полтора года качался вне России, а у меня в Петербурге мама... переживает! Уже старенькая.

— Сколько ж лет твоей маме? — спросил штурман.

— Ой, уже тридцать пятый год пошел.

— Да-а, — посочувствовал штурман, — совсем уже дряхлая. Когда вернемся с моря, даст бог, живы и невредимы, я за твоей старушкой согласен еще поухаживать...

На мостике возникла суматоха, вскинулись бинокли:

— Британский торгаш «Кельтик»... Нарвались!

Офицеры проводили его долгим взором, и тут радиотелеграфисты доложили: «Кельтик» начал передачу в эфир.

Санечка Максаков искренно огорчился:

— Врезать бы этому болтуну фугасным под ватерлинию, чтобы он заткнулся. Да нельзя — нейтрал...

Настроение в команде крейсера заметно испортилось. Но виноват в этом оказался не только «Кельтик», союзный Японии. Входя на рассвете в пролив, они не знали, что их уже заметили с японского маяка «Атойя», что работал на острове Шикотан, и точно в 7 часов 40 минут 6 августа Токио был оповещен о проходе русского «Новика» в Лаперузов пролив.

Адмирал Камимура сказал адмиралу Катаоке, что японские крейсера «Читоза» и «Цусима» уже посланы в этот район:

— «Читозе» лучше остаться в стороне, потому что он уже не раз сражался с «Новиком», а русские запомнили его выразительный силуэт. Надо послать на поиск «Цусиму», которая имеет три трубы и две мачты, делающие ее похожей на русского «Богатыря», что и введет «Новик» в выгодное для нас заблуждение.

---

Трудно вообразить суматоху, возникшую в Корсаковске, когда стало известно, что не надо удирать в тайгу с узлами домашнего барахла, — это не японский, а русский крейсер, и с берега уже разглядели

его гордый Андреевский стяг. Барон Зальца торопливо облачился в мундир, прицепил шпагу.

— Сам черт его принес! Обязательно на своем хвосте притащит беду на наши головы... Зовите городского старосту. Пусть берет поднос, чтобы встречать гостей хлебом-солью.

Из города как раз гнали стадо коров на выпас, и среди мычащих животных метались люди, спешащие к пристани. Местный оркестр готовился грянуть бравурным маршем Радецкого, а чины полиции с тревогой посматривали на «Новик»:

— Вот как шарахнет — мы и костей не соберем!

Судебный следователь Зяблов тоже был в мундире:

— Да за что ему нас шарахать? Мы же православные. От святого причастия никогда не отворачивались.

— А крейсеру все равно... От флотских добра не жди. Они там какие-нибудь стрелки перепутают, и по своим — бац, мое почтение! У них же столько всего из математики и геометрии наворочено, что они сами не разберутся...

Шульц, сойдя на берег, едва козырнул Зальца:

— Сейчас не до церемоний! В эфире слышны переговоры противника, потому срочно берем воду и бункеруемся.

— Вам дать каторжников для погрузки? У меня ведь Корсаковская тюрьма битком набита этой сволочью.

— Не надо, — отвечал Шульц барону, — на флоте все каторжные работы обязаны исполнять наши матросы...

Однако жители Корсаковска столь были рады «Новику», что в ряд с матросами работали не только ссыльные, но даже старики и женщины, набегали дети, все хотели помочь крейсерским. Но эфир все время потрескивал от активных переговоров японцев, и скоро с мостика последовал доклад:

— С моря подходит наш «Богатырь»!

— Да какой там «Богатырь», если это «Цусима»...

— Прекратить погрузку! — распорядился Шульц.

Горнисты призвали к бою. Крейсер, дрожа от напряжения, как человек трясется от ярости, устремился в атаку. Оптика прицела боковой пушки поймала в крестовину наводки тень японского крейсера, Макаренко сказал Максакову:

— Я же говорил — не каркайте, что мы дома.

В ответ нога мичмана нащупала упругую педаль боя:

— Огонь! Лучше уж, Архип, дома помирать...

Издали силуэты японских крейсеров казались скользкими, словно рыбины, и, как рыбины, они выскальзывали из прицела. Японцы передали открытым текстом по-русски: «Чсть вашему мужеству. Предлагаем почетную капитуляцию». На это «Новик» озлобленно отвечал работою пушечных плутонгов — с носа и с кормы, избивая и

уроду надстройки «Цусимы», пока та не стала удаляться, кренясь на левый борт, дымя пожарами. Но японцы боя не прекращали. «Читоза» пошел на сближение. «Новик» тоже имел попадания, убитых даже не убирали с постов: вода затопила румпельный отсек, через пробойны, старые и новейшие, внутрь крейсера хлестала вода. С головы мичмана Максакова шальным осколком сорвало фуражку и опалило волосы. Он сказал, что без помощи рулей, управляясь только винтами, им долго боя не выдержать. И Шульц, кажется, это понял:

— Видишь, Архип, возвращаемся в Корсаковск...

Радисты во всю мощь корабельных антенн глушили переговоры противника. С океана вдруг нахлынула тьма, и где-то вдали японские крейсера скрестили в небе бивни своих прожекторов, как слоны, обрадованные встрече в непроходимых джунглях. Потом эти бивни расцепились, один из них воткнулся прямо в борт «Новика», ослепляя людей на его палубе.

Шульц вызвал к себе окружного начальника Зальца:

— Попросите, барон, жителей Корсаковска спрятаться в погребах. Я еще не знаю, какое мы примем решение, но оно может быть и самым трагическим для нашего крейсера.

Стало ясно, что «Новик» блокирован в заливе Анива, а в Корсаковске не было ремонтной базы. На офицерском совещании предложили высказать всем, в том числе и мичману Максакову.

— Мы в заливе Анива, — сказал Санечка, — как и крейсер «Варяг» в бухте Чемульпо, так пусть наш доблестный «Новик» останется в народной памяти сахалинским «Варягом».

— Только не взрывать! — решили офицеры. — Машины «Новика» великолепны, мы затопимся через кингстоны, чтобы после войны поднять крейсер, и он еще послужит России...

Убитых сдали жителям, дабы отнесли их на кладбище, раненых свезли в лазарет. Команда покинула крейсер, и «Новик», не спуская флага, медленно погрузился носом в море, но кормовая часть его палубы осталась над водою.

---

Итак, все было кончено. Пора думать о будущем. Офицеры крейсера с отвращением давили каторжных клопов в казарме, где их временно разместили, а мичман Максаков жизни уже не радовался:

— Что будет с мамой, если она узнает, что ее любимый сыночек, краса и гордость семьи Максаковых, оказался на Сахалине? Ведь она может решить, что я совершил кровавое преступление и теперь в кандалах катаю по Сахалину тачку каторжанина. Да тут для мамочки никакой валерьянки не хватит.

— Вы правы, юноша, — согласился штурман. — Я думаю, что всем нам следует как можно скорее с каторги убираться.

— Куда? — грустно спросил Шульц, оглядывая шуршащие стены, по которым передвигались легионы бравых клопов, алчущих насыщения. — До Александровска отсюда шестьсот верст тайгою, а вы знаете, мичман, что такое сахалинский комар?

— На даче в Ораниенбауме меня иногда покусывали.

— Так это столичные комары. Вежливые. Все с высшим образованием. Они прежде спрашивают человека — можно ли его пососать? А вы поинтересуйтесь у местных жителей, вам скажут, что требуется один только час, чтобы ваши уши стали свисать с головы, как два уродливых бублика, а глаза превратятся в узенькие щелочки, словно у китайского богдыхана...

Было еще темно, рассвет едва обозначился над Сахалином, когда их навестил штабс-капитан Гротто-Слепиковский.

— Честь имею! — представился он. — Господа, я не слишком-то разбираюсь в ваших хитрых морских делах, но с Лаперуза, кажется, подкрадываются японские крейсера...

Воздух наполнился режущим скрежетом — это японцы с дальней дистанции стали расстреливать «Новик» с таким усердием, будто он, уже мертвый, все равно мог мешать им. Русские газеты извещали читателей: «Неприятель стрелял по Корсаковскому, причем японцы не жалели снарядов даже на одиночных людей на берегу. По уходе неприятеля выяснилось, что на “Новике” избиты две трубы, торчавшие над водой, разбит кормовой прожектор... 9 августа торжественно хоронили матросов, а раненые выздоравливают». Но через несколько дней с маяка «Крильон» заметили появление военных транспортов «Ниппон-мару» и «Америка-мару». Барон Зальца даже впал в уныние:

— Жили мы себе и даже клопов не замечали. Стоило появиться здесь флоту, как сразу все полетело кошкам под хвост, и теперь только успевай поворачиваться...

Японские катера высадили десант на корму полузатонувшего «Новика», но солдаты Слепиковского, рассыпавшись в цепь вдоль берега, покрыли самураев метким огнем из винтовок. Самураи с воплями прыгали обратно на катера, спасаясь бегством, и транспорты ушли несолоно хлебавши. Шульц с офицерами погреб на шлюпке к своему несчастному кораблю. Здесь они обнаружили девять подрывных патронов, которые и обезвредили. Было печально ютиться на «пяточке» кормовой палубы когда-то гордого красавца крейсера, и Шульц разрыдался.

— Не могу! — говорил он офицерам. — Не могу это видеть... Скорее бы уйти отсюда в Александровск, там мы выберемся до Николаевска, а потом... Мы еще нужны отчизне!

Барон Зальца был рад избавиться от моряков. Его даже пугала их «железная» дисциплинированность, словно насыщенная корабельным железом. Матросы между тем очень смело просили у него спичек,

чтобы прикурить, а барону такое обращение казалось признаком «анархизма». Зальца сам же в настойчивой форме уговаривал моряков поскорее убираться восвояси:

— По сахалинским понятиям, шестьсот верст — это сушая ерунда. Лучше уж таежные комары, нежели корсаковские клопы. У нас большое стадо коров, которых и погоните сами. Пока доберетесь до Александровска, вы их съедите целиком и еще скажете большое спасибо мне за мои заботы...

Гротто-Слепиковский взмолился перед Шульцем:

— Конечно, вы вправе покинуть нас, и мы не станем удерживать. Но снимите пушки с «Новика», отдайте их гарнизону. Вы же сами видите, что у нас силенок совсем мало.

Кавторанг ответил, что морская артиллерия очень сложная в управлении, она требует специалистов высокой квалификации, вместе с пушками надо оставлять комендоров с офицером.

— Добровольцев не будет, — сказал Шульц. — На флоте со старых времен Петра Великого сохранился добрый обычай: в затруднительных случаях доверять судьбу жеребьевке...

Один за другим подходили к нему офицеры и, прежде перекрестившись, тянули жребий — записочки, сложенные Шульцем в свою фуражку. Вздолнованные, они развертывали бумажки с небывалым трепетом, словно аптечные конвертики, в которых лекарство спасет или погубит, и снова крестились:

— Слава богу, только не мне.

— И не мне, господа.

— Оборони, Богородица!

— Пронесло и меня мимо проклятущего Сахалина...

По жребию выпало остаться в Корсакове с корабельной артиллерией и комендорами крейсера мичману Максакову.

— Только очень прошу вас, — обратился он к офицерам, — не сообщайте моей мамочке, что ее сын застрел на каторге, чтобы охранять ее от японских «банзайщиков». Пусть она думает, что мичман Максаков, как и прежде, плавает под Андреевским флагом...

Пушки остались! Но музыканты крейсера «Новик» никак не хотели расставаться с музыкой и тронулись во главе колонны, неся на себе победные трубы, геликоны и барабаны.

...врагу не сдастся наш гордый «Варяг»!

Пощады никто не желает!

---

Подвиг «Новика» не остался забыт. Сейчас на Сахалине протекает тихая речка — Новиковка, а на берегу залива Анива рыбаки живут в поселке Новикове, а возле Корсаковска появился памятник крейсеру



«Новик». Корабельная пушка старых времен мрачно поглядывает с пьедестала в сторону Лаперузова пролива, словно напоминая всем незванным пришельцам, что на Сахалин им лучше бы не соваться: здесь живут наследники былой славы — громкой славы сахалинского «Варяга»!

## 1. Не в добрый час

За все время войны Россия пропустила через поля битв в Маньчжурии полтора миллиона человек — это значит, что она задействовала армию, по силе равную той, какую имел Наполеон в 1812 году, когда он пошел против России.

Хотя инициатива в войне удерживалась японцами, а русская армия оборонялась, грешно думать, что дела самураев шли блистательно. Война с Россией была чревата духом наглешего авантюризма, ибо Япония питала свою военщину не внутренними ресурсами, а надеясь на подачки, которые она жадно собирала с Англии и США. Япония раньше России устала от войны, ее силы близились к полному истощению, а Россия имела такой нерастраченный золотой запас, какой самураям и не снился.

Наконец, рисовые поля японцев оскудели без удобрений, приученные год от года поглощать сахалинский тук. Обозреватель газеты «Дзи-дзи» задавался вопросом: «Чем же мы еще удобрим наши поля, которые привыкли к сахалинской рыбе?.. Ко всему этому следует прибавить китобойни в Охотском море, ловлю камбалы в Татарском проливе, охоту на русских бобров и котиков... все это — несметные сокровища, которые отняла у нас война с Россией!» Некий профессор рыбного института «Суисон-Кошучио» тогда же выступил с оголтелым призывом:

— Сахалин — для японцев! Если наше правительство боится захватить остров, так пусть выделит крейсера для охраны наших промыслов. Нельзя терять золотые берега Сахалина...

В русских газетах 1904 года появилось сообщение о том, что в Японии возникла «Лига возвращения Сахалина», в эту лигу вступили самые активные политические деятели. Если бы они тосковали только по крабам, по туку или по морской капусте — это еще извинительно. Но «Лига» договорилась до резолюции, в которой перечислила все, что необходимо Японии: «Занятие Порт-Артура, открытие дверей в Маньчжурии, покровительство (читай — захват) Корею, оккупация Приморской области заодно с Владивостоком, превращение Сибирской магистрали в общее имущество держав (таких, как Англия и Америка), наконец, военная контрибуция...» Кому-то из членов

«Лиги», наверное, было даже стыдно за небывалые размеры японского желудка. Но тут возник опять тот же профессор от рыболовства.

— Возможно, — внес он поправку, — не все из перечисленного нами в резолюции мы получим. Но мы, японцы, ни в коем случае не должны отказываться от приобретения Сахалина!

Михаил Николаевич Ляпишев заметно осунулся, издергался, в его распоряжениях появилась суетная бестолковость. Сегодня он сеголшался с Быковым, а завтра отменял принятое решение, нетерпеливо выслушав полковника Тулупьева. В ответ на упреки прокурора Кушелева губернатор признался:

— Виноват, состарился! Как говаривали в древности наши предки о своих немощных боярах, «оскудеша премудрыя старцы, изнемогоша их чудныя советники...».

Если и в мирные-то дни сахалинцы умудрялись жить впроголодь, выключившая с материка, как нищие, хлеба с селедкой, то в дни войны подвоза не стало. Уже начинала сказываться морская блокада, а появление японских крейсеров в заливе Анива даже пугало. Генерал-майор Кушелев сделал вывод:

— Пока мы тут болтаем и разводим писанину, японцы обстрелом Корсаковска уже напомнили нам, что война — это не канцелярская переписка... Мне искренно жаль Михаила Николаевича, который никак не способен возглавить оборону.

В конце августа губернатору телефонирует барон Зальца, сообщивший, что команда с крейсера «Новик» отправлена им — пешедралом! — от Корсаковска до Александровска:

— Я дал им вьючных лошадей и коров. Моряки спешат быть у вас до ледостава, желая поскорее добраться до Хабаровска, чтобы принять участие в этой войне. Одно беспокоит меня...

— Дойдут ли? — спросил Ляпишев. — Сознаюсь, что и меня это тревожит. Я ведь помню, что надзиратель Ханов загнал в тайгу близ Онора восемьсот человек, а из тайги выбрались живыми только десять. Моряки не привыкли ходить пешочком.

— Меня беспокоит иное, — издадека ответил Зальца. — Моряки оставили здесь корабельные пушки, и теперь боюсь, что выстроенная ими артиллерия будет привлекать японцев, как блудливых котов валерьянка.

Ляпишев дал «премудрый» совет:

— Перекреститесь и сплюньте через левое плечо...

Историю с «Новиком» губернатор держал пока в секрете от сослуживцев, чтобы не возникало излишних страхов, но Александровск скоро известился о бое в Аниве от учеников реального училища, друживших с телеграфистами острова.

В один из дней Ляпишева посетил генерал Кушелев:

— Штабс-капитан Быков заходил к вам?

— Нет. И не жду. А что?

— Да так, ничего. — Прокурор тяжело опустился на стул. — Наверное, еще зайдет. Мне, честно говоря, его жалко.

— Быкова? Почему?

— Вы же знаете, какая нездоровая атмосфера в наших северных гарнизонах. Если наши полковники высмеивают капитана Жохова — за его значок Академии Генштаба, то смеются и над Быковым — за его желание учиться в этой же академии.

— Так что я могу для Быкова сделать? Не поеду же я в Петербург сдавать за него приемные экзамены. Что ему надо?

— Просится на юг, где обстановка приятнее.

— Напротив! Именно на юге Сахалина обстановка может ухудшиться. Но за Быковым потащится и госпожа Челищева.

— Пусть. Если она влюблена, так скатертью дорога... Тем более, вы неосмотрительно согласились принять на Сахалине целую партию сестер милосердия из Николаевска.

— Да! Честные патриотки. Самоотверженные.

— Честные-то давно погребены в Порт-Артуре, самоотверженные кладут головы в Маньчжурии, — отвечал Кушелев с присущей ему прямотой. Направляясь уже к дверям, он добавил: — Думаю, Быкова не стоит удерживать, как не стоит держать в Александровске и Клавдию Петровну... пусть едут!

Скоро частный пароходик «Муха» доставил на Сахалин отряд «Имени великой княгини Елизаветы Федоровны» — сорок разгульных бабенок, видевших в этой войне только повод для развлечений. С ними прибыла походная церковь с иеромонахом и псаломщиком. Кушелев не ошибся в их нравственности. Вечером в клубе сестрицы устроили хорошие танцы-шманцы, а духовный причт, подобрав рясы, наглядно показал сахалинцам, как надо отплясывать гопака-трепака. Даже каторжане говорили:

— Гнать бы их всех обратно поганой метлой...

Под осень в городе появились первые моряки во главе с кавторангом Шульцем, за ними подтягивались из тайги отставшие, изнуренные утомительным переходом. Жители встречали их с большой сердечностью, но смотрели на моряков с жалостью: черные от дыма костров, в драной одежде, распухшие от укусов мошкары, они, казалось, сейчас упадут на землю и не встанут. Однако новиковцы сами дотацились до конторы телеграфа, желая сразу оповестить родных, что они живы, что скоро они снова займут место в боевом строю российского флота.

По случаю их прибытия в клубе устроили ужин для офицеров крейсера. Моряки держались замкнуто, трезво и строго. После осады Порт-Артура им, вышедшим из самого пекла морских сражений, было противно видеть сюсюкающие рожи тюремщиков, их расфуфыренных жен с претензиями на «светскость», они брезгливо сторонились

пьяненьких сестер милосердия. Статский советник Бунге извинялся, что нет шампанского, а Слизов уговаривал выпить какой-то бурды, пахнувшей свекольным отваром. Кавторанг Шульц громко сказал, что ему страшно за Сахалин:

— Если сейчас здесь появится хоть взвод японцев, вся эта сволочь разбежится по кустам. Да и смешно было бы ожидать героики от каторги! Теперь я жалею, что оставил в Корсаковске нашего мичмана Максакова. Ведь пропадет юноша... И там все разбегутся, а он останется при своих пушках!

Ляпишеву было стыдно перед моряками. Когда новиковцы отплыли в Николаевск на той же «Мухе», он немедленно посадил в «сушилку» иеромонаха с его псаломщиком, а насчет сестер милосердия распорядился жестоко:

— Оставлю только красивую Катю Катину, которая любит слушать мои анекдоты. Остальные пусть убираются в Дуэ, в Дербинское или Рыковское, там им станет не до хиханек...

Российское телеграфное агентство скоро известило империю, что на Дальний Восток тронулась из Балтийского моря могучая эскадра адмирала Рожественского, и среди чиновников Сахалина сразу началось ничем не оправданное ликование:

— Теперь и Порт-Артур будет в целости, и на Сахалин враги не полезут... Балтийский флот не ударит лицом в грязь, адмирал тоже хорош, наведет в море порядок. Спрашивается: зачем мы сидим на чемоданах, ожидая самураев по задворкам? Не пора ли всем вернуться по своим домам в Александровске, чтобы жить, как все люди живут... чинно, благопристойно!

Эскадра Рожественского вышла не в добрый час: русский народ еще не успел оплакать павших в битве при Ляояне, как началось сражение на реке Шахэ, в котором Куропаткин пытался вырвать инициативу у самураев, дабы выручить осажденный Порт-Артур, но кровопролитие на Шахэ неожиданно оказалось слишком жестоким — и для русских и для японцев.

Михаил Николаевич пожелал видеть Жохова:

— Вы, как генштабист, обрисуйте мне в двух словах: кто был лучше и активнее на Шахэ — мы или японцы?

— Все были хороши, и все были плохи, — ответил Жохов. — Японцы, как и наш Куропаткин, наделали массу ошибок. Если бы у нас был командующим не Куропаткин, а другой, мы бы давно пили чай в Нагасаки и заедали его мандаринами.

— Все-таки нельзя же так отзываться о своем командующем! Вас послушать, — сказал Ляпишев, — так и жить не хочется. Со мною вы, конечно, можете говорить все, я согласен выслушать любую крамольную мысль. Однако воздержитесь от подобных преувеличений с офицерами нашего гарнизона.

Жохова это замечание сильно задело:

— Но я ведь литератор, а значит, обжигаюсь, когда лишь чуточку тепло, и замерзаю, когда прохладно. Как вам угодно, но литература-матушка держится на гиперболах. Это в бухгалтерии нужна точность, а в литературе необходим образ Гаргантюа — почти гомерический, образ Плюшкина — мизерный... Иначе нам бы не чтить великого Рабле, не восхищаться Гоголем!

Как и предрекал Кушелев, Быков явился.

— Уже все знаю, — встретил его Ляпишев. — На одном месте вам не сидится. А ведь там, в Корсаковском округе, и без вас достаточно сил: полковник Арцишевский, отряды Таирова, Полуботко и Слепиковского, наконец, моряки оставили целую батарею, так зачем вы нужны со своими партизанами?

Валерий Павлович был убежден, что заливы Анива и Терпения открывают ворота на Сахалин; если что и начнется серьезное на острове, так начнется именно в Корсаковском округе.

— Не тепла ишу и не места, где лучше. В доказательство я согласен дислоцировать свой отряд хоть в Найбучи за Онором, ведь японцы могут высадиться даже в тех краях.

— С вами и Клавдия Петровна?

— Не оставлять же ее здесь... на этом пиру! Каково ей подчиняться сестре милосердия Кате Катиной?

Ляпишев стыдливо отвел глаза в сторону.

— Ну что ж, — позволил он, — отправляйтесь в Найбучи, я уверен, что Сахалин вы закроете со стороны залива Терпения...

В столицу острова опять перетаскивали имущество, архивы учреждений; вернулись по своим домам семьи чиновников. Начались прежние вечера в клубе, обеды и ужины, никто не думал о плохом, все верили в мощь эскадры Рождественского.

— Адмирал — душка, — говорила госпожа Жоржетта Слизова, танцует с полковником Болдыревым. — Мне показывали его фотографию... неотразимый мужчина! Если такой приснится женщине, она, несчастная, не будет спать до утра...

Пиленгский перевал, возвышаясь над Александровском, грозил Сахалину туманами и ранними снегопадами.

— Господи, — молился перед сном Ляпишев, — услышь ты меня, грешного, избави от лукавого и беса полуночного...

## 2. О чем они думали

Найбучи — так называлось место, которое Ляпишев закрепил за Быковым для его отряда. Что там, в этом Найбучи? «Море на вид холодное, мутное, ревет, и высокие седые волны бьются о песок, как

бы желая спросить в отчаянии: «Боже, зачем ты нас создал?» — так писал Чехов... В этих краях, забытых богом и начальством, писатель застал еще таких дряхлых каторжан, которые уже не могли вспомнить, когда они на Сахалин попали, а была ли за ними вина, тоже не ведали: «Может, и была! Разве теперь вспомнишь?» Иные старцы, не в силах поставить себе жилье, отрывали в земле норы, в которых и жили, как звери, редко выползая наружу... Когда-то в Найбучи уже квартировал крохотный гарнизонышко. Валерий Павлович размещал своих партизан где только можно, по избам и халупам, подновил заброшенную казарму-развалюху. Клавоочка Челищева устроилась зимовать в магазине, где никто не покупал пересохших конфет с начинкою из орехов, отвращались от банок с сардинками, зато найбучинцы подолгу и мечтательно озирали хомут, украшавший центр местной коммерции. Хозяин лавки уже не раз с унылою безнадежностью спрашивал штабс-капитана:

— Может, хоть вы-то купите?

— Хороший хомут. Только зачем мне его?

— Вот и все так. Кой годик висит...

Валерий Павлович все-таки купил этот хомут, но при этом взял с хозяина лавки слово, что за время его отсутствия он приглядит за Челищевой, чтобы ее никто не обидел.

Лавочник поклялся на трехпудовой гире:

— Во! Пусть кто скажет ей ласковое словечко, так по башке и трахну. Хорошего покупателя как не уважить?

— Челищева моя невеста, — пояснил Быков, — потому и вывез с собою на юг. А сейчас надобно в Корсаковске побывать...

По первопутку он отъехал на санях. Корней Земляков взялся быть ямщиком офицера. В дороге встречались зимовья, все в дырках от пуль, выпущенных из «винчестеров»: сразу видно, что кто-то напал, а изнутри кто-то геройски отстреливался. Быков сказал, что большинство преступлений в южном округе вызваны недостатком женщин, на что Земляков ответил:

— А чтоб их, окаянных, совсем не было! Сколько мучений бывает от этих тварей... я-то по себе знаю.

В эти дни, по настоянию властей Александровска, Зальца был вынужден устроить совещание офицеров Корсаковского округа. Они собрались: помимо Быкова, приехал капитан Таиров, из Соловьевки — капитан Полуботко, явились жившие в городе Арцишевский и Гротто-Слепиковский, который говорил:

— Даже в двенадцатом году партизанское движение имело четкие планы, о них всегда была извещена ставка фельдмаршала Кутузова. А нас не обеспечили даже базами для борьбы с врагом, между командами отрядов нет никакой связи.

— Опять же! — вставил свое слово Быков. — Я еще в Александровске язык обмолол, доказывая, что нельзя углубляться внутрь Сахалина, не зная, что там находится. Где же карты?..

Арцишевский и Таиров, робко поглядывая на молчавшего Зальца, сошлись в едином мнении, что дело не в геодезии:

— Еще неизвестно, что скажут дипломаты... Сами же японцы говорят: не бей палкою по кустам, тогда не выползут на тебя гадюки. Будем вести себя потише, и никто нас не тронет.

Зальца сказал, что дела военные его не касаются, больше беспокоит вызывающее поведение моряков на батарее и угроза со стороны ополченцев из каторжан:

— Преступнику сидеть в тюрьме, а не шляться с оружием.

— Вы своих каторжан держите в тюрьме Корсаковского, — заметил Быков, — и они не шляются с оружием в руках. Ваши слова, барон, воспринимаю как выпад по адресу моих партизан...

Ужиная в местном клубе, Быков заметил Польшова, но даже не кивнул, чтобы не навредить ему в той опасной роли, которую тот исполнял сейчас под именем фон Баклунда. Польшов тоже заметил Быкова, но равнодушно глянул мимо него, как будто они не были знакомы. Поздно вечером, когда Анита уже стелила постель, с улицы постучали. Польшов сам отворил двери.

— Корней? — удивился он. — Ты как сюда попал?

Земляков объяснил свое положение в отряде Быкова, предупредив, что на совещании офицеров был и капитан Таиров:

— Тот самый, которого вы при мне с метеостанции выставили, а потому вам бы лучше с ним не встретиться.

— А как ты нашел меня? — спросил Польшов.

— К вам меня подослал штабс-капитан Быков.

— Спасибо, что предупредили. Но помни, что меня с тобою тоже не видели. Я, братец, из старой шкуры перелез в новую, а третью натягивать сейчас неуместно. Так и передай Быкову...

Валерий Павлович вернулся в Найбучи; тогда ему и в голову не пришло бы, что пройдут годы и это мертвящее всех Найбучи станет носить новое имя — Быково!

---

С первыми морозами Фенечка заметно оживилась, обретя прежнюю резвость в желаниях. Наверное, ее поднял с постели страх потерять свое влияние на стареющего губернатора. Ляпишев поддался всеобщему искушению, заведя шуры-муры с развязною сестрой милосердия Катей Катиной, которую он лихо катал на губернаторской тройке с бубенцами. Фенечка Икатова не стала устраивать ему женских скандалов. Она поступила умнее. Облачившись в лучшее платье, горничная дождалась возвращения губернатора с прогулки, встретив его с небывалой нежностью:

— Ах, Михаил Николаевич! Не бережете вы себя. В ваши ли годы кататься при таком сильном ветре? Дождались бы, когда ветра не будет, а тогда катайтесь сколько вам влезет.

— И в самом деле замерз, не скрою, что холодно!

Фенечка поправила перед зеркалом букли в прическе.

— Только никогда не катайтесь с Катькой Гадиной.

— Да не Гадина она, а — Катина.

— Разве? — удивилась Фенечка. — Ведь она тут всем растрезвонила, что «прокатит» этого старого дурака — губернатора...

Вот такого афронта Ляпишев уже не стерпел:

— Что-о? Так и сказала? Ну, я ей покажу...

Фенечка даже поежилась от удовольствия:

— Ах, до чего же вы строгий! А я никак не научусь застегивать пуговички на спине... их так много, зачем их так много? Ваше превосходительство, застегните их на мне сами.

Плутовка повернулась к нему оголенной спиной, и губернатор Сахалина озябшими руками стал аккуратно застегивать все сорок восемь мелких пуговичек на платье любимой каторжанки...

До самой зимы 1904 года остров поддерживал связь с материком на почтовых собаках. Как только Татарский пролив замерз, капитан Жохов проехал с гиляками до Николаевска, чтобы закупить хороших папирос для себя, а вернулся в Александровск на лошадях, убежденный, что между Сахалином и Амуром возможно проложить прочную ледовую трассу.

— Рискованно, — сомневался Ляпишев. — Много было до меня губернаторов, и все они считали это дело невозможным.

— Но ведь еще не пробовали, — возразил генштабист.

Прокладка Жоховым санно-конного пути вызвала немалый отлив населения с острова в Николаевск. Многие бежали, боясь голодной зимы и нашествия японцев весной; этих людей даже не удерживали, чтобы избавить Сахалин от лишних едоков. Многие поселенцы, получив амнистию, тоже спешили через Татарский пролив; из Николаевска двигались жиденькие воинские подкрепления, но солдат гнали пешком. Навстречу им брели с длинными палками, нащупывая трещины во льду, одинокие фигуры амнистированных с жалкими котомками; иногда за ними, в вихрях колючей метели, тащились жены с малыми детишками... тоже пешком! С обратными обозами в Александровск поступали ящики патронов и порох, но доставка их обходилась казне дороговато, а Ляпишев всегда берег казенную копейку. Зато частные лица, у которых водились деньжата, заказывали с обозами муку и мясо, водку и сахар. В буфете клуба снова запенилось в бокалах шампанское, снова взлетали над танцующими пригоршни конфетти; госпожа Слизова садилась за рояль, растопырив пальцы, она вы-



бывала из расшатанных клавиш вульгарную польку «трам-блям»... Старались не думать о худшем, возлагая розовые надежды на эскадру Рожественского, которая, как былинно-сказочный витязь, ворвется в самую гущу боя, и все враги разом будут повержены.

Был день как день, и ничто не предвещало беды, когда бесстрастный телеграф принял известие с материка, что 20 декабря пали неприступные твердыни Порт-Артура.

Ляпишев пошатнулся в кресле, окликнул Фенечку:

— Накапай мне чего-нибудь... худо!

Плачущего, жалкого и обессиленного губернатора Фенечка отвела из кабинета в спальню, заставила его лечь.

— Живодеров-то звать или без них обойдетесь?

— Обойдусь, — ответил Ляпишев, едва шевеля губами. — Не могу поверить, что Порт-Артур, этот Карфаген, как называл его Алексей Николаевич, этот Карфаген... пал!

— Лежите, сейчас не до Карфагенов, — бестрепетно повелела Фенечка. — Не надо было кататься при сильном ветре. Сидели бы со мной дома, и ничего бы не случилось.

— Ах, при чем здесь ветер? Как же ты сама не поймешь, что Порт-Артур сдан, а приход эскадры адмирала Рожественского уже ничего не может исправить в этой дурацкой войне...

Россия вступала в 1905 год — в год революции!

В феврале Куропаткин открыл знаменитое сражение под Мукденом. Бездарное руководство битвою, моральная подавленность солдат, не веривших в свое командование, — все это привело к поражению. Куропаткин оставил армию, угнетенную кошмарами прежних неудач и ошибок. Новым командующим сделали генерала Линевича, которому досталось весьма невыгодное наследство. Армия откатывалась по старой Мандаринской дороге, уже наметилось стихийное движение обозов к Харбину. В этих условиях Линевич чаще обычного стал прибегать к награждениям.

— А как же иначе? — оправдывался он. — Тут все разбежались, как тараканы, в частях постоянный некомплект. А вот скажу, что завтра ордена станут раздавать, так сразу все прибегут обратно, и полки снова будут в полном комплекте...

Японские маршалы, загипнотизированные «гением Мольтке», готовили под стенами Мукдена маньчжурский вариант «Седана», но Седана не получилось: русская армия, даже расчлененная, вырвалась из клешей окружения. Линевич задержал войска на Сыпингайских высотах, и скоро здесь возникла мощная русская армия, способная не только обороняться, но даже наступать в глубину Маньчжурии; день ото дня она усиливалась за счет подвоза из государственной метрополии. В марте 1905 года фронт окончательно стабилизировался. Линевич имел право сказать:

— Я свое дело сделал, армия теперь в полном порядке, она всем обеспечена, но послушаем, что скажут дипломаты...

.....  
Именно в это время Терауци, военный министр Японии, обедая в американском посольстве, сказал посланнику Рузвельта:

— Я выражу свое мнение лишь как частное лицо; эту войну с Россией пора кончать. Но я буду рад, если вы, посол, мое частное мнение донесете до сведения президента...

Было ясно, что «частное» мнение Терауци выражает мнение всей самурайской военщины, которая уже выдохлась.

Теодор Рузвельт принял это к сведению:

— Я всегда желал, чтобы японцы и русские потрепали друг друга основательно. Но после мира важно сохранить в Азии спорные районы, в которых бы постоянно возникали опасные трения, и тогда Япония, соперничая с Россией, не будет залезать туда, где существуют наши американские интересы...

До самого дня Цусимы президент США охотно поддерживал «полезное для нас взаимное истребление двух наций» (это его подлинные слова). Рузвельта сейчас тревожило только одно: как бы не прохлопать момент, когда противники устанут драться, чтобы именно в этот момент ему выступить в защиту мира, обретя тем самым славу миротворца, и чтобы то же самое не успели сделать другие страны — Франция или Германия.

— В этом вопросе, — утверждал Рузвельт, — мы должны опередить всех миролюбцев, ибо главная задача американской демократии — нести людям светочи мира и христианской любви...

Японцы уже трижды зондировали почву в Европе для мирных переговоров, но при этом желали, чтобы Россия сама взмолилась перед ними о мире. Как раз весной 1905 года Европу лихорадило от «марокканского кризиса»: Германия нагло лезла в Африку, выживая оттуда французов, и потому Франции как никогда было нужно, чтобы Россия добыла мир в Азии, способная снова противостоять немецким угрозам. По словам Коковцова, официальный Петербург пребывал в каком-то оцепенении: эскадра Рождественского уже приближалась к японским водам, «всем страстно хотелось верить в чудо, большинство же просто закрывало глаза на невероятную рискованность замысла... публика же просто слепо верила в успех, и, кажется, один только Рождественский давал себе отчет в том, что сможет уготовить ему судьба...». Именно теперь, когда все еще колебалось, французский капитал решил продиктовать свою волю политикам России. В столице появился парижский финансист Нетцлин. Он долго беседовал с Коковцовым, но все сказанное им в беседе можно выразить очень кратко:

— Если вы желаете говорить с нами о новых кредитах, вы сначала должны успокоить общественность, возмущенную кровавыми

событиями Девятого января. Не в ваших же интересах продлевать бесполезную войну, которая мешает разрешить внутренние конфликты. Кто в Париже станет давать деньги Петербургу, если вся Россия охвачена революционными забастовками?..

Коковцов был не только финансист, но и политик, а потому сразу все понял, на ближайшем докладе императору сказал:

— Все кредиты из Франции исчерпаны, и нам не дадут ни единого су, пока ваше величество не закончит эту войну...

Весь мир, кто враждебно, а кто сочувственно, наблюдал, как эскадра Рождественского медленно vyplывает в проливы, стерегущие остров Цусиму. Английские политики Уайтхолла с некоторым злорадством ожидали этого часа, и почтенный лорд Ленсдаун сказал в эти дни французскому послу Полю Камбону:

— Если эта эскадра — последняя ставка русского царя, то не стоит мешать разыграть ее... как в хорошем покере!

Эта фраза была произнесена в Лондоне 3 мая, а 15 мая разыгралась трагедия русского флота. В Токио поняли, что нет лучшего момента для выхода из войны. Теперь японцы уже не ждали, чтобы Россия просила мира — они сами просили Рузвельта о посредничестве к скорейшему заключению мира. В кабинете русского императора появился американский посол Мейер, от имени президента США предложивший начать переговоры.

— Но я, — отвечал Николай II, — заранее предупреждаю, что, как бы ни сложились мирные переговоры с японской стороной, Россия никогда не станет платить Токио унижительных контрибуций. Впрочем, я посоветуюсь с близкими мне людьми...

Через несколько дней в Царском Селе под председательством царя было устроено совещание. Стенограмму этого секретного совещания мы приведем в сокращенных выдержках, стараясь донести до читателя лишь разногласия прений и ту общую растерянность, которая — после Цусимы! — овладела сановниками, приближенными к императору. Быстрое нарастание революции в стране накладывало на собеседников некий траурный грим...

Генерал ГРОДЕКОВ. Сахалин давно в критическом положении, а море во власти Японии. В китайских портах были заготовлены запасы муки для Сахалина, которые следовало доставить по приходе эскадры Рождественского, но теперь на это рассчитывать нельзя.

Адмирал АЛЕКСЕЕВ. Расход снарядов в эту войну превзошел всякие ожидания. Что же касается отправки войск на Сахалин, то это уже невозможно, ибо устье Амура, вероятно, блокировано японским флотом. Будем считать, что Сахалин отрезан.

Адмирал ДУБАСОВ. Россия не может быть побеждена! Она обязана победить врагов. Противник должен быть опрокинут и отброшен.

Для достижения этого надо слать на Дальний Восток не всякую шваль, а самые лучшие, самые отборные войска.

Военный министр САХАРОВ. Но при таких условиях закончить войну невозможно. Не имея ни одной победы или даже удачного дела, это — позор! Позорный мир уронит престиж России, надолго выведя ее из числа великих держав. Я за то, чтобы продолжать войну с Японией, и не столько ради материальных выгод, а чтобы смыть позорное пятно с чела великой России.

Министр двора ФРЕДЕРИКС. Всей душой разделяю мнение министра, что теперь мира заключать нельзя. Но не мешает нам знать: на каких условиях японцы согласны идти на мир?

Император НИКОЛАЙ II. Японцы воевали не на нашей земле, и еще ни один из них не ступал на русскую землю. Этого не следует забывать. Но, при отсутствии у нас флота, Сахалин, Камчатка и даже Владивосток могут быть захвачены японцами, и тогда приступать к переговорам о мире будет гораздо тяжелее...

### 3. Газета «Асахи» призывала...

Предательство начиналось на юге Сахалина, где окружной начальник Зальца отзывался о России как о чем-то гадостном, считая, что ее прогресс следовало бы остановить на изобретении трамвая, а большего русским и не надобно:

— Судить о культуре народа можно по состоянию кладбищ и по чистоте отхожих мест. А если в Корсаковске нельзя поставить скамейку на улице, где ее изрежут всякой похабщиной, то такому народу, каков русский, совсем не нужны достижения цивилизации, он нуждается только в плетях и кутузках.

Полковник Арцишевский, командир гарнизона в Корсаковске, не посмел возразить барону. Зато на брань курляндского дворянина смело ответил мичман Максаков:

— Спасибо немцам за изобретение трамвая! Я, как и вы, тоже испытываю отвращение при виде поваленных крестов на могилах и не выношу грубости. Но я протестую против ваших негодных оскорблений России, ибо состояние русских людей на каторге вы приравниваете ко всему русскому народу...

Конечно, Зальца в общении с офицерами еще не говорил всего того, о чем его извещал из Японии американский инженер Клейе. Но фон Баклунд (Полынов) уже завоевал доверие барона, и Зальца не стеснялся при нем рассуждать открыто:

— Дело идет к тому, что нам долго не продержаться. «Стандард банк» предоставил Японии заем сразу в пятьдесят миллионов долларов, но с обязательной гарантией под залежи угля и нефти на

Сахалине. Тут даже не Лондон! Американский капитал заставит их гарантировать этот заем взятием Сахалина...

Тюрьма в Корсаковске, кажется, не пугала барона. Зато он очень нервно реагировал на присутствие крейсерских пушек, выстроенных в батарею к северу от города, в тихой бухте под названием — бухта Лососей. Была уже весна, когда барон пригласил в окружную канцелярию Максакова:

— Господин мичман, у ваших матросов какие-то анархические замашки, да и вы, кажется, не желаете видеть во мне своего начальника. Но отныне вы уже не командуете батареей. На ваше место я назначаю судебного следователя Зяблова.

Максакову казалось, что Зальца пошучивает.

— Если ваш судебный следователь разбирается в морской артиллерии, я не смею возражать вам. Но вряд ли Зяблов смыслит в таблицах стрельбы для расчета траектории снаряда.

Барон Зальца явно злорадствовал:

— Зяблов ни бельмеса в них не смыслит. А вас я пока задержу в городе, чтобы вы подумали об авторитете местной власти. Здесь вам не Порт-Артур, где вы фасонили как хотели. Здесь нет и адмирала, который бы оспорил мое решение!

Коллежский ассессор Зяблов, прибыв в бухту Лососей, для начала пересчитал количество пушек. Архип Макаренко не стал устраивать чинуше экзамен о таблицах морской стрельбы для наводки по движущимся целям — он сказал иное:

— Мы тебя знать не знаем, а где наш мичман?

— Говорят, уже арестован.

— За что? — стали галдеть матросы.

— За оскорбление окружного начальника.

Макаренко сдернул чехол с орудия, разогнал его ствол по горизонту, прошупывая прицелом крыши Корсаковска:

— Боевая тревога! Братва, кончай чикаться... прямой наводкой по дому с зеленой крышей... фу-гас-ным — клади!

Клацнул замок, запечатывая жирную тушку фугаса в казенник. Макаренко велел протянуть провод телефона на батарею.

— Это ты фон-барон? — крикнул он в трубку. — С тобою говорит баковое орудие крейсера «Новик»... Хана пришла!

— Какая хана? — спросил Зальца комендора.

— А вот как звезданем по твоей конторе, так от тебя только один «фон» останется. Мы люди нервные, всю войну отгрохали, нам терять нечего... Подать мичмана на тарелочке!

Максаков в тот же день вернулся на батарею.

— Спасибо, братцы, — сказал он. — Если б не ваша прямая наводка по канцелярии барона, видел бы я мир через решетку... Бедная мама! Живет и не знает, куда попал ее сынулечка!

---

Июнь выдался жарким, даже слишком жарким для Сахалина. В доме губернского правления с утра были отворены настежь все окна, а Ляпишев расстегнул мундир. С улицы бодряще благоухало цветущими ландышами. Михаил Николаевич принял из рук Фенечки первую чашку с чаем.

— Я вижу, ты поправляешься. Какие новости?

Фенечка выложила перед ним листовку на русском языке:

— Вот новость! Утром на крыльце подняла...

Это была вражеская прокламация. В ней было сказано, что Япония за время войны не извела ни одного поражения, все русские дивизии давно уничтожены, а японская армия стоит у ворот Харбина. Далее цитирую: «Японское войско приносит свободу русскому народу, и эта свобода скоро вспыхнет на Сахалине... Знайте, что японское войско приходит, чтобы спасти вас из рук правительства, которое, заковав всех в цепи, предало вас безвестным терзаниям. Хотя ваше сопротивление не может иметь значения для победоносной японской армии, тем не менее мы предупреждаем всех каторжан-добровольцев, что все они, кто осмелится поднимать оружие против нас, **БУДУТ БЕСПОЩАДНО ИСТРЕБЛЕНЫ**». Ляпишев прошуupal хорошую бумагу прокламации.

— Как вам это нравится? — сказал он входившему к нему в кабинет полицмейстеру Маслову. — Фенечка нашла эту пакость на крыльце, и не могу понять: кто ее мог подбросить?

Маслов ответил, что такие же листовки обнаружены в казармах ополченцев, даже на квартирах офицеров.

— Плевать на эту писульку! — поморщился Маслов. — Ведь не все же у нас грамотные. Больше на сигарки изведут. Другое меня тревожит: на Сахалине снова начались поджоги мостов...

Каторга жила еще в полном неведении того, что происходит в мире: Российское телеграфное агентство оповещало островитян отрывками телеграмм с большим опозданием, жители кормились больше досужими сплетнями, перевирая старые газетные слухи, они продолжали верить в боевое могущество эскадры адмирала Рожественского, способное круто изменить положение.

Ляпишева навестил военный журналист Жохов:

— Боюсь, вы опять станете упрекать меня за то, что суюсь не в свои дела. Но сейчас мы с капитаном Сомовым вышли на шлюпке в пролив, чтобы обозреть наш укрепленный район. То, что мы увидели, это ужасно! Желтые брустверы окопов со стороны моря выглядят как оборки кружев, далеко видные. Такой безобразной обороной мы только помогаем японцам, заранее размаскировав свои позиции.

— Но ведь не я же копал эти окопы, и, если они сделаны неверно, теперь переделывать поздно... Кстати, — вдруг вспомнил Ляпишев, —

кажется, вы или Быков жаловались, что у нас нет карт Сахалина. Не откажется ли капитан Филимонов, знающий геодезию, провести съемку местности внутри острова?

— Боюсь, что поздно, — вздохнул генштабист.

— Боюсь, что она совсем не нужна, — ответил Ляпишев. — Но я все-таки пошлю Филимонова на съедение комарам, чтобы у вас не сложилось обо мне худого мнения. Поверьте, я всегда чутко прислушиваюсь к мнению боевой офицерской молодежи...

Михаил Николаевич действительно уважал офицера Быкова, он считался с мнением Жохова, но в близком окружении губернатора их не было. Известно, что любимцами растерянного начальства делаются не честные, сильные духом личности, а всякие прохиндеи, проныры, подхалимы и прочие нахалы, готовые воскурить фимиам начальнику ради своих персональных выгод. Недаром же прокурор Кушелев предупреждал губернатора:

— Простите, если употреблю громкие слова о долге, о чести, о том, что отчизна для русского превыше всего... У наших же полковников карманы штанов раздулись от «подъемных», их жены стали поперек себя шире, и эти гарнизонные господа не жертвуют ради отечества ничем — ни рублем из кармана, ни фунтом сала из общего веса своих дражайших половин.

— Какой тяжелый день! — невпопад отвечал Ляпишев. — Фенечка подсунула мне глупую бумажонку с угрозами, Маслов доложил о пожгое мостов, Жохов наговорил, что все окопы просматриваются с моря, а теперь вы утверждаете, что мои обер-офицеры ни к черту не годятся. Я чувствую, что этот жаркий день закончится чудовишной катастрофой...

Они жили в июне и не знали того, что случилось в мае.

О катастрофе русского флота при Цусиме губернатора известил барон Зальца из далекого Корсаковского. Ляпишев, перебирая руками голубые и розовые полосы обоев на стене кабинета, как слепой, которого вдруг покинул предатель-поводырь, с трудом добрался до спальни и плашмя рухнул на постель.

— Бедная Россия... такие потрясения, — шептал он. — Сначала Порт-Артур, а теперь и Цусима... А как же мы?

Фенечка наложила на лоб ему мокрое полотенце.

— Докатались! С бубенцами... Может, кого позвать?

— А кого?

— Вам виднее... Тулупьева, что ли?

— Ах, что он знает!

— Жохова?

— Ладно. Позвони, чтобы пришел...

Корреспондент «Русского инвалида» о Цусиме уже знал и на вопросительный взгляд Ляпишева заговорил с надрывом:

— Теперь, оставшись без флота, Россия уже не способна охранить необозримые побережья Японского, Охотского и Берингова морей, отныне японцы могут беспрепятственно высаживаться где хотят — или в устье Амура, или даже здесь, на Сахалине. Если раньше мы сражались только на чужой земле, теперь под угрозой вторжения оказалась наша родная земля — русская!

— Сергей Леонидович, что бы вы сделали на моем месте?

— Сначала я бы созвал всех офицеров гарнизона города, дабы воодушевить их к стойкому отпору врагам.

Михаил Николаевич сбросил со лба полотенце:

— К самому стойкому! Завтра же мы соберемся...

---

— Хорошего мало, — говорил Жохов, когда клуб, сильно запущенный, как дешевый трактир, стал заполняться офицерами. — Я не знаю, что думают в Токио, но банкиры Америки толкают самураев в спину, чтобы скорее брали Сахалин.

— Им-то что от нас понадобилось?

— Мне довелось читать статьи военного обозревателя Бернста, который, будучи в Лондоне, сам же и проболтался, что Япония решила допустить американцев к освоению рыбных промыслов Сахалина — пока на правах концессии.

Митрофан Данилов, начальник Тымовского округа, приехал на совещание из Рыковского; этот тюремщик сказал:

— Да япошкам только тук нужен! Только тук.

На это капитан Жохов ответил полковнику:

— Наверное, тук стал припахивать нефтью...

Многие недолгоблюдали Жохова — за его столичные манеры, за его речи без жаргонных словечек; сахалинские недотепы посмеивались над значком Академии Генштаба, о каком сами они и не мечтали. Вот и сейчас, укрывшись в буфете, полковник Семен Болдырев говорил полковнику Георгию Тарасенко — командиру гарнизонного резерва:

— А никто его сюда не звал! Теперь всякую ахинею порет, а наши дурачки и рты разинули, как «дяди сараи». Если бы капитан Жохов был талантливый, так сидел бы в редакции, а его к нам занесло... Сразу видать, что не Пушкин!

— Да его на Рельсовой не раз видели, — вмешался в беседу подполковник Домницкий, приехавший из Дуэ. — Он политических навещал. Вы бы, господа, предупредили Михаила Николаевича, чтобы с этим умником особенно-то не цацкался...

В руках этой троицы, собравшейся в буфете, заключалась главная сила обороны: Домницкий в Дуэ командовал тысячью ста двадцатью солдатами, Болдырев прикрывал побережье со стороны деревень Арково силами в тысячу триста двадцать человек, а Тарасенко хвастался:

— У меня сразу две тыщи душ... с берданками!



Был жаркий воскресный день, православные шли в свой храм, на окраине города торчал тонкий шпиль костела, горестно завывал с минарета мечети мулла. В узком просвете долины речки Александровки уже виднелись пристань и сизый клочок Татарского пролива, а панорама обширного кладбища завершала обзор сахалинской столицы... Ляпишев прибыл на совещание при шпаге, сложил перчатки в свою треуголку.

— Господа, — начал губернатор, — о прокламациях вы уже слышали, наверняка и читали их. Нас этими угрозами не запугать. Дикие айны, продолжая плавать в Японию по своим домашним делам, рассказывают, что скоро на Сахалине появятся несметные силы самураев. Якобы двадцать тысяч высадутся прямо на пристань Александровска, а десять тысяч возьмут Корсаковск. У нас, как вы знаете, всего лишь три-четыре тысячи боеспособных людей, и мы давно готовы ко всему на свете...

Диспозиция обороны вчерне была намечена, но план обороны сводился Ляпишевым к отступлению внутрь острова:

— Сначала отходим в Рыковское, после чего — всей массой! — ретируемся на юг до Корсаковска, где и нанесем главный урон противнику. Чем дальше заведем японцев от моря, тем больше надежд на то, что он завязнет в наших непроходимых буреломах, он погибнет в наших топях, а комары и партизаны довершат его истребление. Но, даже преследуя нас, японцы будут вынуждены побросать свои пушки, они устанут волочить за собой пулеметы, когда увидят, что внутри Сахалина не пройти даже бывалому охотнику на соболей...

Он уверенно заявил, что отход гарнизона прикроют восемь пушек и четыре пулемета. Но артиллеристы сразу же сказали, что все их пушки устаревшей конструкции давно «расстреляны»:

— Снаряды бултыхаются в стволах, отчего не поручимся за меткость попаданий. А при любом выстреле из казенников вырываются струи раскаленных газов, обжигающие прислугу.

Ляпишев заверил их, что до стрельбы дело не дойдет:

— Вряд ли японцы рискнут нападать на Александровск, столицу каторги! Мы рассуждаем о нашей обороне не потому, что нам предстоит обороняться, а так... на всякий случай.

Из зала послышался голос капитана Жохова:

— Ради всякого случая мы могли бы и не собираться...

Тут с улицы ворвался сияющий от радости капитан Владимир Сомов, размахивая узким бланком телеграммы:

— Господа! Все наши опасения оказались излишни и преждевременны. Только что на телеграфе принято извещение о том, что государь император выразил высочайшее согласие на предложение Рузвельта к скорейшему заключению мира...

— Уррра-а! — поднялись все разом с лавок.

Ляпишев был вынужден пропустить выпад Жохова, обидный для него лично. Он надел перчатки и натянул треуголку. Его рука коснулась эфеса парадной шпаги, он сказал:

— Я счастлив, господа, присутствовать среди вас в этот незабываемый момент скромной сахалинской истории. Не отслужить ли нам по этому поводу торжественный молебен?..

---

В эти дни популярная японская газета «Асахи» выступила с призывом: «Сахалин должен быть нашей собственностью. Ошибки правителей времен Токугавы, когда мы недостаточно ценили этот остров, пришло время исправить. Остров должен сделаться нашим, не ожидая мирных переговоров с русскими. Конечно, его следовало бы захватить сразу же после начала войны. Займи мы Сахалин с прошлого (1904) года, и мы не терпели бы убытков в нашей экономике, а наше земледелие не страдало бы от острой нехватки удобрительных туков... Сейчас на острове ничтожно мало русских войск! — подчеркивала «Асахи», обращаясь к своей военщине. — Так возьмите же Сахалин немедленно, это воодушевит нашу армию и наш флот...»

Настал день 22 июня. На мостике флагманского крейсера «Акацуки» контр-адмирал Катаока приветствовал командира Сендайской дивизии — генерал-лейтенанта Харагучи:

— В вашем лице, генерал, я от имени императорского флота рад видеть успехи вашей славной дивизии...

Погрузка войск и армейского имущества начиналась в порту Хакодате на острове Хоккайдо. Здесь, в уости Сангарского пролива, японцы быстро формировали особую «Северную группу», для которой адмирал Того не пожалел две эскадры из четырех эскадр Японии. Катаока получил два мощных броненосца, несколько боевых крейсеров и множество миноносцев. По высоким трапам, стуча прикладами, поднимались на палубы транспортов солдаты. По широким настилам сходней кавалеристы вели своих лошадей под седлами. Артиллеристы бережно опускали на днище трюмов крупновские орудия, а следом за ними пулеметчики вкатывали пулеметы английской фирмы «Виккерс».

Харагучи представил Катаоке своего адъютанта:

— Майор Такаси Кумэда, хорошо знающий условия Сахалина, с ними плывет и бывший консул в Корсаковске — Кабаяси.

Батальон за батальоном всходил по трапам. В трюмах пугливо ржали маньчжурские лошади, реквизируемые у китайцев, и выносливые стройные кони, закупленные в Австралии. С берега на корабли перемещались тонны американских консервов с тушенкой, грузились связки тропических фруктов, пакеты пресованного сена и катушки телеграфных проводов. Катаока заметил подле Кумэды неизвестного ему человека.

— Кто он? — спросил адмирал у майора.

— Это русский геолог Оболмасов, но он давно не достоин вашего высокого внимания, — объяснил Кумэда.

«Акацуки», выбрав швартовы, взбурлил за кормою воду, медленно двигаясь вдоль рейда. Харагучи и Катаока, стоя на мостике флагмана, отдавали честь, и восемьдесят три императорских вымпела хищно извивались над мачтами, безмолвно докладывая всей Японии о готовности эскадры сниматься с якорей.

Из глубины трюмов слышалась песня самураев:

Выйдем в поле — трупы в кустах.  
Выйдем в море — трупы в волнах...

...Высадка японцев на Сахалине — это демонстрация силы Японии именно в тот момент, когда сил у Японии больше не оставалось. Но в этой демонстрации последних усилий сейчас особенно нуждались политики Токио, чтобы силой воздействовать на дипломатию России в предстоящих переговорах о мире.

## 4. От бухты Лососей и дальше

Гротто-Слепиковский пригласил Полынова с Анитой провести денек на берегу залива Анива, где его отряд в сто девяносто штыков при одном пулемете квартировал в рыбацком селе Чеписаны. Здесь, в Корсаковском уезде, японцы не подкидывали прокламаций, зато жители округа были извещены о событиях в мире лучше, нежели обыватели «столичного» града Александровска.

— Многие из местных айнов, — рассказывал Слепиковский, — еще до войны привыкли плавать на Хоккайдо, чтобы навестить там сородичей. Вернувшись обратно, они теперь даже не скрывают, что скоро весь Сахалин станет японским «Каофуто».

Полынов сказал, что в научных кругах России слишком много было разговоров о богатствах Сахалина:

— Но военные люди совершенно упустили из виду его чисто стратегическое значение. Представьте, что в заливе Анива, на берегах Лаперузова пролива, была бы сейчас мощная база флота и крепость. Тогда выход в океан принадлежал бы России, и наш Дальний Восток не переживал бы тех опасений, которые угнетают вас в этой тишине...

Слепиковский угостил Аниту мандаринами, признавшись гостям, что они японские, привезенные айнами, при этом Анита надкусила мандарин зубами, как яблоко.

— Они растут в земле или на деревьях?

Слепиковский подивился ее наивности, а Полынов не упустил случая, чтобы прочесть Аните лекцию о померанцевых плодах, пояснил, что мандарины растут на кустах.

— Не смей поедать их с кожурою вместе и, пожалуйста, не путай съедобные мандарины с несъедобными чиновниками из Китая, которые растут во дворце императрицы Цыси...

Затем Полынов заинтересованно спросил: как складывается жизнь Быкова с Челищевой в убогом Найбучи? Слепиковский замялся, выразительно глянув на девушку с мандарином.

— При ней можете говорить все, — позволил Полынов.

— Валерий Павлович, кажется, поступил неосмотрительно, причислив к своему отряду сестру милосердия из бестужевок. Я понимаю: в условиях каторги, где редко встретишь порядочную женщину, Клавдия Петровна предстала перед ним небесным созданием. Но я, честно говоря, недолюбиваю ученых девиц, склонных предъявлять к нашему полу чрезмерные требования.

— Пожалуй, — как бы нехотя согласился Полынов. — Такие женщины тоже способны погубить. И не потому, что названная нами Клавдия Петровна дурная женщина, а потому, что она слишком порядочная. Излишне здравомыслящие женщины опасны для мужчин в той же степени, как и очень дурные.

Слепиковский предложил гостям спуститься к соленому озеру, и Анита, опередив мужчин, шаловливой рысцой сбегала по тропинке к самой воде, а капитан Слепиковский спросил:

— Но кто же она вам, эта девушка, которая иногда свободно судит о серьезных вещах, а порою озадачивает незнанием самых примитивных вещей?

— Это моя... Галатея, — ответил Полынов. — Я, как Пигмалион, сделал ее, чтобы потом в нее же и влюбиться.

— Рискованная любовь! Вы и сами знаете, как плохо кончил Пигмалион...

Полынов взмахом руки показал на Аниту, которая, подобрав края платья, босиком бегала по берегу соленого озера. Она хватала маленьких крабов и забрасывала их обратно в воду.

— Я ее купил, — просто объяснил он. — Теперь она стала моей последней надеждой и моей первой радостью в слишком жестокой жизни. Горе тому, кто осмелится отнять ее у меня.

Гротто-Слепиковский отвел глаза в сторону леса:

— Вам, должно быть, очень неуютно живется?

— Неуютно бывает в комнатах, — честно признал Полынов, — а в этой жизни мне иногда просто страшно...

Ближе к вечеру они выехали в Корсаковск на попутной телеге поселенца. Усталые после дороги, Полынов с Анитой улеглись спать,

чтобы проснуться в ином мире. Совсем ином, для них очень страшном... Им, к счастью, не дано было знать, что в это же время барона Зальца посетил в канцелярии мстительный капитан Таиров.

— Случайно я встретил в городе человека, в котором сразу опознал преступника, служившего ранее на метеостанции в столичном Александровске, — доложил Таиров.

— Политического? — сразу напрягся Зальца, догадываясь, что уголовнику на метеостанции делать нечего.

Таиров еще не забыл оскорбительного для него смеха юной красавицы, которая столь откровенно смеялась над его унижением. Он подтвердил подозрения барона.

— Политического! — убежденно сказал Таиров. — Я проследил за ним, установив его адрес, где он живет, и вдруг случайно узнаю, что этого преступника вы принимаете у себя, как своего земляка-курляндца, играете с ним на бильярде.

— Он играет лучше меня, — тихо заметил Зальца.

Сейчас барон сидел под большим портретом русского императора. Слева от его локтя лежала стопка английских и японских газет (попавших к нему, очевидно, тем же путем, что и мандарины в деревню Чеписаны — через айнов).

— Догадываюсь, что речь идет о господине Баклунде, который известен мне как представитель торговой фирмы «Кунста и Альберса». Если вы не ошиблись, — произнес Зальца, глянув на часы, — то этому «торговцу» завтра предстоит неприятное пробуждение. Возвращайтесь, капитан, в свое Петропавловское, а я подготовлю все для арестования этого... самозванца!

— Не забывайте, — напомнил Таиров окружному начальнику, — что он не один. С ним еще какая-то странная девка... Тут целая шайка. Уж не затем ли они появились в вашем Корсаковске, чтобы продать вас и продать Сахалин японцам?

— Шайка, — не возражал Зальца. — Оpoznанный вами преступник фон Баклунд втерся не только в мое доверие, он установил связи и с офицером Слепиковским, подозрительным для меня... как поляк! Будьте уверены: завтра Баклунд будет в тюрьме.

— И вместе с девкой? — спросил Таиров.

— Нет. Я ее подарю... вам!

---

В загородной бухте Лососей пока все было тихо.

Архип Макаренко бесцеремонно разбудил Максакова:

— Ваше благородие... господин мичман!

— Спал бы ты... Ну что тебе?

— В море какие-то огни. Точно так, — сказал комендор, — я даже слышал запах от сгоревшего угля... дым и огни!

Был второй час ночи. Мичман зевнул:

— Нет дыма без огня. Так спал, так сладко... Ты, Архип, накаркаешь нам беду, как я накаркал ее на крейсере.

Максаков позвонил на мыс Крильон. Вахтенный с маяка подтвердил, что в море видны блуждающие огни:

— Однажды их пронесло цепочкой, как ряд иллюминаторов. Не только я дым учуял, но даже шум машин докатило...

Полковник Арцишевский, выслушав доклад по телефону, велел мичману передвинуть батарею южнее Корсаковска, поставив орудия для наводки по морским целям. Артиллерия «Новика» заняла новую позицию — возле деревушки Пороантомари, и тут матросы узнали, что в деревне Мерея уже высаживаются японцы. Мичман быстро произвел расчеты, чтобы «перекидным» огнем — через сопки — накрыть японский десант на побережье. Но с вахты, следящей за морским горизонтом, ему тут же доложили о появлении четырех миноносцев.

— О, еще семь! — прогорланил сигнальщик.

Итого — одиннадцать. Архип Макаренко сказал:

— Одиннадцать на четыре наших ствола... Ничего, братва, на крейсере бывало в бою и похуже!

Японские миноносцы двигались в кильватер, покрывая огнем широкую площадь берега. Первые разрывы вражеских снарядов никого не удивили, как не устрасила матросов и первая кровь, — к этому они привыкли еще на корабле, а потому заботились о точной пристрелке. Пустые унитары, дымно воняя пироксилином, выскакивали из орудийных казенников, а «подавальщики» уже несли к пушкам свежие снаряды...

Мертвая чайка упала с высоты к ногам Максакова.

— Ребята, всем помнить — русский флот не сдастся!

— Есть... попадание, — доложил Макаренко.

Один из миноносцев, волоча за собой хвост рыжего пламени, вышел из строя, а его напарники, боясь поражений, тоже отскочили в сторону моря. Полковник Арцишевский, вызвав батарею по телефону, передал Максакову свое последнее приказание.

— Выручайте, мичман! — кричал он в телефон. — На пристани Корсаковска появились японцы... разбейте пристань! Я уже не могу держаться и отхожу к Соловьевке, где и встретимся...

Мичман больше никогда не видел полковника, а задача его батареи усложнилась: надо отбиваться от миноносцев, надо прочесать шрапнелью лес возле Мереи, где укрылись десантники, а теперь надо бить и по пристани. Со стороны Корсаковска повалил дым, слышались взрывы — там что-то горело, что-то уже взрывалось. Максаков, не обращая внимания на осколки, вникал в расчеты стрельбы, как шахматист, играющий на трех досках сразу. Мимо него оттаскивали в сторону убитых матросов.

— Пропадаем, мать их всех! — донеслось от пушек.

— Все пропадем! — в ярости отвечал Максаков. — Но крейсер «Новик» еще никогда не сдавался... Огонь, братцы!

— Еще попадание, — крикнул ему Макаренко от прицела. — Смерть бывает один раз, а после нас не будет и нас. Огонь!..

В городе не осталось войск. Корсаковск казался вымершим. Все жители попрятались в подвалы, и только на окраине ревела, стонала, металась в молитвах наглухо запертая тюрьма, близ которой разрывались японские снаряды. Меж оконных решеток высывались руки в кандалах; слышались вопли:

— Отворите же... не дайте погибнуть! Смилуйтесь...

Перед Зальца предстал следователь Зяблов:

— Арцишевский-то уже смылся! Пристань всю разнесло. Эти флотские как врезали фугасом — будто в копеечку.

Барон указал на парадный портрет Николая II:

— Не будем забывать своих обязанностей перед священной особой русского императора. Сразу же следуйте на квартиру торгового агента Баклунда, займите его составлением протокола, а я тем временем вышлю конвоиров для его арестования.

Тюрьма издавала железный гул: это кандалные, вырвавшись из ушей камер, уже взламывали тюремные ворота. Отослав Зяблова, барон сам вышел к пристани, возле которой море колыхало на волнах обломки разбитых катеров, плавали гнилые сваи, вывороченные из грунта силою взрывов.

Навстречу ему из кустов вылез японский офицер.

— Передайте на свои корабли, — сказал барон Зальца, — что они не туда посылают снаряды. Батарея с крейсера «Новик» стреляет из Пороантомари... вот куда надо бить!

Зяблов застал Польшина дома. Анита торопливо кидала в баул свои нарядные платья. Польшин глянул на следователя и понял, что душа чиновника уже скована страхом.

— Вы сказали, что прибыли для составления протокола. Но я ведь не Микула Селянинович, не Змей Горыныч и даже не Соловей Разбойник, чтобы не испугаться вашего протокола. Одним этим ужасным словом вы превратили меня в жалкое ничтожество.

Ясно, что Польшин многословием выигрывал для себя время. Но от его непонятных слов, произносимых с милой улыбкой, в жалкое ничтожество превратился сам Зяблов:

— Вы мне тут зубов не заговаривайте! И не вздумайте сопротивляться. Сейчас за вами придут конвоиры...

Анита резко отодвинула табуретку, указав на лавку.

— Коли пришли, так сядьте, — велела она.

Полынов между тем уже отодвигал постель, чтобы достать спрятанную винтовку. Зяблов все время глядел в окно, озабоченный — выслал ли барон конвоиров на помощь?

— Вон бегут, — обрадовался он. — Наконец-то...

Полынов не успел достать оружие, услышав противный хряск: это Анита, зайдя сбоку от следователя, сокрушила его табуреткой по голове. Потом стала закрывать баул.

— Ты у меня становишься умницей, — похвалил ее Полынов.

Анита ответила ему поговоркой:

— С кем поведешься, от того и наберешься...

Полынов нащупал в кармане Зяблова документы, из-за пояса следователя он выдернул пятизарядный «лефаше»:

— Это тебе, моя волшебная Галатея! Бежим...

Японцев на улицах Корсаковска еще не было, а тюрьма грохотала так, словно старинная крепость, ворота которой сокрушают из катапульты рыцари, закованные в железо. Полынов показал Аните служебные документы, которые он достал из кармана зябловского вицмундира заодно с револьвером:

— На всякий случай запомни, кого мы отправили на тот свет: коллежский асессор Иван Никитич Зяблов.

— Туда ему и дорога, — отвечала Анита.

— А нам в дороге все пригодится, — сказал Полынов, пряча документы Зяблова, и тут на улице послышался цокот копыт. — Ого! Едет важное лицо... Не сам ли барон Зальца?

Из-за угла вывернулась коляска, впряженная в двух отличных лошадей, на облучке ее сидел кучер.

— Стой! — крикнул ему Полынов, подняв руку.

— Иди-ка ты... — донеслось с козел.

Анита мигом кинулась наперерез коляске и повисла на упряжи, заставив лошадей пригнуть головы до земли.

— Готово! — крикнула она. — Что дальше?

— Слезай, — велел Полынов кучеру.

— А ты знаешь-понимаешь, коляска-то чья?

— Слезай, — повторил Полынов.

— Коляска самого окружного начальника, барона За...

Полынов ударом кулака поверг кучера наземь.

— Садись! — позвал он Аниту, занимая место на козлах.

Лошади понесли, и Корсаковск скоро исчез из виду.

— Куда мы скачем? — спросила Анита.

— Сейчас на север... в Найбучи... к Быкову!

Сочный ветер, пахнущий лесной хвоей и солью близкого моря, бил им в лицо, он забросил за спину Аниты ее пышные волосы, отчего стали видны ее оттопыренные уши.

— Со мною ты ничего не бойся, — сказала она Полынову.

— С тобою я боюсь только за тебя...



## 5. Страницы гордости и позора

Возник отдаленный гул — это в обстрел побережья включилась башенная артиллерия броненосцев адмирала Катаоки, и взрывы, быстро перепахав землю Пороантомари, выбили из станков орудия, жестоко ранив прислугу корабельных орудий. Максакова отшвырнуло в воронку, контуженный, он лежал вниз головой, его вытянули за ноги; Макаренко орал мичману в ухо:

— Амба! Калибра сорок семь нету, а пятидюймовок осталось четыре штуки... амба! Что делать нам, а?

— Врежьте четыре по японцам, орудия взрывать, чтобы косоглазым ничего не осталось, — приказал мичман.

— Есть! А телефоны вдребезги.

— Где Арцишевский?

— Давно отошел.

— Нам отходить тоже. Нагоняйте отряд, а я навещу Корсаковск — узнать, нет ли каких распоряжений из Александровска. Архип, на это время сам покомандуй матросами...

Максаков появился в городе, когда ворота тюрьмы уже были взломаны. Теперь по улице, поддерживая мешающие бежать кандалы, неслась сипло дышащая толпа каторжан. Впереди всех равномерно и шустро бежал полуголый крепыш татарин, у которого вместо ампутированных рук остались культяпки, и он на бегу энергично размахивал обрубками рук, словно шатунами какой-то машины. Вся эта орава людей, звенящая железом, завывающая от пережитых ужасов и осознания внезапно обретенной свободы, быстро растекалась по задворкам города, прячась по огородам, большинство сразу бежали в сторону леса.

В окружной канцелярии барон Зальца, кажется, нисколько не был удивлен появлению Максакова.

— Отстрелялись? — кратко спросил он.

— Да. Снаряды кончились. Орудия взорваны. Матросы отошли вслед за Арцишевским, а я обещал, что нагоню их...

Молниеносный удар в область живота — и мичмана скорчило на полу от невыносимой боли. Зальца сказал:

— Ознакомьтесь с приемом джиу-джитсу, которому японцы дали лирическое название — «полет весенней ласточки».

— Сволочь ты! — простонал мичман. — Где же благородство?

— У меня этого добра полные штаны. Эй, кто там есть? — вызвал Зальца конвойную команду. — Заберите от меня этого сопляка, и пусть он посидит в «сушилке»...

(Газета «Русское слово» с прискорбием оповестила читателей о том, что барон, «выйдя навстречу японцам в качестве парламентаря, произнес

хвалебную речь в честь гуманности японцев, указав на каторжников, как на более опасного врага — как для русских, так и для японцев». Узнав о братании начальства с врагами, жители Корсаковска побросали в домах все, что имели, и кинулись прочь из города, скрываясь в лесной чаще. Тогда японцы открыли шрапнельный огонь по тайге, им удалось пленить всего лишь сто тридцать пять человек. Так писали в русских газетах...)

Двадцать пятого июня японцы высадили десант у селения Чеписаны, они густыми толпами хлынули с кораблей на берег, полностью захватив столицу Южного Сахалина, и в здании окружного правления барон Зальца радушно принимал дорогих гостей. Конечно, ему было приятно снова видеть бывшего консула Кабаяси, но его возмутило, что Кабаяси прибыл, чтобы занять его место.

— А куда же мне? — сразу обозлился барон.

Кабаяси выложил перед ним пачку долларов:

— Можете не пересчитывать. Здесь больше, нежели вы ожидали, теперь с легким сердцем можете уплывать в Японию, чтобы отдохнуть возле наших целебных источников. Эти доллары переведены вам от компании «Стандард Ойл» в благодарность за ту информацию, какую мы в Токио получали все это время.

Зальца широким жестом хозяина призвал гостей к банкетному столу, за которым уже расселся геолог Оболмасов.

— А вы-то как оказались в Корсаковске?

— А где же мне быть?..

Кабаяси уверенно уселся во главе обширного стола.

— Оболмасов-сан, — сказал он, — мечтал сделаться сахалинским Нобелем, и мы, японцы, согласны поделить запасы нефти с нашими добрыми заокеанскими друзьями.

При этих словах Кабаяси указал на Оболмасова.

— А вы, кажется, так ничего и не поняли! — засмеялся тот, раскрывая перед Зальца свой паспорт. — И не смотрите на меня с таким неподдельным ужасом, как на поганого глиста, выползшего из парашаи подышать свежим воздухом... Вы, глупец, отдохнете на японском курорте, после чего всю жизнь будете мазать свой хлеб германским маргарином. А мое будущее под сенью пальм в штате Флорида, благо я стал гражданином Соединенных Штатов... В конце-то концов, — заключил Оболмасов, — для человечества безразлично, в какие бочки потечет сахалинская нефть — в японские, в русские или в американские.

— Да, я все делал ради своего фатерлянда, — гневно отвечал барон Зальца, — но, в отличие от вас, никогда не был космополитом! И на вашем месте я бы даже не совался на Сахалин, а сидел бы под сенью американских пальм, мечтая о русской водке.

— Вы мне угрожаете? — спросил Оболмасов.

— Не я! Но здесь вы можете плохо кончить...

В окно было видно засвежевшее море, суeta десантных катеров на обширном рейде. В панораму застекленной веранды, пронизанной ярким солнцем, медленно вплывал крейсер «Акацуки» под вымпелом адмирала Катаоки, а четыре плоские, как сковородки, канонерские лодки вели частый огонь по лесу, в гущах которого укрывались бежавшие жители и каторжане, кричавшие:

— Предали! Ни за грош теперь пропадем...

— Тут все с японцами покумились!

— Господи, да куда ж деваться-то нам?..

Японская шрапнель рвалась с оглушительным треском; люди падали в корчах, и возле пня сидел мертвый мальчик, прижимая к себе мертвую рыжую кошку... Он ее так любил.

На другой день два полка японской пехоты, позванивая амуницией, выступили из Корсаковска на север — по дороге, параллельной реке Суся, впадавшей в бухту Лососей. За ними лошади, мотая головами, равнодушно влекли горные пушки, зарядные ящики и походные кухни. Японцы без боя, одним своим появлением выдавили Арцишевского из пригородных селений, настигая усталых людей в ускоренном марше по хорошей и гладкой дороге, что кончалась у Найбучи возле Охотского моря.

Матросы с «Новика» нагнали свою пехоту лишь на подступах к Соловьевке. Архип Макаренко доложил полковнику о прибытии. Арцишевский едва глянул на комендора:

— А ну вас! Раскозырялись тут, пижоны липовые... мне сейчас не до вашего брата. Если хотите, так пристраивайтесь.

В это же время, как по заказу, шесть японских миноносцев вошли в бухту Лососей, откуда и стали обкладывать Соловьевку фугасами, и Арцишевский велел отходить:

— Дальше! Пошли до Хомутовки, а там и Владимировка... Молись Богу, чтобы нас только не отрезали.

Архип Макаренко переговорил с матросами:

— Братцы, не оставаться же нам одним, приладимся в хвосте у пехоты. Может, к вечеру и накормят...

По обеим сторонам дороги, уводящей к Охотскому морю, шелестели травы, в небе пиликали жаворонки, а на душе у всех было так паскудно — хоть плачь! Невдалеке виднелись горы, пугающие крутизной; в лесных падах, напоенных журчанием ручьев, царил полумрак, было жарко и душно. Матросы стягивали форменки, потом потянули с себя и пропотелые тельняшки, шли за пехотой обнаженные, несли в руках винтовки. Возле Хомутовки всех остановили.

— Вон как тихо, — сказал Арцишевский, — наверняка тут засада. Лучше отвернуть с дороги. На худой конец, в лесах есть еще две де-

ревеньки — Ближняя и Дальняя, так и зайдем новую позицию, чтобы переждать это окаянное время...

Архип снова собрал в кружок своих матросов:

— Нет у меня веры в эти деревеньки, кто тут разберет — ближняя она или дальняя? Кого из офицеров ни спросишь, никто ни хрена не знает и знать не хочет. А ведь где-то за нами еще сражается отряд капитана Полуботко.

Матросы так устали, что попадали на траву:

— Давай, Архип, ложись и ты. Дождемся Полуботко...

Арцишевский увел свой отряд в лес; матросы залегли возле дороги и дождались отступавший отряд Полуботко.

— Вы чего здесь валяетесь?

— Вас ждем, — поднялись с земли матросы.

— А где же отряд полковника Арцишевского?

— Вон туда пошел, — махнул рукою Макаренко.

— А что там? — спросил его капитан.

— Откуда я знаю, если вы сами не знаете. Сказывали, что за лесом еще две деревни. Мы устали и легли. Все!

Полуботко долго разглядывал какой-то клочок бумаги, на котором химическим карандашом были накорябаны от руки течения рек и дороги Сахалина, а Макаренко отошел к матросам:

— У него такая шпаргалка, что заведет нас на кудыкало, где Баба Яга горе мыкала... Тоже мне — господа офицеры!

Полуботко махнул рукой, показывая в даль дороги:

— Вперед во славу отечества...

На ночь укрылись в лесной чаще, костров не разводили, слышали неясный шум с дороги, но не придали ему значения. Утром миновали Хомутовку, а крестьяне сказали им:

— Вы соображение-то имейте: ежели на Владимировку путь держите, прямо к японцам и попадетесь...

Полуботко совал Макаренко свою шпаргалку:

— Ты грамотный? Так куда делся отряд полковника?

— Говорил, что есть две деревни, мол, одна Ближняя, а другая Дальняя, где они, я не знаю. У вас-то что нарисовано?

— Да у меня точка стоит — деревня Луговая.

— Так я нездешний, — отвечал Макаренко. — Что вы прицепились ко мне по географии Сахалина? Со школы я слышал, что есть такой, но никогда не мечтал о Сахалине.

В чашобе густого леса Полуботко скомандовал:

— Стой! Составить все оружие в козлы...

Солдаты, матросы и дружинники исполнили его приказ, и тогда капитан Полуботко, после короткого совещания с офицерами, объявил, что отряд окружен, а спасенья нет:

— Конечно, в воле каждого поступать как он хочет, но мой совет — лучше сдаться на милость победителя...

Макаренко выдернул свою винтовку из козел.

— Вот ты сам и сдавайся! — крикнул он.

Вслед за матросами похватали винтовки и другие. Полуботко сел на землю и стал воюще, противно плакать.

— Да не предатель же я, — всхлипывал он. — Я ведь только добра вам хочу... Куда нам идти? Где спастись?

— Веди прямо в бой! — отвечали ему солдаты.

«Но капитан Полуботко, ссылаясь на боль в ногах, отказал подчиненным» (выписка из официальных бумаг). Пока они там препирались, японцы стали окружать отряд. Полуботко кричал:

— Куда вы все разбежались? Стойте, мать вашу так... Не хотите меня слушать — вам же хуже будет!

Тяжко дыша от усилий, матросы подымались на вершину сопки, задержавшись на ее лесистом склоне. Издали они видели, что японцы не спеша подошли к капитану Полуботко, который показывал им свою «шпаргалку». Японские офицеры стали сравнивать ее со своими картами, затем они смеялись. Вся эта сцена произвела на матросов ужасное впечатление. Архип Макаренко прицелился в Полуботко, потом опустил винтовку:

— Патрона жаль! Пошли, братва.

— А куда?

— Пошли в лес. Там спросим.

— У кого спросим? У медведя, что ли?

— Да уж куда-нибудь выберемся...

На пятый день пути, оборванные и голодные, они случайно встретили отряд капитана Таирова, тащившегося в сторону бухты Маука от самого села Петропавловского... Таиров не обрадовался матросам, только спросил — где мичман Максаков?

— Ушел в Корсаковск и не вернулся.

— Знаем мы эти фокусы. Он сейчас с японцами шампанское распивает, а вы, как дураки, по лесам шляетесь...

Эти подозрения вывели Макаренко из себя.

— Не только мы шляемся, — ответил он Таирову. — Вы шляетесь, Арцишевский шляется, а Полуботко дошлялся до того, что в штаны наклал, теперь его самураи от дерьма отмывают.

— Ты не хами мне! — возмутился Таиров.

— А что вы мне сделаете?

— Шлепну наповал, и дело с концом.

— Да шлепай! Не ты, так японцы шлепнут...

Обстановка в отряде Таирова была неважная, и Макаренко сразу заметил, что солдаты не доверяют дружинникам, а дружинники сто-

ронятся солдат. Однако именно каторжане и поселенцы пригласили матросов к своим кострам, предложили им каши с мясом. Матросы присыпали кашу своей солью:

— Соль наша, а каша ваша...

Крупные чистые звезды всходили над Сахалином. Еще ничего не было решено в судьбе этих людей, но каждый, засыпая, думал, что смерть ходит на цыпочках где-то рядом.

---

— Корсаковск на проводе, — доложили Ляпишеву.

— Слава богу! — обрадовался губернатор, беря трубку телефона. — Это вы, барон Зальца?

Телефон донес до него едкий смешок Кабаяси:

— Добрый день, дорогой Михаил Николаевич! Теперь в Корсаковске окружным начальником буду я, и к вам в Александровск скоро приедет управлять делами Такаси Кумэда, ныне майор славной армии великого японского императора Муцухито...

Только теперь Ляпишев понял, что Южный Сахалин во власти японцев, и генерал-лейтенант юстиции кричал в трубку:

— Мы не признаем власти вашего императора на русской земле! Я, как юрист, заявляю, что Япония не имела никаких прав для нападения. Ваши операции против русского Сахалина — это неправомочное действие, его нельзя оправдать никакими положениями военного права, где сильный побеждает слабейшего. Вы, японцы, навязали жителям Сахалина войну именно в тот момент, когда Токио само выразило желание к миру, а Россия уже дала согласие на ведение мирных переговоров в американском Портсмуте... Русский народ этого преступления не забудет! Он не забудет и никогда не простит.

— Провод оборван, — доложили Ляпишеву.

В трубке телефона давно царил противная тишина: губернатор приводил свои доводы в пустоту. Сахалин перелистывал страницы своей новой истории — страницы гордости и позора.

## 6. Учитесь умирать

«Сейчас я живу в Найбучи на самом берегу Охотского моря, в заливе Терпения, и здесь пока тихо, а слухи о всяких японских мерзостях кажутся выдумкой злого волшебника. Дорогая мамочка, не буду скрывать, что рядом со мною хороший и заботливый человек, некто В.П. Быков, он уже в чине штабс-капитана, но давно стремится в Акад. Ген. шт., чтобы ускорилось его продвижение по службе. Он уже сделал мне предложение, но я...» — Клавоочка Челишева писала письмо матери, совсем не уверенная, что оно дойдет от мерзкого

Найбучи до ослепительного Петербурга; она писала его в местной лавке, сидя на мешке с затхлой мукой, среди неряшливых кульков с конфетами и ящиков с негодными консервами, когда с улицы вдруг громко всхрапнули усталые кони, скрипнули расхлябанные рессоры коляски, и знакомый мужской голос, когда-то вкрадчивый, проникающий до глубин сердца, а теперь властный, произнес:

— Вот и все! Кажется, мы достигли сахалинского Монрепо, где наша жизнь пока в безопасности...

Клавдия Петровна вышла на крыльцо лавки.

— Добрый день, — сказал ей Польшов.

— Добра не жду, — ответила Клавочка, исподтишка оглядывая Аниту, вылезавшую из пролетки, и при этом Челищева с чисто женской неприязнью заметила, как та похорошела, как она выросла, а девичья грудь резко обозначилась под ее запыленным платьем. — Я всегда забываю, как вас зовут.

— Меня? — удивилась Анита, весело смеясь.

— Нет, не вас, а вашего властелина...

Польшов пояснил с предельной ясностью:

— Сейчас мне очень нравится изображать корсаковского судебного следователя Ивана Никитича Зяблова...

Анита поднялась по ступеням крыльца прямо в магазин, откуда послышалось шурушание раскрываемых ею кульков с конфетами.

— А вам, сударь, еще не надоело менять фамилии?

Польшов разнуздывал лошадей, выпрягая их. Он делал это умело, будто всю жизнь служил в ямщиках.

— Напротив! — отвечал он. — Каждый раз, влезая в чужую шкуру, я испытываю некоторое облегчение, какое, наверное, испытывает и гадюка, выползающая из одряхлевшей кожи...

Челищева вспомнила о недописанном письме к матери, где на середине оборвана фраза: «Он уже сделал мне предложение, но я...» «Какой ужас! — вдруг подумала Клавочка. — Почему я завидую этой девке Аните, которая, словно худая крыса на помойке, копается в кулках с чужими конфетами... воровка!»

— Скажите своей мадам Монтеспан, чтобы она не ковырялась в чужих товарах, в этих краях карамель стоит денег.

Польшов, держа в руке кнут, ответил, что Анита проголодалась в дороге, а за раскрытые кульки с карамелью он рассчитается с хозяином лавки. После чего деловито сказал:

— Мне повезло! Я проскочил через Владимировку, занятую японцами, только потому, что лошади в упряжке барона Зальца оказались очень выносливы. Наверное, останемся с вами. Но прежде хотелось бы повидать штабс-капитана Быкова.

— Для вас он — господин штабс-капитан!

— А для вас?.. — вопросом ответил Полюнов.

Быков встретил его первым и самым насущным:

— Но где же отряд Слепиковского?

— Затрудняюсь ответить. Я видел его накануне высадки японцев, ваш приятель был спокоен. Если его отряд отходит от Чеписан, то он может следовать только на Хомутовку.

— Где уже сидят японцы, — уточнил Быков.

— Да.

— А куда же пропал сильный отряд Арцишевского?

— Не могу сказать, ибо я проскочил по дороге до Найбучи, наверное, раньше всех отступающих отрядов.

Быков сцепил пальцы в замок с такой нервной силищей, что даже посинели ногти на пальцах его рук.

— Я уже не спрашиваю об отряде Таирова, который может отступить только к рыбным промыслам Маука. Но чувствую, что в наших позорных делах не обошлось без предательства.

— Вы догадливы, штабс-капитан, и я даже предвидел это предательство... после знакомства с бароном Зальца! Всей душой прильнув к груди германского кайзера, он продался японцам.

— Смиримся и с этим, — раздумчиво произнес Быков. — Мой отряд будет сражаться до конца. Люди хорошие! Правда, — сказал он, — партизанские действия успешны только там, где партизан находит поддержку в населении. Трудно партизанить в тех местах, где только лес да дикие звери... Мы охотно примем вас в наш отряд, и я даже не буду слишком придирчив к вашему сугубо криминальному прошлому.

— У меня его попросту нету, — засмеялся Полюнов. — Я весь целеустремлен в светлое кристальное будущее.

— Прекратите! — раздраженно ответил Быков. — Я перестаю понимать, где вы говорите серьезно, а где превращаетесь в шуту. Лучше скажите по правде: чем я могу быть полезен?

— У вас, — ответил Полюнов, — имеется замечательная «франкотка», с которой вы один на один ходили против уссурийского тигра. Я могу сдать в отряд винтовку конвойного образца, а вы позволите мне пользоваться вашей «франкоткой».

Быкову было жаль расставаться с оружием точного боя, но он все-таки выложил снайперскую «франкотку» на стол, предупредив, что после войны заберет ее обратно.

— Обязательно! — Полюнов почти любовно подкинул в руке оружие. — За это я обещаю раздобыть для вашего отряда пять японских винтовок «арисака» и... и даже пулемет!

— Где вы их достанете?

— Это же моя профессия: вскрывать сейфы банков и добывать оружие для нелегалов. Впрочем, я прибыл в Найбучи, кажется, по служебным делам — как судебный следователь Зяблов.



Быков не слишком-то обрадовался этому превращению:

— Тогда я спрошу: куда же исчез сам Зяблов?

— Он... убит.

— Кем убит?

— Конечно, японцами, — равнодушно пояснил Польшов. — Вы же знаете привычку Зяблова ходить в мундире судебного ведомства. Наверное, японцы и приняли его за русского офицера...

Корней Земляков даже прослезился при виде Польшова:

— Вот повезло... вот радость-то! Ежели и вы с нами, знать, не пропадем. Вы приносите людям счастье...

Польшов дружески попросил парня проследить за лошадьми, чтобы они отдохнули после бешеной скачки от Корсаковского до Найбучи, с помощью Корнея отыскал жилье для совместного проживания с Анитой. Но однажды, когда Польшов чересчур долго засиделся в магазине, беседуя с лавочником и Челишевой о метаморфозах жизни, Анита встретила его разъяренной и сразу от порога надавала ему хлестких пощечин.

— За что? — обомлел Польшов.

— Не смей разговаривать с чужими! — яростно выпалила Анита. — Я не знаю, что сделаю с тобой, если только на моем пути станет другая женщина... Ты думаешь, я не поняла твоих слов Слепиковскому, когда вы закармливали меня мандаринами, растущими на кустах, а не на деревьях?!

Польшов вяло опустился на лавку и, потрясенный внезапным гневом своей Галатеи, долго не мог припомнить, сколько он заплатил за это сокровище.

— Ты не помнишь, сколько я дал тогда за тебя?

— Мало! Я ведь стою гораздо больше...

Двадцать седьмого июня в отряд Быкова влились потрепанные остатки отряда Полуботко, сдавшегося японцам, и Валерий Павлович Быков решил выбраться из Найбучи, чтобы проучить самураев:

— Пора дать бой этой зарвавшейся сволочи...

.....  
Контр-адмирал Катаока был еще молод. Европейская прическа и пышные усы делали его мало похожим на японца. Катаока смело сражался у стен Порт-Артура, он прошел через огненное горнило Цусимы; воротник его мундира был осыпан звездами, как и его грудь орденами... 27 июня ему доложили, что с четырех миноносцев сброшены десанты на мыс Крильон и теперь маяк, светивший кораблям в проливе Лаперуза, стал японским.

— Банзай, — сказал Катаока, глянув на карту. — Отныне «Крильон» будет мигать только по нашему расписанию.

Катаока принял адъютанта Харагучи — майора Такаси Кумэду, который выразил беспокойство своего начальника. Сначала адмирал

понял его так, что пришло время бомбардировать с моря Найбучи, но Кумэда просил его совсем о другом:

— Армии доставил много хлопот отряд Слепиковского.

— Сколько у него человек?

— По нашим сведениям, сто семьдесят при одном пулемете. Но, к сожалению, в отряд Слепиковского стали сбегаться каторжане и поселенцы, у него там уже работает кузница, где снимают с арестантов кандалы, и они тут же берутся за оружие. Харагучи просил известить вас, что именно Слепиковский тормозит наше продвижение к северу Сахалина.

— Как может шайка сорвать планы доблестной японской армии? Покажите на карте место отряда Слепиковского...

Гротто-Слепиковский отступил в тайгу к озеру Тунайчи, где и окопался. У него почти не осталось солдат, зато он принял в отряд множество арестантов, взломавших тюрьму, и, вооруженные, они не расставались с тюремными кандалами:

— Ежели их на руку намотать да самурая по чердаку трахнуть, так тут столько пыли просыпется...

Харагучи бросал в атаки по четыреста-пятьсот штыков сразу, но берега Тунайчи сделались неприступным бастионом, и командующий прославленной Сендайской дивизией боялся двигаться к Найбучи, пока в тылу оставался Слепиковский. Палец генерала неопределенно блуждал по оперативной карте, пока не уперся в Хомутовку:

— Конечно, этот ретивый поляк, чтобы соединиться с другими отрядами, может оказаться вот здесь, и тогда наши коммуникации будут им перерезаны... Что сказал Катаока?

— Адмирал, — ответил Кумэда, — высылает в море крейсера с десантами и батареями. Но при этом Катаока много смеялся, что мы застряли еще на выходе из Корсаковска.

— Он больше ничего не сказал?

— Катаока сказал, что похороны Слепиковского берет на свой счет и даже согласен оказать ему воинские почести!

Японские корабли обрушили на позиции Слепиковского огонь такой плотности, что от берегов озера отваливались пласты почвы, плюхаясь в воду. Все птицы разом поднялись в небо, тревожно галдя с высоты о том, что неизвестная сила нарушила извечный покой их гнездовой. Японские десантники охватывали отряд с трех сторон, и Слепиковский с трудом оторвал от земли тяжеленную, гудящую голову.

— Отходить, — скомандовал он, — убитых не брать! Нам некогда отрывать могилы...

Он углубился в тайгу, заняв позицию в непроходимых дебрях — между Хомутовкой и берегом Охотского моря. Кумэда снова появился перед адмиралом, докладывая, что дивизия Харагучи не может двигаться дальше, пока ей угрожают с флангов Быков и Слепиковский.

Но теперь на западе Сахалина блуждает отряд капитана Таирова, выбирающийся к поселку Маука, откуда прямая дорога вдоль берега выводит к Александровску.

— Что вы от меня хотите? — спросил Катаока. В отряде Таирова насчитывалось всего лишь сто шестьдесят восемь человек, но у страха глаза велики, и Кумэда сказал:

— У Таирова больше полутысячи бандитов, мой генерал просит вас послать для обстрела «Ясима» и «Акицусима».

Катаоке льстила эта зависимость армии от флота.

— Прошу передать генералу Харагучи мое уважение к его опыту и отваге. Но скоро моим крейсерам понадобится ремонт машин от частых посылок для помощи армии, а между тем, — сказал Катаока, — моя эскадра должна бы уже стоять на якорях возле Александровска... Неожиданная задержка Сендайской дивизии срывает оперативные замыслы императорского флота!

Упрек вежливый, но больно рнящий Харагучи...

---

В изложине гор блеснули воды Татарского пролива; матросы, снимав бескозырки, обрадованно крестились:

— Ну, выбрались на кудыкало, у моря живем. Возле пристани Маука качались четыре японские шхуны. Матросы одним бравым наскоком захватили их, потом выгребали из трюмов свертки солдатских одеял, бочонки с противным sake, мешки с рисом.

Пленным японцам дали кунгас с веслами и парусом, разрешили вернуться домой — в Японию:

— И скажите там своим, что мы еще не озверели, как вы, и голов никому не рубим... Убирайтесь вон, мясники!

Изможденный после блуждания по горам и тайге, отряд Таирова отсыпался в Маука, но пища была невкусная — без соли. Многие совсем отказывались от пресной еды, вызывавшей у них отвращение, и потому люди сильно ослабели. Мирная жизнь была нарушена появлением японских крейсеров, в одном из них Макаренко выделил знакомый силуэт «Ясима»:

— Во, гад! Уж сколько мы его с «Новика» лупцевали, а теперь и сюда приполз — салазки нам загигать...

Дымно разгорелись бараки рыбных промыслов, с веселым треском пламя охватило японские шхуны. Таиров велел отойти от берега, скрыться в густой траве, а крейсера нарочно били шрапнелью; потом высадили десант «японцев, которые, — вспоминал позже Архип Макаренко, — залпами осыпали траву, надеясь открыть наше убежище. Но мы молчали, так как, если бы и вступили в бой, крейсер тотчас же расстрелял бы всех нас из орудий». Дождавшись ночи, отряд покинул Маука, снова исчезая для врагов в дебрях Сахалина, и после шести

суток невыносимых трудностей они вышли к истокам реки Найбы, которая где-то в тайге заворачивала к востоку прямо к Найбуци.

— Вот и ладно, — сказал Таиров, — отсюда по речке выберемся на Быкова, а там уж сообща решим, что дальше...

Высланная вперед разведка назад не вернулась, а вскоре солдаты и дружинники обнаружили поле недавней битвы. С непривычки многих даже замутило. В самых безобразных позах валялись разбухшие на солнцепеке трупы самураев, возле каждого было рассыпано множество расстрелянных гильз.

— Идите сюда! — слышалось. — Тут наши лежат...

Смерть изуродовала русских, павших в смертельном бою, и было лишь непонятно — кто они, из какого отряда, куда шли? Над мертвецами знойно гудели тысячи жирных мух, вокруг трупов весело резвились полевые кузнечики и порхали бабочки. По Найбе, отталкиваясь от берега шестом, плыл в лодке местный житель, он подтвердил, что здесь был сильный бой.

— А кто же дрался тут с японцами?

— Отряд капитана Быкова.

— Так куда он делся потом?

— Кажется, ушел к селу Отрадна.

— Тогда и нам идти на Отрадна, — решил Таиров.

Матросы, привычные воевать на небольшом «пяточке» корабельной палубы, едва тащили ноги, уже не в силах преодолевать такие расстояния в бездорожье. Скоро из разведки вернулся прапорщик Хныкин, который крикнул:

— Назад! Впереди уже японцы.

— А много ль их там?

— Чего спрашиваете? На всех нас хватит...

Таиров повернул отряд обратно по реке Найбе, но уже не вниз, а вверх по ее течению, удаляясь от села Отрадна. На третий день люди услышали лай айновских собак — это двигался большой японский отряд. Таиров велел раскинуться цепью вдоль реки, а сам остался в обозе. Японцы с собаками стали отступать, заманивая русских в засаду, но тут прапорщик Хныкин — безвестный герой войны! — выкликнул добровольцев, они пошли за ним на «ура» и не оставили в живых ни одного самурая.

«После этого, — рассказывал Архип Макаренко, — затихла стрельба, и мы уже радовались, что порядочно перекозошили японцев, а затем было решено перейти на другую сторону Найбы». Однако на переправе случилась беда: японцы отсекали от Таирова один взвод, прижали его к отвесной скале, возле которой всех и перестреляли.

Но другой взвод спасался на скале, под которой перепрелым туманом смердила глубокая пропасть. Самураи теснили русских к самому краю обрыва, но люди в плен не сдавались.

— Только не срам! — кричали они. — Лучше уж смерть...

Расстреляв все патроны, люди выходили на край обрыва и, прощальным взглядом глянув на чистое небо, кидались вниз. Так погиб весь взвод. С первого и до последнего человека. Ни один не сдался... Русское мужество ошеломило врагов. Они долго стояли оцепенев. Молчали! Потом японский офицер, пряча в кобуру револьвер, подошел к обрыву над пропастью и посмотрел вниз, где распластались тела русских воинов, а меж ними, уже мертвыми, поблескивали стволы ружей и звенья кандалов.

— Учитесь умирать, — сказал он своим солдатам.

## 7. Учитесь воевать

В русской печати едва мелькнуло лаконичное сообщение о страшном бое, который дал штабс-капитан Быков японским захватчикам между Еланью и Владимировкой. При этом газеты ссылались на телеграмму Ляпишева от 29 июня, в которой губернатор Сахалина извещал Линевича, что отряд Быкова «имел бой, доведенный до штыков, с противником в более значительных силах». Сами же японцы об этой схватке хранили молчание, скрывая свои большие потери. Но генералу Харагучи становилось ясно, что по тылам его армии совершает отважный рейд партизанская сила, и она день ото дня делается все опаснее для них, для японцев... Быков оказался неуловим! Он наладил разведку, умел обходить опасности, поддерживая связь с жителями редких поселений, узнавал от них о каждом передвижении самураев. Его отряд громил вражеские гарнизоны, выметал их с позиций; японцы стали бояться дорог и прятались в лесу. В штабе Харагучи появилась растерянность, не свойственная победителям, и целых десять дней подряд японцы не смели даже показываться там, где появлялся Быков. Со своим отрядом, с беженцами, бродягами и ссыльными, которые уверовали в себя и в своего командира, они стали хозяевами положения.

— Остановка Сендайской дивизии на Южном Сахалине крайне неприятна, — рассуждал Харагучи перед Кумэдой. — Против нас действуют отряды Слепиковского, Таирова и Арцишевского, их надо уничтожить, пока они не соединились с Быковым.

Кумэда, опытный разведчик генштаба, сказал:

— Следует поторопиться с этим решением! Вчера мне стало известно, что губернатор отправил на помощь Быкову отряд гарнизонных войск во главе с капитаном Владимиром Сомовым.

— Вы его знали? — спросил Харагучи.

— Да, симпатичный молодой человек.

— Его надо перехватить еще в Оноре, — рассудил генерал. — Вы знакомы с этими краями, вот и ступайте до Онора.

Кумэда хотел взять с собой собак и... Оболмасова:

— Он уже проделал этот маршрут, а теперь ему, как американскому гражданину, ничто не грозит от русских.

— Хорошо, — согласился Харагучи, — можете брать айнов в качестве проводников, забирайте и этого американца Оболмасова... лишь бы опередить Сомова!

---

До отряда Быкова вскоре дошло, что полковник Арцишевский принял капитуляцию. Перед тем как сложить оружие, он целых три дня, как маклак на барахолке, торговался с самураями, выговаривая для себя условия плена. Но часть его отряда, похватав оружие, растворилась среди гор и лесов, почему Быкову следовало ожидать новое пополнение.

— Он же полковник... завтра генерал, — переживал Валерий Павлович, сидя в лесной халупе. — Какое он имел право бесчестить свои погоны и погоны других? Я не знаю, где Таиров и о чем он думает, но Слепиковского надо выручать...

Быков вызвал к себе Корнея Землякова и сказал, что верит в его смекалку, верит в его выживаемость среди кошмарных условий сахалинских дебрей.

— Конечно, Слепиковский не сидит на месте, он желал бы выйти к нам. Я даже не приказываю, а только прошу: бери любую лошадь из коляски барона Зальца и сыщи Слепиковского, чтобы он знал, куда ему пробиваться, где нас искать... Пусть он сам назначит время и место встречи!

Все десять дней передышки японцы забрасывали Быкова своими посланиями. Иные письма начинались вежливо: «Мы, японя, уважай Вас, доблесна руске офицерик...» Другие письма были переполнены угрозами, проклятьями от имени японской армии, самураи писали Быкову, что, если его банда не сложит оружие, они поджарят его на костре... живьем, как кусок мяса! Полынов застал Быкова не в самую хорошую минуту его жизни.

— Вы, кажется, загрустили, штабс-капитан?

— Задумался.

— О чем же?

— Неужели после войны, учитывая мои сахалинские заслуги, Академия Генерального штаба не примет меня в число своих слушателей без экзаменов по иностранным языкам?

— Не примет, — ответил Полынов. — Там слишком большой конкурс желающих обменять гарнизонную жизнь на блистательное представительство русской военной мысли. Я бы на вашем месте срочно обвенчался с Клавдией Петровной, чтобы она разговаривала с вами только на французском или немецком.

Темнело. Быков затеплил огарок свечи:

— К сожалению, нам не до венца. А я, наверное, не умею открывать для любви сердца женщин.

— Чепуха! — возмущенно ответил Польшов. — Каждый мужчина должен сам открывать для любви сердце любой женщины.

Горько усмехнулся в ответ штабс-капитан, оберегая среди ладоней, как цветок, колебания слабого огонька.

— Научите, как это делается? — спросил он.

— Очень просто! Любая женщина — как несгораемый шкаф еще неизвестной системы. Я подбираю к нему отмычки, а потом ковыряюсь в его потаенных пружинах. Раздается приятное: щелк! — и дверь сейфа открывается, как и сердце женщины.

— Опять шуточки! Вы можете быть откровенны?

— Конечно.

— Однажды вы засиделись в лавке Найбучи, допоздна беседуя с Клавдией Петровной.

— Не ревнуйте, — ответил Польшов. — За эту беседу ваш несчастный Пигмалион уже получил оплеуху от своей Галатеи.

— Но о чем вы беседовали с Клавочкой?

Последовал честный ответ Польшова:

— Госпожа Челищева спрашивала меня: стоит ли ей довериться вашим чувствам и принять ли ваше предложение?

— Что вы ответили ей тогда?

— Я сказал, что вы принадлежите к очень сильным натурам, которые способны перенести любые удары судьбы, но вы никогда не сможете пережить своего поражения.

Лицо Быкова неприятно заострилось, покрываясь глубокими тенями, как у мертвеца. Он загасил свечной огарок.

— Я вас не понял, — было им сказано.

— Наверное, меня поняла Клавдия Петровна.

— И какие же она сделала выводы?

— Вот об этом вы спросите у нее сами...

Передышка в боях затянулась. Польшов вскоре навестил Быкова с «франкоткой» в руках; его сопровождала Анита.

— Вы не будете возражать, если я схожу на разведку к северу, в сторону Онора? За меня вы не бойтесь.

— Я не за вас боюсь, а за вашу спутницу.

Анита вдруг шагнула между ними.

— Со мною ему нечего бояться, — гордо заявила она.

Взявшись за руки, словно дети, они не спеша удалялись в сторону леса, и Клавдия Петровна сказала Быкову:

— Не правда ли? Он сделал из девчонки свою собаку.

— Да нет, — печально ответил Быков. — Это скорее женщина, уже осознавшая свою великую женскую власть над мужчиной, и мне

порою кажется, что Польшов уже начал ее побаиваться. Я бы тоже не пожалел денег, чтобы купить такую вот... собаку!

Клабочку подобное объяснение не устраивало:

— Успокойтесь! Я вашей собакой никогда не стану...

После боя на реке Найба отряд перебрався на другой берег. Наверное, капитан Таиров мог бы и не форсировать реку, он и сам не знал, зачем это делает, поступая иногда по соображениям, очень далеким от тактики. Сказывались давняя усталость, постоянный голод, вечные страдания от гнуса, краткие сны на сырой земле — люди двигались скорее по привычке, уже вяло соображая, зачем и куда бредут, лишь бы не стоять на месте.

Шум речной воды усыплял, хотелось лечь.

— Сколько ж можно еще таскаться? — спрашивали матросы.

— Может, и выйдем на Быкова.

— А где он, отряд-то евоный?

— Не просто ж так ведут. Наверное, знают.

— Откуда им знать-то? Сами плутают...

Капитан Таиров забрался с офицерами на горушку, оглядываясь по сторонам, и скоро из цепи охранения послышалась учащенная пальба. Не успели дружинники опомниться, как японцы открыли по ним огонь со всех сторон сразу.

— Окружают... окружили! — раздались крики.

Архип Макаренко вспоминал: «Мы отбивались всеми силами, но через полчаса мы имели уже много потерь и стали ослабевать. К японцам же еще подошли подкрепления, так что их стало сотни четыре, если не больше». Матросы в ряд с дружинниками палили из берданок, но патроны им были выданы еще старинные, начиненные дымным порохом, и струи дыма, плававшие над травой, сразу называли японцам цель — для верных поражений. Увидев себя в кольце врагов, люди стали метаться, иные вскакивали, чтобы бежать, но тут же падали, остальные ползали возле тел погибших товарищей, вжимаясь в землю. Таиров, по-прежнему стоя на пригорке, вдруг стал размахивать полотенцем, крича:

— Эй, япона... аната! Кончай стрелять...

В бое возникла пауза, во время которой Архип метнулся в заросли малинника. Через просветы в листьях наблюдал, что будет дальше. Он видел, как японцы атаковали горушку, быстро переколов штыками пытавшихся бежать, а Таирова с офицерами согнали с пригорка вниз. Наступило затишье, и, кажется, оно длилось долго. Макаренко не покидал своего укрытия, боясь, что снова начнется стрельба. По его словам, в траве и по кустам затаились еще около сотни русских. Наконец откуда-то из лощины послышался призывающий голос Таирова:



— Мои боевые друзья! Мне ли обманывать вас? Я говорю вам сухую правду... Идите сюда! Ко мне. Не бойтесь.

После томительных раздумий дружинники поднимались и шли на голос офицера. Макаренко заметил, что, поверив Таирову, поднялись с земли и матросы. Таиров продолжал взывать из лошины, чтобы ничего не боялись, чтобы все без страха собирались к нему. Наверное, он сумел выманить большую часть отряда, теперь заодно с ним друзей окликали другие голоса:

— Ванюшка, здесь японцы веселые! Добрые...

Макаренко слышал и призывы своих матросов:

— Архип, не бойся... Архип, иди к нам!

Потом над поляной недавнего боя нависла вязкая, гнетущая тишина, и Архип сел под кустом, жадно поедая сочные ягоды малины. Из кустов выполз к нему пожилой дружинник.

— Ты чего? — сначала испугался Архип.

— Я не поверил. Остался.

— Я тоже. Ты из каких таких будешь?

— Я-то? Мы тамбовские.

— По убийству? За воровство? Али как иначе?

— Не. Я из «аграрников». Поселенец.

— Выходит, по науке на Сахалин закатился...

Дальше они пошли вдвоем, шли двенадцать верст лесом, пока не выбрались на луговину с грудями мертвецов. Это были дружинники. Среди них Макаренко обнаружил и своих матросов, голоса которых еще звучали в его ушах: «Архип, не бойся... Архип, иди к нам!» Позже он вспоминал: «У всех на глазах убитых из тряпок были сделаны повязки, а одежда и тела порезаны и исколоты японскими штыками». Случайно наткнулись и на тело капитана Таирова, который «лежал несколько в стороне от других, изрубленный на куски, а рядом с ним валялся обезглавленный труп прапорщика Хныкина... мы с моим спутником горько-горько плакали над телами дружины», переставшей существовать.

— Уйдем отселе, — звал матроса «аграрник».

Питаюсь ягодами и рыбой, которую ловили в Найбе руками, как первобытные дикари, они шли две недели подряд, но в селе Отрадна уже были японцы. Пришлось миновать село и углубиться в тайгу, где им встретилась убогая деревенька.

— Ну, — радовались, — здесь-то японца нету...

Староста сказал, что японцы у них уже побывали: «Пять русских, в том числе и фельдшер, обессиленные голодом, пришли и сдались японцам, те преспокойно связали им руки, завязали глаза и, выведя их к реке, так же спокойно перекололи всех пятерых, трупы бедняг и теперь валяются в яме».

— Можете оставаться, — закончил рассказ староста.

— Я... останусь, — решил «аграрник».

— А я буду искать своих, — ответил Архип.

Через несколько дней к бивуаку отряда Быкова выбрался из тайги не человек, а какое-то звероподобное существо; это был Архип Макаренко, заросший седой бородищей, весь облепленный комарьем, укусов которых он уже не замечал.

— Все погибли, — сказал он. — Один я остался. А больше никого. Так примите меня, люди добрые... сироту!

Кажется, он повредился в уме, его преследовали кошмары. Он часто замирал с открытым ртом, прислушиваясь, как из чащоб Сахалина его подзывают к себе голоса мертвецов:

— Архип, не бойся... Архип, иди к нам!

---

Всю ночь из села Отрадна слышались песни.

— Кто это поет? — спросила Анита.

— А тебе нравится?

— Да, красивый мотив.

— Это поют японские солдаты. Они всегда поют перед дальним походом, когда получают много саке. Подождем их здесь, все равно этой тропы к Онору самураям не избежать.

— А что мы сделаем, когда их увидим?

— Пересчитаем офицеров, чтобы по их числу иметь представление о количестве солдат. Узнаем, сколько телег, есть ли у них пушки, куда они шагают, — пояснил Полюнов.

Они провели всю ночь на земле, накрытые арестантским бушлатом, а на рассвете Полюнов продернул затвор «франкотки», досылая первый патрон до места.

— Анита, проснись. Все саке уже выпито, все красивые песни отзвучали, а нам пора... споем свою песню! Надеюсь, что ее мотив ты запомнишь на всю жизнь...

Укрывшись в чаще леса близ дороги, они дождались приближения батальона японцев. Впереди бежали собаки айнов, за ними сытые австралийские кони влекли телегу, за которой бодро шагали солдаты, пригнувшиеся от тяжести походных ранцев. Полюнов выставил из кустов дуло винтовки:

— Вот он, подлец! Наконец-то он мне попался.

— Кто?

— Оболмасов. А с ним на телеге — Кумэда.

— Но Оболмасов-то русский?

— К сожалению, да. Продажная тварь. Однажды он заставил меня снять перед ним шапку, а я снял ему голову.

— Так стреляй, чего медлишь, — торопила его Анита.

— Я могу сделать лишь один выстрел.

— Почему только один? — шепотом спросила Анита. — Вон же рядом с Оболмасовым болтает ногами японский офицер.

— Второго выстрела нам не дано, — ответил Полюнов. — Ибо за первым же выстрелом нас станут разрывать собаки...

Анита затаила дыхание. Мушка полюновской «франкотки» долго блуждала между Такаси Кумэдой и Жоржем Оболмасовым: кому из них подарить пулю? Но отвращение к сытому предателю пересилило ненависть к врагу, и Полюнов уверился в выборе цели:

— Один Нобель в Баку, а сахалинскому не бывать...

Грянул выстрел. Оболмасов кулем свалился с телеги.

— Бежим! — крикнула Анита и, выхватив револьвер, перестреляла японских собак, которые с разгневанным лаем и рычанием уже кинулись вслед за ними.

— Только не отставай, — звал ее Полюнов.

Скоро они вернулись в отряд, и не с пустыми руками. Полюнов ташил на загривке английский пулемет, Анита же ехала верхом на лохматой маньчжурской лошади. Девушка не удержалась, чтобы не похвастать Быкову своим трофеем:

— Как собака! Кусок хлеба брошу — на лету хватает.

Она со смехом показала горбушку, и лошадь, радостно заржав, оскалила зубы, готовая схватить хлеб.

Полюнов доложил Быкову, что батальон самураев выдвигается к Онору, чтобы перехватить отряд капитана Сомова на подходе:

— Вы уверены, что Сомов выдержит этот удар?

— Боюсь, что Володя не выдержит... Но где же Корней Земляков? — воскликнул Быков. — Почему не возвращается? Если бы моя встреча со Слепиковским состоялась, наши отряды, объединившись, еще могли бы спасти Александровск!

## 8. Огонь с моря

Судьба богатого села Владимировка не изгладилась даже в памяти поколений, и престарелые колхозники уже нового — советского Сахалина! — со слезами на глазах вспоминали:

— Наши отцы и матери не были ни каторжными, ни ссыльнопоселенными. Они искали на Сахалине лучшей доли и сытости. Когда японцы пришли, у нас тут двести дворов уже было. Школа своя была, церковь, мельница, даже молочная ферма. Самураи все разорили, все разграбили, подмели дочиста. Вредители они: где швейную машинку увидит, ведь он, гад, по винтикам ее раскрутит; а все винтики по улице раскидает. Чтобы устроить нас и заставить русских уйти с Сахалина, враги весь урожай на корню сожгли, леса вокруг повалили. А двести

наших, владимирских, мужиков да баб увели в падь за озером. Когда отыскиали их, у всех голов не было... Тут мы, которые остались живы, сразу и побежали. Умирать такой смертью кому охота?..

Трагедия острова определилась. На гиляцких лодках, пешком или на вьючных лошадях, неся на себе детишек, через горы и непролазные болота в Александровск стали выбираться беженцы с Южного Сахалина, и сначала никто не хотел верить их чудовищным рассказам о самурайских зверствах:

— Они всех убивают. От них даже малым ребятам нет пощады. И ведь какие нехристи! Сначала конфетку даст, по головке погладит, а потом... потом головой об стенку. Мы все бросили, что наживали, только бы живыми остаться...

Беженцы говорили правду. Когда раньше в окрестностях Порт-Артура или Мукдена находили тела русских воинов, изуеченных пытками, японцы говорили, что это дело рук хунхузов китайской императрицы Цыси. Но на Сахалине никогда не было хунхузов, теперь жители острова увидели подлинный облик самурая. Именно здесь, на русской земле, японцы решили беречь патроны: военных или дружинников, попавших в плен, они пронзали винтовочными тесаками, а местным жителям отрубали головы саблями, как палачи. По словам ссыльного политкаторжанина Кукуниана, только в первые дни нашествия они обезглавили две тысячи крестьян. Японская военщина истребляла беззащитных людей, когда их дипломаты, источая сладчайшие улыбки перед Рузвельтом, рассуждали о своем стремлении к миру с Россией!

Генерал-майор юстиции Кушелев сказал Ляпишеву:

— Наша беда, что на Сахалине никогда не было иностранных корреспондентов. Если бы они были, как в Порт-Артуре или Маньчжурии, тогда самураи, боясь международной гласности, не посмели бы зверствовать. Вот, Михаил Николаевич, почитайте, что пишет наш военный обозреватель Вожин...

Вожин писал, что солдаты «японских войск перепугали даже иностранных военных агентов, сидевших в японских штабах. В европейских газетах они признавали, что таких солдат в Европе нет...». А вот что писал он о нашем русском солдате: «Сыщутся среди нас миллионы, сильных не муштроу и фанатизмом, а исключительно сознательной верой в свои идеалы, сильных именно беззаветной любовью к своей великой Родине!»

Незадолго до появления беженцев в Александровск пришли два пароходика — «Тунгус» и «Камчатка», доставившие гарнизону солонину в бочках и новенькие пушечные лафеты.

— А где же сами пушки? — спрашивали капитанов.

— Сейчас только лафеты, а пушки потом...

Капитаны просили передать Ляпишеву, что следующим рейсом прибудет генерал Флетчер, который и возглавит оборону Сахалина, так что пусть Михаил Николаевич не тревожится. Конечно, никакой генерал Флетчер не приехал, а Северный Сахалин остался при новеньких лафетах без пушек. Если это русская «безалаберность», то в другие времена ее стали бы называть более конкретно — «вредительством». Однако в гарнизоне слишком уповали на приезд Флетчера. Поправку в эти иллюзии внес капитан Жохов, авторитетно заявивший, что генерала с такой фамилией в русской армии попросту не существует.

— Нет Флетчера, и не надо нам Флетчера, сами управимся! — убежденно высказался полковник Семен Болдырев. — Потому как и дураку ясно, что самураи сюда не полезут. Они же тепло обожают, солнышко любят, их на Северный Сахалин и рисинкой не заманишь...

Постепенно в Александровске успокоились, уверенные в «теплолюбии» самураев. Слизов ораторствовал в клубе, что вся эта катавасия началась с залива Терпения:

— Им рыбки захотелось! Ловили они там рыбу, ну и пусть ловят дальше, а в нашу холодрыгу они не сунутся...

Такие настроения, да, бытовали среди чиновников, и сейчас мне, автору, не найти им никакого оправдания. Тем более что трагедия жителей Южного Сахалина грозила обернуться непоправимыми бедствиями для северных островитян. Но в Александровске еще благодушествовали, Бунге не раз пожимал плечами, наслушавшись рассказов беженцев:

— Если это правда, кто бы мог подумать, что японцы способны на такие жестокости! Всегда вежливые. С улыбочкой!

На это капитан Жохов, уже прошедший через горнило боев в Маньчжурии, всякое видевший, отвечал Бунге:

— Мы ведь еще не спрашивали у волков: что они испытывают, терзая свои жертвы? Может быть, они в этот момент хохочут во все горло...

Сергей Леонидович в неважном настроении навестил Волоховых на Рельсовой улице. Ольга Ивановна, оставив свое бесконечное шитье, заварила для журналиста свежий чай. Здесь же был и Глогер, едва кивнувший капитану. Игнатий Волохов ставил на башмаки новые подметки, он из-под стекол очков выжидательно посматривал на офицера русского генштаба.

— Наверное, японцы уже на подходе? — спросил он.

— Вы не ошиблись, — нехотя согласился Жохов, — и потому советую вам не мешкать, если они появятся здесь. Сразу берите детей и уходите отсюда... как можно дальше.

Ольга Ивановна под стрекот машинки сказала:

— Куда уж дальше мыса Погиби! Мы ведь, слава богу, не уголовники, и японцы должны понять, что политические ссыльные лишь при-

ветствуют поражение царизма. Конечно, мы не союзники самураям, но и не враги Японии... Правда ведь?

Глогер молчал, а Игнатий Волохов задержал удар молотком, словно выжидая ответа от военного журналиста.

— Боюсь, что ваши убеждения, Ольга Ивановна, для самураев ничего не значат. Им необходим весь Сахалин, от маяка «Крильон» до мыса Погиби, но Сахалин им надобен без русских людей — как хороших, так и плохих! Потому и говорю вам: не ждите милости от врагов, ибо враги останутся врагами для всех нас.

— Не для всех! — возразил Волохов, одним ударом загоня гвоздик в подошву. — Отвергая амнистию от царя, мы будем освобождены японцами. Это две различные вещи!

Жохову было неприятно подобное умозаключение, но, идя на Рельсовую, он предвидел, что разговор не будет легким, и капитан даже с некоторой надеждой обратился к Глогеру:

— А вам-то, еще молодому человеку, не обремененному семьей и даже имуществом, вам спастись будет легче.

— Бежать с вами? — хохотнул Глогер. — А мне, католику, японцы ничего худого не сделают. Напротив, они лояльны к тем народам, которые поработены вами, господин капитан. Разве не вы, москали, закабалили мою несчастную Речь Посполитую, а теперь сами же расплачиваетесь за свои грехи!

Сергей Леонидович ощутил приступ гнева:

— Вы, пожалуйста, не путайте русский народ с российским самодержавием. Вы ничего не поняли, ослепленные своим шляхетским гонором, а я предрекаю вам, что вы плохо кончите.

— Плохо? Лучше вас, — отвечал Глогер.

---

Кучер Ляпишева частенько вывозил губернатора с хохотливой Катей Катиной, но катал их подальше от города, ибо Ляпишев побаивался ревнивой Фенечки. Однажды он указал кучеру:

— Ты, братец, держи лошадей и коляску наготове возле моего дома, чтобы можно было сразу уехать от японцев.

— Ясененько, — отвечал кучер, осужденный московским судом за убийства и ограбления своих пассажиров...

Впрочем, сильный шторм в Татарском проливе исключал появление японских десантов. Ляпишев, прислушиваясь к разговорам чиновников, тоже начал склоняться к мысли, что завоеванием Корсаковского округа самураи ограничат свои территориальные вождения. Но 10 июля шторм начал стихать, и возникла опасность обстрела Александровска с кораблей. Потому губернатор велел гасить по вечерам уличные фонари; обыватели занавешивали окна старыми одеялами, чтобы город, утонувший во мраке, не был виден с моря.

Старческий флирт с сестрой милосердия Катей Катвиной не мешал Ляпишеву выказывать предельное внимание к своей горничной, у которой снова обострился процесс в легких.

Фенечка Икатова даже не благодарила его:

— Помру вот на каторге... каторжницей!

— Ну, милочка, что за глупые мысли у тебя, — волновался Михаил Николаевич, отсчитывая в рюмку капли микстуры. — И какая же ты каторжная, если сам генерал-лейтенант юстиции согласен быть сиделкой при твоей постели.

— Лошади-то с коляскою чего у крыльца стоят?

— Да так... на всякий случай.

— Вы меня не оставьте здесь — с японцами, — просила его Фенечка. — Уж если помирать, так лучше среди своих...

Мемуаристы, вспоминая сахалинский день 10 июля, оставили нам красочные описания погоды. По их уверениям, никогда еще море не было таким спокойным и ласковым, едва журча, оно набрасывало на берег пышные кружева легкой пены; ярко светило солнце, а небо было наполнено удивительной голубишной. Воздух был настолько прозрачен, что на другой стороне Татарского пролива невооруженным глазом можно было увидеть бухту Де-Кастри...

С маяка «Жонкьер» позвонили губернатору:

— Ясно видим четыре крейсера под японским флагом.

Михаил Николаевич еще не забыл своей оплошности, когда он, донкихотствуя, собрался вступить в битву со льдинами, на которых дымились кучи навоза.

— Дались вам эти японцы. Откуда тут крейсера?

— Так точно, убедитесь сами...

Ляпишев уселся в коляску, к нему запрыгнула невесть откуда и взявшаяся Катя Катина, любившая пикантные анекдоты. Кучер быстро домчал лошадей до пристани, по которой с биноклем в руках похаживал капитан Жохов. Но даже без бинокля Ляпишев рассмотрел японские крейсера, которые на малом ходу ползали, как утюги, вдоль берега, стопоря машины возле береговых лощин, через которые с моря проглядывали крыши Александровска; потом крейсера отплыли немножко к северу, где и задержались возле Арково, просматривая линии русских окопов.

— Что они здесь крутятся? — спросил Ляпишев.

— Промеряют глубины, берут пробы грунтов.

— Зачем?

— Чтобы знать, в каком месте бросать якоря...

По-прежнему светило солнце, лениво чвикали с высоты чайки, ни одного выстрела, берега Сахалина встретили бронированных пришельцев суровым молчанием. Но очевидец писал: «Глубоко оскорбленные, смотрели защитники Сахалина, как невозмутимо плавали неприятель-

ские суда, как дерзко и насмешливо подходили они к нашим берегам. Судорожно сжимались руки, с языка слетали проклятия. О, если бы хоть чем-нибудь можно было проучить самонадеянного врага! И тут особенно ясно и отчетливо Сахалин осознал свое позорное, свое безнадёжное бессилие. И как больно всем нам было это сознание... Японские крейсера скрылись в таинственной, синюющей дали. Они оставили всех нас переживать жгучий вопрос: что будет завтра?»

— Завтра все и начнется, — сказал Жохов.

— Типун вам на язык, — ответил Ляпишев. — Завтра не может быть ничего дурного, потому что Витте уже в пути к американскому Портсмуту, японцы ждут его для подписания мира... Что бы вы, дорогой генштабист, посоветовали мне делать?

— Все взрывать, все сжечь, — сказал Жохов.

— Не требуйте от меня подвигов Герострата!

На это военный писатель ответил ему как надо:

— Помилуйте, никто еще не назвал геростратами русских мужиков, паливших свои деревни в двенадцатом году...

Ляпишев вернулся в город, наказав кучеру:

— Задай овса лошадям, подтяни рессоры, и чтобы коляска стояла возле моего крыльца наготове. Все понял?

— Ясненько, — сказал кучер, и Ляпишев даже не заметил, как он озорно подмигнул миленькой Кате Катиной...

Губернатор все-таки послушался Жохова, весь остаток дня был посвящен уничтожению того, что составляло государственную ценность: «Горел каменный уголь в рудниках Дуэ, уничтожались баркасы с припасами, снимались рельсы для вагонеток на “дековильках”, спешно вывозились из города сложенные грудями ящики консервов и патронов». Отсветы далеких пожаров отражались в окнах губернаторского дома, и было даже страшновато, а Фенечка Икатова, сухо кашляя, говорила:

— Видите, что творится? Михаил Николаевич, вы же здесь — и царь и бог... Ну, что вам стоит? Плюньте на все законы, выпишите мне «липу» фальшивую, чтобы я умерла свободной женщиной, а не каторжной. Я ведь вам за это руки лизать стану.

В таких вопросах Ляпишев оставался непреклонен.

— Не проси! — отвечал он. — Все для тебя сделаю, но закон есть закон, хотя он и суров.

— Эх вы... законники! — отозвалась горничная. — Спать-то со мной незаконно можете, а вот «липу» сшить для меня, на это у вас храбрости не хватает... Нет у мужчин благородства! Даже «липу» сделать для женщины не могут...

Пока все было тихо. Болдырев прикрывал берег со стороны поселений Арково — чуть севернее Александровска, сам же город охранял полковник Тарасенко; южнее каторжной столицы, в районе угольных копей Дуэ, располагался отряд Домницкого, а полковник Тулупьев



уже пил чай с женою в Рыковском. Конечно, «диспозиция» выглядела примитивной, но в документах о ней сохранилась одна фраза, разоблачающая слабоволие и нерешительность самого Ляпишева, фраза, которая из любого героя могла сразу же сделать труса: «Отступить с боем, но в бой не ввязываться!» В этих казуистических словах заключался такой широкий простор для всяческих импровизаций на тему о героизме, что руки опускались — в полном бессилии.

Ладно. Начинался рассвет 11 июля 1905 года...

Вот он: сначала со стороны бухты Де-Кастри обозначился густой дым, и этот дым все больше насыщался перегаром корабельных кардифов, черное облако нависло над Татарским проливом. Начальство в Александровске решило, что японцы сожгли нашу базу в Де-Кастри, но потом из лавины дыма стали надвигаться на Сахалин корабли... Кораблей было так много, что очевидцы насчитали до восьмидесяти боевых вымпелов.

Это шла «Северная» эскадра контр-адмирала Катаоки; на палубах его кораблей размещалась Сендайская дивизия генерала Харагучи — самураи спешили захватить весь Сахалин, пока в Портсмуте не успели договориться о мире.

Сахалин, казалось, болезненно сжался, ожидая смертельного удара в самую подвздошину острова — в Александровск!

— Александровск, во избежание жертв и насилий, объявляю открытым городом, — сказал Ляпишев и крикнул кучера...

Фенечка торопливо собирала в корзину белье, умышленно кладя свои панталоны между кальсонами губернатора, свои сорочки рядом с его рубашками, как это сделала бы любая жена, не разделяющая свое белье от белья своего мужа. Она слышала, как в кабинет Ляпишева вошел поручик Соколов, начальник конвоя:

— Ваш кучер, глот поганый, уже драпанул с коляской.

— Как же так? Я говорил, чтобы со мною вместе.

— Уехал. И не один, а взял Катю Катину...

Фенечка, поднатужась, стянула ремни корзины:

— Могла бы эта сучка и постыдиться. Не она ведь хозяйка на Сахалине... Ну, ежели попадется, я ей таких фингалов наставлю, что света божьего не увидит. Сразу забудет, какво было кататься в коляске губернаторской...

Досказать своих угроз она не успела — японские корабли уже открыли огонь по Александровску.

## 9. Нашествие

Причал они пока оставили в покое. Японцы заранее учли амплитуду «дыхания моря», и во время отлива, когда обнажилось дно сахалинского берега, покрытое твердым и плотным, как асфальт, песком, они прямо

на этот природный «асфальт» выгружали с кораблей артиллерию, высаживали батальоны и лошадей в обозной упряжи, а впереди всех вышагивали жандармы; на длинных шестах эти жандармы несли щиты с надписями: «Японски земля есть КАРАФУТО». Нашествие началось...

На простой телеге, поверх чемоданов и узлов с барахлом, восседал губернатор с Фенечкой. Ляпишев кричал:

— Всем уходить к Рыковскому и на Дербинское... Именно там дадим жестокий отпор зарвавшимся захватчикам!

Пристань так и не успели взорвать, потому что никто в этом хаосе не мог вспомнить, куда спрятали запасы пироксилина. Японские крейсера двумя залпами орудий главного калибра разом смели все русские пушки, поставленные среди крестов кладбищ. Снаряды звонко рвались на улицах, разрушали дома; в городе никто не тушил пожаров, начальство попряталось, и все нищие босяки, конечно, кинулись на склад обуви, выбегая на улицу уже в новеньких сапогах. Бунге успел удрать в деревню Михайловку (в самый конец Рельсовой улицы, где начиналась опушка леса), оттуда он и названивал в губернскую канцелярию. Трубку телефона снял статский советник Слизов, и Бунге указал ему — срочно запереть казенный склад.

— А все сапоги у жителей отобрать как похищенные. С меня же потом спросят! — орал в телефон Бунге. — По казенной ведомости все должны быть в наличии...

Слизов «отлакировал» Бунге каторжным матом:

— Иди сам и закрывай. Но я еще не сошел с ума, чтобы спасти казенное имущество, когда тут все трещит и рушится.

— А что вы там делаете? — притих Бунге.

— Не я один ищем спасения в доме губернатора. Тут собрались почти все чиновники правления... с женами, с детьми. Вот сидим и ждем, когда нагрянут сюда японцы.

— И не стыдно вам? — издаലെка упрекнул его Бунге.

— А чего стыдиться? Мы остались на своем месте... не как другие! Японцы подержат и отпустят, а попадись я нашим живоглотам, так они мне все кишки выпустят... Слышу звон с улицы! — доложил Слизов. — Сапоги уже поделили, теперь вижу, как все побежали с ведрами...

Жоржетта Иудична Слизова отобрала из своих простыней самую старую, какую не жалко выбросить, и чиновники полезли на крышу, чтобы укрепить там белое знамя капитуляции. Только они это успели сделать, как со двора ударил пулемет. Это капитан Жохов с двумя солдатами косил японцев, которые уже появились в самом конце Николаевской улицы. Двор был изрыт ямами для хранения в них картофеля; все чиновники попрыгали в эти ямы, крича из ям капитану:

— Проваливай отсюда! Герой нашелся... Воевать надо было раньше, еще в Маньчжурии, и ты нам Порт-Артура не устраивай. Мы люди семейные, нам до пенсии недолго осталось...

Слизов дождался, когда пулемет дробно дожует целую ленту, а тогда набросился на Жохова чуть ли не с кулаками:

— Вы же погубите нас! Японцы отомстят нам за эти выстрелы. С вас-то многого не спросишь, а у нас — жены, у нас все, что годами копили... верой и правдой... как положено...

— Так убирайтесь отсюда ко всем чертям!

— Сам убирайся отсюда со своей тарахтелкой... Ты сначала посмотри, под каким знаменем ты стреляешь!

Жохов глянул на белую простыню, которую ветер разворачивал над крышей губернского правления, скрипнул зубами:

— С-с-сволочи... вас бы косить! Заодно с врагами...

Японские десанты, заняв прибрежную полосу Александровска, боевой активности не проявляли. Они старались проникнуть в ближайшие деревни, реквизируя скот и домашнюю птицу, которые тут же отправляли кунгасами на свои корабли. Жандармы тем временем всюду втыкали в землю шести с японскими флагами, на выездах из деревень развешивали объявления о том, что жителям Сахалина отныне строго запрещается всякая охота в лесах, рыбная ловля в реках и сенокосение. Море оставалось на диво спокойным, над японской эскадрой Катаоки ветер едва колыхал боевые вымпелы; корабли красочной гирляндой протянулись вдоль берега — от рудников Дуэ до поселков Арково...

Слизов, глянув в окно, начал креститься:

— Идут! Господи, сохрани и помилуй нас...

В дом губернского правления вломился японский офицер с солдатами; офицер первым делом угостил всех детей красивыми конфетками. Солдаты же очень ловко похватили чемоданы с добром чиновников, выкидывая их на улицу не только в двери, но даже в окна. Затем мужчинам предложили сложить на стол часы и кольца, а женщин быстро избавили от украшений, не забывая выдернуть из ушей серьги. Жоржетта Слизова зарыдала, а японский солдат потянул ее за грудь, говоря при этом:

— Русске сэнсын — халосый сэнсын... Банзай!

Мне, автору, в этой гнусной истории жаль только детей, которые не виноваты в том, что их папы и мамы оказались такими трусливыми и такими глупыми. Вмиг чиновники оказались разорены, потеряв все, что скопили за годы сахалинской службы. В поселке Второе Арково крестьянин Евграф Чешин схватил вилы, чтобы защищать свою семью и свое имущество.

— Не дам! — кричал он. — А хучь убейте, не дамся...

Самураи вытащили крестьянина за околицу, где и замучили его со спокойной, деловитой жестокостью. Евграф Чешин, кажется, был первой жертвой насилия оккупантов на Северном Сахалине... Нашествие продолжалось!

.....

Позиция под Арково, что прикрывала Александровск с севера, была безобразна: защитники Сахалина, сидя на скалах берега, могли стрелять только вниз — почти вертикально, видя не всего врага, а лишь кружочек японской фуражки. Самураи выбросили десант гораздо севернее Арково, захватив Владимирские рудники, потом стали энергично нажимать на дружину Болдырева со стороны суши, а с моря позиции молотила корабельная артиллерия. Полковник Семен Болдырев велел отходить:

— По диспозиции я имею право отступить с боем, но в бой не ввязываться! Так на кой черт нам тут гробиться? Пойдем прямо на Дербинское, там ведь тоже есть тюрьма, на худой конец в тюрьме и отсидимся... в обороне!

Ему встретился судебный следователь Подорога — босиком, без мундира, одетый в арестантский халат, вздрагивая от страха, он сказал, что едва вырвался от японцев:

— Увидели на мне погоны судейского ведомства, приняли за офицера. Уж я в ногах извалялся! Спасибо ихнему переводчику, — подтвердил мои слова, что юристы в России мундиры носят. Тогда самураи с меня ботинки содрали.

— Закавыка! — призадумался Болдырев и на всякий случай припрятал в обозе для себя бушлат арестанта, бескозырку и жалкие опорки. — С этими косоворотами шутки плохи...

Выйдя к Камышовому перевалу, он послал донесение Ляпишеву, что отходит, жестоко теснимый превосходящими силами противника. Он врал! Никто его не теснил, он труса праздновал, забыв о том, что на этом свете, помимо баб, жратвы и выпивки, существует еще такое понятие — офицерская честь. Но вот чести-то у Болдырева как раз и не было...

Александровский отряд еще удерживал высоты Жонкьера с маяком на вершине скалы, когда капитан Жохов, появясь в разгар боя, сказал полковнику Тарасенко, что в городе уже полно японцев, и Тарасенко даже не поверил ему:

— Да как же они туда попали?

— Через Арково, которое бросил Болдырев.

Предательство было уже непоправимо.

— Теперь, — здраво рассудил Тарасенко, — если я начну отходить, то подставлю под удар позиции Домницкого в Дуэ, как подставил меня под удар убежавший Болдырев.

— Значит, — ответил Жохов, — надо отходить всем. Иначе не только ваш отряд, но и отряд в Дуэ будут окружены...

Предательство одного полковника замкнуло цепь дальнейших ошибок, в отступающих колоннах возникла сумятица:

— Предали! Какая ж тут война? Удираем, и только...

В направлении от города образовались как бы два русла: на севере, идя по стопам Болдырева, японцы двигались на Дербинское, а южнее города, вдоль Пиленгского хребта, отступали отряды Тарасенко и Домницкого — на Рыковское! Таким образом, все силы обороны даже не отходили, а стихийно откатывались в глубину острова; впрочем, Ляпишев еще надеялся задержать японцев на линии Дербинское — Рыковское.

Сейчас, сидя в избе села Михайловка, губернатор грустно наблюдал через окошко, как над покинутым Александровском растет черный гриб дыма — это горела «кандалная» тюрьма. При Ляпишеве в этот час не осталось добрых советников, зато образовался «штаб» из числа бездельников, понимавших, что близ губернатора им будет намного безопаснее...

Фенечка Икатова нашептала Ляпишеву:

— Заведут вас эти советники, куда и Макар телят не гонял. Коли до генерала дослужились, так будьте же генералом...

Бунге настаивал, чтобы в Рыковском не вздумали воевать, иначе в боевой обстановке спялят и тамошнюю тюрьму:

— А куда же сажать преступников после этой заварухи с японцами? Я уже перенес в Рыковское свое управление гражданской частью и заклинаю вас, Михаил Николаевич, сдать Рыковское без боя, дабы не возникло излишних эксцессов.

Ляпишев сделал рукою неопределенный жест:

— Но ведь в Рыковском нас должен укрепить Тулупьев.

— Он укрепит... как же! — ответил Бунге. — Мне телефонировали, что полковник Тулупьев забрал свою жену, нагрузил три подводы всяким барахлом и поехал сдаваться японцам.

— Как сдаваться?

— Под видом тюремного инспектора. Очевидно, из принципа: моя хата с краю, я ничего не знаю...

Услышав такое, Ляпишев поник. Тут прискакал на лошади капитан Жохов, почерневший за день от дыма и солнечных ожогов. Он с порога крикнул, что нельзя же так драть:

— Закрепимся хотя бы на перевалах и дадим самураям звону, чтобы они не думали, будто здесь для них загородная прогулка.

Ляпишев неожиданно вспомнил — с горечью:

— Японцы всех обвели. Даже меня, старого олуха. Кабаяси ведь обещал заплатить мне по иене за страницу, чтобы я сочинил предисловие к их альбому с видами Сахалина... Ну, я постарался! Только где мы этот альбом видели?

— Я видел! — вдруг сказал Сергей Леонидович.

— Да быть того не может. Разве его издали?

Жохов достал из сумки книжку небольшого формата, которую можно носить при себе — даже в кармане мундира.

— Полюбуйтесь на ваши виды, — сказал он. — Этот альбомчик я забрал у японского офицера, убитого нами. Тут представлено все, что надо. Ориентиры на местности, маяки «Жонкьер» и «Крильон», вот вам дорога на Онор и завалы на реке Поронай. Такой альбом имеется у любого японского ефрейтора, а у нас офицеры даже дороги от Александровска не ведают...

Угнетенный стыдом, Михаил Николаевич промолчал. Тут на коляске подъехал Кушелев, в штабной избе он бурно заговорил:

— Если после падения Порт-Артура и поражений в Маньчжурии мы вопили себе в оправдание, что не были готовы к войне с Японией, то Сахалину нечем оправдать себя перед народом: у нас было достаточно времени для подготовки. Но мы ничего не сделали. Если не считать, что получили «подъемные»...

Ляпишев даже не обиделся на прокурора:

— Тут до вас был Бунге! Он жалобно просит, чтобы мы оставили Рыковское с его тюрьмою как есть... без боя...

— Так что же нам? — возмутился Кушелев. — Ради карьеры Бунге и возлюбленных им тюрем полезать в болота и сидеть там в грязи по самые уши? Пошел он к чертям, дурак такой!

Жохов на листке из блокнота быстро набросал схему главных путей и рек внутри Сахалина.

— Никто не сдает врагу главный узел дорог, который невольно становится главным узлом сопротивления. Как можно оставить Рыковское, если к югу от него тянется просека к Онору, а к северу — дорога на Дербинское? Рокадных сообщений на Сахалине нет, зато все дороги вписываются в извилины речных долин — реки Тымь на севере и реки Поронай на юге. Если этого не понимает Бунге, то мы, понимающие, должны удерживать Рыковское из последних сил... Наконец, — заключил Жохов, — не стоит забывать, что в Корсаковском округе еще не сложили оружия ни отряд Слепиковского, ни отряд Быкова!

— Молодцы, герои! — похвалил их Ляпишев. — Я уже послал к Онору свежий отряд капитана Сомова... на помощь им!

Генерал-прокурор Кушелев вдруг сгорбил: тяжелой походкой, чуть покачиваясь, он направился к дверям.

— Отряд Сомова уже капитулировал, — сказал он.

— Где?

— Как раз в Оноре...

Колыхнулась цветастая занавеска, за которой укрывалась постель с лежавшей Фенечкой, послышался ее вздох:

— Вояки! Даже не сдаются в плен, а сами лезут в плен, будто японцы их там всех медом станут намазывать...

Ляпишев вопросительно взирал на Жохова.

— Не знаю, что и думать, — отвечал тот. — Я всюду ощущаю самое натуральное свинство...

.....  
Легко, наверное, быть героем, когда люди видят твой подвиг, обещая сохранить его для народной памяти, и трудно идти на подвиг, заведомо зная, что погибнешь безвестно...

Корней Земляков никогда бы не отыскал отряд Слепиковского, если бы не подсказывали местные жители — редкие одиночки, чудом уцелевшие после погромов. Ночуя в опустевших деревнях, дружинник мучился от противного запаха, который оставляли после себя японские солдаты (очевидно, от химических зелий, употребляемых ими в борьбе с русскими насекомыми).

Слепиковский никак не мог оторваться от района Хомутовки и Владимировки, где его поддерживали остатки населения, не мог он и проломиться к северу, огражденный от Быкова сильными вражескими заслонами. Неожиданное появление Корнея Землякова с запиской от Быкова внушило ему надежды на возможность соединения двух отрядов — в один, более мощный.

— Поживи у меня денек-другой, а я подумаю, — сказал он Корнею и, все продумав, велел готовиться в обратный путь. — Я не буду давать тебе никаких записок... сам понимаешь, не маленький! Не дай-то бог, еще попадешься.

Корней понятливо кивнул Слепиковскому:

— И не надо. Память хорошая. Все упомяну.

— Я не пойду к Отрадне, а сразу поведу отряд дальше на Сирароко, запомни это слово: Си-ра-ро-ко. И пусть Быков с отрядом ждет меня в Сирароко десять дней. Если не появлюсь в срок, значит, меня уже нет в живых на свете, и пусть Быков выбирается к своим уже без меня... Иди!

Корней долго шел лесом, падами и еланями, сторонясь большаков, для ночлегов избирал самые глухие деревеньки. Но однажды ночь застала его на каких-то выселках, где уцелел только дом старосты, который принял его очень любезно:

— Не к Онору ли, милоч, путь держишь?

— Не. Я так... спасаюсь.

— Ох, не ври мне, парень, — сожмурился старик. — Не тебя ли япошки какой денечек сторожат на дорогах?

— А зачем я надобен, чтобы меня сторожить?

— Известились, будто от Быкова посланец был к Слепиковскому. Похоже, ты это... Но меня, милоч, не пужайся. Я вить добрый, тока вот фортуна мне малость подгадила.

— А по какой статье... фортуна-то?

Старик захихикал и сразу стал гадостно противен Корнею, когда сознался, что пошел на каторгу за сожигание со своею дочерью. Но вины за собой он не признавал:

— Не преступник же я! Кто ее кормил? Кто одевал? Коли с базара еду, всегда ей гостинцев везу... Мне аблокат (ён в очках был, ученый барин!) картинку показывал: старец Лот с дочерьми гуляет. Лоту, значаща, можно гулять, с него даже картинки малюют всякие, а почто мне-то нельзя?

Земляков устроился ночевать на лавке и в дремоте услышал, что в хлеву замычала телка; предсонным сознанием он еще подумал: «Как же это телку японцы не увели?» Корней был разбужен среди ночи паршивым сахалинским Лотом:

— Парниша, вставай... за тобою пришли.

Японские солдаты молча скрутили Корнею руки за спиною, отвели его на лесную поляну, где возле костерка сидел молодой самурай офицер в желтых гетрах, и на веточках он поджаривал червивые после дождя грибы. Перед Корнеем разложили пачку измятых русских денег, набор японских открыток с позирующими проститутками и бутылъ с английским виски.

— Все твое, — сказал офицер на ломаном русском языке, но Корней его понял. — Можешь забирать. Сначала говори: куда пойдет храбрый Слепиковский, где его встретит Быков?..

Корней оглядел гроздь еловых шишек, свисавших над ним, позавидовал весело скачущим белкам. Потом понурил голову, готовя себя к самому худшему. Но — промолчал. Тогда его стали пытать и мучить тесаками столь жестоко и бесчеловечно, что он орал изо всех сил, а с соседнего хутора отвечала ему телка — долгим и жалобным мычанием. Потом он видел, как стянули с него сапоги и сунули в костер его ноги...

— Где Быков встретит Слепиковского?

— Не знаю никого... ничего не знаю!..

Вспомнилось, как бил его следователь Недорога, и он, не выдержав побоев, подписал все протоколы допроса. Но теперь ничего не надо было подписывать, а только произнести единое слово «Сира-роко» — и страдания кончились бы сразу. Но он принял от самураев неслыханные муки, так и не сказав ничего своим палачам. Последнее, что запомнил парень, это как ставили его на колени. Потом велели наклонить голову...

За его спиной взвизгнула сабля!

И, потеряв голову, он не потерял своей чести.

Безвестный каторжанин «от сохи на время» Корней Земляков жил хуже других, а умер он лучше тех, которые жили лучше его. Он отошел прочь с земли как честный русский человек, как верный патриот России-матери, которая — волею судьбы — воплотилась для него в этом острове людских невзгод и печали.



## 10. Рыковская трагедия

Кушелев, стоя на пригорке, бил по японцам из винтовки, и было видно, как сильная отдача выстрелов раскачивает его, уже пожилого человека, а над головой генерала японские пули кромсали и вихрили листву деревьев.

— Уйдите! — кричали ему. — Вас же убьют.

— Еще обойму, — отвечал Кушелев.

Преисполненный отчаяния, он, кажется, сознательно искал смерти. Японцы — на плечах бежавшего от них Болдырева — ворвались в Дербинское; среди дружинников и солдат, отходящих на Рыковское, появилось боевое ожесточение. Каторга не смогла вытравить из ополченцев любви к поруганной родине, а Кушелев выпускал по врагам пулю за пулей, и сейчас он, прокурор Сахалина, был заодно с теми людьми, которых раньше судил, карал и преследовал.

В эти дни английская «Дейли геральд» признала, что Сендайская дивизия Харагучи понесла невосполнимые потери. Один из ударных японских батальонов оставил на поле боя почти всех солдат, включая и полковника, обвешанного орденами. Иностранные газеты писали, что никакие репрессии не подавили в сахалинцах сопротивления, хотя каждый дружинник знал, что, взявшись за оружие, он уже обречен. Солдат гарнизона еще мог сдаться в плен на общих правах, но каторжанин или ссыльный, пойманный с оружием в руках, будет умерщвлен самым злодейским образом... Кружилась, сорванная пулями, листва.

— Еще обойму! — потребовал генерал Кушелев. и, шире расставив ноги в высоких сапогах, он продолжал стрелять.

Рыковское, помимо тюрьмы, насчитывало шестьсот дворов, по виду напоминая большое русское село; здесь заранее расположили склады боеприпасов и питания для гарнизона. Жители окрестных селений сбегались теперь именно в Рыковское — с детьми и женами, для них открыли пустовавшую тюрьму, и тысячи обездоленных людей искали спасения за ее «палями». Беженцы заполнили все камеры, плотно сидели по нарам, даже в карцерах было не повернуться от теснотищи. Среди каторжан и поселенцев было немало «вольных», которые тоже нашли приют в тюрьме, лишь бы не оставаться под пятой оккупантов.

— Тюрьму не тронут! — говорили эти люди, почему-то уверенные в том, что тюрьма всегда неприкосновенна...

Потрясенные ужасами вражеского нашествия, уже потеряв многих близких, оставившие свои дома, беженцы удивлялись, что Сахалин так быстро заполнялся японцами:

— Ну чисто тараканы! Ползут и ползут. — И отколе их стока? Ведь сами-то махоньки, кажись, любого из них баба на ухвате в печь посадит...

— Хуже разбойников! Даже с детишек все крестики посрывали. Сапоги сразу отнимут. Что ни увидят — отдай! И на штык показывают. А с лошадьми лучше не показись — вмиг отберут...

Сахалинская мемуаристка Марина Дикс, наблюдавшая за повадками солдат Сендайской дивизии, сложила о них мнение, что они правдивы и честны меж собою, зато коварны с другими людьми; японцы трезвы, практичны, но все донельзя меркантильны, как барышники. С покоренными самураи бессердечны и жестоки, а животные в их руках — это мученики: японцы никогда не умели ухаживать за скотом и лошадьми, потому они их только терзают и колотят... Среди русских самураи распространяли дикую версию, что война на Сахалине закончится сразу же, как будет пойман ими военный губернатор острова Ляпишев:

— У нас в Японии много ваших пленных генералов. Не хватает лишь генерала юстиции. К сожалению, ваш губернатор так быстро бегаёт, что нам его не догнать...

Японцы говорили об этом так, словно речь шла о собирании коллекции: вот генералы от артиллерии, от кавалерии, от инфантерии, где бы еще достать генерала юстиции? Между тем отряды дружинников задержали самураев на Пиленгском перевале. Заложив на высотах гор фугасы и оставив боевые заслоны, отступающие спускались вниз — на Рыковскую дорогу; телегу Ляпишева безжалостно вихляло и колотило на камнях. Фенечка, лежа среди чемоданов с имуществом, жалобно просила:

— Михаил Николаевич, уж коли судьба-злодейка сосватала нас, так хоть теперь-то не бросьте меня посреди дороги.

— Не надо... прошу тебя, — умолял ее Ляпишев.

Телегу трясло дальше, а Кушелев сказал:

— Она-то вас уже не бросит, только вы, Михаил Николаевич, не оставьте ее... больная она, жалко! Не умерла бы...

Появился капитан Жохов. Ляпишев был ему рад:

— Вот человек, который всегда появляется кстати, иногда же совсем некстати. Но мы его слушаем...

Жохов сказал, что генерал Харагучи, очевидно, уже сидит в конторе Дербинского, откуда выступило его войско для занятия Рыковского, и, если Рыковское захвачено японцами, то его необходимо вернуть, пока не поздно.

— Сил для этого у нас хватит! — заверил Жохов.

Пока они договаривались о нападении на Рыковское, Бунге сдавал Рыковское японцам. Ради такого случая он обрядился в мундир, старосте вручил поднос с хлебом и солью.

— Причеши свою бороду, веди себя с достоинством, — поучал его Бунге. — Японцы тоже люди, и они, приметив наши мирные намерения, не посмеют творить зло...

Со складов Рыковского позвали военного интенданта Богдановича, чтобы он, как офицер, дополнил общую картину гражданского смирения. В эту компанию затерся босой следователь Подорога, но Бунге велел ему убираться подальше:

— Что подумают японцы, когда увидят грязного босяка в фуражке судебного ведомства... Не позорьте Россию!

Сами же они позорили Россию в наилучшем виде, даже приодетые, при всех регалиях власти — гражданской и военной. Японская кавалерия галопом вступила в притихшее Рыковское, самураи проскакали до главной площади, быстро расставляя свои караулы на поворотах улиц. Японский офицер, спешившись возле церкви, не совсем-то понимал, чего хотят от него эти вежливые русские, особенно бородатый старик, сующий в руки ему поднос с хлебом и солонкой. Кажется, он решил, что они видят в нем покупателя, который не откажется купить у них этот поднос... Бунге обратился к помощи переводчика:

— Передайте своему генералу Харагучи, что в Рыковском все в должном порядке, чины тюремного правления на местах, в селе остались только мирные жители... и в тюрьме!

Ночь прошла спокойно, а на рассвете к Рыковскому подошли дружинники и дали японцам бой. Японская кавалерия, отстреливаясь, ускакала обратно в Дербинское, чтобы доложить Харагучи о хитроумной засаде, которую им устроили в Рыковском эти коварные русские — под видом торговли хлебом с солью.

Ляпишев, гордясь победой, красовался со своим «штабом» на главной площади Рыковского, говоря жителям:

— Мы тоже умеем побеждать... не все японцы!

Бунге умолял губернатора как можно скорее убираться из Рыковского, которое он уже сдал японцам по всем правилам культурных народов, а теперь тревожился за свою семью:

— Не губите нас! Сейчас японцы не поверят в наши добрые намерения. Что я скажу им, когда они вернуться?

«Штаб» губернатора согласился с доводами Бунге.

— В самом деле, — волновался поручик Соколов, — вот как нагрянут сюда, от нас и костей не останется.

— Да! — вмешался капитан Жохов. — С дозоров уже донесли, что от Дербинского двигается большая колонна японцев. Вот настал момент, чтобы дать решительный бой...

Но Ляпишев на битву не решился, и все отряды потянулись онорской дорогой к югу, где и застряли с обозами в болотистых падах. Фенечка смотрела, как колеса телеги медленно погружаются в рыхлый мох, из-под которого выступала рыжая вода таежной трясины. Кутая плечи в пуховый платок, она зябко вздрагивала, говоря осуждающе:

— Отвоевались, мать их всех... шибко грамотные все стали! С кем ни поговоришь, у каждого свое мнение. А вот раньше были темные,

никаких своих мнений не имели, зато врагов лупцевали так — приходи, кума, любоваться...

Вечерело. На упругой болотной кочке сидел прокурор Кушелев. Теперь на него лучше не смотреть: измятое лицо, давно не бритое, заросло неопрятной щетиной; он поднял воротник шинели, глухим бормотанием отвечая на слова горничной.

— Что вы там бормочете? — спросил его Ляпишев, наблюдая, как медленно разгорается отсыревший хворост.

Кушелев судил себя и всех по очень большому счету:

— Я говорю, что прожил пятьдесят лет... дослужился до генеральских эполет и, как русский офицер, не имею права терпеть этот позор. Мы пожинаем плоды преступного разгильдяйства и головотяпства: авось японцы не придут, авось мимо их пронесет. А теперь я, генерал-майор русской армии, сижу на болотной кочке и спрашиваю сам себя: кто виноват в моем бессилии? Кому я обязан за это свое бесчестие?

— Хватит бубнить! — обозлился Ляпишев. — Никто не виноват, что так случилось. Я сделал все, что мог, и даже больше. Конечно, я подозреваю, как и вы, что после войны станут искать «стрелочника», который всегда виноват, а пальцы историков будущей России станут указывать персонально на меня.

— Но мне бесчестья не пережить! — сказал Кушелев и, поднявшись с кочки, медленно побрел в сумерки темнеющего леса; долго было слышно, как под его сапогами хлопает и чавкает грязное сахалинское болото...

В русском лагере появился японский офицер, прибывший из Дербинского, он передал Ляпишеву пакет от Харагучи.

— Это не ультиматум! — сказал он, открыто улыбаясь. — Это лишь дружеское сочувствие моего генерала, выраженное лично вам, и мой генерал, входя в ваше безвыходное положение, предлагает вам почетную капитуляцию... Если господа офицеры вашего геройского штаба пожелают сохранить свое имущество, им в этом не будет отказано. Ближайшим же пароходом все пленные будут доставлены в наш город Сендай, где вы будете пользоваться всеми благами европейской цивилизации.

Раздался выстрел, и он был таким неожиданным в лесной тишине, что все вскочили. Поручик Соколов крикнул:

— Проверьте, кто там стреляет?

— Это генерал Кушелев, — донеслось издалека.

— Зачем?

— Прямо в лоб себе. Кончился...

Японский офицер не перестал улыбаться:

— Итак, что передать от вас генералу Харагучи?

Это был день 15 июля 1905 года. Над телом прокурора Кушелева кружили полчища комаров, всасываясь в мертвеца острыми жалами, чтобы насытиться его остывающей кровью.

---

Вторично японцы вошли в Рыковское с четырех сторон сразу и открыли огонь, убивая в городе все живое, уничтожая даже собак и кошек. Боюсь, не все в это поверят, потому я сошлюсь на очевидца, случайно уцелевшего в этой кошмарной бойне: «Ружейный треск ни на секунду не умолкал, как будто небо и земля сошлись в убийственных судорогах, угрожая уничтожить всех. На улицах и перед домами валялись уже до шестисот трупов. Японские пули не щадили никого — ни стариков, ни женщин, ни детей. Трупы их валялись в кучах и вразброс по всем улочкам».

Люди, и без того несчастные, теперь погибали у родных очагов, где они влачили свое жалкое существование. Напрасно старик закрывал телом жену-старуху, их убивали навывлет — одной пулей! Напрасно мать прятала за подолом ребенка — ее кромсали штыками, а потом прикладами разбивали голову младенца. Никакой пощады самураи не ведали. И когда, усталые, они собрались на площади перед церковью, чтобы похвастаться друг перед другом своим самурайским хладнокровием, вокруг них лежала мертвая пустыня, только Рыковская тюрьма, возвышаясь над крышами изб, затаенно молчала, слезясь запотелыми окнами, словно там, внутри ее, в камерах и в карцерах, тоже все омертвело, закоченев в близости смерти.

Бунге и чиновники его управления отсиделись в подвалах рыковской канцелярии и потому остались живы. Японцы взяли их, трепещущих, и отвезли всем скопом в недалекое Дербинское, где квартировал генерал Харагучи. При штабе японского генерала чиновники заметили полковника Тулупьева, который изо всех сил притворялся, что, услужая самураям, он спасает не себя, не свою поганую шкуру, а спасает престиж России.

Тулупьев сделал Бунге строгое замечание:

— Образованный человек! Юрьевский университет в Дерпте закончили, а благородства не хватает... Честно скажу, что от вас такого не ожидал. Если уж встретили японцев хлебом и солью, так зачем же потом вы им засаду устроили?

— Да чем же я виноват? — кричал Бунге, рыдающий. — Это все Ляпишев, давно выживший из ума. Мы же с ним благородно договорились, что Рыковское я сдам без боя, а он собрал своих каторжан и накинулся на спящих...

Перед грозным Харагучи его заставили опуститься на колени, как перед святым алтарем, и, кажется, только сейчас, униженный до предела, Бунге нашел слова для оправдания:

— Я, чиновник царя, какое имею отношение к этим русским? Я ведь не православный, а лютеранин. Спросите кого угодно, любой подтвердит, что я всегда хорошо относился к Японии, даже на летний отпуск не выезжал в Россию, как другие, а отдыхал в вашей прекрасной стране.

Харагучи, минуя Бунге, обратился к Тулупьеву с вопросом, что за странные люди собрались в Рыковской тюрьме.

— Шваль, которую не стоит жалеть, — отвечал тот.

После этого Харагучи спросил мнение у Бунге.

— Это не люди, а грязные отбросы негодного общества, которым не нашлось места даже на помойках России! — воскликнул Бунге, не вставая с колен. — Они уже ни к чему не годны...

Скоро газета «Русское слово» оповестила читателей, что в трагедии Рыковской тюрьмы повинны более всех сами же администраторы Сахалина: «Подтвердился ужасный факт, что тюремные и окружные начальники сами предлагали японцам расправиться с каторжанами...» Но в редакциях газет не знали всей правды: преступники давно разбежались, а Рыковская тюрьма приютила только беженцев, желавших иметь крышу над головой и миску баланды, чтобы не умереть с голоду.

Японские солдаты выгнали обитателей тюрьмы на двор вместе с детьми и женщинами; переводчик объявил:

— Каждый получит пятьдесят копеек, если отработает день в тайге, где нужно выкопать новые канавы...

Людей отвели за десять верст от Рыковского в глухую лошину и там всех перекололи штыками. Одни говорят, что в лесу нашли потом триста догнивающих трупов. Марина Дикс пишет, что убили сто тридцать человек, но все они были обезглавлены...

Дело не в цифрах! Мне иногда кажется, самураи нарочно вызывали ужас в жителях Сахалина, чтобы русские люди бежали прочь с Сахалина — куда глаза глядят, только бы не знать этого Сахалина, чтобы даже не помнить о Сахалине.

И они — бежали! Кто скрывался в тайге, ведя звериный образ жизни, кто стремился попасть на любую шхуну, покидающую Сахалин, а смельчаки выплывали в Татарский пролив даже на самодельных плотках, с робостью уповая на то, что море сжалится над ними и волна выплеснет их на берега родины...

Нелюдимо наше море,  
День и ночь шумит оно;  
В роковом его просторе  
Много бед погребено...  
Там, за далью непогоды,  
Есть блаженная страна...

## 11. А мы не сдаемся!

Дербинское стало временной «столицей» японской «земли Карафуто», отсюда штаб генерала Харагучи руководил оккупацией русского Сахалина. Полковник Тулупьев, заедавая саке рисом, объяснял, что поселок назван в честь некоего Дербина:

— Это был бравый тюремщик, кулаком черепа проламывал. Арстанты утопили Дербина в громадной квашне с тестом для выпечки свежего хлеба. Покойный и не знал, что его имя совместится в истории Сахалина с именем вашего генерала...

Харагучи избрал для себя Дербинское по иным соображениям — далеким от почитания истории: здесь, в реке Тымь, плавали деликатесные рыбины, на огородах ссыльных вызревали арбузы, а хор ссыльных цыганок распевал для него под звоны гитары «Ака дяка романес...». В один из дней Харагучи, довольный своими успехами на Сахалине, снова напомнил Ляпишеву, что ему не следует медлить с решением о капитуляции...

Сахалинский владыка, еще вчера бесспорный хозяин тысяч подневольных жизней, не мог разобраться даже в своей личной жизни. На телеге харкала кровью каторжница Фенечка, и все знали об его отношениях с нею, а он, жалкий и потерянный, оставался в окружении жалких и потерянных людей.

Было над чем задуматься! Верой и правдой Ляпишев служил самодержавию, которое вознесло его над судьбами других людей, оно щедро одаривало чинами и жалованьем, предоставив ему все блага жизни. Но вот выпало испытание его веры, его правды, его мужества — война, и он бродил среди таежных болот, пугаясь каждого выстрела, а в глубине души мечтал об электрическом освещении кабинета, о мягкой постели, о тихом шелесте перелистываемой страницы бульварного романа... Теперь все кончилось! Остался он сам, и осталось это грязное болото, в котором застрял он и в которое медленно погружались его подчиненные — вместе с любимой горничной!

К нему подошел капитан и журналист Жохов:

— Если вопрос о мире уже предрешен в высших сферах, от нас требуется сейчас лишь одно — держаться.

— Вы так думаете? — вяло спросил Ляпишев.

— Убежден! — четко ответил генштабист. — Пока на Сахалине существуют даже ничтожные воинские формирования России, пусть даже загнанные в болота, но не помышляющие о капитуляции, до тех самых пор самураи не посмеют требовать для себя Сахалин, ибо Сахалин не сдается.

— Все это слова, слова, слова...

— Не цитируйте мне Гамлета! — раздраженно отвечал Жохов. — Да, слова. Но мои слова выражают точную мысль.

— Вы не способны войти в мое трагическое положение.

— Согласен, что ваше положение хуже губернаторского. Согласен, что бывают на войне и такие моменты, когда человек вынужден поднять руки перед заклятым врагом. Но нельзя же, как говорит Фенечка, самим лезть в плен.

— Однако я не вижу иного выхода, — ответил Ляпишев, показывая Жохову очередное послание от генерала Харагучи, составленное на русском языке в самых изысканных выражениях...

Японцы заранее оцепили лес и то болото в лесу, где утонул в грязи губернатор со своим «штабом», самураи давно ожидали этого момента... Жохов схватил первую попавшуюся винтовку, распихал по карманам мундира обоймы с патронами и обратился к дружинникам:

— Ребята! Кто не хочет сдаваться — за мной...

Японцы даже не преследовали убогавших. Сияя радостными улыбками, они уже составляли капитуляционные списки. В них оказались фамилии шестидесяти четырех офицеров, а переписывать рядовых японцы не захотели... Михаил Николаевич, прыгая с кочки на кочку, добрался до телеги, на которой лежала Фенечка Икатова.

— Прошу победителей отнестись к этой женщине с должным уважением, которого она и заслуживает, как моя... жена!

Японцы не возражали. Они даже усердно помогали лошадям вытаскивать телегу из болота на твердую дорогу. Подле телеги шагал губернатор и, глотая слезы, говорил Фенечке:

— Теперь ты свободна. Но зато не свободен я... Кто бы мог подумать, что все так закончится. Так ужасно.

— Что мне ваша свобода, если вы сами в плен меня сдали, — ответила ему Фенечка и заплакала.

В группе пленных офицеров волновался Болдырев:

— Господа, господа! Мы совсем забыли о самом главном. Надо бы сразу составить список всех отличившихся, чтобы нас не обошли в штабе Линевича наградами... Сами знаете, как затирают подлинных героев. Если сам о себе не напомнишь, так никому нет и дела.

Болдырев открыл блокнот и под цифрой номер один вписал себя в список сахалинских героев. Тут к нему набежали другие «герои», теснясь, выкрикивая свои фамилии, а поручик Соколов, начальник конвоя, грубо требовал:

— Меня! Меня не забудьте. Я ведь тоже отличался.

— Всех запишу, господа, — говорил Болдырев. — Я ведь понимаю, что стыдно возвращаться с войны без орденов!

Это случилось 16 июля — на шестой день после высадки японцев возле Александровска, когда на Сахалине еще продолжали борьбу с оккупантами честные русские патриоты, которые меньше всего думали об орденах.



До высадки на Сахалине японцы вели себя с пленными вполне корректно, и только под конец войны, озлобленные своими потерями, они стали отнимать деньги, часы и бинокли, оставляли пленных без обуви. В условиях же Сахалина, изолированного от мира, самураи не сдерживали своих грабительских инстинктов, и, если с пальца пленного не снималось тугое кольцо, ему отсекали палец вместе с кольцом.

Среди пленнных оккупанты сразу отделяли от русских мусульман, иудеев и католиков, предоставляя им некоторые льготы. Но особым почетом пользовались изверги и душегубы, «среди которых были преступники, вроде Скобы, за которым числилось сорок убийств, был ксендз, который, будучи призван для исповеди умирающей, изнасиловал ее, полумертвую, а также был мастер по выделке сахалинской ветчины, откармливавший своих свиней человеческим мясом», — так писал очевидец, сам же угодивший в эту отборную компанию. Спрашивается: зачем самураям понадобилось оберегать это отребье каторги, зачем этих извергов они вывозили в Японию? Ответ напрашивается сам собой: это делалось умышленно, чтобы показать японцам — смотрите, каковы эти русские; разве такие люди имеют право на обладание «землей Карафуто»?..

Ляпишева с его «штабом» японцы срочно вывезли в Сендай — как ценный трофей, а генерал Харагучи перенес свою квартиру в Рыковское, заняв дом со стеклянным балконом на главной площади. Японцы всюду развешивали правительственный манифест, в котором Сахалин объявлялся владением японского императора. Оккупанты вели активную перепись населения и всякой живности. На одну деревню разрешали держать лишь двух кобыл, остальных лошадей забирали. Весь остров был поделен на участки, в каждом располагался отряд с офицером, а хозяином любой деревни становился жандарм. Правда, никто не отказывал японцам в их оперативности. Между Сахалином и Японией наладилось пароходное сообщение, зазвенели телефоны, телеграф связывал остров со всем миром, на перекрестках дорог японцы повесили почтовые ящики с английскими (!) надписями. Но сахалинцам было теперь не до почты:

— Ладно! Нам при эвдаком «прижмем» на любом языке хорошо. Тут глядишь, как бы живым остаться...

Амнистия царя не пошла впрок: большинство добровольцев пали в боях, а живые попрятались; население косили эпидемии, нагрянувшие на Сахалин по пятам оккупантов. Реквизиции вогнали народ в такую беспросветную нищету, какой раньше не ведали даже уличные побирушки. Каждый день — каждый! — самураи обходили жилища, забирая у людей последнее, что у них осталось. Чтобы придать грабегам видимость законности, вначале платили по рублю за корову,

а курица шла за пятачок. Но скоро ввели в обращение иены, которые никто брать не хотел, и тогда все доставалось японцам даром. А жаловаться нельзя — сразу отрубали голову. Жестокость казней вызывала в людях сильные нервные потрясения, участились случаи помешательства. Крестьян силой гнали на работы, а расплачивались за труд гнилою солониной из тех самых гигантских бочек, что завезли недавно с материка. Теперь в народе рассуждали:

— Из-под кнута-то русского да прямо под дубину японскую! Ложись и помирай. Хоть бы отпустили нас, окаянные...

Майор Такаси Кумэда, ставший начальником в Александровске, объявил, что всем чиновникам и военным следует явиться для регистрации. Зная, что под видом регистрации состоится самая примитивная ампутация, многие облачились в лохмотья арестантов, тюремщики притворялись каторжанами и убийцами, а бывшие судьи выдавали себя за погромщиков. Надо сказать, что самураи никогда не мучились вопросом, в чем провинился человек, и потому всех казнимых именовали «шпионами» или «предателями». Никто не спрашивал, кого они предали и ради кого шпионили. Бедняк, стащивший кусок хлеба для своих детей, погибал «шпионом», а поселенец, плохо вымывший пол в японской казарме, умирал «предателем». Жалости не было — сабля самурая решала все!.. Такаси Кумэда разрешил посещение Александровска по билетам, заверенным местным жандармом, и жители острова ринулись в город — ближе к морю, ближе к родимой земле. Иногда русские спрашивали японцев:

— Когда же будет заключен мир, скажите нам!

Японцы терпеть не могли этих вопросов:

— Мы ничего не знаем. Вы наши пленные. Война продолжается. Наша армия побеждает врагов страны Ямато...

Ограбив деревни, японцы взяли за горожан. Если верить очевидцам, так из домов вынесли даже мебель и посуду. Русским не оставили стула, чтобы присесть, не оставили и чашки, чтобы напиться. Тихо стало! По ночам не пролает собака, утром не пропоет петя-петушок — Сахалин вымер. «Деревни и села горят, — записывала Марина Дикс — люди трясутся от ужаса, от разбоев и поджогов». Даже в отдаленном Оноре японцы спалили канцелярию, жгли клубы, школы, читальни. Наконец они переловили на Сахалине всех собак и вывезли их в Японию. Зачем им понадобились наши Жучки и Шарик — этого я не знаю.

В один из дней жители Александровска увидели японских солдат перед музеем. Самураи по косточкам разобрали скелет кита, потом разгромили и сам музей, уничтожив и расхитив все ценные экспонаты — как бытовые, так и научные. (После вражеского нашествия сахалинцы возродили музей, но в 1920 году японские интервенты уни-

чтожили его вторично, и с тех пор, читатель, уникальный паноптикум сахалинской каторги исчез для нас — навсегда!)

...А ведь Сахалин еще не сдавался — он боролся.

Жохов после боя обошел убитых самураев. Возле каждого громоздилась куча расстрелянных патронов: японцы никогда не жалели боеприпасов, стреляя куда попало, лишь бы оглушить противника грохотом, лишь бы вызвать панический страх у русских, вынужденных беречь каждый патрон.

— Соберите все оружие, — велел Жохов дружинникам.

Избежав позора капитуляции, он еще не подозревал, какие трудности готовит Сахалин человеку. Внутри острова дороги заменяли дикие тропы, направлению которых люди зачастую и следовали, доверяясь опыту зверя, идущего от водооя. Но горе грозило тем, кто слепо доверялся звериным инстинктам, и уходящие по такой тропе растворялись в лесах и трясинах с черной водой — тихо и неслышно, как будто их никогда и не было на свете. Камыши в рост человека, толщиной в палец, резали людей своими краями, которые природа отточила до бритвенной остроты. Вступая под душную сень гигантских лопухов, человек терялся, ничего не видя вокруг себя. Есть было нечего; случайно подстрелили медведя, но мясо его на Сахалине съедобно лишь зимою, а летом от него омерзительно разит диким чесноком, черемшой... И вдруг — встреча.

— Эй, кто вы? — окликнул Жохов каких-то людей.

— Я капитан Филимонов, — донеслось в ответ. — Меня послали проводить геодезическую съемку в тайге.

— Вы, конечно, провели ее?

— Да, как приказано мне губернатором.

— Но сейчас она пригодится только мне и моим бродягам, ибо губернатора давно нету, как нет и его отрядов...

При Филимонове было лишь семь человек, но они тожегодились для усиления отряда. Японцы, ощутив возросшее сопротивление партизан, выслали в погоню сразу двести человек, но Жохов и Филимонов половину врагов уничтожили из засады, и Филимонов оценил личную храбрость журналиста.

— Не хвалите меня, — отвечал Жохов. — Я ведь знаю, что, стоит мне ослабеть духом, люди сразу это заметят, они ослабеют тоже — и тогда мы погибнем... Это не моя храбрость! Это скорее храбрость женщины, когда она рожает. Иногда мы, мужчины, вынуждены быть героями, если знаем, что выхода нет, отступить некуда, надо пережить то, чего не избежать...

После одного из боев он велел Филимонову:

— То, что вы сделали в геодезии Сахалина на сегодня, пригодится для наших детей и внуков — на завтра. Что же касается меня,

то к этой сахалинской эпопее я отношусь как писатель к материалу для будущего романа.

— И тоже для детей и внуков? — не поверил ему Филимонов. — Так садитесь на первую же кочку и начинайте писать.

— Я еще не придумал начала романа, — ответил Жохов. — Но у меня уже сложился его конец... трагический!

— Только не убивайте всех нас подряд!

— Всех нас не убить... — сказал Жохов.

Партизаны обходили Рыковское стороной, чтобы за Дербинским повернуть к морю. В лесах гуляли осторожные россомахи, на ветвях деревьев путников сторожили желтоглазые рыси. В лесу было темно и сыро, как в погребе, пахло грибами и плесенью. Стебли кедровника бывали перекручены в сложные узлы, как веревки, а в речных заводях, громко фыркая, полоскались громадные сахалинские выдры, лоснящиеся от сытости.

— Ложитесь все! — вдруг выкрикнул Филимонов.

Дружинники разом залегли, потом спрашивали:

— А чего ложиться-то? Кажись, все тихо.

— Впереди кто-то идет. Слышите?..

Прямо перед ними была лесная поляна, и на ней играли зайцы. Но вот они наострили уши и мигом исчезли, когда из-за деревьев показались люди. Один, второй, третий... Вид этих людей был страшен: оборванные, грязные, кое-как забинтовавшие свои раны тряпками... Филимонов поднялся:

— Неужели отряд Быкова? А ведь верно — он!

Жохов вдруг распахнул объятия и пошел вперед.

— Ура! — воскликнул он. — Все-таки встретились...

Полынов увернулся из его объятий.

— Вы меня с кем-то путаете, — сухо произнес он. — Перед вами жалкий коллежский ассессор Зяблов, имевший несчастье служить судебным следователем в Корсаковске.

— Ну и черт с тобой! — смеялся Жохов, все поняв...

Лишь потом, отойдя поодаль, Полынов сказал ему:

— Я безмерно рад видеть тебя, Сережа, но о том, что было, лучше молчать. У меня, как у каждого порядочного дьявола, имеется собственный ад, в который посторонние не допускаются.

Из лесу, окруженные дружинниками, на трофейных лошадях выехали еще двое — штабс-капитан Быков, а с ним и Клавдия Челищева, ладно сидевшая в удобном японском седле. Издали они смотрели на случайную встречу друзей, и Полынов, заметив чужое внимание, сказал Жохову, что сейчас не время для дружеских излиятий:

— Но поговорить надо! Только без посторонних.

— И даже без меня? — обидчиво отозвалась Анита.

— Даже без тебя, — ответил Полюнов.

Жохов придержал за поводья лошадь Быкова и деловито спросил:

— Какие теперь главные цели отрядов?

— Не сдаваться! — убежденно ответил Быков.

Нет, они не сдавались. Так и не дождавшись встречи с отрядом Гротто-Слепиковского и догадываясь, что Корней Земляков пропал безвестно, Валерий Павлович долго вел людей на север, придерживаясь берега моря, где его дружина питалась чилимами и креветками, партизаны ловили крабов. 9 июля, за день до высадки японцев у Александровска, отряд Быкова уничтожил больше ста самураев. Но вскоре они узнали от жителей, что в Оноре сдался отряд капитана Владимира Сомова, потом запропастился в болотах и сам губернатор Ляпишев.

— Друзья! — сказал Быков своей дружине. — Половину Сахалина мы прошли с боями. Неужели не пройдем и вторую?

На путях движения быковского отряда японцы оставляли свои обращения. Их находили приколотыми к сучкам высоких деревьев, они сами бросались в глаза на приметных местах и возле бродов через реки. В одном из таких посланий самураи оповестили о капитуляции всего сахалинского гарнизона, надеясь, что теперь-то отряд Быкова поневоле сложит оружие. Но в ответ на это патриоты устроили засаду в устье реки Отосан, где и перебили множество самураев. Тогда адмирал Катаока выслал против них крейсер «Акацуки», который несколько дней ползал вдоль берегов залива Терпения, густо осыпая леса зловредной шрапнелью, чтобы выявить неуловимый отряд. Но Быков заранее углубился в дебри, признаваясь Клавочке:

— Неужели после всего пережитого в этой войне Академия Генштаба отвергнет меня по незнанию иностранных языков, астрономии, геометрии... Это было бы несправедливо!

Клавочка оказалась большой педанткой:

— Вы только предаетесь мечтаньям об Академии, но еще ни разу не видела я вас хотя бы с гимназическим учебником.

— Нелепость! — отвечал Быков. — Хорош бы я был в тайге с учебником в руках, изучающим глаголы прошедшего и будущего времени. Не обижайтесь, но вам, наверное, безразлична моя судьба, а я не напрасно ли жду от вас ответа?

— Я дам вам ответ, — сказала Клавочка, — но сначала вытащите меня из этих кошмарных лесов. Я хочу домой... к маме!

И вот — неожиданная встреча с капитаном Жоховым, который не сдался, как не сдался и геодезист Филимонов. Валерий Павлович почему-то сразу испытал ревнивое чувство, ему показалось, что при виде генштабиста глаза девушки осыпались блеском влюбленности. Беседуя с Жоховым, он мрачно сказал:

— Теперь я догадываюсь, почему вы, приехав на Сахалин, спрашивали меня о Полынове. Но плохо верится, что вы появились на острове — ради поисков своего друга.

— Мне и самому-то не верится! — отвечал Жохов, объяснив Быкову свое намерение писать роман о людях каторги.

Быков, как и Филимонов, не поверил ему:

— А что вас влечет в литературу?

— Желание попасть в мир подлинной демократии. Литература не ведает чиновничества, не признает выслуги лет. Никакой русский писатель не пишет ради того, чтобы выслужить пенсию. В отставке я распрошаюсь с эполетами капитана, чтобы стать рядовым великой армии русских писателей, подлинных демократов, среди коих нет генералов-классиков, глядящих на мир свысока, нет и жалких поручиков-журналистов, глядящих на генералов с извечным вопросом: «Как вам будет угодно?..»

— Отныне вы подчиняетесь мне, — принял решение Быков.

— Как вам будет угодно... — отвечал Жохов.

Но, превратив капитана Жохова в своего подчиненного, штабс-капитан не забывал о его превосходстве в знаниях, часто советуясь с ним по вопросам военным, а Филимонов, как геодезист, подсказывал им верные решения в выборе маршрута. Сообща они продумали поход отрядов дальше на север — до мыса Погиби в самом узком месте Татарского пролива, который давно облюбован каторжанами для своих побегов на материк. Полынов демонстративно не вмешивался в дела офицеров. Всегда склонный к наблюдению за людьми, умеющий замечать то, на что другие не обращают внимания, он казался проникновенным психологом. От его хищного взгляда не укрылось, что госпожа Челищева издала лобуется журналистом Жоховым, которому уже не надобно сдавать экзамены в Академию Генштаба, ибо иностранные языки он блистательно изучил еще в лицее, как изучил их сам Полынов.

Однажды он даже предупредил Жохова:

— Сережа, не старайся быть любезен с Клавдией Петровной больше того, что требует повседневное приличие.

— Я только вежлив с нею, как мужчина с женщиной.

— Но женщины иначе судят о вежливости мужчин...

Полынов завел Аниту в гущу леса, обнял ее:

— Бедная, ты устала, да?

— Очень. А ты?

— Скоро все кончится, — утешил он ее.

Анита оказалась тоже достаточно проницательной:

— Ты никак не ожидал встретить Жохова?

— Это, — ответил Полынов, — такая же роковая случайность, как и выигрыш на цифре «тридцать шесть», на которой рулетка кончается.

Наверное, так понадобилось судьбе, чтобы Жохов знал обо мне все до последней точки. Если он будет писать роман, он не забудет и меня!

---

Оккупируя Сахалин, японцы скрывали от его жителей все, что касалось мирных переговоров в Портсмуте, а потому жестокость своих репрессий они как бы оправдывали «военным положением», тогда как война между Россией и Японией, по сути дела, уже закончилась; жители русского Сахалина, казнимые и ограбленные, продолжали не знать о переговорах, не ведали и того, что за круглым столом дипломатии уже возник самый острейший вопрос — «сахалинский вопрос»!

## 12. Сахалинский вопрос

Американская пресса изображала Россию страной дикой и мрачной, русские рисовались почти людоедами, а Япония — страной процветающей культуры и демократии; пока там, в России, палачи в красных рубахах отрубали головы несчастным «нигилистам», Япония, благоухая магнолиями и хризантемами, несла свободу народам Китая, прививала первые навыки цивилизации угнетенным корейцам и маньчжурам... Переломить эти прояпонские настроения в США было нелегко!

Главою русской делегации на конференции в Портсмуте был назначен Сергей Юльевич Витте, который позже получил титул графа, а шутники прозвали его «граф Витте-Полусахалинский»; задетый этою острою за живое, Витте оправдывался:

— Я никогда не отдавал японцам Сахалин в Портсмуте — это была личная уступка японцам самого императора!

Помощником Витте был барон Роман Романович Розен, русский посол в Вашингтоне. С японской стороны главным на переговорах являлся барон Комура, министр иностранных дел, ему помогал Такихара, японский посол в США. Чопорные и замкнутые японцы не могли понравиться не в меру удалым американцам, которые в любом деле хотели бы видеть развлекательное шоу. Витте же поставил себе целью быть в Америке «демократичнее» самого президента Рузвельта. Японцы, воспитанные на патологической скрытности, жили при закрытых дверях, никому на глаза не показываясь, а Витте широко распахнул свои двери, впуская к себе любителей автографов, нищих прожектеров, еврейских миллионеров, психопаток дам, желавших с ним фотографироваться; репортеры американских газет, жаждущие сенсаций, ходили за Витте по пятам:

— Скажите, любите ли вы свою жену?.. Как вам нравятся американские города?.. Сколько у вас денег?.. Впечатляют ли вас американ-

ские женщины?.. Сколько вы способны выпить водки сразу?.. Какие комары злее — наши или русские?..

Витте отвечал, что без ума от своей жены, города США показались ему лучше Самары или Сызрани, денег у него — кот наплакал, американки превосходны, водки он совсем не пьет, а комары Америки злее и кровожаднее русских. Наконец, Витте, сойдя с поезда, «демократически» пожал руку машинисту, а репортеры писали, что Витте бросился целовать машиниста в засос, говоря о том, что свою карьеру начинал тоже с паровозной площадки. Секретарь русской миссии И.Я. Коростовец отметил в дневнике, что «эта легенда о поцелуях с машинистом сделала для популярности Витте больше, нежели все наши дипломатические любезности». Японцы просто изнывали от зависти к успехам Витте, не в силах огоршить американцев постановкою своего шоу, и в один из дней, надев черные смокинги, при черных цилиндрах, держа черные зонтики, отмаршировали в христианскую церковь, чтобы прослушать обедню и проповедь о любви к ближнему. Но никакого шоу из этого не получилось, зато Такихара растрожил публику США признанием, что каждый день война с Россией стоила Японии двух миллионов иен:

— Всего же мы истратили на войну больше миллиарда иен и теперь потребуем с России миллиарды контрибуций...

Рузвельт принял Витте и Розена на своей даче; он сказал, что России уже не отстоять своих прав на Сахалин:

— Тем более японцы уже на Сахалине, а у вас после Цусимы нет флота, чтобы вернуть остров обратно. Если мы, американцы, прочно сидим в Панаме, не собираясь вылезать оттуда, так и японцы никогда не уберутся с Сахалина.

— Пример неподходящий, — возразил Розен, — ибо Япония — это не Америка, а Россия — это вам не захудалая Панама.

Рузвельт настаивал, чтобы Россия оплатила военные расходы Японии по японскому же счету, но Витте довольно-таки грубо ответил президенту США, что русский народ не собирается «кормить будущие войны» Японии:

— Мы можем вести переговоры, учитывая лишь те военные результаты Японии, каких она в этой войне достигла, но мы не будем уступать Японии в ее иллюзорных планах...

Этот разговор состоялся 22 июля, а на следующий же день обе миссии, русская и японская, отплыли в Портсмут по реке Ист-Ривер. Витте и его свита плыли на крейсере «Чатунага» под флагом русского посла Розена, но стюарды этого крейсера почему-то были набраны из японцев. Рузвельт ожидал дипломатов на роскошной собственной яхте, где и представил японскую делегацию.

— Господин Витте, — спросил Рузвельт, — не желаете ли дружески позавтракать с господином Комурой?



Все эти дни стояла невыносимая жарища, и Комура вежливо побеседовал с Витте о погоде. Подали шампанское. Рузвельт произнес спич в защиту мира на земле, но при этом он слишком выразительно смотрел на русских, словно именно они явились злостными «поджигателями» этой войны...

Портсмут — курортный городишко с лесным пейзажем, напоминающим финское побережье. Разместились в отеле «Вентворт», где было мало комфорта, а окна затянуты проволочными сетками от обилия комаров. В соседнем пруду купались на диво тощие американки в черных чулках и при черных перчатках. С неприязнью поглядывая на этих пуританок, Витте сказал Розену:

— Если наши противники не согласятся на примирение, Россия способна вести войну до самой последней крайности, и мы еще посмотрим, кто дольше продержится...

Двадцать седьмое июля — первый день конференции, посвященный процедурным вопросам. Дипломаты расселись за столом, над ними, освежая воздух, с визгом вращались электрические пропеллеры. Комура уже взял напрокат несгораемый шкаф, чтобы хранить от шпионов любую бумажку: японцы изо всех сил стремились засекретить от мира переговоры, чтобы сделать тайну из своих грабительских требований. Витте понял это!

— А почему я не вижу здесь журналистов? — вдруг спросил он японцев. — Мы же собрались тут не как разбойники в пещере, чтобы делить добычу, и потому делегация России желает вести переговоры в условиях самой обширной гласности...

Призыв к гласности не пропал даром: пресса США стала поддерживать русских, а не японцев. На следующий день состоялось первое деловое заседание. Чувствовалось, что японцы готовят России такой крепкий удар, от которого она согнется в дугу и уже не выпрямится. В наступившей тишине Комура протянул Витте список японских требований из двенадцати пунктов.

— Японское правительство, — изрек он при этом, — готово сделать все, чтобы достигнуть мирного соглашения.

Витте едва глянул на пункты требований, крайне унижительных для русского народа, и почти равнодушно отложил список в сторону, обещая японцам изучить все их претензии. Пункт № 5 гласил: «Сахалин и все прилегающие (к нему) острова, все общественные сооружения и все имущества (на Сахалине) уступаются Японии...» Тошно!

На этом заседание 28 июля и закрылось.

Именно в этот день японцам удалось убить штабс-капитана Гротто-Слепиковского, когда он со своим отрядом из ста двадцати трех человек с боями шел на соединение с Быковым, после чего от-

ряд Слепиковского распался. Японцы не остались равнодушны к его мужеству, они устроили офицеру торжественные похороны с отданием воинских почестей, над раскрытой могилой грянул салют из японских винтовок. О подвиге Гротто-Слепиковского вскоре забыли, и лишь в наше время его именем был наречен скалистый мыс Сахалина, нависающий над вечно шумящим океаном...

Двадцать девятого июля генерал Харагучи, невзирая на то, что в тайге еще гремели выстрелы партизан, объявил об окончании оккупации всего Сахалина. Конечно, это известие, явно преднамеренное, явно согласованное с политиками Токио, резко усилило позиции Японии в «сахалинском вопросе», который становился одним из главных вопросов на переговорах в Портсмуте.

Я думаю: как безумно далеко от ослепительной Варшавы до мрачного мыса Слепиковского! Теперь для него одного шумит вечный океан — вечный, как сама Россия, вечный, как Польша...

Отбиться от японских претензий по всем двенадцати пунктам было трудно, в чем-то заранее решили уступить, чтобы отстоять самое главное. Япония запрашивала очень много. Особенно болезненным для престижа России было требование самураев о выплате неслыханных контрибуций. Но для нас, читатель, самым важным в этой главе останется, конечно, «сахалинский вопрос». Понятно, что японцы видели в Сахалине не только «туковую» кормушку для своих рисовых плантаций, но и важный стратегический плацдарм, с которого всегда можно влиять на дальневосточную политику русского кабинета...

Тридцатого июля японцы снова встретились с русскими, и Комура был удивлен, что делегация России сразу же отвергла четыре японские претензии, в том числе пункт № 5 — об уступке Сахалина и пункт № 9 — о выплате контрибуций. При этом Витте держал себя столь надменно, что барон Комура не выдержал:

— Ведите себя здесь не как победитель!

— В чем дело? — отвечал Витте. — В этой войне меж нами не было победителей, а значит, не было и побежденных... Да, мы согласны, чтобы Япония, как и раньше, ловила рыбку у берегов Сахалина, но уступать Сахалин Россия не намерена.

Состоялся острый обмен мнений о контрибуциях.

— Контрибуции, — веско заметил Розен, — платят лишь побежденные народы, желающие, чтобы неприятель поскорее убрался от них восвояси. Даже на Парижском конгрессе, после падения Севастополя, никто из держав-победительниц не осмелился требовать с России возмещения военных убытков.

Витте добавил, что Россия согласна возместить японские расходы, но только в тех пределах, какие были сопряжены с содержанием в Японии русских военнопленных.

— Тут мы не станем спорить! Россия оплатит все издержки, связанные с содержанием и лечением наших пленных.

Переговоры осложнились, противники перешли к резкостям. Русская сторона с издевкой спрашивала японскую:

— Что, разве в Токио совсем не осталось денег? В таком случае советуем вашей армии занять нашу Москву, тогда, быть может, вы и получите от нас контрибуции.

— В таком случае, — зло парировал Комура, — мы бы не просили денег, а продиктовали бы вам любые условия.

— Вряд ли! — смеялся Витте. — Наполеон побывал в Москве, но условия мира продиктовала ему Россия... в Париже! Сидя же в Московском Кремле, Наполеон бог знает до чего додумался, но ему и в голову не пришло выпрашивать у России деньжат, чтобы выбраться из войны с Россией...

Витте распорядился узнать расписание пароходов, отплывающих обратно в Европу. «Дело идет к разрыву! — писали американские газеты. — Японская лиса не в силах бороться с русским медведем!» Рузвельт оказался шокирован. Мнение публики и газет США склонялось на сторону интересов России, а он, поддерживая Японию, мог оказаться в политической изоляции. В переговорах назревал кризис, а президент слишком дорожил славой «миротворца». Он сказал Комура, что «контрибуции» могут быть обидными для самолюбия русского кабинета:

— Впредь говорите о «возмещении военных издержек»...

Второго августа началось обсуждение «сахалинского вопроса». Комура обложил себя баррикадами документов, в которые постоянно заглядывал, а перед Витте лежала раскрытая пачка папирос, и ничего больше. Комура стал отвоевывать Сахалин.

— Вы, — сказал он русским, — по-прежнему смотрите на оккупацию нами Сахалина как на насильственный факт, а не как на правовое решение японской нации. Потому и прошу вас привести свои доводы в пользу этого мнения.

— Права русской нации на Сахалин, — отчеканил Розен, — определились еще в те давние времена, когда Япония никаких прав на Сахалин не заявляла. Между тем Сахалин является продолжением материковой России, отделенный от нее таким узеньким проливом, который наши беглые каторжане рисковали форсировать даже на плотах из двух бревен. Для нас остров Сахалин остается часовым, поставленным возле дверей русского Дальнего Востока, вы же, японцы, стараетесь сменить караул у наших дверей, заменив его обязательно японским.

Комура, заглядывая в свои бумаги, вдался в нудную лекцию по истории, доказывая, что японцы давно владели Сахалином, который является дополнением Японского архипелага. Затем он сказал, что —

правда! — Россия никогда не делала из Сахалина военной базы для нападения на Японию:

— Но если бы война началась не в Маньчжурии, то вы, русские, могли бы угрожать нам с берегов Сахалина.

— Зачем нам было нападать на Японию со стороны Сахалина, где у нас сосредоточены одни тюрьмы да каторга?

Комура, как ни тужился, исторических прав на Сахалин предъявить не мог. Свои претензии на обладание им он обосновывал тем, что остров уже занят японскими войсками — так стоит ли тут еще спорить? Витте сказал, что факт занятия Сахалина японскими войсками еще не означает, что Сахалин должен принадлежать Японии.

— Вы не доказали исторических притязаний на Сахалин, вы основываете их исключительно на силе военного права! Но при этом, — сказал Витте, — вы напрасно желаете опираться на «народные чувства» японцев, якобы мечтающих о жизни на Сахалине. Ваше «народное чувство», — было записано в протоколе, — основано не на том, что Россия забрала что-то принадлежащие Японии. Напротив, — утверждал Витте, — вы просто сожалеете, что Россия раньше вас освоила Сахалин. И если распространяться о «народных чувствах», то какие же чувства возникнут в душе каждого русского человека, если он на законных основаниях много лет обладал островом Сахалином?!

Переговоры зашли в тупик. Сахалин нависал над столом Портсмута как дамоклов меч, и Комура, сильно нервничая, чересчур энергично отряхивал пепел с папиросы, а Витте в такие моменты закидывал ногу на ногу и крутил ступней, посверкивая лаковым ботинком. Газеты США писали, что «сахалинский вопрос» неразрешим; от русских мы чаще всего слышим слова «завтра будет видно», а на устах японцев — «сиката ганай» («ничего не поделаешь»). Портсмутский отель «Вентворт» вдруг содрогнулся от грохота: это японская делегация возвращала несгораемый шкаф, взятый ею напрокат, а русские дипломаты, как заметили репортеры, срочно затребовали белье из стирки...

Рузвельт почувствовал, что его политическая карьера дала трещину. Надо спасаться! Он повидался с Розеном и сказал, что пришло время для его личного вмешательства в переговоры:

— Я буду сам писать вашему императору...

Николай II, отвечая на телеграммы Витте, помечал: «Сказано же было — ни пяди земли, ни рубля уплаты...» Но американский посол Мейер стал убеждать его, что японцы согласны вернуть северную часть Сахалина, а любая затяжка войны вызовет вторжение японцев в Сибирь. Николай II сначала упорствовал, говоря Мейеру, что он уже дал «публичное слово» не уступать, но после двух часов бесплодной болтовни сдался.

— Хорошо, — сказал царь, — к югу от пятидесятой параллели японцы могут считать себя на Сахалине хозяевами...

Наш академик В.М. Хвостов, крупнейший специалист в области международного права, писал, что отторжение Сахалина в Токио даже не считали таким уж обязательным требованием: «Ясно, что если бы царь и его дипломаты проявляли должную выдержку, то можно было бы Сахалин отстоять!»

Витте велел расплатиться за гостиницу. Комура, испуганный срывом переговоров, уже соглашался на возвращение России Северного Сахалина, но...

— Но мы Северный Сахалин можем вам продать!

На этом он и попался. Витте использовал промах Комуры и разгласил в печати, что для Японии важнее не мир, а деньги, из-за которых она и начала эту войну. Американские газеты поместили карикатуры: японский император дубасил бамбуковой палкой русского царя, спрашивая: «Сколько ты мне заплатишь, чтобы я тебя отпустил?..» Симпатии американцев окончательно перешли на русскую сторону. Никто уже не смел говорить, что Япония начала войну, дабы нести культуру в страны Азии. «Барон Комура, стоя лицом к лицу с мрачной реальностью войны, продолжение которой было бы, несомненно, гибельным для Японии, был вынужден уступить», — писал японский историк Акаги.

Шестнадцатого августа Витте удалился с бароном Комурой для беседы наедине, после чего появился с улыбкой:

— Господа! Поздравляю — японцы уступили...

Витте зачитал японский отказ о выкупе Северного Сахалина, а Комура признал, что Япония отказывается от денежного вознаграждения. Из Токио пришло сообщение, что там недовольны Портсмутским миром и, если Комура вернется, его сразу прикончат... Теперь американские газеты писали о грядущей «желтой опасности», которая от пасмурных берегов Японии накатывается, как вал цунами, на всю Азию, на весь Тихий океан.

Над крышами Портсмута гремели орудийные салюты, звонили колокола храмов, а на заводах и фабриках США разом застонали гудки. Витте удалился к себе и сказал секретарю:

— Больше никаких журналистов, никаких фотографов ко мне не допускать! Я устал ото всей этой болтовни...

«Сахалинский вопрос», не разрешенный в Портсмуте, будет окончательно разрешен лишь в августе 1945 года!

### 13. До седых волос

Неся большие потери, отряд пополнялся за счет местных жителей, искавших в лесах спасения от японских репрессий. Партизаны продолжали свой рейд — к мысу Погиби! В глухом урочище на берегу

безлюдной Тыми сделали привал ради отдыха. Здесь Полюнов счел нужным напомнить Жохову, чтобы он вел себя сдержаннее с Челищевой, на что получил ответ:

— Глупо подозревать меня в излишней лирике. Вообще-то я терпеть не могу идеалисток. Сама великая мать-природа рассудила за верное, чтобы женщинам быть практичнее нас, идеалистов-мужчин, а не предаваться пустым фантазиям...

Вскоре они нашли время уединиться в лесу, давно желая поговорить по душам. Присев на поваленное дерево, Полюнов и Жохов наблюдали, как на полянке играют веселые сахалинские зайцы. Жохов сказал, что не забыл законовещения, которое постиг в Демидовском лицее, и его всегда привлекали судьбы людей в ненормальных, подневольных условиях:

— Мне интересно узнать и твою историю.

— Я высоко взлетал и низко падал.

— Мне пригодится все. Рассказывай...

Полюнов вскинул «франкотку», машинально прицелившись в самого веселого зайца, но стрелять не стал.

— Вспомни, какова была моя юность, какова семья! Наверное, от нужды пани Гедвига Целиковская, сосланная за участие в виленском восстании, вышла за ярославского мещанина Придуркина, торговца гробами. Она рыдала от загубленной жизни, нещадно колотила меня, как будто я виноват в ее женских несчастьях. Напиваясь, она плакала и пела: «Плыне Висла, плыне по польской краине...» Нет, я не хочу вспоминать о ней!

— Не надо. Но отец-то тебя любил.

— Да. Прекрасный столяр. Все мое детство и юность прошли среди гробов, заготовленных им на продажу. В образцовом гробу я и спал. Мне, — сказал Полюнов, — и доньне иногда снится, как я вылезаю из этого гроба, чтобы не проспять своего звездного часа. Отцу мечталось вывести меня в люди. Наверное, ему стоило немалых унижений и взятки, чтобы меня, мещанского отпрыска, приняли в Демидовский лицей, откуда выходили просвещенные знатоки права на общем фоне бесправия.

— Понимаю тебя, — согласился Жохов.

— Понять меня может не каждый... Я был в лицее лучшим учеником, а думаешь, мне было легко? Легко ли было мне, когда вы, дворяне, являлись на лекции из чиновных и барских квартир, вас подкатывали к лицу холеные рысаки, а я выкарабкивался по утрам из гроба и, вкусив хлеба с теплым чаем, бежал по лужам за четыре версты, дрожащий от холода, всего лишь презренный сын мастера гробовых дел.

— Да, тебе было трудно. Тебя, лучшего лицеиста, обходили наградами, даже на мраморной доске выпускников лицея не хотели по-

мещать твою фамилию — Придуркин, и мне было жаль тебя. Я ведь всегда дарил тебя самой искренней дружбой.

Полынов положил руку на плечо друга:

— Потому ты и допущен в мой ад... Я покинул лицей, уже оскорбленный, чувствуя свое превосходство над людьми, оскорблявшими меня. С дипломом молодого юриста я оказался в селе Павлове на Оке, где и сделался мелким судебным исполнителем. Я накладывал печати на двери амбаров проворовавшихся лавочников, описывал имущество бедняков за недоимки, а по ночам глотал книгу за книгой... читал, читал, читал, читал, читал, читал, читал, читал!

Затем Полынов сказал, что павловские мастера по выделке замков с их «секретами» создавали такие шедевры, что получали призы даже на международных промышленных выставках.

— Эти мастера-самородки, порой безграмотные люди, возбудили во мне случайный интерес к точной механике, и, забыв о своем дипломе юриста, я пошел к ним на выучку. Наверное, я был способным учеником! Но однажды, смастерив самый сложный замок, я задумался. Ведь если я способен изготовить такой замок, значит, я способен его и открыть! Чтобы увериться в себе, я поехал на выставку в Вену, где на «призовой» площадке, ничем не рискуя, за полторы минуты вскрыл несгораемый шкаф фирмы «Эвенса», за что и получил тысячу марок вознаграждения.

— Так живи и радуйся! — невольно воскликнул Жохов.

Полынов удивленно посмотрел на него:

— А чему тут радоваться? Я ведь еще со скамьи лица понял, что при той системе, какая существует в нашей империи, мне всю жизнь оставаться презренным мещанином, и тогда я решил перехитрить эту систему, чтобы жить иначе... Я решил возвысить себя над этим поганым миром, и своего я добился!

— Но честным ли путем? — тихо спросил Жохов.

— Сначала — да. Я поехал в Льеж, где поступил в политехническую школу, старательно прослушал полный курс точной механики. Я получил не просто диплом, а — почетный диплом.

— Так живи в свое удовольствие... инженер!

— Именно так и стали называть меня друзья, когда я, подделав себе документы, из сословия мещан легко перебрался в дворянство. Под новой фамилией Боднарского завел в Петербурге частную техническую контору, не брезгуя брать любые заказы, стал жить на широкую ногу. Знание закона империи, хорошее владение языками, долгая жизнь за границей — все это помогало мне проникать в самое высшее общество, и никто ведь из аристократов не думал, что я выбрался из папенькина гроба, в котором стружки заменяли перину. Можно сказать, я был уже почти доволен судьбой, но...

Полынов долго молчал, и Жохов напомнил:

— Что же случилось тогда с тобою? Влюбился?

— Нет. Во мне зрело недовольство системой, которая из меня, честного человека, сделала жулика и прохвоста, живущего на птичьих правах под чужим именем. К тому времени мое воображение было слишком воспалено чтением Бакунина и Штирнера, Кропоткина и Махайского, а контрасты жизни убеждали меня в том, что сильная личность — превыше всего, и такой личности, как я, в этом мире почти все будет дозволено.

— Но так можно дойти черт знает до чего!

— Верно. Вот я и пришел к тому, что научился презирать сначала законы, потом людей. Но прежде я был арестован.

— За что?

— Однажды меня навестил неизвестный, который от имени других неизвестных просил вскрыть одну кассу. Я, конечно, догадался, что эти «неизвестные» уже известны полиции, но им не хватает знания точной механики. Мне с самого начала было ясно, что, кроме хлопот, я не получу и рубля, а все деньги, добытые с кассы, провалятся в подполье какой-то партии...

— И ты?

— Я согласился.

— И попался?

— Сразу. Впрочем, мне удалось бежать, а наши инквизиторы так и не дознались, что за птица попала в их клетку. Я сам ушел в подполье, снова сменив имя, перебрался в Польшу, стал членом активной «боевки», пан Юзеф Пилсудский не раз прибегал к моим услугам, когда ему нужны были деньги... Может, он и виноват в том, что я разуверился в идеалах революции, которых не заметил в человеке, больше других кричавшем о свободе. Скажу честно, что состоять в «боевке» было трудновато: чуть что не так — и ты мог пропасть на окраине города...

— Как же ты очутился в разряде уголовных?

— Это случайность. Однажды я долго возился с сейфом, в котором были замки конструкции Манлихера, и не мог открыть его. Пилсудский взбесился, обвинив меня чуть ли не в пособничестве жандармам. Тогда я решил: стоит ли рисковать жизнью ради этого демагога? Не лучше ли найти своим талантам иное применение? Так вот случилось...

Громко хрустнул валежник. Мужчины обернулись.

— Я тебя ищу, — строго произнесла Анита.

Полынов передал «франкотку» капитану Жохову.

— Анита, прости, нам предстоит расстаться.

— Нам? — поразилась Анита.

— Я побываю в Рыковском... без оружия, без тебя.

— Не лезь в это осиное гнездо, — предупредил его Жохов. — Каждый человек обходит Рыковское стороной, чтобы не остаться



без головы. А ты, кажется, уже потерял ее... Разве ты не знаешь, что в Рыковском штаб самого Харагучи? Или ты не слыхал, что там творится? Побереги себя и Аниту...

Полынов пояснил: для него пришло время покинуть Сахалин навсегда; как — он сам еще не знает, но его пути приведут куда угодно, только не к мысу Погиби.

— Не выдумывай! — возмутился Жохов. — Наверное, ты и в самом деле желаешь оправдать свою истинную фамилию... Зачем тебе соваться в Рыковское, если тебе, как дружиннику, будет даровано законное право на свободу по амнистии царя?

— Я знаю силу закона, но в справедливость закона не верю. Появись я снова в России, и меня упрячут за решетку. А я уже не могу оставить Аниту... одну.

— Но ведь оставляешь! — выкрикнула Анита.

— Ты побудешь на попечении капитана Жохова, и вы можете ждать меня три дня. Только три дня, после чего можете убираться куда вам угодно... хоть под венец!

Анита, припав к березе, разрыдалась. Жохов решил, что сейчас лучше не мешать им, и — ушел. Вслед ему, уходящему, Полынов велел вернуть «франкотку» Быкову.

— Не валяй дурака, — отозвался Жохов.

Полынов сказал Аните, чтобы повторила номер, который он просил ее помнить. Острым концом сучка Анита, еще плача, выцарапала на стволе березы загадочный для нее шифр: XVC-23847/A-835.

— У тебя хорошая память, — похвалил ее Полынов. — Если со мною что-либо случится, ты с этим номером можешь явиться в банк Гонконга, даже не называя своего имени.

— Зачем?

— Тебе выложат деньги. Большие деньги.

— Мне без тебя и копейки не надо! — ответила Анита. — Не уходи один! Ведь без меня ты погибнешь...

Полынов зорко огляделся по сторонам:

— Не плачь. Я снова ставлю на тридцать шесть, а иначе вообще не стоит играть... Теперь — прощай!

Из гуши леса Анита услышала его голос: «Ты лейся, песня удалая, лети, кручина злая, прочь...»

— Без меня ты погибнешь!.. — прокричала Анита.

---

Мутными глазами Глогер наблюдал с веранды, как через площадь Рыковского шагает человек, который заочно приговорен к смерти, и приговор ведь никто еще не отменял.

— Входи... Инженер! — сказал он на стук в двери.

Полынов никак не ожидал видеть Глогера в канцелярии японского правления, а Глогер сразу уловил его замешательство. Очень довольный, он приветливо улыбнулся:

— Как приятно встретить старого приятеля... Так рассказывай: что тебе надобно от японцев? А что тебе от меня?

Эта приветливая улыбка ввела Польшова в заблуждение. Он сказал, что самураи уже начали массовую депортацию населения, и ему хотелось бы попасть на пароход шанхайской линии, чтобы смотаться с острова поскорее.

— Я понимаю свое положение, но ты, Глогер, должен понять и мое. Обращаюсь к тебе как к товарищу по лодзинской «боевке», мы немало пошумели тогда, и ты доверял мне. Надеюсь, хоть сейчас-то не станешь казнить меня?

Глогер закрыл на ключ двери, ведущие на площадь.

— А ведь ты меня боишься, — сказал он. — Ты способен только мяукать, словно котенок, а рычать-то, как тигр, умею один я! — В руке Глогера блеснул револьвер. — Я не стану убивать тебя. Приговор теперь исполнят другие...

Разом вбежали японские солдаты, заломили Польшову руки. Плоские тесаки уперлись в спину ему, и он шагнул к смерти:

— Сволочь! Ты все-таки победил меня... Теперь я не могу рычать, но и мяукать на радость тебе не стану...

Глогер самодовольно ответил Польшову:

— Так не всегда же побеждать тебе! Иди и прими смерть, как положено члену нашей исполнительной «боевки»...

Чувствуя под лопатками колющие острия винтовочных тесаков, Польшов с трудом сохранял самообладание, но при этом в его голове кружились, подобные вихрю, всякие варианты освобождения. Кажется, на этот раз ему не выкрутиться. Самураи — это не бельгийский комиссар дю Шатле, не берлинский полицей-президиум на Александерплац, наконец, это даже не жандармский следователь Щелкалов. Покорно он шел, куда велят штыки, и болью отзывались в сердце пропетые когда-то слова:

Какие речи детские  
Она шептала мне  
О странах неизведанных,  
О дальней стороне...

«Ах, Анита! Почему я тебя не послушался?..»

Солдаты во главе с молодым офицером отвели его на двор Рыковского правления, где свершались ежедневные казни. Возле забора на коленях уже стояли двое — полицмейстер Маслов, пойманный в одежде каторжника, и тюремный инспектор Еремеев, который клонился к земле, близкий к обмороку. Маслов долгим взором вглядывался в Польшова — узнал его:

- Вам-то, кажется, я не сделал зла.
- Лично мне — никогда, — ответил Польшов.
- Так помолитесь за меня...
- И за меня! За меня тоже, — выкрикнул Еремеев.

Это были последние их слова, и через минуту на земле лежали два обезглавленных тела. Японский офицер сказал:

— Хэлло! Теперь ваша очередь.

Это неожиданное для японца «хэлло» оказалось спасительной зацепкой. Польшов шевельнул пальцами связанных рук.

— Господин офицер изволит говорить по-английски?

— О да! Но у вас произношение намного лучше, чем у меня... Вам приходилось жить в Англии?

— Нет, только в африканском Кейптауне.

— О! Может, вам завязать глаза?

— Не стою ваших забот, — ответил Польшов, лихорадочно отыскивая лазейку для спасения. Он глянул, как затихло в агонии тело полицмейстера. — Все это странно! Вы казнили сейчас «шпиона» Маслова и «предателя» Еремеева, которые никогда не шпионили и никого не предавали. Между тем в личном окружении вашего генерала Харагучи я знаю подлинного резидента русской разведки... Кстати, он опытен и опасен для вас!

Спина освободилась от прикосновения штыков.

— Кто же это? — насторожился самурай.

— Вы наивны! — повысил голос Польшов. — Не стану же я болтать с вами о серьезных делах на этом дворе, где скоро можно играть в футбол отрубленными головами. Я могу назвать русского шпиона только генералу Харагучи...

«Анита, милая Анита! Какие речи детские она...»

— Сразу развяжите мне руки, — велел Польшов.

Рулетка снова раскручивалась перед ним, суля сказочный выигрыш — жизнь! Японский офицер проводил его во внутренние комнаты правления, где за столом — в окружении адъютантов — сидел сухонький старичок в очках, и Польшов догадался, что этот кровожадный пигмей и есть генерал Харагучи.

Он с достоинством ему поклонился.

— Переводчик не нужен, — сказал Польшов, — ибо из английских газет я знаю, что вы окончили военную академию Берлина, и вам будет приятно освежить свой немецкий язык.

— Гутен таг, — сказал Харагучи, держа между ног шашку в черных ножах. — Я даже удивлен. Где же вы в условиях Сахалина могли читать английские газеты?

— Мне давал их для чтения барон Зальца.

— Гут, гут, — одобрительно закивал Харагучи. — Мне доложили, что вы узнали шпиона при моем штабе... кто он?

Никаких колебаний. Спокойный ответ:

— Глогер, что торчит у вас на веранде. Я не знаю, что он у вас там делает, но бед всем вам он еще наделает.

Среди японцев возникло замешательство, адъютант Харагучи куда-то выбежал и скоро вернулся с бумагами. Генерал вчитался в одну из них, неуверенно пожав плечами. Потом встал и вплотную подошел к Польшину, поблескивая очками:

— Обвинение серьезно. Но я вас слушаю.

— Глогер — опаснейший русский шпион, который чрезвычайно ловко притворяется польским националистом и ненавистником России. Под видом ссыльного он прибыл на Сахалин как раз накануне разрыва отношений между Петербургом и Токио. Вы сами понимаете, насколько удобна такая маскировка.

Харагучи вернулся к столу, волоча за собой шашку.

— Если сказанное вами правда, то откуда вам это известно? Наконец, кто может подтвердить ваши подозрения?

— О подозрениях я бы молчал. Я высказываю не подозрения, а сообщаю точные факты, которые мог бы подтвердить только один человек, недостижимый для вас ныне.

— Кто же это?

— Капитан русского генштаба Сергей Жохов, возглавляющий разведку на Сахалине под личиною журналиста.

Польшин смело «выдавал» врагам своего друга, зная, что Жохов скорее застрелит себя, но он никогда не попадетя живым в руки врагов. Все застыли в молчании.

— Жохов! — сказал Харагучи, а его адъютанты торопливо перелистывали перед ним бумаги. — А кто же вы сами?

— В чине коллежского асессора исполнял обязанности судебного следователя в Корсаковске... Иван Никитич Зяблов! — снова раскланялся Польшин, представляясь. — Служил при бароне Зальца, который считал меня своим близким другом.

Под генералом Харагучи отчаянно скрипел венский стул.

— Во всей этой истории, — сказал он, — столько вранья, что я начинаю удивляться вашей наглости... Вы ведь никогда не сможете ответить мне на вопрос, почему именно капитан генштабист Жохов вдруг решил поделиться с вами секретными сведениями об этом Глогере?

Напрасно самураи торжествовали победу.

— Я давно жду такого вопроса, — ответил Польшин. — Моя дружба с Жоховым тянется еще с детства, мы вместе учились в Демидовском лицее города Ярославля, после чего Жохов поступил в Пажеский корпус, а я волею судеб оказался на каторге. Наверняка у вас имеются сведения об офицерах сахалинского гарнизона... так проверьте мои слова по своим бумагам.

Удар — точно в цель! Харагучи быстро переговорил с офицерами штаба по-японски, они бурно спорили, наконец в своем досье Харагучи что-то подчеркнул ногтем.

— Мы вам поверим лишь в том случае, если вы скажете, кто был отцом вашего друга Жохова и какую он занимал должность! Будучи его другом, вы не можете не знать этого.

— Отец капитана Жохова служил по выборам дворянства, занимая должность Тетюшского уездного предводителя...

Проверили и поверили! Харагучи вскочил и, громыхая шашкой, что-то злобно и гортанно выкрикивал, после чего из глубин дома слышался сатанинский вопль Глогера:

— Не надо... умоляю... это ошибка! Я никогда не...

Полынов отошел к окну и посмотрел, как японцы ставят Глогера на колени, сверкнула сабля. Убедившись, что Глогера не стало, он облегченно вздохнул: «Ты лейся, песня удалая...» Харагучи спросил — каковы его желания за раскрытие опасного русского шпиона? Полынов ответил, что хотел бы попасть под общую депортацию чиновного населения Сахалина:

— Всем известно, что в Александровске стоит под погрузкой ваш пассажирский пароход, следующий напрямик в Одессу. Но мне желательно сойти с него еще в Гонконге, в банке которого я давно держу свои капиталы.

— Почему же не в Петербурге? — спросили его. — Как можно доверять стране, которая трясется от революции? Именно по этим соображениям я доверил свои сбережения старинному британскому Гонконг-Шанхайскому банку.

Что-то хищное отразилось в лице Харагучи, но голова Глогера уже откатилась в подзаборные лопухи. Глогер уже не мог помочь самураям разобраться в этих хитроумных комбинациях.

— Вы рискуете жизнью, — напомнил генерал. — Ведь наш телеграф работает отлично, и мы, сидящие в Рыковском, можем проверить, так ли это. Назовите номер личного счета.

Полынов шагнул к столу и написал: XVC-23847/A-835.

— Хорошо, — сказал Харагучи. — Но, если англичане не подтвердят наличие этого вклада, вы окажетесь на дворе...

Через двое суток Полынова освободили:

— Вы оказались правы. Можете отправляться в Александровск, а билет на пароход получите в тамошней канцелярии.

Харагучи прислал ему в подарок хорошую сигару.

— Благодарю! — небрежно ответил Полынов. — Но меня будет сопровождать молоденькая дама, обожающая комфорт, и потому прошу предупредить свои власти в Александровске, чтобы мне отвели каюту первого класса... с ванной и прислугой! Знаете, все женщины

на этой каторге стали так избалованны, что нам, мужчинам, очень трудно угодить им...

Когда они встретились, Анита наблюдала за ним с каким-то напряженным вниманием. Полюнов не выдержал ее взгляда:

— Перестань так смотреть на меня!

— Смотрю... ты поседел, — ответила Анита.

— Ничего удивительного! Зато мой приговор приведен в исполнение...

Сахалин проводил их дождями и туманами. Жалобно мигнули огни маяка «Жонкьер», а потом навсегда угасли в отдалении и маячные проблески с мыса Крильон. Впереди распахивался океан — широкий и бурный, как сама жизнь.

## 14. Конец каторги

«Там, где Амур свои волны несет», там, от Хабаровска до Николаевска, еще ходили белые пароходы, освещенные электричеством, с которых долетала до угрюмых берегов музыка ресторанов, по их палубам прогуливались опрятно одетые люди и дамы с зонтиками. Но ближе к осени с этих пароходов все чаще видели каких-то диких, невысказанно оборванных людей с палками и котомками, они бежали вслед пароходам вдоль топких таежных берегов, вызывая к милосердию пассажиров:

— Хлеба! Бросьте хлеба, мать вашу растак...

— Кто эти дикари? — спрашивали пассажиры.

— Сахалинские каторжане, — охотно поясняли капитаны. — Японцы всех их вывезли с острова прямо в тайгу материка и оставили на берегу, словно ненужный мусор. Теперь им, видите ли, амнистия от его императорского величества выпала. Вот они и бегают с дубинами вдоль Амура, как доисторические питекантропы... С этим народом, дамы и господа, лучше не связываться!

...Убийствами и грабежами японское командование сознательно выживало русских людей с острова. Это была политика оголтелого геноцида, при которой человеку не выжить, и самураи проводили ее с неумолимой жестокостью, чтобы русских людей на острове не осталось. Чиновников с их семьями они спровадили долгим путем прямо в Одессу. Русская делегация в Портсмуте еще отставала Сахалин для России, когда оккупантами было объявлено, что до 7 августа 1905 года всем неапонцам следует покинуть Сахалин.

— Кто желает остаться на острове, тому следует в ближайшие дни принять подданство нашего великого императора Муцухито и платить налоги, какие существуют в Японии...

Двадцатого августа контр-адмирал Катаока выслал в бухту Де-Кастри три своих миноносца под белыми флагами; следом за ними вошел транспорт, с которого свалили на берег толпу первых депортированных сахалинцев. Поселок в бухте был уже разгромлен, все сгорело при обстрелах с моря, и беженцам, перед которыми шумела глухая тайга, было тут же объявлено:

— Вы уже в России! Теперь сами выбирайтесь к Амуру — до Мариинска или Софийска... дорога сама выведет.

Но дороги-то и не было. Толпа людей шаталась от изнурения, многие так и не дошли до Амура, а иные стали жертвами таежных хищников. Но оставаться на Сахалине никто уже не хотел, и все новые толпы беженцев копились на пристани Александровска, заполняя гулкие трюмы японских пароходов. Самураи не разрешали вывозить на материк что-либо из вещей, кроме узелка с самым необходимым в дороге. На трапах кораблей разыгрывались дикие сцены, которые по-человечески можно понять: каждому ведь дорого то, что нажито своим трудом, но японцы силой отбирали имущество, и скоро на пристани выросла громадная гора пожитков, увязанных в неряшливые котомки. Японцы не брезговали ничем, отбирая у русских детей даже самодельные тряпичные куклы. Руководил депортацией майор Такаси Кумэда, и ему, знавшему русский язык, наверное, не раз приходилось слышать с палуб отплывавших от Сахалина кораблей:

— Да будь ты проклят, зараза паршивая! Ты не сын Страны восходящего солнца — ты просто сукин сын...

С японцами остались лишь предатели родины и кое-какие одиночки; не покидали остров отпетые уголовники, которым хорошо воровать и грабить при любом режиме; не выехали на материк разбогатевшие ссыльные, местные кулаки, жалевшие оставить свое хозяйство, но японцы их всех потом «раскулачили». Почти все население Сахалина, бросая посевы и огороды, покинуло остров, не желая оставаться под пятой оккупантов. Сахалин вымер! Можно было пройти через десятки деревень и — не встретишь ни одного человека, не выбежит навстречу, виляя хвостом, собачонка. Историки приводят цифры зловещей статистики: если до войны Сахалин обживали сорок шесть тысяч, то после завершения оккупации на острове осталось всего лишь семь тысяч человек, навсегда потерянных для родины.

А сахалинских беженцев родина встретила неприветливо, о царской амнистии даже не помнили. Мало кому удалось достичь Хабаровска или Благовещенска, редкие единицы добрались до родимых мест, многие остались горевать на Амуре. Как раз напротив казачьего села Мариинского был на Амуре остров, куда и сгоняли каторжан, которые загодя отрывали в земле глубокие норы, собираясь в них зимовать. Появились на острове и прежние охранники-надзиратели

с оружием. Здесь же селились и семьи ссыльных с детьми. В этом содоме люди словно озверели, всюду вспыхивали драки, нависала грязная брань, окрики конвойных, а между шалашами и норами блуждали цыганки, предлагая наворожить лучшую долю:

— Драгоценный ты мой, брильянтовый да яхонтовый, вижу, будет тебе утешение от дамы бубновой, ждет тебя свиданьице с червонным валетом, еще посидишь ты на параше из чистого золота, как король на своих именинах...

Среди костров, на которых варилась похлебка, среди развешанного по кустам арестантского вшивого тряпья бродила седая как лунь женщина с ненормально вытарашенными глазами, в которых навсегда застыл ужас. Иногда она рылась в своем мешке, любуясь катушками ниток, детскими чулочками и шпульками от швейной машинки фирмы «Зингер», а потом начинала кричать, и никто уже не мог ее успокоить... Это была Ольга Ивановна Волохова; о ней беженцы говорили:

— К этой лучше не подходить! У нее мужа и детей самураи штывками порешили. Хоть бы утопилась она, звон воды-то сколько... На што теперь такой поврежденной век мучиться?

Японцы вернули России Северный Сахалин только в октябре, когда весь остров уже превратился в выжженную безлюдную пустыню. Очевидцы писали, что леса поразительно быстро надвинулись на города и деревни, буйная растительность полезла в прежние сады и огороды, а дикие звери без боязни забегали на улицы, пугая одиноких прохожих. Где же он, благополучный конец нашей истории?

Вот он, этот конец: уже отговорили свое дипломаты в Портсмуте, уже высадились в Одессе сахалинские чиновники, уже обжили свои норы беженцы на Амуре, а Сахалин еще содрогался от выстрелов — война продолжалась, еще не покорились врагам русские патриоты...

Генерал Харагучи распорядился уничтожить отряд Быкова и Филимонова, а генштабиста Жохова взять живым. Валерий Павлович Быков под натиском врагов был вынужден отвести людей с реки Тымь даже назад — к Тихменевке, лежащей южнее, потом партизаны двинулись к берегу Татарского пролива. В перестрелке с японскими кавалеристами Жохов был ранен, и Клавдия Петровна Челищева уделяла ему столько благородного внимания, что Жохову делалось неловко перед Быковым.

— Я вам чрезвычайно благодарен за все, я готов расцеловать ваши святые руки, — говорил он бестужевке, — но вы не забывайте, что в отряде не один только я смотрю на вас восхищенными глазами...

На привалах Жохов часами рассказывал ей о том, какой замечательный роман будет написан им о трагедии Сахалина, и Челищевой было отраднo думать, что она станет героиней будущего романа; девушка, кажется, не понимала, что вниманием к Жохову она невольно



осложняла отношения с капитаном Быковым, и без того сложные, обостренные его ожиданием ответа...

На взморье партизаны отыскивали девять старых кунгасов, плохо просмоленных; из мучных мешков сшили паруса, и отряд вышел в Татарский пролив, сиюсья достичь берегов родины. Задули холодные ветры, горизонт побелел — выпал снег. Сильнейший шторм порвал мешковину самодельных парусов; дружинники, помяная всех святых и всех матерей на свете, шапками вычерпывали воду. Пришлось довериться волнам, которые безжалостно выбросили кунгасы обратно на сахалинский берег — возле Арково, где находился японский гарнизон.

— Не высовываться, — велел Быков, — дождемся темного часа, а потом двинемся дальше на север...

К северу от Арково лес переходил в тундру, и до самого мыса Погиби партизаны уже не сворачивали с дороги беглых каторжан. По вечерам, сидя возле костров, в окружении гибельных просторов Сахалина, люди глухим стоном вытягивали из своих душ надрывную и плакучую песню-жалобу:

Умру, в чужой земле зарую,  
Заплачет милая моя.  
Жена найдет себе другого,  
А мать сыночка никогда...

Быков поднялся от костра — страшный, разгневанный — и выстрелил из револьвера в пустоту черного неба.

— Хватит выть! — крикнул он. — Я же вас почти уже вывел к мысу Погиби, так потерпите — выведу и к Амуру...

Им повезло: отряд случайно заметили с речной миноноски, дежурившей в проливе, чтобы подбирать с воды уцелевших. Дружинников приняли на борт, тут они стали плакать от радости — бородатые, израненные, запаршивевшие, отряхивая с грязного рванья лесных клопов и вшей. Наконец миноноска вошла в устье Амура, уже виднелись пушки крепостных батарей, и Быков стал кричать в каком-то неистовстве:

— Друзья мои! Смотрите, все смотрите... Я снова вижу наш родной, наш русский, наш флаг великой отчизны!..

Генерал Линевиц, верный своему долгу, охотно утвердил список представленных к орденам, который был составлен полковником Боддыревым, и в число героических защитников Сахалина попали мерзавцы и трусы, сделавшие все, чтобы выбраться из болота и «влезть» в плен к врагам. Но поздней осенью из Николаевска поступил дополнительный список с именами дружинника Корнея Землякова, офицеров Таирова, Полуботко, Филимонова, Гротто-Слепиковского, журналиста Жохова и штабс-капитана Быкова. Однако генерал Лине-

вич не утвердил их наград, заподозрив «искательство» посторонних людей.

— Сейчас, когда война закончилась, — рассудил Линевиц, — съестся немало охотников притвориться героями. Но подлинные герои уже награждены, и на этом мы закончим...

На окраине города Быков снял две комнатенки, очевидно, рассчитывая, что до открытия весенней навигации проживет не один. Но госпожа Челищева отказалась разделить его одиночество, ссылаясь на то, что здоровье капитана Жохова нуждается в ее неусыпных заботах. Жохов же, целиком во власти развития будущего романа, даже не задумывался над тем, что совершает непоправимую ошибку, дозволив Клавочке поселиться с ним рядом. Он просто не придавал этому никакого значения, испытывая лишь благодарность к девушке. Но выражал эту благодарность словами чересчур возвышенными, какие обычный больной мужчина не стал бы говорить своей сиделке.

— Даже усталая, вы очаровательны, — говорил он Клавочке, слушая, как завывает над Амуром метель. — Наверное, вы будете хорошей спутницей в жизни, и я завидую тому мужчине, который станет вашим вечным рыцарем...

Это были только слова, но Клавочка пила их по капле, как пьют драгоценный нектар, она замирала, наслаждаясь их легковесным, зато чудесным звучанием.

Поздним вечером ее навестил штабс-капитан Быков, пригласивший девушку в городской клуб, где чиновники Николаевска обещали дать банкет с маскарадом, а их жены собирались устроить розыгрыш в лотерею. Клавочка отказалась:

— Но как же я покину Сергея Леонидовича? Он так еще слаб после ранения, он так нуждается в моем попечении...

Они стояли в промерзлых сенях, где на стенах были развешаны цинковые корыта и лошадиные хомуты с кнутами. Быков снял один кнут и сильно ударил им в корытное днище — тяжелый металлический звук был невыносим и очень тревожен.

— Я уже не спрашиваю вас, когда вы ответите на мое предложение. Кажется, я слишком доверчив, не так ли? — спросил Быков. — Понимаю и вас. Наверное, будущий роман Сергея Леонидовича гораздо интереснее того романа, в котором сюжет еще не продуман до последней точки...

Челищева зябко куталась в меховую жакетку, не решаясь пригласить Быкова в комнаты, где Жохов, не зная, кто там пришел, шелестел хабаровскими газетами, явно недовольный ее долгим отсутствием. Клавочка, потупясь, сказала Быкову:

— Простите меня, пожалуйста. Я знаю, что вы очень добрый и хороший человек, но я не могу... не могу иначе...

Быков все понял. Он повесил кнут на место и молча вышел. Клавочка вернулась в комнату и вся сжалась, когда с улицы долетел тугой хлопок одинокого выстрела.

— Это он... его не стало, — прошептала она. — Но разве же имела я право обманывать его и себя?

Жохов сначала ни о чем не догадывался.

— Кто сейчас приходил? — спросил он девушку.

— Быков... я ему все сказала.

— Что вы сказали ему?

— Что я живу теперь иными надеждами...

Только сейчас до Жохова дошел смысл ее слов:

— А кто давал вам право надеяться на что-либо? Я знаю, что только один Валерий Павлович обладал надеждами.

— Но я думала, что вы... всегда так любезны...

— Так я со всеми любезен, черт побери!

Клавдия Петровна растерянно бормотала:

— Разве не могла я видеть поводов к чувству...

— Никаких поводов не было! — закричал Жохов, сбрасывая с себя ворох газет и накидывая шинель на плечи. — На мои чувства вы не имели права рассчитывать... это глупо!

— Но я думала, что вы... все ваши слова...

— Дура безмозглая! — врубил ей в лицо Жохов. — Начиталась всякой ерунды, а теперь погубила человека...

Жохов выбежал под всплески метели. Быков был мертв.

Жохов забрал из руки револьвер, салютуя над мертвым раз за разом, пока в барабане не опустела обойма.

Мимо проходил гарнизонный солдат. Остановился:

— Никак пьяный, ваше благородие?

— Если бы пьяный... Помогите мне, братец, оттащить его до комендатуры. Берись за ноги, а я возьму спереди...

Две фигуры, солдата и офицера, шатаясь под тяжкою ношей, уходили прямо в метель, а издали было слышно, как грохочет бальная музыка в клубе, где местные дамы разыграют в лотерею куклу-матрешку, бутылку с шампанским и коробку с дешевой пудрой.

Жохов всю дорогу не переставал ругаться:

— Ну разве можно быть такой правомерной идиоткой? Вот уж где куриные мозги! Недаром я всегда презирал идеалисток... Ей казалось, что любовь — это занятие для ангелов, а ведь любовь — это чисто земное... будто картошка на огороде!

Комендант города велел положить мертвеца на лавку.

— Чего это он? — был задан вопрос.

— Не знаю, — ответил Жохов. — Наверное, обиделся, что ордена ему не дали...

А в далеком Монте-Карло совсем не чувствовалось зимы; теплые ветры из Марокко оживили приунывшие пальмы, когда здесь появилась странная пара — мсье Крильон с молоденькой Анитой Жонкьер. Никто не задумывался над сочетанием их имен, хотя именно в нем затаился волнующий отблеск погасших маяков Сахалина. Впрочем, публике, заполнившей вечерние залы казино, был глубоко безразличен «сахалинский вопрос»...

В том, как держался господин Крильон, угадывалась уверенность породистого аристократа, а прядь седых волос заметно выделялась в его аккуратной прическе, подчеркивая благородство мужского облика. Его спутница была в стиле модерн («инфернальная» женщина, как тогда говорили), ее белую шамизетку украшал золотистый бисер, а поверх платья она небрежно накинула дорожное манто.

Эта пара сначала постояла у рулетки, внимательно проследив за тем, как проигрался магараджа из Индии, как расплатился за проигрыш молодой шейх из пустынь Аравии. Крильон наклонился к Аните и тихонько пропел для нее:

Не играл бы ты, дружок,  
Не остался б без порток...

Мадемуазель Жонкьер с легким треском сложила веер и, словно играючи, коснулась им щеки своего спутника:

— Так и быть! Ставь, если тебе все еще мало...

Крильон шагнул к столу рулетки, произнеся громко:

— Bankoy!

Крупье внимательно оглядел игрока.

— Рад видеть вас невредимым, — сказал он. — Но в прошлый раз вы были гораздо моложе.

— Не спорю.

— Тогда вы приехали из Женевы, а теперь откуда?

— Прямо из Гонконга.

— Снова изволите играть на все?

— Да. Ставлю, как всегда, на тридцать шесть...

«Инфернальная» Анита Жонкьер, стоя в стороне, с напряженным вниманием следила за шариком, который долго не мог успокоиться в заколдованном круге рулетки, пока не ударился в номер тридцать шесть. В публике и среди игроков возникло беспокойство:

— Чудеса... Откуда такое везение?

— Банк сорван! — провозгласил крупье.

И тут все услышали злорадный, почти ликующий смех.

Это смеялась Анита, юная и красивая женщина, которая под модной прической типа «Клео» старательно укрывала свои безобразно от-

топыренные уши. Крупье взмахнул широким траурным покрывалом, закрывая рулетку, словно наложил вечный траур на гроб с усопшим покойником.

— Иди за мной, — велела Крильону красавица, и, склонив голову, он покорно последовал за нею, как верный паж за своей гордой и неприступной королевой.

Вдруг она обернулась к нему. На языке, для всех не понятном (на русском языке!), она четко сказала:

— Больше ты никогда не будешь играть. И вообще отныне ты должен меня слушаться... лишь одну меня! Только меня... Надеюсь, что повторять не придется.

— Да, моя любовь, — ответил Крильон женщине, которую сам же и купил по дешевке на крыльце сахалинского трактира...

Они покинули казино и навсегда растворились в этом неугомонном, сверкающем мире — в мире нищеты и богатства, в мире скромности и подлости, часто меняя свои имена и меняя страны, названия отелей и курортов... Мы потеряли их!

## В эпилоге — возвращение старых долгов

Мне никогда не встречался на полках букинистов роман Жохова о сахалинской каторге, и я не знаю, какой же гениальный конец для него он придумал. Время слишком безжалостно к людям, одинаково равнодушное к плохим и хорошим, к талантливым и бездарным. С тех пор прошло много-много лет, никто из моих героев не уцелел, и остался теперь один только я, чтобы сказать то, чего не успели сказать другие.

---

Время было тяжелое — лето 1942 года...

Советский консул в Сиднее просмотрел австралийские газеты. Вести были неутешительны: от Воронежа и Барвенково наши войска отжимались к Волге «панцирными» дивизиями гитлеровских генералов — Паулюса и Клейста... «Да, тяжело!» Впрочем, и на Тихом океане положение американцев ничуть не лучше, чем на Восточном фронте. Японская военщина, совершенствуя тактику «прыжков лягушки», быстрыми десантными бросками перемещалась с острова на остров, с атолла на атолл, и теперь возникла прямая угроза беззащитной Австралии.

Над Сиднеем пролился оглушительный ливень. Секретарь доложил консулу, что его желает видеть королева Семнадцати Атоллов, владеющая русским языком.

— Я не знаю такого королевства, а принимать у себя всяких авантюристок у меня нет ни времени, ни желания.

Секретарь сказал, что королева произвела на него впечатление вполне порядочной женщины; она желает передать в советский Фонд обороны сбережения, оставшиеся после ее мужа — короля и владельца ца Семнадцати Атоллов.

— Что-то я не помню такого государства.

— Его никто не знает, — ответил секретарь, — хотя группу этих живописных атоллов, затерянных в океане, можно отыскать на любой карте мира. Еще в тридцатые годы на них высадился самозванный король, объявивший атоллы своим владением. Он даже издавал там газету, продавая каждый ее экземпляр по цене одной сигареты, и газета Семнадцати Атоллов выходила под странным девизом: *«Полиция всех стран, разбегайся!»*

— Что за анекдот? — удивился консул.

— Никакого анекдота... В этой газете король объективно отражал события в нашей стране и на фронте, печатал в переводе на английский стихи Симонова, Твардовского и Суркова.

— Откуда он черпал все это?

— На атоллах имелась мощная радиостанция, способная принимать передачи из Москвы, а гимном своего королевства он избрал нашу популярную песню: *«Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила...»*

— Можете не продолжать, — сказал консул. — Наверное, это какой-нибудь белоэмигрант, страдающий приступами ностальгии? Но куда же смотрела Лига Наций? Почему его там не сцапали?

— Пытались! — объяснил секретарь. — Я уже выяснил, что перед самой войной на эти атоллы позарилась Англия, пославшая миноносец для ареста короля Семнадцати Атоллов, но жители островов дали такой отпор пришельцам, что миноносец вернулся в порт Веллингтон, имея немало раненых.

— Даже не верится, — сказал консул. — Но сейчас не такое у нас положение, чтобы отказываться от помощи....

Да! Мы не отказались, и знаменитый Рахманинов давал концерты в помощь героической Красной Армии, в адрес советского Красного Креста нескончаемым потоком шли посылки от эмигрантов, живущих в США, Аргентине или Бразилии, переводили деньги украинцы и духоборы из Канады, бедняки слали анонимные денежные сбережения в самые трудные для нас дни 1941 года: *«Вместе с вами плачу кровавыми слезами. Примите от русского — русскому народу в его трудный час»*. Среди эмигрантов, разбросанных по всему миру, от Патагонии до Аляски, ходили по рукам стихи Георгия Раевского:

Да, какие б пространства и годы  
До тех пор ни лежали меж нас,  
Мы детьми одного народа  
Оказались в смертельный час...

— Хорошо, — согласился консул, — я приму королеву. Но в беседе с нею как лучше именовать ее?

— Все королевы имеют одинаковый титул: «Ваше Величество».

.....  
Она представилась лишь именем — Анита.

— Ваше Величество, — приветствовал ее консул, — мне было приятно узнать о святых порывах вашего благородного сердца.

Одетая очень скромно, королева держалась с достоинством, и, наверное, в молодости она была красивой женщиной, если бы ее не портили большие оттопыренные уши. По-русски же она говорила чисто, без какого-либо акцента. Королева просила консула не считать ее белоэмигранткой:

— Мы с мужем покинули Россию еще в пятом году, когда на Сахалине высадились японцы. Сейчас наше королевство уже вошло в сферу боевых действий на океане, недавно к нам заходила поврежденная американская подлодка, мы живем под угрозой захвата атоллов японскими парашютистами.

— Простите, но как вы оказались на Сахалине?

— С матерью, которая искала среди ссыльных мужа и, не найдя его, продала меня первому прохожему, чтобы не умереть от голода... Купивший же меня человек и стал королем Семнадцати Атоллов. Незадолго до своей смерти он просил не принимать от СССР никакой благодарности, не раз повторяя, что возвращает родине старые долги...

— О каких долгах идет речь? — спросил ее консул.

— Я не вникала в эти вопросы, но догадываюсь, что мой муж когда-то был близок к революционным кругам. В эмиграции он внимательно следил за вашими успехами, радуясь им вместе со мною. Вы не думайте, — торопливо добавила Анита, — что мы на своих атоллах жили дикарями среди дикарей. Мы выписывали ваш журнал «СССР на стройке», иногда до нас доходили даже ваш «Огонек» и газеты. Его королевское величество, мой супруг, очень болезненно переживал неудачи на русском фронте. Мне кажется, это и ускорило его кончину. Перед смертью он говорил, что не может купить для русской армии танковую колонну, но он обязан помочь родине чем может...

Анита сказала, что, исполняя волю покойного мужа, она передает Красной Армии большую партию драгоценного на фронте пенициллина и прочих медикаментов, просила принять в дар для советских детей, осиротевших в войне, два контейнера с консервированными соками.

— Это не только мой личный дар отчизне, — сказала Анита, — но и всех жителей, населяющих наше королевство.

— У вас было и население? — удивился консул.

— А как же! Мало ли в мире людей, разочарованных в цивилизации, ищущих покоя от мирской суеты? Мы принимали всех, — сказала

Анита. — Даже тех, кто скрывался от правосудия, принимали просто романтиков, наконец, у нас находили приют потерпевшие кораблекрушение возле наших атоллов. Мой муж ввел на островах конституцию, ограничивавшую его королевский абсолютизм, составил гражданский и уголовный кодекс, в котором была только одна жестокая статья.

— Смертная казнь? — спросил консул.

— Нет, любое преступление каралось изгнанием...

Консул встал и от имени своего народа поблагодарил женщину за те жертвования, которые она сделала ради общей победы человечества над фашистской Германией и самурайской Японией. А потом, когда королева удалилась из его кабинета, он сказал секретарю:

— Черт знает, какие ситуации преподносит нам жизнь!

Консул включил радиоприемник. Сидней повторял недавние сводки. Слышался голос Черчилля: «Стремительность японского нападения превзошла все наши ожидания... Картина весьма мрачная, отчаянное положение, и даже более». В эфире резко вибрировал надломленный голос Рузвельта, говорившего, что потери в этой войне невероятны, никто в США не ожидал такого поворота событий... Консул крутанул ручку настройки, и Берлин отозвался ему лающим голосом Риббентропа, вещавшего, что наличие японских дивизий на восточных границах России «облегчает наш труд, поскольку Россия, во всяком случае, должна держать войска в Восточной Сибири в ожидании неизбежного японского нападения!»

Консул раздраженно выключил радиоприемник.

— Все равно, — сказал он, — мы обязательно победим...

---

Заклучив с нами пакт о нейтралитете, Япония исподтишка готовила нападение на СССР по секретному плану «Кантокуэн» — удар мощной Квантунской армии со стороны Дальнего Востока. Среди самурайской военщины стало очень модным выражение: «Не опоздать на автобус!» — не опоздать к разделу мира, который готовила гитлеровская Германия, союзная Японии.

Летом 1942 года они, казалось, были близки к тому, чтобы первыми вскочить в этот политико-стратегический «автобус»: вермахт, лязгая железными сцеплениями гусеничных траков, уже выкатил свои танки на берега Волги.

Но в Токио скоро поняли, что дела у немцев складываются совсем не так, как мечтал о них Гитлер в светлые лунные ночи. От обгорелых руин Сталинграда вермахт был отброшен назад, следовательно, «автобус» ушел по историческому маршруту без них — без самураев!

Вынужденные отложить нападение на СССР, японцы все время войны вредили нашей стране где только могли. Япония задерживала и топила наши торговые корабли, нарушая коммуникации между



Владивостоком и портами Америки; японский флот, громяхая броней и выпуская с подлодок торпеды, запирает для нас международные проливы, выводящие в открытый океан.

И до самого конца войны с Германией мы не могли быть спокойны за безопасность наших дальневосточных рубежей. Япония устраивала провокации у наших границ, обстреливала из пушек и пулеметов советскую территорию, она до самого краха гитлеризма вела шпионаж в пользу Германии.

В самый канун капитуляции фашизма, 5 апреля 1945 года, Москва заявила о денонсации (непродлении) пакта о советско-японском нейтралитете, уже не раз нарушенном заправилами Токио. По всей Европе вылавливали военных преступников для будущего процесса в Нюрнберге, а вечером 8 августа того же года японский посол в Москве получил заявление Советского правительства, начинавшееся словами: «После разгрома и капитуляции гитлеровской Германии Япония оказалась единственной великой державой, которая все еще стоит за продолжение войны...» Отправляя это заявление в Токио, посол сказал:

— Наш автобус скovyрнулся в пропасть...

Да! Понадобилось всего двадцать три дня, чтобы Япония была разгромлена. В августе, когда тысячи японских солдат и офицеров бросали свое опозоренное оружие под ноги наших десантников, освободивших Северный Китай и весь Сахалин, в кабинете консула снова появилась владычица Семнадцати Атоллов.

На этот раз Анита выглядела даже торжественно.

— Ну вот и все! — возвестила она. — Можете меня поздравить: отныне я уже не королева... Год назад я продала свои атоллы с плантациями под размещение на них базы американских подлодок и теперь могу быть гораздо щедрее, чем раньше.

Анита выложила перед консулом чек на большую сумму в долларах и сказала, что ее дни, наверное, уже сочтены:

— Какая там Анита? Зовите меня Верой Ивановной...

Ей было жаль, что муж не дожил до этих дней:

— Он был бы счастлив узнать, что японская колония Карафутто снова сделалась русским Сахалином, а город Отомари опять будет называться Корсаковском... Да, мне известно, — сказала Вера Ивановна, — что до самого Дня Победы нефть Северного Сахалина заполняла баки советских танков, дошедших до Берлина, сахалинский уголь распалил пламя котельных топок кораблей, высаживавших десанты на причалы Порт-Артура... Вы бы знали, как мне хочется плакать! Там, где отгремели раскаты ваших пушек, давно-давно отзвучали наши слабые выстрелы. Мне, сопливой калужской девчонке, и не снилась такая судьба, какая выпала на мою долю... Нет, не стоит меня благодарить: это я благодарю свою родину за право называться русской!

Она ушла, и консул, стоя возле окна, задумчивым взором пронаблюдал, как эта стареющая женщина навечно затерялась в разноликой уличной толпе...

Второго сентября Япония подписала акт о капитуляции.

На далеком Сахалине, ставшем советским, снова ярко разгорелись старинные маяки — Крильон и Жонкьер.

Они освещали путь кораблям, уходящим далеко...

После этой войны земля Сахалина, не раз омытая нашей кровью, украсилась памятниками вечной славы — в честь героев, павших за освобождение острова, и эти памятники неслышно сомкнулись с памятниками тем, кто еще раньше сложил свои головы на этой много-страдальной земле, которая уже никогда не станет для нас каторгой... Неужели мне не удалось найти конец для романа?

## Старая история с новым концом

ОЧЕВИДНО, с годами человек острее чувствует личную соприкосновенность к событиям своего бурного века.

Пятый класс школы я заканчивал перед самой войной и тогда же впервые прочитал повесть Бориса Лавренева «Стратегическая ошибка» о прорыве летом 1914 года германских крейсеров «Гебен» и «Бреслау» в Черное море. Ограниченный в своих познаниях, я следил лишь за развитием сюжета и многое не понял, но сама фабула повести надолго осталась в сердце.

Сейчас мою память снова тревожат старые, еще детские воспоминания о «стратегической ошибке» британского Адмиралтейства, которую лучше назвать политической диверсией. Сам хлебнувший морской воды и многое заново переосмысливший, я теперь могу судить о событиях прошлого с гораздо большими подозрениями...

Итак, читатель, я приглашаю тебя в жаркие дни лета 1914 года, когда молодой Уинстон Черчилль занимал в Уайтхолле руководящий пост первого лорда британского Адмиралтейства.

Загадки этой истории возникли за год до начала войны. Однажды в Афинах встретились офицеры немецких и английских кораблей, дислоцированных в Средиземном море. Было ясно, что за столами банкета расселись будущие соперники в борьбе за господство на морях, и тем более подозрительно звучали доводы англичан, убеждавших немцев не выводить «Гебен» из Средиземного моря.

— Когда суп закипает, — намекали они, — хорошая кухарка не отходит от горячей плиты. Если же Германия имеет свои интересы на Ближнем Востоке, то вашему «Гебену» лучше оставаться в этом пекле, нежели бесцельно торчать в Гамбурге...

Поверх отчета об этой встрече в Афинах рукою кайзера Вильгельма II была наложена скоропалительная резолюция: «Близится возможность раздела Турции, и потому корабль, — имелся в виду “Гебен”, — на месте абсолютно необходим». Гросс-адмирал Альфред фон Тирпиц осмелился возражать императору:

— Ваше величество следует советам англичан, наших эвентуальных противников, желающих ослабить Германию в Северном море, тогда как британская эскадра остается на Мальте, и, случись политический конфликт, она в два счета разломает «Гебен» заодно с крейсером «Бреслау».

— Случись конфликт, — задиристо отвечал Вильгельм II, — и наши «Гебен» с «Бреслау» окажутся нужнее возле берегов Сирии или Египта, наконец, их появление возле Босфора заставит очнуться от сладкой дремоты весь мусульманский мир...

«Кайзер, — писал Тирпиц, — особенно гордился нашей средиземноморской эскадрой, я же весьма сожалел об отсутствии “Гебена” в Северном море».

Прошел год. Нервозный, иссушающий июль 1914-го породил знаменитый «июльский кризис», возникший после выстрела в Сараеве, который напал сразил эрцгерцога Франца Фердинанда. Мир засыпал в тревоге, ибо в Берлине и в Вене отчетливо, как никогда, постукивали каблук гештабистов. «Все движется к катастрофе, — сообщал Черчилль жене. — Мне это интересно, я испытываю подъем и счастье...»

Италия тогда примыкала к союзу с Германией и Австрией. Но итальянцы рассуждали: «Нам до этого эрцгерцога — словно до тухлой сардинки». Июльские дни пылали жарой, когда на рейде адриатического порта Бриндизи неслышно появились две затаенные тени, невольно пугающие итальянцев своим грозным видом.

— Немцы! — говорили жители. — Не хватает им своей колбасы, так они притащились за нашими макаронами...

«Гебен» был линейным крейсером (почти линкором), а «Бреслау» считался крейсером легким. Их якоря прочно вцепились в грунт. Командовал ими контр-адмирал Вильгельм Сушон. В его салоне приятно пахло апельсинами, свежий ветер шевелил бланком расшифрованной телеграммы с предупреждением о близкой войне. Сушон вызвал флагманского механика.

— Бикфордов шнур подожжен, — сказал адмирал, — и не сегодня завтра мир будет взорван. А что делаете вы? Почему машины «Гебена» едва выжимают восемнадцать узлов?

Вопрос был непрост. Английская разведка сработала плохо, в Лондоне продолжали думать, что «Гебен», лучший в мире линейный крейсер, способен выдерживать скорость 24—28 узлов. Но флагманский механик, вздохнув, огорчил Сушона:

— Увы, в котлах потекли трубки, и даже восемнадцать узлов мы выжмем лишь на короткой дистанции. Необходим капитальный ремонт, для чего следует убраться в гавани рейха.

— В уме ли вы? — вспыхнул Сушон, потрясая перед механиком бланком радиограммы. — Берлин полагает, что Гибралтар уже перекрыт для нас, а британский адмирал Траубридж держит свои крейсера на Мальте с машинами «на подогреве»...

Механик поклялся Сушону, что машинная команда «Гебена» не ляжет спать, пока не заменит в котлах текущие трубки:

— Я понимаю, что без лишних узлов нам не выдержать гонки с отличными «ходоками» адмирала Траубриджа...

Предварительно погасив огни, таяко дыша соплами воздуходувок, германские крейсера медленно перетянулись в Мессину. Французская эскадра адмирала Ляпейрера не могла выставить против «Гебена» достойного соперника, но Траубридж держал на Мальте три крейсера, способных сообща разделаться с «Гебеном», хотя за один бортовой залп он выбрасывал сразу 3260 килограммов рвущейся стали...

В кают-компании Сушон вполне здраво рассуждал:

— Уайтхолл способен усилить Траубриджа хотя бы еще одним крейсером, и тогда от нашего могущества останется на дне моря паршивая куча ржавеющей стали. Италия, союзная нам, страшится войны, испытывая давнее отвращение к Габсбургам, угнетавшим ее. Бойтся войны с Россией и Турция, не раз уже битая греками и славянами. Сейчас многое зависит от решения первого лорда британского Адмиралтейства...

Таковым и был в ту пору Уинстон Черчилль.

— Адмирал Сушон, — говорил он, — не такой уж глупец, чтобы протискиваться через Гибралтар, и мы не позволим ему это сделать, ибо, усиливая флот Открытого моря кайзера, «Гебен» и «Бреслау» представят несомненную угрозу флоту нашей метрополии. Самое лучшее — открыть перед Сушоном лазейку на восток, загнав немцев в Черное море, и пусть с крейсерами кайзера возьятся русские... Для нас, англичан, двойная выгода от такой комбинации: мы обезопасим подступы с моря к Суэцу, а русский флот, связанный единоборством с «Гебеном», не осмелится появиться на берегах Босфора!

Траубридж получил приказ: издалека следить за германскими крейсерами, но атаковать их не следует. Франция же тем временем совсем не думала о «Гебене» и «Бреслау», занятая активной переброской резервов из Алжира в Марсель, чтобы спешно укрепить свой фронт на Марне свежими дивизиями.

1 августа «бикфордов шнур», запаленный от выстрела в Сараеве, дотлел до конца, и германский посол граф Пурталес от имени великой Германии объявит войну народам великой России. Теперь на Певческом мосту, где располагалось министерство иностранных дел,

сразу ощутили, что возня союзников с «Гебеном» и «Бреслау» может отозваться залпами большой мощи в наших водах. Министр Сазонов даже не скрывал государственной тревоги, говоря озабоченно:

— Срочно! Нашим послам усилить политическое давление в Лондоне и Париже, дабы союзные флоты не позволили германским кораблям прорваться в Дарданеллы, где их появление сразу же придаст Энверу-паше излишние военные амбиции.

Впрочем, военный министр Энвер-паша давно укрепил эти амбиции еще в Берлине, а свои усы он закручивал на манер германского кайзера. Еще до войны, чтобы оплатить покупку кораблей для турецкого флота, он нагло лишал чиновников жалованья, а женщин заставлял продавать свои волосы. Политическая ось Стамбул — Берлин была выкована заранее, и кайзер обещал пантюркистам Тифлис на Кавказе, Тевриз в Персии, Каир в Египте. Так что Сазонов недаром опасался турецких амбиций.

— Мы, русские, сознательно бережем нейтралитет Турции, как провинциальная гимназистка бережет свою невинность, — говорил он. — Но «Гебен» может спутать все карты в той большой игре, которая называется Большой Политикой...

Возможно, ибо один «Гебен» сразу в два раза увеличивал мощь всего турецкого флота. В здании у Певческого моста состоялась деловая беседа с офицерами Главного морского штаба. Чиновники МИДа еще судили о лирике союзнической чести и рыцарской верности договорам, но моряки без лишних эмоций сразу предупредили Сазонова, что Черноморский флот не имеет таких мощных кораблей, чтобы расправиться с «Гебеном»:

— Можно понять французов, озабоченных перекачкой дивизий из Алжира в Европу, но... О чем думают в Лондоне? Первый лорд Адмиралтейства, по сути дела, повесил замок на ворота Гибралтара, не выпуская немцев на просторы Атлантики, его крейсера стерегут подходы к Адриатике, чтобы Сушон не укрылся в австрийском Триесте. Зато сэр Черчилль выставил перед «Гебеном» и «Бреслау» широко открытую мышеловку, украсив ее куском жирного сала... Таким лакомым куском для адмирала Сушона будет являться прорыв в наше Черное море!

Сазонов закончил консилиум, поставив диагноз:

— В правящих кругах Турции еще сильна партия разумных людей, желающих сохранить нейтралитет, и Турция вряд ли рискнет воевать против нас заодно с немцами. Однако появление германских крейсеров в Босфоре может послужить провокацией для того, чтобы партия войны победила сторонников мира...

Указывая на опасность «Гебена» и «Бреслау», Сазонов заклинал правительства Англии и Франции: «Мы считаем очень важным для

нас, чтобы прохождение (в Босфор) этих двух кораблей было предотвращено вами... силой!»

«Гебен» и «Бреслау» легко распарывали встречные волны.

Сушон, деловито-сосредоточенный, постукивал пальцами по светлым табло тахометров, в колебании стрелок которых указывалось число оборотов гребных валов. При этом он заметил:

— В котлах все течет по-прежнему, и как бы нам не пришлось делать капитальный ремонт в Стамбуле...

Берлин каждый час тревожил Сушона радиogramмами срочных депеш, и каждая из них противоречила другой. Адмирал пускал их бланки на ветер, жарко обвевающий крейсера от желтых берегов близкой Африки.

— Сейчас, — говорил адмирал на мостике, — в Берлине каждый прыщ возомнил себя стратегом морской войны. Сидящие на берегу возле каминов любят давать советы тем, кто болтается в море. Я не решил, что делать, но я буду делать лишь то, что подскажет мне интуиция и... может быть, сам Тирпиц!

Мир уже трещал по всем швам, а эфир напоминал свалку позывных и ответных сигналов. В этом чудовищном хаосе шумов и разрядов французские радисты Туниса умудрились выловить едва попискивавшие, словно придавленные мыши, переговоры «Гебена» с «Бреслау». Адмирал Ляпейер выслушал доклад:

— Немцы шляются где-то близко, — предупредили его. — Но установить их точные координаты невозможно...

Ляпейер держал флаг на дредноуте «Курбэ», который плоским блином разлегся посреди безмятежного Тулонского рейда.

— Хоть кто-нибудь, — взывал он, — может ли четко дать мне ответ, началась ли война Франции с Германией? Париж советует мне ловить «Гебена», но при этом умники Парижа указывают ловить его только при открытии боевых действий на море.

— Россия уже вступила в войну, — отвечали адмиралу.

— Так это русские: им всегда что воевать, что мириться — один черт, лишь бы они были первыми... Срочно свяжитесь по радио с англичанами на Мальте, что они скажут?

— К великому сожалению, — отвечали адмиралу, — Париж еще не дает нам согласия на вскрытие пакета с секретным радиокodem для связи с нашими союзниками...

В ночь на 3 августа «Курбэ» покинул Тулон. За кормою флагмана, будто на привязи, тащилась эскадра французских кораблей, которые двигались к берегам Алжира. В это время Ляпейер был уверен, что немцы маневрируют возле Мессины, но англичане считали, что Сушон уже вырвался в открытое море.

В салоне флагманского «Индомитэбла» адмирал Траубридж вникал в суть директивы, полученной от Черчилля, который указывал ему: «Ваша цель — это “Гебен”. Следуйте за ним, куда бы он ни пошел... война, видимо, неизбежна». Траубридж размышлял вслух перед Кеннеди, командиром «Индомитэбла»:

— Сушона видели огибающим Сицилию с юга. Конечно, он побаивается быть запертым в Адриатике на австрийских базах и, возможно, станет прорываться в Атлантику — даже под пушками Гибралтара... Не так ли, дружище?

— Сейчас, — хмуро отреагировал Кеннеди, — важно знать позицию Италии: останется ли она третьим, который хохочет, когда двое дерутся? Кому, нам или своим союзникам, она откроет ворота Мессинского пролива для прохода кораблей?

Впрочем, сама Англия еще хранила свой гордый нейтралитет. А на французской эскадре по-прежнему даже не знали, что Германия уже объявила войну Франции. На рассвете 4 августа адмирала Ляпейрера не слишком-то вежливо разбудили:

— Срочная радиограмма из Алжира!

— О боже, что там еще стряслось? Читайте.

— «Гебен» уже громит своим главным калибром гавань Филиппивия, а «Бреслау» обстреливает наш порт Бона...

На «Курбэ» подняли пары, заторопившись на запад, но там немецких крейсеров уже не было. Зато их обнаружили англичане, и при виде «Гебена», спешащего на восток, в рубках «Индомитэбла» возникло немалое смятение. Кеннеди спрашивал:

— Между нами войны еще нет, и давать ли мне салют, дружески приветствуя германского адмирала Сушона?

Траубридж через оптику дальномера оглядел серые тени немецких крейсеров, грузно летящих в сторону Сицилии:

— Если мой коллега Вилли Сушон не поднял на «Гебене» своего адмирального флага, значит, и нам давать салют не надобно. Срочно радируйте в Лондон, что я уже повис «на хвосте» у Вилли и выпускать его из своих рук я не собираюсь...

Уайтхолл отвечал ему так, что от удивления можно было упасть с мостика: «Гебен» советовали задержать, сделав ему предварительное предупреждение. Кеннеди возмутился:

— «Гебен» — это же не домашняя кошка, чтобы хватать ее за шкуру! Предупреждение возможно только бортовым залпом, на который он ответит нам тем же, а тогда... война?

Эфир над Средиземным морем снова вздрогнул — Черчилль повторно радировал, что крейсера Сушона лучше оставить в покое до 5 августа, когда британский кабинет собирается объявить войну Германии. Сигнальная вахта доложила Траубриджу:

— Германские крейсера выбросили из труб хлопки густого дыма — буруны увеличились... уходят! Да, на всех оборотах винтов «Гебен» и «Бреслау» отрываются от нас...

Ясно, что Сушон рвался прямо в Мессинский пролив, куда англичане боялись соваться. Траубридж спокойно досмотрел, как в синеве моря утонули мостики и трубы немецких кораблей:

— Нам тоже отходить малым ходом... на запад.

Потеряв визуальный контакт с Сушоном, Траубридж отправил свои крейсера бункероваться углем в Бизерту, а легкий крейсер «Глостер» послал патрулировать возле Мессинского пролива. Между тем Сушон уже прибыл в Мессину, где комендант порта напомнил ему, что Италия остается нейтральной:

— Моему бедному народу даже в мирные дни не хватает на макароны, так зачем нам ввязываться в ваши дела? Будет лучше, если вы уберетесь отсюда в двадцать четыре часа.

— Мы обещаем вам это, — успокоил его Сушон...

Ночью он был разбужен шифровкой от гросс-адмирала Тирпица: СЛЕДОВАТЬ В ДАРДАНЕЛЛЫ. Правда, Турция, еще не завершив мобилизации, прикидывалась сугубо нейтральной, но маска миролюбия сама упадет с лица султана, когда под окнами его гарема с грохотом положат якоря мощные германские крейсера... Сушон между тем не скрывал своего беспокойства.

— Меня, — говорил он, — сейчас тревожит самый насущный вопрос: куда делся Траубридж? Итальянские рыбаки болтают, будто его крейсера стерегут нас возле берегов Греции, дабы не допустить нас в Адриатическое море. Охотно верю, что это похоже на правду, но тут возможны всякие вариации на извечную тему: как полизать меду, чтобы тебя не покусали пчелы?

— В любом случае, — твердо решил Сушон, — гросс-адмирал Тирпиц прав: нам открыта дорога только на восток...

Покинув Мессину, «Гебен» и «Бреслау» ринулись на прорыв, их бронированные форштевни расталкивали сумятицу волн.

— Горизонт чист! — докладывали сигнальщики.

— Это подтверждает мое мнение, — говорил Сушон, — что Траубридж не желает связываться с нами... Кажется, его не будет беспокоить лишь наше движение на восток.

Один только легкий крейсер «Глостер», неожиданно появившись из утренней мглы, никак не отлипал от германских крейсеров, постоянно радируя на Мальту о своих маневрах. Конечно, в немецких экипажах он вызывал лишь жалкое презрение:

— Врезать бы ему из главного калибра, чтобы отстал... Нашему «Гебену» достаточно рыгнуть, чтобы эта английская шавка упала в обморок, задрал вверх лапки...



Однако доблестный «Глостер» сам взрезал снаряд под ватерлинию «Бреслау», и тогда вмешался «Гебен», всей броневой мощью вставая на защиту слабого приятеля. Услышав рычание его орудийных башен, «Глостер» увильнул в сторону, тем более что Траубридж радировал ему: «Не рисковать». А в рубках «Гебена» штурмана уже раскладывали карты Эгейского моря:

— Стоит проскочить мыс Матапан, и все тревоги этой сволочной жизни останутся далеко за кормой, а мы попадем в блаженную страну восточной неги и пылких одалисок...

Вечером 10 августа турецкий султан Мехмед V из окон своего дворца разглядел серые махины «Гебена» и «Бреслау».

---

Русский посол в Стамбуле заявил великому визирю:

— Согласно международным правилам корабли воюющих держав могут находиться в нейтральных портах, каковыми являются ваши, не долее одних суток, после чего Россия вправе требовать от вас разоружения немецких кораблей, интернирования их экипажей.

На этот демарш дипломата визирь султана отвечал:

— Все верно! Но ваш протест, господин посол, попросту неуместен, ибо пришедшие к нам «Гебен» и «Бреслау» уже давно куплены Турцией для нужд своего флота...

Вслед за этим эскадры Англии и Франции блокировали выход из Дарданелл в Эгейское море, словно запечатали пробкой бутылку; тем самым они давали понять Сушону, что ему лучше искать легких побед на водах Черного моря. Сазонов в эти же дни имел неприятную беседу с английским послом Бьюкененом:

— Не скрою, нам будет нелегко объяснить русской общественности, каким образом ваш могучий флот позволил крейсерам Германии благополучно проскочить в Дарданеллы, создав угрозу на юге России. Наши морские круги тоже не понимают этого!

Бьюкенен отвечал, что для него остается непостижимым странный, почти нелепый прорыв немецких крейсеров:

— Осмеливаюсь думать, это случайное совпадение самых непредвиденных обстоятельств, что никак не может опорочить незапятнанной чести флага королевского флота.

— Возможно, — кивнул Сазонов, как бы нехотя соглашаясь с послом. — Но для нас, русских, несомненно одно: Россия обретает на Черном море опасного противника, а флот султана отныне правильнее именовать германо-турецким...

Англия была возмущена, газеты открыто винули Черчилля, а крикливые ораторы в лондонском Гайд-парке призывали:

— Адмирала Траубриджа пора тащить на виселицу...

Но сначала был награжден орденом Бани командир крейсера «Глостер» («за дерзость и самообладание»), затем потянули к ответу

и адмирала Траубриджа. Суд британского Адмиралтейства жесток. За время своей очень долгой истории он приговорил к повешению множество адмиралов за нарушение ими инструкций, хотя именно эти нарушения и приводили Англию к победам. Но Траубриджа трибунал оправдал, ибо, оказывается, секретные инструкции Адмиралтейства им нарушены не были...

Между тем Энвер-паша настырно, почти с мольбою просил Сушона принять командование над всем турецким флотом:

— Чин вице-адмирала вам заранее обеспечен, только устройте мне замечательный повод для нападения на Россию...

С гафелей крейсеров были спущены германские флаги, на мачты взметнулись турецкие флаги с полумесяцем. В кубриках немецкие матросы, хохоча во все горло, толпились возле зеркал, примеряя на свои головы красные мусульманские фески.

— Ого! — веселились они. — Мы так прекрасно выглядим, что теперь уже не стыдно показаться на бульварах Одессы...

Турция еще колебалась между войной и миром, но Берлин давил на Сушона, а Сушон давил на турок:

— Я пришел сюда не ради того, чтобы любоваться синевой Босфора. Каждый день, проведенный здесь без пользы для общего дела, я считаю позором для себя... и для вас!

Теперь Сушон угрожал не только черноморцам — калибр его орудийных башен устрашал и султана, говорившего визирю:

— Боюсь, если мы не объявим войну России, этот Сушон оставит от моего Серала груды дымящихся головешек...

Судьба войны отныне целиком находилась в руках Сушона, который сознательно провоцировал Турцию на войну:

— Если войны нет, ее надо сделать. Уверен, что два-три хороших залпа по крышам Одессы — и Турецкая империя сама свалится в войну, как слепец проваливается в колодец...

22 сентября Сушон получил пакет от Энвера-паши, который указывал, что всякое терпение иссякло: «Добейтесь господства на Черном море, найдите русский флот и атакуйте его без объявления войны...» Сушон сразу оживился:

— На турецкие эсминцы «Тайрет» и «Муавенет» посадить немецкие экипажи, но флаги нести русские. Огней не гасить!

В три часа ночи они ворвались в гавань Одессы, торпедируя русские корабли и обстреливая спящий город. Одновременно с этим «Гебен» обрушил снаряды на Севастополь, но отполз в сторону, получив три ответных снаряда с береговых батарей. В ту же трагическую осень «Гебен» огнем с моря разрушил вокзал и порт в Феодосии, а крейсер «Бреслау» бомбардировал Новороссийск. Немецкие снаряды рвались на улицах Поти...

Английский посол Бьюкенен только пожимал плечами:

— *Casus belli!* Это формальный повод к войне...

В ноябре черноморские броненосцы вступили в открытый бой с «Гебеном» у мыса Сарыч. «Гебен» получил прямые попадания в корпус, в команде было столько убитых и раненых, что Сушон, прикрываясь «шапками» дыма, счел за благо ретироваться. Но скоро отомстил обстрелом Батуми. Однако в конце года черноморцы с ним расквитались, поставив мины по его курсу, и флагман турецко-германского флота дважды содрогнулся при взрывах, после чего и потащился в ремонт, надолго выбитый из игры...

Под конец войны и в канун революции русские моряки все-таки загнали «Гебен» и «Бреслау» в теснину проливов, где они и прятались, словно крысы в норе, заливая свои раны.

...Адмирал Вильгельм Сушон скончался в 1946 году, пережив гибель монархии Гогенцоллернов и крах гитлеровского режима. О нем все забыли... Я вспомнил о Сушоне, когда писал роман «Моонзунд»: ведь осенью 1917 года эскадра Сушона прорывалась к нашему Петрограду. Но это еще не конец истории.

---

Уходящий от нас XX век оказался слишком трудным для каждого человека, и не все секреты его, военные и политические, расшифрованы до конца. Пусть читатель не посетует, если я снова вернусь к себе — крохотной песчинке, затерявшейся в стихийном хаосе грандиозных событий.

Недавно я задал себе вопрос: что я делал в феврале 1942 года? В ту пору я умирал от голода в блокированном Ленинграде, не имея даже пайки хлеба по карточкам, зато в конце месяца меня щедро «отоварили» 25 граммами какао в порошке... Я выжил назло всем чертям! Я выжил, еще не зная тогда, что именно в феврале 1942 года «стратегическая ошибка» Уайтхолла получила скандальное продолжение, о чем я тоже писал в своей документальной трагедии «Реквием каравану PQ-17».

Да, это был скандал, весьма схожий с тем, какой случился в начале первой мировой войны. Академик И.М. Майский, тогдашний посол в Лондоне, писал, что «два крупных германских военных судна “Шарнхорст” и “Гнейзенау”, отремонтировавшихся в Бресте (французском), прорвавшись через Ла-Манш и Па-де-Кале, ушли в Германию. Англичане были потрясены как необыкновенной дерзостью немцев, так и поразительной близорукостью собственной обороны...». Британское Адмиралтейство, столь гордое своими традициями и умением многое предвидеть заранее, совершило, казалось бы, непростительный промах. Гитлеровские крейсера удачно проскочили под самым носом английской брандвахты и укрылись в гаванях своего «рейха». Англичане опять были разгневаны, требуя наказать виновных.

А кого наказывать? Во главе британского кабинета стоял все тот же Уинстон Черчилль. «Он выглядел плохо, был раздражителен, обидчив, упрям. Депутаты (парламента) были критичны, взвинчены. Встречали и провожали Черчилля плохо», — писал Майский, невольно придя к выводу, что прорыв крейсеров вызвал правительственный кризис.

Но еще подозрительнее казался прорыв линкора «Тирпиц» в фиорды Северной Норвегии, где этот лучший линкор Гитлера растворился в заполярных туманах как грозное привидение. Бросивший якоря на стоянке в Нарвике, на самом краю Европы, линкор уже не являл собой столь зловещую угрозу для Англии, ибо вся его мощь была направлена против нашего Северного флота.

Чувствуете, как невольно смыкаются, будто копируя одно другое, события в двух мировых войнах? И в обоих случаях видна рука Черчилля, отводящего грозу от берегов Англии, чтобы осложнить тяготы войны для нас, для русских...

А ведь нам тогда было и без того невыносимо трудно: наши войска отступали, кровью писались первые страницы Сталинградской битвы. Северный флот не обладал тем могуществом, как английский, чтобы вступать в единоборство с «Тирпицем» и «Шарнхорстом», а именно эти две «большие дубины» Гитлера постоянно угрожали нам из фиордов Норвегии.

Дальнейшее хорошо известно. Летом 1942 года «Тирпиц» вышел на перехват союзного каравана, но был атакован нашей подводной лодкой К-21, после чего он надолго затаился в фиордах — на ремонте. Мне памятен и морозный декабрь 1943 года, когда из бухты Ваенга, где базировались наши эсминцы, ушла в море английская эскадра адмирала Фрейзера и вернулась обратно в Баенгу после того, как разделалась с одиноким «Шарнхорстом». Я не забыл заснеженные пирсы гавани, вдоль которых протянулись длинные ряды носилок, на которых стонали раненные английские моряки: они своей кровью расплачивались за политические «форсмажоры» своего правительства.

«Стратегические ошибки» британского Адмиралтейства пришлось исправлять совместными усилиями союзных флотов, и всей правды о коварстве Уинстона Черчилля мы, конечно, еще не знаем. Но злокозненная подоплека давних событий еще долго будет привлекать внимание историков флота и тех политиков, которые не разучились выискивать аналогии между тем, что было вчера, что есть сегодня, и тем, что может случиться завтра...

Будем внимательны к истории. Она — наш учитель!

# МИНИАТЮРЫ

## Полет шмеля над морем

Не так давно — в 1972 году — в США гастролировал наш Академический оркестр имени Осипова (американцы прозвали его «Балалайкой»). Во время исполнения «Полета шмеля над морем» Римского-Корсакова в зале возникло странное оживление. На коктейле, устроенном в Белом доме для наших артистов, к ним подошел чиновник госдепартамента и сказал, что волшебный «Полет шмеля» напоминает ему очень многое.

Да, в Америке еще не все забыли тот гибкий маневр русской дипломатии, который для американцев невольно ассоциировался с тревожной музыкой «Полета шмеля над морем». Римский-Корсаков заканчивал оперу «Сказка о царе Салтане» на самой грани XX века, когда США, уже разгромив флоты Испании на Кубе и Филиппинах, вышли в разряд ведущих морских держав. А в памяти композитора еще не угасли впечатления юности, суровое плавание к дальним берегам, когда русские эскадры отправились в океан, чтобы помочь Линкольну в его трудной борьбе...

Авраам Линкольн — рост 193 см, тело страшной худобы, лицо словно вырублено из дерева, руки и ноги длины непомерной. Юмористы писали, что президент является отпрыском счастливого брака портового крана со старой ветряной мельницей; впрочем, как отмечалось в газетах, он здорово похорошел после того, как переболел оспой. На митингах Линкольн охотно отвечал на любые вопросы своих избирателей.

- Какой длины должны быть ноги у нормального человека?
- Чтобы касаться ими земли, — следовал ответ.
- Неужели президент сам чистит себе ботинки?
- А кому же еще он должен чистить ботинки?
- Авраам, завтра я зайду к тебе в Белый дом!
- Заходи, ты долго там не задержишься...

Объявив войну рабству в Южных штатах, Линкольн вызвал ненависть королевской Англии, помогавшей рабовладельцам. Наполеон III уже начал интервенцию в Мексике, Линкольн постоянно ощущал угрозу вмешательства Лондона и Парижа. Тогда он лично обратился к русскому канцлеру А. М. Горчакову; письмо президента к князю не уцелело, зато сохранились слова, которые Горчаков просил передать Линкольну через его посла:

— Ваша страна еще только появилась на свет, когда русские стали у вашего изголовья, как ангелы-хранители, во времена первого президента Вашингтона. Нам не нужны Северные и Южные штаты — нас устроят только Соединенные Штаты Америки!

Американским послом в Петербурге был тогда поэт Байярд Тэйлор, известивший Линкольна: «Спокойный убежденный тон, каким говорил князь Горчаков, произвел на меня впечатление, что его словам можно верить». Линкольн с надеждой взирал на Россию, где жил народ по размаху души чем-то сродни американскому, а рассказы о просторах России напоминали президенту, бывшему лесорубу, его блуждания в прериях Дикого Запада. Когда все страны от Вашингтона отвернулись, а дела на фронте складывались неудачно, Линкольн решил опереться на традиции давней дружбы США и России... Он не ошибся в этом!

В петербургской газете «Голос» скоро появилась статья некоего «К», который оповещал русскую публику, что война с Англией неминуема и потому русский флот надо загодя вывести в океаны, где он мог бы вести крейсерскую войну с англичанами и французами. Этот загадочный «К» даже указывал места базирования русских эскадр — Нью-Йорк и Сан-Франциско; опираясь на эти базы, флот России способен оказать моральную и военную поддержку американцам. Князь Горчаков ознакомился с этой статьей, взвесил все обстоятельства:

— Я терпеть не могу морской качки с порцией рома, но эта бредовая, казалось бы, идея начинает мне нравиться!

Его вызвал к себе Александр II; в кабинете царя уже сидел рослый капитан-лейтенант лет тридцати, не больше.

— Это и есть тот самый «К», что смутил спокойствие политиков мира, — сказал император. — Познакомьтесь: Николай Васильевич Копытов, командир фрегата «Пересвет»...

Затем император спросил: что слышно из Англии?

— Лондон уже переправил войска в Канаду. Грешно не учитывать, — докладывал Горчаков, — что Южные штаты — главный поставщик хлопка для текстильных фабрик Манчестера, который сейчас терпит убытки, и английские капиталисты много бы дали, чтобы отправить президента Линкольна в дремучий лес — снова рубить дрова! Не вмешиваясь в войну между штатами, — досказал князь, — мы способны оказать помощь Линкольну.

— Если об этом никто не будет знать, — вставил Копытов...

Была весна 1863 года, и юный гардемарин Николенька Римский-Корсаков служил на клипере «Алмаз», готовом к походу. Другу Цезарю Кюи он писал: «Авось что-нибудь сочиню под влиянием духоты в каюте, свиста ветра в снастях и ругательств... вот опять машина постукивает — моя единственная музыка!»

Неслышно растаяла в Тихом океане Сибирская флотилия адмирала Попова, из Кронштадта бесшумно снялась с якорей эскадра адмирала Лесовского. О том, куда идут корабли, знали сам император, канцлер Горчаков, морской министр Краббе и капитан-лейтенант Копытов (наверное, знал и президент Линкольн). Но гардемаринам было не-

известно, какой проложен курс, и будущий композитор мог только вслушиваться в мелодию океана, в вибрирующие звуки корабельных мачт — и не отсюда ли родился потом тревожно звенящий напев «Полета шмеля над морем»?

Все делалось экстренно-спешно, строго секретно.

Командиры кораблей получили пакеты, вскрыть которые нельзя до особого распоряжения. Чтобы запутать шпионов, экипажи не приняли даже свежей провизии. Довольствовались лишь трехмесячным рационом для внутреннего плавания (солонина, горох, сухари, пшено; водка для матросов и коньяк для кают-компаний). Адмирал Степан Лесовский был скрытно доставлен на эскадру и адмиральского флага даже не поднимал. Шли без лоцманов и огней, обогнув Англию с севера; в открытом море последовал приказ флага: «Вскрыть пакеты». Только тогда командам сообщили, что идут в Америку ради демонстрации силы, ради солидарности с политикой Авраама Линкольна... Для экономии угля Атлантику пересекали под парусами, держа орудия в боевой готовности. Сухари быстро зачервивели; матросы, стуча сухарями по столу, вытрясали из них червяков, потом ели. Противно, но ничего — скоро привыкли. Однако в экипажах возникла цинга. Мертвых выбрасывали за борт десятками. Хоронили в море покойников, но... шли!

Участники экспедиции потом рассказывали: умирали большей частью люди неграмотные, а те, что грамотны, много читали, в чтении отвлекая себя от гиблых настроений, таких и смерть не брала. Римский-Корсаков штудировал в океане нотные записи Глинки и Шумана, а в письмах к матери он признался: «Сидим на солонине в разных видах: то горох с солониной, то солонина с горохом». Мичман Ипполит Чайковский (брат композитора) тоже плыл на эскадре Лесовского, и потом он рассказывал, как браковали гнилое мясо:

— Если доктор, пробуя его, проглатывал, значит, есть можно, если выплевывал — тогда летела за борт и вся бочка!

На 62-й день пути, отмеченного многими жертвами, Балтийская эскадра вышла к устью Гудзона, где раскинулся бедный поселок, а в нем была таверна — с пивом и бифштексами. Что тут сделали моряки с пивом и бифштексами — описывать не стоит. Но здесь же из газет узнали, что Горчаков отбил все воинственные демарши Англии с Францией и война России не объявлена. Больных сразу отвезли на берег Нового Света, чтобы они полежали на травке, а корабли продезинфицировали, устроив варфоломеевскую ночь крысам и тараканам. После чего, уже принаряженные, корабли перетянулись в гавань Нью-Йорка...

Конечно, репортеры домогались выпытать у адмирала Лесовского, каковы цели прибытия русской эскадры.

— А я и сам не знаю, — хитрил адмирал. — У меня имеется взятый из Петербурга пакет за семью печатями из красного сургуча. Если

ваш президент скажет мне: «Ломай печати!» — тогда и я буду знать, что делать дальше...

Все это наводило на мысль, что между Петербургом и Белым домом существовал тайный договор, возможности которого, очевидно, неограничены, а вскоре и сам Авраам Линкольн ощутил, что кольцо блокады постепенно разжимается...

Американский народ оценил подвиг моряков России!

«Каждый янки считал необходимым остановить нас, поднять правую руку и назвать ее «Russia», затем, подняв левую, назвать ее «Атегиса», хлопком соединить обе ладони в пожатье, потом потрясти ими для вящей крепости изображения русско-американского союза» (я цитирую Ипполита Чайковского). Началось бурное паломничество американцев на русские корабли — все, начиная от полотера-негра и кончая женой президента, хотели побывать в гостях: «Не прошло много минут, чтобы к эскадре не подплывал пароход, полный нью-йоркских леди и джентльменов, приветствовавших нас криками «ура», махавших платками и шапками, мы отвечали им тем же...»

Европа, подозрительная к России, была просто ошеломлена дерзновенным рейдом русского флота, который вдруг оказался в гаванях Гудзона, в ослепительной бухте Сан-Франциско. Гладко выбритым янки импонировали густые бакенбарды русских офицеров, боцманы, заросшие бородами, и усатые матросы. Русских часто фотографировали, «они всюду вносили заряд веселья, много ели и пели», сообщалось в газетах. В письмах на родину наши моряки писали, что «здесь с нами нянчатся». Их возили на экскурсии в Филадельфию, Бостон и Балтимор — на поездах, украшенных цветами и флагами, бесплатно содержали в дорогих отелях, за обеды не брали с них денег. Американский поэт Карл Сэндберг позже вспоминал, что однажды трех подвыпивших русских матросов притащили в полицию, где и зарегистрировали под такими именами: «Russia № 1, Russia № 2, Russia № 3». Утром их повели в суд, чтобы приговорить к штрафу, но прокурор неожиданно взял на себя роль адвоката:

— Ничто не нарушит дружеских отношений между великой страной Востока и великой страной Запада! Посмотрите на этих ребят из России: какие благородные лица, как много неподдельной гордости сверкает в их глазах!.. Я присуждаю все «три номера» вынести из зала суда на руках публики, которая и донесет их на себе до первой таверны, чтобы они пропустили по стаканчику виски за дружбу наших великих народов.

Адмирал Лесовский был мужчина сердитый, с ним лучше не шутить, гардемарину Римскому-Корсакову он приказывал играть перед публикой краковяк из глинкавской «Жизни за царя».

— Да у меня пальцы отвыкли от рояля, не могу.

— Как отвыкли, так и привыкнут... Играйте!

Чтобы пресечь гулянки, почти неизбежные в портах с дружественным населением, Лесовский издал приказ: всех запоздавших с берега вешать на мачтах. Приказ имел губительные последствия, ибо честные



матросы, и не помышлявшие покидать родину, боялись вернуться на корабли. Ипполит Чайковский вспоминал, что на пристань часто приходил пожилой боцман, не знавший, что ему теперь делать — быть повешенным или оставаться в Америке. «Имевший в Кронштадте жену и ребенка, он выбрал последнее и горько рыдал, обнимая своих земляков, прощаясь с ними на веки вечные». Но один наш матрос, не явившись к сроку на корабль, поступил хитрее. Он завербовался в Потомакскую армию Линкольна, попал в плен к южанам, из плена бежал, снова сражался против рабства, был ранен, вылечился, получил медаль из рук самого генерала Гранта, и все это он успел проделать в рекордный срок — за один лишь месяц. Потом заявился на свой корабль, доложив адмиралу Лесовскому:

— Хорошо погулял. А теперь... ну что ж, вешайте!

Лесовский на глазах у всех расцеловал парня:

— Повешу! «Георгия» тебе на шею...

Коалиция врагов распалась, невольно уstraшенная единением двух держав — России и Америки; эскадры могли отплывать домой. В эти дни газеты писали: «У обеих стран есть огромные, малонаселенные, но плодоносные равнины; есть неистощимые ресурсы; есть, наконец, великая, еще неизведанная будущность и непоколебимая вера в нее!» Когда же русские корабли вернулись домой, посол США устроил банкет для офицеров.

Текст речи американского посла сохранился:

— Со времен Екатерины Великой и с часа нашего рождения как нации мы всегда были друзьями... Наша дружба не омрачена дурными воспоминаниями. Она и будет продолжаться при соблюдении твердого правила: НЕ ВМЕШИВАТЬСЯ ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА ДРУГ ДРУГА... Преимущества таких отношений могут стать образцом политики для правительств всего земного шара. Тогда, господа, сами собой прекратятся огромные затраты на создание враждебных флотов и снабжение многочисленных армий. Все это будет заменено процветанием нашей мирной промышленности, всемирным братством и подлинной цивилизацией.

Сказанные в 1864 году, эти слова звучат и сегодня!

Линкольн победил, но уже предвидел иное.

— В недалеком будущем, — рассуждал он, — произойдет опасный перелом. Приход к власти корпораций повлечет за собой эру продажности, и капитал станет утверждать владычество над демократией, играя на самых темных инстинктах масс до тех пор, пока все национальные богатства не сосредоточатся в руках немногих — и тогда конец демократии и равенству!

14 апреля 1865 года в Америке прогремел салют в честь окончания Гражданской войны, а вечером в театре «Форд» раздался выстрел, поразивший пророка. Линкольна, осыпанного белым цветением горького

миндаля, везли через всю страну, тысячные толпы стояли на всех полустанках, фермеры скакали на лошадях за траурным поездом, в седлах рыдали мужественные ковбои. Под тяжестью народных толп в городах с хрустом проседали мостовые и тротуары. Американцы, возлюбившие делать доллары, вдруг бросились делать стихи. Одна только «Чикаго трибюн» за три дня получила 160 стихотворений, которые начинались одинаковой строчкой: «Гремите, траурные колокола...» Но дело Линкольна еще не умерло, и Белый дом решил ответить России «визитом дружбы». Эскадру кораблей возглавил личный друг покойного президента — Густав Фокс; монитор «Миантономо», на котором он плыл в Россию, был самым уродливым чудом техники XIX века: над волнами торчали одни лишь трубы и башни с пушками. Когда монитор, весь в тучах дыма, добрался до Англии, первым вопросом с берега было восклицание:

— Как вам удалось приплыть на этом противне?

Балтика встретила янки теплым дождем. Все пристани Кронштадта были забиты народом, еще с моря слышались овации, а оркестры играли «Янки дудль дэнди». Командиры эскадры поступили на попечение хозяев, кормивших и поивших американцев «невозбранно» (!), а Фокс с офицерами был препровожден в Петербург, где их ожидал Горчаков; он сказал, что гибель Линкольна — непоправимая потеря; хотя их разделяли Сибирь и океан, но они хорошо понимали друг друга. Затем гостей отвели на Царицын остров и показали им мощный дуб. Все сняли шляпы. Этот дуб на русской земле был выращен из желудя того самого дуба, что зеленел над могилою Джорджа Вашингтона.

Черета столичных банкетов была прервана отъездом в Москву, и только тут янки поняли, что такое русское гостеприимство. Москва для них началась со станции Любань, где местные жители встречали их варварски обильным угощением. От самой Любани оркестры играли уже не переставая. Крепкие на выпивку янки если и не сломались, то уже надломались. Гостей поместили в отеле Кокорева напротив Кремля. Уже изнемогшие от блинов с икрой и стерляжьей ухи с кулебяками, американцы отравились, как на виселицу, к столу генерал-губернатора. Там их встретили важные персоны в пунцовых камзолах, напудренных париках и шелковых чулках... Американцы кланялись, кланялись, кланялись! Но им сказали, что кланяться не надо — это ведь только лакеи. От губернатора гостей отвезли в Зоологический сад, где Фоксу был торжественно вручен диплом почетного члена «Общества акклиматизации животных».

Казалось, уже все! Сил больше не стало... Но тут подали коляски, чтобы ехать в село Кузьминское; американцев встречали мужики и бабы, а староста Ефим Гвоздев умолял их откусать. Наконец 16 августа гостей посадили на поезд, уходивший в Нижний Новгород, при этом наивный Густав Фокс выразил тщетную надежду на то, что кормить больше не станут:

— Тем более что поезд прибывает ровно в полночь...

Выяснилось, что русские обедают и по ночам. Вокзал был пышно иллюминирован. Город не спал; не только вокзальная площадь, но и все ближние к вокзалу улицы были заполнены народом. Именитое купечество чуть ли не на коленях жалобными голосами умоляло американцев «откушать что Бог послал», при этом цыганский хор исполнял в честь Фокса «величальную»:

Выпьем мы за Фокса,  
Фокса дорогого,  
Свет еще не видел  
Мила-аго такого...

Нижний Новгород купался в душной пыли, по случаю ярмарки все были разряжены во все лучшее. Американцы сживали за столами вперемежку с персами, грузинами, татарами, армянами и якутами. Толстые купчины, торговцы зерном, воблой и арбузами, извинялись перед Фоксом, что не могут устроить разгул по-настоящему. Знаменитый балагур, актер Горбунов, кажется, подслушал, каковы были тосты на ярмарке:

— Господа американцы! Коли мы теперича лучшие друзья, так мы с вами при наших-то капиталах мост через Атлантический океан за четыре дня отгрохаем! Знай наших...

«Господа американцы» с трудом опомнились на пароходе «Депеша». Из посещения Нижнего они вынесли имя Кузьмы Минина, теперь в Костроме предстояло знакомство с Иваном Сусаниным. На пристани гостей поджидал хоровод костромских барышень, издали похожий на купу цветущих азалий; все девушки прекрасно владели английским языком. В этой глухой провинции Фокса и его спутников поразило богатое убранство в домах, уникальная сервировка столов и множество высокообразованных людей. Прodelав турне по Волге, гости скромно напились чаю в деревне — среди крестьян на покосе, которые от чистого сердца наташили им вареных яиц и бубликов. А в Твери их встречал чистенький старичок с медалью за Бородино: это был декабрист Федор Глинка, который и вручил Фоксу свою стихотворную поэму о давней дружбе русского народа с народом американским.

По возвращении в Петербург американцам было предложено «подкрепить свои силы скромным завтраком», а Фокса пригласили в аристократический Английский клуб, где заставили пообедать. Затем, по традиции клуба, в зале был погашен свет, помещение освещалось лишь фиолетовым пламенем горящей жженки... Князь Горчаков, орудя золотым половником, зачерпнул себе жженки вместе с пламенем и, держа пылающий кубок, похожий на факел, произнес речь на французском языке:

— Практические умы американцев могут теперь сами судить о России и русском народе после того, как вы увидели все своими

глазами. Я думаю, что Россия ничего не теряет при самом близком ее рассмотрении, даже если вам удалось заметить немало недостатков нашего неприхотливого быта... Расстояние округляет линии далекого горизонта, но лишь рассмотрение вблизи дает обстоятельное знание деталей. Говорят, что периоды мирного времени — это пустые страницы истории, но эти страницы не запятнаны людской кровью...

Свою речь он закончил словами доброй памяти о «великом гражданине Линкольне, павшем на дороге человеческой справедливости». 3 сентября американцы покидали Россию, на борт монитора «Миантономо» грузили русские подарки для библиотеки конгресса США: редкие книги, альбомы, атласы и карты...

Якоря были выбраны, и суровая Балтика накрыла американские корабли тоскливою сеткой осеннего дождика.

На следующий год Россию посетил как турист знаменитый писатель Марк Твен; он осмотрел руины героического Севастополя, отдыхал в нашей курортной Ялте. Писатель знал историю русско-американских отношений, и потому слова, сказанные тогда же Марком Твенем, не грех вспомнить и сегодня:

*«Америка многим обязана России, она состоит должником России во многих отношениях, и в особенности за неизменную дружбу в годы ее великих испытаний... Только безумный может предположить, что Америка когда-либо нарушит верность этой дружбы предумышленно-несправедливым словом или поступком».*

Правда! Кое-кому за океаном следовало бы помнить, что Америка еще никогда не спасала Россию, а вот Россия не раз приходила на помощь Америке — в самые кризисные моменты ее истории. В царствование Екатерины Великой, при зарождении нового государства за океаном, Джордж Вашингтон опирался на мощную поддержку России; именно мы, русские, помогли Аврааму Линкольну отстаивать принципы американской свободы и демократии, наши эскадры предотвратили возможную интервенцию...

Мы не станем считаться, кто и кому сколько должен!

Будем надеяться, что заветы дружественных традиций народов СССР и США снова воскреснут. И пусть «Полет шмеля над морем», исполненный на русских балалайках, отзовется не ревом стратегических ракет, а мощью американских оркестров, негритянскими блюзами и каскадами великолепных джазов...

Мы слушаем все и скажем: м о л о д ц ы!

## **«Как трава в поле...»**

Были сороковые годы — грозные, николаевские.

Духовная Академия столицы всегда считалась учреждением строгим, это вам не семинария в благодатной провинции, где бур-

саки выпьют и закусят соленым огурчиком. Учили крепко. Латынь, греческий, философия, история. Те академисты, что желали принять сан священника, обязаны были прежде жениться. Для этого они по гостям или танцам не таскались, на улицах не флиртовали, ибо у ректора Академии всегда находился готовый список невест — тоже из духовных семейств, выбирай любую.

В это-то время и закончил Академию некий Осип Васильев — из очень бедной, почти нищенской семьи, но парень удивительно умный и образованный. Его диссертация на звание магистра «О главенстве папы римского», писанная им на латыни, выявила большую глубину познаний в истории Церкви, ему стали прочить профессорскую кафедру. Но студент от кафедры отказался, говоря, что желает служить священником. Синод не возражал, от синодальных владык было ему авторитетно объявлено:

— Ладно. Ныне посольской церкви Парижа требуется как раз священник. Нынешний же отец Вершинский от старости в уме повредился: со своим попугаем все разговаривает, обзревая с ним философию Пифагора по трудам Генриха Риттера. Но прежде женись. Для того и поводидай ректора. Он всех невест в Питере знает...

Ректор предъявил Васильеву длиннючий список невест, которые, минует еще год-два, и перейдут в разряд «перестарков».

— Гляди в первый ряд, — указал он перстом. — Вот Евфимий Флеров, что священнодействует при церкви на Волковом кладбище. Сразу шесть девок на выданье. Езжай. Присмотрись...

Легко сказать — езжай, если до Волкова кладбища и своими-то ногами не ведаешь как добраться. Тьма египетская, заборы шатучие, дощатые мостки прыгают над лужами, словно клавиши у рояля, во мраке слышать посвист молодецкий, а будочников или дворников не дозовешься: дрыхнут, окаянные! Кое-как добрел Осип Васильев до кладбища, постучался в дом отца Флерова:

— Я из Академии... чтобы жениться. Срочно. Нельзя ли?

— Можно, — отвечал глава большого семейства. — Это мы споровим. Мигом. Вы присядьте. В ногах правды нету...

Стал он тут выкликать поименно: Анька, Санька, Лизка, Парашка, Дунька... — откуда ни возьмись так и сыпались, словно горох с печи, девицы на выданье, одна другой краше, и, глянув на жениха, все стыдливо закрывались от его взоров рукавами.

— Ну, — сказал отец Евфимий, — все тут мои, а чужих не держим. Выбирай любую, какая со спины поусядистее.

Осип Васильев тоже стыдился, говоря смущенно:

— Мне бы еще походить к вам — приглядеться.

Евфимий Флеров стал хохотать:

— Эва, чего захотел! К нам на кладбище-то ходить, так все мослы переломашь. Укажи сразу, какую надобно. Ткни в любую перстом — и волокни ее под венец.

— Мне бы такую, дабы в Париже не стыдно было ее показывать. В отъезд беру. Хорошее место предвидится... в Париже-то!

— А-а-а, вот оно што, — помрачнел отец Флеров. — В этаким разе надобно прежде выпить, чтобы потом тебе не расказывать...

Выпили и поговорили, обсудив во всех деталях каждую из шести невест. Когда Флеров побежал за второй бутылкой, Осип Васильев по зрелому размышлению остановил свой выбор на Аннушке, благо училась в пансионе Заливкиной и французский язык понимала. По тем временам дочерей священников почти не учили, считая, что и без ученья прожить можно, а вот кладбищенский поп шагал впереди своего времени, и девицы его даже танцевали, будто смолянки.

— Анюта лучше всех, — убежденно воскликнул академист, когда Флеров открыл бутылку. — О приданом даже не спрашиваю, ибо в Париже сулят мне жалованье изрядное... от посольства!

Сразу после свадьбы молодой благочинный с женою отбыли в Париж, а поспели туда как раз к революции, когда народ свергал короля Луи-Филиппа, на улицах возводились баррикады, окна пришлось затыкать подушками, из котрых по утрам вытряхивали пули, застрявшие в перьях. Под звуки выстрелов Анна Ефимовна без особой натуги, а даже с некоторой приятностью спешно родила первую дщерицу, а потом как пошли, как поехали — дочка за дочкой, только успевай святцы листать, чтобы имя достойное избрать ради крещения новорожденной. Версаль был, конечно, разграблен, и отец Осип по дешевке купил королевский сервиз с коронною маркировкой, из чашек сверженного короля супруги Васильевы по субботам теперь распивали кофеек, рассуждая:

— Надо же! До того наш царь невзлюбил революционную Францию, что даже посла своего отозвал. Ныне остался лишь поверенный в делах — граф Николай Киселев, мужчина добрый.

— Ты, Осип, жаловался ли ему, что живем худо?

— Да печалился. А что он может сделать... поверенный!

Посольская церквушка на рю Берри располагалась в частном доме, тесная и неудобная, иконостасик был бедненький; при церкви же была и квартира Васильевых, окна которой выходили на мощный двор, где росли ореховые и абрикосовые деревья — детям на забаву. Вне службы отец Осип носил наперсный крест под сюртуком, чтобы не привлекать внимания парижан; жена нарочно подстригала его очень коротко, священник носил цилиндр, никогда не расставался с тростью и лайковыми перчатками, внешне очень мало похожий на своих русских коллег. Васильев очень скоро сделался достаточно известен в духовном мире Парижа как блестящий оратор, часто выступавший на богословских диспутах в защиту догматов православия, и даже нашил себе немало врагов — после того как победил в споре иезуита Яловецкого; этот иезуит не забывал о позоре своего поражения и, кажется, только выжидал случая, чтобы отомстить молодому «схизмату»...

Васильев не раз доказывал графу Киселеву:

— Не стыдно ли, что великая Россия имеет в Париже церковь, размещенную в двух комнатухах, и это при том, что колония русских аристократов в Париже столь многочисленна. Разве станут уважать нас французы, если мы своего храма в Париже до сей поры не имеем — при том, что даже мусульмане мечеть имеют?

— Личные симпатии нашего императора, — отвечал Киселев, — издавна обращены к Берлину, а с Парижем он привык не считаться. Боюсь, Осип Васильевич, что давнее напряжение в политике двух великих держав приведет нас к войне с французами...

Жалованье у Васильева было достаточным, семья ни в чем не нуждалась, отец Осип даже откладывал, как водится, «на черный день». Анна Ефимовна, рожденная среди могил Волкова кладбища, поразительно быстро освоилась с парижской жизнью, но дома супруги говорили только на русском языке. Женщина исправно рожала только дочерей, словно по заказу, а чтобы девочки от колыбели освоили язык своей отчизны, Васильев выписал из России деревенскую девку; эта девка миглом научилась французскому, пила теперь не чай, а лишь кофе, по вечерам она бегала в театры смотреть мелодрамы с таким жестоким содержанием: она его полюбила, а он ее разлюбил... Ну как тут не разреветься? И возвращалась из театров каждый раз рыдающая навзрыд.

Иногда же с кошелкой в руках, одетая как француженка, ничем не отличаясь от парижанок, мадам Васильева сама навешала соседнюю лавчонку в конце улицы Берри. Однажды попросила нарезать ей ветчины для ужина. Француз отрезал два тонких, как бумага, ломтика, спрашивая: «Хватит?» Мало. Отрезал еще один ломтик с тем же вопросом. Опять мало. Лавочник потом резал, резал и резал, каждый раз спрашивая: «Хватит?» И так вот (с вопросами) накромсал для пощады целый... ф у н т.

— А-а, — догадался он, радуясь своей сообразительности, — у вас, наверное, сегодня вечером большой прием и вы, мадам, готовитесь принять много-много гостей...

Анне Ефимовне было стыдно сознаться, что этот фунт ветчины будет уничтожен вечером ею самой и мужем, а гостей она не ждет. Иногда мадам Васильева выводила восемь своих дочерей на прогулку — до парка Монсо и обратно. Все девочки в беленьких платьицах, в одинаковых прунелевых туфельках, все в одинаковых шляпках «а ля фурор», каждая младшая держалась за поясок старшей, идущей впереди, а сама мать время от времени раздавала им несерьезные «шпандыри», чтобы вели себя чинно и благопристойно.

Эту процессию однажды увидел тот же самый лавочник.

— А-а, — вмиг догадался он, — мадам учительница и вывела на прогулку школу своих малолетних учениц... Bravo!

Анне Ефимовне опять было стыдно сознаться, что она сама произвела на свет целую «школу», а в чреве ее уже колыхался следующий

плод, — дай-то ей Бог мальчика! Вот уж чем прославилась мадам Васильева в Париже, так это умением засаливать огурцы, и на французов эти огурцы всегда производили очень сильное и даже, я бы сказал, тревожное впечатление от встречи с «русским деликатесом». Париж, между прочим, был переполнен россиянами. Как правило, богатейшими аристократами. Многие осели здесь сразу после Венского конгресса, обзавелись своими домами, некоторые давным-давно перешли в католическую веру, иные даже забывали родной язык, вспоминая о России лишь в тех случаях, когда деревенские старосты задерживали выплату денег с того оброка, который они драли с крепостных. Захудалая церковь при русском посольстве, конечно, посещалась этими полуэмигрантами неохотно и то лишь от случая к случаю...

Все дети Васильевых, живущие интересами своих родителей, привыкли видеть на своем дворе такую обычную картину: возле металлических гробов часто сустились рабочие, которые запаивали эти гробы для очень дальней дороги, — так, забыв о родине, в ее великое материнское лоно возвращались все те, кто отслужил, отблудил и отплясал свой срок на праздничной чужбине.

Васильева однажды навестил пасмурный граф Киселев:

— Помните, о чем я вам говорил? Так именно и случилось. Наш император вкупе с его канцлером Карлушкой Нессельроде все-таки привели Россию к войне с французами, и я отказываюсь от своего поста. Дипломатические отношения уже прерваны.

— А как же я, Господи? — расплакался тут священник.

— Вас политика не касается. Вы остаетесь при русской церкви в Париже, где русские интересы отныне будет представлять саксонский посол барон Лео Зеебах, он же и любимый зятек нашего поганца Нессельроде, женатый на его дочери...

Впрочем, читатель, винить во всем Николая I тоже несправедливо. Стоило ему начать строительство солдатских казарм на Аландских островах в Балтийском море, как в Лондоне лорд Пальмерстон сразу же заявил, что эти казармы угрожают безопасности Великобританской империи. Возникшая война, поименованная «Крымской», прославила русского воина героической обороной Севастополя, но она — будем честны! — не вплела благоухающих лавров в викториальные венки былой русской славы.

А первый удар по России англо-французы нанесли не в Крыму, они всем флотом обрушились именно на эти злополучные казармы в Аландском архипелаге. Там и гарнизона-то было — кот наплакал, но союзники целый месяц утюжили защитников островов бомбами, высаживая десанты. Вместе с остатками гарнизона попал в плен и его начальник — Я. А. Бодиско (это дед по матери нашего известного писателя Сергея Минцлова, о котором только теперь стали иногда вспоминать). Генерала



Бодиско, угодившего в полон вместе с женой и детьми, французы разместили в гаврском «Отеле Великого Оленя», а его солдат спровадили на остров Экс, что расположен в устье реки Шаронны, — именно на этом острове Экс сдался император Наполеон, и отсюда он отправился на другой остров — Святой Елены, где и смежил свои завистливые очи...

— Ну, мать, — сказал Васильев своей верной супружнице, — вот и настал для нас «черный денек», на который загодя мы откладывали... Давай теперь все, что скопили!

Для получения полномочий ради посещения соотечественников Васильев навестил военного министра Жана Вальяна.

— Не возражаю! — охотно согласился министр. — Но вы напрасно волнуетесь, аббат. Ваши пленные офицеры вольны сами избрать для проживания в плену любой город Франции... кроме Парижа, конечно. По тарифам 1837 года, генерал Бодиско будет получать от нас по сто шестьдесят шесть франков в месяц на всем готовом, полковники — по сто франков, ну и так далее — по рангам...

По словам Вальяна, пленные солдаты имеют дневные порции французского пехотинца: полтора фунта белого хлеба, полфунта мяса, а в супе каждого будет вариться шестьдесят граммов турецкой — все французы этим пайком довольны. Васильев, взяв из домашней кубышки все деньги, отправился на остров Экс, где были старинный форт Лидо и деревня, — именно здесь разместили солдат Аландского гарнизона осенью 1854 года. Пленным разрешалось гулять и купаться в море сколько им угодно, но не позже шести часов вечера они были обязаны являться к форту на переключку. Священника они встретили почти восторженно:

— Гляди, братцы, наш-то поп и прямо из Парижа, только бороды нет и стриженный, будто барин какой...

«Я, — докладывал Васильев в синод, — отдавал хлеб, говядину и суп пленных, найдя их весьма хорошего качества». Но зато он выслушал немало нареканий по поводу белого хлеба.

— Ду ш и в нем нету, — жаловались солдаты. — Нашего ржаного как навернешь с утра пораньше, так до вечера песни играешь, а этот... Мы его после обеда доедаем — в забаву!

Васильев понимал причины солдатского недовольства. Русский солдат имел от казны на день три фунта черного хлеба, щи с мясом да кашу с маслом, а потому порция французского пехотинца его никак не насыщала. Васильев развязал свою кошелек, щедро наделяя солдат деньгами из собственных сбережений, а еще сто франков он вручил врачам в лазарете:

— Это вам, мсье, на рыбий жир... Мало ли что! Может, кому из наших солдат надо подкрепить здоровье.

Двадцать жандармов стерегли русских пленных в стенах форта Лидо, но пленные на этих жандармов не обижались:

— Мы с ними в подкидного дурака режемся, они ребята — хоть куда. Мы, отец Осип, только местных мужиков да баб ихних не ува-

жаем! До чего ж зловредные... И таки хапуги, таки скопидомные, так и норвят, как бы нашего брата обжулить.

Целую неделю Васильев прожил с пленными, собирал солдатские письма на родину, чтобы переправить их в Россию с дипломатической почтой саксонского посланника. На обратном пути он завернул в городок Ларошель, где жаловался префекту на жителей Экса, что ведут себя алчно, за гроши выманивая личные вещи у пленнх, а русские деньги меняют только за полцены.

— Между тем вы, префект, не можете иметь жалоб от жителей Экса на русских военнопленных. Ведут себя порядочно.

— Вы правы, — согласился префект Ларошеля. — Поведение ваших солдат достойно всяческой похвалы. Надеюсь, вас устроит мое решение: отныне всем французам, повинным в обмане русских или в стяжательстве за счет пленнх, я определю наказание: три месяца тюрьмы или штраф в триста франков...

Довольный поездкой, Васильев вернулся в Париж, откуда сразу отправил на остров Экс своего певчего, Алексея Копорского, с наказом, чтобы образовал могучий хор из числа пленнх:

— Они там с жандармами дурака валяют, а ты распевай с ними песни народные, чтобы заплакали, о родине поминая. А я поговорю с Вальяном, чтобы белье им меняли почаще...

На последние деньги Васильев купил для пленнх несколько пудов туалетного мыла, отправил с певчим тридцать фунтов свечей, чтобы пленные не сидели в потемках, а романы Дюма читали. Вальян снова принял священника, обещая менять белье пленнх раз в неделю, обещал выдать солдатам шерстяные одеяла. Беда подошла с той стороны, с какой Васильев никак не ожидал ее.

Вальян вдруг отказал ему в своей протекции:

— И прошу более не беспокоить меня своими визитами. Я не думал, что в лице русского кюре встречу опытного шпиона. Впредь посещать пленнх на острове Экс я вам запрещаю!

В чем дело? Оказывается, иезуит Яловецкий, однажды побежденный Васильевым в богословском диспуте, решил отомстить священнику. В газетах появились статьи о том, что русское посольство оставило его в Париже — шпионом, а популярная «Монитор» известила парижан о том, что Васильев, бывая на острове Экс, занимался не религией, а — политикой, побуждая своих соотечественников к бунтам и побегам...

— Не, — сказал Васильев жене, попросив ее как можно короче подстричь ему бородку, — я в газетную полемику вязываться не стану, ибо никаких денег не хватит, чтобы отбрехаться от газетных волкодавов. Я пойду сразу наверх.

Вскоре император Наполеон III был очень удивлен, что его аудиенции домогается православный священник. Как это ни странно, читатель, но владыка Франции, человек достаточно образованный, почему-то считал, что православие — это лишь секта, выпавшая

из-под власти Ватикана, дабы Россия постоянно вредила папе римскому. Свидание с «сектантом» казалось ему забавным.

— Приму! Стоит посмотреть на этого дикаря...

Удивление императора возросло, когда вместо «дикаря», заросшего волосами, которого еще при входе следовало бы обыскать с ног до головы, перед престолом его предстал элегантный господин, державшийся с великолепной осанкой, а речь этого «дикаря» была слагаема на классическом французском языке.

— В положении, в которое я поставлен, — говорил Васильев, — мне очень трудно опровергнуть те обвинения, что высказаны вашей прессой, оскорбившей достоинство моего духовного сана. Я решился бы страдать молча, если бы в моем божьем слове не нуждались мои страдающие единоверцы...

Во время почти часовой речи, выдержанной примерно в таком духе, Васильев разрушил наивное представление Наполеона III о русских «сектантах», и Наполеон III, слушая Васильева с огромным вниманием, не однажды восклицал — в полном недоумении:

— О, монсиньор аббат!.. О, монсиньор кюре!..

Цитирую: «После окончания (речи) император долго молчал, удивленно глядя на Васильева, наконец разразился комплиментами, извинениями за подозрения в шпионстве и сказал: «Теперь я вас лично знаю и никому более не поверю, все оказалось газетной клеветой...» Радостный, Васильев вернулся домой.

— Мать, — сказал он жене, — я получил карт-бланш на свободу поведения от самого императора... Под займи денег у соседей, продай что угодно, хотя бы даже этот королевский сервиз из Версаля, ибо нам предстоят немалые расходы.

— Что ты еще задумал, отец?

— Наши-то Ваньки да Васьки вернутся после войны по домам, разъедутся по своим деревням, станут их там спрашивать — какова жизнь во Франции? А они, кроме форта Лидо на острове Экс, ничего путного и не видели. Вот и замыслил я — поочередно звать наших пленных в Париж, чтобы погостили у нас да Париж посмотрели... не все же аристократам глазеть на него!

С той поры так и повелось. А полиция Парижа скоро привыкла, что в квартире Васильевых всегда полно пленных. Никаких забот от них ни хозяину, ни парижанам не было. Но однажды один из наших, некто Феденька Карнаухов, решил гулять по Парижу в одиночку. Васильев не стал его отговаривать, но заранее внушил солдату, чтобы допоздна не шлялся, на девок парижских чтобы не заглядывался, объяснил, как вернуться домой, нигде не плутая:

— В случае чего — спрашивай улицу Берри, тебе каждый ее покажет... Запомнил?

— А чего тут не запомнить? — отвечал Федя...

Ушел и пропал. Только на третий день поисков военнопленный был обнаружен в тюремной камере как злостный бродяга, упорно не

желающий назвать свое имя и звание. Вызволив Карнаухова из полицейского заточения, отец Осип ругал его:

— Почему ж не назвал улицы, чтобы домой вернуться?

— Как не назвал? Я им русским языком талдычил: хрю-возьми, хрю-возьми, хрю-возьми... Вот они меня взяли и потащили!

— Дурень сиволапый! Да не хрю-возьми, а рю Берри.

— А какая тут разница? — отвечал бравый солдат...

Война закончилась, и наступили новые времена — либеральные, в России началась пора гласности и обновления. За то, что денег своих не пожалел, лишь бы помочь на чужбине военнопленным, протоиерей Осип Васильев был награжден орденом Св. Анны 2-й степени — с публикацией о том в столичных газетах. Анна Ефимовна за время войны с Францией умудрилась вновь забеременеть, а ее постаревший отец, Евфимий Флеров, что священнодействовал над могилами Волкова кладбища, писал дочери, чтобы привезли в Питер своих доченок — посмотреть на них. Для внучат старик уже засушил целую гору черных сухарей, заранее присыпав их крупной солью. «Клопов, — сообщал отец дочери, — я заранее кипятком прошпарил, а вот тараканов, сколько я ни травил их, никак не вывести».

— Надо ехать, — загрустила жена. — Не ровен час, помрет папенька, а потом жди-пожди, когда еще мы с ним на том свете повидаемся? Едем. Пусть наши чада сухарей родных погрызут. Эдакого-то лакомства, да еще с солью, где в Париже увидишь?..

Семья Васильевых приплыла в Петербург на пароходе.

Вставив большущий живот, ковьяляла попададь на высоких каблуках по родимым булыжникам, за ней длинной цепочкой двигались ее чада — уже подростки, чуть поменьше, еще меньше и совсем маленькие. Сейчас увидят они перепуганных тараканов в домике на Волковом кладбище, станут грызть черные сухари с солью...

За время пребывания в столице Васильев усиленно хлопотал в синоде, чтобы тот не скупился в средствах ради создания в Париже православного храма. Этот храм был заложен еще в 1859 году (пятиглавый, красивый, богатый), но денег для его завершения, как водится, не хватало, и тогда отец Осип, уже потеряв всякую веру в помощь синодальных властей, обзвонил на всех и махнул прямо к открытию Нижегородской ярмарки.

Посмотрел он там, как широко гуляют купцы первой и прочих гильдий, как швыряют они сотенные бумажки к ногам плясуний да цыганок, и начал стыдить толстосумов, убеждая их жертвовать на построение парижского храма. Своими проповедями он мешал купцам веселиться, даже надоел им! Послалы они своего малого за м е ш к о м, который почище, и в один мах нашвыряли для отца Осипа полный мешок денег — новенькими ассигнациями, только бы он отвязался от них со своими поучениями о нравственности! Пересчитал деньги Васильев и подивился:

— Мать честная! Двести тыщ и, кажись, даже более...

Вскоре Париж обзавелся большим православным храмом.

Французов, желающих побывать в этом храме, было очень много. Но в церковь запускали партиями — не более двухсот человек зараз, при этом сторожа сшибали с парижан котелки, а у парижанок они силком отнимали визжащих от страха собачек...

В 1867 году, когда при Святейшем синоде был образован Учебный Комитет, Осипа Васильевича Васильева отозвали в Петербург, где он и стал первым председателем этого комитета. В столице Васильев славился как литератор и ученый богослов, время от времени — не так уж часто! — он читал великолепные проповеди в Сергиевском соборе на темы общенародной морали, которые неизменно привлекали громадные толпы верующих.

Постоянное умственное и нервное переутомление сказалось на здоровье Васильева, когда он был еще полон нерастратченных сил. Васильев умер от инсульта в возрасте 60 лет и был погребен — рядом с женою — в Александро-Невской лавре столицы. В самый разгар Первой мировой войны была издана его переписка...

Тогда же его дочь Лидия писала: «Что дела наши на земле! *Как трава в поле*, опалило нас солнце — и все исчезло...»

В самом деле, не хочешь, да все равно задумаешься!

Вот жил человек, любил, страдал, радовался и огорчался, о чем-то хлопотал, что-то делал, а... где же все это? Пожалуй, остался от него один храм в Париже, зато вот о нем самом — ни звука, будто и не было на свете этого человека...

Не знаю, как вам, читатель, а мне печально.

Неужели и нас никогда не вспомнят?

Неужели и мы с вами — «как трава в поле»?

## Из Одессы через Суэцкий канал

Парижский конгресс 1856 года завершал Крымскую войну.

Россия теряла роль хозяйки на Черном море, с потерей Дуная лишней оказалась и Дунайская флотилия, канонерки которой перебазировали в Николаев, где их разломали на дрова. Кадровые моряки флота были повыбиты на бастионах Севастополя, и их заменяли солдатами Модлинского полка. Россия не имела права строить не только мощные суда, но даже фрегаты для охраны своих берегов. Лучшим кораблем оставалась яхта «Тигр» (машины для нее водолазы подняли с потонувшего корвета). Патриоты полагались на «волшебную палочку» будущего канцлера князя А. М. Горчакова, обещавшего избавить страну от унижительных последствий войны, а с безобидного «Тигра» морякам предстояло возродить новый Черноморский флот...

В работу Парижского конгресса вмешался Фердинанд Лессепс, инженер и дипломат, мать которого была родственна французской

императрице Евгении Монтихо, жене Наполеона III. Со свойственной ему горячностью Лессепс потребовал срочного обсуждения вопроса о прорытии Суэцкого канала.

— Безлюдные пустыни Суэца, — обещал он, — превратятся для бедных феллахов в прохладный мусульманский Эдем, а плавание кораблей по каналу окажется предохранительным клапаном, чтобы выпустить лишние пары из котла европейской революции...

Все это было соблазнительно для дипломатов. Между тем, обгоняя замыслы французов, колониальная Англия быстро-быстро укладывала рельсы магистрали как раз вдоль трассы будущего канала. Шла острая борьба за рынки сбыта, за обретение новых колоний: Уайтхолл не мог смириться, чтобы в тени минаретов Каира рос престиж Франции, и без того упоенной своими успехами. Джордж Кларендон, представлявший на конгрессе аппетиты банкиров Сити, недовольно ворчал:

— Планы господина Лессепса губительны для всего человечества. Наш инженер Роберт Стефансон считает прорытие этой канавы утопией сен-симонистов. Воду сразу впитают в себя раскаленные пески пустыни. А в расчетах Лессепса — грубая геодезическая ошибка, ибо «зеркало» Красного моря на восемь метров выше «зеркала» средиземноморского. Если вы пророете там канал, произойдет новый библейский потоп, и цивилизация Европы погибнет под водой. Посему мы, англичане, считаем, что одной лишь железной дороги в тех местах достаточно...

Россию на Парижском конгрессе представлял князь Алексей Орлов (брат декабриста Михаила Орлова), и он, выслушав Кларендона, чересчур выразительно посмотрел на графа Флориана Валевского, выступающего от имени Франции.

— Однако, — веско заметил Орлов, — Суэцкий канал существовал еще в глубокой древности, о чем написано у Страбона и Геродота. Клеопатра спасала свой флот от разгрома при Аквиуме, уведя его по каналу в Красное море. Потопа не было, и пусть инженер Стефансон не ошибается в уровнях двух «зеркал».

Последняя фраза относилась к Кларендону.

— Да, — поддержал Орлова граф Валевский, — Суэцкий канал был засыпан каким-то глупым мусульманским халифом. Бонапарт во время похода в Египет еще видел остатки канала фараонов; он же считал Египет «самой важной страной в мире»...

Кларендон намекнул, что прорытие канала может привести мир к политическим катастрофам и вечным войнам: Египет совсем отпадает от Турции, а транзитные морские пути из Англии в Индию станут зависимы от... случайностей. Вот главное, чего он боялся! На это Лессепс отвечал ему с грубым юмором:

— Французы — люди практичные, и мы не станем атаковать вашу британскую милость в Индии, если в хорошую погоду с берегов Франции видны меловые утесы королевской метрополии...

Положение Орлова на конгрессе обязывало его не вмешиваться в распри, далекие от насущных нужд русского народа. Не для протокола, как бы в раздумье он обронил опасную фразу:

— Не получится ли так, что Египет станет придатком компании Суэцкого канала, не станет ли он яблоком раздора в международной политике? Вот о чем думается.

— Канал будет принадлежать всему миру и навеки останется нейтральным, — заверил его Лессепс. — А в уставе нашей компартии начертано, что каналом будут владеть капиталисты всех стран и наций. Господа, покупайте акции заранее.

— Bravo! — Кларендон с издевкой похлопал в ладоши.

Покидая заседание, Орлов шепнул секретарю:

— Англичане не простят французам залезание в казну Саида-паши египетского, и они боятся, как бы идеи Сен-Симона не принесли выгод Марселю, Триесту и... нашей Одессе!

Говорят, заядлые одесситы не могли простить Пушкину стихов: «Я жил тогда в Одессе пыльной...» Однако поэт был прав: моряки угадывали близость Одессы еще вне видимости берегов. Над горизонтом появлялось пыльное облако, возникающее от мостовых Одессы, сложенных из известкового камня. В течение полугодия одесситы дышали этой пылью, а еще полгода месили ее ногами, когда она превращалась в липкую отвратную грязь.

Богатый и неряшливый город был в России главным регулятором цен на хлеб, здесь процветал почти американский пиетет к наживе и торгашескому афоризму. Очевидец тех лет писал, что «Одесса была как бы клином из другого материала, вбитым в тело России», и это — сущая правда, ибо законы «порто-франко» делали Одессу чересчур вольготной и мало зависимой от общего всероссийского рынка...

Бог мой, кого здесь только не было — греки, англичане, персы, болгары, итальянцы, евреи, французы, швейцарцы: добрая Одесса-мама всем предоставляла приют, никому не мешая развиваться сообразно своим негоциантским наклонностям. Одних только иностранных консулов Одесса имела не меньше, чем Петербург послов и посланников. Странно, что этот крикливый и суматошный город издавна облюбовала русская аристократия, ибо Одесса охотно льстила ее тщеславию (бульвар Ришелье, Воронцовская слободка, пристань Графская, а мост Строгановский, Ланжероновка и прочее). А в гостиницах Одессы можно было подслушать такой диалог между гостем и половым:

— Ты, приятель, какие языки знаешь?

— Только свои-с — итальянский с греческим.

— Выходит, иностранец? — спрашивал гость.

— Точно так-с, прибыли из Ярославля...

Многонациональный «фаршмак» развил уникальную веротерпимость, и русские ходили в синагогу, словно в театр, чтобы слушать бархатный тенор кантора Шмуля Бродского, а мусульмане в чалмах и фесках

шлялись в православный собор, где высокообразованный архиепископ Иннокентий насыщал свои проповеди цитатами из Канта и Гегеля. Все это выглядело даже забавно, но политическая жизнь Черноморья была печальной: Крымская война, изолировав Россию от богатых портов Европы, лишила одесситов привычных торговых связей. Одесса скорбно притихла, быстро нищая, и только в кофейнях на Дерибасовской местные бизнесмены, горестно причмокивая, еще смаковали былые доходы:

— Это разве жизнь? Мы даже времени не знаем...

Не знали! Совсем недавно босяки Одессы сперли с Приморского бульвара сигнальную пушку, благовестившую полдень, и продали ее на фелюгу греческих контрабандистов. Город лишился «комендантского часа», не зная, когда обедать, когда закрывать конторы. Очевидец в возвышенных тонах сообщал: «Все часы одесского меридиана, карманные и башенные, разом взбунтовались, отсчитывая время, как сами того хотели, утратив всякую дисциплину...» Что и говорить — положение ужасное: часов в городе множество, а никто не знает, обедать ему или ужинать?

В д р у г с моря приплыл белый пароход, с него сошел на берег плотный пожилой француз, и одесситы не преминули спросить у него — который час в Европе? Фердинанд Лессепс (это был он!) любезно шелкнул крышкой золотого брегета и охотно огласил одесситам самое точное европейское время.

— И вам можно верить? — спросил купец Мазараки.

— Абсолютно. Я завел часы еще в Париже, проверил точность в Каире и отрегулировал ход в Константинополе...

Лессепс не считал себя в России чужим человеком. Дедушка его был консулом в Петербурге, а дядя Бартеlemi плавал вместе с Лаперузом и даже уцелел (единственный из всей экспедиции), ибо Лаперуз с Камчатки отправил его в Париж с депешами — через всю Сибирь. Если к этому прибавить и пышное родство Лессепса с императрицей Евгенией Монтихо, то одесситам оставалось только снять перед ним шляпы. Но Фердинанд Лессепс навестил Одессу не для того, чтобы наглотаться здесь волшебной одесской пыли, воспетой еще Пушкиным.

Он знал, что до войны Одесса конкурировала с Марселем, она имела давние связи с Востоком — где же еще, как не здесь, жители понимают вкус и аромат акций? Очевидец событий писал: «Многие из одесситов еще сомневались в осуществлении Суэцкого канала, но тем не менее все они приняли Лессепса сочувственно...» Для начала, как водится на Руси, они закатали гостю банкет в саду Форкатти, причем итальянец Роджеро-сын устроил ослепительный фейерверк, от которого с крыш города прыгнули по чердакам все блудливые одесские кошки.

— Неужели вы, одесситы, — вопрошал Лессепс устроителей банкета, — не хотите владеть всем миром? Так покупайте акции моего Суэцкого канала, и завтра же пыль мостовых Одессы будет осыпана чистейшим золотом... Мне можно верить!

Одесские крезы наняли пароход, до глубокой ночи гоняли его по морю, справляя пиршество в честь Лессепса, который под музыку еврейских оркестров торговал акциями:



— Уж если мой друг Саид-паша египетский рвет акции из моих рук, так вы понимаете, что мое дело прибыльное...

Лессепс отплыл в Каир, а в Одессу пришел «Тигр», и обыватели спросили командира военной яхты — который час?

— На вахтенном хронометре — четверть пятого.

— Быть того не может! — отвечали одесситы. — У нас часы поставлены по брегету самого господина Лессепа, и тут что-то не так, не пора ли нам спать?

Офицер флота обругал их всех «дураками»:

— Голову имейте, олухи царя небесного! Лессепс завел часы по парижскому времени, а мы, моряки Черноморского флота, остаемся верны часам по Пулковскому меридиану!

На следующий день «Тигр» дал салют из пушки — полдень.

— С пушкой жить веселее, — обрадовалась Одесса.

...Александр II встретил князя Горчакова словами:

— Из Одессы я получил донесение о странном визите господина Лессепа, соблазнявшего тамошних жителей приобретением акций своей компании. Он смутил жизнь горожан, обещая Одессе небывалую эру процветания от успехов компании Суэцкого канала... Как мне реагировать на все это? Поверьте, князь, я совсем не хочу, чтобы русские деньги, вложенные в эти дурацкие акции, уплывали в сыпучий песок Египта.

— Меня настораживает иное, — отвечал Горчаков царю, — то, как Англия сопротивляется строительству канала. У нашей же страны, государь, столько неразрешенных проблем, что глупо ввязываться в чужие распри... Мое счастье, что я, наверное, не доживу до того времени, когда Суэцкий канал откроют для кораблей, и тогда сразу начнется грызня в дипломатии!

Англия всячески мешала строительству Суэцкого канала, и все те акции, что должны были расхватать европейцы, Лессепс почти силой принудил скупить египетского Саида-пашу.

— В честь этого, — сказал он, — я главный город, открывающий вход в канал, назову вашим именем — ПОРТ-САИД...

Лондонские газеты называли Саида «простаком», которого обдурил пройдоха Лессепс. Акции компании канала не нашли сбыта среди американцев, их не покупали и англичане, уверенные, что в будущем викторианская империя поглотит и весь Египет — заодно с каналом. Уайтхолл предрекал, что канал станет кладбищем для нищих феллахов. Лессепс оборонялся, указывая в печати на высокую смертность в Индии, даже на то, что в самой Англии существует женский и детский труд в угольных шахтах.

— И они, эти лукавые викторианцы, еще осмеливаются кричать обо мне как о новоявленном тиране!..

Англичане дотянули рельсы железной дороги от Каира до Суэца в 1859 году; в пасхальный день того же года Лессепс взмахнул мотыгой на том самом месте, где нынче шумит Порт-Саид, и строительство началось. С этого момента и до открытия канала египтяне потеряли

СТО ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ человек. Хусейн Минис, арабский историк, писал: «Умерших, словно подошедший скот, считали десятками, дюжинами, сотнями», и не нашлось Геродота, который бы напомнил о жестоких временах фараонов...

Теперь фараоном сделался Фердинанд Лессепс!

Феллах превратился в «ходячую тачку», ничего не получая за каторжный труд, зато он платил Лессепсу даже за глоток воды, принадлежавшей компании канала. Удар хлыстом на восходе солнца звал феллаха к молитве, а молитва означала начало работы. Дневная норма каждого — два кубометра земли, которую в рогожных мешках или в корзинах вытаскивали из русла будущего канала. Единственное, что дала рабочим передовая наука Европы, так это первый вариант экскаватора, на который сами европейцы глазели тогда как на чудо XIX века.

Саид вскоре обожрался, как Гаргантюа, и умер от сахарной болезни, его сменил на троне Исмаил-паша, быстро убедившийся, что Египтом правит не он, а мошенник Лессепс.

— Нельзя ли сделать так, чтобы не Египет для канала, а канал для Египта? — однажды просил он Лессепса...

Лессепс отвечал, что уже пора заказывать Джузеппе Верди музыку для оперы «Аида», чтобы древность фараонского Египта сомкнулась с гулом первого парохода. Ему было уже за пятьдесят, но он еще крепко сидел в седле лошади или на горбу верблюда. Исмаил подкупал турецких министров, а Лессепс раздавал взятки журналистам Европы, чтобы не уставали восхвалять его «гений». И чем дальше тянулся канал, тем богаче становился Лессепс, тем быстрее нищали египтяне. Зато Каир превратился в международный вертеп, куда наехали авантюристы разных мастей, самые пикантные шлюхи, самые хапужистые капиталисты, самые отъявленные шарлатаны. Египет становился моден, богатые европейцы с важностью говорили:

— Что вам Ницца! Летний сезон проводим в Каире...

Смазливые девицы тоже рвались в Египет:

— Если не сыщу богатого жениха, согласна жить в гареме любого паши, на худой конец, можно поработать в публичном доме, где я сумею понравиться клиентам...

Американцы не скупили акций канала, но они взялись обучать армию Исмаила. Побед этой армии никто не видел, зато ознакомились с нравами ковбоев Дикого Запада. Джеймс Олдридж писал об американцах: «Они постоянно влипали в неприятности, так как настаивали, чтобы с ними обращались как с джентльменами, как джентльмены, они считали, что им все дозволено...»

Один из таких военных советников Исмаила долго скрывался в русском посольстве, иначе бы ему отрубили голову!

Ротшильд, Оппенгейм и Бишофсгейм щедро кредитовали расточительного Исмаила, уже не знавшего счета своим долгам, а феллахи, забыв о хлебе, радовались горсти ячменя, размоченного в воде. Жен-

щины боялись родить — налог, мужчины боялись жениться — налог, не входили в города — налог, с ужасом они ждали смерти, ибо смерть египтян тоже обкладывалась налогом.

Таковы были каирские тайны Суэцкого канала!

Джузеппе Верди не успел закончить «Аиду», когда в 1869 году состоялось открытие Суэцкого канала. Главной персоной этого торжества явилась ослепительная Евгения Монтихо, для которой Исмаил выстроил сказочный дворец; приехали австрийский император Франц-Иосиф, европейские принцы, масса знати, среди них были роскошные проститутки, шулера и воры-карманники. В числе гостей Исмаила были писатели Эмиль Золя, Теофил Готье и Генрик Ибсен... Россия не осталась безучастной к такому важному событию, и в Египет прибыл граф Николай Игнатьев, посол в Турции, намекнувший Фердинанду Лессепсу:

— Вы, конечно, себя обессмертили! Но, плывя в Египет, я часто вспоминал слова Мухамеда Али-паши: «Что значат мнения Вольтера, Сен-Симона, Лейбница или Монтескье о Суэцком канале, если Европою правят одни сушие жулики? Стоит нам открыть канал, как Англия навесит замки у его входа и выхода, а ключи от канала положит себе в карман...»

Под флагом адмирала Бутакова в Порт-Саид приплыла целая эскадра кораблей с русскими пассажирами. Тут были не только вездесущие журналисты, но даже писатель пушкинской поры Вл. Соллогуб и знаменитый маринист Айвазовский. Конечно, наехали и одесские коммерсанты, ухнувшие свои деньжата в акции Суэцкого канала, а теперь чаящие возвращения больших капиталов. Московские купцы, тоже позарившиеся на прибыли с канала, подозрительно приглядывались к чужой египетской жизни:

— Смотри, Федор Парменыч, красота-то какая! Даже в свите Исмаила мундиры золотом обляпаны, а сами босиком бегают. Ежели им даже на обувь денег не хватило, так с чего они вернут нашей милости дивиденды? Нешто нас облапошили?..

Выставленная напоказ роскошь и плохо скрытая нищета с трудом уживались рядом, а Восток в соседстве с Европой выглядел даже благороднее. Парадное шествие праздничных кораблей по новой международной трассе началось с аварии: пароход «Пелуза» сел на мель, и тут все поняли, что Лессепс поторопился заказывать оперу «Аида», тут еще копать и копать. Суэцкие празднества не стоит описывать, но следует сказать едва ли не самое главное: вслед за яхтою Евгении Монтихо прошел английский пароход, битком забитый войсками, плывущими в глубь Африки ради новых колониальных захватов, для грабежа эфиопов и суданцев... Этот факт уже тогда показался чересчур выразительным, и граф Соллогуб сказал Айвазовскому:

— С кем из французов ни поговорю, все заранее убеждены в том, что Англия вытурит их из Египта, как в прошлом столетии она вышвырнула французов из Индии...

Подведем итоги: Россия через частных лиц скупила 24 000 акций компании Суэцкого канала, занимая ТРЕТЬЕ место (после Франции и Англии) по участию в прибылях от судоходства по каналу. Но все эти акции недолго удержались в русских руках, обернувшись для их держателей пустыми бумажками, которые впору выбросить, как мусор. Великий мечтатель Сен-Симон наивно полагал, что международный канал объединит человечество в единую семью народов, избавив людей от войн. Но случилось обратное тому, о чем грезили утописты в лунные ночи...

Порабощенные народы Индии долго жили в убеждении, что только русские способны помочь им в обретении свободы. Для истории не осталось секретом, что в Ташкенте не раз появлялись индийские делегации, умоляющие наших генералов:

— Пришлите хотя бы одного барабанщика со знаменем России, и вся наша страна поднимется в буре восстания.

Но Петербург никогда не хотел войны в Индии, чего так боялись в Лондоне. Весною 1873 года Лессепс предложил русскому кабинету свой проект железной дороги от Оренбурга напрямиком в Пешавар, чтобы включить эту дорогу в общую систему всех европейских магистралей (от Лиссабона до Индии). Резолюция Александра II выглядела так: «Нужно серьезно подумать, прежде чем давать ответ». Думать пришлось канцлеру Горчакову:

— Коммерческие и политические выгоды от такой дороги получат англичане и германцы, а мы потеряем рынки сбыта в Средней Азии, не лучше ли нам использовать воды Суэцкого канала?..

Вот тут были прямые выгоды! Морские пути от Одессы до берегов Индии сократились сразу в три раза, Россия открыла новую постоянную линию Одесса — Бомбей, которую обслуживал пароход «Нахимов». Одесса сгружала на свои пристани тюки индийского хлопка, мешки с рисом и ладаном, ящики с зерном, кофе и перцем. Менделеев и Бутлеров, Анучин и Краснов призывали русских изучать хозяйственный опыт Индии, обогащать свои земли индийскими злаками... Горчаков был очень доволен:

— Обойдемся без барабанщика со знаменем!

Суэцкий канал отработал лишь три года, когда Франция была разгромлена немцами при Седане. Но в 1875 году Бисмарк угрожал французам новой войной, и европейцы не сомневались, что не сегодня, так завтра Германская империя доломает хрупкую республику. Франция уцелела, защищенная авторитетом России. Но «боевую тревогу» Европы решил использовать Дизраэли, глава английского кабинета, которого, за его беспринципность сами же англичане прозвали «юркий Дизи».

К тому времени Лессепс окончательно разорил Египет, но и сам превратился в банкрота. Банкиры Сити откровенно муссировали во-

прос о том, чтобы компанию Суэцкого канала преобразовать в некое «Международное общество».

Исмаил предупредил Фердинанда Лессепа:

— Теперь я вынужден продать пакет своих акций...

«Юркий Дизи» провел бессонную ночь в беседе с лондонским Ротшильдом, два дельца, чересчур «юркие», договорились, что они не нуждаются в согласии королевского парламента:

— Нам наплевать на эти древние традиции. Важно вырвать акции из рук Исмаила, чтобы Лессепс не чувствовал себя монополистом и не посмел бы перекрыть канал для наших кораблей, плывущих в Индию под великобританским флагом.

Ротшильд выделил четыре миллиона фунтов стерлингов. Дизраэли оповестил королеву Викторию о своей победе: «Миледи, все дела хедива в наших руках...» Виктория оценила скупку акций как стратегическую победу, будто Ротшильд и Дизраэли выиграли битву при Ватерлоо. Через два года после этой беспардонной спекуляции русская армия, освобождавшая Балканы от османского гнета, вышла к лучезарным берегам Босфора, и это событие вызвало панику в кабинетах Уайтхолла.

На пороге кабинета Горчакова появился английский посол Огастус Лофтус. Он никогда не был врагом России, а славян, вкуче с русскими, считал «расой будущего». Однако, выполняя указания Лондона, посол был вынужден прозондировать мнение канцлера в болезненном вопросе о Суэце.

— О, великий Боже! — отвечал Горчаков. — Не вы ли, англичане, с зубовным скрежетом протестовали против создания канала, а сейчас... В чем вы подозреваете Россию сейчас?

— Правительство моей королевы желало бы иметь заверения, что русская армия в случае падения Константинополя ограничит себя только выходом к водам Босфора и не двинется далее — в Египет для захвата Суэцкого канала.

Горчакову оставалось только всплеснуть руками.

— Ваши министры, — был его ответ, — считают нас, русских, слишком шаловливыми ребятами. Да, мы широко используем статус нейтралитета Суэцкого канала, но чтобы отбирать канал... До этого мы не додумались, и вам не советую думать.

Лофтус засмеялся, а Горчаков даже обиделся:

— Горький смех, милорд! Я всегда уважал Англию, но я никогда не падал ниц перед ее величием, ибо это величие иллюзорно. Когда-нибудь цепи, наложенные вами на весь земной шар, будут порваны, и вы останетесь лишь жалкими островитянами...

Последний лицеист пушкинского выпуска, Горчаков одряхлел и удалился на покой в Ниццу, чтобы там умереть. Но покой старика был возмущен за год до его кончины. В 1882 году из Каира раздался народный призыв, зовущий к восстанию:

— Канал — для Египта, а Египет — для египтян!..

Этого призыва оказалось вполне достаточно, чтобы англичане вмешались. Британский адмирал Сеймур, ведущий эскадру, начал бомбардировать Александрию, высаживал на берег десанты. Как раз тогда на рейде стояли русские корабли, а русские матросы спасали от обстрела женщин с детьми.

Начиналась оккупация Египта. Десанты морской пехоты опрокинули слабую армию египтян, а военные советники этой армии, американские наемники, предали их, будучи заодно с англичанами. Лессепс умолял восставших не разрушать канал, в Каире он доказывал, что канал всегда останется нейтральным. Но британские корабли уже уперлись форштевнями в русло канала...

Египет превратился в колонию Англии! Советский академик Ф. А. Ротштейн писал, что «французы протестовали, взывали к международному праву, но безрезультатно... Европа с Бисмарком во главе не шевельнула пальцем, чтобы поддержать протест Франции, и Египет остался за Англией».

Лессепс ушел в частную жизнь. При открытии им Суэцкого канала, уже вступая в седьмой десяток лет жизни, он открыл сердце юной и пылкой креолке с острова Маврикий, которая нарожала ему кучу детей (двенадцатого она поднесла, когда Лессепсу исполнилось 80 лет). Всех надо было кормить, и Лессепс, хороший семьянин, задумался о прорытии нового канала, тем более что в управлении Суэцким каналом Франция стала занимать лишь шестнадцатое место.

Престарелый Лессепс обратил свой взор на Панамский перешеек, чтобы соединить каналом два океана. Начал он, как и положено, с саморекламы, но пыльная Одесса осталась равнодушна к Панаме, а пажоны на Дерибасовской говорили:

— С нас хватит и Суэца! На этот раз пусть поищут дураков в Париже или Бердичеве, а мы не останемся босяками...

XIX век, век небывалого прогресса техники и культуры, был отмечен в конце его грандиозной «Панамой» — крахом не только самого Лессепса, но и многих тысяч семей, разоренных Лессепсом, который разбазаривал миллиарды франков, а канала так и не выкопал. В канун своей смерти Лессепс оказался на скамье подсудимых. Парижский суд вынес ему приговор: пять лет тюрьмы и штраф в три тысячи франков.

Фердинанд Лессепс выслушал приговор спокойно:

— Если мне, осужденному, уже восемьдесят пять лет, то я смело могу лечь даже под нож гильотины...

Осталось сказать последнее. В 1956 году новый Египет объявил Суэцкий канал национальным достоянием. Сразу же образовалась англо-франко-израильская коалиция, обрушившая на Египет лавину ракет и снарядов. Гигантская статуя Фердинанда Лессепса, стоявшая у входа в канал, рухнула...

Она была повержена руками египтян!

Мы, русские, будем помнить, что в русло Суэцкого канала Лессепс швырнул и наши, русские, деньги...

## Битва железных канцлеров

Германии как империи еще не существовало, а политику прусских королей представлял в Петербурге посол — Отто Бисмарк фон Шёнхаузен... Однажды император Александр II в присутствии Бисмарка вел беседу с князем Горчаковым, ведавшим иностранными делами; царь говорил по-русски, уверенный, что посол Пруссии его не поймет, и вдруг заметил настороженный блеск в глазах дипломата.

— Вы разве меня поняли? — резко спросил император.

Бисмарку пришлось сознаться, что — да, понял.

— От топота копыт пыль по полю бежит, — неожиданно произнес он по-русски и засмеялся. — Мне с трудом дается произношение звука «ы». Но я решил осилить его варварское звучание...

Горчаков привел слова из немецкого языка, в которых буква «i» ближе всего подходит к русскому «ы».

— Я осмелюсь говорить на русском языке, — заявил Бисмарк, — когда освою значение вашего слова «ничего». Русские при встрече на вопрос о жизни отвечают, что «живут ничего». Сейчас, когда я ехал во дворец, ямщик на повороте Невского вывернул меня в сугроб, я стал ругаться, а он отряхивал мою шубу от снега со словами: «Ничего, барин, ничего» — это... ничего, и только!

— Бог мой, — ответил Горчаков. — Сопоставьте наше «ничего» с английским выражением «never mind»: они почти тождественны...

Бисмарка учил русскому языку студент-юрист В. Алексеев, который за двадцать два урока брался обучить любого иностранца читать и разговаривать по-русски. Бисмарк выходил к студенту с сигарой в зубах, в темно-синем халате, на голове была ермолка из черного шелка. Он уже тогда начал лысеть, усы висели небрежно, а над ними краснел глубокий шрам от укола рапирой.

— Добрый день, коллега, — дружелюбно здоровался посол со студентом за руку и сразу же угощал его сигарой.

Алексеев заметил, что Бисмарк не терпит карандаша.

— Карандаш, — говорил посол, — я предпочитаю изнеженным и слабеньким людям. Сильный человек пишет исключительно пером.

Бисмарк успешно переводил «Дворянское гнездо» Тургенева, на его столе неизменно лежали свежие выпуски герценовского «Колокола». Возле ног посла крутился мохнатый медвежонок, привезенный из-под Луги, где Бисмарк застрелил на охоте его мать.

— Жалею, что выдал знание русского языка перед царем и Горчаковым, — однажды сознался он Алексееву со смехом...

Между Бисмарком и студентом часто завязывались откровенные разговоры на политические темы. Алексеев как-то пожелал узнать, что думает посол о России и русском народе.

— Россия будет иметь великое будущее, — охотно отвечал ему Бисмарк, — а народ ее велик сам по себе... Вы, русские, очень медленно запрыгаете, но зато удивительно быстро ездите!

При слове «Австрия» глаза у Бисмарка наливались кровью:

— Австрия вся в прошлом: это труп... Но труп, который разлагается на дороге Пруссии! Я думаю, что немцы не имеют права называть себя немцами. Это — пруссаки, баварцы, ганноверцы, саксонцы, мекленбуржцы. После сильного дождя отечество каждого из них виснет на подошве сапога! Пруссия должна свалить все в один мешок и завязать узел покрепче, чтобы эта мелкогерманская шушера не вздумала разбежаться...

Освоив русский язык, Бисмарк дал Алексееву 32 рубля.

— Однако, — смутился студент, — мы ведь договаривались, что за каждый урок вы будете платить не по рублю, а по полтора.

— Дорогой мой коллега! — с чувством отвечал Бисмарк. — Но вы забыли стоимость сигар, которыми я вас угощал...

Бисмарк посетил Москву и писал жене, что здесь он сильно «обрусел». Его описания московского быта великолепны; он сумел, как никто из иностранцев, оценить своеобразную красоту Москвы, утопающей в зеленом море садов и огородов.

— Если бы не дороговизна дров и не безумные чаевые лакеям, я желал бы оставаться в России послом короля до последних дней жизни... Мне здесь нравится! — говорил он жене.

Бисмарк любил гулять по тихим улочкам Васильевского острова, где селились немецкие мастеровые. Однажды посол видел, как булочник Михель дрался с кровельщиком Гансом.

— Именем посла Пруссии... эй, вы, прекратите!

Но немцы продолжали волтузить друг друга, и тогда Бисмарк позвал русского городского. Тот сграбастал обоих за цугундеры и поволок в ближайший участок. При этом Михель с Гансом кричали послу Пруссии, что он поступает антинемецки.

— А что делать? — вздыхал Бисмарк. — Я уже давно пришел к убеждению, что примирить и объединить всех немцев можно только полицейскими мерами... кулак — вот что нам всем надобно!

Князь Александр Михайлович Горчаков пришел к управлению внешней политикой Российской империи —

В те дни кроваво-роковые,  
Когда, прервав борьбу свою,  
В ножны вложила меч Россия —  
Свой меч, иззубренный в бою.

Страстный патриот России, великолепный стилист и оратор, утонченный вельможа-аристократ, умнейший человек своего века, Горчаков носил славу «бархатного» канцлера. Но это не совсем так: он умел быть и «железным» властелином политики, если дело касалось чести русского народа. А время было трудное... Парижский трактат



1856 года нанес России удар по ее самолюбию: Черное море объявлено нейтральным, России запрещалось иметь Черноморский флот и арсеналы в портах. Это был крах! Крах всей бездарной политики, которую при Николае I проводил канцлер Нессельроде — космополит и карьерист, слепо исполнявший венские приказы. Горчаков же, напротив, был лютым врагом канцлера Меттерниха и всей австрийской системы удушения Европы жандармскими методами, почему он и не сделал карьеры при Нессельроде... Теперь, придя к власти, Горчаков провозгласил лозунг новой русской политики; весь мир облетели его слова, ставшие крылатыми: «ГОВОРЯТ, ЧТО РОССИЯ СЕРДИТСЯ. НЕТ, РОССИЯ НЕ СЕРДИТСЯ — РОССИЯ СОСРЕДОТОЧИВАЕТСЯ». Последнюю фразу можно было прочесть иначе; именно так ее и прочли в кабинетах Европы: «Россия усиливается!»

Своему другу, барону Жомини, Горчаков говорил:

— Мы должны быть терпеливы, как роженица, которая в муках рождает новую жизнь. Будем наблюдать, пока в европейском концерте не запоет нужная нам скрипка. Моя главная цель — иметь Францию в друзьях! Но... красные штаны французов, щеголявших в Ялте и Балаклаве, — это, согласитесь, слишком вызывающая картина! Государь связан семейными узами с Берлином, и я должен учитывать растущее влияние Пруссии на весах политической игры... Я слышу тихий шорох: это время работает на Россию! А когда волны Севастопольской бухты смоят из памяти народа грязное пятно Парижского трактата, я смогу повторить слова Пушкина, завещанные им мне в пору нашей лицейской молодости: «ты сотворен для сладостной свободы, для радости, для славы, для любви...»

Горчаков до старости оставался поклонником женской красоты, но прожил однолюбом, и божий свет померк для него, когда во Франкфурте скончалась его жена... Кстати, именно там, во Франкфурте, Горчаков и познакомился с Бисмарком, который, будучи еще молодым дипломатом, представлял свою Пруссию в Германском союзе.

— Я так много о вас слышал, — сказал Бисмарк, — что желал бы поступить к вам на выучку. Натаскайте меня в политике, как французы натаскивают свиней для розыска шампиньонов в лесу...

«Бойтесь этого господина — он говорит только то, что думает!» — так рассуждали в Лондоне. Но Горчаков за прямою высказываний Бисмарка разгадал кривизну его подпольных замыслов. На выучку он его взял! Дрессировал скорее из любви к искусству, нежели по привязанности. В своих мемуарах Бисмарк честно признался, что слушал Горчакова, как пение Орфея...

Теперь они встретились в России; Горчаков летние жары проживал в Петергофе, окна его кабинета были отворены, ликующий шум фонтанов наполнял комнаты, ветер с моря раздувал белоснежные занавеси. Бисмарк был почителен и ласков, обхаживая русского канцлера, словно избалованный кот миску с жирной сметаной... Конъюнктуры решали все!

Пруссия — родина матери императора Александра II, и это обстоятельство всегда учитывалось в Петербурге. Бисмарк отлично со­знавал, что в будущих конфликтах Берлину достаточно одного лишь нейтралитета Петербурга, и тогда Пруссия может нагнать, сколько ей вздумается. Горчаков тоже понимал это, но Парижский трактат засел в его сердце плотно, как гвоздь в стенке, и выдернуть его можно было с помощью той же Пруссии... Опять конъюнктуры!

— Я верю в вашу будущность, — говорил Горчаков. — Но если вы станете канцлером, я бы хотел, чтобы вы не пролетели над миром вроде метеора, а остались вечно сияющей звездой...

Простая любезность. Но за нею — политический смысл.

Весной 1862 года Бисмарк пришел к Горчакову:

— Прощайте. Меня переводят послом в Париж, но что я там буду делать без вашего руководства... право, ума не приложу!

Он открыто сожалел о том, что покинул Петербург, где оставил множество интересных друзей.

— Я там славно поохотился на медведей, но забыл дорогу в цер­ковь. Всегда обожал длинные сосиски и короткие проповеди...

Портсигар Бисмарка украшала серебряная пластинка, на которой было выгравировано одно русское слово: *ничего!*

*Ничего* в политике не бывает. Бисмарк пробыл в Париже не­долго, успев присмотреться к Наполеону III, который начал жизнь карбонарием, а стал императором. Странное перевоплощение! Император французов был карикатурен: маленький, с кривыми ногами и слишком крупным туловищем, на подбородке — козлиная эспаньолка; он был талантливым фокусником и мечтал выступать в цирках... Однажды на загородной даче в Вильнёв-Этани импе­ратор спросил:

— Бисмарк, вы верите в то, что я — Христос?

— Если докажете... отчего же и не поверить?

— Тогда сидите здесь, а я пешком пойду по воде.

Наполеон III спустился к озеру и пошел по воде, аки Иисус Хри­стос. Он достиг середины глубокого озера и вернулся обратно.

— Теперь вы понимаете, что такое император Франции?

— Понимаю, ваше величество. Просто у вас отличные па-де-скафы, такие резиновые надувные лодочки-галоши, надев которые себе на ноги, я тоже могу уподобиться Христу.

— Вы непоэтичны, Бисмарк, как и все пруссаки.

— Ваша правда. Но жалованье от берлинского двора я получаю не за лирику...

Скоро он был отозван и стал президентом в правительстве, полностью подчинив своей воле престарелого рамолика — кайзера Вильгельма I. Отсюда и начинается тот Бисмарк, которому еще при

жизни ставили памятники. «Великие дела, — заявил он в парламенте, — совершаются не болтовней, а железом и кровью...»

На это из России послышался ответ Тютчева:

Единство — возвестил оракул наших дней —  
Быть может спаяно железом лишь и кровью.  
Но мы попробуем спаять его любовью,  
А там посмотрим, что прочней. .

Но клыки уже отточены. Пора опробовать, как они раздирают добычу. Пробовать лучше всего на беззащитной жертве. Прусская армия разбила армию Дании, отняв у нее область Шлезвиг-Голштинию. В 1866 году в битве при Садовой прусская машина разможила в лепешку легионы Австрии, и дорога на Вену была открыта. Глядя на трупы убитых австрийцев, Бисмарк вполне серьезно сказал:

— Теперь нам осталось сделать самое малое — заставить Австрию полюбить нас, пруссаков...

Вильгельм I и генерал Мольтке уже писали о диспозиции войск, вступающих в столицу разбитого противника. Бисмарк устроил им истерику! Он катался по полу, он выл, он грыз зубами ковры:

— Рубите мне голову, но только не трогайте Вену!

Политик, он понимал то, чего не понимали генералы. Заняв Вену, Пруссия получала только Вену и... *врага*, жаждущего реванша. Если же великодушно ограничить себя победой при Садовой, Пруссия получала на будущее *всю* Австрию как верного сателлита. Бисмарк настоял на своем: Мольтке задержал армию у распахнутых ворот Вены. «Благодарю, — сказал ему Бисмарк, вытирая слезы, — за это обещаю, что вы будете гарцевать на Елисейских Полях...» Вопрос сложный. Как на это посмотрит Петербург?..

Горчаков отказался заключить с Пруссией военный союз, но дал понять, что не станет мешать Пруссии в конфликте с Францией, если при этом будут уничтожены позорные параграфы Парижского трактата. Царю он внушал: «Чем более я изучаю политическую карту Европы, тем более я убеждаюсь, что серьезное и тесное согласие с Пруссией есть наилучшая комбинация, *если не единственная*».

Вечером его навестил Федор Иванович Тютчев, вечно юный, вечно влюбленный старец — в венце седых волос.

— Когда я был проездом в Дюссельдорфе, — рассказал он, — немцы уверяли меня, что им нужны три войны: с Австрией, чтобы выбить ее из Германского союза, с Францией, чтобы ослабить ее, и, наконец... с Россией, чтобы отбросить нас дальше от Европы!

Два старца остро взирали один на другого через блестящие стекла очков, отшлифованные в иенских мастерских Карла Цейса.

— Я это знаю, — ответил Горчаков невозмутимо. — Но политика не терпит сентиментальности. Сейчас все эти бисмарки и мольтке, хотят они того или не хотят, льют воду на русскую мельницу... Парадокс, однако — так: стремясь к Парижу, немцы косвенно помогают России возродить Черноморский флот! **МЫ ОСТАНОВИМ ПРУССИЮ, КОГДА НАШ ФЛОТ ВЕРНЕТСЯ В ГАВАНЬ СЕВАСТОПОЛЯ...** Ясно?

В 1867 году открылась Всемирная выставка в Париже (важное событие в истории цивилизации народов!). Съехались и монархи. Рядом с массивной глыбой русского царя восседал миниатюрный Наполеон III. Они проезжали в открытой коляске через Булонский лес, когда из толпы парижан швырнули в них бомбу, пролетевшую мимо. «Если ее бросал итальянец, — сказал Наполеон III, — то бомба принадлежала мне. Если поляк — то это вам, мой друг!» Бомбу бросал поляк, и русскому царю было неуютно в Париже...

А выставка была удивительна, хотя Россия, еще не имея опыта в этом деле, предстала весьма скромно. Петербург решил покорить Париж дешевым обжорством, и толпы парижан осаждали русский ресторан, где им с поклонами прислуживали боярышни в жемчужных кокошниках, где соколами летали с подносами бедовые ребята-половые. Французам подавались: кислые щи, гречневая каша, пироги и кулебяки, окрошка и ботвинья. Вихрем кружились цыгане, и старая таборная ведьма с глазами, как две черные тарелки, качая кольцами серег в ушах, удущала парижан басом:

Обобью я гроб батистом,  
А сама сбегу с артистом...

Ну а что Пруссия? Бисмарк выкатил на Марсово поле в Париже произведение Круппа, олицетворявшее новую Пруссию, — не пушку, а монстр-пушку весом в пятьдесят тонн. Это было чудовищное зрелище, и парижане не понимали только одного: зачем бедным пруссакам нужен такой дорогой монстр?..

Через три года они это поняли, когда великоленная, прекрасно обученная армия Пруссии рванулась к Парижу, разбивая по очереди одну армию французов за другой, будто злой мальчик ломал детские игрушки девочки. Все решилось в битве при Седано, где император сдался сам и сдал в плен свою армию. Наполеон III ехал в широком ландо, когда на громадной рыжей кобыле к нему подскакал заляпанный грязью Бисмарк в железной каске и отсалютовал ему палашом:

— Нет, вы не Христос, а я не Пилат... Помните, вы говорили мне: «Государственный деятель подобен высокой колонне: пока она на пьедестале, никто не может измерить ее, но когда она рухнула — мерь ее кто хочешь и как хочешь...» Вы рухнули!

В Зеркальном зале Версаля он почти насильно венчал голову Вильгельма I короною императора — на политической карте Европы возникла новейшая держава, на совести которой впереди будут лежать две мировые войны. Пруссии не стало... Появилась мощная Германская империя!

— Вот теперь, — сказал в Петербурге русский канцлер, — когда тщеславию берлинских михелей и фрицев удовлетворено, мы сделаем то, что угодно матери-России...

По миру разошелся знаменитый циркуляр Горчакова, в котором канцлер объявил, что Россия отказывается от соблюдения статей Парижского трактата...

Жомини предостерег князя:

— Сейчас на вашу голову падут молнии.

— Но я сижу под таким дубом, что мне не страшно.

Первым влетел в кабинет посол королевы Виктории:

— Англия прочла вашу ноту с... ужасом!

Выстояв под словоизвержениями посла, князь ответил:

— Благодарю вас, сэръ, за то, что вы дали мне возможность прослушать удивительно забавную лекцию, похожую на диссертацию по международному праву... Я даже вспомнил свою юность!

Вслед за послом Англии явился посол Австрии:

— Вена прочла вашу ноту с крайним... удивлением...

— Ах, и только-то? — засмеялся Горчаков. — Право, не узнаю гордой Вены... Лондон прочел мою ноту с ужасом, а вы вникли в нее лишь с удивлением. Но знайте, что Россия стояла и стоять будет на Черном море ногою твердой... *на века!*

Ф. И. Тютчев тогда же отметил это событие стихами:

Да, вы сдержали ваше слово:  
Не двинув пушки, ни рубля  
В свои права вступает снова  
Родная русская земля  
И нам завещанное море  
Опять свободною волной,  
О кратком позабыв позоре,  
Лобзает берег свой родной.

Два старца остро взирали один на другого через блестящие стекла очков, отшлифованные в иенских мастерских Карла Цейса.

Парижский пролетариат уже тогда нес на своих знаменах идеи Интернационала, и потому самую большую пушку французы называли «Бетховен», а самый крупный воздушный шар — «Союзом Народов». Химики трудились над изготовлением похлебки из желатина. Почту по стране разносили голуби, но Бисмарк велел доставить из Германии стаю ястребов, которые, играя роль будущих «мессершмиттов», в воздушных боях сбивали беззащитных голубей. Каминь в Париже

стояли холодные. Историки подсчитали, что было съедено 5000 кошек и 1200 собак; крыс не стало... Возле дверей русского посольства толпились очереди: русская дипломатия кормила голодных парижан. Настали громкие дни Парижской Коммуны...

Перед этим на пороге Горчакова предстал Тьер

— Только одна Россия может спасти Францию, — заплакал он.

— Францию спасет сама... Франция, — любезно отвечал канцлер послу. — Но рука Парижа, протянутая к Петербургу для пожатья, не повиснет в воздухе... Не забывайте — вы побывали у нас в Крыму! Необходимо время, чтобы следующие поколения русских людей воспринимали этот факт как исторический казус — не больше.

Бисмарк отнял у французозв Эльзас и Лотарингию; Бисмарк наложил на Францию шесть миллиардов контрибуций. «Бархатный» канцлер из Петербурга показал свои когти «железному» канцлеру в Берлине, и контрибуции были снижены до пяти миллиардов... Горчаков теперь говорил другим тоном: «Нам, русским, **НУЖНА СИЛЬНАЯ ФРАНЦИЯ...**» В общественном мнении России вдруг что-то надломилось: все вокруг кричали о беде Франции и громко осуждали разбой Германии. А потому, когда в 1873 году, сверкая железными касками и шишаками, явились в Петербург, будто на смотрины, Вильгельм I, Бисмарк и Мольтке, русская публика встретила их холодным, презрительным равнодушием... Бисмарк наедине повидался с Горчаковым.

— Вы получили в соседи сильную Германскую империю, — сказал он. — Таковую сильную, что с ней надо считаться.

— Теперь нам желательно иметь сильную Францию, с силой которой вам, сильным немцам, предстоит сильно считаться...

Бисмарк расхохотался! Он надеялся, что миллиарды контрибуций закабалят Париж, французы еще долго будут шататься от голода, покорно выслушивая фельдфебельские рыки из Берлина. Но случилось невероятное: Франция быстро расплатилась с Берлином — и это было ударом по Бисмарку, ударом по всем планам Германии. Народ Франции доказал свою жизнестойкость. Даже великий Пастер, на время забыв о микробиологии, взялся за выделку пива, чтобы на рынках Европы французское пиво победило отличное немецкое; в своем патенте Пастер писал: «Это будет пиво национального реванша...» Он своего достиг — французское пиво стало лучше баварского.

— Нам больше ничего не остается, — рассуждал Бисмарк, — как снова наброситься на Францию и сожрать ее так, чтобы хруст костей был услышан даже в пустынях Патагонии.

Бестрепетный Мольтке мудрил над картами:

— А вот и Бельгия — отличный коридор к Парижу...

Уже выковался первый вариант будущего «плана Шлиффена»\*.

---

\* «П л а н Ш л и ф ф е н а» — германский план войны на два фронта — с Францией и Россией

Европа видела дурные сны. Франции грозила катастрофа.

Горчаков стоял возле самых истоков кризиса.

— Очевидно, вся моя жизнь, — говорил он, — являлась лишь прелюдией к той битве, в которую я сейчас вступаю...

Немецкие газеты кричали: Германия не смирится с тем, что ее соседка богатеет и вооружается. Русский посол в Берлине депешировал Горчакову: германские пушки на Рейне уже заряжены... Была ранняя весна 1875 года! Утром лакеи одевали старого канцлера. Щелкнула челюсть, поставленная на место. Его бинтовали в корсет, и грудь выпрямилась. После мытья огуречным рассолом лицо размягчилось. Был подан фрак. Муар андреевской ленты опоясал его; звезды сверкали бриллиантами; на шее канцлера болтался драгоценный «телец» ордена Золотого Руна... Что еще?

Начиналась битва железных канцлеров.

Карета эффектно остановилась возле французского посольства. Завтра об этой эскападе будут писать все газеты мира.

Горчаков взмахнул шляпой перед послем Франции.

— Дорогой Леффло, — сказал он ему, — я всегда был поклонником вечно юной красавицы Франции. Будьте же уверены (и заверьте в том Париж!), что отныне все усилия России будут направлены к тому, чтобы сдержать тевтонское нетерпение Берлина...

В мае Париж и Брюссель просили Петербург о поддержке в случае нападения Германии; канцлер переломил в своем повелителе родственные настроения, царь открыто выражал приязнь к Франции.

— Ваше величество, — внушал ему Горчаков, — вы отправляетесь пить эмские воды. Я думаю, что по дороге в Эмс оправдана короткая остановка в Берлине, чтобы образумить тамошних драчунов...

Александр II согласился на остановку. Вдоль перрона берлинского вокзала свежий ветер раздувал белые пелерины германских генералов; мордатый Бисмарк, в меру пьян, небрежно прикладывал два пальца к сверкающей каске. Горчаков взирал на суету встречающих через оконное стекло царского вагона...

Рейхсканцлер шепнул Мольтке — с откровенностью:

— Сейчас Горчаков выпрется из вагона, как надушенная примадонна, и станет действовать мне на нервы старомодным белым галстуком и претензией на версальское остроумие... Ужасный старик!

Вдоль идеально подметенного перрона шли два властелина Европы — кайзер Вильгельм I и император Александр II; Горчаков наблюдал, как резко жестикулировал царь и как в недоумении разводил руками германский кайзер. Горчаков снял цилиндр и, взмахнув им, приветствовал пелерины и колеты бравой потсдамской гвардии, кричавшей ему то немецкое «хох», то русское «ура».

Переговоры начались. В планах Бисмарка было ввести немецкую армию во Францию и четырнадцать лет держать страну под прессом оккупации, высасывая из нее последние соки контрибуциями. Но в

беседе с Горчаковым канцлер всю вину за «боевую тревогу» сваливал на газеты. Речь его, как всегда, была напористой и грубой:

— При всем моем желании, согласитесь, я не могу быть и редактором. Если нашелся такой газетный идиот, который, воя на луну, тоскует по Парижу, так я не запрещаю — бери паспорт и поезжай в Париж! Наконец, еврей Ротшильд... вы бы знали, какая это свинья! Ради биржевых спекуляций он готов устроить скандал на всю Европу, а виноват... я! — Разляя газетчиков и банкиров всего мира, Бисмарк «дал жару» своим генералам: — Я не генерал, слава богу, а значит, не такой осел, как мои генералы. Что Мольтке? Это еще молокосос. Генералы подняли суматоху, словно у них горит ярмарка, но я-то остаюсь спокоен и тверд... Зачем нам, немцам, превентивная война? Зачем мне, рейхсканцлеру, лишние лавры в суповой тарелке? Кроме сосисок и выпивки, мне ничего не надо...

Горчаков костяшками пальцев сухо постукивал по столу:

— Я вам уже говорил и заявляю снова: России нужна сильная Франция, и отныне любой ваш конфликт с Парижем сразу же отзовется на берегах Невы. Молодой человек, — сказал князь (Бисмарку, молодому человеку, исполнилось как раз 60 лет), — не забывайте, что войны возникают от тихонько сказанных слов, которые произносят дипломаты, пороку никогда не нюхавшие.

— Ну, я-то понюхал... При Садовой, при Седане!

— Тем более, — заключил Горчаков, — будьте осторожны...

«Бархатный» канцлер задержался на пороге.

— Кстати, — заметил он вскользь, — я перестал осуждать французов, желающих возвращения Эльзаса и Лотарингии... Говорят, из недр этих провинций вы, немцы, сейчас выгребаете немало сырья для крупповских домен в Эссене... Неужели это правда?

Дверь закрылась. Бисмарк треснул кулаком по столу:

— Ненавижу... этот белый старомодный галстук!

Насилие получило отпор, и Бисмарк (великий реалист XIX века) понял, что Россия всегда будет камнем преткновения на путях германской агрессии. Утром кайзер заметил канцлеру:

— У вас нездоровый вид. Вы плохо спали?

— Прекрасно! Я всю ночь дышал лютой ненавистью...

Гнев и ненависть были его двигателями: эти чувства были необходимы канцлеру, как другим нужны любовь и дружба. Горчаков разослал по русским посольствам шифровку: *сохранение мира обеспечено*. Газеты исказили ее, выявив неизбежную суть визита Горчакова в Берлин. «*Теперь*, — подчеркивали они, — мир обеспечен!» Бисмарк и германская военщина трубили отбой по всей линии фронта. Милитаризм получил поражение от дипломатии. Горчаков, по сути дела, отсрочил первую мировую войну, которая началась в 1914 году, а могла начаться и в 1875 году...



Неофашисты на Западе ныне проводят мысль, что Бисмарк совершил непростительную ошибку, спасовав тогда перед российским канцлером. Начни он тогда бойню с Францией и Россией — и Германию миновали бы поражения 1919 и 1945 годов, а «цели, которые ставил перед собой Гитлер, были бы достигнуты давно...». «Немцы, — пишут фашистские историки, — были слишком порядочными». Но в том-то и дело, что князь Горчаков победил, а последствия победы сказались в будущем...

Пушкин в молодости писал Горчакову:

Невидимо склоняясь и хладея,  
Мы близимся к закату своему...  
Кому ж из нас под старость День Лицея  
Торжествовать придется одному?

Горчаков торжествовал в одиночестве глубокой старости.

Последние годы он провел в Ницце, где снимал четыре крохотные комнатки, а обедать ему носили из трактории, и старик мудро терпел перегорелый лук, нищету итальянского супа, прогорклое масло. При нем была сиделка, которая под руку водила его, как младенца, на прогулки. Ходили слухи, будто светлейший князь Александр Михайлович Горчаков оставил после себя удивительные мемуары.

— Это вздор! — говорил он заезжим в Ниццу русским людям. — Всю жизнь я терпеть не мог процесса писания и лишь наговаривал секретарям, а уж они записывали... ноты, циркуляры, трактаты!

Горчаков умер в марте 1883 года, когда люди, впоследствии приведшие к власти Гитлера, были уже взрослыми: Гинденбургу было тридцать семь лет. А Людендорфу восемнадцать. Бисмарк, мучимый «кошмаром коалиций», пережил Горчакова на шестнадцать лет. Корону германского императора носил теперь Вильгельм II, и канцлер видел, что сухорукий кайзер затевает мировую бойню... Бисмарк в рейхстаге предостерегал:

— Германия непобедима лишь до тех пор, пока она не трогает русского медведя в его берлоге. Не забывайте, что у нас бьется только одно сердце — Берлин, а русские имеют два сердца — Москву и Петербург... Будем же мудры: побережем кости наших славных померанских гренадеров! А если мировая война все же возникнет, то в конце ее ни один из немцев, отупевших от крови, не будет уже в состоянии понимать, ЗА ЧТО ОН СРАЖАЛСЯ...

Затем последовала отставка — неизбежная, как и война!

Ленин писал, что Бисмарк по-своему, по-юнкерски, сделал прогрессивное историческое дело: «объявление Германии было необходимо... Когда не удалось объединение революционное, Бисмарк сделал это контрреволюционно». Глубоко оскорбленный отставкой, похожей на оплеуху, канцлер удалился в свое имение Фридрихсруэ, где днями по-

глощал крепкие вина, а по ночам делал себе обильные впрыскивания морфия. Бисмарк почти не спал. Однако голова его оставалась свежей. Он еще силился отсрочить крах империи, им же созданной, и призвал улучшить отношения с Россией, но ему уже не внимали... В канун смерти Бисмарк вспомнил, что полвека назад Горчаков пророчил во Франкфурте: «Топор революций уже стучит в основании социального дерева!» — русский канцлер умел предвидеть, а выражался образно. Бисмарк еще говорил, что Германия без дружбы с Россией погибнет, а вся его политика (*вся!*) была построена исключительно с учетом того, что Россия непобедима, если же теперь немцы решили думать о России иначе, то ему оставалось только одно — умереть!

В июле 1898 года он умер, и не было такой газеты в мире, которая бы не отметила эту смерть «крепчайшего дуба германского леса». Начинаясь XX век — «воистину железный век»! Надвигалась война, которую философски предчувствовал Фридрих Энгельс, говоривший, что короны цезарей покатаются по столичным мостовым и уже не сыщется охотников их подбирать. Так и случилось: Первая мировая война, развязанная кайзером, вдрызг разбила короны трех главнейших династий мира — Романовых, Гогенцоллернов и Габсбургов...

Ни кайзера, ни фюрера не устраивали слова Бисмарка:

*«Даже самый благоприятный исход войны ведет к разложению основной силы России, которая зиждется на миллионах русских... Эти последние, даже если их расчленишь международными трактатами, так же быстро вновь соединятся друг с другом, как частицы разрезанного кусочка ртуты. Это — неразрушимое государство русской нации, сильное своим климатом, своими пространствами и ограниченностью потребностей...»*

В «Истории дипломатии», откуда я цитирую эти вещие слова, сказано: «Строки эти отнюдь не свидетельствуют о симпатиях канцлера к России. Они говорят о другом — старый хищник был осторожен и зорок». Сейчас уже мало кто знает, что в 1900 году в Москве был сооружен памятник «железному» канцлеру. Справедливости ради замечу, что Россия памятника Бисмарку никогда не ставила — его соорудила немецкая колония, а в 1914 году москвичи обвязали его веревками и свергли с пьедестала как вещь ненужную!

## **Человек, переставший улыбаться**

Время было жертвенное — без сентиментальностей...

Это было время Александра II с его реформами.

Время, когда русский солдат шагнул за Балканы, неся свободу южным славянам, а в глубоком подполье работала «Народная воля» — партия смельчаков, готовивших царевубийство.

...Шеф жандармов Дрентельн дочитал революционную прокламацию и с улыбочкой заметил своим подчиненным:

— А бумага-то у наших нигилистов — плоховата. На дешевенькой печатают. Да и краска у них чем-то пованивает...

Вскоре на имя Дрентельна почта столицы доставила пакет. Шеф жандармов вскрыл его и — обомлел: народовольцы переслали ему очередную прокламацию, но теперь она была оттиснута на веленовой бумаге с золотым обрезом, словно визитная карточка, от нее исходил тончайший аромат дорогих парижских духов.

— Господа, что это значит? — был поражен Дрентельн. — И откуда они могли вызнать, что я хулил их паршивую бумагу?

— Коллежский регистратор, да еще в отставке — это такая мелкая тля, что даже не видать, как она ползет, — примерно в таких уничижительных словах Клеточникову вчера отказали от службы в одном весьма солидном департаменте столицы...

Быль октября 1878 года. Николай Васильевич приехал в Петербург из Пензы, где проживали его родители. Чиновник был тих и робок в поступках, одевался подчеркнуто скромно, а сухой отрывистый кашель выдавал в нем сильно запущенную чахотку. Глядя на этого «мелкотравчатого» чинушу, никогда нельзя было подумать, что он приехал в столицу, готовый покуситься на жизнь царя-реформатора. Клеточников задумал убийство в одиночку, никого не желая посвящать в свои планы, дабы не было лишних жертв.

Один современник позже вспоминал, что в Клеточникове было много «детски чистого и милого... С первого знакомства становилось ясно, что видишь кроткого и доброго человека, который не знает зла и питает к людям одни братские чувства». Такое впечатление он производил на людей! Однажды, будучи в гостях у приятеля, Клеточников познакомился с молодым человеком, назвавшим себя Петром Ивановичем.

— А по какому ведомству служите? — спросил он.

Николай Васильевич рассказал, что по слабости здоровья университетского курса не кончил, долго прозябал в канцелярии ялтинского суда, потом служил кассиром в Симферополе, где получал годовое жалованье до тысячи рублей...

— О, так вы человек, я вижу, небедный?

— Пока не жалуясь, — согласился Клеточников. — Да и запросов у меня очень мало. На рысаках не езжу, а нанимаю «ванек», в ресторанах не обедаю, а кормлюсь по кухмистерским. Но без службы вот уже никак не могу обойтись.

— Привычка сидеть за чиновным столом?

— Возможно, и привычка. Называйте как вам угодно...

Клеточников не знал, что перед ним не «Петр Иванович», а талантливейший конспиратор — Александр Михайлов, который вошел в историю народовольчества под кличкой Дворник, ибо следил за чистотою рядов партии, страхуя ее от провалов и провокаций.

Безошибочным чутьем подпольщика Михайлов сразу определил в Клеточникове нужного для партии человека и, как следует «прощупав» его взгляды, однажды напрямик заявил, что по своим убеждениям является социалистом, служит делу грядущей революции.

— И вы, Николай Васильевич, ежели разделяете со мною идеи свободы, то как человек вне всяких подозрений со стороны правительства можете оказать нам большую услугу.

— Чем же я могу быть полезен?

— Для начала, — сказал ему Дворник, знавший Петербург как свои пять пальцев, — вам надо снять комнату в том доме, что расположен на углу Невского и Надеждинской улицы.

— А зачем это? — спросил Клеточников.

— Вы должны понравиться вдове полковника Кутузова...

В доме Яковлева, на углу Невского и Надеждинской (ныне улица Маяковского), проживали секретные агенты III отделения. В этом же доме издавна селилась госпожа Анна Кутузова, сдававшая внаем меблированные комнаты для постояльцев.

Эта respectable дама некогда знавала лучшие дни!

В молодости она была красавицей и, обольщая иностранных дипломатов, ловко выкрадывала у них секретные документы, отчего и пользовалась особым доверием корпуса жандармов. Потеряв былую красоту, Кутузова не потеряла интереса к авантюрной жизни. Считаясь по документам акушеркой, она проживала на солидный пенсион полковницы, а в своей квартире устроила нечто вроде шпионского салона, куда и сходились на огонек ее закадычные друзья — тайные агенты III отделения... Клеточников снял для себя одну из комнат ее квартиры и сразу же покорило сердце стареющей львицы тонким умением раскладывать трудный пасьянс «Побег Наполеона с острова Эльба». За чашкою кофе или перебирая картишки, мадам Кутузова доверительно исповедовалась в своем бурном прошлом.

— А герцог Монтебелло, посол Франции... Боже, как он был мил, ах, ну до чего же мил! — восклицала она. — Помню, у него в доме пропал золотой сервиз. Ах, сколько шуму тогда было...

— И нашли?

— Что?

— Сервиз-то.

— Конечно! Маркиз даже ездил благодарить государя за совершенство русской полиции. «Благодарю, — сказал он царю, — был у меня один сервиз, теперь стало два, ибо один нашла ваша полиция, а второй обнаружился вчера в кухонном буфете, куда давно не заглядывали...»

Квартирант выслушал ее и, печально вздохнув, не раз жаловался, что никак не может подыскать службу в столице.

— Все места заняты, а я из провинции... Мне уж не к столу приесть, а хотя бы у подоконника приткнуться!

Кутузова призналась по секрету, что она и по сие время иногда услуживает жандармам, и сама предложила:

— А вот и вы! Разве не согласились бы служить в Третьем отделении? Господин Кириллов как раз начальник «агентурной экспедиции». Хотите, я замолвлю за вас словечко?

— Отчего же и нет! — обрадовался Николай Васильевич...

Колесо роковой фортуны совершило оборот: 25 января 1879 года Кириллов предложил Клеточникову место... шпиона.

— По рублю в сутки, — хмуро посулил он. — Служба у нас, сами знаете, беспокойная. Подметок жалеть не приходится. Иногда и по мордасам влупят за здорово живешь — обижаться не советую. Зато пенсион у нас хороший. Старость обеспечена... Согласны?

— Премного вам благодарны, — отвечал Клеточников.

Но шпион из него получился прескверный: он «не сумел» выследить ни одного подпольщика, не раздобыл ни одного адреса конспиративной квартиры. А господин Кириллов на него нажимал:

— За што мы тебе, очкарику, по рублю в день платим? Или ты думаешь, мы тебя наняли ради прогулок на свежем воздухе?..

Николай Васильевич жаловался Михайлову:

— Надо же понять Кириллова — он прав! Если я не выведаю хоть малую толику о нашей партии, меня просто возьмут за шкуру и выкинут вон... это у них просто! Не могли бы вы сами открыть мне что-либо такое, весьма незначительное для нашего дела, чтобы я мог, простите, «донести»?

По совету Михайлова, он вскоре подал начальству прошение освободить его от агентурной службы по «врожденной близорукости», что было правдой, — Николай Васильевич носил очки. Кроме того, Клеточников с надрывом признался Кириллову:

— Поверьте, все эти поганые демократии так отвратительны, я не могу даже серьезно рассуждать о них... Как же мне привлечь доверие нигилистов, если я в каждого из них готов плюнуть!

В марте 1879 года Клеточникова перевели в переписчики при канцелярии агентурного отдела; теперь партия «Народной воли» получила доступ к тайникам святая святых III отделения.

— Как это ни странно, Николай Васильевич, — говорил ему Михайлов, — но я прошу вас усердствовать на этой службе. Старайтесь служить так, чтобы к вам была применима старинная чиновная поговорка: «крест в петлицу и геморрой в поясицу»...

Обладая каллиграфическим почерком (что особенно ценилось в те времена), Клеточников раньше всех являлся на службу и позже всех покидал ее. А потому начальство сочло его за человека «не только не подозрительного для выдачи каких-либо тайн, но, напротив, даже вполне пригодного для их хранения».

Поздний вечер. Пустеют мрачные кабинеты. За окном кружится мягкий сырой снежок. Одинокий чиновник, как верная канцелярская

крыса, съевшая на своем веку не один уже казенный гроссбух, строчит донесение о планах проведения обысков на завтрашний день.

— Все еще трудитесь? — намекает ему Клеточников.

— Да разве тут кончишь, — зевает чинуша. — Обещал жене, что приду пораньше. Сегодня она морковный пирог испекла. Да и сына давно обещал высечь, все времени не хватает... А вот погибаю тут! От пирога одни корки останутся, это уже как всегда, а любезный сын возрадуется, что уклонился от посеканий.

— Ну, идите домой, дорогуша. Я за вас допишу.

— Вот спасибо, вот спасибо. Золотой вы человек...

В полном одиночестве Николай Васильевич открывал секретные сейфы, листал бумаги полицейских досье. Ага! Платный агент Рейнштейн (по прозвищу Николка) проник в рабочие кружки москвичей, работает вне подозрений. Ну, что ж, завтра об этом узнает Михайлов, а потом в номере московской гостиницы полиция обнаружит своего агента мертвым... А вот на лицах сослуживцев заметна радость. Клеточников настороже: что бы это значило? Ага! Кто-то из арестованных проболтался на допросе, выдал адрес подпольной типографии. Полиция совершает облаву, но в помещении — ни станков, ни людей, ни клочка бумажки (дворник партии всегда подметает чисто).

Ретивое усердие Клеточникова заметили, и он удостоился доступа к бумагам сугубо секретным. В апреле 1880 года он вдел в петлицу своего фрака орден Станислава за «беспорочную» службу, затем получил и прибавку к жалованью (кстати, все свое жалованье он через Михайлова отдавал на дело грядущей революции). А еще через месяц его повысили в должности и перевели в особо секретную часть Департамента государственной полиции, где начальники стали приглашать Клеточникова на свои вечеринки...

Вера Фигнер впоследствии рассказывала:

— Николай Васильевич Клеточников был для целостности нашей организации человек совершенно неоценимый: в течение двух лет он стойко отражал все удары, направленные правительством против нас, и был охраною нашей безопасности.

Умный и тонкий наблюдатель, Клеточников обладал и удивительной памятью. Ежевечерне уносил из департамента в своей голове обширную поживу имен, цифр и адресов. Встречаясь с Михайловым, он наизусть диктовал ему детали погромных планов жандармерии, ни разу не ошибаясь в фамилиях, названиях улиц и номерах домов. Особенно тщательно изучал Клеточников сыщиков, живо обрисовывая на словах их внешний вид, их привычки и даже походку, чтобы партия всех агентов знала, так сказать, в лицо.

Наконец настал такой момент, когда царская полиция, призванная для борьбы с народовольцами, *вдруг сама оказалась в руках народовольцев*. И совсем неожиданно Александр II получил из-за границы анонимное

письмо, в котором его предупреждали, что в III отделении завелся ловкий и опасный враг, для которого не существует никаких тайн. Император переправил донос шефу жандармов с лаконичным приказом: «Найти изменника и *навсегда* запереть его в крепости». Клеточникова спасло одно обстоятельство: доносов скопилось уже такое множество, что III отделение перестало придавать им значение, и письмо с резолюцией императора потонуло в мутном потоке всяческой лжи...

Но работать становилось труднее. Один из товарищей Клеточникова писал, что «его жизнь была жизнью мученика. Глубочайшая тайна, какую было необходимо окутать даже его существование, совершенно изолировала его от людей единомыслящих, удаляла его от всего честного и достойного общества, за исключением двух-трех человек, которые не могли его компрометировать, по мнению Михайлова... И так, почти всегда он оставался среди людей, которых он презирал и ненавидел, но с которыми он вынужден был вечно играть ненавистную ему роль их сообщника и единомышленника. Это положение производило самое ужасное впечатление на Клеточникова — большой пессимист вообще, с каждым днем он становился таковым все больше и больше... Он даже состарился под тяжестью печального знакомства с извращением человеческой природы. *Он более никогда не улыбался!*» Таким и запомнили Клеточникова многие — человеком, никогда не улыбавшимся. В самом деле, незавидная выпала ему судьба...

28 ноября 1880 года «Народную волю» постиг тяжкий удар — был арестован пестун и хранитель партии А. Д. Михайлов.

Михайлов самолично исполнял обязанность по сбережению Клеточникова, а накануне своего ареста — ради конспирации! — он даже распустил слух, будто Клеточникова давно нет в Петербурге: куда-то выехал, мол, и не вернулся...

Николай Васильевич был потрясен арестом Михайлова.

Однако продолжал передавать нужные сведения народовольцу Саше Баранникову, которого 24 января 1881 года тоже арестовали. И вот тут боевой конь удачи споткнулся! Баранникова арестовала не жандармерия, а градоначальство — именно поэтому Клеточников ничего не знал об его аресте. Такие роковые случайности бывали, и, видимо, их не всегда можно избежать... На следующий день, 25 января, Николай Васильевич спокойно отправился на явочную квартиру для встречи с Баранниковым; всегда осторожный, он еще с улицы заметил знак безопасности явки, выставленной в окне, засады нет, а хозяин дома и поджидает его. Поднявшись по лестнице, Клеточников позвонил, как было условлено.

Дверь ему открыла... полиция!

Можно представить удивление Клеточникова, но трудно вообразить весь ужас сыщиков, узнавших в конспираторе видного чиновника

Департамента тайной полиции. Отговориться глупой случайностью было уже нельзя; тем более что на другой же день почта доставила по адресу Клеточникова письмо, которое перехватили жандармы. Письмо было сразу подшито к делу народовольцев, ибо почерк автора этого письма сразу напомнил почерк Андрея Желябова...

Ну вот, читатель, и сомкнулось кольцо.

Николая Васильевича судили по «Процессу 20-ти», когда Александр II уже был убит.

— До тридцати лет, — заявил на суде Клеточников, — я жил в глухой провинции среди чиновников, занимавшихся дрязгами и пойками. В этой бессодержательной жизни я чувствовал неудовлетворенность. Мне хотелось чего-то хорошего и светлого. Наконец я попал в Петербург, но и здесь нравственный уровень чиновного общества не был выше провинциального...

Клеточников сказал о своих коллегах-жандармах такую жесткую правду, которую, конечно же, они ему не могли простить!

— В столице я обнаружил, что есть одно отвратительное учреждение, которое, развращая людей, заглушает все лучшие качества человеческой натуры и вызывает к жизни все ее пошлые и темные черты. Таким учреждением и было Третье отделение! Вот тогда, господа судьи, я решился проникнуть в это мерзкое заведение, дабы парализовать его слепую волю...

Здесь председательствующий прервал речь Клеточникова.

— Кому же все-таки вы служили? — спросил он со злобной иронией. — Неужели этому отвратительному учреждению?

— Нет, — отвечал Клеточников, — я служил обществу.

— Какому обществу?

— Я служил русскому обществу...

— Но в России нет и не может быть «общества».

— Тогда я служил просто народу, — ответил Клеточников. — Да, пусть будет так! Я служил благомыслящей России.

— Сколько же вы брали от этого мерзкого учреждения?

— Много. Мне платили много.

— А сколько вам приплачивали ваши друзья-нигилисты?

Клеточников даже удивился:

— Ни копейки!

Виселицу ему заменили пожизненной каторгой.

В казематах Алексеевского рavelина III отделение отомстило ему за все. Жандармы знали, что Клеточников неизлечимо болен чахоткой, и его нарочно поместили в самую промозглую камеру, лишив даже прогулок.

Николай Васильевич объявил голодовку. Но, отказываясь от пищи, он выставил требование — чтобы облегчили не его участь, а участь его товарищей по партии: Н. А. Морозова, М. Ф. Фроленко, М. Н. Тригони



и других. Смотритель равелина Соколов прямо так и сказал в лицо Клеточникову:

— А как хочешь! Можешь жрать, а можешь идохнуть...

Соколов раньше был знаком с Клеточниковым по совместной службе в III отделении, и это еще больше обостряло его злобу.

Николай Васильевич медленно угасал.

На седьмой день голодовки, когда он уже не мог двигаться, Соколов вдруг приказал накормить его с применением силы. Клеточникова связали, двумя шпателями раздвинули ему зубы и пихали в рот как раз то, чего после длительного голодания человеку никак нельзя употреблять в пищу. Это были щи из кислой капусты и грубая, плохо проваренная ячневая каша.

В результате жестокого насилия и полного истощения Николай Васильевич через три дня умер: он умер не от чахотки — скончался в диких муках от воспаления кишечного тракта.

Иначе говоря, его сознательно умертвили.

Это случилось 13 июля 1883 года.

## Демидовы

Об уральских горнозаводчиках Демидовых у нас написано очень много, и по книге историка Евг. Карновича «Замечательные богатства частных лиц в России» можно видеть, что, сколько бы они ни транжирили, их капиталы не убывали, а, наоборот, возрастали.

Николая Никитича Демидова, посланника во Флоренции, мы вспоминаем от случая к случаю: он известен тем, что после пожара 1812 года одарил Московский университет уникальными коллекциями минералов, раковин, чучел птиц и зверей, положив начало музею; во Флоренции же он выстроил дом для сирот и престарелых, отчего там и площадь называлась Демидовской, украшенная памятником жертвователю из белого мрамора: Демидов был изображен в тоге римского патриция, обнимающим больного ребенка. Николай Никитич умер в 1828 году.

Возможно, читателям более известна жена его, Елизавета Александровна, урожденная баронесса Строганова, — известна по своим портретам, весьма выразительным, ибо, позируя художникам, она любила обнажать свою грудь, демонстрируя свои прелести с наивной и смущенной улыбкой. Наконец, на портрете известного Грёза она предстает перед нами в образе пречистой Мадонны; но иногда ее изображали и вакханкой, едва прикрытой шкурой дикого барса. По сути дела, эта любвеобильная женщина всю жизнь провела в Париже, не разведенная с мужем, но, как говорили тогда, «разъехавшаяся» с ним. Она умерла еще молодой, и на парижском кладбище Пер-Лашез сыновья соорудили над ее могилой великолепный мавзолей из чистого мрамора.

Сыновей у Демидовых было двое: Павел (1798–1840) и Анатолий (1812–1870) Николаевичи, вот о них и поведу свой рассказ, ибо сыновья были гораздо интереснее своих родителей.

Павел Демидов еще с колыбели был окружен картинами и попугаями, мраморными изваяниями и павлинами, учеными и паразитами, что садились за стол его отца подле его конторщиков и жуликов, делающих вид, что они очень нужны хозяину. В своем флорентийском палаццо отец давал балы для всей Италии, но сам, уже разбитый параличом, катался среди танцующих на коляске; своя опера, свои конюшни, свой музей, свой зоопарк и птичник... Время от времени в палаццо Серрестори являлись уральские мужики-рудознатцы и мастера, и в жизнь юного Павла входили услышанные от них слова: чугуны, платина, горны, золото, плющильня, малахит, ревизия...

Военная карьера Демидова закончилась чином штабс-капитана Сонноегерского полка, а придворная — застыла на звании егермейстера. Павел Николаевич был умен и образован, он искренне желал бы принести пользу Отечеству и в 1834 году согласился стать губернатором в Курске, где лишь две улицы были мощены, во дворах топились деревенские баньки, а в доме генерала Федора Гейсмара имелась даже ванна, и генерал охотно показывал ее гостям как некое чудо. Павел Демидов денег не жалел, приводя Курск в божеский вид, при нем свиней не выпускали на улицы, он разбил дивный городской парк и украсил Курск памятником «русскому Лафонтену — Богдановичу, автору знаменитой «Душеньки». Губернатор, повторяю, денег не жалел, потратив за два года лишь два миллиона рублей, отчего в Курске, где раньше все стоило гроши, теперь любая булавка стоила дороже, чем в Париже. Но обыватели его любили: когда в Курске была вспышка холеры, Демидов на свои же деньги построил не одну, а сразу четыре больницы, а чтобы Петербург не завидовал Курску, он построил в столице и детскую лечебницу (опять-таки на свои средства).

Как археолог и знаток искусства и древностей — а он и был таковым! — Демидов рано стал почетным членом Академии наук, и в 1831 году, «желая содействовать к преуспеянию наук, словесности и промышленности», он обязался при жизни своей и четверть века посмертно жертвовать на премии по пять тысяч рублей писателям, историкам, экономистам, ученым или путешественникам, кои обогатили своими трудами кладезь народной мудрости. При этом он поставил условие, чтобы в соискании Демидовской премии сами академики не смели участвовать:

— Знаю я эту публику... сам академик! Дай им волю, так они начнут раздавать мои премии один другому, а наши Гоголи и Пушкины получат от них по фигу с маслом...

Передо мною как раз лежит список лауреатов «Демидовской премии», но перечислять славных имен я не стану. У меня совсем иные

задачи. Тогда в высшем свете блистала удивительной красотой Аврора Карловна Шернваль, «роковая» женщина той эпохи. Обычно все мужчины, так или иначе с ней близкие, кончали плохо — смертью! Это была та самая красавица, воспетая юным Баратынским: «Видь, дохни нам упованьем, соименница зари, всех румяным появленьем оживи и озари...», А. А. Муханов, ее жених, в самый канун свадьбы с Авророй вдруг умер, ничем не болея, и красавица, перепуганная этой смертью, не сразу дала согласие на брак с миллионером Демидовым. Осенью 1839 года она родила от него сына — тоже Павла, а в мае следующего года муж скончался. Молодая вдова рыдала:

— Нет, больше никогда! Я приношу мужчинам смерть...

Шесть долгих лет Аврора Карловна вдовела, проживая вдали от света в Тагиле, о браке не думая, пока не встретила с полковником Андреем Карамзиным, сыном историка, и в 1846 году она стала его женой. Карамзин от имени малолетнего пасынка управлял миллионным состоянием жены и уральскими заводами, на которых рабочий люд сохранил о нем добрую память в потомстве. Но тут на Дунае началась очередная война с турками, сердце офицера Карамзина дрогнуло — он ушел воевать добровольно, хотя мог бы остаться дома. Вояка он был слишком лихой. Перед атакой велел подать ящик шампанского, распил его с офицерами и пошел в атаку, из которой не вернулся. Аврора Карловна послала в Валахию своего секретаря Иософата Огрызко, который и доставил на Урал останки ее мужа.

Более красавица замуж не выходила, целиком посвятив себя воспитанию единственного сына Павла, в котором души не чаяла. Она скончалась в 1902 году, уже в глубокой старости, на целых семь лет пережив своего единственного сына... Как видите, красота не всегда приносит женщинам счастье!

Демидов же Анатолий Николаевич родился в 1812 году, когда его мать, «разъехавшись» с мужем, состояла в давней любовной связи с графом Ираклием Полиньяком, офицером русской службы — из семьи французских эмигрантов. Не берусь судить, кто был подлинным отцом Анатолия, но Полиньяка, смею вас уверить, я вспомнил не напрасно... Анатолий в чем-то был очень схож со своим братом Павлом, а в чем-то он резко от него отличался. Оба влюбленные в мир искусства, братья по-разному взирали на мир, столь к ним благосклонный.

Анатолий Демидов смолоду был причислен к министерству иностранных дел, но дипломатом не стал, проживая на собственной вилле близ Флоренции. От отца ему достались не только заводы на Урале, но и все громадное собрание картин, бронзы, мрамора, различных редкостей, которое давно не вмещалось в залах его палатца. Часть сокровищ он отправил в Тагил, а на Васильевском острове Петербурга выстроил особое здание — вроде музея, так что его собрание занима-

ло три дома. Евгений Карнович писал, что годовой доход Демидова «простирается до 2 000 000 руб. Ему же, вместе с другими заводами, принадлежал и Нижне-Тагильский, на дачах которого найден был особый минерал, названный... Демидовит». Добавлю от себя, что Анатолий Демидов снарядил экспедицию французских ученых для исследования качеств каменного угля в Донбассе, словно заранее предчувствуя его великое будущее...

Не этим, однако, он остался известен! Проживая в Италии, Демидов близко сошелся с молодым Карлом Брюлловым, который по его же заказу создал гениальное живописное полотно «Последний день Помпеи», в котором слились воедино и высокое мастерство, и знание древности. Тогда же Брюллов начал и портрет Анатолия Демидова — в старобоярском костюме, верхом на лошади. Начал и не закончил! Только теперь у нас начали публиковать этот портрет в цвете, а до этого печатали лишь эскизы к нему, ибо следы его затерялись, и лишь недавно портрет обнаружили во флорентийской галерее «Палаццо Питти».

Такие люди, как Анатолий, не женятся по страстной любви, а подбирают себе жену, словно редкую вещь, чтобы пополнить коллекцию недостающим раритетом. Как известно, у Наполеона I был брат Жером Бонапарт, король Вестфальский, женатый на дочери короля Вюртембергского. Теперь, после краха Наполеона, семья экс-короля скиталась в изгнании; была у них дочь Матильда, носившая титул графини де Монфор, у которой с детства уже появились женихи. Случайно ее в Италии увидел Тьер, пожелавший женить на ней герцога Орлеанского, дабы примирить династию Бурбонов с наполеонидами. Все испортил папаша Жером, который, узнав об этом, сразу же стал выклянчивать деньги у царствующих во Франции Бурбонов. Странно, что появился и русский проект — чтобы Матильда стала женою наследника, будущего императора Александра II. Матильда тем временем подросла, у нее появились «корсиканские» замашки дяди. Если ее спрашивали о том, какие чувства она испытывает как принцесса, Матильда за словом в карман не лезла:

— С подобным вопросом обращайтесь не ко мне, а к настоящим принцессам! А я согласна хоть сейчас взять корзину с апельсинами и торговать ими в переулках корсиканского Аяччо...

Наконец, у нее возник серьезный роман со своим кузенком — будущим императором Наполеоном III, тогда еще сущим голодранцем. Сразу после помолвки кузен — ради добычи престола — устроил бунт в Страсбурге и бежал в Америку, чтобы его не посадили, а папаша Жером нашел для дочери мужа:

— Пусть у него отсутствуют претензии на занятие престола, зато он вывозит с Урала золото целыми бочками...

Это был брак по расчету, в котором выгадывали оба: он, потомок тульского кузнеца, роднился с династией Наполеона, она приобщалась

к его миллионам. Пожив недолго во Флоренции, молодые укатили на берега Невы, и здесь Николай I встретил мадам Демидову как свою близкую родственницу, ибо Матильда доводилась ему двоюродной племянницей (по матери императора, происходившей из Вюртембергского дома). Правда, первый же вопрос, заданный императором, прозвучал угрожающе:

— Кто вычеркнул имя моего сына Александра из матримониального списка претендентов на ваши руку и сердце?

— Я, — ответила Матильда, даже не дрогнув...

Николай I повадился гулять с Матильдой по Невскому проспекту, и царь долго не знал о том, что творится в демидовском доме. А там начались такие семейные сцены, о каких в русском народе сказывают — хоть святых выноси! Анатолий Демидов орал на свою «принцессу», словно извозчик:

— Ах ты, скважина худая, смеешь кичиться предо мною тем, что ты племянница Наполеона да нашего Николашки? В таком случае я остаюсь потомком кузнеца Антуфьева и покажу тебе «кузькину мать»... Ну, держись!

Показывание этой легендарной на Руси «кузькиной матери» слишком затянулось и однажды вывело Матильду из терпения. Накануне придворного бала, устроив жене очередной скандал, муж запретил ей появляться в Зимнем дворце, а сам уехал. Матильда вслед за ним прибыла во дворец, тюлевой мантилей укрывая обнаженные плечи и спину. Демидов кинулся было навстречу жене, но Матильда грубо отпихнула его прочь, представ перед русским императором. Рывком она сбросила с себя мантилью, показывая всем великолепные синяки.

— Что это? — удивился Николай I.

— «Кузькина мать», — отвечала мадам Демидова...

Результат был таков: император указал Демидову сразу же развестись с женою, ежегодно выплачивать ей по двести тысяч франков (пожизненно) и оставить Матильде все подаренные им бриллианты. Анатолий Николаевич утешился тем, что навсегда покинул Россию, вернувшись в Италию, купил в окрестностях Флоренции сказочную виллу «Сан-Дonato», вместе с нею украсив себя титулом князя Сан-Дonato (который, впрочем, не был признан за ним в Петербурге).

А принцесса Матильда вернулась в Париж, где занималась живописью, ее акварели получали наградные медали на выставках. Во время революции 1848 года она не покидала Париж, по-прежнему держа свой салон открытым. Отец и сын Дюма, Теофиль Готье, Ренан, Мериме, Гуно, Флобер, Мопассан, братья Гонкуры, историки Лависс, Вандаль и прочие светила Франции — вот круг ее друзей. Вернувшись на родину и став императором, Наполеон III присвоил Матильде титул «высочества», он звал кузину быть коронованной хозяйкой в Елисейском дворце, но быть женою кузена и даже императрицей Франции бывшая Демидова наотрез отказалась:

— У меня сейчас такое прочное положение в обществе писателей, артистов и художников, что я не променяю его ни на какую императорскую корону...

Сама она выпустила в свет только одну книжонку — «История моей любимой собачки Диди», хотя есть сведения, что оставила после себя обширные мемуары (какова их судьба — не знаю). Замуж она не вышла, но была тайно обвенчана с живописцем Клавдием Попленом, который очень долго восседал за ее столом в кресле хозяина дома; их брак однажды подтвердил «Готский Альманах», ведущий скрупулезный учет всем аристократам Европы, но позднее Поплен уже не появлялся на страницах этого холеного «Альманаха». Когда же началась Крымская кампания 1854 года, Матильда не раз выражала сожаление об этой войне, а после Парижского мира ее салон сразу распахнул свои двери для множества русских. Среди ее гостей частенько бывал и Анатолий Демидов, князь Сан-Дonato, ее бывший супруг, на которого в салоне Матильды никто не обращал внимания.

Я люблю перечитывать «Дневник» братьев Гонкуров, где очень много рассказано о принцессе Матильде и ее блистательном окружении. До глубокой старости она сохранила свежий ум, подвижность девушки и любовь к выражениям, не всегда приличным в большом свете. Уже в возрасте 82 лет Матильда отметила заключение франко-русского альянса тем, что приняла в Париже царственную чету — императора Николая II и его Алису.. Она приняла их в усыпальнице своего дяди — Наполеона I.

Матильда скончалась в 1904 году, на два года пережив свою близкую русскую родственницу Аврору Карловну Карамзину, урожденную Шернваль, столь несчастную в жизни...

Близится конец моего рассказа, и потому я договорю об Анатолии Демидове, князе Сан-Дonato... Разведясь с женою, он вдруг заделался страстным поклонником «культы личности» Наполеона I, за бешеные деньги скупая все реликвии — как самого императора, так и его времени. Мало того! В 1851 году Демидов приобрел замок на острове Эльба, куда был сослан Наполеон I после своего отречения в Фонтенбло, и создал в этом замке уникальный музей, какому могли бы позавидовать и французы. Часть сокровищ этого собрания была распродана с аукциона в начале нашего столетия, о чем я узнал из сообщения за 1913 год. Но уже в наше время Иван Бочаров и Юлия Глушакова в своей превосходной книге «Карл Брюллов» сообщают: «В современной Италии за недостатком персонала весь этот мемориальный комплекс, к сожалению, вот уже много лет закрыт на замок и недоступен для посещения...» Значит, музей все-таки уцелел? Несмотря на распродажу с аукциона?

Демидов, быстро старея, перебрался в Париж, посещая не только салоны, но и церковь русского посольства, где горячо молился об отпуше-

нии грехов. Он был очень выгодным прихожанином для церковного притча, ибо щедро оплачивал все обедни, которые часто заказывал во здравие свое. Но добрых эмоций в людях он не вызывал: «Самодур-миллионер, до уродливости тучный, страдавший подагрой... у него была особая карета с очень низкой подножкой, почти у самой панели. Его высаживали под руки два лакея», — писал о нем очевидец. Затем дюжий лакей укреплял на спине «дровоноску», в каких носят дрова, Демидов усаживался — и его втаскивали в церковь... Да, читатель, князь Сан-Дonato мало напоминал того молодого красавца, скачущего верхом на лошади, в костюме боярина, каким его в давние времена изобразил Карл Брюллов. 16 апреля 1870 года Демидов скончался, а через два года итальянский король передал титул «князя Сан-Дonato» племяннику покойного...

Это был Павел Павлович Демидов — сын красавицы Авроры Карловны и пасынок Андрея Карамзина, а его новый титул русское правительство охотно за ним признало, чтобы уважить короля Италии. Павел учился на юридическом факультете столичного университета. Это было время смятения в русском обществе, когда молодежь прониклась идеями нигилизма. Павел Демидов в компании со студентом Колей Бенардаки, сочувствуя времени, устроил на Невском проспекте дебош — с битьем магазинных витрин, с горячими призывами к раскрепощению духа. Арестованные, они сознались, что не в меру пили шампанского, а за разбитые витрины их папы и мамы заплатят. Боже мой, что случилось с Авророй Карловной, когда она узнала, что ее сыночек сидит в участке! Сергей Загоскин вспоминал в мемуарах, что она как почетная статс-дама устроила в Зимнем дворце сущий скандал, а маменька Коли Бенардаки, жена винного откупщика, угрожала полиции, что повысит во всей империи цену на водку, а тогда министрам и правительству несдобровать...

Для «перевоспитания» Павла спровадили в Вену — состоять при посольстве, чтобы образумился. Он женился на княжне Марии Мещерской, которая в Вене и умерла, родив ему сына Элима. Павел Демидов что-то еще натворил, почему из Вены и был отозван.

Ему грозило серьезное наказание, но ссылка была заменена назначением на должность чиновника в Каменец-Подольск. Там он впервые осмотрелся как следует, пораженный людской бедностью и безграмотностью. Великий Пирогов, знаменитый врач с мировым именем, проживал неподалеку в своем имении, а здесь, на базарах Литина и Винницы, знали один метод лечения — кровопускание. Доморощенные вампиры, обвешанные ножами, ланцетами и ножницами, предлагали кровь — «выпустить кровь по капле» или струей. Демидов своими ушами слышал, как одна баба на весь базар кричала старухе:

— Тетя Фрося, не давайся ты Берке за сорок грошей, ступай сразу к Зусю, он грошей берет мене, а крови выпустит больше...

В жизни темной провинции Павел Демидов — в шелковом пиджаке, при соломенной шляпе, с сигаретой во рту — выглядел Хлестаковым. Сам он ничего изменить в жизни народа не мог, но, желая помочь народу, Демидов стал поощрять столичный университет большими премиями — ради подготовки администраторов для русской провинции. Со временем из него образовался серьезный и деловой человек, умеющий понимать чужие нужды. Павел Павлович — уже князь Сан-Дonato! — шесть лет прослужил Киевским городским головой, а когда началась война на Балканах, он отправился на фронт уполномоченным Красного Креста и, человек богатейший, не жалел средств для помощи раненым и солдатам-инвалидам. За два года до смерти он завершил серьезную работу «Еврейский вопрос в России», где он пытался спокойно разобраться, в чем главные истоки антисемитизма в России...

Он скончался в январе 1885 года на флорентийской вилле «Пратолино»; от второй жены, княжны Елены Трубецкой, оставил сына Никиту и двух дочерей, перенявших красоту от своей легендарной бабки. Мария Павловна стала княгиней Абамелек-Лазаревой, а Аврора Павловна вышла замуж за полковника русской службы Арсения Карагеоргиевича, что был братом сербского короля Петра Карагеоргиевича. Конечно, во время революции они не стали ждать, когда их поставят к стенке, а вовремя перебрались в Италию и Белград, где начиналась иная жизнь.

Карагеоргиевичи были изгнаны из пределов Югославии, а Мария Павловна, умирая в 1956 году, все итальянское наследство Демидовых (даже тогда еще колоссальное!) завещала своему племяннику Павлу Карагеоргиевичу. Этот племянник, уже немолодой человек, эмигрант, все демидовское состояние распродал с молотка, «вплоть до вешалок». Наши искусствоведы писали, что «флорентийцы до сих пор вспоминают этот демидовский аукцион, неслыханный по богатству представленных на продажу предметов антиквариата и произведений искусства, способных украсить любой столичный музей...»

Вот и конец. На прощание скажу, что я еще раз просмотрел генеалогию обширного рода Демидовых, придя к выводу: не все из них сорили деньгами направо и налево, многие как бы откололись от могучего древа своего рода — вроде сучьев, и такие Демидовы служили отечеству офицерами, судьями, врачами, педагогами... Уверен, читатель, что среди нас, ничем нашего внимания не привлекая, живут еще немало тех самых Демидовых, что начали свое восхождение от скромной и дымной кузницы села Павшино, что расположено в двадцати верстах от трудовой Тулы.

## **Завещание Альфреда Нобеля**

Таблетки нитроглицерина продаются в любой аптеке. А было время, когда на всей планете три-четыре лаборатории готовили его в ничтожных дозах. Считалось, что нитроглицерин помогает от мигрени, излечивает



«пляску святого Витта» и острое воспаление почек. После этой справки сообщаю: баронесса Берта фон Зутнер, урожденная Кинская, долго жила в Грузии, занималась литературой. Ее прославил пацифистский роман «Долой оружие!», выдержавший несколько русских изданий. Это был гневный протест женщины и матери против войны, и в 1904 году писательница получила за роман Нобелевскую премию мира.

Читатель, наверное, еще не может связать воедино действие нитроглицерина на организм человека и роман «Долой оружие!». Я не желаю запутывать сюжет, но все же приглашаю в лабораторию знаменитого русского химика Николая Николаевича Зинина...

Однажды его навестил молодой человек.

— Вам интересны мои опыты? — спросил Зинин.

— О да! Очень.

— Тогда извольте отойти в сторону...

С конца тонкой палочки свисала безобидная капля. Заметно отяжелев, она сорвалась вниз, коснулась стола, и в тот же миг помещение заполнил вязкий упругий удар — взрыв!

Читатель уже догадался, куда я веду его. Капля жидкости, упавшая с палочки Зинина, была нитроглицерином, за взрывом наблюдал молодой Альфред Нобель, а Берта фон Зутнер стала впоследствии его личной секретаршей. Формулу нитроглицерина приводить не стоит, а читателю я желаю доброго здоровья, чтобы ему не пришлось бегать в аптеку за нитроглицерином.

Эммануэль Нобель, шведский инженер, проживал в Петербурге, где его мастерская разрослась в механический завод, который позже обрел славу под названием «Русский дизель».

— Вы должны помнить, — внушал он сыновьям, — что, пока вы изобретаете замок, где-то уже сидит вор, изобретая к нему отмычки. Будьте скрытны. Не доверяйте никому. Ведь всегда съестся человек, способный понять, над чем вы трудитесь...

Отец же трудился над взрывчаткой. Жизнь сыновей проходила в грохоте взрывов, в звоне вылетающих из окон стекол, они привыкли видеть опаленные жаром и кислотами руки отца. Нобели не раз выслушивали ругань соседей:

— Если вам жизнь не дорога, так — мое почтение! Только оставьте свои безобразия, иначе городского позовем, вот впихают всех вас в протокол, тогда сами не рады будете...

Во время Крымской кампании Эммануэль Нобель наладил производство морских мин, которыми Балтийский флот ограждал подступы к русской столице. Правда, у него не все ладилось с начинкой мин порохами, и потому его мины нельзя было счесть образцовыми. Фамилия Нобелей настолько сжилась в сознании с нефтепромыслами Баку, что иногда даже Нобелевские премии совмещают с монополией нефти

в старой России. Наши бабушки и дедушки давно повымерли, а то бы они рассказали, что во времена их юности вся провинция ужинала при свете ламп, заправленных керосином от Нобеля, что окраины русских городов были обставлены гигантскими баками с горючим, а баки украшались броской и лаконичной надписью: «НОБЕЛЬ». Однако наш герой — Альфред Эммануилович Нобель — не стал пачкаться нефтью: его трагический путь пролегал среди чудовищных взрывов, которые потрясали мир ужасом и ненавистью людей лично к нему!...

Нитроглицерин открыл в 1847 году Асканио Собrero, итальянский химик. Но взрывные качества препарата таили столько опасностей, что к нему долго не знали, как подступиться. «Барьер страха» успешно преодолели русские химики — Николай Зинин, его помощник Василий Петрушевский (тогда еще поручик артиллерии); в их лаборатории работал и великий наш композитор А. П. Бородин, о котором мы порою забываем, что он не всегда жил среди чарующих мелодий...

Зинин экспериментировал на своей даче в окрестностях Петербурга, где его соседями была семья Нобелей. Конечно, серия взрывов привлекала любопытную публику, в лаборатории появился и молодой Альфред Нобель, тактично выпытывающий у химика приемы обращения с опасным нитроглицерином.

— Все расскажу и все покажу, — обещал Зинин...

Россия стала для Нобеля второй родиной, а русский язык сделался вторым родным языком. Если отец указывал беречься посторонних, то Зинин, напротив, охотнейше делился с людьми своими колоссальными познаниями. Композитор А. П. Бородин так вспоминал о своем учителе: «Его беспредельная доброта, доступность, приветливость, простота и теплота в обращении с людьми, готовность и умение помочь всякому, кто в нем нуждался, сделали славное имя Зинина одним из самых популярных...»

Естественно, что Альфред Нобель прошел хорошую выучку в лаборатории Зинина, помогал его ученикам ставить опыты. Юный инженер был умен, сообразителен и безумно отважен в работе с нитроглицерином, столь грозным. Но в один из дней отец в семейном кругу объявил, чтобы готовились ехать в Швецию:

— Свой завод в Петербурге я оставляю сыну Людвигу, а все мы вернемся на землю нашей праматери, дабы в королевстве продолжать начатое в России... Нам необходим такой взрыв, чтобы весь мир вздрогнул при нашем имени — Н о б е л ь! Моя мечта — изобрести столь мощное оружие, которое бы сделало нас диктаторами в вопросах войны и мира на ближайшие столетия...

Нобели обосновались в Стокгольме, где с конца 1863 года отец безуспешно испытывал порох в смеси с нитроглицерином, надеясь, что это сразу увеличит силу взрыва. Альфред недоверчиво относился к опытам отца, доказывая ему другое:

— Порох может служить лишь детонатором для взрыва нитроглицеринов, но смешение их качеств есть заблуждение...

Кажется, в научно-семейном союзе наступил кризис. Младший Нобель не отказывал отцу в помощи, но добивался своих целей, и старший Нобель злорадным смехом отвечал на каждую неудачу сына. Но сын уже понял суть будущего триумфа и своему брату Оскару доказывал то, чего не хотел слушать отец:

— Там, где нельзя поджечь, можно взорвать, и — наоборот...

В семье Нобелей однажды мирно обедали, когда со стороны лаборатории, где трудился с рабочими Оскар, раздался взрыв чудовищной силы, и старший Нобель в восторге выкрикнул:

— Вот он, этот долгожданный взрыв, который принесет всем нам славу, почет и неслыханное богатство...

Но яркая вспышка взрыва обратилась в пожар; среди четырех обгорелых трупов нашли и неузнаваемые останки младшего в семье Нобелей — Оскара... Отец поник над его могилой:

— Будь оно проклято, мое ремесло! Никогда больше я не увижу и унции пороха, я не в силах сносить эти взрывы...

Отныне взрывы в лаборатории Альфреда его пугали:

— О чем ты еще хлопчешь там, безумец? Или ты надеешься, что нитроглицерином тебе оторвет голову?

— Я продолжаю ваше дело, отец. Вы же сами не раз говорили, что Нобелей ожидают слава, почет и богатство...

Шведский офицер Адельскиельд помогал Альфреду Нобелю в его работе с нитроглицеринами, он же писал в своих мемуарах, что за один рабочий день у них возникало не менее пятидесяти шансов взлететь к небесам, как горящая тряпка:

— Нам просто повезло! По-моему, Нобель и сам не знал всю сатанинскую силу нитроглицерина. Мы обращались с ним так легкомысленно, что он мог бы и взбеситься. Мы разливали эту пакость по пивным бутылкам, потом грузили бутылки в корзины, которые умудрялись возить на дребезжащих телегах. Можете смеяться надо мной сколько вам влезет: мы до того обнаглели, что нитроглицерином даже смазывали колеса телеги, чтобы они не слишком скрипели... Хорошенькая смазка, черт побери! До сих пор живу и удивляюсь — как мы тогда уцелели?

Летом 1864 года Нобель предложил России купить у него новый порох, якобы им изобретенный. Но среди русских артиллеристов дураков не нашлось, и они быстро доказали, что секрет «нового» пороха давно состарился: такие смеси Н. Н. Зинин получал еще в 1853 году. Боясь разоблачения, Нобель не стал отстаивать свой приоритет. Он предложил Стокгольму способы взрывания нитроглицерина и получил привилегию как изобретатель, с чего и начиналась его международная слава.

Здесь не место доказывать право на первенство русских ученых в обращении с нитроглицерином, но в России научный мир был

слишком далек от саморекламы, а Нобель уже торговал своей привилегией по всем странам мира. Это сильно задело молодого еще химика Д. И. Менделеева, который в 1869 году писал: «Расточать похвалы нитроглицерину у нас едва ли нужно... его свойства изучены нашими химиками едва ли не ранее, чем где-либо!» Но мы не станем умалять и подлинных заслуг Альфреда Нобеля, который был даже расточительно талантлив.

Список его изобретений велик. Именно из его потаенных лабораторий появился капсюль с гремучей ртутью, способный вызывать взрывы; Нобель составил рецепт бездымного пороха и создал сверхдинамит. На счету его изобретений — газовая сварка, искусственные шелка для женщин, гуттаперча для детских игрушек. Наконец, свободомыслящий гражданин США, садясь на электрический стул, конечно, не станет спрашивать своего палача:

— Скажите, пожалуйста, кто изобрел это чудо?

На это ему бы ответили:

— Как кто? Неужели вы не слышали о Нобеле?

Гамбург, где завод Нобеля производил нитроглицерин, сделался главным очагом международного страха. Отсюда Нобель распространял по всему миру, от Японии до Патагонии, злостную эпидемию взрывов, а сам нитроглицерин был чересчур доступен даже для негодяев. В ту пору люди не знали, как спастись от нобелевской продукции, поступавшей во все города Европы и Америки, — это была внешне безобидная жидкость, разлитая по бутылкам и бидонам. Натура любого человека такова: увидев бутылку, он машинально взболтнет ее в руке, после чего от любопытного не находили даже пуговиц от штанов или шнурков от ботинок.

Синодик жертв Нобеля оказался впечатляющ!

«Обращаться осторожно» — писали на бутылках с нитроглицерином, но эта надпись сначала никого не пугала, и простачки смело отодвигали от себя мешавшую им бутылку, а затем исчезали в огненном смерче. Лакей одного отеля в Нью-Йорке выкинул на улицу ящик, кем-то оставленный в дверях отеля, — и взрывом смело всех прохожих на улице. Нитроглицерин увечил людей в копиях Южной Африки, он потрясал мирно спящие города, он пополам разрывал в море корабли — и все это свершалось под бравым девизом: «Обращаться осторожно!»

Наконец, произошла нашумевшая катастрофа в Бремерхафене — главной базе германского флота, где готовился в дальний путь пассажирский пароход «Мозель». Некий бизнесмен Вильям Томсон, гражданин США, решил разбогатеть с помощью того же коварного нитроглицерина. Он напихал в ящики и в бочки всякое рваньё, кирпичи и помойный хлам, застраховавав «груз» на большую сумму, как драго-

ценность. Теперь, чтобы стать богачом, надо выждать, когда «Мозель» уйдет в море, где его тряхнет на резкой волне, тогда моментально сработает взрывчатка, упрятанная Томсоном в бочке. Но еще при погрузке на пристани «раздался страшный взрыв. В воздухе мелькнули люди, поднятые вверх, град обломков дерева и железа, оторванных рук и ног посыпался на пристань... «Мозель» лопнул по швам. Кругом все было усеяно частями человеческих тел, всюду виднелись лужи крови, убитые и раненые, из которых многие умерли при операции...»

Докеры в портах стали бастовать, отказываясь грузить ящики с бутылками, хотя они были заполнены обычным вином.

— Пусть таскает их сам Нобель, — говорили работяги, — а мы еще поглядим, сколько брызг от него останется...

Нобель начал терпеть убытки. Несколько стран подряд (Англия, Бельгия, Франция и даже Швеция) запретили перевозку и хранение нитроглицерина на своих территориях. Наконец в США конгрессмены выдвинули на обсуждение законопроект:

— Гибель человека при взрыве нитроглицерина следует считать сознательным убийством, а всех производителей нитроглицерина можно сразу же линчевать...

«Всех»? Но Альфред Нобель давно был один, он владел уже почти мировой монополией производства взрывчатых химикалий. Разве можно отказаться от дела, которому он посвятил всю свою жизнь? Нобель сделал громогласное заявление:

— Я намерен в ближайшие дни убедить недоверчивых клиентов в том, что нитроглицерин моих заводов в Гамбурге опасен даже меньше пороха. Для этой цели я обещаю лично провести перед публикой серию наглядных испытаний со взрывами...

«Профессор (Нобель), запасишься нитроглицерином, спичками, сигарами, запалами, а также огромной дозой храбрости, убедительно продемонстрировав присутствующим», что нитроглицерин — это безобидная игрушка. Нобель оказался удачлив: он не взорвался! Зато в конце испытаний ему подали свежую немецкую газету: взорвался его завод в Гамбурге! Нобель срочно выехал в Англию, где собрал промышленников, владельцев шахт и копей, дорожных строителей, которым и объявил:

— Смотрите, как безопасен мой лучший в мире товар...

Ставкой для него была сама жизнь: он нарочно провоцировал свои адские смеси поджогами, и они сторали, не взрываясь, он швырял пачки такой же смеси в пламя костра, а сам невозмутимо стоял рядом, наконец сбросил ящик взрывчатки с высокой скалы и остался цел. После этого Нобель показал свое искусство в управлении техникой взрывов, и ничего с ним не случилось.

— Это же неопасно, — убеждал Нобель скептиков.

Но сам-то он понимал, как это опасно! Он мучительно выискивал в тиши лабораторий не замену «свободного» нитроглицерина, а лишь

«поглотитель», который был сделал нитроглицерин покорным рабом человека. Нобель испробовал все, что только можно, — даже древесные опилки и пыль растертых кирпичей, пока не наткнулся на инфузорную землю из области Ганновера, пронизанную остатками древних водорослей.

— Э в р и к а! — мог бы, наверное, он воскликнуть.

Нитроглицерин превратился в пластичный комок — мягкий и податливый в пальцах Нобеля, как свежая замазка для окон. Ему дали название — д и н а м и т (сильный!), и, когда опыты с динамитом были окончены, Нобель ощутил небывалую силу.

Он сделался самым могучим человеком на земле!

С этого времени он заговорил о мире:

— Мои динамитные заводы скорее положат конец войнам, нежели речи дипломатов в защиту мира. После рождения динамита я не вижу причин держать солдат в казармах, пусть они разбегаются по домам. Я своим динамитом дал такое оружие массового уничтожения людей, что любая война становится бесполезной...

За этими словами стояло: обложись динамитом с ног до головы, и тебя никто не тронет, а мир заранее обеспечен. Но в этом парадоксальном случае Альфред Нобель должен бы сам получить Нобелевскую премию мира...

Нобель всю жизнь обладал слабым здоровьем.

— Я лишь жалкий получеловек, — говорил он. — Если бы акушер, принимавший роды у моей матери, задушил меня сразу, он оказал бы немалую услугу всему человечеству.

Берта фон Зутнер ужасалась подобным признаниям.

— Ах, милая баронесса! — отвечал ей Нобель. — Я не только к себе отношусь таким беспощадным образом. В моем представлении все человечество — это разношерстная свора бесхвостых обезьян, временно помещенных на земном шаре, который давно и бесцельно вращается в мировом пространстве...

— Неужели у вас нет даже друзей?

— Друзей можно иметь только среди собак или могильных червей. Да и собаки заинтересованы дружбою со мной едино лишь ради насыщения, как и могильные черви ожидают продуктов химического распада моего тленного организма...

Убежденная пацифистка, Берта фон Зутнер уже заранее оплакивала человечество, которому суждены танталовы муки будущей войны; она доказывала Нобелю, что усилия всех народов в борьбе за мир положат предел войнам на планете.

— Все это ерунда! — говорил Нобель. — Мои динамитные тресты и химические лаборатории активнее ваших пацифистских конгрессов. Все цивилизованные нации, охваченные ужасом от результатов моего

оружия, сами же поймут, что противники, самоуничтожив себя в доли секунды, ничего не выиграют от войны...

Динамита казалось уже мало для его целей, и теперь Нобель подумывал об изобретении *бактериологического оружия*

— Если такой дамоклов меч повесить над постелью каждого мыслящего человека, — утверждал Нобель, — то мы скоро увидим чудо: война попросту станет невозможна...

Одинокий человек, без семьи, без друзей, без жены и даже без родины, Альфред Нобель был образцовым космополитом. Он сознательно публиковал свои стихи и пьесы, написанные на четырех языках, дабы все видели его «межнациональность».

— Моя родина всюду там, где я действую, а я действую во всем мире, — говорил Нобель, и в этом он был прав.

Динамит необходим и в мирных целях (в рудокопном деле, в прокладке туннелей, при создании гаваней), а потому заводы Нобеля создавали для него глобальную «динамитную империю», в которой он чувствовал себя королем. Альфред Нобель жил далеко от нефтяных вышек Баку, где владычили его братья. К своим доходам от динамита он «подсасывал» ресурсы из нефтяных скважин братьев Людвига и Роберта, племянника Эммануила. Керосин тогда ценился очень высоко, а бензин — до изобретения Дизеля — считался лишь негодным отходом, который не знали куда девать. Конечно, все монархи мира спешили наградить своего некоронованного собрата, занимавшего престол, воздвигнутый на горе динамита, хотя сам Нобель не раз высказывал предельное отвращение ко всяким атрибутам чести.

— Позвольте, — возражали ему, — как же вы умудрились получить орден Полярной звезды от шведского короля?

— За это я благодарен своему повару.

— Повару? Каким образом?

— Он сварил однажды такой вкусный суп, что король сразу и наградил меня... за суп, сваренный не мною!

— Откуда же у вас орден Почетного легиона?

— Сам не знаю, — отвечал Нобель репортерам. — Очевидно, министрам Франции надоело видеть мою недовольную морду, и они решили вызвать на ней улыбку поднесением ордена. От Бразилии же я получил орден Розы просто так, когда меня заметил в толпе король Дон Педро.

— А орден Боливара? — спрашивали Нобеля.

— Я не знал, какова церемония при награждении этим орденом. Мне решили показать церемонию, а заодно привесли на мой сюртук и орден Боливара... Что тут смешного?

— Наверное, у вас все-таки есть достоинства?

— Конечно, — не возражал Нобель. — Например, я содержу в чистоте свои ноги и регулярно стригу ногти, никогда не лаюсь с прислугой и стараюсь не мозолить глаза публике... Разве эти качества не достойны награждения орденами?

Его редко видели люди. Нобель проживал анакоретом-затворником, избегая оживления публики. Даже на свои заводы он проникал крадучись, подобно вору, в ночное время, и на каждом заводе у него была своя тайная лаборатория, в которой он неутомимо экспериментировал. Сейчас его занимала кощунственная идея — безболезненное убийство человека, который не хочет жить, желая уйти в другой мир без ощущений страданий.

Но однажды на улице Вены он невольно вздрогнул: перед ним стояла девушка с корзиной цветов.

— Купите цветок у несчастной сиротки, — жалобно просила она, — и Бог воздаст вам сполна за этот цветочек.

— Как тебя зовут? — спросил Нобель, любуясь ею.

— Сильвия Гесс, — ответила скромница...

Нобель не отказывал красотке ни в чем. Всего он успел написать для нее 216 интимных писем, которые Сильвия Гесс сохранила для будущего, а пока она очень смело запускала свою миниатюрную лапку в доходную кассу Нобеля, черпая оттуда немалую толику от взрывов динамита, от напора нефтяных скважин Баку. В это время его соотечественник Соломон Андре, имя которого столь почтенно в нашей стране, готовил экспедицию к Северному полюсу, мечтая достичь его на воздушном шаре. Но у героя не было денег для постройки такого шара. Нобель субсидировал его деньгами для полета на «макушку» Земли, и все в мире расценили великодушный жест бескорыстия Нобеля. Однако правда была в ином: Нобель желал испытывать воздушные шары для фотографирования военных объектов с высоты...

К шестидесяти годам Нобель, и без того болезненный, стал впадать в депрессию, его пессимизм усиливался. «Опасаясь, — писал он в таком настроении, — что вечному миру, о котором возвещал Кант, будет предшествовать мир могилы».

— Вы напрасно думаете, что у меня нет желаний, — говорил он Берте фон Зутнер. — У меня есть давнее и очень страстное желание, но единственное — не быть погребенным заживо...

Альфреда Нобеля «погребли заживо» в 1888 году!

Случилось это так. В России умер его брат Людвиг, но в газетах Европы — по оплошности репортеров — поместили объявление о смерти не Людвиг, а самого Альфреда Нобеля...

Лучше было и не читать, что о нем пишут!

Альфреду Нобелю показалось, что он в самом деле умер. Только теперь о нем, уже мертвом для человечества, стали говорить правду, а сущность правды выражалась в чудовищных эпитетах: «миллионер на крови», «торговец взрывчатой смертью», «динамитный король»... В этот момент, отбросив газеты от себя, он, еще живой, даже не скорбел о кончине родного брата, — Нобель был целиком под впечат-



лением той омерзительной характеристики, какую общество давало ему сейчас — после его мнимой смерти! Альфред Нобель оказался надломлен: неужели в памяти потомства он сохранится только злодеем международного масштаба? По-новому обрели дурной смысл и его слова, сказанные когда-то в минуту скверного настроения:

— Мир должен принадлежать гениям, Атилам точных наук и Зевсам технического прогресса, но при этом недопустимо расширение прав демократии, ибо в конце концов любая демократия приведет человечество к образованию диктатуры, составленной из отъявленных подонков населения!

В глубине души, наверное, он так и думал, как говорил.

После объявления о его мнимой кончине, которую так горячо приветствовали газеты всего мира, Нобель... заметался. Он не находил себе места на этом гигантском земном шаре, еще вздрагивавшем от взрывов его совершенного супердинамита, уже конкурировавшего с новоизобретенным кордитом.

— Странно! — недоумевал Нобель. — Мне всегда думалось, что я благодетельствую человечество незаурядными выдумками своего интеллекта. Но оказалось, что в мире меня всегда считали лишь вульгарным разносчиком смерти. Неужели люди не способны понять моих наилучших побуждений?.. Я чувствую, — грустно вздыхал Нобель, — моя жизнь пишется как авантюрный роман, в котором кто-то вырвал благополучный конец!

Отныне Нобель и сам сознавал: необходим крутой поворот, чтобы в конце жизни поставить сочный восклицательный знак. Его дерзкое появление на Всемирном конгрессе мира в 1889 году вызвало забавную веселость одних и утрюмое недовольство других. Оптимисты говорили:

— Если и Нобель с нами, мир можно отстоять!

Но пессимисты лишь пожимали плечами:

— Как он посмел оказаться среди нас? Что может предложить Нобель для дела всеобщего мира, кроме своих убийственных арсеналов? Лучше бы он и не показывался...

Нобеля спрашивали, сколько у него денег, на что он отвечал, что никогда их не пересчитывал. Нобеля спрашивали, как он думает распределить свое богатство между законными наследниками, и тут Нобель заметно оживлялся:

— Надежды на получение наследства всегда плодят тунеядцев и паразитов, а я всю жизнь трудился, и не затем, чтобы мое состояние было разбазарено наследниками, уже давно отупевшими в долгом ожидании моих денег...

Нобель уже не раз составлял завещания, но каждый год переделывал их заново, все больше уменьшая сумму наследства для родственников и друзей. Сильвия Гесс, его венская пассия, вышла замуж как богатая невеста, но 216 интимных писем Нобеля остались у нее, и эта «сиротка» знала, что ей делать:

— Я еще посмотрю, кто главный родственник Нобеля...

В 1890 году Альфред Нобель дал публичное интервью.

— Внимание! — сказал он. — Прошу господ журналистов записывать мои слова очень точно. Я собираюсь оставить после себя крупную сумму НА ПООЩРЕНИЕ ИДЕАЛОВ ВСЕОБЩЕГО МИРА, хотя и отношусь весьма скептически к последующим результатам европейской политики. Пусть даже появятся лауреаты мира, но войны будут продолжаться до тех пор, пока роковая сила чрезвычайных обстоятельств не сделает их невозможными...

Что он имел в виду под «обстоятельствами»? Или, может, в тиши лабораторий готовил взрывчатку такой силы, что от планеты отвалится кусок с Испанией и Новой Зеландией? Мы не знаем тайных соображений Нобеля... Сейчас он не находил себе места в Европе, менял страны, города, отели — и всюду ему не нравилось. Наконец, заехав в Италию, он, кажется, нашел именно то чудесное место, где рассчитывал успокоиться.

— Теперь не время размышлять, как жить, — сказал Нобель, — пора подумать и о том, как лучше умереть...

Он купил виллу в Сан-Ремо на побережье Ривьера-ди-Поненте, в пяти часах езды от Генуи. Узнав, что среди них будет жить Альфред Нобель, местные жители встретили его враждебно. Имя этого человека не сулило итальянцам ничего хорошего. Соседи нобелевской виллы требовали выселения Нобеля, чтобы он не портил людям настроение... Здесь, в тиши итальянского курорта, среди экзотической природы, Нобель — под шум моря — обдумывал самое страшное свое изобретение:

— *Приют для самоубийц!* Пусть моя вилла в Сан-Ремо станет прекрасным убежищем для всех разочарованных в жизни, для кого смерть является выходом из запутанного лабиринта. У меня все давно продумано: последние дни самоубийца живет в райской обстановке, после чего садится на стул, изобретенный мною. Едва заметное нажатие кнопки — и он мертв от удара электричеством. А нажатие кнопки, убивая человека, заодно оповещает полицию о смерти еще одного неудачника...

Этот стул для самоубийств и явился впоследствии прообразом электрического стула для казней в Америке.

Осенью 1896 года Нобель сделал заявление:

— В сущности я социал-демократ, хотя и умеренный...

Странное заявление! Сделав такое признание, Нобель умер 10 декабря того же года, и вот тогда вскрыли его завещание. Шведы чувствовали себя оскорбленными, негодуя по той причине, что нобелевские капиталы расплытся по свету, а не волеются целиком в банки их королевства; ужас охватил и родственников Нобеля. Обычный листок бумаги, наскоро исписанный покойным, оказался для многих страшнее динамита.

Почти весь свой капитал Нобель распорядился отдать на учреждение премий, которые ежегодно станут получать те ученые и писатели, которые принесли «наибольшую пользу человечеству». Наконец,

часть своего капитала Нобель завещал в награду поборникам мира, «кто наиболее и лучше других содействовал братскому сближению народов и упразднению или уменьшению стоящих под ружьем армий...». Родственники, считая себя обделенными, собирались опротестовать это завещание Нобеля:

— Юридически оно незаконно, составленное в припадке умоиступления, и завещание даже не заверено нотариусом.

Тут появилась и Сильвия Гесс с внушительной пачкой любовных писем Альфреда Нобеля, им подписанных.

— Но в любви-то, — сказала она, — заверений от нотариуса не требуется. Читайте! Это лучшее доказательство того, что я была любимой женой Альфреда Нобеля, и потому... к черту все премии! Я протестую против раздачи моих денег бездельникам...

Большинство же людей в мире просто недоумевало:

— Наверное, Нобелю хотелось замолить перед нами свои грехи. Вот и расплачивается золотом за всю ту кровь, что была им пролита при взрывах нитроглицеринов и динамитов.

С 1901 года и до сего времени Нобелевский комитет присуждает премии избранным, а высокая репутация лауреатов долгое время казалась идеальной. В самом деле, кто осмелится оспаривать премии, полученные Рентгеном или Кюри, Мечниковым или Павловым, мы чтим подвиги жизни Фрицьофа Нансена и Мартина Лютера Кинга... Авторитет многих лауреатов Нобелевской премии, конечно, неоспорим. Однако с некоторых пор премия, носящая имя Нобеля, стала коварным политическим инструментом. Нобель завещал свои капиталы, чтобы одаривать ими за подлинные заслуги перед человечеством, а выявление таких заслуг должно решаться без примеси политиканства или соображений гнусного карьеризма. Но теперь — по словам шведского журнала «Пакс» — «Нобелевский комитет действует как орган НАТО, служащий целям западной пропаганды». Мы, русские, имеем законное право судить о достоинстве нобелевских лауреатов еще и потому, что мы не забываем: в каждой Нобелевской премии сокрылась та часть капиталов, которую Альфред Нобель получил не только за взрывы его динамита, но и от расхищения нефтяных богатств нашей Родины...

На этом мы и закончим!

## Гусар на верблюде

Однажды, листая русскую периодику за 1916 год, я увидел статью некоего А. К. Булатовича «Моя борьба с имяборцами на святой Горе» (то есть на Афоне). Статья тогда не заинтересовала меня, но в памяти надолго отложилось имя автора:

— Александр Ксаверьевич Булатович!

«Наверное, какой-нибудь монах, не умеющий ладить с владыками церкви», — легкомысленно решил я тогда. Но представьте мое удивление, когда имя этого человека я встречаю в справочной литературе: 1870 год рождения означен лишь приблизительно, а дата его смерти в 1910 году оставалась под знаком вопроса. Наконец, листая подшивку журнала «Искры» за 1913 год, я вдруг обнаруживаю портрет красавца-гусара, помещенный во весь разворот громадной страницы, внизу которой написано: «А. К. БУЛАТОВИЧ, герой аристократического Петербурга». Понятно, что через три года после смерти в энциклопедии не мог же он сделаться героем высшего света столицы... Тут что-то не так!

— Кто знает Булатовича? — спрашивал я друзей.

— Мы не знаем, но будем ждать рассказа от тебя.

— Увы! — отвечал я. — В своей персональной картотеке я отыскал лишь его сестру Наталью, умерла она «смолянкой» еще до выпуска из института. А вторая сестра, Мария Ксаверьевна, княгиня Орбелиани, доньне проживает в Канаде. Эти Булатовичи — харьковские уроженцы. Вот и все, что мне известно...

Шли годы, но я не забывал о Булатовиче, не в силах совместить воедино баловня аристократического Петербурга с его распрями на святой Горе. Наконец выяснил, что за год до революции Булатовича нашли убитым выстрелом в спину (!) в своем имении на Украине. Но... опять «но», все запутывающее. По другим известиям, Булатовича видели в Одессе 1918 года, живым и невредимым, а куда он потом делся — это вы можете гадать, сколько вашей душеньке угодно.

— Не человек, а какая-то загадка, — говорил я тогда.

Догадываетесь, как я обрадовался, раздобыв солидную книгу самого А.К. Булатовича «С войсками Менелика II», изданную в Петербурге в 1900 году; на обороте титульного листа имелась отметка: «Печатано по распоряжению Военно-Ученого Комитета Главн. Штаба». Я мог бы на этом и смирить свое любопытство, если бы мне не подсказали, что имя Булатовича до сих пор пользуется народным почетом в Абиссинии, как тогда называли нынешнюю Эфиопию... Вот тут я возмутился! Почему, черт побери, русских людей помнят за рубежом, а у себя дома их позабыли столь прочно, будто их никогда не существовало? Я уж молчу о Европе, но вся Азия, даже Африка тоже наполнены русскими именами, произнося которые, тамошние жители с уважением снимают шляпы... Нельзя нам забывать о Булатовиче!

Сто лет назад Харьков оставался еще провинцией, но славился своим университетом. Безжалостная статистика скрупулезно подсчитала, что к началу XX века квартир с клозетами в городе было 1109, а ванны имела лишь 321 семья. В этом городе проживала вдова неизвестного полковника, которой, я так думаю, было не очень-то легко управиться со своим Санечкой — еще гимназистом.

— Почему ты не желаешь быть, как все? — упрекала она сына. — Почему я должна каждый день трястись от страха, что мой сыночек опять выкинет какой-нибудь фокус?

Саша Булатович отвечал матери обстоятельно:

— Если мне дана жизнь, я не желаю шляться по тропинкам, уже проторенным до меня, ибо это, мамочка, очень скучно.

— Вот свернешь себе шею, — предрекала мама.

— Зато я не буду похожим на всех других...

По опыту собственной жизни я, автор, извещен в непреложной истине: человек, если хочет что-то сделать, обязан ставить перед собой непосильные цели — только в этом случае он сделает намного больше других! Если же он будет беречь себя, выполняя лишь «норму», как все, то после него мало что останется... Булатович еще с гимназической скамьи ставил перед собой непомерные задачи, чтобы преодолеть непосильные трудности. Даже в мелочах он все доводил до крайности: на уроках гимнастики отжимался на руках больше всего класса, а домашнее сочинение, на которое отводился месяц, писал за одну ночь. На выпускном торжестве педагоги прочили Булатовичу дорогу в университет без экзаменов, но он поверг их в удивление.

— Нет! — заявил юнец. — Я решил все иначе и завершу образование в Александровском лицее, где со времен Пушкина свято хранились традиции культа высокой грамотности.

Директор гимназии отвел Булатовича в сторонку:

— Пожалейте свою бедную мать, у которой нет денег на ваши сумасбродства. Разве ваши предки внесены в «Бархатную Книгу»? Или вы надеетесь на знатную родню в Петербурге?

— Знатной родни в столице я не имею.

— А матушка разве богата, чтобы платить за подготовку в пансионе, которая обходится в четыреста пятьдесят рублей, не давая никаких гарантий для поступления в Лицей?

— Я надеюсь только на собственные знания.

Вот и Петербург! Перед грозным синклитом экзаменаторов Булатович держал себя так, будто от самой колыбели предназначен судьбой в лицеисты, и был принят в числе самых первых. Впрочем, со времен Пушкина в Лицее многое изменилось, и в его дортуарах порхали уже не священные музы, а летала на помеле злостная ведьма карьеризма. Лицейсты со знанием дела судили о выгодах «сидения» в различных департаментах, с толком перебирали столичных девиц на выданье, имевших большое приданое, чтобы с места в карьер заложить основы благополучия... В 1891 году лицейская пора миновала. Но при вручении дипломов повторилась та же примерно история, что и в харьковской гимназии. Булатович вдруг заявил, что от диплома отказывается:

— Мне карьера чиновника ненавистна, и потому прошу определить меня в... гусары! Но я непременно желаю начинать службу с рядовых, таков уж мой дурацкий характер.

Из рядовых он быстро выслужился в корнеты лейб-гвардии Гусарского полка и закачался в седле под мотив старинной гусарской мелодии, принесенной с берегов польской Вислы:

Гусары, гусары — малеваны дети,  
Каждая паненка за вами полети...

Русских гусар издавна оведала романтика военной славы, а какое женское сердце не вздрагивало, когда являлся гусар, красивый и статный, весь в золотых бранденбурах на груди, при сабле и ментике через плечо, умеющий пировать и всегда готовый к атаке. Да, все было в жизни корнета — и восхищенные взоры женщин, и дуэли на сумрачных рассветах, и кутежи с ящиками выпитого шампанского, и безумные ночи напролет под надрывное пение недотрог-цыганок. Корнет Булатович («знаменитый Сашка», как гласила о нем светская хроника) обрел славу лихого наездника, брал первые призы на скачках «чизл-степп» в Царском Селе, а вечерами с треском распечатывал колоду карт:

— Господа, не пора ли всем нам испытать судьбу?..

Но судьба сама испытывала его. Булатовича уже не тешили призывные взоры красавиц, не соблазняли золотые жетоны, полученные на ипподромных скачках со взятием барьеров. Пришло время перевернуть карту судьбы, чтобы не быть похожим на всех. Военный министр Ванновский получил от «знаменитого Сашки» прошение, чтобы его включили в состав отряда Красного Креста, отъезжавшего на помощь народу Абиссинии (Эфиопии).

Ванновский, уже старик, пожелал видеть юного гусара:

— Корнет, объясните свое поведение. Что вы там собираетесь делать? Или у вас имеется медицинское образование?

— Я не врач, — отвечал Булатович, — и согласен довольствоваться ролью санитаря. Для того заранее изучаю медицину.

— Из лейб-гвардии в санитары? — не поверил министр.

— Я уже давал воинскую присягу и полагаю, этого вполне достаточно, дабы оставаться честным человеком, а русский гусар обязан приходить на помощь во всем слабым и беззащитным...

Победа при Адуа! Как мы гордимся битвою при Полтаве, а немцы гордятся Седаном, так абиссинцы-эфиопы славились сражением при Адуа, удивившим весь мир. Босоногая армия негуса Менелика, вооруженная луками и стрелами, учинила разгром итальянской армии, и в Европе политики поняли, что — нет! — не вся Африка им покорна.

Это случилось в 1896 году. После битвы при Адуа в Аддис-Абебе скопилось множество раненых, а лечить их было некому. Менелик II просил помощи у Петербурга, и он послал миссию Красного Креста, а чисто медицинская помощь России имела значение военно-

политическое. Но еще в пути русская миссия известилась, что итальянцы, обозленные своим поражением, не позволяют ей высадиться в африканском порту Массауа; зато французы сами предложили свой порт Джибути. Булатович, проявив эрудицию, говорил врачам:

— Все бы ничего, но от Джибути до Аддис-Абебы еще четыреста миль пустыни, и — никаких дорог! Наконец, вот-вот начнется сезон дождей, а это вам не русский грибной дождичек, местные ливни в горах смывают путников в пропасти...

Положение осложнялось, ибо Менелик II не знал о прибытии русских в Джибути, встречный караван верблюдов негус отправил прямо в Массауа. Сам же город Джибути напоминал сонное царство нищих арабов и негров, поголовно засыпающих ровно в полдень, чтобы переспать время нестерпимого зноя, а море, кишашее от обилия акул, никак не манило своей прохладой. «Нас акулы не трогают, — говорили аборигены... — Акулам очень нравится только мясо белого человека...» Булатович никак не мог отыскать в Джибути местного жителя, согласного ехать до Аддис-Абебы курьером, даже донские казаки из конвоя отказывались:

— На лошадях мы — хоша до Парижу! А верблюдов мы знать не знаем, нам и глядеть-то на них противно...

Булатович подсчитал, что верблюд, делая в час не более восьми миль, способен достичь Аддис-Абебы не раньше пяти суток пути, и надо спешить, пока не грянули сезонные ливни. Два заезжих араба за большие деньги согласились быть его проводниками. Александр Ксаверьевич обрядился в бурнус, обмотал голову полотенцем, вроде чалмы, и решил оседлать верблюда. Да, понял он сразу, верблюд — это не лошадь, качало на горбу так, будто попал в сильный шторм, а раскрытый над головой зонтик не спасал от жары. Вечером французский телеграф принял депешу из Петербурга: корнет Булатович произведен в поручики.

— За один час езды на верблюде надо бы сразу давать жезл маршала, — сказал Булатович врачам миссии.

Проводы были печальны. Все понимали, что Булатович жертвует собой, дабы спасти будущее миссии, но... кто спасет его самого? Не было доверия и к проводникам, языка которых Булатович не понимал, как не понимали его и сами арабы. В самый последний момент доктор Шусев даже прослезился.

— Милый мой юноша, — сказал он Булатовичу, — на кой черт губить красоту и молодость? Не лучше ли вернуться в Россию?

— Тогда и сыщу я себе бесчестье, — отвечал поручик...

Джибути остался позади. Для человека, не рожденного в шатре кочевого бедуина, езда на горбу верблюда — пытка, и в конце первого дня Булатович свалился наземь, словно мешок. Но так же лежали и его проводники, а утром один из них отказался следовать далее. Голодные гиены, посверкивая глазами, уже предчувляли близкую до-

бычу. Булатович разогнал гиен выстрелами. Вода скоро кончилась, а зонтик от жары не спасал. Лишь на третьи сутки встретила жалкая деревушка племени галласов. Они дали своих проводников, уже настоящих, и в конце четвертого дня пути Булатович увидел перед собой окраины Аддис-Абебы, похожей на большую деревню. Менелик II и его свита не верили глазам, когда перед дворцом «Геби» спешился русский офицер.

— Приношу глубокие извинения, — сказал негус, — что моя столица, «новый цветок» моего государства, еще не протянула рельсы до порта Джибути... Мы обзавелись пока лишь телефоном. Не хотите ли оповестить русскую миссию о своем прибытии?

Когда миссия Красного Креста прибыла в столицу, Булатович уже стал среди эфиопов героем, а всех русских они считали таким же «булатом». Скоро телеграф Джибути принял из Петербурга депешу: «Булатович был признан «лучшим кавалеристом России», хотя и пересек пустыню верхом на верблюде. Русские врачи до осени 1896 года вылечили пятнадцать тысяч раненых, а поручик служил санитаром, уже научившись делать простейшие операции. Тогда же врачи создали для эфиопов курсы, положив начало медицинскому образованию в Аддис-Абебе. Когда миссия отъехала на родину, Булатович остался в семье Менелика, быстро освоив речь эфиопов. Военное министерство дозволило ему провести в Абиссинии целый год, он писал о себе: «Я достиг западных границ Абиссинии и перешел реку Баро, дотоле не исследованную ни одним европейцем. На обратном пути я побывал в низовьях реки Дидессы, в долине Голубого Нила...» Совсем неожиданно его отозвали на родину, Менелик II сказал на прощание:

— Передай в Петербург своим расам-генералам, что пора нашим странам обменяться посольствами. Два года назад я отправил в Петербург принцев Дампто и Белякио своими послами, но теперь мой бедный народ нуждается в постоянной помощи от России!

Плохо скрытая неприязнь, с какой Булатовича встретили на родине в военных кругах, была непонятна, но зато столичная интеллигенция тепло приветствовала отважного наездника, проникшего в африканские дебри, еще неизвестные европейцам. Верный своему принципу — никогда не щадить себя, он очень быстро написал книгу «От Энтото до реки Баро». С его лица еще не сошел африканский загар, когда эта книга увидела свет, а Генштаб ее раскритиковал. Булатович недоумевал — за что? Сомнения разрешились в конфликте, в котором Россия не желала участвовать. Италия — после Адуа — отступилась от Абиссинии, которой теперь угрожали два более опытных колониальных хищника — Англия и Франция. Менелик спешно просил Петербург о помощи.

Его чрезвычайный посол говорил Николаю II:

— Царь царей, мой великий негус-негести Менелик Второй, наследник красоты и мудрости царицы Савской, пленившей мудрого царя



Соломона, взывает о чрезвычайном посольстве России, желая видеть в столице и своего друга «булат»-Булатовича.

Опередив посольство, в октябре Булатович был уже в Аддис-Абебе. Негус выслал ему навстречу белого коня, на котором поручик и въехал в столицу, воины Менелика несли над ним походный паланкин. Булатович поспел как раз к сбору войск. Дворец негуса был наполнен воинственными расами — начальниками отрядов. Царица Таиту поднесла русскому гостю кубок с вином, а Менелик доверительно раскатал перед ним карту:

— С севера надвигается французский корпус Маршана, с юга угрожают английские войска генерала Китченера. Если мы сейчас не вступим в пределы Эфиопского нагорья и не покорим земли Каффы, эти шакалы залезут в нашу страну. Их надо опередить!

Каффа оставалась загадкой, там процветала работорговля, оттуда вывозили кофе и слоновую кость. Булатович и сам не заметил, как и когда сделался военным советником при негусе, а это было даже опасно. Менелик сам же и сказал поручику:

— Меня предварили, будто на тебя готовится покушение, ибо в моей армии нет белых людей, и ты можешь принести нам несчастье. Очень прошу — будь осторожнее.

Булатович не верил этому, и охотников служить в его отряде набралось достаточно. О нем ходила слава, что он способен, как рядовой воин-эфиоп, питаться сырым мясом и утолять жажду из любой лужи, а своих раненых воинов сам же излечивает от ран. В беседе с негусом Булатович указал на карте озеро Рудольфа:

— Меня, поверьте, не волнуют крокодилы и бегемоты, но я хотел бы провести геодезическую съемку своего маршрута от самой Аддис-Абебы до этого таинственного острова...

Готовясь в дальний путь, Булатович ради тренировки проделал длинные кавалерийские пробеги в пустынях, где и нажил острый ревматизм, ибо по ночам температура была близкой к минусовой. «Болезнь причиняла мне такие страдания, — вспоминал поручик, — что одно время я не в состоянии был сесть, забраться в седло без посторонней помощи...»

— Ведь если сказать кому-либо — никогда не поверят, чтобы в Африке человек схватил ревматизм. Увы, это так...

Объявили поход, и на пиру во дворце негуса боевой рас Вальде-Георгиес поклялся Менелику пройти через Каффу как ветер и пленить каффского короля с его женами. При этом, как писал Булатович, «рас одним залпом опустил гигантский кубок, который бросил потом вверх с такой силой, что он, ударившись в потолок, разлетелся вдребезги». Отряд Булатовича, входивший в армию раса Георгиеса, насчитывал 30 воинов при 19 ружьях, помощниками поручика были эфиоп Тадик и рядовой гусар Костя Залепукин, сопровождавший его от самого Петербурга. Булатович выступил в декабре.

Он маскировал цели похода, говоря, что решил поохотиться на слонов. В пути часто встречались следы древнейшей эфиопской культуры. Мужчины в деревнях носили плащи, заворачиваясь в них, как римляне в тоги, а все женщины были в длинных рубашках до пят. Русских они угощали медом, разливая его в рога буйволов, словно в бокалы. Вожди племен гордились чудовищными браслетами из слоновьих ступней — широких, словно подсолнухи. В этой первозданной глуши Булатович с Костей не раз смеялись, встречая медные рукомойники московских фабрик или тульские самовары. В реках и озерах резвились гигантские гиппопотамы, которые по ночам фыркали иногда с такой оглушительной мощью, будто рвались динамитные петарды...

Во всех отвоєванных областях Менелик II, человек грамотный и гуманный, под страхом смерти запрещал работоторговлю. Но в отдаленных селениях Булатович еще встречал иногда рабынь, бедра которых были обернуты кожаными полотенцами, отрезанными от шкур буйволов. Костя же Залепукин обладал ростом Гулливера, на него взирали как на чудо из чудес, прозвав гусара «зохоно» (с л о н). Какова же была его радость, когда в тени древних смоковниц, под сенью мимоз и ароматных акаций гусар, вчерашний парень из деревни, нашел ягоды... ежевики.

— Родимая ты моя! — закричал гусар. — Еще бы мне клюкву сыскать, так будто домой в Россию попал... — Зато вот бананы ему не нравились. — У нас в деревне картошка куда как вкуснее огурцов этих со шкуррой...

Хотя отряд Булатовича и входил в армию Георгиеса, но поручик сознательно уклонялся от участия в битвах, зато он всюду лечил больных, фотографировал красавиц, местные царьки допускали его в свои гаремы, где за ним следили евнухи с хлыстами из бычьих хвостов. Фрейлины местных «королев», надушенные розовым маслом и сандалом, были удивительно похожи на русских цыганок. Булатович даже шепнул Залепукину:

— Так и хочется открыть шампанского, швырнуть им под ноги сотенную, чтобы они спели нам «Не вечернюю»...

Близилась Каффа, и Георгиес заранее отдал приказ: «Слушай! Слушай! Слушай! Кто не слушает, тот враг. Воины! Собирайтесь с силами. Горе тому, кто опоздает и упустит счастливый случай стяжать себе славу». В темном лесу Залепукин спросил:

— А что это за людишки там по деревьям прыгают?

— Это, Костя, еще не люди, а пока только обезьяны.

— Надо же! Без билета прямо в зверинец попали...

Маршрут Булатовича почти совпадал с путями армии раса; эфиопы ходили на войну семьями: воин-муж шагал впереди с кувшином масла или меда на голове, жена тащила походную утварь, а дети несли оружие отца. Земли Каффы украшали бамбуковые леса и финиковые рощи. «Чарующая красота, — писал потом Булатович, — словно

я попал в заколдованный лес из «Спящей красавицы». Каффа отстала от эфиопов в культуре настолько, что утратила даже свою древнюю письменность. Потомки рабов и племенной аристократии уже сами не помнили, за что и когда воевали их предки, чьи кости и черепа валяются среди пышных и ароматных цветов. Абиссинцам, умевшим громить даже европейские армии, было нетрудно покорить Каффу, опережая нашествие в эти края опытных колонизаторов — Маршана и Китченера... Булатович все время вел солнечные наблюдения, составлял карты маршрутов (потом эти его карты долгое время служили единственным путеводителем по Эфиопии и Каффе для всех европейцев)...

В городе Андрачи, каффской столице, Булатович ближе сошелся с расом Георгиесом, помогая ему советами, и он не скрывал, что до самого озера Рудольфа на картах расплылось «белое пятно неизвестности». Георгиес говорил Булатовичу, что каффский король Тчениито бежал от него в леса:

— И пока не привезу его в Аддис-Абебу вместе с женами, до тех пор никто не скажет, что мне повезло.

Хлынули ливни, начались эпидемии и падеж скота. «Войска раса, — писал Булатович, — были истощены голодом и болезнями. От множества трупов в Андрачи стоял нестерпимый смрад». Булатович сам же и утешал раса, впавшего в уныние, как умел, лечил больных, и наконец король Тчениито попался в плен вместе со своими женами. Сняв с руки три тяжелых золотых браслета, Тчениито протянул их расу Георгиесу:

— Ты муж из мужей, но я тоже достоин твоего уважения...

Состоялся победный пир, и не «вино лилось рекой», а лился один лишь мед. Но даже трезвые эфиопы напоминали Булатовичу пьяных: потрясая оружием, они наперебой похвалялись своими подвигами и трофеями. Эта церемония называлась «фокыр» вроде клятвы — быть в бою непременно мужественным, и Георгиес внимательно выслушивал каждого, потом спрашивая:

— Говоришь ты красиво! Но кто поручится мне за тебя?

Дающий клятву называл своего поручителя, после чего получал кубок меда и садился на место. Булатович открыл бутылку с шампанским и сказал, что она у него последняя:

— Я выпью за победу неустрашимых войск негуса-негести...

Они еще не ведали орденов, храбрецов награждали золотыми серьгами, щитами из серебра или набрасывали им на плечи шкуры леопардов. Головные же повязки из львиных грив («амфара») отличали народных героев, гордились ими так же, как русские солдаты крестами святого Георгия.

Снова поход! Шли тропами диких слонов, из густой травы вылетали убийственные стрелы. Булатович не мог видеть голодных детей: животы у них непомерно вздулись, а коленные суставы резко

обострились. «Несчастные дети — записывал он, — дрожа от холода, искали в траве кости, дрались меж собой из-за внутренностей дохлого барана.. » Отряд вступил в земли неизвестных миру племен, их речь не понимали даже проводники. Когда Булатович выразил желание напиться (жестами), дикари принесли воду в стволе бамбука. На громадных сикоморах висели высохшие тела повешенных, в грудных клетках которых дикие пчелы роились с гудением, словно в ульях. Булатович строго указал воинам своего отряда — не обижать жителей, и весь свой боевой пыл они растрчивали в воинственных плясках.

— Чисто лезгинка, — похваливал их Залепукин...

За расом двигалась тридцатитысячная армия. Полководец негуса ходил босиком, но при золотом оружии, а голову он укрывал широкополой фетровой шляпой американского ковбоя.

— Трудно выбрать дорогу, — говорил рас. — Мы еще не бывали в этих краях, и... куда вести всю армию негуса?

Булатович, понятно, стремился к озеру Рудольфа. Случайно, разведывая местность, он отыскал в траве отстрелянные гильзы и — вот чудо! — грязную страницу из «Теории вероятности» на итальянском языке (это были следы итальянской экспедиции). Возле палатки поручика всегда толпились больные, из леса выносили раненых. Приходилось лечить кровавый понос, класть в лубки руки и ноги, зашивать раны от копий и даже от зубов крокодилов. Перед пленными Булатович всегда помахивал веткой, что означало: не бойтесь, у меня самые мирные намерения:

— Есть ли впереди нас очень большое озеро?

— Нет, озера мы не знаем, — понимался ответ.

— Видели ли вы «гучумба» (европейца)?

— Видели, они в деревне ловили куриц...

Очевидно, неподалеку блуждали солдаты майора Макдональда, спешившие на выручку своего Китченера, — они скрывались. Но еще никто не указал путей к озеру Рудольфа, и Булатович уповал едино лишь на компас. Соли не стало, ее заменяли перцем; эфиопы поливали свою еду желчью убитых животных. Вокруг царило безлюдье и безводье. Стада зебр бродили вровень с робкими антилопами, в иле пересохшего русла виделись следы слонов и носорогов. Мучила жажда, каждый искал хотя бы грязную лужу... Вдруг открылась взорам полоса речной воды, поверх которой чернели неподвижные чучела дремлющих крокодилов. Казалось, отряд у цели пути, когда пленная проводница заявила, что дальше безводная пустыня. Армия негуса заволновалась, желая возвращаться назад, и сам отважный Георгиес начал беспокоиться.

Булатович понял — требуется крутое решение. Он взял таблетку хины и велел проводнице открыть рот пошире.

— Если говоришь неправду, — заявил он ей, — ты умрешь от этого страшного яда. Но скажи правду — и останешься живой.

Женщина с ужасом в глазах указала рукой на юг.

— Либо ие унто (есть ли там хлеб)? — спросили ее.

— Ие (есть), — тихо отвечала она.

Крокодилы в реке Омо, еще никем никогда не пуганные, совсем не боялись людей. Войска раса вступили в страну изобилия, где среди кукурузных полей бродили стада рогатого скота и ослов. Наконец пленные показали, что до озера два дня пути. Сразу забили литавры, заиграли на дудках. Здесь жило неизвестное племя хромых мужчин, у которых были подрезаны поджилки ног.

Александр Ксаверьевич сообщил Георгиесу:

— Я не понял с их слов, кто наказал их вечною хромотою, но реку Омо они называют Няням... Сейчас твои воины, о великий непобедимый рас, радуются, что их «привели в хорошую землю». Будем же радоваться и мы тому, что могучий «царь царей» (негус-негести) вывел Абиссинию к озеру Рудольфа.

Булатович однажды поджаривал на ужин мясо на ослином жире, когда в палатку к нему воины раса внесли мальчика — всего в крови, жестоко истерзанного лесными дикарями.

— Мы нашли его в камышах, — сказали воины, — он лежал возле воды. Судя по всему, ни отца, ни матери он не знает...

С трудом залечив раны мальчика, Булатович испытал к нему трогательную нежность и сказал Залепукину:

— Я назову его Васькой... будет он Василием Александровичем, и пусть он станет для меня родным сыном.

На голове «сыночка» он остриг два вшивых пучка волос, снял с его шеи нитку глиняных бус, среди которых торчали два крокодиловых зуба. А на картах Африки, там, где находится залив Лабур, выступающий в синеву озера Рудольфа, вскоре появилось новое географическое название — Васькин мыс, знай наших!.. По возвращении Булатовича в Аддис-Абебу «царь царей» наградил его высшим отличием воина — золотым щитом и золотой саблей, а русский посол Власов, что-то хмыкнув, вручил телеграмму:

— Военное министерство спешно отзывает вас на берега Невы, и я подозреваю, что вас ожидают некоторые неприятности...

19 июля 1898 года Александр Ксаверьевич был уже в русской столице, одетый строго по форме, и, вызывая удивление прохожих на Невском проспекте, он вел за руку чернокожего мальчика. Знакомым он очень охотно представлял своего Ваську:

— А вдруг он станет Ганнибалом, и в его потомстве обнаружится новый великий поэт, каков был наш Пушкин?

Удивительно быстро он написал солидную монографию о неизвестных окраинах Абиссинии, снабдив ее картами, и научный мир России сразу признал его заслуги, зато вот военная клика, живущая под аркой Главной штаба, встретила фурор Булатовича с откровенной неприязнью,

а Николай II даже запретил ему носить золотое оружие. Надо полагать, генералов раздражало своеволие гусара, вдруг ставшего военным советником Менелика II по выбору самого негуса, а не по приказанию царя.

Но поручик Булатович вскоре... п р о п а л!

Забеспокоились друзья, заволновались женщины, давно и безнадежно в него влюбленные, журналисты обрыскали все притоны столицы и нашли Булатовича в мрачной келье Афонского подворья — в грубой рясе послушника он постигал истины Ветхого и Нового Заветов, готовясь к монашескому пострижению.

— Оставьте меня, — сказал он ищущим его, — я ушел из вашего мира, дабы обрести мир иной... ближе к Богу!

Никто не мог объяснить поступок Булатовича, который от гусарской лихости и науки вдруг обратился к духовному подвижничеству, чающему откровения свыше. А старые гусары только посмеивались:

— Вы, профаны, еще не знаете нашего «знаменитого Сашку»! Кто же поверит в его смирение, ежели под рясой отшельника стучит браварное сердце лихого гусара?..

Булатович принял пострижение с новым именем отца Антония и очень быстро (опять-таки быстро!) выдвинулся в иеросхимонахи Никифоро-Белозерского монастыря, известного очень строгим, почти тюремным режимом. Лишь однажды (в 1906 году) его жизнь была нарушена поездкой в Аддис-Абебу, куда он отвез Ваську, возросшего на русских хлебах, но вдруг затосковавшего по своей родине. Скорее всего эта поездка была очень далека от «родительской» лирики, ее, пожалуй, лучше считать секретной командировкой — не «из-под арки» Генштаба, а от Певческого моста столицы, где располагалось министерство иностранных дел. После этого визита в Аддис-Абебу Булатович с ангельским смирением вернулся в монастырь, и о нем постепенно забыли.

Так тянулось время в бдениях и молитвах до самого 1911 года, когда забили тревогу в Департаменте тайной полиции:

— Отец Антоний исчез, скрывшись из монастыря.

— Бежал? Куда он бежал, выяснить.

— Сами ничего не знаем. Видать, бежал к своим эфиопцам. В гусарском полку сказывали, что у него там жена осталась...

Булатович был обнаружен в древней афонской обители, что на юге греческой Македонии, возле Эгейского моря, откуда два дня пути до Одессы — пароходом, конечно. Афонские монастыри, укрытые в горных лесах, внешне напоминали крепости; толстые стены, узкие амбразуры, ворота железные, и, попав в эту «фортецию», монах полностью отрекался от общения с грешным миром. На Афоне подвижничали греки, сербы, грузины, болгары и русские, подчиненные константинопольскому патриарху.

Булатович сразу заметил, что на Афоне братство делится на аристократов и плебеев. Не стану вдаваться в подоплеку религиозных распрей,

скажу кратко: постулаты веры были для Булатовича лишь удобным поводом для возмущения братии. Пока «плебеи» замаливали чужие грехи, сутками простаивая на коленях, уже высохшие от скудоедания, «проэстосы» (аристократы) занимали в монастырях по пять-шесть комнат, убранных с восточною роскошью, они носили богатые одежды, не отвращались от мяса даже во дни постные, а рядовых монахов они содержали в кельях на положении своих рабов и прислужников...

Вот тут-то в Булатовиче и проснулся былой гусар:

— Если крепости не сдаются, их надобно взрывать...

Авторитет его был в ту пору непогрешим, и вокруг него собрались тысячи сторонников, готовых сбросить ненавистное иго зажавшейся афонской элиты. В богословских диспутах, свободно цитируя ветхозаветных отцов церкви, Булатович призывал монахов к восстанию и даже... даже создал «боевые дружины». Из Петербурга члены Синода срочно прислали на Афон знающих теологов, но они были опозорены Булатовичем, эрудиция которого оказалась выше званий ученых академических богословов. Газеты всего света вдруг оповестили читателей, что на Афоне возник еретический бунт, во главе которого объявился какой-то странный русский гусар, по слухам женатый на черной, как сажа, эфиопке, обвешанной с ног до шеи золотыми браслетами. Патриарх из Константинополя отбил телеграмму в петербургский Синод, чтобы там не дремали, ибо дело зашло далеко...

Очень даже далеко зашло это дело! С русского парохода «Херсонес» был выброшен военный десант, солдаты брали святую обитель штурмом, разрушая груды баррикад, сооруженных Булатовичем по всем правилам военной фортификации. Около тысячи русских монахов были взяты в плен, всех их тут же оболванили наголо, как новобранцев, монашеские одежды с бунтарей были сорваны.

Жандармы пристально вглядывались в лица пленников:

— Тю-тю! А самого-то Булатовича уже нетути...

13 июля 1913 года пароход «Херсонес» вывалил на пристань Одессы-мамы крикливую и безалаберную, кое-как одетую толпу расстриженных монахов, и всем бунтарям было объявлено:

— Ваше счастье, что главный заводила сумел удрать, а то бы всех вас — под суд, и вы бы еще у нас расширились.

— А куда нам теперича? — спрашивали расстриги.

— Знать вас не знаем! Катитесь на все четыре стороны...

Департамент полиции не сомневался, что Булатович нашел приют в Аддис-Абебе, где у него давние связи с негесом. Но однажды ночью министр внутренних дел Маклаков был разбужен телефонным тревожным звонком, агент охраны доложил:

— Булатович здесь же, где дежурю и я.

— А где ты сегодня дежуришь?

— В ресторане у Кюба.

— А что Булатович?

— Ужинает с известной вам этуалью Зизи, которая дерет по червонцу только за скромную беседу с нею.

— Следи! Брать будем сразу, — решил министр...

С гусаром решили расправиться без суда, объявив Булатовичу, что он высылается в имение матери Луцыковку, где и надобно ему проживать под надзором полиции (без права выезда в города империи). Но как только Булатович появился в Луцыковке, к нему сразу сбежались невесть откуда все расстриги, выдворенные с Афона, а газеты запестрели сообщениями, что Булатович устраивает на Харьковщине «коммуну», где бывшие подвижники желают проживать единой семьей по законам равенства и братства.

— Опять ересь! — заволновались в Синоде...

Было печатно объявлено, что иеросхимонах отец Антоний еще не лишен духовного сана, а значит, подвластен юрисдикции Святейшего синода, и скоро он предстанет перед судом церкви, яко еретик и безбожник. Неизвестно, куда бы теперь бежал Александр Ксаверьевич, но тут началась война с Германией, и отец Антоний сразу оказался на фронте. Правда, ему не вернули офицерского звания, он довольствовался ролью рядового солдата-разведчика, проявившего в боевых делах самую дерзкую храбрость.

Но однажды из разведки он не вернулся.

— Пропал Сашка! — горевали солдаты. — А уж был парень-хват, столько пленных побрал, что пора бы «Георгия» на шею ему...

На этот раз Булатовичу не повезло — он сам оказался в плену. Однако, верный себе, он скоро разоружил охрану лагеря и вывел из плена большую группу солдат, вернувшись в свою же часть. Здесь он, всеми почитаемый, был вызван к начальству:

— Александр Ксаверьевич, — сказали ему, — мы и сами толком не понимаем, в чем тут дело, но вот пришла из Питера бумага, чтобы вас удалить с фронта, как неблагонадежного. И велено вам иметь жительство в своей Луцыковке...

В своем имении он успел только поправить могилу покойной матери, а рано утром Булатович был найден убитым выстрелом в спину — такова версия. Очевидно, кому-то было очень нужно, чтобы его на этом свете не стало. Все бумаги Булатовича свалили в сельскую церковь, а потом и сожгли вместе с церковью. Впрочем, как я уже писал вначале, Булатовича будто бы видели потом в Одессе, как будто бывал он замечен в форме полковника, и при ставке Деникина... Опять версия!

Как много домыслов вокруг этого незаурядного человека!

Неожиданно меня пронзила догадка: разве не мог Булатович вернуться в Абиссинию-Эфиопию, где его многие знали и уважали, где у него был сын Василий Александрович, получивший образование в России, как и очень многие эфиопы в ту давнюю пору.



Я извещен, что до недавнего времени, нам уже близкого, в Эфиопии еще проживало немало людей, получивших в России военное и университетское образование, и они, эти люди — совсем недавно! — рассказывали нашим журналистам:

— Честно говоря, нам ведь нелегко забыть прошлое! Особенно грустно зимою... Ваши курские соловьи перелетают каждый год из России зимовать в нашу страну, и, когда мы слышим их пение, невольно вспоминаются молодость, русская жизнь, широкие пиры в застольях, и нам... нам хочется говорить по-русски!

На этом я и желал бы закончить свой долгий рассказ, если бы не странное письмо от читателя Г. Г. Афанасьева из села Константиновки Николаевской области. Он прочел мою миниатюру о вольном казаке Ашинове и сообщил следующее: «В с. Васильевке Белогорского района Крымской области живет (если верить его словам, а я слышал это сам от него) потомок легендарного А. К. Булатовича, работает он вроде бы агрономом в колхозе имени XXII партсъезда...»

## Потомок Владимира Мономаха

Алексей Борисович князь Лобанов-Ростовский...

Назвав это имя, хочется задать школьный вопрос:

— Д е т и, поднимите руки, кто его знает?

Дети «этого не проходили». Князя знают лишь историки и дипломаты, ибо он сумел прожить две жизни — как историк и дипломат. У меня, автора, дня не проходит, чтобы я не обращался к трудам Алексея Борисовича. Допустим, понадобилось выяснить, на ком был женат безвестный поручик Данила Глинка — ответ нахожу в родословных книгах князя; забираюсь в дебри стародавней политики — и опять возникает его имя. Наконец, он ведь был и просто человек — со своими личными страстями, с кризисами сердечных мук, он терпел унижения, падал и снова возвышался. «Но князь Лобанов всегда оставался порядочным человеком», — судили современники, служившие с ним.

Добавлю, что Лобановы-Ростовские при их въезде в город Ростов Великий имели право принимать особые почести — со звоном церковных колоколов и с пальбою из пушек, но сами от этих почестей отказались.

Кстати уж, скажу сразу, что Лобанов-Ростовский не имел земельной собственности, помещиком никогда не был, а жил на свои кровные — от жалованья. Читателям, сызмала воспитанным на школьной «премудрости», наверное, это обстоятельство покажется странным, однако же это было именно так...

Юный князь Алексей Борисович выходил в жизнь из Царскосельского лицея в 1844 году с чином титулярного советника; получивший золотую медаль, он был занесен на мраморную доску и, наверное,

как и все лицеисты, приветствовал свое будущее словами лицейского гимна на слова Дельвига:

Шесть лет промчались, как мечтанье,  
В объятьях сладкой тишины.  
И уж Отечества призванье  
Гремит нам: «Шествуйте, сыны!»

Евгений Шумигорский, редко поминаемый нами историк, писал, что в Лицее «были живы тогда предания пушкинской эпохи, и в глазах его воспитанников имя их знаменитого однокашника неразрывно соединялось с понятием любви к родной земле и к ее родной старине». Вот это — последнее — очень важно для нас: врожденный, а не навязанный свыше патриотизм всегда неотделим от жажды познания истории своего народа...

В годы лицейской младости князь еще застал в живых вельможных старцев, для которых «золотой век екатеринства» был их юностью, их буянством-окаянством, их осмысленной зрелостью, вскормленной на обильных пажитях вольтеровского свободомыслия. Для них, этих реликтов прошлого, было проще простого удавить одного императора, чтобы «подсадить» на престол его жену, а потом с подобною же легкостью они пришибли табакеркой и ее сына. Эти старики, уже обессиленные годами и болезнями, многое помнили, и юный князь остро воспринимал их суждения о былом. Тогда же Лобанов-Ростовский приучил себя записывать то, о чем не писалось в книгах, а лишь передавалось из уст в уста, как нечто запретное, о чем говорить громко не следует.

«Осьмнадцатый» век стал его сокровенной, а царствование Павла I излюбленной темой для исторических изысканий. Однажды князь узнал, что в провинциальной глухомани доживает, вот-вот готовый умереть, престарелый вельможа, который унесет в могилу тайны своего времени. Алексей Борисович, не раздумывая, пустился в путь. Отыскав имение старца, он нашел его дом будто вымершим, даже собаки на псарне не лаiali. Оказалось, что вельможа обращал день в ночь, а будить его было нельзя. Лишь к вечеру он проснулся, и в полночь состоялся завтрак — при свечах в старомодных шандалах. Старик невольно разговорился, и Алексей Борисович до самого рассвета брал «интервью», получая такие интимные тайны двора и политики, о которых в русском обществе едва догадывались. Понятно, что много лет спустя князь Лобанов-Ростовский легко и часто рисовал для друзей, в каком порядке была расставлена мебель в спальне императора Павла I, когда в нее ворвались убийцы.

— Завидую людям, жившим в осьмнадцатом веке, — не раз говорил Алексей Борисович, — им было намного выгоднее жить, нежели всем нам, которым выпало влачить до конца век девятнадцатый,

обреченный двигаться уже не страстями людей, а лишь ускоряемый силою пара в мудреных машинах...

«Влачить» свою карьеру в этом столетии было нелегко, особенно при Николае I, когда внешней политикой России заправлял горбоносый карлик Нессельроде.

Именно при нем Лобанов-Ростовский и начинал карьеру. Можно было позавидовать своим немало куролесившим предкам, если при Николае I все строилось по ранжиру, по чинам, по регламенту... д у ш н о!

Но служить все равно надо, и карьера началась в хозяйственном Департаменте министерства иностранных дел. Правда, потомуку Владимира Мономаха как-то не пристало сидеть в бухгалтерии, калькулируя расходные суммы на званые ужины, и в 1849 году царь отличил князя званием камер-юнкера. Нессельроде обещал:

— При первой же вакансии я найду вам место за границей...

Тогда или позже Лобанов-Ростовский сошелся с князем Петром Долгоруким, с позором изгнанным из пажей за дурное поведение. Это был человек большого и очень злого ума, такой неслыханной дерзости, что Бенкендорфу с его присными надоело выслушивать доклады о его скандалах. Ссылка в Вятку нисколько не образумила его, напротив, разгорячила, и Долгорукий в своих писаниях пощадил на белом свете лишь одного человека — это был Герцен, ставший потом свидетелем его предсмертной агонии.

Долгорукого все боялись, ибо он обладал страшной и сильной властью над людьми — знанием генеалогии дворянства, отлично владея секретами самых знаменитых родов. Побывав за границей, Долгорукий выпустил книжку о закулисных тайнах родословия титулованных фамилий, и эта книга вызвала сильное раздражение в правительстве Николая I, ибо князь открыл легендарный «ящик Пандоры», доставив немало неприятностей князьям и графам.

Лобанов-Ростовский говорил князю Долгорукому:

— Конечно, «Бархатная Книга» — это не собрание непреложных истин, но вас боятся, ибо вы не пощадите даже своих предков.

— Боятся, — отвечал Долгорукий, — потому что, владея подлинной генеалогией, я в любой момент могу убить любого придворного, доказав, что его бабка изменила мужу с кучером, а род князей Воронцовых давно пресекся, «полуподлец, полуневежда» Воронцов, что сидит в Крыму, совсем не Воронцов, а самозванец, ибо подлинные Воронцовы давно все вымерли...

Мало кто знает, что знаменитый четырехтомник П. В. Долгорукого по названию «Российская родословная книга» вместили в себя немалую долю генеалогических материалов, собранных не автором, а именно Лобановым-Ростовским, который великодушно уступил их своему брату-историку. Об этом стало известно гораздо позже, и то не всем, а лишь избранным. П. В. Долгорукий закончил свою жизнь в отчуждении эмиграции, а князь Лобанов-Ростовский продолжил начатое им дело...

Был 1850 год, когда Нессельроде сообщил ему:

— Открылась вакансия при нашем посольстве в Берлине, не благоволите ли начинать службу секретарем миссии?

Алексей Борисович выехал в Берлин, увозя с собою огромные кофры, заполненные историческими материалами, чтобы там, в Берлине, дни посвящать дипломатии, а ночи отводить для истории в ее самых загадочных и необъяснимых явлениях. Именно в Берлине князь начал открывать неизвестные страницы русской истории, именно в Берлине он пережил как патриот сильные душевные муки, когда николаевская эпоха завершалась трагической Крымской кампанией.

— Конечно, — рассуждал он в кругу чиновников посольства, — муза дипломатии помалкивает, когда грохочут пушки, но она начинает улыбаться и даже кокетничать, когда пушки закатывают в арсеналы. Не сомневаюсь, что после войны начнутся перемещения, и не знаю, куда направят меня...

С кончиною императора Николая I исчез и его прихвостень Карл Нессельроде, ничего, кроме вреда, для России не сделавший, и после Крымской войны следовало обновление дипломатических штатов. В апреле 1856 года Алексей Борисович снова паковал свои гигантские кофры. С берегов мутного Одера его переводили на лучезарные берега Босфора — советником миссии. Молодой человек делал очень быструю карьеру, еще не в силах предвидеть, что скоро она затрещит, словно непутевый корабль, выброшенный на рифы, и виною крушения будет, конечно, женщина.

Не потому ли он и остался вечным холостяком?

Турция, как известно, заодно с Англией и Францией воевала против России, потому была страной-победительницей, когда в ее столицу прибыл советник миссии, представлявший свою родину — как страну побежденную... Положение неприятное!

Возглавлял посольство прожженный дипломат Аполлинарий Бутенев, начинавший карьеру в политике еще накануне Аустерлица. Старик был умен, а настроен критически:

— Будем выкарабкиваться из пучины самодовольства и бахвальства, в которую нас загнал покойный, наобещавший народу сорок бочек арестантов и вовремя улизнувший в могилу от всеобщего презрения. Главное — восстановить добрые отношения с турками. Знайте, князь, что на Востоке то, чего не добиться путем официальным, следует проводить через личные отношения.

Бутеневу не нравилось, что князь еще холост.

— Впрочем, — сказал он, — на Босфоре можете не бояться женщин, ибо все дамы сидят по гаремам и тихо чирикают. Так что с этой стороны ваша карьера в безопасности...

Напророчил! В этот же день князь Лобанов-Ростовский представлялся во французском посольстве, где и встретил мадам Жюльетту Буркинэ, жену секретаря французской миссии.

— Здесь, — сказала она, явно кокетничая, — мне следует бояться только мужчин, ибо, не запертая в гареме, я окружена всеобщим мужским вниманием, и при этом я чувствую себя так, словно меня раздели догола посреди улицы...

Жюльетта была красива, и потому князь тактично ответил ей, что внимание мужчин вполне обоснованно:

— Однако меня вы не бойтесь, ибо я начинаю бояться вас.

— Не надо, — капризно ответила Буркинэ. — К сожалению, я имею мужа, выше всякой меры озабоченного своей карьерой.

— Какое приятное совпадение! — шутливо удивился Алексей Борисович. — Я озабочен именно тем же, чем озабочен и ваш муж. Но, в отличие от него, я, увы, остаюсь пока холост.

Но, кажется, мадам Буркинэ тогда же решила прибавить забот не только мужу, но и советнику русской миссии. Впрочем, Алексей Борисович в ту пору терзался совсем иными муками, далекими от сердечных; он установил приятельские отношения с визирем, создал блестящее положение при дворе султана Абдул-Меджида, уже близкого к маразму от пресыщения благами жизни. Парижский мир не принес спокойствия, ибо возникла резня христиан, а в Болгарии, Боснии и Дамаске начинались волнения народов. Пользуясь вниманием у «Порога Счастья», Алексей Борисович буквально спас от истребления черногорцев и сумел повлиять на султана, чтобы тот оставил в покое народ Ливана.

Наградой ему были чин статского советника, приобретенный в 1857 году, а еще через два года посол Бутенев сдал ему дела русского посольства, и князь — в возрасте тридцати пяти лет — занял высокий пост чрезвычайного посланника и полномочного министра, с чем его поспешила поздравить Жюльетта Буркинэ.

— Вы делаете большие успехи, — игриво намекнула женщина, — и моему бедному мужу за вами никак не угнаться. Однако, изыскивая милости у султанского «Порога Счастья», не слишком ли вы, русские, ущемляете честь и авторитет Франции?

— Ни в коем случае, мадам! Как можно пренебречь интересами Франции на берегах Босфора, где вы столь достойно представляете все самое прекрасное, чем может гордиться Франция...

Так шутить с француженкой нельзя — это опасно!

Слова, сказанные ради обычной любезности, парижанки воспринимают не так уж просто, как эти слова произносятся. Вежливое восхищение ее красотой, высказанное князем, Жюльетта Буркинэ расшифровала на свой лад — как долгожданное объяснение в любви.

Но, сама тайно влюбленная в посла России, далее она поступила... Как бы это сказать? Чересчур смело.

Верно, что в личной отваге ей никак не откажешь.

Был уже поздний час; Алексей Борисович вернулся с прогулки в Буюк-Дере, и лакей посольства предупредил его, что в кабинете по-

сла давно ожидает некая дама под вуалью. В просвете окна кабинета смутно брезжила тень женской фигуры.

— Да, — услышал он голос Жюльетты, — я готова ответить на ваше чувство своим чувством. С прошлым я порвала навсегда, чтобы остаться с вами... и тоже навсегда! Вы меня любите?

Алексей Борисович понимал: женщина пришла к нему не ради минутного каприза, а после мучительной душевной борьбы, теряя все на свете ради внезапного чувства. Оскорбить женщину в такие моменты — это все равно что плюнуть ей в лицо.

— Да, я люблю вас, — признал Лобанов-Ростовский, — и в моем ответном чувстве вы, мадам, можете не сомневаться...

Ночь кончилась, их первая ночь любви, а утром, когда Жюльетта проснулась, она увидела князя за рабочим столом.

— Что ты пишешь, мой дорогой?

— Прощение об отставке.

— Для чего? Ведь твоя карьера складывается отлично.

— Но еще лучше складываются наши отношения, моя прелесть.

— Не пойму тебя...

— И не надо понимать. Но в Петербурге поймут все сразу.

Алексей Борисович был удален в отставку «по домашним обстоятельствам», и это была еще не самая худшая форма отставки. У «Порога Счастья», где князь оставил немало друзей-гурок, искренне жалели об его удалении, ибо князь умел примирять непримиримое. Но женщина перебежала дорогу, чтобы из французского посольства найти счастье в русском, и это было неисправимо. Влюбленные поселились на юге Франции, намеренно чуждаясь общества, а петербургские сородичи переживали крах карьеры князя почти болезненно, обвиняя его в легкомыслии.

Но Алексей Борисович никогда не винил Жюльетту:

— Я только уступил обстоятельствам, жертвуя лишь карьерой. Но она, придя ко мне, жертвовала всем, чем дорожит каждая женщина. Да и что значит моя карьера перед словами любви? Женщина в любви всегда права. Но я тоже был прав, — доказывал Лобанов-Ростовский — Было бы неблагородно и даже подло отвергнуть женщину, кинувшуюся в мои объятия, словно в омут...

Три года он был счастлив. Но, очевидно, тогдашний переход через улицу — из одного посольства в другое — дался Жюльетте не так уж легко. Она быстро таяла от чахотки. Благодаря князя за все, что он ей дал, она утасла на его же руках, и, зарыдав над нею, быстро хладеющей, он в ужасе услышал, как рвется с улицы музыка веселого карнавала... Это было так страшно, так непонятно и так естественно! Жизнь продолжалась.

По возвращении на родину, еще страдающий, князь решил покончить со служением в дипломатии и поступил в штат министерства внутренних дел. Граф Петр Валувев, управлявший министерством, был настроен очень благожелательно:

— Вы, наверное, хотите губернию? Какую?

— Мне сейчас хочется быть подальше от света...

Летом 1866 года князь начал управлять Орловской губернией, но и сам называл себя губернатором «случайным», и уже весной 1867 года сдал дела писателю-историку Михаилу Лонгинову:

— Я ничего в Орле не построил, никого не обидел и никого не высек, ибо переход из политики внешней в политику внутреннюю меня не обрадовал, а скорее испугал...

Еще больше «испугал» его император Александр II:

— Князь, что у вас там случилось в Константинополе?

— Обычная история — с женщиной.

— Обычная? Согласен. Но... скандальная?

— Скандал не ухудшил русско-французских отношений, ибо я не уводил женщину из гарема, она сама покинула мужа.

Этот разговор возник в Зимнем дворце, где князь представлялся императору, и острота их беседы понятна, если учесть, что Александр II был самым отчаянным бабником.

— Вы забыли ее за эти минувшие годы? — спросил он.

Лобанов-Ростовский, напротив, женолюбцем не был:

— Нет, ваше величество. Не забыл. И не забуду.

— Так считайте, князь, — решил император, — что я забыл эту историю с чужой женой, желая видеть вас подле себя...

После этого он стал товарищем министра внутренних дел!

Семь лет ведал делами о раскольниках, участвовал в разработке главных реформ (достойных более светлой памяти), и в наши дни по настоянию князя Лобанова-Ростовского все гражданские посты в провинциях достались чиновникам, а не генералам, князь преобразовывал порядок в следственных органах и прочее. Покинув мир дипломатии, Алексей Борисович был по-прежнему окружен иностранными послами, среди которых выделял баварского Труксес-Ветцгаузена, бразильского Рибейро де-Сильва, английского Уильяма Румбольда — все эти амбасадоры были мужьями его кузин, ибо Лобановы-Ростовские имели обширное космополитическое родство. Румбольд в своих мемуарах писал: «Лобанов был одним из самых чарующих представителей русской аристократии, ибо давно известно, что если члены избранного русского общества задаются намерением прельстить кого-либо, то они воистину неотразимы... Эрудиция же князя в области русской истории была поразительна!»

Пожалуй, история и была главным смыслом жизни Алексея Борисовича. По службе он невольно сталкивался с современниками, весьма далекими от совершенства, выискивая примеры благородства в людях, давно отживших свой век, «стараясь найти в их деяниях побуждения более возвышенные, нежели те, с которыми приходилось считаться ему,

современному дипломату» — так писал о князе Лобанове-Ростовском историк А. А. Половцев.

Алексей Борисович даже не скрывал этого, говоря:

— Днями, встречая подлецов и мерзавцев, я по ночам зарываюсь в прошлое России, отдыхая душой на привлекательных чертах предков, которые ограждены от злословия потомков надгробной плитой из мрамора. Меня очень увлекает резкое несходство мертвых с живыми, и чем меньше люди былого схожи с моими современниками, тем большее мое внимание они привлекают...

Эпиграфом для всей своей жизни князь с удовольствием проставил бы цитату из сочинений поэта П. А. Вяземского, который выделил значение примеров былого для развития нравственности в потомственных поколениях: «В наше время, — писал он, — надобно мертвых ставить на ноги, дабы напугать и усовестить живую наглость и отучить от нее нынешних ротозеев, которые еще дивятся ей с коленопреклонением...»

Сказано так сильно, что можно высекать на скрижалях!

Между тем все им написанное Алексей Борисович хранил втуне, редко выступая в печати. Погружаясь в прошлое, он избирал в истории не исхоженные никем тропы — отыскивал людей, забытых или же таких, биографии которых казались ему загадочны; его привлекали личности, отмеченные роком несчастий. Наверное, он по-своему был прав в своих изысканиях. В конце-то концов, о Пушкине или Суворове написано много (и будет написано еще больше), а вот высветить во мраке облик какого-либо человека, о котором все молчат, — это задача кропотливая, почти болезненная, ибо могила молчит, архивы молчат, а вокруг — нелюдимая тишина, и никто тебе ответно не откликается...

Страшно нарушать покой давней могилы, где только прах да кости, перемешанные с лохмотьями истлевшей одежды, и так же страшно бывает погружаться в чужую, давно отшумевшую жизнь человека, наполненную страстями, любовью, гневом, завистью, гордостью, унижением и несбыточными мечтами.

— Куда все это делось? — мучительно размышлял князь над судьбами людей, неслышно отошедших от нас в вечность...

В эти годы русская интеллигенция охотно читала ежемесячные выпуски исторических журналов «Русская старина» (М. И. Семевского) и «Русский архив» (П. И. Бартенева). В этих изданиях Лобанов-Ростовский иногда помещал свои исторические заметки, и Семевский удивлялся его познаниям в генеалогии, без которой немислимо проникновение в русскую историю:

— Я чувствую, князь, что вы знаете родство меж фамилиями не только знатными, но и захудалыми... Откуда у вас это?

Алексей Борисович сознался, что когда-то помогал Петру Долго-рокому, а теперь решил дополнить его четырехтомник своими родословиями. По этому поводу он имел собственное мнение:



— Конечно, легко изучить ход событий в истории, но потаенные пружины этих событий иногда зависели от родственных связей, а русское дворянство перероднилось меж собою столь широко и плотно, что иногда генеалогические таблицы кажутся мне намного сложнее алгебраических формул. Что сокрыто для нас снаружи, то открывается лишь изнутри, если прибегнуть к помощи генеалогических разведок.

— Я ведь не только историк, но еще и издатель, — сказал Семевский. — Доверьте мне ваши родословные материалы.

— Простите, я занимаю такой пост в государстве, что мне неудобно выставлять свое имя на обложке издания.

— А мы издадим ваш «портфель» анонимно...

Так появилась «Русская родословная книга» в двух томах, в предисловии которой было сказано, что составил ее некий любитель истории, который, занятый службою, досуг посвящает вопросам отечественной генеалогии. Но аноним был вскоре разоблачен, и в печати князя Лобанова-Ростовского открыто нарекли «величайшим из современных разработчиков отечественной генеалогии». Был 1876 год, когда Алексея Борисовича избрали в почетные члены Академии наук.

Вскоре же началась война за освобождение болгар от давнего османского ига, и Александр II предупредил князя:

— Вы, кажется, засиделись в Петербурге, и, возможно, для вас в скором времени сыщется более важное занятие...

Лобанов-Ростовский уже перешагнул полувековой рубеж жизни, оставаясь мужчиной статным, внешне очень приятным и моложавым, в столице его считали еще завидным женихом, но мадам Буркинэ не была им забыта, а потому matrimониальных планов у него не возникало, о чем он сам говорил намеками:

— Обжегшись на молоке, дуют на воду...

Вскоре русская армия вышла к берегам Мраморного моря, в приморском местечке Сан-Стефано был подписан мир с Блистательной Портой, а султан Абдул-Гамид пожелал видеть русского посла у «Порога Счастья» — об этом Лобанова-Ростовского известил канцлер Горчаков, лицеист еще пушкинской эпохи.

— Увы, — сказал он, — в Мраморном море появился британский флот, и я был вынужден предупредить Уайтхолл, что в случае его активности на Босфоре наша армия сразу же берет Константинополь голыми руками. Но мы, россияне, — добавил канцлер, — совсем не собираемся удушить Турцию в ее же берлоге.

— Я не хотел бы возвращаться в Константинополь, — отвечал Лобанов-Ростовский, — ибо с этим городом у меня связаны самые сладостные, но и самые грустные воспоминания.

— А я не хотел бы аккредитовать вас в столице Турции, — договорил Горчаков. — Но об этом просит султан Абдул-Гамид, и нам сейчас не стоит обижать побежденного...

День подписания Сан-Стефанского мира и поныне остается для Болгарии национальным праздником, но русскому послу праздновать

было некогда. Хотя на Берлинском конгрессе Европа завистливо свела на нет выгодные условия мира с турками, Алексей Борисович все-таки настоял перед Абдул-Гамидом, чтобы его войска оставили Батум и крепости в Болгарии, султан обещал оплатить России военные издержки в сумме одного миллиарда рублей.

Лобанов-Ростовский получил чин действительного тайного советника, и сам понимал, что выше этого ему уже не подняться.

— Моя лестница закончилась, ее ступени обрываются над могилой, — сказал он без юмора, но и без горького сожаления...

В декабре 1879 года он был спешно переведен послом в Лондон, ибо отношения России и Англии катастрофически ухудшились из-за «афганского вопроса». Это был кризис, неизвестно когда возникший, и никто не знал, когда он закончится. Афганистан, по сути дела, стал как бы барьером между русскими владениями и колониями англичан, которые, желая разрушить этот «барьер», много лет подряд натравливали афганские племена на Россию, и те самовольно захватывали туркменские земли. В этом «афганском» котле князь и «варился» три года подряд, отвергая претензии Кабула, который англичане наускивали против русских. «Афганского кризиса» посол не разрешил (и разрешил его лишь выход наших войск на Кушку), когда его перевели послом в Вену.

На венском вокзале князя встречала племянница, жена австрийского графа Околичани, бывшего послом в Петербурге.

— Оленька, — сказал ей Лобанов-Ростовский, — я так устал после этой возни с Кабулом, что, надеюсь, на венском Пратере отдохну душой и телом, слушая вальсы Штрауса... Сейчас в Лондоне много говорят о Турции, как о «больном человеке» Европы, которого следует разрезать на куски, словно тушу барана, на всеобщем торжище передела мира, но я думаю, что «больной человек» совсем не собирается умирать. А ты выглядишь очень хорошо, — сказал он племяннице, — на тебя приятно смотреть.

— Ах, дядюшка, почему вы остались холостым?

— Я свою дозу любви уже получил сполна, и, поверь, этой порции мне оказалось вполне достаточно, чтобы не чувствовать себя несчастным, — отвечал Алексей Борисович...

В годы, проведенные в Вене, он обрел общеевропейский авторитет, став «звездой первой величины» на небесах дипломатии. Здесь же он получил высший орден империи — орден Андрея Первозванного, здесь же в январе 1895 года ему было велено срочно оставить Вену, дабы заступить место посла в Берлине.

— Кажется, — сказал он, — в Петербурге приделывают к лестнице моей жизни дополнительные ступени, чтобы я поднимался все выше и выше... над самым обрывом в пропасть.

Он не успел распаковать багаж в Берлине, когда стало известно, что умер министр иностранных дел Гире, князю указали срочно выехать в Петербург, чтобы заменить покойного в его кресле.

— Моя последняя ступень, — сказал Лобанов-Ростовский.

Он появился в министерстве, внушая чиновникам:

— Талейран утверждал, что в политике ему важен лишь момент настоящего. Не верю в это! Следует признавать важность не только сего дня, но и всей политики прошлого. История для дипломата — лучшая наставница для анализа современности. Разве можно понять намерения Ли Хун-чжана, не учитывая многовековой опыт китайской дипломатии? Политики, не знающие истории стран, в которых они аккредитованы на благо своего отечества, это уже не дипломаты, а лишь жалкие слепые котятка...

Китай он помянул неспроста. Выиграв войну с Китаем, самураи предъявили Пекину такие кабальные условия мира, что Петербург решил вмешаться. Лобанов-Ростовский привлек Францию с Германией для совместного демарша, чтобы принудить японцев умерить свои аппетиты. Это был первый успех Лобанова-Ростовского на поприще министра. При этом немецкие дипломаты намекали ему о праве России на владение турецкими проливами.

Но Лобанов-Ростовский отвергал эти намеки.

— Напротив, — говорил он, — Россия не желает конца Оттоманской империи, о чем так сильно мечтают в лунные ночи на берегах Темзы, провоцируя Европу на раздел Турции.

— Вы, князь, просто влюблены в Восток! — упрекали его.

— Я свое на Востоке отлюбил и желаю, чтобы на Востоке уважали Россию — как страну справедливости...

Алексей Борисович умел воздействовать на императора Николая II, который, повидавшись с кайзером в Висбадене, заявил вполне определенно: «Я не интересуюсь Босфором, отныне мои взоры обращены в сторону Китая...» Пекин, благодарный России за ее вмешательство в дела мира с японцами, прислал в Москву своего лучшего дипломата Ли Хун-чжана — старика хитрого и продажного. Как раз в это время шла прокладка Сибирской железной дороги, которая должна описывать большую дугу вдоль течения Амура, и министр финансов С. Ю. Витте подсказал:

— Наши рельсы уже протянуты до Забайкалья, пора решать — что делать дальше? Если уговорим Ли Хун-чжана, чтобы позволил тянуть рельсы через Маньчжурию, тогда Россия сократит путь от Москвы до Владивостока сразу на ПОЛТЫСЯЧИ верст. В таком вопросе не стоит скупиться перед Ли Хун-чжаном, ибо рельсы и шпалы обойдутся нашей казне намного дороже...

Так возникла Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД).

Между политическими делами Лобанов-Ростовский переиздал свои «Русские родословные книги», дополнив их новыми материалами, и составил проект образования Русского Генеалогического Общества — это была давняя мечта всей его жизни! В августе 1896 года он отбыл в Вену, где ожидали Николая II с визитом. Племянница Ольга Околичани встретила дядю на вокзале.

— Ах, дядюшка, что с вами?

— Сердце. Не в мои годы влачить этот крест, с утра думал о Марокко, где необходим русский консул, а вечерами... Кстати, Оленька, мне хотелось бы видеть римского посла Нигра.

Нигра, знакомый ему по жизни в Петербурге, встретил князя распахнутыми объятиями — и вовремя, ибо Лобанов-Ростовский обмяк в его руках, почти лишившись чувств. Нигра сказал:

— Наверное, вы, как всегда, не спите по ночам?

— Да, историей лучше всего заниматься ночью.

— Вот история вас и погубит.

— Нет, дорогой, меня погубит политика... Из Вены мне предстоит визит в Лондон, где я не жду ничего хорошего.

— Отмените визит, — советовал Нигра...

Об этом же просила и его племянница Ольга:

— Из Вены, прошу, возвращайтесь домой, ибо, как говорят в народе, дома и солома едома. Мне что-то неспокойно за вас...

Николай II уступил ему салон в своем императорском экспрессе, и Лобанов-Ростовский надеялся, что в Киеве отдохнет и поправится. 18 августа поезд неожиданно остановился.

— Где мы? — спросил Алексей Борисович.

— Не доехали до станции Шепетовка.

— А почему остановились?

— По желанию государя, который увидел вдали красивую рошу, и свита уговорила его прогуляться.

Алексей Борисович тоже вышел из вагона. Но сразу почувствовал себя дурно и присел на землю, прогретую солнцем.

— Министру худо! — крикнул его секретарь.

Император обернулся на окрик, махнул рукой:

— Внесите его в вагон, прогулку я отменяю. Едем...

Поезд пошел быстрее, чтобы ускорить прибытие в Киев, но, не доехав до Киева, князь Алексей Борисович скончался.

— Разрыв сердца, — доложили царю.

Не было в Европе газет, которые бы не отозвались на смерть русского министра иностранных дел сочувственными некрологами; столичные газеты Европы писали, что политический курс покойного способствовал соблюдению мира и справедливости, а «его политика отныне не исчезнет из преданий народа России».

Авторское послесловие я считаю необходимым...

«Русская старина» почтила князя некрологом, который заканчивался словами: «Министр, употреблявший свой досуг на изучение русской истории, не мог не любить России, не мог не понимать ее исторических задач, не мог не болеть сердцем ее нуждами и ее страданиями». Наверное, сердце слишком болело и не выдержало, ибо в канун XX века — уже нашего века! — слишком много накопилось в жизни вопросов и сомнений.

Человека не стало. Но остались после него книги.

Одни, написанные на французском, не переводились на русский, а русские книги никогда не переиздавались.

Между тем без них в нашей истории скучно...

Мечта Алексея Борисовича исполнилась посмертно: в 1897 году было образовано Русское Генеалогическое Общество, в стране стали выходить два толстых журнала, посвященных поискам в родословиях; наконец, в 1906 году Москва получила особую научную кафедру — по генеалогии, чтобы студенты, будущие историки, приобщались к знаниям родословных сложностей. Но после революции генеалогия сделалась гонима «как служанка буржуазии». Но ведь история без генеалогии — это сосуд, из которого безжалостно выплеснули живительный напиток.

Много лет нас ограничивали знанием дедушки Льва Толстого или бабушки Александра Пушкина, а дальше не пускали, как не пускают детей в таинственные чащобы древнего леса. От подобного бессилия исторического интеллекта насаждалась генеалогия нового типа, отчего появились, к примеру, «знатная династия токарей Патрикеевых» или «славная династия ткачих Пахомовых».

Конечно, у нас еще слишком велика сила ложных традиций!

Вспомним хотя бы литератора Георгия Шторма с книгою «Потанный Радищев». Шторм сознательно обратился к генеалогии писателя и потому смог открыть для нас нового Радищева — далекого от хрестоматийных штампов, выработанных почтенными историками. Но, Боже, сколько оплеух он получил от ученых именно за то, что поломал закоснелые каноны официальной науки! С обидной горечью Георгий Шторм писал по этому поводу: «Я столкнулся с неписанным, но имеющим силу законом, точнее — традицией: писатель, не принадлежащий к сословию ученых, оказывается немедленно атакованным со всех сторон, если он пытается что-либо открывать...»

Согласен, что генеалогия — наука опасная, как и взрывчатые вещества, потому общение с нею рискованно. Но с началом гласности пришла пора углубляться далее... в таинственные дебри пращуров, которые из глубины веков еще нашепчут нам сокровенные тайны минувших столетий. Раскроем книгу Н. К. Телешовой «Забывтые родственные связи А. С. Пушкина» — и великий поэт предстает перед нами в ослепительном венце дедовских преданий, совсем в неожиданном родстве с людьми, делавшими историю России. Только познав отдаленных и побочных предков поэта, лучше понимаешь и самого поэта...

А разве у нас не было прабабок или прапрадедушек?

Я заканчиваю свое послесловие, но, простите, в музеях висят все-таки не портреты — нет, это взирают на нас из потемок былого живые люди, внешне очень далекие от нас, но все-таки они чем-то и родственны всем нам, читатель!

Зная прошлое своих предков, мы не можем не любить России, не можем не понимать ее исторических задач, не можем не болеть сердцем ее нуждами и ее страданиями... Разве не так?

## КОММЕНТАРИИ

История Дальнего Востока, его прошлое, настоящее и будущее интересовали В. Пикуля на протяжении всей его жизни. Этой теме он посвятил романы: «Богатство» (1973), «Три возраста Окини-сан» (1981), «Крейсера» (1985). А в 1987 году вышла замечательная часть дальневосточной тетралогии — роман «Каторга», который освещал малоизвестные страницы истории сахалинской каторги периода русско-японской войны.

К 1905 году на Сахалине сложилась довольно сложная ситуация. Япония захватила остров. Нигде до этого самураи не действовали с таким ожесточением и жестокостью, как здесь. Для отражения натиска захватчиков и освобождения острова была создана народная дружина из числа каторжан.

Валентин Саввич начал писать роман 21 ноября 1985 года, а 7 января 1986 года перевернул последнюю страницу рукописи. Но это еще не все: необходимо было вычитать, отредактировать и заново перепечатать текст. На это ушло еще три месяца.

Изо дня в день, точнее, из ночи в ночь шла напряженная работа с психологически тяжелым материалом. Работа в режиме как бы растянутого во времени стресса, беспросветное блуждание в дебрях отрицательных эмоций.

Длительное пребывание «на каторге» дало рецидив: разразился обширнейший инфаркт, и только благодаря заботам и квалифицированной помощи врачей спустя несколько месяцев Валентин Саввич смог стать на ноги.

В одном из интервью В. Пикуль говорил о том, что «Каторга» отличается от других его произведений тем, что он решил на сей раз изменить своему творческому кредо и, не ограничивая себя рамками исторических документов, дать волю фантазии. Валентину Саввичу было интересно проверить себя: сможет ли он, как романист, сам создать такие исторические персонажи, которые бы по достоверности читательских впечатлений не уступали реально существовавшим. Однако историческую канву автор в основном оставил без изменений.

При написании романа Валентин Саввич использовал 63 исторических источника: монографии, мемуары очевидцев, воспоминания каторжан. Как ни старался автор, но не смог приобрести выпуски «Тюремного вестника», где были опубликованы «Записки сахалинского чиновника», и «Владивостокские Епархиальные Ведомости», в которых были напечатаны «Воспоминания о русско-японской войне на Южном Сахалине». Сожаления по поводу отсутствия этих безусловно интересных материалов тоже не поднимали настроение.

А вот работы В. Дорошевича, которого Пикуль очень любил и высоко ценил, находились рядом, на полке, как говорится, под рукой. Но во время работы над «Каторгой» Валентин Саввич ни разу не притрагивался к ним, чтобы «не попасть не столько под обаяние, сколько под влияние» талантливых трудов.

Рукопись романа перед изданием подверглась троекратному рецензированию. Рецензия старшего научного сотрудника Института Дальнего Востока АН СССР, кандидата филологических наук К Черевко, была положительная и доброжелательная. В рецензии В. Кукушкина (прошу простить, что не могу точно назвать должность) делался вывод: «Роман вполне заслуживает публикации в “Роман-газете”... О его достоинствах уже говорилось». Кандидат исторических наук капитан второго ранга В. Доценко рекомендовал: «Для правильного понимания читателем описываемых событий необходимо солидное предисловие...» Надо сказать, что Валентин Саввич уважительно относился к критике, высказывающей пожелания, указывающей на какие-либо неточности или ошибки, которые он всегда исправлял. Но он никогда не реагировал на критиканство, на откровенные неаргументированные нападки недоброжелателей. А таковые в наличии имелись.

Отдельные главы романа были впервые опубликованы в газете «Камчатская правда», а полностью роман был напечатан в журналах «Молодая гвардия» и «Дальний Восток» за 1987 год почти одновременно. Роман «Каторга» относительно небольшой по объему — всего 23 авторских листа. Поэтому он чаще выходил в одной книге с другими романами Пикуля. Так, в 1988 году в издательстве «Современник» был выпущен сборник, который включал романы «Каторга» и «Плевель», а Лениздат объединил «Каторгу» с «Крейсерами».

Следующий год можно считать годом полного признания романа. Он вышел в «Книжной палате» в серии «Популярная библиотека», которая формируется на основании читательского спроса, и в Дальневосточном книжном издательстве в серии «Тихоокеанская библиотека». А ко дню рождения писателя добрый подарок сделала «Роман-газета», опубликовав в двух своих выпусках «Каторгу» тиражом почти в четыре миллиона экземпляров. В 1990 году роман вновь был переиздан в издательстве «Современник».

Самые многочисленные отклики на публикацию романа, как и следовало ожидать, автор получил из мест лишения свободы. Вот некоторые выдержки из писем: «Вы поведали о событиях начала века, а я уголовник сегодняшних дней. Глядя с позиций сегодняшнего дня, могу сказать, что многое из того, что творилось “на краю света”, живо и по сей день...» «Если бы у нас сейчас была такая каторга, как описано у Вас, можно было бы молиться...» «Хотелось бы, чтобы Вы написали о современной каторге и о брежневском самовосхваляющем режиме...» «Для большинства читателей Вы — Писатель с большой буквы, Вам верят, помогите перестроить всю систему ИТК...» «Без главного героя — Польшова “Каторга” многое бы потеряла, в романе хорошо передан дух того времени...» «Читал Вашу “Каторгу”, как в детстве “Графа Монте-Кристо”».

Неравнодушные читатели часто задавали вопрос: «Кто послужил прототипом Польшова?»

Реально существовавшего персонажа не было, это образ собирательный. Но думаю, многие могли заметить, что автора всегда влекли сильные личности, волевые и целеустремленные, типа героев Джека Лондона, четко знающие, чего они хотят добиться в жизни.

Роман «Каторга», написанный в преддверии 1986 года, остается злободневным и по сейчас, ибо в наши дни еще более настойчиво и деловито, чем несколько лет назад, начинают затеваться разговоры об островах Курильской гряды. Таких далеких и таких близких сердцу.

# Содержание

## КАТОРГА

### Трагедия былого времени

Часть первая	
<b>НЕГАТИВЫ</b> .....	5
Заочно приговорен к смерти. <i>Пролог первой части</i> .....	5
1. Ставлю на тридцать шесть .....	9
2. Выдать его с потрохами .....	14
3. В сладком дыму Отечества .....	19
4. Русский «великий трек» .....	25
5. Мы завтра уплываем .....	30
6. Приезжайте — останетесь довольны .....	36
7. Власти предержажие .....	43
8. На нарах и под нарами .....	50
9. Люди, нефть и любовь .....	55
10. Крестины с причиндалами .....	62
11. Коллизии жизни .....	68
12. Теперь жить можно .....	75
13. Не подходите к ней с вопросами .....	80
14. Романтики каторги .....	87
15. Не режим, а «прижим» .....	92
16. «Деньжата прут со всех stron» .....	97
17. Развитие сюжета .....	103
18. В конце будет сказано .....	111
Часть вторая	
<b>АМНИСТИЯ</b> .....	113
Черная жемчужина России. <i>Пролог второй части</i> .....	113
1. «Сахалин — это Карфаген!» .....	118
2. Страдания сахалинских вертеров .....	124
3. Еще стакан молока .....	132
4. Берегите жизнь человека .....	137
5. Погодные условия .....	142
6. Тук, тук, тук, только тук .....	149
7. Время отпусков .....	155



8. Бывают же хорошие люди.....	161
9. Плацкарта — туда и обратно .....	168
10. Могучее сахалинское «ура».....	176
11. Полюбуйтесь, как я живу.....	185
12. Останемся патриотами .....	192
13. На Сахалине все спокойно .....	201
14. Осторожно: подводные камни .....	207
15. Господа выздоравливающие .....	214
16. Цензура этого не пропустит.....	220

## Часть третья

ОБОРОНА.....	224
Сахалинский «варяг». <i>Пролог третьей части</i> .....	224
1. Не в добрый час .....	231
2. О чем они думали.....	235
3. Газета «Асахи» призывала.....	242
4. От бухты Лососей и дальше.....	249
5. Страницы гордости и позора .....	255
6. Учитесь умирать .....	260
7. Учитесь воевать .....	267
8. Огонь с моря.....	273
9. Нашествие .....	279
10. Рыковская трагедия.....	287
11. А мы не сдаемся!.....	293
12. Сахалинский вопрос .....	301
13. До седых волос.....	307
14. Конец каторги.....	316
В эпилоге — возвращение старых долгов .....	323
Старая история с новым концом.....	328
МИНИАТЮРЫ.....	339
Полет шмеля над морем .....	339
«Как трава в поле...» .....	346
Из Одессы через Суэцкий канал.....	355
Битва железных канцлеров .....	365
Человек, переставший улыбаться.....	376
Демидовы.....	383
Завещание Альфреда Нобеля.....	390
Гусар на верблюде.....	401
Потомок Владимира Мономаха.....	415
КОММЕНТАРИИ.....	428

*Литературно-художественное издание*

*Полное собрание сочинений*

**Пикуль Валентин Саввич**

**КАТОРГА**

**ТРАГЕДИЯ БЫЛОГО ВРЕМЕНИ**

**МИНИАТЮРЫ**

Выпускающий редактор *В.И. Кичин*

Верстка *И.В. Хренов*

Корректор *Н.К. Киселева*

Оформление обложки *Д.В. Грушин*

ООО «Издательство «Вече»

Адрес фактического местонахождения:

127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 48, корпус 1.

Тел.: (499) 940-48-70 (факс: доп. 2213), (499) 940-48-71.

Почтовый адрес:

129337, г. Москва, а/я 63.

Юридический адрес:

129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 47, строение 5.

E-mail: [veche@veche.ru](mailto:veche@veche.ru)

<http://www.veche.ru>

Подписано в печать 18.02.2015. Формат 84 × 108 ½.  
Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Бумага газетная.  
Печ. л. 13,5. Тираж 5000 экз. Заказ 10241.

ООО «Имидж Принт»

300041, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 70, оф. 129.

Отпечатано в ООО «Тулская типография».  
300600, г. Тула, пр. Ленина, 109.





Роман освещает малоизвестные страницы истории сахалинской каторги периода Русско-японской войны 1904—1905 годов. Он остается злободневным и сейчас, ибо в наши дни не утихают разговоры об островах Курильской гряды. В книгу также вошли замечательные миниатюры автора о дипломатах и дипломатических отношениях.



ISBN 978-5-4444-2952-5

The logo of the publishing house "Vechе" (Вече), featuring a stylized, abstract symbol above the word "ВЕЧЕ" in a bold, sans-serif font.

**ВЕЧЕ**